Луций Сенека
Нравственные письма к Луцилию

Письмо I

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Так и поступай, мой Луцилий! Отвоюй себя для себя самого, береги и копи время, которое прежде у тебя отнимали или крали, которое зря проходило. Сам убедись в том, что я пишу правду: часть времени у нас отбирают силой, часть похищают, часть утекает впустую. Но позорнее всех потеря по нашей собственной небрежности. Вглядись-ка пристальней: ведь наибольшую часть жизни тратим мы на дурные дела, немалую – на безделье, и всю жизнь – не на те дела, что нужно. (2) Укажешь ли ты мне такого, кто ценил бы время, кто знал бы, чего стоит день, кто понимал бы, что умирает с каждым часом? В том-то и беда наша, что смерть мы видим впереди; а большая часть ее у нас за плечами, – ведь сколько лет жизни минуло, все принадлежат смерти. Поступай же так, мой Луцилий, как ты мне пишешь: не упускай ни часу. Удержишь в руках сегодняшний день – меньше будешь зависеть от завтрашнего. Не то, пока будешь откладывать, вся жизнь и промчится. (3) Все у нас, Луцилий, чужое, одно лишь время наше. Только время, ускользающее и текучее, дала нам во владенье природа, но и его кто хочет, тот и отнимает. Смертные же глупы: получив что-нибудь ничтожное, дешевое и наверняка легко возместимое, они позволяют предъявлять себе счет; а вот те, кому уделили время, не считают себя должниками, хотя единственно времени и не возвратит даже знающий благодарность. (4) Быть может, ты спросишь, как поступаю я, если смею тебя поучать? Признаюсь чистосердечно: как расточитель, тщательный в подсчетах, я знаю, сколько растратил. Не могу сказать, что не теряю ничего, но сколько теряю, и почему, и как, скажу и назову причины моей бедности. Дело со мною обстоит так же, как с большинством тех, кто не через собственный порок дошел до нищеты; все меня прощают, никто не помогает. (5) Ну так что ж? По-моему, не беден тот, кому довольно и самого малого остатка. Но ты уж лучше береги свое достояние сейчас: ведь начать самое время! Как считали наши предки поздно быть бережливым, когда осталось на донышке. Да к тому же остается там не только мало, но и самое скверное. Будь здоров.

Письмо II

Сенека приветствует Луцилия!

(1) И то, что ты мне писал, и то, что я слышал, внушает мне на твой счет немалую надежду. Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь такие метания – признак больной души. Я думаю, первое доказательство спокойствия духа – способность жить оседло и оставаться с самим собою. (2) Но взгляни: разве чтенье множества писателей и разнообразнейших книг не сродни бродяжничеству и непоседливости? Нужно долго оставаться с тем или другим из великих умов, питая ими душу, если хочешь извлечь нечто такое, что в ней бы осталось. Кто везде – тот нигде. Кто проводит жизнь в странствиях, у тех в итоге гостеприимцев множество, а друзей нет. То же самое непременно будет и с тем, кто ни С одним из великих умов не освоится, а пробегает всё второпях и наспех. (3) Не приносит пользы и ничего не дает телу пища, если ее извергают, едва проглотивши. Ничто так не вредит здоровью, как частая смена лекарств. Не зарубцуется рана, если пробовать на ней разные снадобья. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Даже самое полезное не приносит пользы на лету. Во множестве книги лишь рассеивают нас. Поэтому, если не можешь прочесть все, что имеешь, имей столько, сколько прочтешь – и довольно. (4) «Но, – скажешь ты, – иногда мне хочется развернуть эту книгу, иногда другую». – Отведывать от множества блюд – признак пресыщенности, чрезмерное же разнообразие яств не питает, но портит желудок. Потому читай всегда признанных писателей, а если вздумается порой отвлечься на другое, возвращайся к оставленному. Каждый день запасай что-нибудь против бедности, против смерти, против всякой другой напасти и, пробежав многое, вы-

бери одно, что можешь переварить сегодня. (5) Я и сам так делаю: из многого прочитанного что-нибудь одно запоминаю. Сегодня вот на что натолкнулся я у Эпикура (ведь я частенько перехожу в чужой стан, не как перебежчик, а как лазутчик): (6) «Веселая бедность, – говорит он, – вещь честная». Но какая же это бедность, если она веселая? Беден не тот, у кого мало что есть, а тот, кто хочет иметь больше. Разве ему важно, сколько у него в ларях и в закромах, сколько он пасет и сколько получает и сотню, если он зарится на чужое и считает не приобретенное а то что надобно еще приобрести? Ты спросишь, каков предел богатства? Низший – иметь необходимое, высший – иметь столько, сколько с тебя довольно. Будь здоров.

Письмо III

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты пишешь, что письма для передачи мне отдал другу, а потом предупреждаешь, чтобы не всем, тебя касающимся, я с ним делился, потому что и сам ты не имеешь обыкновения делать так. Выходит, в одном письме ты и признаешь, и не признаешь его своим другом. Ладно еще, если ты употребил это слово как расхожее и назвал его «другом» так же, как всех соискателей на выборах мы называем «доблестными мужами», или как встречного если не можем припомнить его имени, приветствуем обращением «господин». (2) Но если ты кого-нибудь считаешь другом и при этом не веришь ему, как самому себе, значит, ты заблуждаешься и не ведаешь, что есть истинная дружба. Во всем старайся разобраться вместе с другом, но прежде разберись в нем самом. Подружившись, доверяй, суди же до того, как подружился. Кто вопреки наставлению Феофраста судит, полюбив, вместо того, чтобы любить, составив суждение», те путают, что должно делать раньше, что позже. Долго думай, стоит ли становиться другом тому или этому, но решившись, принимай друга всей душой и говори с ним так же смело, как с собою самим. (3) Живи так, чтобы и себе самому не приводилось признаваться в чем-нибудь, чего нельзя доверить даже врагу. но раз есть вещи, которые принято держать в тайне, делись лишь с другом всеми заботами, всеми мыслями. Будешь считать его верным – верным и сделаешь. Нередко учат обману тем, что обмана боятся, и подозрениями дают право быть вероломным. Почему не могу я произнести те или иные слова в присутствии друга? Почему мне не думать, что в его присутствии я все равно что наедине с собой? (4) Одни первому встречному рассказывают о том, что можно поведать только другу, и всякому, лишь бы он слушал, выкладывают все, что у них накипело. Другом боязно, чтобы и самые близкие что-нибудь о них знали; эти, если бы могли, сами себе не доверяли бы, потому они и держат все про себя. Делать не следует ни так, ни этак: ведь порок – и верить всем, и никому не верить, только, я сказал бы, первый порок благороднее, второй – безопаснее. (5) Точно так же порицанья заслуживают и те, что всегда обеспокоены, и те, что всегда спокойны. Ведь и страсть к суете признак не деятельного, но мятущегося в постоянном возбуждении духа, и привычка считать каждое движение тягостным – признак не безмятежности, но изнеженности и распущенности. (6) Поэтому удержи в душе слова, которые вычитал я у Помпония: «Некоторые до того забились во тьму, что неясно видят все освещенное». Все должно сочетаться: и любителю покоя нужно действовать, и деятельному – побыть в покое. Спроси совета у природы: она скажет тебе, что создала и день и ночь. Будь здоров.

Письмо IV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Упорно продолжай то, что начал, и поспеши сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться совершенством и спокойствием твоей души. Есть наслаждение и в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы стремиться к спокойствию; но совсем иное наслаждение ты испытаешь, созерцая дух, свободный от порчи и безупречный. (2) Ты, верно, помнишь, какую радость испытал ты, когда, сняв претексту, надел на себя мужскую тогу и был выведен на форум? Еще большая: радость ждет тебя, когда ты избавишься от ребяческого нрава и философия запишет тебя в число мужей. Ведь и до сей поры остается при нас уже не ребяческий возраст, но, что гораздо

опаснее, ребячливость. И это – тем хуже, что нас чтут как стариков, хотя в нас живут пороки мальчишек, и не только мальчишек, но и младенцев; ведь младенцы боятся вещей пустяшных, мальчишки – мнимых, а мы – и того и другого. (3) Сделай шаг вперед – и ты поймешь, что многое не так страшно как раз потому, что больше всего пугает. Никакое зло не велико, если оно последнее. Пришла к тебе смерть? Она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою, она же или не явится, или скоро будет позади, никак не иначе. – (4) «Нелегко, – скажешь ты, – добиться, чтобы дух презрел жизнь». – Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее с презреньем отказываются? Один повесился перед дверью любовницы, другой бросился с крыши, чтобы не слышать больше, как бушует хозяин, третий, пустившись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы его не вернули. Так неужели, по-твоему, добродетели не под силу то, что делает чрезмерный страх? Спокойная жизнь – не для тех, кто слишком много думает о ее продлении, кто за великое благо считает пережить множество консульств (5) Каждый день размышляй об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком – за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти и мученьями жизни; жалкие, они и жить не хотят, и умереть не умеют. (6) Сделай же свою жизнь приятной, оставив всякую тревогу о ней. Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов его утратить, и всего безболезненней утратить то, о чем невозможно жалеть, утратив. Поэтому укрепляй мужеством и закаляй свой дух против того, что может произойти даже с самыми могущественными. (7) Смертный приговор Помпею вынесли мальчишка и скопец, Крассу – жестокий и наглый парфянин. Гай Цезарь приказал Лепиду подставить шею под меч трибуна Декстра – и сам подставил ее под удар Хереи. Никто не был так высоко вознесен фортуной, чтобы угрозы ее были меньше её попустительства. Не верь затишью: в один миг море взволнуется и поглотит только что резвившиеся корабли. (8) Подумай о том, что и разбойник и враг могут приставить тебе меч к горлу. Но пусть не грозит тебе высокая власть – любой раб волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Я скажу так: кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей. Вспомни пример тех, кто погиб от домашних козней, извещенный или силой, или хитростью, – и ты поймешь, что гнев рабов погубил не меньше людей, чем царский гнев. Так какое тебе дело до могущества того, кого ты боишься, если то, чего ты боишься, может сделать всякими? (9) Вот ты попал в руки врага, и он приказал вести тебя на смерть. Но ведь и так идешь ты к той же цели! Зачем же ты обманываешь себя самого, будто лишь сейчас постиг то, что всегда с тобой происходило? Говорю тебе: с часа твоего рождения идешь ты к смерти. Об этом должны мы думать и помнить постоянно, если хотим безмятежно дожидаться последнего часа, страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы. (10) А чтобы мог я закончить письмо, – узнай, что приглянулось мне сегодня (и это сорвано в чужих садах: «Бедность, сообразная закону природы, – большое богатство». Знаешь ты, какие границы ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть хмурую спесь или оскорбительную приветливость, нет нужды пытать счастье в море или идти следом за войском. То, чего требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка. (11) Ради него изнашиваем мы тогу, ради него старимся в палатках лагеря, ради него заносит нас на чужие берега. А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, тот богат. Будь здоров.

Письмо V

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я радуюсь твоему упорству в занятиях и рвению, которое побуждает тебя, забросив все, только о том и стараться, чтобы с каждым днем становиться все лучше, и хвалю тебя за них. Будь и впредь так же упорен, тут я не только поощряю тебя, но и прошу. Об одном лишь хочу предупредить тебя: не поступай подобно тем, кто желает не усовершенствоваться, а только быть на виду, и не делай так, чтобы в одежде твоей или в образе жизни что-нибудь бросалось в глаза. (2) Избегай появляться неприбранным, с нестриженной головой и запущенной бородой, выставлять напоказ ненависть к серебру, стелить постель на голой земле, – словом, всего, что делается

ради извращенного удовлетворения собственного тщеславия. Ведь само имя философии вызывает достаточно ненависти, даже если приверженцы ее ведут себя скромно; что же будет, если мы начнем жить наперекор людским обычаям? Пусть изнутри мы будем иными во всем – снаружи мы не должны отличаться от людей. (3) Пусть не будет блистательной тога – но и грязной тоже; пусть не для нас серебряная утварь с украшениями из литого золота – но не надо считать лишь отсутствие золота и серебра свидетельством умеренности. Будем делать все, чтобы жить лучше, чем толпа, а не наперекор толпе, иначе мы отпугнем от себя и обратим в бегство тех, кого хотим исправить. Из страха, что придется подражать нам во всем, они не пожелают подражать нам ни в чем – только этого мы и добьемся. (4) Первое, что обещает дать философия, – это умение жить среди людей, благожелательность и общительность; но несходство с людьми не позволит нам сдержать это обещание. Позаботимся же, чтобы то, чем мы хотим вызвать восхищение, не вызывало смеха и неприязни. Ведь у нас нет другой цели, как только жить в согласии с природой. Но противно природе изнурять свое тело, ненавидеть легко доступную опрятность, предпочитая ей нечистоплотность, избирать пищу не только дешевую, но и грубую и отвратительную. (5) Только страсть к роскоши желает одного лишь изысканного, – но только безумие избегает недорогого и общеупотребительного. Философия требует умеренности – не пытки; а умеренность не должна быть непременно неопрятной. Вот мера, которая мне по душе: пусть в нашей жизни сочетаются добрые нравы с нравами большинства, пусть люди удивляются ей, но признают. – (6) «Как же так? Неужто и мы будем поступать, как все прочие, и между ними и нами не будет никакого различия?» – Будет, и очень большое. Пусть тот, кто приглядится к нам ближе, знает, насколько отличаемся мы от толпы. Пусть вошедший в наш дом дивится нам, а не нашей посуде. Велик тот человек, кто глиняной утварью пользуется как серебряной, но не менее велик и тот, кто серебряной пользуется как глиняной. Слаб духом тот, кому богатство не по силам.

(7) Но хочу и сегодня поделиться с тобой моим небольшим доходом: я нашел у нашего Гекатона, что покончить со всеми желаниями полезно нам для исцеления от страха. «Ты перестанешь бояться, – говорит он, – если и надеяться перестанешь». Ты спросишь, как можно уравнивать столь разные вещи. Но так оно и есть, мой Луцилий: хотя кажется, что между ними нет ничего общего, на самом деле они связаны. Как одна цепь связывает стража и пленного, так страх и надежда, столь несхожие между собой, приходят заодно: вслед за надеждой является страх. (8) Я и не удивляюсь этому: ведь оба они присущи душе неуверенной, тревожимой ожиданием будущего. А главная причина надежды и страха – наше неуменье приноравливаться к настоящему и привычка засылать наши помыслы далеко вперед. Так предвиденье, величайшее из данных человеку благ, оборачивается во зло. (9) Звери бегут только при виде опасностей, а убежав от них, больше не испытывают страха. Нас же мучит и будущее и прошедшее. Из наших благ многие нам вредят: так память возвращает нас к пережитым мукам страха, а предвиденье предвосхищает муки будущие. И никто не бывает несчастен только от нынешних причин. Будь здоров.

Письмо VI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я понимаю, Луцилий, что не только меняюсь к лучшему, но и становлюсь другим человеком. Я не хочу сказать, будто во мне уже нечего переделывать, да и не надеюсь на это. Как может больше не быть такого, что надо было бы исправить, поубавить или приподнять? Ведь если душа видит свои недостатки, которых прежде не знала, это свидетельствует, что она обратилась к лучшему. Некоторых больных надо поздравлять и с тем, что они почувствовали себя больными.

(2) Я хочу, чтобы эта так быстро совершающаяся во мне перемена передалась и тебе: тогда я бы еще крепче поверил в нашу дружбу – истинную дружбу, которой не расколют ни надежда, ни страх, ни корысть, такую, которую хранят до смерти, ради которой идут на смерть. (3) Я назову тебе многих, кто лишен не друзей, но самой дружбы. Такого не может быть с теми, чьи души объединяет общая воля и жажда честного. Как же иначе? Ведь они знают, что тогда у них все общее, особенно невзгоды. Ты и представить себе не можешь, насколько каждый день, как я

замечаю, движет меня вперед. – (4) «Но если ты что нашел и узнал его пользу по опыту, поделись со мною!» – скажешь ты. – Да ведь я и сам хочу все перелить в тебя и, что-нибудь выучив, радуюсь лишь потому, что смогу учить. И никакое знание, пусть самое возвышенное и благотворное, но лишь для меня одного, не даст мне удовольствия. Если бы мне подарили мудрость, но с одним условием: чтобы я держал ее при себе и не делился ею, – я бы от нее отказался. Любое благо нам не на радость, если мы обладаем им в одиночку.

(5) Пошлю я тебе и книги, а чтобы ты не тратил труда на поиски вещей полезных, сделаю пометки, по которым ты сразу найдешь все, что я одобряю и чем восхищаюсь. Но больше пользы, чем слова, принесли бы тебе живой голос мудрецов и жизнь рядом с ними. Лучше прийти и видеть все на месте, во-первых, потому, что люди верят больше глазам, чем ушам [1], во-вторых, потому, что долог путь наставлений, краток и убедителен путь примеров. (6) Не стал бы Клеанф точным подобьем Зенона [2], если бы он только слышал его. Но ведь он делил с ним жизнь, видел скрытое, наблюдал, живет ли Зенон в согласии со своими правилами. И Платон, и Аристотель[3], и весь сонм мудрецов, которые потом разошлись в разные стороны, больше почерпнули из нравов Сократа, чем из слов его. Метродора и Гермарха, и Полнена[4] сделали великими людьми не уроки Эпикура, а жизнь с ним вместе. Впрочем, зову я тебя не только ради той пользы, которую ты получишь, но и ради той, которую принесешь; вдвоем мы больше дадим друг другу.

(7) Кстати, за мной ежедневный подарочек. Вот что понравилось мне нынче у Гекатона: «Ты спросишь, чего я достиг? Стал самому себе другом!» Достиг он немалого, ибо теперь никогда не останется одинок. И знай: такой человек всем будет другом. Будь здоров.

Письмо VII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты спрашиваешь, чего тебе следует больше всего избегать? Толпы? Ведь к ней не подступиться без опасности! Признаюсь тебе в своей слабости: никогда не возвращаюсь я таким же, каким вышел. Что я успокоил, то вновь приходит в волнение, что гнал от себя – возвращается. Как бывает с больными, когда долгая слабость доводит их до того, что они и выйти не могут без вреда для себя, так случается и с нами, чьи души выздоравливают после долгого недуга. (2) Нет врага хуже, чем толпа, в которой ты трешься. Каждый непременно либо прельстит тебя своим пороком, либо заразит, либо незаметно запачкает. Чем сборище многолюдней, тем больше опасности. И нет ничего гибельней для добрых нравов, чем зрелища: ведь через наслаждение еще легче подкрадываются к нам пороки. (3) Что я, по-твоему, говорю? Возвращаюсь я более скупым, более честолюбивым, падким до роскоши и уж наверняка более жестоким и бесчеловечным: и все потому, что побыл среди людей. Случайно попал я на полуденное представление [1], надеясь отдохнуть и ожидая игр и острот – того, на чем взгляд человека успокаивается после вида человеческой крови. Какое там! Все прежнее было не боем, а сплошным милосердием, зато теперь – шутки в сторону – пошла настоящая резня! Прикрываться нечем, все тело подставлено под удар, ни разу ничья рука не поднялась понапрасну. (4) И большинство предпочитает это обычным парам и самым любимым бойцам![2] А почему бы и нет? Ведь нет ни шлема, ни щита, чтобы отразить меч! Зачем доспехи? Зачем приемы? Все это лишь оттягивает миг смерти. Утром люди отданы на растерзанье львам и медведям, в полдень – зрителям. Это они велят убившим идти под удар тех, кто их убьет, а победителей щадят лишь для новой бойни. Для сражающихся нет иного выхода, кроме смерти. В дело пускают огонь и железо, и так покуда не опустеет арена[3]. – (5) «Но он занимался разбоем, убил человека»[4]. – Кто убил, сам заслужил того же. Но ты, несчастный, за какую вину должен смотреть на это? – «Режь, бей, жги! Почему он так робко бежит на клинок? Почему так несмело убивает? Почему так неохотно умирает?» – Бичи гонят их на меч, чтобы грудью, голой грудью встречали противники удар. В представлении перерыв? Так пусть тем временем убивают людей, лишь бы что-нибудь происходило.

Как вы не понимаете, что дурные примеры оборачиваются против тех, кто их подает? Благодарите бессмертных богов за то, что вы учите жестокости неспособного ей выучиться. (6) Дальше от народа пусть держится тот, в ком душа еще не окрепла и не стала стойкой в добре:

такой легко переходит на сторону большинства. Даже Сократ, Катои и Лелий[5] отступились бы от своих добродетелей посреди несхожей с ними толпы, а уж из нас, как ни совершенствуем мы свою природу, ни один не устоит перед натиском со всех сторон подступающих пороков. (7) Много зла приносит даже единственный пример расточительности и скупости; изба лованный приятель и нас делает слабыми и изнеженными, богатый сосед распаляет нашу жадность, лукавый товарищ даже самого чистого и простодушного заразит своей ржавчиной. Что же, потвоему, будет с нашими нравами, если на них ополчился целый народ? Непременно ты или станешь ему подражать, или его возненавидишь. (8) Между тем и того, и другого надо избегать: нельзя уподобляться злым оттого, что их много, нельзя ненавидеть многих оттого, что им не уподобляешься. Уходи в себя, насколько можешь; проводи время только с теми, кто сделает тебя лучше, допускай к себе только тех, кого ты сам можешь сделать лучше. И то и другое совершается взаимно, люди учатся, обучая. (9) Значит, незачем тебе ради честолюбивого желанья выставлять напоказ свой дар, выходить на середину толпы и читать ей вслух либо рассуждать перед нею; по-моему, это стоило бы делать, будь твой товар ей по душе, а так никто тебя не поймет. Может быть, один-два человека тебе и попадутся, но и тех тебе придется образовывать и наставлять, чтобы они тебя поняли. «Но чего ради я учился?» – Нечего бояться, что труд твой пропал даром: ты учился ради себя самого.

(10) Но я-то не ради себя одного учился сегодня и потому сообщу тебе, какие мне попались три замечательных изречения – все почти что об одном и том же. Первое пусть погасит долг в атом письме, два других прими в уплату вперед. Демокрит пишет: «Для меня один человек – что целый народ, а народ – что один человек». (11) И тот. кто на вопрос, зачем он с таким усердием занимается искусством, которое дойдет лишь до немногих, отвечал: «Довольно с меня и немногих, довольно с меня и одного, довольно с меня и ни одного», – сказал тоже очень хорошо, кто бы он ни был[6] (на этот счет есть разные мнения). Превосходно и третье изречение – Эпикура, писавшего одному из своих товарищей по ученым занятиям: «Это я говорю для тебя, а не для толпы: ведь каждый из нас для другого стоит битком набитого театра». (12) Вот что, мой Луцилий, нужно сберечь в душе, чтобы пренебречь удовольствием, доставляемым похвалами большинства. Многие тебя одобряют. Так есть ли у тебя причины быть довольным собой, если многим ты понятен? Вовнутрь должны быть обращены твои достоинства! Будь здоров.

Письмо VIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) «Ты приказываешь мне избегать толпы, – пишешь ты, – уединиться и довольствоваться собственной совестью. А как же ваши наставления, повелевающие трудиться до самой смерти?» – Но то, к чему я тебя склоняю скрыться и запереть двери, – я сам сделал, чтобы многим принести пользу. Ни одного дня я не теряю в праздности, даже часть ночи отдаю занятиям. Я не иду спать, освободившись: нет, сон одолевает меня, а я сижу, уставившись в свою работу усталыми от бодрствования, слипающимися глазами. (2) Я удалился не только от людей, но и от дел, прежде всего – моих собственных, и занялся делами потомков. Для них я записываю то, что может помочь им. Как составляют полезные лекарства, так я заношу на листы спасительные наставления, в целительности которых я убедился на собственных ранах: хотя мои язвы не закрылись совсем, но расползаться вширь перестали. (3) Я указываю другим тот правильный путь, который сам нашел так поздно, устав от блужданий. Я кричу: «Избегайте всего, что любит толпа, что подбросил вам случай! С подозрением и страхом остановитесь перед всяким случайным благом! Ведь и рыбы, и звери ловятся на приманку сладкой надежды! Вы думаете, это дары фортуны? Нет, это ее козни. Кто из вас хочет прожить жизнь насколько возможно безопаснее, тот пусть бежит от этих вымазанных птичьим клеем благодеяний, обманывающих нас, несчастных, еще и тем, что мы, возомнив, будто добыча наша, сами становимся добычей. Погоня за ними ведет в пропасть. (4) Исход высоко вознесшейся жизни один – паденье. К тому же нельзя и сопротивляться, когда счастье начинает водить нас вкривь и вкось. Или уж плыть прямо, или разом ко дну! Но фортуна не сбивает с пути – она опрокидывает и кидает на скалы.

(5) Угождайте же телу лишь настолько, насколько нужно для поддержания его крепости, и

такой образ жизни считайте единственно здоровым и целебным. Держите тело в строгости, чтобы оно не перестало повиноваться душе: пусть пища лишь утоляет голод, питье – жажду, пусть одежда защищает тело от холода, а жилище – от всего ему грозящего. А возведено ли жилище из дерна или из пестрого заморского камня, разницы нет: знайте, под соломенной кровлей человеку не хуже, чем под золотой. Презирайте все, что ненужный труд создает ради украшения или напоказ. Помните: ничто, кроме души, недостойно восхищения, а для великой души все меньше нее».

(6) И когда я беседую так с самим собою, беседую с потомками, неужели, по-твоему, я приношу меньше пользы, чем отправляясь в суд ходатаем, или припечатывая перстнем таблички с завещанием, или в сенате[1] отдавая руку и голос соискателю должности? Поверь мне, кто кажется бездельником, тот занят самыми важными делами, и божественными и человеческими вместе. (7) Однако пора кончать и, по моему правилу, чем-нибудь расквитаться с тобой и в этом письме. Уплачу я не из собственных запасов; я до сих пор все просматриваю Эпикура и сегодня вычитал у него такие слова: «Стань рабом философии, чтобы добыть подлинную свободу». И если ты предался и подчинился ей, твое дело не будет откладываться со дня на день: сразу же ты получишь вольную. Потому что само рабство у философии есть свобода. (8) Может статься, ты спросишь меня, отчего я беру столь много прекрасных изречений у Эпикура, а не у наших. Но почему ты думаешь, что подобные слова принадлежат одному Эпикуру, а не всем людям? Ведь как много поэты говорят такого, что или сказано, или должно быть сказано философами! Я не беру ни трагедии, ни нашей тогаты[2], которая тоже не лишена серьезности и стоит посре дине между трагедией и комедией; но и в мимах столько есть красноречивых строк! Сколько стихов Публилия[3] надо бы произносить не обутым в сандалии, но выступающим на котурнах![4] (9) Я приведу один его стих, имеющий касательство к философии, и как раз к той ее части, которой мы только что занимались; в нем поэт утверждает, что случайно доставшееся нельзя считать своим:

Чужое, что по вашему хотенью вдруг Свалилось нам.

(10) Но ты, я помню, говорил другой стих, намного лучше и короче:

Не наше то, что нам дано фортуною.
А это твое изречение (я не пропущу и его) даже еще лучше:
Все, что дано нам, может быть и отнято.
Но этого я не зачту в погашение долга: я лишь отдал тебе твое же Будь здоров.

Письмо IX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты хочешь знать, справедливо ли Эпикур в одном из писем порицал тех, кто утверждает, будто мудрецу никто, кроме него самого, не нужен и потому ничьей дружбы не требуется. Этот упрек Эпикур бросает Стильпону[1] и тем, кто думает, что высшее благо – когда душа ничего не терпит. (2) Впрочем, мы неизбежно впадаем в двусмысленность, если для краткости переводим слово awa&eia[2], прибегая к слову «терпеть». Ведь можно подумать, будто смысл тут противоположен тому, что мы имеем в виду. Мы хотели сказать: «душа, которой безразлична любая боль», а понять можно так: «душа, которая не может вытерпеть никакой боли». Погляди же сам, не лучше ли будет сказать «неуязвимая душа» или «душа, недоступная для любого страдания»? (3) В том и разница между ними и нами: наш мудрец побеждает все неприятное, но чувствует его, а их мудрец даже и не чувствует. Общее же и у нас и у них вот что: мудрому никто, кроме него самого, не нужен. Но хоть с него и довольно самого себя, ему все же хочется иметь и друга, и соседа, и товарища. (4) Сам посуди, до какой степени довольствуется сам собой тот, кто порой довольствуется и частью самого себя. Если болезнь или враг лишат его руки, если случай

отнимет у него глаз[3], мудрецу хватает того, что осталось, он и с искалеченным телом будет так же весел, как был до увечий. Но хоть он и не тоскует о потерянном, однако предпочел бы обойтись без потерь. (5) Так же точно никто, кроме него самого, не нужен мудрецу не потому, что он хочет жить без друзей, а потому, что может. Говоря «может», я имею в виду вот что: со спокойной душой перенесет он потерю. Ведь без друзей он не останется никогда, и в его власти решать, сколь быстро найти замену. Фидий, если бы потерял статую, сразу сделал бы другую. Так же и он – мастер завязывать дружбу – заместил бы утраченного друга новым. (6) Ты спросишь, как можно быстро приобрести чью-нибудь дружбу; я отвечу, если мы договоримся, что я сейчас отдам тебе долг и по этому письму мы будем в расчете. Гекатон говорит: «Я укажу приворотное средство без всяких снадобий, без трав, без заклинаний знахарки. Если хочешь, чтоб тебя любили, – люби». Не только старая, испытанная дружба приносит нам великое наслаждение, но и начало новой, только лишь приобретаемой. (7) Между приобретшим друга и приобретающим его та же разница, что между жнецом и сеятелем. Философ Аттал[4] не раз говорил, что приятнее добиваться дружбы, чем добиться ее, как художнику приятнее писать картину, чем ее окончить. Кто занимается своим произведением с душевным беспокойством, тот в самом занятии находит великую усладу. Выпуская из рук законченное произведение, он уже не будет так наслаждаться: теперь он радуется плодам своего искусства, а пока он писал, его радовало само искусство. Отрочество наших детей щедрее плодами, но их младенчество нам милее.

(8) Но вернемся к нашему предмету. Пусть мудрому никто, кроме него самого, не нужен, он все-таки желает иметь друга, хотя бы ради деятельной дружбы, чтобы не оставалась праздной столь великая добродетель, и не ради того, чтобы, как говорит Эпикур в том же письме, «было кому ухаживать за ним в болезни, помогать в оковах или в нужде», но чтобы самому было за кем ухаживать в болезни, кого вызволять из-под вражеской стражи. Плохи мысли того, кто подружился, видя лишь самого себя; как он начал, так и кончит. Кто завел друга, чтобы тот выручал из цепей, тот покинет его, едва загремят оковы. (9) Таковы дружеские союзы, которые народ называет временными. С кем мы сошлись ради пользы, мил нам, лишь покуда полезен. Вот почему вокруг того, чьи дела процветают, – толпа друзей, а вокруг потерпевших крушение – пустыня. Друзья бегут оттуда, где испытывается дружба. Вот почему видим мы так много постыдных примеров, когда одни из страха бросают друзей, другие из страха предают их. Каково начало, таков конец, иначе и быть не может. Кто подружился ради выгоды, тому будет дорога награда за измену дружбе, коль скоро и в ней было дорого ему что-нибудь, кроме нее самой. (10) Для чего приобретаю я друга? Чтобы было за кого умереть, за кем пойти в изгнанье, за чью жизнь бороться и отдать жизнь. А дружба, о которой ты пишешь, та, что заключается ради корысти и смотрит, что можно выгадать, – это не дружба, а сделка. (11) Нет сомнения, страсть влюбленных имеет с дружбой нечто общее, ее можно бы даже назвать безрассудной дружбой. Но разве любит кто-нибудь ради прибыли? Ради честолюбия и славы? Любовь сама по себе, пренебрегая всем остальным, зажигает души вожделением к красоте, не чуждым надежды на ответную нежность. Как же так? Неужели причина более честная родит постыдную страсть? – (12) Ты возразишь мне: «Не о том сейчас речь, надо ли искать дружбы ради нее самой или ради иной цели». Наоборот, как раз это и надобно доказать[5]. Ведь если надо искать ее ради нее самой, значит, и тот, кто ни в ком, кроме себя, не нуждается, может искать ее. – «Как же он будет ее искать?» – Как ищут самое прекрасное, не прельщаясь прибылью, не боясь переменчивости фортуны. Кто заводит друзей на всякий случай,тот лишает дружбу ее величия.

(13) Мудрому никто, кроме него самого, не нужен. Многие, Луцилий, толкуют эту мысль превратно: изгоняют мудреца отовсюду и заставляют его замкнуться в своей скорлупе. Между тем следует разобраться, много ли обещает это изречение и что обещает. Мудрому довольно самого себя для того, чтобы жить блаженно, а не для того, чтобы жить. Для жизни ему многое потребно, а для блаженства только высокий и здоровый дух, презирающий фортуну. (14) Я хочу сослаться на Хрисиппа[6], какое он принимает разделение[7]. Он говорит, что мудрец ни в чем не терпит нужды, хотя потребно ему многое, глупому же ничего не требуется, потому что он ничем не умеет пользоваться, зато нужду он терпит во всем. Мудрецу нужны и руки, и глаза, и еще многое, без чего не обойтись в повседневной жизни, а нужды он не терпит ни в чем. Ведь нужда – это необходимость, а для мудрого необходимости нет. (15) Значит, хотя мудрец и довольству-

ется самим собой, в друзьях он все же имеет потребность и хочет иметь их как можно больше, но не для блаженной жизни, – ведь жить блаженно может он и без друзей. Высшее благо не ищет орудий вовне: оно создастся дома и возникает только само из себя. Если же хоть какая-то часть его заимствуется извне, оно уже зависит от фортуны. – (16) «А как будет жить мудрец, если он, взятый под стражу, переселенный на чужбину, замешкавшийся в долгом плавании, выброшенный на пустынный берег, останется без друзей?» – Как Юпитер в ту пору, когда мир расточится[8], боги сольются воедино, природа замрет в неподвижности, а сам он успокоится, предавшись думам. Нечто подобное делает и мудрый: он замыкается в себе, остается с самим собой. (17) Покуда, однако, он может вершить дела по своему усмотрению, он, хоть ни в ком, кроме себя, не нуждается, берет жену, хоть ни в ком не нуждается, родит детей, хоть ни в ком не нуждается, не станет жить, если придется жить, не видя ни единого человека. К дружбе влечет его не собственная польза, а естественная тяга. Ведь от роду заложено в нас влечение ко многим вещам, в их числе и к дружбе. Подобно тому как всем ненавистно одиночество, подобно тому как стремление жить сообща естественно объединяет человека с человеком, так есть и здесь некое побуждение, заставляющее нас стремиться к дружбе. (18) Но, хоть мудрец и любит как никто друзей, хотя он ставит их наравне с собой, а часто и выше себя, – все же он будет верить, что все его благо в нем самом, и повторит слова Стильпона, того-самого, на которого нападает в письме Эпикур. Когда родной город Стильпона был захвачен, когда он потерял жену, потерял детей, а сам вышел из охватившего все пожара один, но по-прежнему блаженный, Деметрий, прозванный из-за множества уничтоженных им городов Полиоркетом[9], спросил его, потерял ли Стильпон что-нибудь, и тот ответил: «Все мое благо со мною!» (19) Вот человек смелый и решительный! Он победил даже победившего врага. Он сказал: «Я ничего не потерял», – и заставил того сомневаться в собственной победе. «Все мое со мной» – со мной справедливость, добродетель[10], разумность, сама способность не считать благом то, что можно отнять. Мы дивимся животным, которые могут пройти сквозь огонь без вреда для тела; но насколько удивительнее этот человек, который прошел сквозь вооруженный строй, огонь и развалины без ущерба и вреда для себя! Видишь, насколько легче победить целый народ, чем одного человека? Его речь – это речь стоика, который тоже проносит свое благо нетронутым через сожженные города. Ведь никто, кроме него самого, ему не нужен, – таковы для него пределы счастья. (20) А чтоб ты не думал, будто мы одни бросаемся высокими словами, – знай, что и сам упрекавший Стильпона Эпикур написал сходное изречение, которое ты и соблаговоли принять, хотя сегодняшний мой долг уже погашен. «Кому не кажется верхом изобилия то, что есть, тот останется бедняком, даже сделавшись хозяином всего мира». Или же так, если, по-твоему, это звучит лучше (ведь сохранять верность надо не словам, а мыслям):

«Кто не считает себя блаженней всех, тот несчастен, даже если повелевает миром». (21) Знай, что мысли эти принадлежат всем и, значит, подсказаны природой, так что их же ты найдешь и у комического поэта:

Несчастен, кто счастливым не сочтет себя.»

Имеет ли значение, как тебе живется, если ты полагаешь, что плохо? (22) «Так что же, – спросишь ты, – если объявит себя блаженным и бесчестно разбогатевший, и хозяин сотен рабов, рабствующий у тысячи хозяев, значит, он и станет блаженным по собственному приговору?» – Нет, важно не то, что он говорит, а что чувствует, и не то, что чувствует сегодня, а то, что всегда. Потому тебе нет причины бояться, что столь великое благо достанется и на долю недостойных. Только мудрому по душе то, что есть, глупость же постоянно страдает, гнушаясь тем, что имеет. Будь здоров.

Письмо X

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Так оно и есть, я не меняю своего мнения: избегай толпы, избегай немногих, избегай даже одного. Нет никого, с кем я хотел бы видеть тебя вместе. Убедись же воочию, как высоко я

сужу о тебе, если отваживаюсь доверить тебя тебе самому. Говорят, Кратет[1], слушатель того самого Стильпона, о котором я упомянул в предыдущем письме, увидал однажды гуляющего в одиночку юнца и спросил его, что он тут делает один. – «Разговариваю с самим собой», – был ответ. На это Кратет сказал: «Будь осторожен, прошу тебя, и гляди как следует: ведь твой собеседник – дурной человек!» (2) Обычно мы стережем тех, кто в горе или в страхе, чтобы не дать им использовать во зло свое одиночество. Да и никого из людей неразумных не следует предоставлять самим себе: тут-то и обуревают их дурные замыслы, тут и готовят они опасности себе и другим, тут к ним и приходят чередой постыдные вожделения. Тут-то все, что стыд и страх заставляли скрывать, выносится на поверхность души, тут-то она и оттачивает дерзость, подхлестывает похоть, горячит гневливость. Есть у одиночества одно преимущество: возможность никому ничего не открывать и не бояться обличителя; но это и губит глупого, ибо он выдает сам себя.

Вот видишь, как я надеюсь на тебя, вернее, как я за тебя ручаюсь (потому что «надеждой» зовется благо, которое либо будет, либо нет): лучшего товарища, чем ты сам, я для тебя не нахожу. (3) Я возвращаюсь памятью к тем полным силы словам, которые ты произносил с таким благородством. Тогда я поздравил себя и сказал: «Эти слова не просто слетели с языка, у них есть прочное основание. Этот человек – не один из многих, он стремится к спасению». (4) Так и говори, так и живи. Смотри только, чтобы ничто тебя не поработило. Прежние твои моления предоставь воле богов, а сам моли их заново и о другом: о ясности разума и здоровье душевном, а потом только – телесном. Почему бы тебе не молить об этом почаще? Смело проси бога: ничего чужого ты у него не просишь.

(5) Но хочу, как у нас заведено, послать тебе с этим письмом небольшой подарок. Правдивые слова нашел я у Афинодора[2]: «Знай, что тогда ты будешь свободен от всех вожделений, когда тебе придется молить богов лишь о том, о чем можно молить во всеуслышанье»[3]. А ведь до чего люди безумны! Шепотом возносят они богам постыднейшие мольбы, чуть кто приблизит ухо – смолкают, но богу рассказывают то, что скрывают от людей. Так смотри, чтобы это наставление нельзя было с пользой прочесть и тебе: живи с людьми так, будто на тебя смотрит бог, говори с богом так, будто тебя слушают люди. Будь здоров.

Письмо XI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Со мною беседовал твой друг, юноша с хорошими задатками; какова его душа, каков ум, каковы успехи – все стало мне ясно, чуть он заговорил. Каким он показал себя с первой пробы, таким и останется: ведь он говорил без подготовки, застигнутый врасплох. И даже собравшись с мыслями, он едва мог преодолеть застенчивость (а это хороший признак в молодом человеке), – до того он залился краской[1]. Я подозреваю, что это останется при нем и тогда, когда он, окрепнув и избавившись от всех пороков, достигнет мудрости. Никакая мудрость не устраняет природных изъянов тела или души[2]: что заложено в нас рождением, то можно смягчить, но не победить искусством. (2) Некоторых, даже очень стойких людей при виде толпы народа бросает в пот, как будто они устали или страдают от зноя: у некоторых, когда им предстоит выступать с речью, дрожат колени, у других стучат зубы, заплетается язык, губы слипаются. Тут не поможет ни выучка, ни привычка, тут природа являет свою силу, через этот изъян напоминая о себе самым здоровым и крепким.

(3) К числу таких изъянов, я знаю, принадлежит и краска, вдруг заливающая лицо даже самым степенным людям. Чаще всего это бывает у юношей, – у них и жар сильнее, и кожа на лице тоньше; но не избавлены от такого изъяна и пожилые, и старые. Некоторых больше всего и надо опасаться, когда они покраснеют: тут-то их и покидает всякий стыд.

(4) Сулла был особенно жесток тогда, когда к лицу его приливала кровь. Никто так легко не менялся в лице, как Помпеи, который непременно краснел на людях, особенно во время сходок. Я помню, как Фабиан[3], когда его привели в сенат свидетелем, покраснел, и этот румянец стыда чудо как его красил. (5) Причина этому – не слабость духа, а новизна, которая хоть и не пугает, но волнует неопытных и к тому же легко краснеющих из-за природной предрасположен-

ности тела. Ведь если у одних кровь спокойная, то у других она горячая и подвижная и тотчас бросается в лицо. (6) От этого, повторяю, не избавит никакая мудрость: иначе, если б она могла искоренять любые изъяны, ей была бы подвластна сама природа. Что заложено в нас рожденьем и строением тела, останется, как бы долго и упорно ни совершенствовался наш дух. И помешать этим вещам так же невозможно, как и вызвать их насильно. (7) Актеры на подмостках, когда подражают страстям, когда хотят изобразить страх или трепет либо представить грусть, подражают лишь некоторым признакам смущения: опускают голову, говорят тихим голосом, смотрят в землю с понурым видом, а вот покраснеть не могут, потому что румянец нельзя ни подавить, ни заставить появиться. Тут мудрость ничего не сулит, ничем не поможет: такие вещи никому не подвластны – без приказа приходят, без приказа исчезают.

(8) Но письмо это уже просит завершения. Получи от меня нечто полезное и целительное и навсегда сохрани в душе: «Следует выбрать кого-нибудь из людей добра[4] и всегда иметь его перед глазами, – чтобы жить так, словно он смотрит на нас, и так поступать, словно он видит нас». (9) Этому, мой Луцилий, учит Эпикур. Он дал нам охранителя и провожатого – и правильно сделал. Многих грехов удалось бы избегнуть, будь при нас, готовых согрешить, свидетель. Пусть душа найдет кого-нибудь, к кому бы она испытывала почтение, чей пример помогал бы ей очищать самые глубокие тайники. Счастлив тот, кто, присутствуя лишь в мыслях другого, исправит его! Счастлив и тот, кто может так чтить другого, что даже память о нем служит образцом для совершенствования! Кто может так чтить другого, тот сам вскоре внушит почтение. (10) Выбери же себе Катона, а если он покажется тебе слишком суровым, выбери мужа не столь непреклонного – Лелия. Выбери того, чья жизнь и речь, и даже лицо, в котором отражается душа, тебе приятны; и пусть он всегда будет у тебя перед глазами, либо как хранитель, либо как при мер. Нам нужен, я повторяю, кто-нибудь, по чьему образцу складывался бы наш нрав. Ведь криво проведенную черту исправишь только по линейке. Будь здоров.

Письмо XII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Куда я ни оглянусь – всюду вижу свидетельства моей старости, Приехал я в свою загородную и стал жаловаться, что дорого обходится ветхая постройка, а управляющий отвечает мне, что тут виною не его небрежность – он делает все, да усадьба стара. Усадьба эта выросла под моими руками; что же меня ждет, если до того искрошились камни – мои ровесники? (2) В сердцах я ухватился за первый попавшийся повод разбранить его: «А об этих платанах явно никто не заботился: на них и листвы нет, и сучья такие высохшие и узловатые, и стволы такие жалкие и облезлые! Не было бы этого, если бы кто-нибудь их окапывал и поливал!» – Он же клянется моим гением[1], что все делает, ухаживает за ними, ничего не упуская, – но деревья-то старые! А платаны эти, между нами говоря, сажал я сам, я видел на них первый лист. (3) Поворачиваюсь к дверям. «А это кто, – спрашиваю, – такой дряхлый? Правильно сделали, что поместили его в сенях: ведь он уже смотрит за двери. Откуда ты его взял? Какая тебе радость выносить чужого мертвеца?» А тот в ответ: «Ты что, не узнал меня? Ведь я – Фелицион, это мне ты всегда дарил кукол на сатурналии; я сын управляющего Филосита, твой любимец». – «Ясное дело, – говорю я, – он бредит! Это он-то еще малышом стал моим любимцем? Впрочем, очень может быть: ведь у него как раз выпадают зубы».

(4) Вот чем обязан я своей загородной: куда бы ни оглянулся, – все показывало мне, как я стар. Что ж, встретим старость с распростертыми объятиями: ведь она полна наслаждений, если знать, как ею пользоваться. Плоды для нас вкуснее всего, когда они на исходе; дети красивей всего, когда кончается детство. Любителям выпить милее всего последняя чаша, от которой они идут ко дну, которая довершает опьянение. (5) Всякое наслажденье свой самый отрадный миг приберегает под конец. И возраст самый приятный тот, что идет под уклон, но еще не катится в пропасть. Да и тот, что стоит у последней черты, не лишен, по-моему, своих наслаждений, – либо же все наслажденья заменяет отсутствие нужды в них. Как сладко утомить все свои вожделенья и отбросить их! (6) Ты возразишь мне: «Тягостно видеть смерть перед глазами». Но, во-первых, она должна быть перед глазами и у старика, и у юноши – ведь вызывают нас не по воз-

растному списку. Во-вторых, нет стариков столь дряхлых, чтобы им зазорно было надеяться на лишний день. Каждый день – это ступень жизни, весь наш век разделен на части и состоит из кругов, меньших и больших, охватывающих меньшие. Один из них обнимает все прочие – он тянется от дня рождения до дня смерти; еще один выделяет годы отрочества; есть и такой, что заключает в себе наше детство; есть, наконец, просто год с его четырьмя временами; годовые круги, умножаясь, составляют жизнь. Месяц очерчен меньшей окружностью, теснее всех круг одного дня, но и тот идет от начала к концу, от восхода к закату. (7) Поэтому Гераклит, получивший прозвище из-за темного смысла своих речей[2], говорит:

«Один день равен всякому другому». Каждый понимает это на свой лад. Один говорит, что дни равны по числу часов, и не лжет: ведь коль скоро день – это двадцать четыре часа, то все дни непременно равны между собой, так как к ночи прибавляется столько часов, на сколько убывает день. Другой говорит, что любой день равен всем прочим по сходству: в самом протяженном времени нет ничего такого, чего нельзя найти в одних сутках, то есть ничего, кроме дня и ночи, которые оно в череде обращений мира множит, но не изменяет, разве что делает день короче, ночь длиннее или наоборот. (8) Потому каждый день нужно проводить так, словно он замыкает строй, завершает число дней нашей жизни. Когда Пакувий[3], присвоивший Сирию, пировал и пьянствовал, справляя по самому себе поминки, его уносили от стола в спальню под рукоплескания его любовников, певших под музыку:,8e(3i(i)rai, рвВютсч. – Он прожил жизнь (греч.). И каждый день он устраивал себе такой вынос. (9) Мы же то, что он делал от нечистой совести, должны делать с чистой душой и, отправляясь ко сну, говорить весело и радостно:

Прожита жизнь, и пройден весь путь, что судьбой мне отмерен.[4]

А если бог подарит нам и завтрашний день, примем его с радостью. Счастливей всех тот, кто без тревоги ждет завтрашнего дня: он уверен, что принадлежит сам себе. Кто сказал «прожита жизнь», тот каждое утро просыпается с прибылью.

(10) Но пора уже кончать письмо. Ты спросишь: «Неужели оно придет ко мне без подарка?» Не бойся: что-нибудь оно да принесет. Нет, как мог я так сказать? Не что-нибудь, а много! Ведь что лучше изречения, которое я ему вручаю для передачи тебе: «Жить в нужде плохо, но только нет нужды жить в нужде». А почему нет нужды? Потому что к свободе повсюду открыты дороги, короткие и легкие. Поблагодарим бога за то, что никто не может навязать нам жизнь и мы в силах посрамить нужду. – (11) Ты возразишь мне: «Это слова Эпикура; на что тебе чужое?» – Что истинно, то мое. Я не устану потчевать тебя Эпикуром, и пусть знают все, кто слепо твердит его слова и ценит их не за то, что в них сказано, а за то, кем они сказаны: лучшее принадлежит всем. Будь здоров.

Письмо XIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я знаю, что у тебя довольно мужества. Ведь и не вооружившись еще спасительными наставлениями, побеждающими все невзгоды, тм уже рассчитывал на себя в борьбе с судьбой – и тем более после того, как схватился с нею вплотную и испытал свою мощь, на которую нельзя полагаться наверняка, покуда не появилось отовсюду множество трудностей, а порой и покуда они не подступили совсем близко. На них испытывается подлинное мужество, которое не потерпит чужого произвола, они проверяют его огнем. (2) Не знавший синяков атлет не может идти в бой с отвагою. Только тот, кто видал свою кровь, чьи зубы трещали под кулаком, кто, получив подножку, всем телом выдерживал тяжесть противника, кто, упав, не падал духом и, опрокинутый, всякий раз вставал еще более непреклонным, – только тот, вступая в бой, не расстается с надеждой. (3) Так вот, чтобы продолжить это сравнение: часто фортуна подминала тебя, но ты не сдавался, а вскакивал с еще большим пылом и стоял твердо, потому что доблесть сама по себе возрастает, если ей бросают вызов. Однако, если тебе угодно, прими от меня помощь, которая может укрепить тебя.

(4) Не столь многое мучит нас, сколь многое пугает, и воображение, мой Луцилий, доставляет нам больше страданий, чем действительность. Я говорю с тобою не на языке стоиков, а по-своему, намного мягче. Мы ведь утверждаем, что все исторгающее у нас вопли и стоны ничтожно и достойно презрения. Но оставим эти громкие, хотя, клянусь богами, и справедливые, слова. Я учу тебя только не быть несчастным прежде времени, когда то, чего ты с тревогой ждешь сейчас же, может и вовсе не наступить и уж наверняка не наступило. (5) Многое мучит нас больше, чем нужно, многое прежде, чем нужно, многое – вопреки тому, что мучиться им вовсе не нужно. Мы либо сами увеличиваем свои страданья, либо выдумываем их, либо предвосхищаем. Первое мы сейчас разбирать не будем: дело это спорное, тяжба только началась. То, что я назову легким, ты – наперекор мне – назовешь мучительным. Я знаю таких, которые смеются под бичами, «и таких, которые стонут от оплеухи. Позже мы увидим, в том ли дело, что сами вещи эти сильны, или в том, что мы слабы. (6) Обещай мне одно: когда тебя со всех сторон начнут убеждать, будто ты несчастен, думай не о том, что ты слышишь, а о том, что чувствуешь, терпеливо размысли о своих делах (ведь ты знаешь их лучше всех) и спроси себя: «Почему они меня оплакивают? Почему дрожат и боятся даже моего прикосновения, словно невзгода может перейти на них? В самом ли деле это беда или больше слывет бедою?» Расспроси самого себя: «А вдруг я терзаюсь и горюю без причины, и считаю бедою то, что вовсе не беда?»

(7) Ты спросишь: «Откуда мне знать, напрасны мои тревоги или не напрасны?» – Вот тебе верное мерило! Мучит нас или настоящее, или будущее, или то и другое вместе. О настоящем судить нетрудно: лишь бы ты был здоров телом и свободен, лишь бы не томила болью никакая обида. Теперь посмотрим, что такое будущее. (8) Сегодняшнему дню нет до него дела. «Но ведь будущее-то наступит!» – А ты взгляни, есть ли верные признаки приближения беды. Ведь страдаем мы по большей части от подозрений, нас морочит та, что нередко оканчивает войны, а еще чаще приканчивает людей поодиночке, – молва. Так оно и бывает, мой Луцилий: мы сразу присоединяемся к общему мнению, не проверяя, что заставляет нас бояться, и, ни в чем не разобравшись, дрожим и бросаемся в бегство, словно те, кого выгнала из лагеря пыль, поднятая пробегающим стадом овец, или те, кого запугивают неведомо кем распространяемые небылицы. (9) Не знаю как, но только вымышленное тревожит сильнее. Действительное имеет свою меру, а о том, что доходит неведомо откуда, пугливая душа вольна строить догадки. Нет ничего гибельней и непоправимей панического страха: всякий иной страх безрассуден, а этот – безумен.

(10) Рассмотрим же это дело повнимательней. Вероятно, что случится беда. Но не сей же миг! И как часто нежданное случается! Как часто ожидаемое не сбывается! Даже если нам предстоит страданье, что пользы бежать ему навстречу? Когда оно придет, ты сразу начнешь страдать, а покуда рассчитывай на лучшее. Что ты на этом выгадаешь? Время! (11) Ведь нередко вмешивается нечто такое, из-за чего надвигающаяся беда, как она ни близка, или задерживается в пути, или рассеется, или падет на голову другому. Среди пожара открывалась дорога к бегству, рухнувший дом мягко опускал некоторых на землю, рука, поднесшая к затылку меч, порой отводила его, и жертве удавалось пережить палача. Ведь и злая судьба непостоянна. Может быть, беда случится, а может, и не случится; пока же ее нет, и ты рассчитывай на лучшее. (12) Иногда, даже когда нет явных признаков, предвещающих недоброе, душа измышляет мнимые, или толкует к худшему слова, которые можно понять двояко, или преувеличивает чью-нибудь обиду и думает не о том, сильно ли обиженный рассержен, а о том, много ли может сделать рассерженный. Но ведь если бояться всего, что может случиться, то незачем нам и жить, и горестям нашим не будет предела. Тут пусть поможет тебе рассудительность, тут собери все душевные силы, чтобы отбросить даже очевидный страх, а не сможешь, так одолей порок пороком умерь страх надеждой. Пусть наверняка придет пугающее нас – еще вернее то, что ожидаемое с ужасом – утихнет, а ожидаемое с надеждой – обманет. (13) Поэтому взвесь надежды и страхи и всякий раз, когда ясного ответа не будет, решай в свою пользу – верь в то, что считаешь для себя лучшим. Но пусть даже страх соберет больше голосов, ты все-таки склоняйся в другую сторону и перестань тревожиться, думая про себя о большинстве людей, которые мечутся в волнении, даже если ничего плохого с ними и не происходит, и не грозит им наверное. Ведь всякий, однажды потеряв покой, готов дать себе волю и не станет поверять испуг действительностью. Никто не скажет:

«Кто это говорит – говорит пустое, он либо сам все выдумал, либо другим поверил». Нет, мы сдаемся переносчикам слухов[1] (14) и трепещем перед неизвестным как перед неотвратимым, забывая меру настолько, что малейшее сомнение превращается в ужас.

Но мне стыдно так разговаривать с тобою и подносить тебе такие слабые лекарства. Пусть другие говорят: «Может, это и не случится!» Ты говори: «Что с того, если случится? Посмотрим, кто победит! А может быть, все будет мне на пользу и такая смерть прославит всю мою жизнь. Цикута окончательно сделала Сократа великим. Вырви у Катона[2] меч, отстоявший его свободу, – и ты отнимешь у него немалую часть славы». (15) Впрочем, я слишком долго тебя уговариваю, хотя нужны тебе не уговоры, а лишь напоминанье. Я не увожу тебя прочь от твоей природы, – ты рожден для того, о чем я толкую. Но тем более должен ты умножать и украшать данное тебе благо.

(16) Кончаю это письмо, только припечатаю его своей печатью, то есть поручу ему передать тебе какое-нибудь прекрасное изречение. «Беда глупости еще и в том, что она все время начинает жизнь сначала». Вдумайся сам, Луцилий, лучший из людей, в смысл изречения – и ты поймешь, до чего противно легкомыслие тех, кто ежедневно закладывает основания новой жизни, кто перед кончиной начинает надеяться заново. (17) Огляди всех поодиночке – и сразу попадутся тебе на глаза старики, что с особым усердием готовятся занимать должности, путешествовать, торговать. Что гнуснее старика, начинающего жизнь сначала? Я не прибавил бы имени того, кем эти слова сказаны, если бы они не были так мало известны и принадлежали бы к тем расхожим изречениям Эпикура, которые я позволил себе и хвалить, и присваивать. Будь здоров.

Письмо XIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я согласен, что нам от природы свойственна любовь к собственному телу, что мы должны беречь его, не отрицаю, что можно его и холить, но отрицаю, что нужно рабски ему служить. Слишком многое порабощает раба собственного тела – того, кто слишком за него боится и все мерит его меркой. (2) Мы должны вести себя не так, словно обязаны жить ради своего тела, а так, словно не можем жить без него. Чрезмерная любовь к нему тревожит нас страхами, обременяет заботами, обрекает на позор. Кому слишком дорого тело, тому честность недорога. Нет запрета усердно о нем заботиться, но когда потребует разум, достоинство, верность, – надо ввергнуть его в огонь.

(3) И все же, насколько возможно, будем избегать не только опасностей, но и неудобств и скроемся под надежной защитой, исподволь обдумав, как можно прогнать то, что внушает страх. Таких вещей три, если я не ошибаюсь: мы боимся бедности, боимся болезней, боимся насилия тех, кто могущественней нас. (4) В наибольший трепет приводит нас то, чем грозит чужое могущество: ведь такая беда приходит с великим шумом и смятением. Названные мною естественные невзгоды – бедность и болезни – подкрадываются втихомолку, не внушая ужаса ни слуху, ни зрению, зато у третьей беды пышная свита: она приходит с мечами и факелами, с цепями и зверьми, натравив их стаю на нашу плоть. (5) Вспомни тут же и о темницах, и о крестах, и о дыбе, и о крюке, и о том, как выходит через рот насквозь пропоровший человека кол, как разрывают тело мчащиеся в разные стороны колесницы, как напитывают горючей смолой тунику из горючей ткани, – словом, обо всем, что выдумала жестокость. (6) Так нечего и удивляться, если сильнее всего ужас перед бедствием, столь многоликим и так страшно оснащенным. Как палач, чем больше он выложит орудий, тем большего достигнет, ибо один их вид побеждает даже способного вытерпеть пытку, – так нашу душу легче всего подчиняет и усмиряет та угроза, которой есть что показать. Ведь и остальные напасти не менее тяжелы – я имею в виду голод и жажду, и нагноения в груди, и лихорадку, иссушающую внутренности, – но они скрыты, им нечем грозить издали, нечего выставлять напоказ. А тут, как в большой войне, побеждает внушительность вида и снаряжения.

(7) Постараемся поэтому никого больно не задевать. Иногда нам следует бояться народа, иногда, если порядки в государстве таковы, что большинство дел проводится через сенат, тех сенаторов, что в милости, иногда же – тех людей, кому на погибель народу отдана власть над

народом. Сделать всех этих людей друзьями слишком хлопотно – довольно и того, чтобы они не были тебе врагами. Поэтому никогда мудрец не станет гневить власть имущих, – наоборот, он будет уклоняться от их гнева, как мореход от бури. (8) Ты, когда ехал в Сицилию, пересек пролив. Неосторожный кормчий пренебрег угрозами южного ветра, от которого становится опасным завиваемое воронками Сицилийское море, и направился не к левому берегу, а к тому, близ которого бушует водоворот Харибды[1]. Зато более осмотрительный кормчий спросит знающих эти места людей, силен ли прибой и не предвещают ли чего облака, – и держит путь подальше от мест, стяжавших дурную славу из-за водоворотов. То же сделает и мудрый: опасного властителя он избегает, но прежде всего стараясь избегать его незаметно. Один из залогов безопасности – в том, чтобы не стремиться к ней открыто: ведь от чего мы держимся дальше, то осуждаем. (9) Еще следует нам обдумать, как обезопасить себя от черни. Тут первое дело – не желать того же самого: где соперничество – там и разлад. Во-вторых, пусть не будет у нас ничего такого, что злоумышляющему было бы выгодно отнять: пусть твой труп не даст богатой добычи. Никто не станет или мало кто станет проливать человеческую кровь ради нее самой. Голого и разбойник пропустит, бедному и занятая шайкой дорога не опасна. (10) Старинное наставление называет три вещи, которых надо избегать: это – ненависть, зависть и презрение. А как этого добиться, научит только мудрость. Тут бывает трудно соблюсти меру: нужно опасаться, как бы, страшась зависти, не вызвать презрения, как бы, не желая, чтобы нас топтали, не дать повода думать, будто нас можно топ тать. Многим пришлось бояться оттого, что их можно было бояться. Так что будем умеренны во всем: ведь так же вредно вызывать презренье, как и подозренье.

(11) Вот и выходит, что нужно обратиться к философии: ведь эти писания не только для хороших людей, но и для не слишком дурных, все равно что жреческие повязки[2]. И публичное красноречие, и все, что волнует народ, вызывает вражду, а это занятие, мирное и ни во что не вмешивающееся, никто не презирает, ибо даже у худших из людей его чтят все искусства. Никогда испорченность не окрепнет настолько, никогда не составится такого заговора против добродетели, чтобы имя философии перестало быть чтимым и священным. Впрочем, и философией надо заниматься тихо и скромно. – (12) «Как так? – спросишь ты. – По-твоему, был скромен в философии Марк Катон, который своим приговором положил конец гражданской войне? Который встал между войсками двух разъяренных вождей?[3] Который в то время, когда одни поносили Цезаря, другие Помпея, нападал на обоих?» – (13) Но можно поспорить, следовало ли тогда мудрецу вмешиваться в дела государства. – «Чего хочешь ты, Марк Катон? Ведь не о свободе идет дело: она давно уже погублена! Вопрос лишь в том. Цезарь или Помпеи завладеет государством? Но что тебе до их соперничества? Ни одна сторона – не твоя. Выбор – только из двух властителей. Твое дело, кто победит? Победить может лучший; одержавший победу не может не быть худшим». – Я беру только ту роль, которую Катон играл напоследок; но и предшествующие годы были не таковы, чтобы мудрому допустимо было участвовать в этом разграблении республики. На что, кроме криков и сердитых воплей, был способен Катон, когда народ, подняв его на руки и осыпав плевками, тащил его вон с форума, или когда его уводили прямо из сената в темницу?[4] (14) Позже мы увидим, надо ли мудрому зря тратить силы[5], а покуда я зову тебя к тем стоикам, которые, когда их отстранили от государственных дел, не оскорбляли никого из власть имущих, но удалились, чтобы совершенствовать свою жизнь и создавать законы для рода человеческого. Мудрец не станет нарушать общепринятых обычаев и привлекать внимание народа невиданным образом жизни. – (15) «Ну и что? Неужели будет в безопасности тот, кто следует этому правилу?» – За это я не могу тебе поручиться, как и за то, что человек умеренный всегда будет здоров; и все-таки умеренность приносит здоровье. Бывает, что корабль тонет в гавани; что же, по-твоему, может случиться в открытом море? Насколько ближе опасность к тому, чья предприимчивость неугомонна, если праздность не спасает от угроз? Бывает, гибнут и невиновные – кто спорит? – но виноватые – чаще. У бойца остается сноровка, даже если ему пробили доспехи. (16) Кто мудр, тот во всем смотрит на замысел, а не на исход. Начало в нашей власти; что выйдет, решать фортуне, над собой же я не признаю ее приговора. – «А она доставит тебе волнения, доставит неприятности». – Но разбойник не казнит нас, даже когда убивает [6].

(17) Ты уже тянешь руку за ежедневной платой. Сегодня заплачу тебе золотом; а коль скоро я упомянул о золоте, то узнай, как тебе получить побольше радости от владения им. «Тот бо-

лее всех наслаждается богатством, кто меньше всех в богатствах нуждается». Ты просишь открыть, чьи его слова. Чтобы ты видел мою доброжелательность, я взял за правило хвалить чужое. И это взято у Эпикура, либо у Метродора, либо у кого-то еще из их мастерской. (18) Но какая разница, кто сказал? Сказано было для всех. Кто нуждается в богатствах, тот за них боится, а добро, за которое тревожишься, радости не приносит. Если же кто хочет что-нибудь к нему добавить, тот, думая о его умножении, забывает им пользоваться: получает счета, толчется на торжище, листает календарь – и становится из хозяина управляющим. Будь здоров.

Письмо XV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) В старину был обычай, сохранившийся вплоть до моего времени, начинать письмо словами: «Если ты здоров, это хорошо, а я здоров». Нам же правильнее сказать: «Если ты занимаешься философией, это хорошо». (2) Потому что только в ней – здоровье, без нее больна душа, и тело, сколько бы в нем ни было сил, здорово так же, как у безумных или одержимых. Так прежде всего заботься о том, настоящем, здоровье, а потом и об этом, втором, которое недорого тебе обойдется, если захочешь быть здоровым.

Упражняться, чтобы руки стали сильнее, плечи – шире, бока – крепче, это, Луцилий, занятие глупое и недостойное образованного человека. Сколько бы ни удалось тебе накопить жиру и нарастить мышц, все равно ты не сравняешься ни весом, ни силой с откормленным быком. К тому же груз плоти, вырастая, угнетает дух и лишает его подвижности. Поэтому, в чем можешь, притесняй тело и освобождай место для духа. ([3]) Много неприятного ждет тех, кто рьяно заботится о теле: во-первых, утомительные упражнения истощают ум и делают его неспособным к вниманию и к занятиям предметами более тонкими; во-вторых, обильная пища лишает его изощренности). Вспомни и о рабах наихудшего разбора, к которым поступают в обучение, хоть этим людям ни до чего, помимо вина и масла[2], нет дела, и день прошел для них на славу, если они хоре. шенько вспотели и на место потерянной влаги влили в пустую утробу новое питье, еще в большем количестве. Но ведь жить в питье и потении могут только больные желудком!

(4) Есть, однако, упражнения легкие и недолгие, которые быстро утомляют тело и много времени не отнимают, – а его-то и следует прежде всего считать. Можно бегать, поднимать руки с грузом, можно прыгать, подбрасывая тело вверх или посылая его далеко вперед, можно подпрыгивать, так сказать, на манер салиев[3], или, говоря грубее, сукновалов[4]. Выбирай какое угодно упражнение, привычка сделает его легким[5]. (5) Но что бы ты ни делал, скорее возвращайся от тела к душе, упражняй ее днем и ночью, ведь труд, если он не чрезмерен, питает ее. Таким упражнениям не помешают ни холод, ни зной, ни даже старость. Из всех твоих благ заботься о том, которое, старея, становится лучше. (6) Я вовсе не велю тебе все время сидеть над книгами и дощечками: и душе нужно дать роздых, но так, чтобы она не расслабилась, а только набралась сил. Прогулка в носилках дает встряску телу и не мешает занятиям: можно читать, можно диктовать, можно беседовать и слушать других; впрочем, и прогулка пешком позволяет делать то же самое.

(7) Не пренебрегай также напряжением голоса, а вот повышать его и понижать по ступеням и ладам я тебе запрещаю. Впрочем, может быть, ты хочешь выучиться, как тебе гулять; тогда допусти к себе тех, кого голод научил невиданным прежде ухищрениям. Один сделает размеренной твою походку, другой будет следить во время еды за твоими щеками, и наглость каждого зайдет настолько далеко, насколько позволят твои терпеливость и доверчивость. Так что же? Разве с крика, с сильнейшего напряжения голоса начинается речь? Нет, для нас естественно разгорячаться постепенно, так что даже при ссоре сперва говорят, а потом лишь начинают вопить, и никто сразу же не зовет в свидетели квиритов. (8) Поэтому, как бы ни увлек тебя порыв души, произноси речь то с большей, то с меньшей страстью, как голос и грудь сами тебе подскажут. Когда ты хочешь приглушить и умерить голос, пусть он затихает постепенно, а не падает резко; пусть он будет таким же сдержанным, как тот, кто им управляет, и не бушует, как у грубых неучей. Ведь мы делаем все это не для того, чтобы совершенствовался голос, а для того, чтобы

совершенствовались слушатели.

(9) Я снял с твоих плеч немалый труд, а теперь вдобавок к этому моему благодеянию награжу тебя греческим подарком[6]. Вот замечательное наставление: «Жизнь глупца безрадостна и полна страха, потому что он все откладывает на будущее». – Ты спросишь, кто это сказал. Да тот же, кто и прежние слова. А какую, по-твоему, жизнь называют глупой? Как у Исиона и Бабы? Как бы не так! Нашу собственную – жизнь тех, кого слепая алчность бросает вдогонку за вещами вредными и наверняка неспособными ее насытить, тех, которые давно были бы удовлетворены, если бы хоть что-то могло нас удовлетворить, тех, кто не думает, как отрадно ничего не требовать, как великолепно не чувствовать ни в чем недостатка и не зависеть от фортуны. (10) Не забывай же, Луцилий, за сколькими вещами ты гонишься, а увидев, сколько людей тебя опередили, подумай о том, сколько их отстало. Если хочешь быть благодарен богам и собственной жизни, думай о том, что ты обогнал очень многих. Но что тебе до других? Ты обогнал себя самого! (11) Установи же для себя предел, за который ты не хотел бы перейти, даже если бы мог: пусть останутся за ним таящие угрозу блага, притягательные для надеющихся и разочаровывающие достигших. Была бы в них хоть какая-то прочность, они бы приносили порой удовлетворение; а так они только распаляют жажду черпающих. Привлекательная внешность вдруг меняется. Зачем мне требовать у фортуны то, что неведомый жребий сулит мне в будущем, вместо того чтобы потребовать у себя не стремиться больше к этому? К чему стремиться? Мне ли копить, забыв о бренности человека? Над чем мне трудиться? Нынешний день – последний. Пусть не последний, но и последний близко. Будь здоров.

Письмо XVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я знаю, Луцилий, для тебя очевидно, что, не изучая мудрости, нельзя жить не только счастливо, но даже и сносно, ибо счастливой делает жизнь совершенная мудрость, а сносной – ее начатки. Но и очевидное нуждается в том, чтобы его глубже усвоили и укрепили постоянным размышлением. Труднее сохранить честные намерения, чем возыметь их. Нужно быть упорным и умножать силы усердными занятьями, пока добрая воля не превратится в добрые нравы. (2) Впрочем, мне нет уже нужды укреплять тебя долгими и многословными речами[1]: ведь я знаю твои успехи. Мне известно, откуда берется все, что ты мне пишешь; в нем нет ни притворства, ни прикрас. И все же я скажу, что чувствую: я на тебя надеюсь, но еще в тебе не уверен. И от тебя я хочу того же: ведь у тебя нет причин так легко и быстро поверить в себя. Разберись в самом себе, со всех сторон осмотри себя и проверь, а прежде всего – в чем ты преуспел: в философии или в жизни. (3) Философия – не лицедейство, годное на показ толпе, философом надо быть не на словах, а на деле. Она – не для того, чтобы приятно провести день и без скуки убить время, нет, она выковывает и закаляет душу, подчиняет жизнь порядку, управляет поступками, указывает, что следует делать и от чего воздержаться, сидит у руля и направляет среди пучин путь гонимых волнами. Без нее нет в жизни бесстрашия и уверенности: ведь каждый час случается так много, что нам требуется совет, которого можно спросить только у нее.

– (4) Кто-нибудь скажет: «Что мне пользы в философии, если есть рок? Что в ней пользы, если правит божество? Что в ней пользы, если повелевает случай? [2] Ведь неизбежное нельзя изменить, а против неведомого не найти средств. Мои замыслы либо предвосхищены божеством, решившим за меня, что мне делать, либо фортуна не даст им осуществиться». – (5) Пусть одно из этих утверждений верно, Луцилий, пусть все они верны, – нужно быть философом! Связывает ли нас непреложным законом рок, божество ли установило все в мире по своему произволу, случай ли без всякого порядка швыряет и мечет, как кости, человеческие дела, – нас должна охранять философия. Она даст нам силу добровольно подчиняться божеству, стойко сопротивляться фортуне, она научит следовать веленьям божества и сносить превратности случая. (6) Но сейчас не время рассуждать о том, что в нашей власти, если повелевает провиде ние либо череда судеб влечет нас в оковах, либо господствует внезапное и непредвиденное. Я возвращаюсь к своим наставлениям и увещаниям: не допускай, чтобы порыв твоей души поник и остыл. Сохрани его и

добейся, чтобы то, что было порывом, стало состоянием души.

(7) Но, если я хорошо тебя знаю, ты с самого начала высматриваешь, какой подарочек принесет с собою это письмо. Обыщи его – и найдешь. Нет причин восхищаться моей щедростью: до сих пор я раздаривал чужое. Впрочем, почему чужое? Все, что сказано хорошо, – мое, кем бы оно ни было сказано. Как и это, сказанное Эпикуром: «Если в жизни ты сообразуешься с природой, то никогда не будешь беден, а если с людским мнением, то никогда не будешь богат». (8) Природа желает малого, людское мнение – бесконечно многого[3]. Пусть ты накопишь столько же, сколько множество богачей, пусть фортуна увеличит твою казну свыше меры, отпущенной частному человеку, пусть она осыпет тебя золотом, оденет в пурпур, даст столько наслаждений и богатств, что ты покроешь землю мрамором и сможешь не только владеть своим добром, но и топтать его ногами. Пусть будут у тебя вдобавок и картины, и статуи, и все, что только создало искусство в угоду роскоши, – излишества лишь научат тебя желать еще большего. (9) Естественные желания имеют предел, порожденные ложным мнением – не знают, на чем остановиться, ибо все ложное не имеет границ. Идя по дороге, придешь к цели, блуждание же бесконечно. Поэтому отойти подальше от всего суетного, и если, домогаясь чего-нибудь, ты захочешь узнать, естественно ли твое желание или слепо, взгляни, может ли оно где-нибудь остановиться. Если, зайдя далеко, ты заметишь, что идти до цели осталось еще больше, знай, что твое желание рождено не природой. Будь здоров.

Письмо XVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Брось все это, если ты мудр, или вернее, чтобы стать мудрым, и спеши что есть сил, стремясь к благам духа. Все, что тебя удерживает, смети с дороги или отсеки. – «Но я мешкаю из-за домашних дел, хочу устроить их так, чтобы, и ничего не делая, не знать недостатка, чтобы и меня не тяготила бедность, и я никому не был в тягость». – (2) Если ты так говоришь, то, видимо, тебе не открылись еще вся сила и могущество блага, о котором ты помышляешь. В общих чертах ты различаешь, чем полезна нам философия, а вот отдельные части досконально не видишь, не знаешь, как она помогает нам везде, не ведаешь, что она, говоря словами Цицерона [1], и в большом выручает, и до мелочей снисходит. Поверь мне и призови ее в советчики: она убедит тебя не сидеть над подсчетами. (3) Не к тому ли ты стремишься, не ради того ли оттягиваешь срок, чтобы не бояться бедности? А что, если бедность должна быть нам же ланна? Многим богатство помешало посвятить себя философии, бедность же ничем не отягчена и не знает страха. Прозвучит сигнал трубы [2] – бедняк[3] знает, что не его она зовет; когда кричат о наводнении, он думает о том, как бы выйти самому, а не о том, что бы такое вынести; если надо отплыть в море, – гавань не наполнится шумом, не встревожит берег толпа, провожающая одного человека. Нет вокруг него полчища рабов, на прокорм которых нужны целые урожаи заморских стран. (4) Нетрудно прокормить немногие рты, если твои нахлебники не избалованы и хотят лишь насытиться. Голод обходится недорого, привередливость – дорого. Бедности довольно удовлетворить самые насущные желанья.

Почему же ты отказываешься избрать спутницей ту, чьим обычаям подражает и здравомыслящий богач? (5) Если хочешь, чтобы твоя душа была свободна, будь или беден, или подобен бедному. Самые усердные занятия не принесут исцеленья, если ты не будешь воздержан, а воздержность – это добровольная бедность. – Оставь же эти отговорки: «Того, что есть, мне не хватит, вот когда накоплю столько-то, тогда и предамся целиком философии». – А ведь то, что ты откладываешь и собираешься приобрести напоследок, нужно приобретать раньше всего, с него и начавши. – Ты говоришь: «Я хочу приобрести средства к жизни». – Так учись же, что приобретать! Если что мешает тебе жить хорошо, то хорошо умереть не мешает ничто. (6) Нет причин, почему бедность или даже нищета могли бы отвлечь тебя от философии. Тому, кто к ней стремится, нужно терпеть даже голод. Терпели же его осажденные, видя лишь одну награду за выносливость: не попасть под власть врага. А тут нам обещано много больше: быть навеки свободными, не бояться ни людей, ни богов. Право, этого стоит добиться даже ценою истощения!

(7) Войска терпели нужду во всем, питались кореньями трав и такою пищей, которую и назвать противно, страдали от голода. И все это – ради царства, и даже – самое удивительное – ради чужого царства. Так не каждый ли согласится вынести бедность, лишь бы освободить душу от безумия? Значит, незачем приобретать что-нибудь заранее – ведь к философии можно прийти, и не имея денег на дорогу. (8) Да, это так. А ты, когда все у тебя будет, тогда хочешь получить, и мудрость как последнее средство к жизни в придачу, так сказать, ко всем прочим? Так вот, если у тебя есть что-нибудь, займись философией немедля (откуда ты знаешь, нет ли у тебя даже избытка?), если же ничего нет, ищи мудрость прежде всего остального.

(9) «Но у меня не будет самого необходимого». – Во-первых, этого не может быть, потому что природа требует немногого, а мудрец сообразуется с природой. Если же у него и необходимого не останется, он уйдет из жизни и не будет самому себе в тягость. А если у него будет чем поддержать жизнь, то самое ничтожное и скудное достояние он сочтет за благо и, не заботясь и не тревожась ни о чем, помимо необходимого, даст все, что нужно желудку и плечам, а сам будет весело смеяться над вечно занятыми богачами и бегущими наперегонки ловцами богатства, говоря:

(10) «Зачем откладывать на долгий срок самого себя? Уж не ждешь ли ты часа, когда сразу разбогатеешь, на процентах ли с долга, или на прибыли с товаров, или по завещанию усопшего старика? Мудрость – заместительница богатства: она дает тебе все, что делает ненужным для тебя». Но это относится к другим, ты же человек скорее состоятельный. Живи ты в другой век, ты был бы богат с избытком. А хватает нам во все века одного и того же.

(11) Я мог бы на этом закончить письмо, если бы сам не внушил тебе дурной привычки. Царя парфянского нельзя приветствовать без подарка так и с тобою нельзя попрощаться без мзды. Что ж, возьму в долг у Эпикура. «Многие, накопив богатство, нашли не конец бедам, а другие беды». (12) Тут нечему удивляться: ведь порок – не в том, что вокруг нас, а в нашей душе. То, что делало обременительной бедность, делает обременительным и богатство. Нет разницы, положишь ты больного на деревянную кровать или же на золотую: куда его ни перенеси, он понесет с собою болезнь[4]. Так же не имеет значения, окажется больная душа в бедности или в богатстве: ее порок всегда при ней. Будь здоров.

Письмо XVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Наступил декабрь; весь город в лихорадке; страсти к наслажденьям дана законная сила; везде шум невиданных приготовлений, словно есть разница между Сатурналиями[1] и буднями. А разницы-то нет, и мне сдается, прав был тот, кто сказал, что – раньше декабрь длился месяц, а теперь весь год. (2) Будь ты здесь, я бы охотно побеседовал с тобою о том, что, по-твоему, следует нам делать: ничуть не менять повседневных привычек или, чтоб не выглядеть нарушителями общих обычаев, веселее обедать и сбросить тогу. Ведь то, что раньше принято было только во время неурядиц, в печальную для государства пору теперь делают для удовольствия, меняя одежду ради праздничных дней. (3) Если я хорошо тебя знаю, ты, оказавшись в роли судьи, счел бы, что мы не должны ни во всем уподобляться напялившей колпаки толпе, ни во всем от нее отличаться. Впрочем, как раз в эти дни и нужно особенно строго повелевать своей душой, чтобы она одна удержалась от удовольствий, когда им предается весь народ. И если она не поддастся заманчивому соблазну наслаждений, то получит вернейшее доказательство своей твердости. (4) Больше стойкости в том, чтобы оставаться трезвым, когда весь народ перепился до рвоты, больше умеренности в том, чтобы, не смешиваясь со всеми, не выделяться и не составлять исключения и делать то же самое, что все, но иначе. Ведь праздничный день можно провести, и не предаваясь роскоши.

(5) Однако мне до того нравится испытывать твердость твоей души, что я, по совету великих людей[3], и тебе советую несколько дней подряд довольствоваться скудной и дешевой пищей, грубым и суровым платьем. И тогда ты скажешь сам: «Так вот чего я боялся?» (6) Пусть среди полной безмятежности душа готовится к трудностям, среди благодеяний фортуны копит

силы против ее обид. Солдаты и в мирное время идут в поход, хоть и не на врага, насыпают валы, изнуряют себя ненужной работой, чтобы хватало сил на необходимую. Если не хочешь, чтобы воин дрогнул в бою, закаляй его перед боем. Этому правилу и следовали те, кто каждый месяц подражал беднякам, доходя чуть ли не до нужды, но зато потом не боялся зла, к которому приучил себя. (7) Только не думай, что я говорю о Тимоновых трапезах, о бедных каморках[4] и прочих причудах пресытившейся богатствами страсти к роскоши. Пусть у тебя на самом деле будут и жесткая кровать, и войлочный плащ, и твердый грубый хлеб. Терпи все это по два-три дня, иногда и дольше, но не для забавы, а чтобы набраться опыта. И тогда, поверь мне, Луцилий, ты сам порадуешься, насытившись за два асса [5], и поймешь, что для спокойной уверенности не нужна фортуна: что не сверх необходимого, то она даст и гневаясь. (8) И нечего тебе думать, будто ты делаешь что-нибудь особенное: ведь то же самое делают много тысяч рабов, много тысяч бедняков. Твоя заслуга только в том, что ты делаешь это добровольно, и тебе будет легко всегда терпеть то зло, с которым подчас знакомился на опыте. Будем же упражняться на чучеле! И, чтобы фортуна не застала нас врасплох, поближе сойдемся с бедностью! (9) Сам наставник наслаждений Эпикур установил дни, когда едва утолял -голод, желая посмотреть, будет ли от этого изъян в великом и полном блаженстве, велик ли он будет и стоит ли возмещать его ценой больших трудов. Как раз об этом он говорит в письмах к Полиену, написанных в год архонтства Харина[6]. В них он хвалится, что истратил на еду меньше асса, а Метродор, чьи успехи меньше, – целый асе. – (10) «И ты думаешь, что такой пищей можно насытиться?» – Да, и еще получать наслаждение. Не то легкое, мимолетное, которое нужно каждый раз испытывать заново, а неизменное и постоянное. Пусть не так уж вкусны вода и мучная похлебка и ломоть ячменного хлеба, – но великое наслаждение в том, что ты способен даже ими наслаждаться и ограничить себя пищей, которой не отнимет враждебность фортуны. (11) В тюрьме еда обильнее, осужденных на смертную казнь их будущий убийца кормит менее скудно. Каким же величием души наделен добровольно нисходящий до того, чего не приходится бояться даже приговоренным к смерти! Это и значит заранее отвращать удары судьбы. (12) Начни же, мой Луцилий, следовать их обычаю и определи несколько дней на то, чтобы отойти от своих дел и приучить себя довольствоваться самым малым. Пора завязать знакомство с бедностью.

Гость мои, решись, и презреть не страшись богатства, и дух свои Бога достойным яви! [7]

(13) Только тот достоин бога, кто презрел богатства. Я не запрещаю тебе владеть ими, но хочу сделать так, чтобы ты владел ими без страха, а этого ты не достигнешь иначе, как убедившись, что можно счастливо жить и без них, и привыкнув смотреть на них как на нечто преходящее. (14) Я уже начал было складывать это письмо, но ты сказал мне:

«Раньше отдай, что должен!» Отправлю тебя к Эпикуру: он заплатит за меня. «Неумеренный гнев порождает безумие». Ты не можешь не знать, насколько это правильно: ведь у тебя был и раб, и враг. (15) Эта страсть может загореться против кого угодно, она рождается и из любви, и из ненависти, и среди важных дел, и среди игр и забав. Не то имеет значенье, велика ли причина, вызвавшая ее, а то, какой душой она овладеет. Так же точно не то имеет значенье, велик ли огонь, а то, куда он попадет: твердое не загорится и от самого сильного пламени, а сухое и легко воспламеняемое даже искру вырастит до пожара. Да, Луцилий, слишком сильный гнев кончается безумием, поэтому следует избегать его не только во имя сдержанности, но и ради здоровья. Будь здоров.

Письмо XIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я радуюсь каждому твоему письму. Они уже не обещают, а ручаются за тебя, и от них надежда моя растет. Сделай вот что, прошу тебя и заклинаю. Есть ли просьба к другу прекраснее той, когда просишь его ради него самого? Если можешь, освободись от своих дел, если не можешь – вырвись силой. Мы растратили немало времени, так начнем же хоть в старости собираться в путь. (2) Чему тут завидовать? Мы прожили жизнь в открытом море, надо хоть умереть в гавани. Я не уговариваю тебя искать себе славы праздностью: досугом незачем похваляться, как незачем и скрывать его. Нет, хоть я и осуждаю безумье рода человеческого, но никогда не

дойду до того, чтобы желать тебе спрятаться во тьме и забвении; поступай так, чтобы досуг твой был виден, но в глаза не бросался. (3) И еще: в пору первых, ничем не предрешенных замыслов люди могут обдумать, жить ли им в безвестности. Ты же не волен выбирать: тебя уже вывели на средину сила дарования, изящество сочинений, прославленные и благородные друзья. Тебя уже настигла известность. Как бы глубоко ты ни погрузился, как бы далеко ни спрятался, тебя обнаружит сделанное тобою ранее. (4) В потемках тебе не быть: куда ни убегай, всюду будет падать на тебя отблеск прежнего света. Однако покой ты можешь добыть, ни у кого не вызвав ненависти, ни о ком не тоскуя и не чувствуя в душе угрызений. Разве среди покидаемых тобою есть такие, что о разлуке с ними ты и подумать не в силах? Твои клиенты? Но любому из них не нужен ты сам, а нужно что-нибудь от тебя. Твои друзья? Это когда-то искали дружбы, теперь ищут добычи, изменят завещание одинокие старики, – и все приходившие к ним на поклон перекочуют к другому порогу. Не может большое дело стоить дешево: взвесь, кого ты предпочтешь потерять – себя самого или кого-нибудь из близких. (5) О, если бы тебе до старости был отпущен тот же скромный удел, что твоим родителям, если бы судьба не вознесла тебя высоко! Но быстрое счастье унесло тебя далеко, здоровую жизнь скрыли от твоих глаз провинция, прокураторская должность и все, что они сулят. Одна за другою ждут тебя новые обязанности. (6) А где конец? Чего ты дожидаешься, чтобы прекратить это? Исполнения всех желаний? Такое время не наступит! Какова цепь причин, из которых, как мы говорим, сплетается судьба, такова и цепь желаний: одно родит другое. Ты дошел до такой жизни, которая сама по себе никогда не положит предела твоим несчастьям и рабству. Вынь натертую шею из ярма: пусть ее лучше однажды перережут, чем все время давят. (7) Если ты уйдешь в частную жизнь, всего станет меньше, но тебе хватит вдоволь, а теперь тебе мало и того многого, что стекается отовсюду. Что же ты выберешь: сытость среди нужды или голод среди изобилия? Счастье алчно и не защищено от чужой алчности. Покуда ты будешь на все зариться, все будут зариться на тебя.

– (8) «Какой же у меня есть выход?» – Любой! Подумай, как много стараний ты наудачу тратил ради денег, как много трудов – ради почестей; надо решиться на что-нибудь и ради досуга, или же тебе придется состариться среди тревог прокураторской, а потом и городских должностей, среди суеты и все новых волн, от которых не спасут тебя ни скромность, ни спокойная жизнь. Какая важность, хочешь ли ты покоя? Твоя фортуна не хочет! Как же иначе, если ты и сейчас позволяешь ей расти? Чем больше успехи, тем больше и страх. (9) Здесь я хочу привести тебе слова Мецената[1] – истину, вырванную у него тою же пыткой: «Вершины сама их высота поражает громом». В какой книге это сказано? – В той, что называется «Прометей». Этим он хотел сказать, что удары грома поражают вершины. Любое могущество стоит ли того, чтобы речь твоя стала, как у пьяного? Он был человек одаренный и дал бы превосходные образцы римского красноречия, если бы счастье не изнежило, не выхолостило его. И тебя ждет то же, если ты не подберешь паруса и не повернешь к земле (а он решился на это слишком поздно).

(10) Я мог бы рассчитаться с тобою этим изречением Мецената, но ты, сколько я тебя знаю, затеешь со мной спор и не захочешь принять долг иначе как чистой и новой монетой. А раз так, придется мне брать взаймы у Эпикура. «Прежде смотри, с кем ты ешь и пьешь, а потом уже, что ешь и пьешь. Ведь нажираться без друзей – дело льва или волка». (11) Это, пока ты не скроешься в уединенье, будет тебе недоступно; а до тех пор у тебя будет столько сотрапезников, сколько выберет из толпы пришедших на поклон твой номенклатор[2]. Заблуждается тот, кто ищет друзей в сенях, а испытывает их за столом. Величайшая беда человека, занятого и поглощенного своим имуществом, – в том, что он многих мнит друзьями, не будучи им другом, и думает, будто приобретает друзей благодеяниями, тогда как люди больше всего ненавидят тех, кому больше обязаны. Малая ссуда делает человека твоим должником, большая – врагом. – (12) «Так что же, благодеяньями мы не приобретем друзей?» – Приобретем, если можно выбрать, кому их оказывать, и не раз брасывать их, а распределять. Поэтому, пока не наберешься своего ума, слушайся совета мудрых: дело не в том, что ты дал, а в том, кому дал. Будь здоров.

Письмо XX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я рад, если ты здоров и считаешь себя достойным когда-нибудь стать хозяином самому себе. Ведь если я вытащу тебя из волн, по которым ты носился без надежды на избавление, слава достанется мне. Моими просьбами я побуждаю тебя, Луцилий, проникнуться философией до глубины души, видеть доказательство своих успехов не в речах и писаниях, а в стойкости духа и в убыли желаний. Слова подтверждай делами! (2) У выступающих с речами перед публикой и желающих добиться от нее похвал одно намеренье, у старающихся пленить слух молодежи и бездельников – другое. Философия же учит делать, а не говорить. Она требует от каждого жить по ее законам, чтобы жизнь не расходилась со словами и сама из-за противоречивых поступков не казалась пестрой. Первая обязанность мудрого и первый признак мудрости – не допускать расхождения между словом и делом и быть всегда самим собою. – «Но есть ли такие?» – Есть, хоть их и немного. Это нелегко. Но я и не говорю, что мудрый должен все время идти одинаковым шагом, – лишь бы он шел по одной дороге. (3) Так следи, нет ли противоречия между твоим домом и одеждой, не слишком ли ты щедр в тратах на себя и скуп в тратах на других, не слишком ли скромен твой стол, между тем как постройки слишком роскошны. Выбери раз навсегда мерило жизни и по нему выпрямляй ее. Некоторые дома жмутся, а на людях разворачиваются во всю ширь. Такое несоответствие – тоже порок и признак души нестойкой, не обретшей равновесия. (4) Я и сейчас могу сказать, откуда это непостоянство и разнобой в поступках и в замыслах. Никто не знает твердо, чего хочет, а если и знает, то не добивается своего с упорством, а перескакивает на другое и не только меняет намерения, но и возвращается вспять, к тому, от чего ушел и что сам осудил.

(5) Так вот, если я захочу отказаться от старых определений мудрости и обнять всю человеческую жизнь, то смогу довольствоваться таким правилом: что есть мудрость? всегда и хотеть и отвергать одно и то же. И незачем тебе даже вводить ограничение, говоря, что желать надо честного и правильного: ведь ничто другое не может привлекать всегда. (6) Люди не знают, чего хотят, до того мига, пока не захотят чего-нибудь. Захотеть или не захотеть раз навсегда не дано никому. Суждения непостоянны, каждое что ни день сменяется противоположным, и большинство людей живет как будто шутя. А ты будь упорен в том, что начал, и тогда, быть может, достигнешь вершин или тех мест, про которые ты один будешь знать, что это еще не вершины. – (7) «А что будет, – спросишь ты, – со всей толпой моих присных?» – Толпа эта, когда перестанет кормиться за твой счет, сама тебя прокормит – или же благодаря бедности ты узнаешь то, чего не мог узнать благодаря себе. Она удержит при тебе лишь истинных, надежных друзей, любой, кто тянулся не к тебе, а к чему-то еще, уйдет. Так не должно ли любить бедность за то одно, что она ясно показывает, кто нас любит? Наступит ли, наконец, день, когда никто не будет лгать в твою честь? (8) К одному пусть будут устремлены твои мысли, об одном заботься, одного желай, предоставив все прочие мольбы на усмотренье богу: чтобы ты мог довольствоваться самим собой и порожденными тобою благами. Какое еще счастье можем мы найти так близко? Ограничься немногим, чего нельзя отнять! А чтобы ты сделал это охотнее, я немедля выплачу причитающуюся тебе в этом письме дань, ибо она будет относиться сюда же. (9) Ты можешь сердиться, но за меня и сегодня охотно рассчитается Эпикур. «Поверь мне, твои слова, сказанные в рубище, с убогого ложа, покажутся величавее, ибо тогда они будут не только произнесены, но и доказаны». Я, например, совсем по-иному слушаю нашего Деметрия[1] с тех пор, как увидел его ничем не покрытого и лежащего даже не на подстилке. Вот он – не проповедник истины, а ее свидетель. – (10) «Что же выходит? Разве нельзя презирать богатство и тогда, когда оно у тебя в руках?» – Почему же нельзя? Велик духом и тот, кто, видя вокруг богатства, немало удивлен тем, как они к нему попали, смеется и не столько чувствует себя их владельцем, сколько знает об этом понаслышке. Это очень много – не развратиться, живя под одной кровлей с богатством. Велик тот, кто и в богатстве беден[2]. – (11) «Но я не знаю, – скажешь ты, – как он будет, обеднев, выносить бедность». – И я не знаю, сумеет ли этот Эпикуров бедняк, разбогатев, презирать богатство. Значит, о них обоих нужно судить по тому, каков их дух, и смотреть, будет ли первый предан бедности, а второй не будет ли предан богатству. И убогое ложе, и рубище – слабые свидетельства доброй воли, если не будет ясно, что человек терпит их не из нужды, но по своему выбору. (12) Даже тот, кто не спешит к нищете как к лучшему уделу, а лишь решит готовиться к ней как к

уделу легкому, наделен от природы великой душой. А бедность, Луцилий, не только легка, но и приятна, если прийти к ней после долгих раздумий. Ведь она несет с собою то, без чего нет никакой приятности: чувство безопасности. (13) Вот почему и считаю я необходимым делать то же, что нередко делали, как я тебе писал, великие люди: выбрать несколько дней и упражняться в воображаемой бедности, готовясь к настоящей. Это следует делать тем более, что мы изнежились в удовольствиях и все нам кажется тяжелым и трудным. Душу нужно пробудить от сна, встряхнуть ее и напомнить ей, что природа отпустила нам очень мало. Никто не рождается богатым. Кто бы ни появился на свет, любой по ее велению довольствуется молоком и лоскутом. Так мы начинаем – а потом нам и царства тесны. Будь здоров.

Письмо XXI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты полагаешь, что у тебя так много хлопот из-за тех людей, о которых ты пишешь? Больше всего хлопот ты доставляешь себе сам, ты сам себе в тягость: чего хочешь – не ведаешь, все честное хвалишь, но к нему не стремишься, видишь, где счастье, но дойти до конца не решаешься. А так как ты сам не очень-то различаешь, что тебе мешает, я назову причину: ты думаешь, будто отказываешься от многого, и блеск той жизни, которую придется покинуть, удерживает тебя, словно тебе предстоит не давно задуманный переход к безмятежности, а падение в нищету и безвестность. (2) Ты ошибаешься, Луцилий: путь от прежней жизни к новой ведет наверх. Между прежней и новой жизнью та же разница, что между блеском и светом: свет имеет определенный источник и ярок сам по себе, блеск сверкает заемными лучами. Прежняя жизнь отражает приходящее извне сверканье и, едва кто-нибудь его заслонит, погружается в плотную тень, а новая сияет собственным светом. Твои занятия сделают тебя именитым и славным. Приведу тебе пример из Эпикура. (3) Идоменею[1], вершившему на службе у суровой власти важные дела, он писал, призывая его от жизни, блистательной на вид, к надежной и стойкой славе:

«Если тебя волнует слава, то мои письма дадут тебе больше известности, чем все, чему ты служишь и что ставят тебе в заслугу». (4) Разве он солгал? Кто знал бы Идоменея, если бы Эпикур не начертал его имени своим резцом? Все вельможи и сатрапы и сам царь, от которого Идоменей получил свой титул, поглощены глубоким забвением. Имени Аттика[2] не дают погибнуть письма Цицерона. Тут не помогло бы ни то, что зятем его был Агриппа, ни то, что внучка его была замужем за Тиберием и Цезарь Друз[3] приходился ему правнуком: среди столь громких имен об Аттике и помину бы не было, если бы Цицерон не связал его имя со своим. (5) Всех нас скроет глубокая пучина времени, лишь немногие самые одаренные вынырнут из нее и, хотя когда-нибудь их поглотит то же самое молчание, будут сопротивляться забвению и надолго себя отстоят. То же, что мог обещать другу Эпикур, обещаю и я тебе, Луцилий. Я буду дорог потомкам и могу увековечить имена тех, кого приведу с собою. Наш Вергилий и обещал двоим навсегда упрочить их память, и упрочил ее:

Счастье вам, други!
Коль есть в этой песне некая сила,
Слава о вас никогда не сотрется из памяти века,
Капитолийским доколь нерушимым утесом владеет
Род Энея и власть вручена родителю римлян.[4]

(6) Кого фортуна выносит наверх, кто причастен чужой власти как ее орудие, тот дорог другим, покуда сам в силе; дом у таких полон людьми при их жизни, но память о них умирает скоро по их смерти. А великие дарования ценят чем дальше, тем выше, и чтят не только их, но и все, что причастно их памяти. (7) А чтобы Идоменей проник в мое письмо не задаром, пусть заплатит тебе выкуп из своих средств. Это ему написал Эпикур превосходное изречение, убеждая его умножить богатство Пифокла[5], но не обычным сомнительным путем: «Если ты хочешь сделать Пифокла богатым, нужно не прибавлять ему денег, а убавлять его желания». (8) В этом

изречении все сказано слишком ясно для того, чтобы его толковать, и слишком прекрасно для того, чтобы его подкреплять. Только об одном тебя предупреждаю: не думай, будто это говорится лишь о богатстве; к чему ты ни отнесешь эти слова, они не потеряют силы. Если ты хочешь сделать Пифокла честным, надо не прибавлять ему новых почестей, а убавить его желания; если ты хочешь, чтобы Пифокл жил, не переставая наслаждаться, надо не прибавлять ему наслаждений, а убавить его желания; если ты хочешь, чтобы Пифокл достиг старости, прожив весь срок, надо не прибавлять ему годов, а убавить его желания. (9) Тебе нет причин полагать, будто слова эти принадлежат лишь Эпикуру: они – общее достоянье. Я считаю, что в философии надо делать то же, что в сенате; когда чье-нибудь предложение мне нравится только отчасти, я прошу разделить его и присоединяюсь лишь к тому, что одобряю. Я так охотно вспоминаю замечательные слова Эпикура, ибо всем, кто обращается к нему с дурным умыслом, в надежде найти завесу для собственных пороков, хочу доказать, что нужно жить честно, куда бы они ни шли. (10) Когда они подойдут к его садам и увидят над садами надпись: «Гость, здесь тебе будет хорошо, здесь наслаждение считается высшим благом», – их с готовностью примет радушный и человеколюбивый хранитель этого убежища, и угостит ячменной похлебкой, и щедро нальет воды, и скажет: «Плохо ли тебя приняли? Эти сады не разжигают голод, а утоляют, и напитки здесь не распаляют жажду – нет, ее утоляет лекарство естественное и даровое. Среди таких наслаждений я состарился».

(11) Я говорю с тобою о тех желаниях, которые нельзя утишить, которым надобно что-нибудь поднести, чтобы они умолкли. А о чрезвычайных желаниях, с которыми можно повременить, которые можно подавить порицанием, я скажу только одно: такое наслаждение естественно, но не необходимо[6]. Ему ты ничего не должен, а если что и уделишь ему, то лишь по доброй воле. Желудок не слушает наставлений: он просит и требует своего, – и все же не такой уж он докучливый заимодавец, ибо довольствуется малым, если ты дашь ему, сколько должен, а не сколько можешь. Будь здоров.

Письмо XXII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты понял уже, что пора освободиться от всех этих на вид почетных, на деле никчемных занятий, и спрашиваешь только, как этого достичь. Но иные советы нельзя давать за глаза. Врач не может выбрать время для еды или купания по письмам, он должен пощупать, как бьется жила. Старая пословица гласит: «Гладиатор принимает решение на арене»; здесь внимательному взгляду что-то подскажет лицо противника, что-то – движение его руки или даже наклон тела. (2) Что делается обычно, что подобает делать – такие советы можно дать и через посредника, и в письме; общие наставления даются не только отсутствующим, но и потомкам. Другое дело – сказать, когда и как должно что-нибудь делать: тут нельзя убедить на расстоянии и нужно решать смотря по обстоятельствам. (3) Только на месте, да и то при неусыпном внимании, можно не упустить мимолетный случай. Так высматривай его сам, а увидев, хватай и со всем пылом, изо всех сил старайся избавиться от своих обязанностей. Выслушай же мой тебе приговор: выбирай, уйти ли тебе от такой жизни или вообще из жизни. Но притом, я полагаю, идти надо не спеша и то, что ты на горе себе запутал, – распутать, а не разорвать, и только, если уж ничего нельзя будет распутать, тогда все оборвать. Даже самый робкий предпочел бы один раз упасть, нежели все время висеть. (4) А покуда – самое главное! – не бери на себя еще больше. Довольствуйся теми делами, до которых ты уже опустился, или, как ты сам хочешь думать, в плену которых очутился. Незачем поднимать все новые тяжести, не то ты лишишься этой отговорки и станет ясно, что вовсе ты не в плену. Ведь неправда все, что говорится обычно: «Иначе я не мог! Что с того, что я не хотел? Это было необходимо». Гнаться изо всех сил за счастьем нет никакой необходимости. Пусть ты не противишься фортуне, но даже остановиться и не мчаться с попутным ветром – уже немалое дело.

(5) Ты не обидишься, если я не только сам приду к тебе с советом, но и приведу тех, кто мудрее меня и к кому я обращаюсь, принимая любое решение? Прочти относящееся к нашему

делу письмо Эпикура, обращенное к Идоменею, которого он просит насколько возможно поспешить с бегством, пока не вмешалась высшая сила и не отняла возможности уйти. (6) Впрочем, он же добавляет, что, не выбрав подходящего для попытки времени, нечего и пытаться, зато когда долгожданное время придет, нужно-сразу же вскакивать. Замыслившему побег он запрещает дремать и надеется, что из самого трудного положения есть спасительный выход, если не спешить прежде времени и не мешкать, когда время настанет. (7) Наверно, ты спросишь, каково на этот счет мнение стоиков. Ни у кого нет повода хулить их перед тобою за безрассудство: они скорее осторожны, чем храбры. Ты, быть может, ожидаешь услышать: «Позорно отступать перед тяжелым грузом. Борись, чтобы выполнить долг, раз уж взял его на себя. Нельзя назвать отважным и решительным того, кто бежит от работы, чье мужество не возрастает от трудности дела». (8) Но так тебе скажут, если твой труд заслуживает упорства, если не придется ни делать, ни терпеть ничего такого, что недостойно человека добра. А иначе стоик не станет изнурять себя грязной и унизительной работой и заниматься делами ради самих дел. И не будет он поступать так, как ты предполагаешь: запутавшись в делах, навязанных честолюбием, терпеть до конца все их превратности. Едва увидев, как тяжко, сомнительно и ненадежно все то, в чем он погряз, он отступит и, не бросаясь в бегство, незаметно отойдет в безопасное место. (9) Отойти от дел, мой Луцилий, нетрудно, если пренебречь их плодами. Только они нас держат и не пускают. – «Как же так? Отказаться от больших надежд? Уйти прочь перед самой жатвой? Голо будет вокруг? Никого рядом с носилками? Пусто в прихожей?» – Со всем этим расстаются неохотно и, кляня невзгоды, любят приносимую ими выгоду. (10) На свое честолюбие люди жалуются, словно на любовницу, а если посмотреть их подлинные чувства, обнаружится не ненависть, а мимолетная обида. Испытай сетующих на то, чего сами желали, и твердящих о бегстве от всего, без чего им не обойтись, – и ты увидишь, что они по доброй воле медлят сбросить бремя, которое, по их словам, им так больно и горько нести. (11) Да, это так, Луцилий: немногих удерживает рабство, большинство за свое рабство держится. Но если ты намерен от него избавиться и без притворства любишь свободу, а советчиков созываешь лишь затем, чтобы, сделав дело, не испытывать вечной тревоги, то почему бы не ободрить тебя всей когорте стоиков? И Зеноны и Хрисиппы будут уговаривать тебя действовать неопрометчиво, честно и к твоей же пользе. (12) Но если ты изворачиваешься ради того, чтобы высмотреть, сколько надо взять с собою, большие ли деньги потребны, чтобы всем обставить свой досуг, ты никогда не найдешь выхода. Никто не выплывет с ношей. А ты вынырни для лучшей жизни, и пусть боги будут к тебе благосклонны, – только не как к тем, кому они с добрым и кротким видом посылают пышные невзгоды, имея одно оправдание: что все эти костры и пытки даются лишь по просьбе.

(13) Я уже запечатывал это письмо, однако приходится его вскрыть: пусть придет к тебе с обычным подарком и принесет с собою какое-нибудь замечательное изречение. Одно мне уже вспомнилось, не знаю, чего в нем больше, красноречия или правды. Ты спросишь, чье оно? – Эпикура. Я до сих пор присваиваю чужие пожитки. (14) «Каждый уходит из жизни так, словно только что вошел». Возьми кого угодно – хоть юношу, хоть старика, хоть человека средних лет: ты обнаружишь, что все одинаково боятся смерти, одинаково не знают жизни. Ни у кого нет за спиною сделанных дел: все отложили мы на будущее. А мне в этих словах больше всего по душе то, как в них корят стариков за ребячество. – (15) «Каждый уходит из жизни таким, каким родился». – Неправда! В час смерти мы хуже, чем в час рождения. И виновны тут мы, а не природа. Это ей пристало жаловаться на нас, говоря: «Как же так? Я родила вас свободными от вожделений, страхов, суеверий, коварства и прочих язв; выходите же такими, какими вошли!» (16) Кто умирает таким же безмятежным, каким родился, тот постиг мудрость. А мы теперь трепещем, едва приблизится опасность: сразу уходит и мужество, и краска с лица, текут бесполезные слезы. Что может быть позорнее, чем эта тревога на самом пороге безмятежности? (17) А причина тут одна: нет у нас за душой никакого блага, вот мы и страдаем жаждой[1] жизни. Ведь ни одна ее частица не остается нашей: минула – унеслась прочь. Все заботятся не о том, правильно ли живут, а о том, долго ли проживут; между тем жить правильно – это всем доступно, жить долго – никому. Будь здоров.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо XXIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты думаешь, я буду писать тебе о том, как мягко обошлась с нами эта зима, не слишком холодная и недолгая, какой коварной оказалась весна с ее поздними холодами, и о прочих глупостях, по примеру ищущих, о чем бы сказать. Нет, я буду писать так, чтобы принести пользу и тебе, и себе. Но тогда о чем же мне писать, как не о том, чтобы ты научился правильно мыслить? Ты спросишь, в чем основание этой науки. В том, чтобы «е радоваться по-пустому. Я сказал «основание»? Нет, вершина! (2) Достиг вершины тот, кто знает, чему радоваться, кто не отдает своего счастья на произвол других. Не знает покоя, не уверен в себе тот, кого манит надежда, если даже предмет ее рядом, и добыть его легче легкого, и никогда раньше она не обманывала. (3) Вот что, Луцилий, сделай прежде всего: научись радоваться. Ты думаешь, я тебя лишаю множества наслаждений, если отвергаю все случайное и полагаю, что нужно избегать надежд – самых сладких наших утех? Совсем наоборот: я хочу, чтобы радость не разлучалась с тобой, хочу, чтобы она рождалась у тебя дома. И это исполнится, если только она будет в тебе самом. Всякое иное веселье не наполняет сердце, а лишь разглаживает морщины на лбу: оно мимолетно. Или, по-твоему, радуется тот, кто смеется? Нет, это душа должна окрылиться и уверенно вознестись надо всем. (4) Поверь мне, настоящая радость сурова. Уж не думаешь ли ты, что вон тот, с гладким лбом и, как выражаются наши утонченные говоруны, со смехом в очах, презирает смерть, впустит бедность к себе в дом, держит наслаждения в узде, размышляет о терпеливости в несчастье? Радуется тот, кто не расстается с такими мыслями, и радость его велика, но строга. Я хочу, чтобы ты владел такою радостью: стоит тебе раз найти ее источник – и она уже не убудет. (5) Крупицы металла добываются у поверхности, но самые богатые жилы – те, что залегают в глубине, и они щедро награждают усердного старателя. Все, чем тешится чернь, дает наслаждение слабое и поверхностное, всякая радость, если она приходит извне, лишена прочной основы. Зато та, о которой я говорю и к которой пытаюсь привести тебя, нерушима и необъятна изнутри. (6) Прошу тебя, милый Луцилий, сделай то, что только и может дать тебе счастье: отбрось и растопчи все, что блестит снаружи, что можно получить из чужих рук, стремись к истинному благу и радуйся лишь тому, что твое.

Но что есть это «твое»? Ты сам, твоя лучшая часть! Запомни, что тело, хоть без него и не обойтись, для нас более необходимо, чем важно; наслаждения, доставляемые им, пусты и мимолетны, за ними следует раскаянье, а если их не обуздывать строгим воздержанием, они обратятся в свою противоположность. Я говорю так: наслаждение стоит на краю откоса и скатится к страданию, если не соблюсти меры, а соблюсти ее в том, что кажется благом, очень трудно. Только жадность к истинному благу безопасна. – (7) «Но что это такое, – спросишь ты, – и откуда берётся?» – Я отвечу: его дают чистая совесть, честные намерения, правильные поступки, презрение к случайному, ровный ход спокойной жизни, катящейся по одной колее. А кто перескакивает от одного намерения к другому и даже не перескакивает, а мечется под действием любой случайности, – как могут они, нерешительные и непоседливые, обрести хоть что-нибудь надежное и долговечное? (8) Лишь немногие располагают собой и своим добром по собственному усмотрению, прочие же подобны обломкам в реке: не они плывут, а их несет. Одни, гонимые волной послабее, движутся медленней и отстают, других она влечет быстрее, те выброшены на ближний берег стихающим течением, эти унесены в море стремленьем потока. Поэтому следует установить, чего мы хотим, и добиваться желаемого с упорством.

(9) Здесь кстати и заплатить тебе долг. Я могу привести слова твоего Эпикура и так выкупить это письмо: «Тяжко всегда начинать жизнь сначала». Или, если так лучше можно передать смысл: «Плохо живут те, кто всегда начинают жизнь сначала». (10) Ты спросишь, почему: ибо эти слова нуждаются в разъяснении. – Потому что жизнь у них никогда не завершена. Не может быть готов к смерти тот, кто едва только начал жить. Поступать нужно так, будто мы уже довольно пожили. Но так не может думать тот, кто едва приступает к жизни. (11) Напрасно мы полагаем, будто таких людей мало: почти все таковы. А некоторые тогда и начинают жить, когда пора кончать. А если тебе это кажется удивительным, я могу удивить тебя еще больше: некоторые кончают жить, так и не начав. Будь здоров.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо XXIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Тебя тревожит, – пишешь ты, – исход тяжбы, которою грозит тебе ярость противника; и ты полагаешь, будто я стану тебя убеждать, чтобы ты рассчитывал на лучшее и утешался приятной надеждой. Ведь какая надобность накликать беду и предвосхищать все, что нам и так скоро придется вытерпеть, зачем сейчас портить себе жизнь страхом перед будущим? Глупо, конечно, чувствовать себя несчастным из-за того, что когда-нибудь станешь несчастным. Но я поведу тебя к безмятежности другим путем. (2) Если ты хочешь избавиться от всякой тревоги, представь себе, что пугающее тебя случится непременно, и какова бы ни была беда, найди ей меру и взвесь свой страх. Тогда ты наверняка поймешь, что несчастье, которого ты боишься, или не так велико, или не так длительно. (3) Недолго найти и примеры, которые укрепят тебя: каждый век дает их. К чему бы ты ни обратился памятью – в нашем государстве или на чужбине – ты найдешь души, великие или благодаря природной силе, или благодаря совершенствованию. Если ты будешь осужден, разве ждет тебя что-нибудь тяжелее изгнания или тюрьмы? Есть ли что-нибудь страшнее, чем пытка огнем, чем гибель? Возьми любое из этих зол и назови тех, кто их презрел: тебе придется не искать имена, а выбирать. (4) Рутилий[1] перенес свое осуждение так, будто тяжелее всего была ему несправедливость судей. Метелл[2] переносил изгнание мужественно, а Рутилий даже с охотой. Первый подарил свой возврат республике, второй отказал в нем Сулле, которому тогда ни в чем не отказывали. Сократ беседовал и в темнице, а когда ему обещали устроить побег[3], он не захотел уходить и остался, чтобы избавить людей от страха перед двумя тяжелейшими вещами – смертью и темницей. (5) Муций[4] положил руку на огонь. Ужасна мука, когда тебя жгут, но еще ужаснее она, когда ты сам себя жжешь. Ты видишь, как человек неначитанный, не вооруженный для борьбы со смертью и болью никакими наставлениями, но укрепляемый лишь воинской стойкостью, сам себя казнит за неудачу! Он стоит и смотрит, как с его руки на вражескую жаровню падают капли, и не убирает ее, сгоревшую до костей, покуда враг не уносит огонь. Он мог бы действовать в чужом стане с большей удачей, но с большим мужеством не мог. Взгляни, ведь доблесть горячее стремится принять удар на себя, чем жестокость – нанести его, и Порсенна скорее простил Муцию намерение убить его, чем Муций простил себя за то, что не убил.

– (6) «Эти истории, – скажешь ты, – петы-перепеты во всех школах! Когда дело дойдет до презрения к смерти, ты начнешь рассказывать мне про Катона». – А почему бы мне и не рассказать, как он в ту последнюю ночь читал Платона, положив в изголовье меч? О двух орудиях позаботился он в крайней беде: об одном – чтобы умереть с охотой, о другом – чтобы умереть в любой миг. Устроив дела, он решил действовать так, чтобы никому не удалось ни убить Катона, ни спасти. (7) И, обнажив меч, который до того дня хранил не запятнанным кровью, он сказал: «Ты ничего не добилась, фортуна, воспрепятствовав всем моим начинаньям! Не за свою свободу я сражался, а за свободу родины, не ради того был так упорен, чтобы жить свободным, но ради того, чтобы жить среди свободных. А теперь, коль скоро так плачевны дела человеческого рода, Катону пора уходить в безопасное место». (8) И он нанес себе смертельную рану. А когда врачи перевязали ее, он, почти лишившись крови, лишившись сил, но сохранив все мужество, в гневе не только на Цезаря, но и на себя, вскрыл себе рану голыми руками и даже не испустил, а силой исторг из груди свою благородную душу, презиравшую любую власть.

(9) Я подбираю эти примеры не для упражнения ума, а чтобы ободрить тебя и укрепить против того, что кажется всего страшнее. Еще легче удастся мне это, если я покажу тебе, что не только мужественные презирали этот миг расставания с душой, но и люди обычно малодушные тут не уступали самым отважным. Так, Сципион[5], тесть Гнея Помпея, отнесенный противным ветром к берегам Африки, увидав, что его корабль захвачен врагами, пронзил себя мечом, а на вопрос, где начальник, ответил:

«С начальником все хорошо!» (10) Эти слова сравняли его с предками и не дали прекратиться славе, которая суждена была Сципионам в Африке [6]. Немалый подвиг – победить Кар-

фаген, но еще больший – победить смерть. «С начальником все хорошо!» Разве не так должен был умереть полководец, да еще под началом которого был Катон?

(11) Я не призываю тебя углубиться в прошлое, не собираю по всем векам людей, презревших смерть, хоть их и множество. Оглянись на наше время, которое мы порицаем за изнеженность[7] и слабость: оно покажет тебе людей всех сословий, всех состояний, всех возрастов, которые смертью положили конец своим несчастьям. Поверь мне, Луцилий, смерть настолько не страшна, что благодаря ей ничто для нас не страшно. Поэтому слушай угрозы врага со спокойствием. (12) Хотя чистая совесть дает тебе уверенность, но много значат не относящиеся к делу обстоятельства, – а потому надейся на справедливое решение, но готовься к несправедливому. Помни прежде всего об одном: отдели смятение от его причины, смотри на само дело – и ты убедишься, что в любом из них нет ничего страшного, кроме самого страха. (13) Что случается с детьми, то же бывает и с нами, взрослыми детьми: они пугаются, если вдруг увидят в масках тех, кого любят, к кому привыкли, с кем всегда играют. Не только с людей, но и с обстоятельств нужно снять маску и вернуть им подлинный облик. (14) Зачем ты показываешь мне клинки и факелы и шумную толпу палачей вокруг тебя? Убери эту пышность, за которой ты прячешься, пугая неразумных! Ты смерть, это тебя недавно презрел мой раб, моя служанка. Зачем ты опять выставляешь напоказ мне бичи и дыбы? К чему эти орудия, каждое из которых приспособлено терзать один какой-нибудь член тела, зачем сотни снарядов, истязающих человека по частям? Оставь все это, от чего мы цепенеем в ужасе. Прикажи, чтобы смолкли стоны и крики и горестные вопли, исторгаемые пытками. Разве ты – не та самая боль, которую презрел этот вот подагрик, которую другой, страдая желудком, выносит среди удовольствий, которую терпит женщина в родах? Ты легка, если я могу тебя вынести, ты коротка, если не могу.

(15) Все это ты часто слышал, часто говорил сам. Но думай об этом всегда и покажи на деле, правильно ли ты услышал и правду ли говорил. Ведь нет ничего постыднее обычного упрека нам: мы, мол, – философы на словах, а не на деле. Что же ты? Разве только сейчас узнал, что тебе грозит смерть, изгнание, боль? На то ты и родился! Так будем считать неизбежным все, что может случиться. (16) Но я знаю, ты наверняка уже сделал все, что я советую тебе. А сейчас я тебе советую не погружаться душой в тревоги о суде, не то она ослабеет и останется без сил в тот миг, когда должна будет воспрянуть. От того, что касается одного тебя, отвлеки ее на то, что касается всех, говори себе так: мое тело смертно и хрупко, и не только несправедливость или сила могущественных грозят ему болью – нет, сами наслаждения оборачиваются муками. От пиров портится желудок, от попоек цепенеют и дрожат жилы, похоть расслабляет руки, ноги, все суставы. (17) Я обеднею – значит, окажусь среди большинства. Буду изгнан – сочту себя уроженцем тех мест, куда меня сошлют. Попаду в оковы – что с того? Разве сейчас я не опутан? Природа уже связала меня весом моего грузного тела. Я умру? Но это значит, я уже не смогу заболеть, не смогу попасть в оковы, не смогу умереть! (18) Я не так глуп, чтобы затянуть здесь Эпикурову песенку и повторять, что страх перед преисподней – вздор, что не крутится колесо Иксиона, Сизиф не толкает плечом свой камень вверх по склону, ничьи внутренности не могут ежедневно отрастать[7], чтобы их снова терзали. Нет столь ребячливых, чтобы они боялися Цербера, и тьмы, и призрачной плоти, одевающей голые кости. Смерть или уничтожает нас, или выпускает на волю. У отпущенных, когда снято с них бремя, остается лучшее, у уничтоженных не остается ничего, ни хорошего, ни плохого – все отнято.

(19) Позволь мне привести здесь твой собственный стих, но прежде посоветовать, чтобы ты считал его написанным не только для других, но и для себя. Позорно говорить одно, а чувствовать другое, но насколько позорнее писать одно, а чувствовать другое! Я помню, ты однажды рассуждал о том, что мы не сразу попадаем в руки смерти, а постепенно, шаг за шагом. (20) Каждый день мы умираем, потому что каждый день отнимает у нас частицу жизни, и даже когда мы растем, наша жизнь убывает. Вот мы утратили младенчество, потом детство, потом отрочество. Вплоть до вчерашнего дня все минувшее время погибло, да и нынешний день мы делим со смертью. Как водяные часы делает пустыми не последняя капля, а вся вытекшая раньше вода, так и последний час, в который мы перестаем существовать, не составляет смерти, а лишь завершает ее: в этот час мы пришли к ней, а шли мы долго. (21) Когда ты описал все это с обычным твоим красноречием, как всегда величавым, но особенно сильным, когда ты посвящаешь

свои слова истине, ты сказал:

Смерть, уносящая нас, – лишь последняя смерть среди многих.

Лучше читай самого себя, чем мое письмо. Ты воочию убедишься, что смерть, которой мы боимся, – последняя, но не единственная.

(22) Вижу, куда ты смотришь: ищешь, что вставил я в это письмо, чьи мужественные слова, какое полезное наставление. Надо послать тебе что-нибудь касательно того предмета, которым мы сейчас занимались. Эпикур порицает жаждущих смерти не меньше, чем одержимых страхом перед нею; вот что он говорит: «Нелепо стремиться к смерти, пресытившись жизнью, если как раз из-за твоего образа жизни теперь приходится стремиться к смерти». (23) Также и в другом месте он говорит: «Что может быть нелепее, чем желать смерти после того, как всю жизнь тебе не давал покоя страх смерти?» К этим двум ты можешь прибавить еще одно изречение той же чеканки: «Только люди бывают так неразумны и даже безумны, что некоторых заставляет умереть страх смерти». (24) Возьми любое из этих изречений, и каждое укрепит твой дух, чтобы ты терпеливо сносил и жизнь и смерть. Ведь нужны непрестанные побуждения и ободрения для того, чтобы мы избавились и от чрезмерной любви к жизни и от чрезмерной ненависти к ней. Даже когда разум убеждает нас, что пора кончать, нельзя поступать необдуманно и мчаться очертя голову. (25) Мудрый и мужественный должен не убегать из жизни, а уходить. И прежде всего нужно избегать той страсти, которой охвачены столь многие, – сладострастной жажды смерти. Ибо помимо прочих душевных склонностей есть, Луцилий, еще и безотчетная склонность к смерти, и ей нередко поддаются люди благородные и сильные духом, но нередко также и ленивые и праздные. Первые презирают жизнь, вторым она в тягость. (26) И некоторые, устав и делать, и видеть одно и то же, пресыщаются и чувствуют даже не ненависть, а отвращение к жизни; и к нему же толкает нас сама философия, если мы говорим: «Доколе все одно и то же? Снова просыпаться и засыпать, чувствовать голод и утолять его, страдать то от холода, то от зноя? Ничто не кончается, все следует одно за другим по замкнутому кругу. Ночь настигает день, а день – ночь, лето переходит в осень, за осенью спешит зима, а ей кладет предел весна. Все проходит, чтобы вернуться, ничего нового я не делаю, не вижу, – неужто же это не надоест когда-нибудь до тошноты?» И немало есть таких, кому жизнь кажется не горькой, а ненужной. Будь здоров.

Письмо XXV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Что касается обоих наших друзей, то идти тут следует разными путями: пороки одного мы должны исправлять, пороки другого – искоренять. Я не буду себя сдерживать: ведь если я оставлю его в покое, значит, я не люблю его. – Ты скажешь: «Как так? Ты надеешься удержать под своей опекой сорокалетнего питомца? Взгляни на его возраст, твердый и неподатливый: такого не переделать, лепят только мягкое». – (2) Яне знаю, что мне удастся, но предпочитаю остаться без успеха, чем без веры. Не отчаивайся, и застарелые болезни можно лечить, если восстать против невоздержности, если принудить больных и делать, и терпеть многое, что им не по нраву, Я и второму-то не очень доверяю: разве что он еще краснеет, нагрешив. Этот стыд нужно поддерживать, ибо пока он не покинет душу, есть и надежда на лучшее. А с ветераном, по-моему, надо действовать осторожнее, чтобы он не отчаялся в самом себе. (3) И то время, когда он ненадолго успокоился и вроде бы исправился, было самым подходящим, чтобы взяться за него. Других эта передышка обманула, а меня ему не провести. Я жду, когда его пороки вернутся к нему с большой лихвою, так как знаю, что они сейчас только отступили, а не ушли совсем. Я потрачу день-другой и увижу на опыте, можно тут что-нибудь сделать или нет.

(4) А ты покажи себя мужественным и убавляй свою ношу, – впрочем, ты так и делаешь. Ничто из того, что мы имеем, не необходимо. Вернемся к законам природы – и богатство для нас готово. Все, в чем мы нуждаемся, или стоит дешево, или ничего не стоит. Природа требует только хлеба и воды, а для этого никто не беден. «Кто ограничил ими свои желания, тот поспорит в блаженстве с самим Юпитером», – говорил Эпикур. И еще одно его изречение я внесу в это письмо: (5) «Делай все так, будто на тебя смотрит Эпикур». Без сомнения, полезно приставить к себе сторожа и иметь его рядом, чтобы на него ты оглядывался, видя в нем свидетеля всех твоих

помыслов. Самое благотворное – жить словно под взглядом неразлучного с тобою человека добра, но с меня довольно и того, если ты, что бы ни делал, будешь делать так, будто на тебя смотрят. Одиночество для нас – самый злой советчик, (6) Когда ты преуспеешь настолько, что будешь стесняться самого себя, тогда можешь отпустить провожатого, а до тех пор пусть за тобой надзирает некто тобою чтимый, будь то Катон, либо Сципион, либо Лелий, – любой, в чьем присутствии даже совсем погибшие люди обуздывали свои пороки, – и так покуда сам не станешь тем человеком, на глазах у которого не отважишься грешить. А когда ты этого добьешься и начнешь хоть немного уважать самого себя, я позволю тебе поступать по совету того же Эпикура: «Тогда и уходи в себя, когда тебе приходится быть в толпе». (7) Нужно, чтобы ты был непохож на большинство людей. А пока ты не можешь безопасно замкнуться в себе, оглянись на того и на другого: для любого лучше быть с кем угодно, чем наедине с собою. «Тогда и уходи в себя, когда тебе приходится быть в толпе», – но только если ты человек добра, спокойный и воздержный; а не то уходи от самого себя к толпе, чтобы быть подальше от дурного человека. Будь здоров.

Письмо XXVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Недавно я говорил тебе, что старость моя совсем близко, а теперь боюсь, что старость у меня уже позади. Не к моим годам и во всяком случае не к состоянию моего тела приложимо это слово: ведь старостью называют возраст усталости, а не полной немощи. Меня же считай в числе совсем дряхлых и доживающих последние дни. (2) И все же, между нами, я благодарен самому себе, потому что гнет возраста чувствует только тело, а не душа, и состарились одни лишь пороки и то, что им способствует. Душа моя бодра и рада, что ей уже почти не приходится иметь дело с плотью; большую часть своего бремени она сбросила и теперь ликует и спорит со мною о старости, утверждая, что для нее сейчас самый расцвет.

(3) Надо ей поверить: пусть пользуется своим благом!

Хорошо бы сейчас подумать и разобраться, в какой мере спокойствием и скромностью нравов обязан я мудрости и в какой мере – возрасту, и разобраться тщательнее [1], чего я не могу делать и чего не хочу, даже и полагая, что могу. А если мне и не хочется каких-нибудь непосильных вещей, то я радуюсь своему бессилию. – Да и есть ли на что жаловаться? Велико ли несчастье, если уходит то, что и так должно прекратиться? – (4) «Да, это великое несчастье, – скажешь ты, – когда все в нас иссякает и отмирает и мы, если говорить без обиняков, совсем сходим на нет. Ведь не одним ударом валит нас наземь, нет, каждый день отнимает что-нибудь и уносит частицу наших сил». – Но есть ли исход лучше, чем незаметно скользить к своему концу, между тем как природа развязывает все узы? Дело не в том, что так уж плохо уйти из жизни сразу и вдруг, но этот медленный путь легче для нас. А я присматриваюсь к себе, словно близится срок испытания и наступает день, который вынесет приговор всем моим дням, и говорю про себя: «Все наши прежние слова и дела – ничто. Любое из этих свидетельств мужества легковесно и обманчиво, и густо прикрашено. (5) Смерть покажет, чего я достиг, ей я и поверю. Без робости готовлюсь я к тому дню, когда придется, отбросив уловки и стерев румяна, держать ответ перед самим собой: только ли слова мои были отважны или также и чувства, не были ли притворством и лицедейством все мои непреклонные речи против фортуны. (6) Отбрось людское мнение: оно всегда ненадежно и двойственно. Отбрось науки, которыми ты занимался всю жизнь. Смерть вынесет тебе приговор. Вот что я утверждаю: сколько бы ни вел ты споров и ученых бесед, сколько бы ни собирал назидательные изречения мудрецов, как бы гладко ни говорил, – ничто не докажет силы твоего духа. Ведь на словах и самый робкий храбр. Подоспеет конец – тогда и станет ясно, что ты успел. Что ж, я принимаю это условие и не боюсь суда». – (7) Так я говорю с собою, но можешь считать, что и с тобою. Ты моложе меня – что с того? Ведь не по годам счет! Неизвестно, где тебя ожидает смерть, так что лучше сам ожидай ее везде.

(8) Я хотел было кончить, и рука уже начала выводить прощальное приветствие, – но обряд должен быть исполнен, надо и этому письму дать дорожные. Не думай, будто я говорю: у кого

бы мне взять взаймы? Ты ведь знаешь, в чей ларчик я запускаю руку. Подожди немного – и я буду расплачиваться своими, а покуда меня ссудит Эпикур, который говорит: «Размышляй о смерти, – что сподручнее: ей ли прийти к нам или нам пойти ей навстречу». (9) Смысл тут ясен: ведь это прекрасно – научиться смерти! Или, по-твоему, излишне учиться тому, что пригодится один только раз? Нет, поэтому-то нам и нужно размышлять о ней! Где нельзя проверить свое знание на опыте, там следует учиться постоянно.

(10) «Размышляй о смерти!» – Кто говорит так, тот велит нам размышлять о свободе. Кто научился смерти, тот разучился быть рабом. Он выше всякой власти и уж наверное вне всякой власти. Что ему тюрьма и стража, и затворы? Выход ему всегда открыт! Есть лишь одна цепь, которая держит нас на привязи, – любовь к жизни. Не нужно стремиться от этого чувства избавиться, но убавить его силу нужно: тогда, если обстоятельства потребуют, нас ничего не удержит и не помешает нашей готовности немедля сделать то, что когда-нибудь все равно придется сделать. Будь здоров.

Письмо XXVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) «Ты поучаешь меня, – скажешь ты. – Не потому ли, что сам уже исправился через собственные поучения и теперь тебе хватает времени искоренять чужие пороки?» – Я не так бесчестен, чтобы, сам будучи нездоров, лечить других. Просто я как будто хвораю в одной комнате с тобою и беседую о нашем общем недуге, советуя разные лекарства. Слушай же меня так, словно я говорю с самим собой. Я впускаю тебя в мой тайник и, пользуясь твоим присутствием, нападаю на самого себя. (2) Себе я кричу: «Сочти свои годы – и постыдись желать того же, чего желал мальчишкой, и то же самое запасать. Хоть одно сделай ради себя, пока не пришел смертный час: пусть твои пороки умрут прежде тебя. Откажись от беспокойных наслаждений, за которые приходится платить так дорого: ведь все они вредны – не только будущие, но и минувшие. Как у злодеев, даже не пойманных с поличным, и после преступления не проходит тревога, так после нечистых наслаждений раскаяние остается и долго спустя. В них нет ни прочности, ни верности: даже те, что не вредят, мимолетны. (3) Лучше поищи непреходящее благо! А такого нет, кроме тех благ, которые душа обретает в самой себе. Одна лишь добродетель дает нам радость долговечную и надежную: все, что мешает ей, подобно облаку, которое проносится низко и не может одолеть дневной свет». (4) Когда же удастся настигнуть эту радость? И раньше в этом деле не мешкали, но нужно еще поспешить. Сделать остается так много, что непременно нужны твое усердие и твои труды, если ты хочешь чего-нибудь добиться. На других это дело не переложишь. (5) Чужая помощь возможна в другой, не в этой науке.

Жил еще на нашей памяти богач Кальвизий Сабин[1]. И по богатству своему, и по складу души это был настоящий вольноотпущенник. Никогда не видел я человека столь непристойного в своем блаженстве. Память у него была такая плохая, что он то и дело забывал имена Улисса, либо Ахилла, либо Приама, которых мы знаем[2] не хуже, чем рабов, приставленных к нам с детства. Никакой старик-номенклатор, который вместо того, чтобы вспоминать имена, выдумывает их, не приветствовал граждан до того невпопад, как Сабин – троянцев и ахеян. А хотелось ему слыть знатоком. (6) И вот какое средство он придумал: купив за большие деньги рабов, одного он заставил заучить Гомера, второго – Гесиода, еще девятерых распределил он по одному на каждого лирика[3]. Чему удивляться, если они дорого обошлись ему? Ведь таких рабов не найти, их готовили для него на заказ. Собрав у себя эту челядь, стал он донимать гостей за столом. В изножье у него стояли слуги, у которых он спрашивал те стихи, что хотел прочесть, – и все-таки запинался на полуслове. (7) Сателлий Квадрат, прихлебатель богатых глупцов, который перед ними пресмыкался и (ведь без того невозможно!) над ними насмехался, посоветовал ему поставить грамматиков сборщиками упавших объедков. А когда Сабин сказал, что каждый раб обошелся ему в сто тысяч. Квадрат отвечал: «Столько же книжных ларей ты мог бы купить дешевле!» Но тот все же упорно считал, что знания каждого из его домочадцев – это его знания. (8) Тот же Сателлий стал подзадоривать Сабина, человека больного, изможденного и хилого, за-

няться борьбой. А когда тот ответил: «Как же я смогу? Я и так еле жив!» – он сказал: «Во имя богов, не смей так говорить. Разве ты не видишь, сколько у тебя здоровенных рабов?» Совершенство духа нельзя ни взять взаймы, ни купить, а если бы оно и продавалось, все равно, я думаю, не нашлось бы покупателя. Зато низость покупается ежедневно.

(9) Получи теперь то, что я должен, и прощай. «Бедность, живущая по закону природы, – это богатство». Эпикур часто повторял эту мысль, всегда по-новому. Но не беда сказать лишний раз, если этому сколько ни учись, все мало. Одним довольно лекарство указать, другим нужно его навязывать. Будь здоров.

Письмо XXVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты полагаешь, будто ни с кем, кроме тебя, такого не бывало, и, словно делу невиданному, удивляешься тому, что и долгое странствие, и перемена мест не рассеяли твоей тоски и угнетенности духа. Но менять надо не небо, а душу! Пусть бы ты уехал за широкие моря, пусть бы, как говорит наш Вергилий»Столько же книжных ларей ты мог бы купить дешевле!» Но тот все же упорно считал, что знания каждого из его домочадцев – это его знания. (8) Тот же Сателлий стал подзадоривать Сабина, человека больного, изможденного и хилого, заняться борьбой. А когда тот ответил: «Как же я смогу? Я и так еле жив!» – он сказал: «Во имя богов, не смей так говорить. Разве ты не видишь, сколько у тебя здоровенных рабов?» Совершенство духа нельзя ни взять взаймы, ни купить, а если бы оно и продавалось, все равно, я думаю, не нашлось бы покупателя. Зато низость покупается ежедневно.

(9) Получи теперь то, что я должен, и прощай. «Бедность, живущая по закону природы, – это богатство». Эпикур часто повторял эту мысль, всегда по-новому. Но не беда сказать лишний раз, если этому сколько ни учись, все мало. Одним довольно лекарство указать, другим нужно его навязывать. Будь здоров., «города и берег исчезли», – за тобою везде, куда бы ты ни приехал, последуют твои пороки. (2) То же самое ответил на чей-то вопрос и Сократ: «Странно ли, что тебе нет никакой пользы от странствий, если ты повсюду таскаешь самого себя?» – Та же причина, что погнала тебя в путь, гонится за тобою. Что толку искать новых мест, впервые видеть города и страны? Сколько ни разъезжай, все пропадет впустую. Ты спросишь, почему тебе невозможно спастись бегством? От себя не убежишь! Надо сбросить с души ее груз, а до того ни одно место тебе не понравится. (3) Пойми, ты теперь в таком же состоянии, как та пророчица, которую наш Вергилий изобразил исступленной и воспламененной чужим духом, почти уже овладевшим ею:

Точно вакханка, она по пещере мечется, будто Бога может изгнать из сердца.[2]

И ты мечешься туда и сюда, чтобы сбросить давящее бремя, а оно, чем больше ты скитаешься, тем делается тягостнее. Так менее тяжек для корабля груз, закрепленный неподвижно, а груз, наваленный неравномерно, перевешивает на один борт и скорее топит судно. Что бы ты ни сделал, все обернется против тебя, самими разъездами ты вредишь себе: ведь больному не даешь ты покоя. (4) Зато когда избудешь эту беду, всякая перемена мест станет тебе приятна. Пусть тебя сошлют на край земли, пусть заставят жить в любой глуши у варваров, – такое пристанище, вопреки всему, окажется для тебя гостеприимным. Важно, каким ты приезжаешь, а не куда приезжаешь, – и поэтому ни к одному месту не должны мы привязываться всей душой. Надо жить с таким убеждением: «Не для одного уголка я рожден: весь мир мне отчизна»[3]. (5) Будь тебе это ясно, ты не стал бы удивляться, что не помогает новизна мест, когда ты, наскучив одной страной, перебираешься в другую: ведь и первая пришлась бы тебе по душе, если б ты все считал своим. А сейчас ты не путешествуешь, но скитаешься и мечешься, гонимый с места на место поисками того, что есть везде: ведь всюду нам дано жить правильно. (6) Есть ли что суетливей форума? Но и там можно жить спокойно, если деться некуда. Хотя, если б можно было располагать собою, я бежал бы от одного вида, не то что от соседства форума: как есть гиблые места, подта-

чивающие самое крепкое здоровье, так есть места вредные для тех, чей дух хотя и благороден, но еще не совершенен и до конца не излечен. (7) Я не согласен с теми, кто бросается в волны и, любя жизнь беспокойную, каждый день мужественно сражается с трудностями. Мудрый терпит такую участь, но не выбирает ее и предпочитает мир сражению. Мало пользы избавиться от своих пороков, если приходится спорить с чужими! – (8) «Тридцать тиранов[4] окружали Сократа – и не сломили его мужества». – Разве дело в том, сколько господ? Рабство всегда одно! Кто его презрел, тот и в толпе повелителей будет свободен.

(9) Пора кончать письмо, но прежде надо заплатить пошлину. «Знать свой изъян – первый шаг к здоровью». – По-моему, замечательны эти слова Эпикура. Ведь кто не знает за собой изъяна, тот не желает его искоренить. Сперва следует изобличить себя, потом исправляться. А те, которые хвалятся пороками, – неужели, по-твоему, думают они о лекарствах, если считают свои грехи добродетелями? Поэтому, сколько можешь, сам себя выводи на чистую воду, ищи против себя улик! Сначала выступи обвинителем, потом – судьей и только под конец – ходатаем. Иногда стоит самому себе быть обидчиком! Будь здоров.

Письмо XXIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты спрашиваешь о нашем Марцеллине[1] и хочешь узнать, что он поделывает. Он редко к нам заходит – по той одной причине, что боится услышать правду. Но эта опасность ему уже не грозит: ведь незачем разговаривать с тем, кто не станет слушать. Потому-то нередко и сомневаются насчет Диогена и прочих киников, которые со всеми чувствовали себя вольно и увещевали каждого встречного: следовало ли им делать так? (2) Что толку выговаривать глухому или немому от рождения либо от болезни? – Ты спросишь: «К чему мне беречь слова? Ведь они ничего не стоят! Мне не дано знать, помогут ли мои уговоры тому или этому, но я знаю, что, уговаривая многих, кому-нибудь да помогу. Нужно всякому протягивать руку, и не может быть, чтобы из многих попыток ни одна не принесла успеха». – (3) Нет, Луцилий, я не думаю, чтобы великому человеку следовало так поступать: влияние его будет подорвано и потеряет силу среди тех, кого могло бы исправить, не будь оно прежде изношено. Стрелок из лука должен не изредка попадать, но изредка давать промах. Если цели достигаешь случайно – какое же это искусство! А мудрость – искусство: пусть она метит наверняка, пусть выбирает таких, кто на что-то способен, и отступится от тех, в ком отчаялась, но не сразу, а испробовав последние средства даже после того, как отчается.

(4) В Марцеллине я пока еще не отчаялся. Его и сейчас можно спасти, но только если немедля протянуть ему руку. Правда, есть опасность, что он и спасителя утянет, – так велики его дарования, уже обратившиеся, однако, к пороку. Все же я пойду на риск и осмелюсь показать ему все его язвы. (5) Он поступит, как всегда: призовет на помощь свои шуточки, от которых и скорбящий рассмеется, будет потешаться сперва над собой, потом над нами, заранее скажет все, что я собирался сказать. Он обыщет все наши школы и каждого философа попрекнет подачкой, подружкой, лакомством; одного он покажет мне в постели, другого – в кабачке, третьего – в прихожей. (6) Он покажет мне славного философа Аристона[2], который читал свои рассуждения только с носилок, потому что другого времени для обнародования своих трудов выбрать не мог. Когда Скавра[3] спросили, к какому учению примыкает Аристон, тот сказал: «Уж во всяком случае не к перипатетикам!»[4] Когда осведомились, что думает о том же Юлий Греции [5], человек замечательный, он ответил, будто речь шла о гладиаторе в колеснице: «Не могу сказать; ведь я не знаю, на что он способен пешим». (7) Он будет колоть мне глаза именами всех бродячих шутов, которым лучше бы вовсе не заниматься философией, чем торговать ею. Но я решил стерпеть все обиды. Пусть он меня рассмешит, – я, может быть, заставлю его плакать, а если он не перестанет смеяться, то я, как ни плохо дело, порадуюсь, что его постиг такой веселый род безумия. Впрочем, веселость эта ненадолго: присмотрись к такому человеку и увидишь, как безудержный смех через мгновенье сменяется безудержным бешенством. (8) Я намерен взяться за него и доказать, насколько выше была бы ему цена, когда б толпа ценила его пониже. Если я и

не искореню его пороки, то обуздаю их: пусть они не исчезнут, но хоть уйдут на время, – а может быть, они и исчезнут, если привыкнут уходить. Да и передышками нельзя пренебрегать: тяжелобольным временное улучшение заменяет здоровье.

(9) А пока я готовлюсь взяться за него, ты сам – ведь ты и можешь, и понимаешь, от чего ушел и к чему пришел, и поэтому догадываешься, куда придешь впредь, – ты сам совершенствуй свой нрав, возвышай душу, будь стоек, что бы тебя ни пугало. Не смей пересчитывать всех, кто тебе страшен. Не глуп ли, по-твоему, тот, кто боится многих там, где можно пройти лишь поодиночке? Так же и к твоей смерти доступ открыт только одному, сколько бы врагов тебе ни угрожало. Так уж устроила природа: одну жизнь она тебе дала, одну и отнимет. (10) Был бы в тебе стыд, – ты отсрочил бы мне последний взнос. Но и я не буду скряжничать, погашая остаток долга, и вручу тебе все, что с меня следует. – «Никогда я не хотел нравиться народу – ведь народ не любит того, что я знаю, а я не знаю того, что любит народ». – (11) «Кто же это?» – спросишь ты. Как будто тебе неизвестно, кому я приказываю. – Эпикуру! Но то же самое подтвердят тебе в один голос из всех домов: и перипатетики, и академики, и стоики, и киники. Как может быть дорог народу тот, кому дорога добродетель? Благосклонность народа иначе, как постыдными уловками, не приобретешь. Толпе нужно уподобиться: не признав своим, она тебя и не полюбит. Дело не в том, каким ты кажешься прочим, а в том, каким сам себе кажешься. Только низким путем можно снискать любовь низких. (12) Что же даст тебе хваленая философия, высочайшая из всех наук и искусств? А вот что: ты предпочтешь нравиться самому себе, а не народу, будешь взвешивать суждения, а не считать их, будешь жить, не боясь ни богов, ни людей, и либо победишь беды, либо положишь им конец. А если я увижу, что благосклонные голоса толпы превозносят тебя, если при твоем появлении поднимаются крики и рукоплескания, какими награждают мимов, если тебя по всему городу будут расхваливать женщины и мальчишки, – как же мне не пожалеть тебя? Ведь я знаю, каким путем попадают во всеобщие любимцы! Будь здоров.

Письмо XXX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Повидал я Ауфидия Басса[1]: этот превосходный человек изнемог в борьбе со старостью. Она гнетет его слишком сильно, чтобы ему подняться, – таким тяжелым и все подавляющим бременем налегли годы. Ты знаешь, что он и всегда был слаб здоровьем и хил, однако долго держался или, вернее, поддерживал себя – и вдруг сдал. (2) Как кораблю, который дал течь, не опасны одна-две трещины, но когда он расшатается и разойдется во многих местах, то рассевшегося днища уже не поправить, – так и старческую немощь до поры можно терпеть и даже найти ей подпоры, но когда, словно в трухлявой постройке, все швы расползаются и, пока чинишь одно, другое разваливается, тут уж надо думать о том, как бы уйти. (3) Но наш Басе бодр духом. Вот что дает философия: веселость, несмотря на приближение смерти, мужество и радость, несмотря на состояние тела, силу, несмотря на бессилие. Хороший кормчий плывет и с изодранным парусом, и даже когда снасти сорвет, он приспособит, что осталось, и плывет дальше. Так же поступает и наш Басе. Свою кончину он встречает с такой безмятежностью в душе и взоре, что всякого, кто так смотрел бы на чужую смерть, ты счел бы слишком уж спокойным. (4) А ведь это великое дело, Луцилий, и долго надо ему учиться, – когда придет неизбежный срок, уйти со спокойной душою. Любой род смерти оставляет надежду: болезнь проходит, пожар гаснет, обрушившийся дом плавно опускает тех, кого грозил раздавить, море, поглотившее пловцов, выбрасывает их невредимыми с тою же силой, с какой затянуло вглубь, воин отводит меч, уже коснувшийся шеи жертвы. Не на что надеяться только тому, кого к смерти ведет старость: тут никто не может вмешаться. Этот род смерти – самый безболезненный, но и самый долгий. (5) Мне казалось, что наш Басе сам себя проводил в могилу и, пережив самого себя, переносит разлуку, как мудрец. Он много говорит о смерти и делает это нарочно, желая убедить нас в том, что, если и есть в этом деле что-нибудь неприятное и страшное, то виноват умирающий, а не сама смерть, в которой не больше тяжелого, чем после смерти. (6) Одинаковое безумие – бояться того, что не принесет страданий, и того, чего нельзя и почувствовать. Неужели кто-нибудь думает, что мож-

но почувствовать ту, благодаря которой перестают чувствовать? «Поэтому, – заключает Басе, смерть стоит за пределами зла, а значит – и страха перед злом».

(7) Я знаю, такие слова часто повторяли и должны повторять: но они не помогали мне, ни когда я их читал, ни когда слышал от людей, объявлявших нестрашным то, чего им самим еще не приходилось бояться. А его речь была для меня особенно убедительна, потому что говорил он о собственной близкой смерти. – (8) Скажу тебе, что думаю: по-моему, умирая, человек мужественнее, чем перед смертью. Когда смерть пришла, она и невежде даст силу духа не бежать от неизбежного. Так гладиатор, самый робкий во все время боя, подставляет горло противнику и сам направляет неверный меч. А та смерть, что близка и наверняка придет, требует долгой стойкости духа, качества редкого, которое может явить лишь мудрец. (9) Поэтому я с особой охотой слушал, как он выносит приговор смерти и судит о природе той, которую видел вблизи. Я полагаю, больше веры у тебя заслужил бы тот, кто ожил и, зная на опыте, рассказал бы, что в смерти нет никакого зла. А сколько смятения приносит приближающаяся смерть, лучше всех объяснят те, кто был с нею рядом, видел ее приход и встретил ее. (10) К ним можно причислить Басса, который не хочет, чтобы мы оставались в заблуждении, и говорит, что бояться смерти так же глупо, как бояться старости. Ведь так же, как за молодостью идет старость, следом за старостью приходит смерть. Кто не хочет умирать, тот не хотел жить. Ибо жизнь дана нам под условием смерти и сама есть лишь путь к ней. Поэтому глупо ее бояться: ведь известного мы заранее ждем, а страшимся лишь неведомого. (11) Неизбежность же смерти равна для всех и непобедима. Можно ли пенять на свой удел, если он такой же, как у всех? Равенство есть начало справедливости. Значит, незачем защищать от обвинения природу, которая не пожелала, чтобы мы жили не по ее закону. А она созданное уничтожает, уничтоженное создает вновь.

(12) Если же кого-нибудь старость кротко отправит прочь, не вырвав внезапно из жизни, но уведя из нее незаметно, – разве тот, кому такое выпало на долю, не должен благодарить всех богов, отославших его, сытого, на покой, всякому человеку необходимый, а усталому – отрадный? Ты видишь, иные зовут смерть с большим пылом, чем обычно молят о продлении жизни. Однако я не знаю, от кого мы почерпнем больше мужества: от тех ли, кто ищет смерти, или от тех, кто весело и спокойно ждет ее, потому что первыми движет порой смятение чувств и внезапное негодование, а спокойствие вторых рождено непреложным суждением. Иногда человека гонит к смерти гнев; но весело встретит ее приход только тот, кто готовился к ней задолго.

(13) Итак, признаюсь, я бываю у этого дорогого мне человека так часто по многим причинам; мне хочется знать, найду ли я его и на сей раз прежним или же стойкость духа иссякает вместе с силами тела. Но она у него все росла, так же как на глазах у всех растет радость возниц, когда они на седьмом круге[2] приближаются к победе. (14) Верный наставлениям Эпикура, он говорил мне так: можно надеяться, что последний вздох излетает без боли, а если боль и есть, то хоть некоторое утешение заключено в ее краткости, – потому что сильная боль не бывает долгой. В самый миг расставания души с телом, – если это мучительно, – ему поможет мысль, что после этой боли уже ничего болеть не будет. Но, впрочем, он не сомневается, что душа старика держится на волоске и, чтобы вырвать ее из тела, большой силы не нужно. Если огонь охватил крепкий дом, то надо гасить его, заливая водой или обрушив постройку, но там, где ему не хватает пищи, он сам гаснет. – (15) Я особенно охотно слушаю это, Луцилий, не потому что оно ново, но потому что воочию вижу все на деле. В чем же суть? Разве мало я наблюдал людей, добровольно обрывавших свою жизнь? Видеть-то я их видел, но для меня убедительнее пример тех, кто идет к смерти без ненависти к жизни, кто принимает, а не призывает кончину. (16) «Мучимся мы, – говорил он, – по своей вине, оттого что трепещем, когда думаем, что смерть близко. Но бывает ли далеко та, что подстерегает нас в любом месте и в любой миг? Едва нам покажется, что по какой-то причине приблизилась смерть, лучше подумаем о других, еще более близких причинах, которых мы не боимся». – Враг угрожал смертью, – но врага опередила болезнь желудка. (17) Если бы мы захотели разобраться в причинах нашего страха, то убедились бы, что одни из них существуют, другие нам мерещатся. Мы боимся не смерти, а мыслей о смерти – ведь от самой смерти мы всегда в двух шагах. Значит, если смерть страшна, то нужно всегда быть в страхе: разве мы хоть когда-нибудь избавлены от нее?

(18) Но мне уже надобно опасаться, как бы ты не возненавидел такие длинные письма хуже

смерти. Итак, я кончаю. А ты, чтобы никогда не бояться смерти, всегда думай о ней. Будь здоров.

Письмо XXXI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я узнаю моего Луцилия: он уже показал себя таким, каким обещал стать. Следуй порыву души, который вел тебя мимо общепризнанных благ к высшему благу. Стань таким, каким ты задумал стать, не больше и не лучше, – иного я и не желаю. Возводя основание, ты не стеснялся местом, доводи же до конца то, на что замахнулся, пусти в дело все, что есть у тебя за душой.

(2) В конечном счете ты станешь мудрым, если заткнешь уши, и не воском, который пригодился, говорят, Улиссу[1] для его спутников: тут нужно что-нибудь поплотнее и понадежней. Вкрадчив был голос, которого боялся Улисс, но он был единственным, а тот голос, которого тебе надо бояться, доносится не с одного утеса, а со всех концов земли. Значит, надо объехать стороной не одно опасное место, где притаилось в засаде наслаждение, а все города. Будь глух даже для тех, кому ты всех дороже: они с лучшими намерениями желают тебе дурного, и если ты хочешь быть счастливым, моли богов не посылать тебе того, о чем просят доброжелатели. (3) Ведь не блага все то, чем они хотели бы тебя осыпать. Есть одно благо, и в нем же – источник и залог блаженной жизни: полагаться на себя. А этого не достигнешь, не презирая тягот и не сочтя их одной из тех вещей, которые ни хороши, ни плохи. Ведь не бывает так, чтобы одно и то же было то хорошим, то плохим, то легким и сносным, то ужасным. (4) Тяготы – не благо. Но что же тогда благо? Презрение к тяготам. Поэтому я порицаю занятых пустыми делами, зато любым, кто старается ради честной цели, я восхищаюсь тем больше, чем усерднее его усилия и чем меньше он позволяет себе поддаваться и застревать на месте. Таким я кричу: «Хорошо! Ну-ка, набери воздуху и, если можешь, возьми этот склон на одном дыхании!» (5) Тяготы питают благородные души. Значит, из всего, о чем когда-то молились твои родители, тебе уже нечего выбрать, нечего захотеть для себя и пожелать самому себе, да и стыдно человеку, который одолел самые высокие вершины, обременять богов. Что нужды в молитвах? Сделай сам себя счастливым! Это тебе по силам, если поймешь одно: благо лишь то, в чем присутствует добродетель, а то, что причастно злу, постыдно. Подобно тому как без примеси света ничто не блестит, как ничто не бывает темным, если нет в нем сумрака, если оно не вобрало в себя долю тьмы, подобно тому как без помощи огня нет теплоты, а без воздуха нет холода, – так только присутствие добродетели или зла делает все честным либо постыдным.

(6) Что же есть благо? Знание. Что есть зло? Незнание. Кто умен и искусен, тот, смотря по обстоятельствам, одно отвергнет, другое выберет [2]. Однако он не боится того, что отвергает, и не восхищается тем, что выбирает, если только душа его высока и непобедима. Я запрещаю тебе унывать и сокрушаться. Мало не отказываться от труда: нужно искать его! – (7) «Но что же такое, – спросишь ты, – труд пустой и ненуж ный?» – Тот, что вызван ничтожными причинами[3]. Он тоже не есть зло, как и тот труд, что затрачен ради прекрасной цели; ведь дело в самой стойкости, а она есть свойство души, побуждающее одолевать трудности и тяготы и ободряющее нас: «Что ты мешкаешь? Мужчине пот не страшен!»

(8) Но чтобы добродетель б.ыла совершенной, нужно еще вот что: пусть будет твоя жизнь равна себе, пусть ничто в ней не противоречит одно другому, а это невозможно без знания и без искусства, позволяющего познать божеское и человеческое. Таково высшее благо. Достигни его – и станешь не просителем, а ровней богам.

(9) «Как же прийти к этому?» – спросишь ты. Не через Пенинский или Греческий хребет, не через пустыни Кандавии; не нужно будет объезжать ни Сирты, ни Сциллу с Харибдой [4], – хоть все это ты и проделал ради жалкой прокураторской должности. Нет, дорога безопасна, дорога приятна, и снарядила тебя сама природа. Она дала тебе все, чтобы ты стал наравне с богом, если не пренебрежешь данным. (10) Не деньги сделают тебя равным богу: у бога ничего нет; не сделает и претекста[5]: бог наг; не сделает ни молва, ни уменье показать себя, ни имя, известное всему народу: бог никому неведом, многие думают о нем дурно – и безнаказанно; не сделает

толпа рабов, таскающих твои носилки по всем дорогам в городе и на чужбине: величайший и могущественнейший бог сам всем движет. Не сделает тебя блаженным ни сила, ни красота: и то и другое уступает старости. (11) Нужно искать нечто такое, что не подпадает день ото дня все больше под власть, не знающую препятствий[6]. Что же это? Душа, но душа непреклонная, благородная, высокая. Можно ли назвать ее иначе как богом, нашедшим приют в теле человека? Такая душа может оказаться и у римского всадника, и у вольноотпущенника, и у раба. Что такое римский всадник, вольноотпущенник, раб? Все это – имена, порожденные честолюбием или несправедливостью. Из тесного угла можно вознестись к небу, – только воспрянь

и дух свой Бога достойным яви! 7

Чтобы явить его таким, не нужно ни золота, ни серебра: из них не изваять истинный образ бога. Вспомни: когда боги взирали на нас благосклонно, они были из глины. Будь здоров.

Письмо XXXII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я все про тебя разузнаю и выпытываю у каждого, кто приезжает из твоих краев, что ты делаешь, где и с кем проводишь время. Тебе меня не обмануть: я везде с тобою. Живи так, словно я слышу о каждом твоем поступке и даже вижу его. Ты спросишь, что мне было приятнее всего о тебе слышать? То, что я ничего не слышал: большинство из спрошенных мною и не знают о твоих делах. (2) Са,мое полезное – сторониться людей, на тебя не похожих и одержимых другими желаниями. Впрочем, я уверен, что тебя не сбить с пути: ты будешь тверд в своих стремлениях даже среди толпы совратителей. Так что же? Я не боюсь, что тебя сделают другим, боюсь, что тебе помешают. Ведь и тот, из-за кого мы мешкаем, немало вредит нам; тем более что жизнь наша коротка и сами мы еще больше сокращаем ее своим непостоянством, каждый раз начиная жить наново. Мы дробим ее на мелкие части и рвем в клочки. (3) Спеши же, дорогой мой Луцилий, подумай, как бы ты ускорил шаг, если бы по пятам за тобою шли враги, если бы ты опасался, что вот-вот появится конный и пустится вдогонку убегающим. Так оно и есть: погоня настигает, беги быстрее, укройся в надежном месте! А покуда подумай, как хорошо пройти весь путь жизни раньше смертного часа, а потом безмятежно ждать, пока минует остаток дней, ничего для себя не желая,. ибо ты достиг блаженства и жизнь твоя не станет блаженнее, если продлится еще. (4) Наступит, наконец, время, когда ты будешь знать, что-до времени тебе нет дела, когда ты станешь спокойным и безмятежным и, сытый собою по горло, не будешь думать о завтрашнем дне! Ты хочешь знать, отчего люди так жадны до будущего? Оттого, что никто сам себе не принадлежит!

Твои родители желали для тебя много такого, что я, с моей стороны, желаю тебе презирать. Их пожелания грабили многих, чтобы обогатить тебя: все, что тебе достается, непременно у кого-нибудь отнято. (5) А я желаю тебе распоряжаться самим собой, чтобы твой дух, волнуемый смутными мыслями, противился им, обрел уверенность и довольство собою, чтобы, поняв, в чем истинное благо (а понять – значит овладеть им), он не нуждался в продлении жизни. Только тот поистине уволен со службы и свободен, тот ушел из-под власти необходимости, кто живет, завершив путь жизни. Будь здоров.

Письмо XXXIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты хочешь, чтобы я и к этим письмам, как к прежним, прибавлял изречения наших великих. Но ведь они занимались не одними украшениями речи: все в их сочинениях мужественно. Ты сам знаешь: где что-нибудь выдается и бросается в глаза, там не все ровно. Если весь лес одинаковой высоты, ты не станешь восхищаться одним деревом. (2) Такими изречениями полны и стихи, и труды историков. Поэтому не думай, будто они принадлежат только Эпикуру: они –

общее достояние, и больше-всего – наше. Но у него их легче заметить, потому что попадаются они редко, потому что их не ждешь, потому что странно видеть мужественное слово у человека, проповедующего изнеженность. Так судит о нем большинство; а для меня Эпикур будет мужествен даже в тунике с рукавами[1]. Ведь мужество и усердие, и готовность к бою есть и у персов, а не только у высоко подпоясанных [2]. (3) Так зачем же требовать от меня выбранных из целого и многократно повторенных слов, если то, что у других можно лишь выбрать, у наших говорится сплошь? Нет у нас бьющих в глаза приманок, мы не морочим покупателя, который, войдя, ничего не отыщет, кроме вывешенного у двери. Мы каждому позволяем выбирать образцы, откуда ему угодно. (4) Представь, что мы захотели бы привести то или другое изречение из множества: кому его приписать? Зенону, или Клеанфу, или Хрисиппу, или Панэтию, или Посидонию? Над нами нет царя, каждый распоряжается собою. А у них и то, что сказано Гермархом или Метродором, приписывается одному. Кто бы что ни сказал в их лагере, все сказано под верховным водительством единственного человека. Мы же, как бы ни старались, не можем выделить что-нибудь одно из такого множества одинаковых предметов.

Только бедняк считает овец.[3]

Куда ты ни взглянешь, читая, всюду найдешь такое, что бросалось бы в глаза, не будь все остальное не хуже.

(5) Поэтому не надейся, что тебе удастся наскоро отведать плоды дарования величайших людей: тут нужно все рассмотреть, все изучить. Все здесь по делу, каждая черта в произведении так сплетена с другою, что невозможно что-либо изъять, не разрушив целого. Впрочем, я не запрещаю тебе рассматривать и отдельные члены, но только имея перед собой всего человека. Не та красива, у которой хвалят руку или ногу, а та, у кого весь облик не позволит восхищаться отдельными чертами.

(6) Если ты все-таки настаиваешь, я не стану скупиться, а буду дарить щедрой рукой. Число изречений несметно, они разбросаны везде, их нужно не выбирать, а подбирать. Они не капают по капле, а текут сплошной струёй, слитые воедино. Нет сомнения, они принесут немалую пользу неискушенным, слушающим из-за дверей. Легче запоминаются отдельные мысли, законченные и завершенные, как строки стихов. (7) Поэтому мы и даем мальчикам заучивать наизусть изречения и то, что греки называют «хриями» [4]: их легко может воспринять детская душа, неспособная еще вместить больше. Взрослому же и сделавшему успехи стыдно срывать цветочки изречений, опираясь, как на посох, на немногие расхожие мысли, и жить заученным на память. Пусть стоит на своих ногах и говорит сам, а не запоминает чужое. Стыдно старому или пожилому набираться мудрости из учебника. «Так сказал Зенон». – А ты сам? – «А это сказано Клеанфом». – А ты-то? До каких пор будешь под началом у других? Командуй сам, скажи слово, достойное памяти. Изреки что-нибудь от себя. (8) На мой взгляд, все эти не создатели, а толкователи, прячущиеся в чужой тени, не обладая ни каплей благородства, век не осмелятся сделать то, чему так долго учились. Они понаторели запоминать чужое. Но одно дело помнить, другое знать! Помнить – значит сохранять в па мяти порученное тебе другими, а знать это значит делать и по-своему, не упершись глазами в образец и не оглядываясь всякий раз на учителя. – (9) «Так сказал Зенон, это сказано Клеанфом». – Не становись второю книгой! До каких пор ты будешь учиться? Учи других, пора! Зачем мне слушать то, что я и сам могу прочесть? «Живой голос – великое дело!» – Но не тот, что приспособлен повторять чужие слова и годится только в переписчики. (10) И еще: неспособные выйти из-под опеки предшественников идут за ними, во-первых, даже в том, от чего все уже отошли, и, во-вторых, в том, что еще только ищется и никогда не будет найдено, если мы станем довольствоваться найденным прежде. Вдобавок, идущий следом за другим ничего не найдет, потому что не ищет. – «Что же» мне не идти по стопам предшественников?» – Нет, я воспользуюсь старой дорогой, но если найду другую, короче и ровнее, то сам ее вымощу. Все, кто до нас занимались тем же, не наши повелители, а наши вожатые. Истина открыта для всех, ею никто не завладел. Немалая доля ее останется и потомкам. Будь здоров.

Письмо XXXIV

Сенека приветствует Луцилия!

(I) Я радуюсь и ликую, и, стряхнув с себя старость, распаляюсь, как юноша, когда по твоим делам и письмам понимаю, насколько ты превзошел самого себя (потому что толпу ты давно оставил позади). Если земледельца радует первый плод выращенного им дерева, если пастуху приятен прирост стада, если всякий смотрит на своего питомца так, словно считает его юность своею, – что, по-твоему, должны испытывать воспитавшие в другом природный дар, когда вдруг увидят созревшим то, что было нежным под их лепившими руками? (2) Я притязаю на тебя: ты – мое создание. Едва заметив твои задатки, я взялся за тебя, подбадривал, давал шпоры и не позволял идти медленно, то и дело подгонял тебя, да и сейчас занимаюсь тем же, однако подбадриваю бегущего и подбадривающего меня самого. (3) Ты спросишь, чего мне еще надобно. – Теперь-то и пойдет самое важное. Обычно говорят, что начало – это уже полдела; то же относится[1] и к нашей душе: желание стать добродетельными – полпути к добродетели. Но знаешь, кого я назову добродетельным? Человека совершенного и независимого, которого никакая сила, никакая нужда не испортит. (4) Такого я и прозреваю в тебе, если ты будешь упорен в своих стараниях, если будешь поступать так, чтобы между твоими делами и словами не было не только противоречия, но и расхождения, если и то и другое будет одной чеканки. Твоя душа еще не на верном пути, если поступки твои не согласуются между собой. Будь здоров!

Письмо XXXV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Упрашивая тебя быть усердней в занятиях, я хлопочу о себе. Мне хочется иметь друга, но если ты не станешь и дальше образовывать себя так же, как вначале, то другом моим не сможешь быть и не будешь. Покуда же ты любишь меня, но другом еще не стал. – «Как так? Разве это не одно и то же?» – Нет, и разница тут велика. Друг всегда любит, но кто любит, тот не всегда друг. Потому что дружба приносит только пользу, а любовь иногда и вред. Так совершенствуйся хотя бы ради того, чтобы научиться любить. (2) И спеши, если ты стремишься к совершенству ради меня, не то выучишься для другого. А я уже заранее предвкушаю плоды, воображая, как мы будем жить душа в душу, как те силы, что уходят у меня с возрастом, возвращаются ко мне от тебя, хоть ты и ненамного младше. (3) Но я хочу испытать эту радость не только в мечтах. И в разлуке те, кого мы любим, приносят нам радость, но только небольшую и недолгую. Быть рядом, видеть, говорить – вот живое наслаждение, особенно если встречаешь не только того, кого хочешь, но и таким, каким хочешь. Сделай мне самый большой подарок – подари самого себя! [1] А чтобы стать еще усерднее, вспоминай, что ты смертей, а я стар. (4) Спеши же ко мне, но прежде – к себе самому. Совершенствуйся и больше всего заботься о том, чтобы быть верным самому себе. Всякий раз как захочешь проверить, сделано ли что-нибудь, взгляни, хочешь ли ты сегодня того, чего и вчера. Перемена желаний доказывает, что душа носится по волнам, появляясь то там, то тут, – куда пригонит ветер. Все, что стоит на прочном основании, непоколебимо. Это доступно достигшему совершенной мудрости, а отчасти и тому, кто с успехом в ней совершенствуется. В чем между ними разница? – Второй еще в движении, он хоть не меняет места, но колеблется, а первый недвижим. Будь здоров!

Письмо XXXVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ободри твоего друга, чтобы он всем своим благородным сердцем презирал хулящих его за то, что он избрал безвестность и досуг, что отказался от почетной должности и, хотя мог подняться выше, предпочел всему покой. С каждым днем им будет все яснее, что он заключил сделку к своей выгоде. Те, кому завидуют, то и дело меняются: одних вытесняют, другие падают.

Счастье – вещь беспокойная: оно само себе не дает ни отдыха, ни срока и на множество ладов тревожит наш ум. Каждого оно заставляет за чем-нибудь гнаться: одних – за властью, других – за роскошью, первых делая спесивыми, вторых – изнеженными, но губя и тех и этих. – (2) «Но ведь некоторые хорошо его переносят». – Да, так же, как хмель. Ни за что не позволяй убедить себя, будто счастлив тот, кого многие домогаются: ведь к такому сходятся, словно к озеру, из которого черпают воду и мутят ее. – «Люди называют его пустодумом и празднолюбцем». – Но ведь ты знаешь, что иные говорят все наоборот и речи их имеют противоположный смысл. Кого они называли счастливым, был ли счастлив? (3) Какая нам забота в том, что некоторым его нрав покажется слишком суровым и угрюмым? Аристон [1] говорил, что предпочитает юношу мрачного веселому и, на взгляд толпы, любезному. Если молодое вино кажется резким и терпким, оно станет хорошим, а то, что нравится еще до розлива, оказывается нестойким. Так пусть его зовут угрюмым и считают врагом своему успеху: со временем эта угрюмость обернется хорошей стороной. Лишь бы он упорно упражнялся в добродетели и впитывал благородные науки – не те, которыми довольно окропиться, а те, которые душа должна вобрать в себя. (4) Теперь самое время учиться. – «Как так? Разве бывает время, когда учиться незачем?» Нет, но если во всяком возрасте прилично заниматься наукой, то не во всяком – идти в обучение. Стыдно и смешно смотреть, как старик берется за азбуку. В молодости следует копить, а в старости – пользоваться.

Чем лучше благодаря тебе станет он, тем больше ты и себе принесешь пользы. Говорят, что благодеяния самого высокого свойства – их-то и нужно добиваться и оказывать – равно полезны и благодетелю, и благодетельствуемому. (5) Наконец, он уже не в своей воле: ведь слово дано! Не так стыдно обмануть заимодавцев, разорившись, как обмануть добрую надежду. Чтобы заплатить долги, купцу нужно удачное плавание, земледельцу плодородье возделываемых полей и благоприятная погода, а ему, чтобы расквитаться, нужна только добрая воля. (6) Над нравами человека фортуна не властна. Пусть он исправляет их ради того, чтобы его душа в наибольшем спокойствии могла достичь совершенства, когда уже никаких чувств не вызывают ни прибыли, ни убытки и состоянье ее не меняется, как бы ни шли дела, когда человек стоит выше своих обстоятельств, если даже его осыпать всеми общепризнанными благами, и не теряет величия, если случай отнимет у него эти блага, все или отчасти. (7) Если бы он родился в Парфии, то с младенчества натягивал бы лук, если бы в Германии, – то в детстве уже замахивался бы легким копьем, а живи он во времена наших пращуров, ему пришлось бы выучиться скакать верхом и биться врукопашную. Каждого повелительно побуждает к этому воспитание, принятое у его племени.

(8) О чем же надо ему размышлять? О том, что помогает нам против любого оружия, против всякого врага, – о презрении к смерти. В ней, несомненно, заключено нечто ужасное, поражающее наши души, от природы наделенные любовью к самим себе, – ведь не было бы нужды готовиться к смерти и собирать силы, если бы мы добровольно стремились к ней по безотчетному побуждению, как стремятся к сохранению жизни. (9) Чтобы в случае надобности возлежать на розах со спокойной душой, учиться не нужно. Закаляются затем, чтобы не посрамить верности под пыткой, чтобы в случае надобности всю ночь простоять на валу в карауле, иногда даже раненым, и не опираться на копье, потому что едва склонишься хоть на какой-то посох, немедля подкрадывается сон. В смерти нет ничего плохого – ведь должен быть некто, кому было бы от нее плохо. (10) А если в тебе так сильно желание жить дольше, то подумай вот о чем: ничто исчезающее с наших глаз не уничтожается – все скрывается в природе, откуда оно появилось и появится снова. Есть перерыв, гибели нет. И смерть, которую мы со страхом отвергаем, прерывает, а не прекращает жизнь. Опять придет день, когда мы снова явимся на свет, хоть многие отказались бы возвращаться, если б не забывали все. (11) Позже я растолкую тебе подробнее, что все, по-види-мости гибнущее, лишь изменяется. А кому предстоит вернуться, тот должен уходить спокойно. Всмотрись в круговорот вещей, вновь спешащих к прежнему: ты увидишь, что в этом мире ничто не уничтожается, но только заходит и опять восходит. Лето минует, но следующий год снова приводит его; зима исчезает, но ее возвращают зимние месяцы; ночь затмевает солнце, но ее немедля прогоняет день. И разнообразное течение звезд таково, что они повторяют пройденный путь, и пока одна часть неба идет вверх, другая опускается вниз.

(12) Можно уже и кончать, но я прибавлю еще одно: ни младенцы, ни дети, ни повредившиеся в уме смерти не боятся – и позор тем, кому разум не дает такой же безмятежности, какую

дарует глупость. Будь здоров.

Письмо XXXVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты обещаешь быть человеком добра, а это самый надежный залог благомыслия. Ты уже приведен к присяге. И только в насмешку могут тебе сказать, будто служба твоя будет легкой и удобной, я же не хочу тебя обманывать. В твоем почетнейшем обязательстве и в обязательстве самом позорном [1] стоят одни и те же слова: «Даю себя жечь, вязать и убивать железом». (2) Кто отдает руки внаем для арены, кто за пищу и питье платит кровью, – от них берут ручательство в том, что они вытерпят все, хоть и против воли, а от тебя – что ты все вынесешь добровольно и с охотой. Им дозволено опустить оружие, попытать милосердие народа[2], а тебе нельзя ни опустить меч, ни молить о пощаде: ты обязан умереть стоя, непобежденным. К тому же что пользы выгадать несколько дней либо лет? Для нас, коль скоро мы родились, нет избавления. – (3) Ты спросишь: «Как же мне стать свободным?» – Избежать неизбежного нельзя – его можно только победить. «Сила путь пролагает себе»[3]. Этот путь откроет перед тобою философия. Обратись к ней, если хочешь не знать ущерба, быть безмятежным, счастливым и, главное, свободным. Иным способом этого не достичь. (4) Глупость – вещь унизи тельная, гнусная, презренная, рабская, подвластная многим жестоким страстям. Но от этих тягостных повелителей, которые приказывают то по очереди, то все вместе, избавит тебя мудрость, она же – единственная свобода. К ней ведет одна дорога, и притом прямая: с нее не собьешься, шагай уверенно! Если хочешь взять власть над всем, отдай власть над собою разуму! Многим будешь ты повелевать, если разум будет повелевать тобою. Он научит тебя, как и за что браться, и ты перестанешь наталкиваться на то или другое дело случайно. (5) Ты не назовешь мне никого, кто, желая чего-нибудь, знал бы, откуда это желанье взялось, ведь он пришел к нему не по размышленье, а натолкнулся на него сходу. Фортуна сама находит нас не реже, чем мы ее. Стыдно не идти, а нестись по течению и в водовороте дел спрашивать, опешивши: «Как же я сюда попал?» Будь здоров.

Письмо XXXVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты не зря требуешь, чтобы мы чаще обменивались письмами. Больше пользы приносит речь, которая малыми долями прокрадывается в душу. В пространных же рассуждениях, написанных заранее и прочитанных при народе, шуму много, а доверительности нет. Философия – это добрый совет, а давать советы во всеуслышанье никто не станет. Иногда не стоит пренебрегать и этой, так сказать, всенародностью, – когда надо подтолкнуть сомневающегося; но когда дело не в том, чтобы внушить желание учиться, а в самом учении, тогда нужны слова не такие громкие. Они легче проникают вглубь и удерживаются: ведь слов нужно немного, но зато убедительных. (2) Сеять их следует, как семена, каждое из которых, при всей его малости, попав на подходящую почву, обнаруживает свои силы и развивается так, что из крошечного вырастает огромное. То же самое и доводы разума: на взгляд они невелики, но растут по мере того, как делают свое дело. Сказано немного, однако сказанное, если западет в душу, крепнет и дает всходы. Повторяю, тот же удел у наставлений, что и у семян: короткие, они многое могут, лишь бы только им попасть, как я говорил, в подходящую душу, способную их принять. А она сама принесет плоды, возвратив полученное сторицей. Будь здоров.

Письмо XXXIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Заметки, которые ты просишь, я, конечно, составлю, сжатые и тщательно расположенные по порядку, но смотри сам, не больше ли пользы принесет обычное изложение, нежели то, что теперь называют «обобщением», а раньше, когда говорили еще по-латыни, называли «кратким итогом» [1]. Первое нужнее обучающемуся, второе – знающему, потому что первое учит, второе помогает вспомнить.

Впрочем, я обеспечу тебя и тем, и другим. Но незачем требовать с меня ссылок на такого-то или такого-то: кто приводит поручателей, тот сам никому не ведом. (2) Я напишу то, что ты хочешь, только на[1] свой лад. А покуда у тебя есть немало других, хотя я не знаю, достаточно ли соблюдаешь ты порядок в их чтении. Возьми в руки какой-нибудь «Перечень философов»[2]: увидав, сколько их ради тебя потрудилось, ты уже и от этого поневоле проснешься и захочешь стать одним из них. Ведь лучшее свойство благородного духа – это легко пробуждающееся стремление ко всему, что честно. Человек с возвышенной по природе душою не находит удовольствия в низменном и презренном, его манит ввысь зрелище великих дел. (3) Подобно тому как пламя прямо вздымается вверх и не может ни гнуться и стелиться по земле, ни тем более затихнуть, так и наш дух всегда в движении и тем беспокойней и деятельней, чем больше в нем пыла. Счастлив тот, кто направит порыв духа на благо: он уйдет из-под власти фортуны, будет умерять удачу, одолевать неудачу, презирать то, чем другие восхищаются. (4) Великая душа пренебрегает великим и предпочитает умеренное чрезмерному, ибо первое полезно и животворно, второе вредно, потому что излишне. Так обилие зерна валит колосья, так ломаются от тяжести плодов ветви, так не вызревает слишком богатый урожай. То же случается и с душами: чрезмерное счастье сокрушает их, так как они пользуются им не только в ущерб другим, но и в ущерб себе. (5) Кто из врагов бесчестит человека так, как иных – собственные наслаждения? Таким можно простить их невоздержность и безумную похоть только по одной причине: они сами страдают от того, что творят. И недаром терзает их это неистовство: страсть, стоит ей перейти естественную меру, непременно теряет и всякую меру. Все желания имеют предел, кроме суетного и рожденного похотью: ему предела нет. (6) Необходимое измеряется пользой, излишнему где найдешь границу? Так и погружаются в наслаждения, без которых, когда они вошли в привычку, уже нельзя жить. Поэтому нет несчастнее зашедших так далеко, что прежде излишнее становится для них необходимым. Наслаждения уже не тешат их, а повелевают ими, они же – и это худшее зло! – любят свое зло. Тот дошел до предела несчастья, кого постыдное не только услаждает, но и радует. Нет лекарства для того, у кого пороки стали нравами. Будь здоров.

Письмо XL

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Спасибо за то, что так часто мне пишешь, не упуская единственного способа показаться мне на глаза. Стоит мне получить от тебя письмо – и мы тотчас же снова вместе. Если нам приятны изображения отсутствующих друзей, напоминающие о них и умеряющие тоску разлуки пустым и обманчивым утешением, то насколько приятнее письма, хранящие живой след далеких друзей, живые пометы их руки! Это она, отпечатлевшись в письме, приносит ту радость, что отрадней всего при встрече, – радость узнавания.

(2) Ты пишешь мне, что слышал философа Серапиона, когда он к вам туда причалил. «Он обычно извергает слова с такой скоростью, что они у него не льются, а теснятся и толкаются, так как их больше, чем может произнести один голос». По-моему, это плохо для философа, чья речь, как и жизнь, должна быть размеренной, а все, что второпях несется вперед, лишено порядка. У Гомера пылкая речь, когда слова сыплются без перерыва, как снег, приписана оратору, речь же старца льется плавно и слаще меда[1]. (3) Запомни, что стремительный напор и многословие больше пристали бродячему говоруну, чем толкующему о предметах серьезных и важных и тем более поучающему. У него, я думаю, слова не должны ни падать по капле, ни мчаться, ни заставлять нас прислушиваться, ни сыпаться нам в уши. Ведь бедность и худосочие тоже притупляют внимание слушателей, которым надоедает медлительность и прерывистость, – хотя то, чего приходится ждать, удерживается легче, чем пролетающее мимо. Ведь говорится, что люди пере-

дают ученикам знания, – но что уносится прочь, того не передашь. (4) Подумай и о том, что речь, цель которой – истина, должна быть простой и безыскусной, между тем как в речах перед народом нет ни слова истины: их цель – взбудоражить толпу, мгновенно увлечь неискушенный слух, они уносятся, не давая над собою подумать. Но как может направлять других то, что само не подчинено правилам? Неужто речь, произнесенная ради излечения души, не должна в нас проникнуть? Лекарства не помогут, если не задержатся в теле.

(5) Кроме того, в такой речи немало пустого и суетного, шуму в ней больше, чем силы. Нужно умерить мои страхи, унять раздражение, рассеять заблуждения, нужно обуздать расточительность, искоренить алчность. Разве удастся это сделать на лету? Какой врач лечит больных мимоходом? Да что тут! Даже и удовольствия не доставляет этот треск без разбору сыплющихся слов! (6) Точно так же, как довольно однажды познакомиться с тем, что казалось невероятным, больше чем достаточно один раз услыхать этих умельцев. Чему захочешь у них учиться, в чем подражать им? Какое мненье составишь о душе того, чья беспорядочная речь несется без удержу? (7) Бегущие под уклон останавливаются не там, где наметили, вес тела увлекает их с разбегу дальше, чем они хотели, – и так же быстрая речь себе не подвластна и не пристала философии, которая должна не бросать слова на ветер, а вкладывать их в душу и потому идти шаг за шагом. – (8) «Что ж, ей никогда и голоса не возвысить?» – Почему же? Но пусть сохраняет достоинство, с которым эта неистовая, чрезмерная сила несовместима. Пусть силы ее будут велики, но сдержанны, пусть речь ее будет неиссякаемой струёй, а не дождевым потоком. По-моему, едва ли и оратору позволительна такая неудержимая, не ведающая законов скорость речи. Как уследить за нею судье, подчас неопытному и несведущему? Пусть оратор, даже когда его увлекает или желание блеснуть, или не властная над собою[2] страсть, говорит не быстрей и не больше, чем могут выдержать уши.

(9) Ты правильно сделаешь, если не будешь обращать внимания на тех, кому важно, сколько сказано, а не как сказано, и предпочтешь, если понадобится, говорить, как Публий Виниций. – «Как это?» – На вопрос, как говорил Виниций, Азеллий отвечал: «В растяжку». А Гемин Варий говорил: «Почему вы называете его красноречивым, не понимаю: он и трех слов не может связать» [3]. Почему же ты не желаешь говорить, как Виниций? (10) Пусть и тебя прервет какой-нибудь невежа, как Виниция, которому крикнули из-за того, что он отрывал одно слово от другого, будто не говорил, а диктовал: «Говори! Скажешь ты когда-нибудь или нет?» Ведь, я думаю, мчаться, как Квинт Гатерий [4], знаменитейший в свое время оратор, не станет ни один человек в здравом уме. Гатерий не сомневался, не делал пауз, а раз начав, несся до конца. (11) Есть вещи, которые, по-моему, одному народу подходят больше, другому меньше. У греков такая вольность была бы терпима, а мы и на письме привыкли разделять слова точками. Даже наш Цицерон, с которым так высоко поднялось римское красноречие, не был рысаком. Римская речь чаще озирается, задумывается и позволяет о себе подумать. (12) Фабиан, человек, отличавшийся и безупречной жизнью, и знаниями, и красноречием (которому принадлежит последнее место), когда вел рассуждения, говорил легко, но не скоро, так что речь его, можно сказать, отличалась плавностью, а не быстротой.

Я не возражаю, если мудрый обладает и этим достоинством, но не требую, чтобы он говорил без запинки: по мне важнее, чтобы речь была хорошо произнесена, пусть и не так плавно. (13) Я тем более хочу отпугнуть тебя от этой напасти; ведь если она пристанет к тебе, значит, ты наверняка потерял стыд, разучился краснеть и перестал себя самого слушать. Ибо этот поток, за которым даже ты не следишь, несет много такого, что тебе самому потом захочется взять назад. Но, повторяю, к тебе эта напасть не пристанет, если ты не потеряешь совесть. Кроме того, нужно ежедневно упражняться и отдавать свое усердие сначала предметам, а потом словам. (14) А им тоже нельзя давать воли, пусть даже они придут сами и потекут без всякого твоего труда: мудрецу приличествует не только скромная осанка, но и сжатая, сдержанная речь. А итог всех итогов таков: приказываю тебе говорить медленно! Будь здоров.

Письмо XLI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты пишешь, что по-прежнему упорно стремишься к совершенству духа; дело это прекрасное и для тебя спасительное, ибо глупо молить о том, чего можно добиться от себя самого. Незачем ни простирать руки к небесам, ни просить прислужника в храме, чтобы он допустил нас к самому уху кумира, как будто тот лучше услышит нас: ведь бог близ тебя, с тобою, в тебе! (2) Говорю тебе, Луцилий, что в нас заключен некий божественный дух, наблюдатель и страж всего хорошего и дурного, – и как мы с ним обращаемся, так и он с нами. Всякий истинный человек добра причастен божеству. Кто без помощи бога может возвыситься над фортуной? Он дает нам благородные и правдивые советы. В каждом человеке добра

... обитает один – но не ведаем кто – из бессмертных[1]

(3) Если тебе встретится роща, где то и дело попадаются старые деревья выше обычного, где не видно неба из-за гущины нависающих друг над другом ветвей, то и высота стволов, и уединенность места, и удивительная под открытым небом тень, густая и без просветов, – все внушит тебе веру в присутствие божества. Или если пещера в глубоко изъеденных скалах несет на своих сводах гору, если выкопана она не руками, а стала столь просторной от естественных причин, то душа у тебя всколыхнется предчувствием святыни. Мы чтим истоки больших рек, ставим алтари там, где из-под земли вдруг выбиваются обильные потоки, поклоняемся горячим источникам, многие озера для нас священны из-за их темных вод или безмерной глубины. (4) А если ты увидишь человека, не устрашенного опасностями, чуждого страстям, счастливого среди бед, спокойного среди бурь, глядящего на людей сверху вниз, а на богов – как на равных, разве не почувствуешь ты преклонения перед ним? Разве не скажешь: «Тут есть нечто слишком великое и возвышенное, чтобы можно было поверить, будто оно схоже с этим жалким телом – своим обиталищем. Сюда снизошла божественная сила». (5) Если высокая душа чужда волнений, пренебрегает всем, словно все для нее ничтожно, если ей смешны наши страхи и стремления, – значит, ею движет небесная власть. Ничто столь великое не может существовать без поддержки божества. И выходит, что большей своей частью эта душа принадлежит тому миру, откуда снизошла. Как солнечные лучи, хоть и касаются земли, пребывают там, откуда исходят, так и душа, великая и святая, хоть и послана сюда затем, чтобы мы могли ближе познать божественное, хоть и не чуждается нас, однако неотрывно связана со своей родиной: от нее она зависит, к ней направляет и взоры, и усилия, а в нашей жизни участвует как нечто лучшее.

(6) Что же это за душа? Та, что не блещет другими благами, кроме своих. Разве есть что глупее, чем хвалить человека за то, что ему не при надлежит? Есть ли что безумнее, чем восхищаться вещами, которые немедля могут перейти к другому? Лошадь не становится лучше, если узда у нее из золота. Одно дело – когда выпускают льва с позолоченной гривой, укротив его и утомив настолько, что он позволил себя украсить, другое дело когда он выходит неубранный и не сломленный духом. И уж, конечно, такой зверь, яростный в нападении, каким создала его природа, прекрасный в своей дикости и украшенный лишь тем, что на него нельзя смотреть без страха, намного превосходит другого, расслабленного и осыпанного блестками. (7) Никто не должен похваляться чужим. Мы хвалим лозу, если она отягощает побеги гроздьями, если гнет подпору к земле весом собственных плодов. Кто предпочтет ей лозу, на которой и ягоды, и листья из золота? Достоинство лозы – плодоносность; так и в человеке следует хвалить лишь то, что от него самого. У такого-то красивая челядь и прекрасный дом, он много сеет и много получает барыша: но все это – не от него самого, а вокруг него. (8) Хвали в нем то, что нельзя ни отнять, ни дать, что принадлежит самому человеку. Ты спросишь, что это? Душа, а в ней – совершенный разум. Ведь человек – разумное существо; значит, для него высшее благо – выполнить то, ради чего он рожден. (9) А что требует от него разум? Ничего трудного: только жить согласно своей природе. Трудно это лишь по причине всеобщего безумия мы все толкаем друг друга к пороку. Как можно вернуть к здравомыслию тех, кого не удерживает никто, а гонит вперед целая толпа? Будь здоров.

Письмо XLII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Неужто ему удалось тебя убедить, будто он – человек добра? Человеком добра нельзя стать быстро, как нельзя быстро распознать его. Знаешь, кого я называю теперь людьми добра? Людей второго разбора! Потому что истинный человек добра рождается, может быть, раз в пятьсот лет, как феникс; впрочем, нет ничего удивительного в том, что великое появляется изредка. Посредственное, рожденное для того, чтобы влиться в толпу, фортуна создает одно за другим, исключительность исключительного удостоверяется его редкостью. (2) А ему еще далеко до того, чем он себя провозглашает; и знай он, что такое человек добра, он бы не считал себя таким, а может быть, и не надеялся бы им стать. – «Но он плохо думает о плохих». – Как и сами плохие люди: ведь тяжелей всего порочность карается тем, что противна и самой себе, и своим приверженцам. – (3) «Он ненавидит тех, кто, внезапно получив большую власть, не властны сдерживать себя». – И он бы делал то же самое, если бы мог. Пороки многих скрыты, потому что немощны, а уверенные в своих силах, они стали бы не менее дерзки, чем те, которых счастье вывело на свет. (4) У таких лишь нет средств развернуться во всей своей низости. Так ядовитую змею не опасно трогать, пока она скована холодом: не то что в ней нет яда, а просто он заморожен. Многим не хватает только благосклонности судьбы, чтобы сравняться и жестокостью, и честолюбием, и жаждой роскоши с самыми худшими. Дай им силы на все, чего они хотят, и ты узнаешь, что хочется им того же. (5) Помнишь, когда ты утверждал, будто один такой в твоей власти, я ответил, что он легок, как птица, и держишь ты его не за лапу, а за перо? Разве я солгал? Ты держал его за пушинку, он оставил ее у тебя в руках – и унесся. Знаешь, сколько он еще сыграет с тобой шуток, как много натворит такого, что потом на его же голову падет? Он не видел, что, угрожая другим, ставит и себя под угрозу. Он не думал, что все, чего он домогается, даже и не будь оно ненужным, было бы обременительным.

(6) Значит, за чем бы мы ни гнались, чего бы ни домогались ценой больших трудов, следует посмотреть, просто ли в нем нет ничего приятного или же больше есть неприятного. Одно не нужно, другое не стоит своей цены. А мы этого не замечаем, нам кажется, будто мы даром берем то, что обходится очень дорого. (7) Все наше тупоумие заметно хотя бы из того, что мы считаем купленным лишь приобретенное за деньги, а на что тратим самих себя, то зовем даровым. Чего мы не пожелали бы купить, если бы в уплату пришлось отдать дом или красивое и плодородное имение, – ради этого готовы терпеть тревоги и опасности, потерять и стыд, и свободу, и время. Всякий ценит самого себя дешевле всего. (8) Будем же во всех делах и помыслах действовать так, словно мы пришли к торговцу каким-нибудь товаром, и посмотрим, сколько просят за то, что мы желаем. Часто цена высока, а дают всего ничего. И еще я могу показать тебе много такого, что, попав к нам в руки, отнимает у нас свободу; если бы оно нам не принадлежало, мы принадлежали бы самим себе.

(9) Хорошо подумай об этом и тогда, когда дело идет не о прибыли, а об убытке. С тем-то предстоит расстаться; но разве оно всегда было твоим? Ты так же легко проживешь без него, как жил когда-то. Если ты долго владел утраченным, то успел им насытиться, если недолго, то не успел привыкнуть к нему. Меньше будет денег? Значит, и меньше докуки. (10) Меньше милостей? Значит, и меньше зависти. Взгляни, что доводит нас до безумия, что мы теряем со слезами, – и ты поймешь, что горек не сам урон, а мнение о нем. Никто не чувствует потери, – о ней только думают. Кто сохранил себя, тот ничего не потерял, но многим ли удается сохранить себя? Будь здоров.

Письмо XLIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты спрашиваешь, как это дошло до меня, кто рассказал мне о твоих думах, о которых ты не рассказывал никому. – Та, кто знает больше всех: людская молва. – «Как так? – спросишь ты. – Неужели я такой важный, чтобы дать пищу толкам?» – Когда меришь себя, нельзя оглядываться на здешние места: смотри на те, где живешь. (2) Что высится над всею округой, то и считается большим. Величина единой мерой не мерится, она становится либо больше, либо меньше

от сравнения. Судно, крупное на реке, будет крохотным в море, руль, который для одного корабля велик, будет мал для другого. (3) Теперь в провинции ты – важное лицо, хотя бы сам себя и не ценил. Все спрашивают и разузнают, что ты делаешь, что ешь, на чем спишь. Тем более осмотрительно должен ты жить. Считай себя счастливым тогда, когда сможешь жить у всех на виду, когда стены будут защищать тебя, а не прятать, хоть обычно мы и думаем, будто они вокруг нас не затем, чтобы нам жить в безопасности, а затем, чтобы незаметнее грешить. (4) Я скажу одну вещь, по которой ты оценишь наши нравы: едва ли найдешь такого, кто мог бы жить при открытых дверях. Сторожей к нам приставила не наша гордость, а наша стыдливость. Мы живем так, что внезапно увидеть нас – значит, поймать с поличным. Но что пользы прятаться, избегая людских глаз и ушей? (5) Чистая совесть может созвать целую толпу, нечистая и в одиночестве не избавлена от тревоги и беспокойства. Если твои поступки честны, пусть все о них знают, если они постыдны, что толку таить их от всех, когда ты сам о них знаешь? И несчастный ты человек, если не считаешься с этим свидетелем! Будь здоров.

Письмо XLIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Опять ты передо мною уничижаешься и говоришь, будто сперва к тебе была враждебна природа, потом фортуна, между тем как ты мог бы вырваться из толпы и подняться к величайшему счастью, доступному людям. Но если есть в философии что хорошее, так это то, что она не смотрит в родословную. Все, если взглянуть на изначальное происхожденье, ведут род от богов. (2) Ты – римский всадник, и вошел в это сословие благодаря собственной предприимчивости. А есть, право же, много таких, для кого закрыты четырнадцать рядов [1]. Курия допускает не всех, лагерь, принимающий для трудов и опасностей, придирчив в отборе. Благородство духа доступно всем, для этого все мы родовиты. Философия никого не отвергает и не выбирает: она светит каждому. (3) Сократ не был патрицием, Клеанф носил воду, нанявшись поливать садик, Платона философия не приняла благородным, а сделала. Почему же ты не надеешься с ними сравняться? Все они твои предки, если ты будешь их достоин, а достойным их ты станешь, только убедив себя в том, что родовитостью ты никому не уступаешь. (4) За всеми нами одинаковое число поколений, происхожденье всякого лежит за пределами памяти. Платон говорит: «Нет царя, что не произошел бы от раба, и нет раба не царского рода» [2]. Все перемешала долгая череда перемен и перевернула вверх дном фортуна. (5) Кто благороден? Тот, кто имеет природную наклонность к добродетели. Только на это и надо смотреть! А иначе, если мы доберемся до глубочайшей старины, окажется, что всякий происходит из тех времен, прежде которых ничего не было. От начала мира до наших дней вела нас череда перемен, то блистательных, то убогих. Благородны мы не потому, что наш атрий полон закопченных портретов[3]. Никто не жил ради нашей славы; что было до нас, то не наше. Благородными делает нас душа, которая из любого состояния может подняться над фортуной. (6) Вообрази, что ты не римский всадник, а вольноотпущенник; и тогда ты можешь своими усилиями стать единственным свободным среди свободнорожденных. – «Каким образом?» – спросишь ты. – Если будешь определять благо и зло не по мерке толпы. Смотреть нужно не на начало, а на конец пути. Что может сделать нашу жизнь блаженной, то и есть благо, ни от чего не зависимое. Во зло его извратить нельзя. (7) В чем же заблуждаются все люди, когда желают счастливой жизни? В том, что принимают средства к ней за нее самое и чем больше к ней стремятся, тем дальше от нее оказываются. Ведь начало и конец блаженства в жизни – безмятежность и непоколебимая уверенность, а люди копят причины для тревог и не то что несут, а волокут свой груз по жизненному пути, полному засад. Так они уходят все дальше от цели и чем больше тратят труда, тем больше себе мешают и самих себя отбрасывают вспять. Так бывает с теми, кто торопится пройти через лабиринт: сама спешка их запутывает. Будь здоров.

Письмо XLV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты жалуешься, что тебе там не хватает книг. Но ведь дело не в том, чтобы книг было много, а в том, чтоб они были хорошие: от чтенья с выбором мы получаем пользу, от разнообразного – только удовольствие. Кто хочет дойти до места, тот выбирает одну дорогу, а не бродит по многим, потому что это называется не идти, а блуждать. – (2) Но ты скажешь: «Мне нужны от тебя не советы, а книги». – Я готов тебе послать все, сколько имею, и вытрясти закрома. Да и сам бы я отправился туда, будь у меня силы, и приказал бы себе совершить этот старческий поход, если бы не надеялся, что ты скоро добьешься осво вождения от должности. Меня не испугали бы ни Сцилла, ни Харибда, ни прославленный в преданиях пролив: я бы пересек его даже не на корабле, а вплавь, лишь бы обнять тебя и увидеть вблизи, насколько ты вырос духом.

(3) Из-за того, что ты хочешь получить и мои сочинения, я не стану считать себя красноречивым, как не счел бы себя красавцем, попроси ты мой портрет. Я знаю, что причиною тут снисходительность, а не здравая оценка, а если и оценка, то тебе ее внушила снисходительность. (4) Но каковы бы они ни были, прочти мои книги, видя в них поиски истины, которой я не знаю, но ищу упорно. Ведь я никому не отдался во власть, ничьего имени не принял и, хотя верю суждениям великих людей, признаю некоторые права и за моими собственными. Сами великие оставили нам не только открытия, но и много ненайденного. Может быть, они и нашли бы необходимое, если бы не искали лишнего. (5) Но много времени отняли у них словесные тонкости и полные ловушек рассуждения, лишь оттачивающие пустое остроумие. Мы запутываем узлы, навязывая словам двойной смысл, а потом распутываем их. Неужели так много у нас свободного времени? Неужели.мы уже знаем, как жить, как умирать? Вот к чему следует направить все мысли. Не в словах, а в делах нужна зоркость, чтобы не быть обманутым. (6) Зачем ты указываешь мне различия между сходными речениями, когда тут, если не пускаться в рассуждения, в ловушку не попадешься? Различай предметы: они нас обманывают! Дурное мы любим как хорошее, одной молитвой опровергаем другую. Желания у нас в разладе с желаниями, замыслы – с замыслами. (7) А как похожа лесть на дружбу! Она не только ей подражает, но и побеждает ее, и обгоняет: ведь для нее-то и открыт благосклонный слух, она-то и проникает в глубину сердца, приятная нам как раз тем, чем вредит. Научи меня различать это сходство! Вкрадчивый враг подошел ко мне под личиной друга, пороки подбираются к нам под именем добродетелей; наглость прикрывается прозвищем смелости, лень зовется умеренностью, трусливого принимают за осторожного. Здесь-то нам блуждать всего опасней, – так отметь каждый предмет явным знаком. (8) Все равно спрошенный о том, «есть ли у него рога», не будет так глуп, чтобы ощупать себе лоб[1], не будет так глуп и слабоумен, чтобы не знать правды, даже если ты приведешь в доказательство свое хитрое умозаключенье. Это – обман безобидный, как чашки и камешки фокусников, где само надувательство доставляет удовольствие: сделай так, чтобы я понял, как все получается, – и пропал весь интерес. То же самое и с этими ловушками (а как иначе мне назвать софизм?): не знающему они не вредят, знающему – не доставляют удовольствия. (9) А если ты все-таки хочешь разбираться в словах двоякого смысла, то объясни нам, что блажен не тот, кого толпа считает блаженным, к кому стекается много денег, но тот, чье благо все внутри, кто прям и высок духом и презирает то, что других восхищает, кто ни с кем не хотел бы поменяться местами, кто ценит человека лишь как человека, кто избирает наставницей природу, сообразуется с ее законами, живет так, как она предписывает, у кого никакая сила не отнимет его блага, кто и беды обернет ко благу, кто тверд в суждениях, непоколебим и бесстрашен, кого иная сила и взволнует, но никакая не приведет в смятение, кого фортуна, изо всех сил метнув самое зловредное свое копье, не ранит, а только оцарапает, да и то редко, Потому что прочие ее копья, которыми она валит наземь род людской, отскакивают, словно град, который, ударяясь о крышу, шумит и тает без ущерба для обитателей дома.

(10) Зачем ты занимаешь меня так долго тем, что сам именуешь «лжецом»[2] и о чем сочинили столько книг? Вся жизнь лжет мне: уличи-ка ее и верни к правде, если ты так остер. Ведь она считает по большей части излишнее – необходимым; но даже и не излишнее часто неспособно сделать нас счастливыми и блаженными. Ведь то, что необходимо, не есть непременно благо: мы унизим понятие блага, если назовем этим словом хлеб или мучную похлебку, или что-нибудь

еще, без чего не проживешь. (11) Что благо, то всегда необходимо, что необходимо, то не всегда благо, коль скоро и самые низменные вещи бывают необходимы. Нет такого, кто настолько не знал бы достоинства блага, что мог унизить его до повседневных надобностей. (12) Так не лучше ли перенести свои усилия и постараться доказать всем, как много времени тратится на добывание ненужного, как много людей упускает жизнь, добывая средства к жизни? Испытай каждого в отдельности, поразмысли обо всех: жизнь любого занята завтрашним днем. – (13) Ты спросишь, что тут плохого. – Очень много! Ведь эти люди не живут, а собираются жить и все и вся откладывают. Сколько бы мы ни старались, жизнь бежит быстрее нас, а если мы еще медлим, она проносится, словно и не была нашей, и, хотя кончается в последний день, уходит от нас ежедневно. Но, чтобы письмо, которому не положено не умещаться в левой руке читающего, не оказалось чересчур большим, я отложу на другой раз мою тяжбу со слишком тонкими диалектиками, которым есть дело лишь до одного и нет до другого. Будь здоров.

Письмо XLVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Книгу, которую ты обещал мне, я получил и, намереваясь попозже прочесть ее без помех, приоткрыл, желая только отведать... Но потом она заманила меня дальше, я стал двигаться вперед; насколько она красноречива, ты поймешь вот из чего: мне она показалась короткой[1] и такой, какая не по плечу ни мне, ни тебе, но напоминающей на первый взгляд труд Тита Ливия либо Эпикура. Словом, она меня не отпускала и увлекла такой приятностью, что я прочел ее до конца, не откладывая. Солнце меня звало, голод напоминал о себе, тучи мне грозили, но я проглотил все до конца. (2) И не только получил от книги удовольствие, но и порадовался. Сколько в нем дарованья, повторял я, сколько души! Какие порывы, сказал бы я. если бы нашел между взлетами затишья. А так это не порывы, а плавный полет; и весь слог мужественный, возвышенный, хотя есть в нем – всякий раз к месту – и мягкая приятность.

И сам ты величав и высок духом; таким и оставайся, так и шествуй дальше! Но кое-что сделал и сам предмет книги; потому и нужно выбирать предмет плодотворный, чтобы он не был тесен для нашего дарования я сам его подстегивал. (3) О твоей книге я напишу больше, когда снова ею займусь, а пока я не успел оценить ее умом, словно не прочел все, а прослушал. Позволь мне рассмотреть ее придирчивей. Бояться тебе нечего: ты услышишь правду. Ведь ты счастливец: ни у кого нет причин лгать тебе из такой дали, – разве что мы лжем и без причин, по одной привычке. Будь здоров.

Письмо XLVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я с радостью узнаю от приезжающих из твоих мест, что ты обходишься со своими рабами, как с близкими. Так и подобает при твоем уме и образованности. Они рабы? Нет, люди. Они рабы? Нет, твои соседи по дому. Они рабы? Нет, твои смиренные друзья. Они рабы? Нет, твои товарищи по рабству, если ты вспомнишь, что и над тобой, и над ними одинакова власть фортуны.

(2) Мне смешны те, кто гнушается сесть за стол с рабом – и почему? Только потому, что спесивая привычка окружила обедающего хозяина толпой стоящих рабов! Он ест больше, чем может, в непомерной жадности отягощает раздутый живот, до того отвыкший от своего дела, что ему труднее освободиться от еды. чем вместить ее. (3) А несчастным рабам нельзя раскрыть рот, даже чтобы сказать слово. Розга укрощает малейший шепот, даже случайно кашлянувший, чихнувший, икнувший не избавлен от порки: страданьем искупается малейшее нарушение тишины. Так и простаивают они целыми ночами, молча и не евши. (4) Из-за этого и говорят о хозяевах те, кому при хозяевах говорить запрещается. Зато другие, кому можно перемолвиться словом не

только при хозяине, но и с ним самим, кому не затыкали рта, готовы бывали за хозяина подставить голову под меч, принять на себя близкую опасность. За столом они говорили, под пыткой молчали[1].

(5) Часто повторяют бесстыдную пословицу: «Сколько рабов, столько врагов». Они нам не враги – мы сами делаем их врагами. Я не говорю о жестокости и бесчеловечности, – но мы и так обращаемся с ними не как с людьми, а как со скотами. Мы возлежим за столом, а из них один подтирает плевки, другой, согнувшись, собирает оброненные пьяными объедки, (6) третий разрезает дорогую птицу и уверенными движениями умелых рук членит на доли то грудку, то гузку. Несчастен живущий только ради того, чтобы по правилам резать откормленную птицу, но тот, кто обучает этому ради собственного удовольствия, более жалок, чем обучающийся по необходимости. (7) А этот – виночерпий в женском уборе – воюет с возрастом, не имеет права выйти из отрочества, снова в него загоняемый; годный уже в солдаты, он гладок, так как стирает все волоски пемзой или вовсе выщипывает их; он не спит целыми ночами, деля их между пьянством и похотью хозяина, в спальне – мужчина, в столовой – мальчик. (8) А тот несчастный, назначенный цензором над гостями, стоит и высматривает, кто лестью и невоздержностью в речах или в еде заслужит приглашения на завтра. Вспомни о тех, на ком лежит закупка снеди, кто до тонкости знает хозяйский вкус: какая еда раздразнит его запахом, какая понравится на вид, какая своей новизной пробудит убитый тошнотой голод, на что он, пресытившись, не может смотреть и чего ему сегодня хочется. И с ними он не в силах пообедать, считая, что унизит свое величие, если сядет за стол с рабом. Великие боги! (9) А сколько людей служит хозяевам, вышедшим из рабов! Я видел, как хозяин стоял у порога Каллиста[2], и когда другие входили, он, когда-то повесивший на Каллиста объявление, выводивший его на продажу среди негодных рабов, не был допущен. Раб, выброшенный в первую десятку[3], на которой глашатай пробует голос, отблагодарил хозяина сполна, отказав ему и не сочтя его достойным войти в дом. Хозяин продал Каллиста; но Каллист хозяину продал куда больше[4].

(10) Изволь-ка подумать: разве он, кого ты зовешь своим рабом, не родился от того же семени, не ходит под тем же небом, не дышит, как ты, не живет, как ты, не умирает, как ты? Равным образом и ты мог бы видеть его свободнорожденным, и он тебя – рабом. Когда разбит был Вар[5], фортуна унизила многих блестящих по рождению, готовых через военную службу войти в сенат: одних она сделала пастухами, других – сторожами при хижинах. Вот и презирай человека того состояния, в которое ты сам, покуда презираешь его, можешь перейти. (11) Я не хочу заниматься этим чересчур обширным предметом и рассуждать насчет обращения с рабами, с которыми мы так надменны, жестоки и сварливы. Но вот общая суть моих советов: обходись со стоящими ниже так, как ты хотел бы. чтобы с тобою обходились стоящие выше. Вспомнив, как много власти дано тебе над рабом, вспомни, что столько же власти над тобою у твоего господина. – (12) «Но надо мною господина нет!» – Ты еще молод; а там, глядишь, и будет. Разве ты не знаешь, в каких летах попала в рабство Гекуба, в каких – Крез, и мать Дария, и Платон, и Диоген?[6]

(13) Будь милосерден с рабом, будь приветлив, допусти его к себе и собеседником, и советчиком, и сотрапезником. – Тут и закричат мне все наши привередники: «Да ведь это самое унизительное, самое позорное!» – А я тут же поймаю их с поличным, когда они целуют руку чужому рабу.

(14) И разве вы не видите, как наши предки старались избавить хозяев – от ненависти, рабов – от поношения? Хозяина они называли «отцом семейства», рабов (это до сих пор удержалось в мимах) – домочадцами. Ими был установлен праздничный день[7] – не единственный, когда хозяева садились за стол с рабами, но такой, что садились непременно, и еще оказы вали им в доме всякие почести, позволяли судить да рядить, объявляя дом маленькой республикой. – (15) «Что же, надо допустить всех моих рабов к столу?» – Нет, так же как не всех свободных. Но ты ошибаешься, полагая, будто я отправлю некоторых прочь за то, что они заняты грязными работами: этот, мол, погонщик мулов, а тот пасет коров. Знай: не по занятию, а по нравам буду я их ценить. Нравы каждый создает себе сам, к занятию приставляет случай. Одни пусть обедают с тобой, потому что достойны, другие – затем, чтобы стать достойными. Что бы ни осталось в них рабского от общения с рабами, все сгладится за столом рядом с людьми более почтенными. (16)

Нельзя, Луцилий, искать друзей только на форуме и в курии; если будешь внимателен, то найдешь их и дома. Часто хороший камень пропадает за неимением ваятеля; испытай его, попробуй его сам. Глуп тот, кто, покупая коня, смотрит только на узду и попону, еще глупее тот, кто ценит человека по платью или по положению, которое тоже лишь облекает нас, как платье. (17) Он раб! Но, быть может, душою он свободный. Он раб! Но чем это ему вредит? Покажи мне, кто не раб. Один в рабстве у похоти, другой – у скупости, третий – у честолюбия и все – у страха. Я назову консуляра8 – раба старухи и богача – раба служанки, покажу самых родовитых юношей в услужении у пантомимов. Нет рабства позорнее добровольного. Так что нечего нашим слишком разборчивым гордецам запугивать тебя. Будь с рабами приветлив, покажи себя высоким без высокомерия: пусть они лучше чтят тебя, чем боятся.

(18) Кто-нибудь скажет, будто я зову рабов надеть колпак9, а хозяев лишаю их достоинства, когда говорю, что лучше бы рабы чтили их, чем боялись: «Неужто так прямо он и говорит: пусть рабы чтят нас, как будто они – клиенты или утренние посетители?» – Кто так скажет, забывает, что и с хозяина хватит того, чем довольствуется бог – почитания и любви. А любовь не уживается со страхом. (19) Поэтому, на мой взгляд, ты правильно поступаешь, когда, не желая, чтобы рабы тебя боялись, наказываешь их словами. Побоями наставляют бессловесных животных. Не все, что обидно, вредит нам; но избалованность доводит нас до такого неистовства, что все перечащее нашему желанию вызывает у нас ярость. (20) Так мы и усваиваем царские привычки. Ведь цари забывают, как сильны они сами и как слабы другие, и чуть что – распаляются гневом, словно от обиды, хотя даже от возможности обид надежно охраняет царей величие их удела. И они это знают, но только ищут и не упускают случая сотворить зло: для того и нужна им обида, чтобы кому-нибудь повредить.

(21) Больше не буду тебя задерживать: ведь тебе не нужны увещанья. У добрых нравов, помимо прочего, то преимущество, что они довольны собой и не меняются. Непостоянно злонравие: оно меняется часто, но к лучшему никогда. Будь здоров.

Письмо XLVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) На твое письмо, присланное с дороги и длинное, как эта дорога, я отвечу позже. Мне нужно уединиться и обдумать, что тебе посоветовать. Ведь и ты, прежде чем обратиться за советом, долго размышлял, надо ли советоваться; так не следует ли мне тем более сделать это, хотя бы потому, что разрешить вопрос нельзя так же быстро, как задать, особенно когда для одного хорошо одно, для другого – другое? Снова я говорю, как эпикуреец? (2) Но для меня хорошо то же, что и для тебя, и я не был бы тебе другом, если бы не считал своим все, что тебя касается. Дружба сделает наши дела общими, у каждого поодиночке нет ни беды ни удачи: вся жизнь друзей – заодно. Она не может быть блаженной у того, кто смотрит только на себя и все обращает себе на пользу; нужно жить для другого, если хочешь жить для себя. (3) Этот неукоснительно и свято соблюдаемый союз, который связывает людей с людьми и заставляет признать, что есть некое общее для человеческого рода право, он более всего способствует душевному дружескому союзу, о котором я говорил. Кто многим делится со всяким человеком, тот с другом разделит все.

(4) Я предпочел бы, Луцилий, лучший из людей, чтобы хитроумные наставники объяснили мне, что я должен дать другу, а что – всякому человеку, чем растолковали, сколько есть способов употребления слова «друг» и сколько значений у слова «человек». Глупость и мудрость расходятся; с кем мне пойти? В какую сторону ты велишь мне направиться? Для одного каждый человек все равно что друг, для другого друг не все равно что всякий человек; первый заводит дружбу ради себя, второй ради друга. А ты мне раздираешь в куски слова и режешь их на слоги.

(5) Выходит, если я не умею составить каверзный вопрос и посредством ложного умозаключения навязать рожденную от истины неправду, мне не разобраться и в том, к чему надо стремиться, а чего избегать! Стыдно мне: дело у нас серьезное, а мы, старые люди, играем в игрушки.

http://library.ziyonet.uz/

(6) «Мышь – это слог; но мышь грызет сыр, следовательно, слог грызет сыр». Допустим, что я не умею это распутать; но какая мне от моего незнанья беда? Какой ущерб? Без сомненья, я должен опасаться, что в мышеловку попадается слог или, по моей небрежности, свободный слог какой-нибудь книги съест весь сыр. Впрочем, можно прогнать страх умозаключеньем еще хитрее: «Мышь – это слог; слог не грызет сыра; следовательно, мышь не грызет сыра». (7) О, ребяческие нелепицы! И ради них мы морщим лоб? Ради них отпускаем бороду? Им обучаем людей, унылые и бледные?

Ты хочешь знать, что обещает человеческому роду философия? Дать совет! Одного манит смерть, другого давит бедность, третьего мучит богатство, свое или чужое; тот страшится злой судьбы, этот желает избавиться от собственной удачи; тому враждебны люди, этому боги. (8) Зачем ты сочиняешь все эти шуточки? Сейчас не время забавляться: тебя позвали на помощь несчастным. Ты обещал дать избавление тонущим, пленным, больным, голодным, подставившим, шею под топор, готовым упасть; зачем же ты уходишь в сторону? Что ты творишь? Тому, с кем ты шутишь, страшно. На всякое твое слово все, кому тяжко и больно, ответят: «Помоги!»[1] Со всех сторон протягивают к тебе руки, умоляя спасти погибшую или гибнущую жизнь; ты для них надежда и подмога; они просят, чтобы ты вытащил их из водоворота, показал им, раскиданным порознь и заблудившимся, яркий свет истины. (9) Назови им, что природа создала необходимым, что излишним, какие легкие она предписала нам законы, как приятно и необременительно жить, следуя им, и как трудно и горько тем, кто верит людскому мнению больше, чем природе, – если ты прежде им растолковал, что избавит их хотя бы от малой части бед, что положит конец или меру их вожделеньям.

Если бы эти тонкости были просто бесполезны! Но ведь они вредны! Я тебе, если хочешь, докажу яснее ясного, что самое благородное дарование слабеет и чахнет, если тратится на них. (10) Стыдно сказать, но какое оружие дадут они сражающимся с фортуной, чем оснастят их? Здесь ли путь к высшему благу? Нет, так проникают в философию все эти «либо-либо», все увертки, гнусные и постыдные даже для сидящих у доски для объявлений[2]. Ведь вы, когда вопросами заведомо заманиваете собеседников в ловушку, разве действуете иначе, чем те, кто старается хоть по видимости опровергнуть иск? Но как претор – истца, так же философия восстанавливает в правах замороченных вами. (11) Что же вы отступаетесь от ваших громких посулов, и, наобещав так много – вы, мол, сделаете так, что блеск меча поразит мой взор не больше, чем блеск золота, что я с небывалой твердостью буду пренебрегать и желанным, и страшным для всех остальных, зачем спускаетесь до начальных правил, которым учат грамматики? Что вы говорите? «Так восходят до звезд?»[3] Сделать меня равным богу – вот что обещала мне философия. Этим она меня манила, ради этого я пришел. Так сдержи слово!

(12) Поэтому, Луцилий, держись подальше от этих увертoк и уловок философов. Добрым нравам пристало лишь ясное и простое. Даже если бы тебе оставалось много лет жизни, тратить их надо бережно, чтобы хватило на необходимое; а теперь – какое безумие обучаться ненужному, когда времени в обрез! Будь здоров.

Письмо XLIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Кто, мой Луцилий, возвращается мыслью к другу, только когда о нем напомнит какая-нибудь местность, тот просто равнодушный лежебока. И все-таки знакомая округа оживляет порой глубоко спрятанную в душе тоску, не то что возвращая нам исчезнувшие воспоминания, но пробуждая уснувшие. Так скорбь об утрате, даже когда ее утешит время, становится острей при взгляде на любимого раба, на платье или жилище утраченного. И вот Кампания, а больше всего Неаполь и вид близ твоих Помпеи – невероятное дело! – вернули моей тоске по тебе первоначальную остроту. Весь ты у меня перед глазами – такой, каким был при расставании: глотающий слезы, бессильный сдержать подавляемые и все же рвущиеся наружу чувства. И мне кажется, будто я совсем недавно тебя потерял.

(2) Но, если ты вспомнишь, – разве что-нибудь было не «совсем недавно»? Совсем недавно

я был мальчиком и сидел у философа Сотиона[1], совсем недавно начал вести дела в суде, совсем недавно потерял к этому охоту, а там и силы. Безмерна скоротечность времени, и ясней всего это видно, когда озираешься назад. Взгляд, прикованный к настоящему, время обманывает, ускользая при своей быстроте легко и плавно. (3) Ты спросишь, в чем тут причина? Минувшее пребывает в одном месте, равно обозримое, единое и недвижное, и все падает в его глубину. Помимо этого, не может быть разделено на долгие отрезки то, что само по себе коротко. Срок нашей жизни не больше точки и даже меньше ее, но и это бесконечно малое природа разделила, словно некое длинное поприще: часть его – детство, другая часть – отрочество, третья – юность, далее – некий спад от юности к старости и, наконец, сама старость. Вот сколько ступеней уместила она на таком малом пространстве! (4) Совсем недавно я проводил тебя, но это «недавно» составляет немалую долю нашей жизни, – так что надо иногда подумать о краткости остающегося срока. Раньше время не казалось мне таким быстротечным, теперь его немыслимый бег ясно заметен, потому ли, что конечная черта видна мне все ближе, потому ли, что я стал рачительнее и подсчитываю убытки.

(5) Тем более сержусь я на расточителей, тратящих на ненужные вещи большую часть времени, которого, как прилежно его ни береги, и на необходимое-то не хватает. Цицерон говорит, что даже если бы ему удвоили срок жизни, у него не было бы времени читать лириков[2]. То же самое и с диалектиками! Только их глупость прискорбнее: озорство лириков откровенно, а эти мнят о себе, будто заняты делом. (6) Я не отрицаю, что и на это нужно бросить взгляд, – но только взгляд; поклонись диалектикам с порога – и довольно, чтобы они не заговорили тебя, а ты не подумал, будто они владеют каким-то великим и тайным благом. Зачем мучиться и биться над этим вопросом, если умнее не решать его, а с презреньем отбросить? Рыскать в поисках мелочей пристало тому, кто ничего не боится и странствует без помех; а когда с тыла наседает враг и солдату приказано сняться с места, необходимость растрясает все, что позволил накопить мирный досуг. (7) У меня нет времени гоняться за словами сомнительного смысла и на них испытывать свое хитроумие.

> Сколько народов – взгляни! – собралось, какое оружье Точат они на погибель..Л

С великим мужеством должен я внимать звучащему вокруг грохоту сражений. (8) По заслугам все сочли бы меня безумным, если бы я, покуда женщины и старики носят камни для укрепленья стен, покуда вооруженная молодежь в воротах ждет знака к вылазке и торопит его, покуда вражеские копья блестят у самых ворот и дрожит земля, взрытая подкопами, сидел без дела, задавая такие примерно вопросики: «У тебя есть то, чего ты не терял; ты не терял рогов; следовательно, у тебя есть рога» – или что-нибудь еще по образцу этого замысловатого бреда. (9) Точно так же и ты вправе счесть меня безумным, если я стану тратить труд на эти вещи: ведь и теперь я осажден. Но в той осаде опасность двигалась бы извне, от врагов меня отделяла бы стена, а теперь смертельная угроза рядом. На все эти глупости у меня нет досуга: на руках у меня огромная работа. Что мне делать? Смерть гонится за мною, убегает от меня жизнь! Научи меня, как тут помочь! (10) Сделай так, чтобы я не бежал от смерти, чтобы не убегали дни моей жизни. Поощри меня на борьбу с трудностями, научи равнодушию перед лицом неизбежного, расширь тесные пределы моего времени, растолкуй мне, что благо не в том, чтобы жизнь была долгой, а в том, как ею распорядиться: может случиться, да и случается нередко, что живущий долго проживет очень мало. Скажи мне перед сном:

«Может быть, ты не проснешься», – а по пробуждении скажи: «Может быть, ты больше не ляжешь спать»; скажи при выходе из дому: «Может быть, ты не вернешься», – скажи по возвращении: «Может быть, ты не выйдешь больше». (11) Ты заблуждаешься, если полагаешь, что только в морском плавании жизнь отделена от смерти тонкою преградой: повсюду грань между ними столь же ничтожна. Не везде смерть видна так близко, но везде она стоит так же близко. Рассей мглу – и ты легче преподашь мне то, к чему я подготовлен. Пирода сделала нас восприимчивыми и дала разум хоть и не совершенный, но способный к совершенствованию. (12) Рассуждай со мною о справедливости, о благочестии, об умеренности, о двух родах стыдливости – о

той, что не велит посягать на тело другого, и о той, что велит оберегать свое. Если ты не станешь водить меня сквозь дебри, я легче доберусь до моей цели. Если, как сказал трагический поэт[4], «речь истины проста», то не следует и запутывать ее, и душам, стремящимся к великому, ничто не пристало меньше, нежели эта каверзная хитрость. Будь здоров.

Письмо L

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Письмо твое я получил спустя много месяцев после того, как ты его отправил, и поэтому счел за лишнее спрашивать у доставившего его о твоих делах. Ведь чтобы еще помнить о них, нужна очень хорошая память. А ты, я надеюсь, живешь теперь так, что все твои дела мне известны, где бы ты ни находился. Ибо чем ты еще занят, помимо того, что ежедневно стараешься стать лучше, избавляешься от какого-нибудь заблуждения, признаешь своими пороки, которые прежде приписывал обстоятельствам? Мы ведь многие из них относим на счет времени и места, а они, куда бы мы ни отправились, неразлучны с нами. ([2]) Ты знаешь Гарпасту, дуру моей жены, что осталась наследственной обузой в нашем доме. Я сам терпеть не могу этих выродков, а если хочу позабавиться чьей-нибудь глупостью, то искать далеко мне не надо: я смеюсь над собой. Так вот эта дура вдруг потеряла зрение. Я рассказываю тебе правду, хоть и невероятную: она не знает, что слепа, и то и дело просит приставленного к ней раба перебраться куда-нибудь из этого темного дома. (3) Но то, за что мы смеемся над нею, бывает с нами со всеми, знай это; ни один не признает себя скупым или жадным. Слепые просят поводыря, а мы блуждаем без вожатого и говорим: «Я-то не честолюбив, но в Риме иначе жить нельзя! Я – не мот, но Город требует больших расходов! Что я вспыльчив, что не выбрал еще для себя образа жизни, – все это не мои пороки: в них виновна моя молодость!» (4) Что же мы себя обманываем? Наша беда не приходит извне: она в нас, в самой нашей утробе. И выздороветь нам тем труднее, что мы не знаем о своей болезни. Начни мы лечиться – скоро ли удастся прогнать столько хворей, и таких сильных?[1] Но мы даже не ищем врача, хотя ему пришлось бы меньше трудиться, позови мы его раньше, пока порок не был застарелым: душа податливая и неопытная легко пошла бы за указывающим прямой путь.

(5) Трудно вернуть к природе только того, кто от нее отпал. Мы стыдимся учиться благомыслию; но право, если стыдно искать учителя в таком деле, то нечего надеяться, что это великое благо достанется нам случайно. Нужно трудиться, – и, по правде, труд этот не так велик, если только, повторяю, мы начнем образовывать и исправлять душу прежде, чем порочность ее закоренеет. Но и закоренелые пороки для меня не безнадежны.

(6) Нет ничего, над чем не взяла бы верх упорная работа и заботливое лечение. Можно сделать прямыми искривленные стволы дубов; выгнутые бревна распрямляет тепло, и вопреки их природе им придают такой вид, какой нужен нам. Так насколько же легче принимает форму наш дух, гибкий и еще менее упругий, чем любая жидкость! Ведь что такое дух, как не особое состояние воздуха? А воздух, ты видишь сам, настолько же превосходит все вещества податливостью, насколько уступает им плотностью.

(7) Однако, Луцилий, нельзя отчаиваться в нас по той причине, что мы в плену зла и оно давно уже нами владеет. Никому благомыслие не досталось сразу же, – у всех дух был раньше захвачен злом. Учиться добродетели – это значит отучаться от пороков. (8) И тем смелее мы должны браться за исправленье самих себя, что однажды преподанное нам благо переходит в наше вечное владение. Добродетели нельзя разучиться. Противоборствующие ей пороки сидят в чужой почве, потому их можно изничтожить и искоренить; прочно лишь то, что на своем месте. Добродетель сообразна с природою, пороки ей враждебны и ненавистны. (9) Но хотя воспринятые добродетели ни за что нас не покинут и сберечь их легко, начало пути к ним трудно, так как первое побуждение немощного и больного разума – это испуг перед неизведанным. Нужно принудить его взяться за дело, а потом лекарство не будет горьким: оно доставляет удовольствие, покуда лечит. Все наслаждение от других лекарств – после выздоровления, а философия и целебна, и приятна в одно время. Будь здоров.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо LI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Как кто может, Луцилий! У тебя там есть Этна, знаменитейшая сицилийская гора, которую Мессала либо Вальгий[1] (я читал это у обоих) назвали единственной, а почему, я не могу понять: ведь есть много мест, изрыгающих огонь, не только возвышенных (это бывает чаще, так как огонь, ясное дело, взлетает как можно выше), но и равнинных. А мы, насколько можем, будем довольны Байями[2], которые я покинул на следующий день по прибытии; мест этих, несмотря на некоторые их природные достоинства, надобно избегать, потому что роскошная жизнь избрала их для своих празднеств.

(2) «Так значит, есть места, которым следует объявить опалу?» – Вовсе нет! Но как мудрому и честному человеку одна одежда пристала больше, другая меньше, как некоторые цвета он не то что ненавидит, а считает не слишком подходящими для исповедующего умеренность, так есть местности, которых человек мудрый или стремящийся к мудрости избегает, как несовместимых с добрыми нравами. (3) Мечтающий об уединении не выберет Канопа[3], хотя и Каноп никому не возбраняет быть воздержным; и то же самое Байи. Они сделались притоном всех пороков: там страсть к наслаждениям позволяет себе больше, чем всюду, там она не знает удержу, будто само место дает ей волю. (4) Мы должны выбирать места, здоровые не только для тела, но и для нравов. Я не хотел бы жить среди палачей, и точно так же не хочу жить среди кабаков. Какая мне нужда глядеть на пьяных, шатающихся вдоль берега, на пирушки в лодках, на озеро, оглашаемое музыкой и пением, и на все прочее, чем жажда удовольствий, словно освободившись от законов, не только грешит, но и похваляется? (5) Мы должны бежать подальше от всего, чем возбуждаются пороки. Душу нужно закалять, уводя ее прочь от соблазна наслаждений. Одна зимовка развратила Ганнибала[4], кампанский уют изнежил человека, не сломленного альпийскими снегами. Победивший мечом был побежден пороками. (6) Мы тоже должны быть солдатами, и та служба, что мы несем, не дает покоя, не позволяет передохнуть. В первой же битве нужно победить наслаждение, которое, как ты видишь, брало в плен и свирепых по природе. Если кто себе представит, за какое большое дело берется, тот узнает, что избалованностью да изнежен ностью ничего не добьешься. Что мне эти горячие озера? Что мне потельни, где тело охватывает сухой пар, выгоняющий прочь влагу? Пусть выжмет из меня пот работа! (7) Если мы поступим по примеру Ганнибала: прервем все дела, прекратим войну и начнем старательно холить тело, то всякий заслуженно нас упрекнет в несвоевременной праздности, опасной не только для побеждающего, но и для победителя. А нам дозволено еще меньше, чем шедшим за пунийскими знаменами: больше опасностей ждет нас, если мы отступим, больше труда – если будем упорствовать. (8) Фортуна ведет со мною войну; я не буду выполнять ее веленья, не принимаю ее ярма и даже – а для этого нужно еще больше доблести – сбрасываю его. Мне нельзя изнеживать душу. Если я сдамся наслаждению, надо сдаться и боли, и тяготам, и бедности; на такие же права надо мною притязает и гнев, и честолюбие; вот сколько страстей будет влечь меня в разные стороны, разрывая на части. (9) Мне предложили свободу; ради этой награды я и стараюсь. Ты спросишь, что такое свобода? Не быть рабом ни у обстоятельств, ни у неизбежности, ни у случая; низвести фортуну на одну ступень с собою; а она, едва я пойму, что могу больше нее, окажется бессильна надо мною. Мне ли нести ее ярмо, если смерть – в моих руках?

(10) Кто занят такими размышлениями, тому нужно выбирать места строгие и незапятнанные. Чрезмерная приятность расслабляет душу, и местность, без сомнения, не лишена способности развращать. Вьючные животные выносят любую дорогу, если их копыта отвердели на камнях, а разжиревшие на мягком болотистом пастбище быстро сходят на нет. Храбрее тот солдат, что пришел с гор, ленивее тот, что взят из городского дома. Ни в каком труде не подведут руки, что взялись за меч, оставив плуг, а умащенный до блеска теряет силы, едва глотнув пыли. (11) Привычка к суровой местности укрепляет наши природные задатки, благодаря ей мы лучше годимся для больших дел. Честнее для изгнанника Сципиона было жить в Литерне[5], а не в Байях: ему нельзя было упасть так мягко. Даже те, в чьи руки фортуна римского народа впервые отдала

могущество, прежде принадлежавшее всем гражданам, – Гай Марий, и Гней Помпеи, и Цезарь, – хоть и построили усадьбы в окрестностях Бай, но поместили их на вершинах самых высоких гор. Казалось, что это больше подобает людям военным: с высоты озирать вширь и вдаль все лежащее внизу. Взгляни, какие места они выбрали для возведения построек и каковы эти постройки, – и ты поймешь, что здесь не усадьба, а лагерь. (1[2]) Неужели, по-твоему, Катон стал бы жить в домике, откуда он мог бы считать проплывающих мимо распутниц, глядеть на великое множество разнообразных лодок, раскрашенных во все цвета, и на розы, что носятся по озеру, мог бы слышать пение ночных гуляк? Неужели он не предпочел бы остаться между валами, которые своими руками возвел бы за одну ночь? Разве всякий, если только он мужчина, не предпочтет, чтобы его сон прервала труба, а не флейты и тимпаны?

(13) Впрочем, довольно мне воевать с Байями – с Байями, но не с пороками! Прошу тебя, Луцилий, преследуй их без конца, без предела, потому что им самим нет ни предела, ни конца. Выброс те из них, что терзают твое сердце, а если нельзя их искоренить иначе, – вырви вместе с ними и сердце. А пуще всего гони наслаждения: пусть они будут тебе всего ненавистнее. Ведь они вроде тех разбойников, которых в Египте называют «(piXTj-ccu»[6], обнимают нас для того, чтобы удушить. Будь здоров.

Письмо LII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Что влечет нас, Луцилий, в одну сторону, хотя мы стремимся в другую, и толкает туда, откуда мы желаем уйти? Что борется с нашей душой и не дает нам захотеть чего-нибудь раз и навсегда? Мы мечемся между замыслами, у нас нет свободных, независимых, стойких желаний. ([2]) – Ты говоришь: «Это глупость: у нее нет ничего постоянного, ничто не нравится ей подолгу», – Но как или когда мы от нее избавимся? Никому не хватит собственных сил, чтобы вынырнуть: нужно, чтобы кто-нибудь протянул руку и вытащил нас. (3). Эпикур говорит, что некоторые – и он в их числе [1] без всякой помощи пробивались к истине и сами себе прокладывали дорогу; таких он и хвалит больше всех, потому что порыв у них шел из сердца и они сами себя продвинули вперед. А другие нуждаются в посторонней помощи: если никого впереди не будет, они шагу не сделают, но охотно идут по пятам; к таким он относит Метродора. Это способность не самая высокая, но тоже замечательная. Мы к первому разряду не принадлежим, хорошо, если нас примут и во второй. Нельзя презирать человека, который может спасти себя благодаря другому, а само желание спастись много значит. (4) Но, кроме того, есть еще один род людей, которым также нельзя гнушаться: это те, кого можно принуждением толкнуть на верную дорогу, кому нужен не вожатый, а помощник и, так сказать, погонщик. Такие составляют третий разряд. Если тебе нужен пример, то Эпикур говорит, что таков был Гермарх. Итак, второй разряд есть с чем поздравить, но вящего уваженья заслуживает третий. Потому что, хоть оба приходят к одной цели, больше заслуга тех, кто одолел наибольшие трудности. (5) Представь себе, что возведены два одинаковых здания, равные и высотой, и великолепием. Одна постройка словно принялась на своем участке и выросла очень быстро[2]. Основание другой было заложено в мягкую, зыбучую почву, здание оказалось шатким, и для упрочения его было потрачено много труда. В первом все, что сделано, бросается в глаза, в другом самая большая и трудная часть работы не видна. (6) Одни люди по природе податливы и послушны, других надобно, что называется, обрабатывать вручную и браться за них с самого основания. Поэтому я сказал бы так: кому не пришлось над собою трудиться, тот счастливее, но больше заслуга перед самим собой у того, кто победил дурные свойства своей натуры и не пришел, но прорвался к мудрости. (7) Пусть мы знаем, что наш нрав неподатлив и труден для исправления, но мы идем через преграды. Так будем сражаться и призовем кого-нибудь на помощь.

«Но кого мне призвать? Того или этого?» – Обратись хотя бы к предкам: у них довольно досуга, а помочь нам могут не только живущие, но и жившие прежде. (8) А из ныне живущих следует выбирать не таких, кто безостановочно сыплет словами, повторяя общие места, и собирает слушателей по частным домам, но таких, кто учит жить[3], кто, говоря, что нужно делать,

доказывает это делом, кто, поучая, чего следует чуждаться, сам ни разу не был пойман на том, от чего велит бежать. Выбирай себе в помощники того, кому больше удивишься, увидев, чем услышав. (9) Я не запрещаю тебе слушать и тех, кто привык рассуждать перед публикой, если только они вышли к толпе затем, чтобы сделать ее лучше и стать лучше самим, а не тщеславия ради. Что может быть постыднее, чем философия, ищущая рукоплесканий? Разве больной хвалит врача с ножом? (10) Молчите, благоговейте и дайте себя лечить! А если вы и поднимете голос, то пусть я услышу лишь стон, вырванный прикосновением к вашему пороку. Вы хотите показать, как вы внимательны, до чего вас взволновало величие предмета? Пожалуйте! С чего мне запрещать вам судить самим и подать голос за лучшее? У Пифагора ученики должны были молчать пять лет; так неужели, по-твоему, им разрешалось сразу и заговорить, и начать хвалить? (11) Но как велико безумие того, кто покидает круг слушателей, радуясь восторженным крикам невежд? Что ты веселишься, если тебя хвалят люди, которых сам ты не можешь похвалить? Фабиан говорил перед публикой, но слушали его скромно, только иногда вырывался громкий крик одобренья, вызванный, однако, величием предмета, а не звучанием безобидной и плавно льющейся речи. (12) Пусть все же будет разница между криками в театре и в школе! Ведь и хвалить можно разнузданно.

Если присмотреться, каждая вещь есть признак другой вещи, и можно понять нрав человека по мельчайшим уликам. Бесстыдного выдают и походка, и движения руки, и один какой-нибудь ответ, и манера подносить палец к голове или косить глазами, бесчестного – какой-нибудь смешок, безумного выражение лица и осанка. Все это обнаруживает себя через приметы. И ты о каждом узнаешь, каков он, если поглядишь, как он хвалит и как его хвалят. (13) Слушатели со всех сторон тянут к философу руки, восхищенная толпа теснится над самой его головой. Это, понятное дело, уже не похвалы, а просто вопли. Пусть лучше такие голоса останутся на долю искусств, намеренно угождающих народу; а философии подобает благоговение. (14) Юношам пусть будет иногда позволено поддаться душевному порыву, – но только тогда, когда есть этот порыв, когда они не могут принудить себя к молчанию. Такая похвала усиливает рвение самих слушателей и подстегивает души молодежи. Но рвение это должно быть направлено на дело, а не на складные слова, не то красноречие вредит, вызывая желание не действовать, а произносить речи. (15) Но покуда я отложу эти вопросы, которые требуют особого и долгого рассмотрения: как говорить перед слушателями, что можно позволить себе в их присутствии и что – слушателям в своем присутствии. Ведь философия, выставляясь, словно продажная женщина, без сомнения терпит ущерб; но в собственном святилище она может явиться глазам людей, если найдет не торговца, а жреца. Будь здоров.

Письмо LIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) На что только меня не уговорят, если уж уговорили плыть морем! Отчалил я в затишье, но небо было в тяжелых серых тучах, которые непременно должны разразиться либо дождем, либо ветром. Все же я думал, хотя погода ненадежна и грозит ненастьем, мне удастся проскользнуть, благо от твоей Партенопеи до Путеол немного миль. Итак, чтобы уйти побыстрее, я направился через открытое море прямо к Несиде[1], срезав все излучины. ([2]) Едва мы отплыли настолько, что было уже все равно, вперед ли идти или назад, как подкупившая меня гладь исчезла: бури еще не было, но море взволновалось, а потом зыбь пошла чаще. Я стал просить кормчего высадить меня где-нибудь на берегу. Он же говорил, что на здешних скалистых берегах нету стоянок и что не так страшна буря, как суша. (3) Но я слишком мучился, чтобы думать об опасности: меня изводила тошнота, слабая и безысходная, которая, взбаламутив желчь, не позволяет еще ее извергнуть. Я пристал к кормчему и заставил его, хочет не хочет, плыть к берегу. Когда мы подошли, я не стал ждать, пока мы выполним наставления Вергилия [2], чтобы

Носом в простор корабли повернулись,
или чтобы

С носа якорь слетел,

но, вспомнив мое искусство, бросился в море, как подобает старому любителю холодных купаний, в плотной одежде. (4) Подумай сам, чего только я не натерпелся, пока полз через утесы, пока искал дорогу, пока прошел ее! Я понял, что моряки недаром боялись суши. Просто невероятно, сколько я вынес, не имея сил выносить самого себя! Знай, Улисс был от рожденья обречен гневу моря: не потому, что всюду шел ко дну, а потому, что страдал морской болезнью. И я, если мне придется куда-нибудь плыть, доберусь до места на двадцатый год[3].

(5) Едва я привел в порядок желудок, который – ты знаешь сам – не избавился от тошноты, избавившись от моря, едва восстановил силы умащеньем, как стал думать про себя вот о чем. До чего же легко мы забываем о своих изъянах, и телесных, хоть они часто о себе напоминают, и, конечно, тех, которые тем глубже скрыты, чем они больше. (6) Легкий жар может обмануть, но когда он поднимется и начнется настоящая лихорадка, она у самого твердого и терпеливого вырвет признание. Ноги болят, в суставах немного колет – мы это скрываем, говорим, что подвернули щиколотку или перетрудили каким-нибудь упражнением. Пока хворь сомнительна и только подкрадывается, мы ищем ей имя, но когда болезнь начнет раздувать щиколотки опухолями и сделает обе ноги правыми, то тут поневоле признаешь, что это подагра. (7) А с теми болезнями, что поражают душу, все обстоит наоборот: каждый, чем больше ими страдает, тем меньше это чувствует. И удивляться тут, милый мой Луцилий, нечему. Кто спит неглубоко и в дремоте видит какие-то образы, тот иногда во сне понимает, что спит, а тяжелый сон прогоняет даже сновидения, и душа так глубоко в него погружается, что сама себя забывает. (8) Почему никто не признается в своих пороках? Потому что тонет в них и сейчас. Рассказывать сны – дело бодрствующего; признать свои пороки – признак выздоровления. Проснемся же, чтобы изобличить наши заблужденья. Но разбудит нас только философия, только она заставит нас стряхнуть тяжелый сон. Посвяти ей всего себя: она достойна тебя, а ты достоин ее. Устремитесь же друг другу в объятия! Смело и открыто откажись от всех остальных дел! Философией нельзя заниматься урывками. (9) Если бы ты заболел, то оставил бы домашние заботы, забыл о судебных делах и никого не считал стоящим того, чтобы пойти за него ходатаем даже в дни облегчения. Ты делал бы все, чтобы поскорей избавиться от болезни. Так разве теперь ты занят другим? Оставь же все, что тебе мешает, добудь себе досуг: кто занят, тот не достигнет благомыслия!

В руках философии – царская власть; она распоряжается твоим временем, а не ты уделяешь ей час-другой. Она не есть нечто побочное, – она есть главное; она – повелительница, ей и приказывать. (10) Александр ответил на предложение какого-то города[4] отдать ему часть земли и половину богатств: «Я пришел в Азию не затем, чтобы брать, сколько вы дадите; это вы будете иметь столько, сколько я вам оставлю». Так и философия говорит прочим занятиям: «Я не желаю, чтобы мне доставалось то время, которое останется от вас, – это вы получите столько, сколько я на вас отпущу». (11) Отдай ей все мысли, не разлучайся с нею, чти ее – и ты сразу увеличишь разрыв между тобою и остальными. Намного обогнав всех смертных, ты ненамного отстанешь от богов. Ты спросишь, в чем будет между вами разница? – Они долговечнее тебя. Но ведь, право, нужно быть великим искусником, чтобы в ничтожно малое вместить все. Для мудрого его век так же долог, как для богов – вечность. А кое в чем мудрец и превосходит бога: тот избавлен от страха благодаря природе, а этот – благодаря себе самому. (12) И это очень немало – при человеческой слабости обладать бесстрашием бога! Трудно поверить, какова сила философии и способность отбить всякую случайную силу. Никакое оружие не вонзается в ее тело: она защищена и неуязвима. Одни копья она затупляет и, словно легкие стрелы, отражает широким своим одеяньем, другие отбрасывает и даже посылает в того, кто их метнул. Будь здоров.

Письмо LIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Долгий отпуск дала мне внезапно налетевшая хворь. – «Что за хворь?» – спросишь ты, и не без причины: ведь нет болезни, с которой я не был бы знаком. Но один недуг словно бы при-

писан ко мне; не знаю, зачем называть его по-гречески, если к нему вполне подходит слово «удушье». Начинается оно сразу, подобно буре, и очень сильно, а примерно через час прекращается. Кто же испускает дух долго? (2) Я прошел через все, что мучит тело и грозит ему опасностью, но ничего тяжелее, по-моему, нет. Почему? Всем остальным, каково бы оно ни было, мы болеем, а тут отдаем душу. Из-за этого врачи и называют такую хворь «подготовкой к смерти». Ведь однажды дух сделает то, что пытается сделать так часто.

(3) Ты думаешь, я пишу тебе так весело оттого, что избегнул смерти? Радоваться окончанию приступа, словно выздоровлению, было бы глупее, чем, получив отсрочку, мнить себя выигравшим тяжбу. А я, даже задыхаясь, не переставал успокаивать себя радостными и мужественными мыслями. (4) «Что же это такое, – говорил я, – почему смерть так долго ко мне примеривается? Пусть уж сделает свое дело! Я-то давно к ней примерился». – Ты спросишь, когда. – Прежде чем родился. Смерть – это небытие; но оно же было и раньше, и я знаю, каково оно: после меня будет то же, что было до меня. Если не быть – мучительно, значит, это было мучительно и до того, как мы появились на свет, – но тогда мы никаких мук не чувствовали. (5) Скажи, разве не глупо думать, будто погашенной светильне хуже, чем до того, как ее зажгли? Нас тоже и зажигают, и гасят: в промежутке мы многое чувствуем, а до и после него – глубокая безмятежность. Если я не ошибаюсь, Луцилий, то вот в чем наше заблуждение: мы думаем, будто смерть будет впереди, а она и будет, и была. То, что было до нас, – та же смерть. Не все ли равно, что прекратиться, что не начаться? Ведь и тут и там – итог один: небытие.

(6) С такими ободряющими речами (конечно, безмолвными: тут не до слов!) я непрестанно обращался к себе, потом понемногу одышка, которая уже переходила в хрип, стала реже, успокоилась и почти прекратилась. Несмотря на это, дышу я и сейчас не так, как положено природой: я чувствую, как дыханье прерывается и застревает в груди. Ну да ладно, лишь бы не вздыхать из глубины души! (7) Обещаю тебе одно: в последний час я не задрожу – ведь я к нему готов и даже не помышляю о целом дне. Воздавай хвалы и подражай тому, кому не тяжко умереть, хоть жизнь его и приятна. А велика ли доблесть уйти, когда тебя выбрасывают за дверь? Впрочем, и тут есть доблесть: если ты будешь выброшен так, будто сам уходишь. Поэтому мудрого выбросить за дверь невозможно: ведь выбросить значит, прогнать оттуда, откуда уходишь против воли. А мудрый ничего не делает против воли и уходит из-под власти необходимости,. добровольно исполняя то, к чему она принуждает. Будь здоров.

Письмо LV

Сенека приветствует Луцилия!

(1).Я как раз вернулся с прогулки в носилках; впрочем, если бы я столько же прошел пешком, усталость была бы не больше. Когда тебя подолгу носят, это тоже труд и, видно, еще более тяжелый из-за своей противоестественности. Природа дала нам ноги, чтобы мы сами ходили, и глаза, чтобы мы сами глядели. Изнеженность обрекла нас на бессилие, мы не можем делать то, чего долго не хотели делать. (2) Однако мне необходимо было встряхнуться, для того ли, чтобы растрясти застоявшуюся в горле желчь, или для того, чтобы по какой-то причине стеснившийся в груди воздух разредился от качания носилок. И я чувствовал, что оно мне помогает, и поэтому долго и упорно двигался туда, куда манила меня излучина берега между усадьбой Сервилия Ватии и Кумами, узкого, словно дорога, и сжатого между морем и озером[1]. После недавней бури песок был плотный, потому что, как ты знаешь, частый и сильный прибой разравнивает его, а долгое затишье разрыхляет, так как уходит вся связывающая песчинки влага. (3) По привычке я стал озираться вокруг, не найдется ли чего такого, что пошло бы мне на пользу, и взгляд мой упал на усадьбу, когда-то принадлежавшую Ватии. В ней он, богатый, как бывший претор, и ничем, кроме безделья, не знаменитый, состарился, почитаемый за одно это счастливцем. Ибо всякий раз, когда кого-нибудь топила дружба с Азинием Галлом[2], либо вражда, а потом и приязнь Сеяна[3] (и задевать его, и любить было одинаково опасно), люди восклицали: «О Ватия, ты один умеешь жить!» А он умел не жить, а прятаться. (4) Ведь жить свободным от дел и жить в праздности – не одно и то же. При жизни Ватии я не мог пройти мимо этой усадьбы и не сказать:

«Здесь покоится Ватия». Но философия, мой Луцилий, внушает такое почтение и священный трепет, что даже сходство с нею, пусть и ложное, привлекает людей. Человека, свободного от дел, толпа считает добровольно уединившимся, безмятежным, независимым и живущим для себя, между тем как все эти блага никому, кроме мудреца, не доступны. (5) Этот, живущий в тревоге, неужто умеет жить для себя? И, самое главное, умеет ли он вообще жить? Кто бежит от дел и людей, неудачливый в своих желаниях и этим изгнанный прочь, кто не может видеть других более удачливыми, кто прячется из трусости, словно робкое и ленивое животное, тот живет не ради себя, а – куда позорнее! – ради чрева, сна и похоти. Кто живет ни для кого, тот не живет и ради себя. Но постоянство и упорство в своем намерении – вещи такие замечательные, что и упорная лень внушает уважение.

(6) О самой усадьбе не могу ничего написать тебе наверняка: я знаю только ее лицевую сторону и то, что видно проходящим мимо. Там есть две пещеры, просторнее любого атрия, вырытые вручную ценой огромных трудов; в одну солнце не заглядывает, в другой оно до самого заката. Платановую рощу делит на манер Еврипа[4] ручей, впадающий и в море, и в Ахерусийское озеро. Рыбы, что кормится в ручье, хватало бы вдосталь и для ежедневного лова, однако ее не трогают, если можно выйти в море; когда же буря дает рыбакам отпуск, то нужно только протянуть руку за готовым. (7) Самое большое преимущество усадьбы в том, что от Бай она отделена стеной и, наслаждаясь всем, что есть там хорошего, не знает тамошних неудобств. Эти лучшие ее свойства я знаю сам и полагаю, что она годится на все времена года. Ведь ее овевает Фавоний [5], который она даже отнимает у Бай, принимая его на себя. Видно, Ватия был неглуп, если выбрал это место, чтобы жить в безделье и старческой лени.

(8) Но место не так уже способствует спокойствию; наша душа делает для себя каждую вещь такой или иной. Я видел опечаленными обитателей веселых и приятных усадеб, видел живущих в уединении, которые не отличались от самых занятых. Поэтому не думай, будто тебе живется не очень уютно оттого, что ты далеко от Кампании. Да и далеко ли? Достигни этих мест мыслями! (9) Можно общаться и с отсутствующими друзьями так часто и так долго, как тебе самому угодно. В разлуке мы еще больше наслаждаемся этим общением, прекрасней которого нет ничего. Жизнь рядом делает нас избалованными, и хотя мы порой вместе сидим, вместе гуляем и беседуем, но, разойдясь порознь, перестаем думать о тех, с кем только что виделись. (10) Потому и должны мы переносить разлуку спокойно, что каждый подолгу разлучен даже с теми, кто близко. Во-первых, считай ночи, проведенные врозь, затем – дела, у каждого свои, потом уединенные занятия, отлучки в загородные, – и ты увидишь, что пребывание на чужбине отнимает у нас не так много. (11) Друг должен быть у нас в душе, а душа всегда с нами: она может хоть каждый день видеть, кого захочет. Так что занимайся со мною, обедай со мною, гуляй со мною. Мы жили бы очень тесно, если бы хоть что-нибудь было недоступно нашим мыслям. Я вижу тебя, Луцилий, я даже слышу тебя, я так близко к тебе, что сомневаюсь, не слать ли тебе вместо писем записки. Будь здоров.

Письмо LVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Пусть я погибну, если погруженному в ученые занятия на самом деле так уж необходима тишина! Сейчас вокруг меня со всех сторон – многоголосый крик: ведь я живу над самой баней. Вот и вообрази себе все разнообразие звуков, из-за которых можно возненавидеть собственные уши. Когда силачи упражняются, выбрасывая вверх отягощенные свинцом руки, когда они трудятся или делают вид, будто трудятся, я слышу их стоны; когда они задержат дыханье, выдохи их пронзительны, как свист; попадется бездельник, довольный самым простым умащением, – я слышу удары ладоней по спине, и звук меняется смотря по тому, бьют ли плашмя или полой ладонью. А если появятся игроки в мяч и начнут считать броски, – тут уж все кончено. (2) Прибавь к этому и перебранку, и ловлю вора, и тех, кому нравится звук собственного голоса в бане. Прибавь и тех, кто с оглушительным плеском плюхается в бассейн. А кроме тех, чей голос, по крайней мере, звучит естественно, вспомни про выщипывателя волос, который, чтобы его заме-

тили, извлекает из гортани особенно пронзительный визг и умолкает, только когда выщипывает кому-нибудь подмышки, заставляя другого кричать за себя. К тому же есть еще и пирожники, и колбасники, и торговцы сладостями и всякими кушаньями, каждый на свой лад выкликающие товар. – (3) Ты скажешь мне: «Ты железный человек! Ты, видно, глух, если сохраняешь стойкость духа среди всех этих разноголосых нестройных криков, между тем как нашего Криспа[1] довели до могилы чересчур усердные утренние приветствия». Нет, клянусь богом, я обращаю на этот гомон не больше внимания, чем на плеск ручья или шум водопада, – хоть я и слышал про какое-то племя, которое перенесло на другое место свой город только из-за того, что не могло выносить грохот нильского переката. (4) По-моему, голос мешает больше чем шум, потому что отвлекает душу, тогда как шум только наполняет слух и бьет по ушам. К числу тех, что шумят, не отвлекая меня, я отношу проезжающие мимо повозки, и плотника в моем доме, и кузнеца по соседству, и того, кто у Потной меты[2], пробуя дудки и флейты, хоть и кричит, но не поет. (5) При этом звук, то и дело прерывающийся, тяготит меня больше, чем непрерывный. Но я уже так закалился, что мог бы слушать даже начальника над гребцами, когда он противным голосом отсчитывает такт. Ведь я принуждаю мой дух сосредоточиться на себе и ни на что внешнее не отвлекаться. Пусть за дверьми все шумит и гремит, – лишь бы внутри не было смятения, лишь бы не ссорились между собой вожделение и страх, не затевали распрю и не мучили друг друга расточительность и скупость. Пусть по всей округе тишина – много ли нам в ней пользы, если наши страсти бушуют?

(6) Ночь утишила все и мирный покой даровала...[3]

Это ложь! Нет мирного покоя, кроме того, который даруется нам разумом: ночь не устраняет наши тяготы, а усугубляет их ощущенье и заменяет одни тревоги другими. Ведь и сновидения спящих бывают не менее бурными, чем их дни. Подлинна только та безмятежность, чей корень – совершенство духа. (7) Взгляни на него: безмолвие просторного дома манит к нему сон, его слух не будет потревожен ни единым звуком, ибо вся толпа рабов молчит и только на цыпочках приближается к спальне. А он ворочается с боку на бок, стараясь среди огорчений поймать хоть легкую дрему, и, ничего не слыша, жалуется, будто слышит. (8) Какая тут, по-твоему, причина? Шум у него в душе: ее нужно утихомирить, в ней надо унять распрю; нельзя считать ее спокойной только потому, что тело лежит неподвижно. Иногда и в покое нам нет покоя. Поэтому нужно проснуться и взяться за дела или занять себя благородными искусствами всякий раз, когда начинает нас одолевать лень, которая сама себе в тя гость. (9) Великие полководцы, когда замечают плохое повиновение у солдат, усмиряют их трудом и держат в узде походами. Кто занят, у того нет времени на озорство; и вернее верного то, что дело искореняет пороки, порожденные бездельем. Часто мы уходим в тень – по-видимости из-за того, что нам опостылели общественные дела и претит наше положение, не сулящее удачи и неблагодарное, но в уединении, куда загнали нас страх и усталость, порой вновь крепнет честолюбие. Значит, оно оставило нас не потому, что было искоренено, а потому что утомилось и было подавлено не слишком ему благоприятными обстоятельствами. (10) То же самое и страсть к роскоши: иногда она по-видимости отступает, а потом опять донимает мнимых сторонников воздержности и посреди приступа бережливости тянется к покинутым, но не преданным осуждению удовольствиям, – тянется скрытно и оттого еще сильнее. Ведь не так опасны пороки, не скрытые от глаз; даже больные идут к выздоровлению, если болезнь прорвалась из глубины и обнаружила всю свою силу. Знай, что и скупость, и честолюбие, и другие недуги человеческого духа пагубнее всего тогда, когда прячутся под личиной здоровья.

(11) Мы только кажемся спокойными. Вот если мы будем чистосердечны, если протрубим отступление, если научимся презирать внешний блеск, то, как я сказал, нас уже ничто не отвлечет, никакие хоры человеческих или птичьих голосов не прервут наших благих размышлений, стойких и неизменных. (12) Слишком легок и не сосредоточен еще на самом себе дух того, кого любой голос и случайный звук заставляют насторожиться. Значит, есть в нем тревога и ранее возникший страх, которые и будоражат любопытство. Как говорит наш Вергилий,

Я, кто недавно ни стрел, летевших в меня, не боялся,
Ни бессчетных врагов, толпой мне путь преграждавших,
Ныне любых ветерков, любого шума пугаюсь:
Страшно за ношу мою и за спутника страшно не меньше.[4]

(13) Первый – это мудрец, которого не пугают ни занесенные копья, ни сшибающиеся мечи тесно сплоченных отрядов, ни грохот разрушаемого города; второй же – человек неискушенный, он боится за свое добро и пугается всякого шума, любой звук кажется ему грохотом и валит с ног, малейшее движение лишает его чувств. Поклажа делает его робким.

(14) Возьми на выбор любого из тех счастливцев, что много несут на себе и много тащат за собой, – и ты увидишь, что

Страшно за ношу ему и за спутника страшно...

Знай, ты достиг спокойствия, если никакой крик до тебя не доносится, если тебя ничей голос – ни зазывный, ни угрожающий, ни впустую нарушающий тишину – не выведет из себя. – (15) «Как так? Но разве не лучше иногда побыть вдали от шума?» – Признаюсь, ты прав. И я переберусь с этого места: ведь я хотел только испытать себя и закалиться. Какая мне надобность мучиться дольше, если Улисс давно нашел простое средство, и оно спасло его спутников даже от сирен? Будь здоров.

Письмо LVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Когда мне понадобилось вернуться из Бай в Неаполь, я легко поверил, что на море буря, – лишь бы снова не пытать судьбу на корабле. Однако по дороге оказалось столько грязи, что поездка эта была все равно как плаванье. В тот день я вытерпел все, что назначено терпеть атлетам: после умащения нас осыпала пыль неаполитанского склепа[2]. (2) Нет ничего длиннее этого застенка и ничего темнее факелов в нем, которые позволяют не что-нибудь видеть во мраке, а видеть самый мрак. Впрочем, даже будь там светло, пыль застила бы свет. Она и под открытым небом неприятна и тягостна; что же говорить о месте, где она клубится сама в себе и, запертая без малейшей отдушины, садится на тех, кто ее поднял. Так пришлось нам терпеть две несовместимые неприятности зараз: на одной дороге, в один день мы страдали и от грязи, и от пыли.

(3) Однако и эта темнота дала мне повод для размышлений: я почувствовал в душе некую перемену – не страх, но подавленность, вызванную новизной непривычного места и его гнусностью. Я не говорю о себе – ведь мне далеко до людей терпеливых, а до совершенных и подавно, – но и у того, над кем фортуна потеряла власть, душа тут заболит и лицо побледнеет. (4) Есть вещи, Луцилий, от которых ничьей добродетели не уйти[3]: ими природа напоминает о неизбежности смерти. Каждый нахмурится при виде грустного зрелища, каждый вздрогнет от неожиданности, у каждого потемнеет в глазах, если он, стоя у края бездны, взглянет в ее глубину. Это – не страх, а естественное чувство, неподвластное разуму. (5) Так храбрецы, готовые пролить свою кровь, не могут смотреть на чужую, так некоторые падают без чувств, если взглянут на свежую или старую, загноившуюся рану либо прикоснутся к ней, а другие легче вынесут удар меча, чем его вид. (6) И я почувствовал, повторяю, если не смятенье, то перемену в душе; зато, снова увидав первый проблеск света, я ощутил, как она воспрянула без моего ведома и принужденья. Потом я принялся сам с собою рассуждать, как глупо одного бояться больше, другого меньше, хотя исход всюду один. В самом деле, какая разница, рухнет ли на тебя будка или гора? Никакой! И все же иные больше боятся обвала горы, хоть и то и другое одинаково смертоносно. Вот до чего слеп страх: он видит не исход, а только орудия.

(7) Ты, верно, думаешь, что я говорю как стоики, которые полагают, будто душа человека, раздавленного большой тяжестью, не может уцелеть, но немедля рассеивается, не имея свободного выхода? – Нет! И мне кажется, что утверждающие это заблуждаются. (8) Как нельзя придавить пламя (оно обтекает любой гнет и вырывается наружу), как невозможно рассечь ударом или пронзить острием воздух, ибо он, поддавшись, сразу же сливается снова, так и душу, которая со-

стоит из тончайшего вещества, нельзя удержать и придавить в теле: благодаря этой тонкости она прорывается сквозь все, что бы ни навалилось сверху. Как молнии, даже когда она широко сотрясает и озаряет все вокруг, открыт выход через самую узкую щелку, так и душе, чье вещество тоньше огненного, по всему телу свободен путь к бегству. (9) Вопрос только в том, может ли она остаться бессмертной. Но в этом даже не сомневайся; если она пережила тело, то никоим образом погибнуть не может – по той самой причине, по которой не погибает никогда, ибо нет бессмертия с каким-нибудь исключением, и тому, что вечно, невозможно повредить. Будь здоров.

Письмо LVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Вчера я, как никогда прежде, понял всю бедность и даже скудость нашего языка. Случайно заговорив о Платоне, мы натолкнулись на бессчетное множество таких предметов, которые нуждаются в именах и не имеют их или таких, что имели имя, но потеряли его из-за нашей привередливости. Но терпима ли привередливость при такой бедности? (2) Насекомое, у греков называемое оГотрое, преследующее скот и разгоняющее его по всему урочищу, наши называли «оводом». В этом поверь хотя бы Вергилию:

> Возле Силарских лесов и Альбурна, где падубов рощи,
> Есть – и много его – насекомое с римским названием
> Овод – а греки его называют по-своему «оистрос».
> Жалит и резко жужжит; испуганный гудом, по лесу
> Весь разбегается скот.[1]

Я думаю, понятно, что слово это исчезло. (3) Или, чтобы тебе не ждать долго, вот еще: раньше употреблялись простые слова – например, говорили «решить спор железом». Доказательство даст тот же Вергилий:

> Сам Латин дивится, увидев
> Вместе могучих мужей, что родились в разных пределах
> Мира и встретились здесь, чтобы спор их решило железо [2]

А теперь мы говорим «разрешить спор», простое слово вышло из употребленья. (4) В старину говорили «велю» вместо «повелю» – тут поверь не мне, а надежному свидетелю Вергилию:

> Вы же, куда я велю, за мною следуйте в битву.[3]

(5) Я так усердно этим занимаюсь не затем, чтобы показать, как много времени потерял я у грамматика, но чтобы ты понял, как много слов из Энния и Акция оказались в забвенье, если позабыты даже некоторые слова из того, кого мы ежедневно берем в руки [4].

(6) Ты спросишь, для чего такое долгое предисловие, куда оно метит. Не скрою: я хочу, чтобы ты, если это возможно, благосклонно услышал от меня слово «бытие». А если нет, я скажу так же, несмотря на твой гнев. За меня – Цицерон[5], создатель этого слова, поручитель, по-моему, вполне состоятельный; если же ты потребуешь кого поновее, я назову Фабиана, чье изящное красноречие блистательно даже на наш привередливый вкус. Что же делать, Луцилий? Как передать понятие усия, столь необходимое, охватывающее всю природу и лежащее[6] в основе всего? Поэтому позволь мне, прошу тебя, употреблять это слово, а я постараюсь как можно бережливее пользоваться данным мне правом и, может быть, даже довольствуюсь тем, что имею его. (7) Много ли мне будет пользы от твоей уступчивости, если я все равно не смогу перевести на латинский то, из-за чего я и упрекал наш язык? Ты еще строже осудил бы римскую скудость, если бы знал то слово в один слог, которое я не могу заменить. Ты спросишь, какое. – То он. Наверно, я кажусь тебе тупоумным: ведь ясно, как на ладони, что можно перевести его «то, что

есть». Но я усматриваю тут большое различие: вместо имени мне приходится ставить глагол. (8) Но раз уж необходимо, поставлю «то, что есть».

Наш друг, человек обширнейших познаний, говорил сегодня, что у Платона это сказано в шести значениях. Я перечислю тебе все, но раньше объясню вот что: есть род, а есть и вид. Теперь поищем самый первый из родов, от которого зависят все виды, с которого начинается всякое разделение, который охватывает все и вся. Мы найдем его, если начнем перебирать все в обратном порядке: так мы придем к первоначалу. (9) Человек – это вид, как говорит Аристотель, лошадь – тоже вид, и собака – вид; значит, нужно найти нечто общее между ними всеми, что их охватывает и заключает в себе. Что же это? Животное. Значит, сначала родом для всего названного мною – для человека, лошади, собаки – будет «животное». (10) Но есть нечто, имеющее душу, но к животным не принадлежащее: ведь мы согласны, что у растений, у деревьев есть душа, коль скоро говорим, что они живут и умирают. Значит, более высокое место займет понятие «одушевленные», потому что в него входят и животные, и растения. Но есть предметы, лишенные души, например камни; выходит, есть нечто более древнее, нежели «одушевленные», а именно тело. Если я буду делить это понятие, то скажу, что все тела либо одушевленные, либо неодушевленные. (11) Но есть нечто, стоящее выше, чем тело: ведь об одном мы говорим, что оно телесно, о другом – что лишено тела. Что же разделяется на эти два разряда? Его-то мы и назвали сейчас неудачным именем «то, что есть». Оно и делится на виды, о нем мы и говорим: «То, что есть, либо телесно, либо лишено тела». (12) Это и есть первый и древнейший из родов, самый, так сказать, всеобщий; все остальные, хоть и остаются родами, причастны и видам. Человек – тоже род; в нем содержатся виды: и народы (греки, римляне, парфяне), и цвета кожи (белые, черные, желтые), и отдельные люди (Катон, Цицерон, Лукреций). Поскольку это понятие охватывает многое, оно относится к числу родов; поскольку стоит ниже других – к числу видов. Всеобщий род – «то, что есть» – ничего выше себя не имеет. Он – начало вещей, в нем – все.

(13) Стоики хотят поставить над ним еще один род, более изначальный; я скоро скажу о нем, но прежде объясню, что тот род, о котором я раньше говорил, по праву признается первым, коль скоро он охватывает все предметы. (14) «То, что есть» я делю на два вида: телесное и бестелесное, а третьего нет. Как разделить тела? Они бывают либо одушевленные, либо неодушевленные. Опять-таки, как мне разделить одушевленные предметы? Одни из них имеют дух, другие – только душу, или так: одни из них – самодвижущиеся, они ходят и меняют место, другие прикреплены к почве и растут, питаясь через корни. На какие же виды мне расчленить животных? Они либо смертны, либо бессмертны. (15) Некоторые стоики полагают, будто самый первый род – «нечто». Почему они так полагают, я сейчас скажу. По их словам, в природе одно существует, другое не существует. Природа включает в себя и то, чего нет, что лишь представляется нашему духу; так, кентавры, гиганты и прочее, будучи создано ложной мыслью, обретает образ, хоть и не имеет истинной сущности.

(16) А теперь я вернусь к тому, что тебе обещано, и скажу, как Платон распределяет на шесть разрядов все, что только существует. Первое – это «то, что есть», не постигаемое ни зрением, ни осязанием, ни одним из чувств, но только мыслимое. Что существует вообще – например «человек вообще», – не попадается нам на глаза, а попадается только человек как вид – Катон или Цицерон. И «животное» мы не видим, а только мыслим о нем, а доступны зрению его виды: лошадь, собака.

(17) На второе место из того, что есть, Платон ставит все выдающееся и возвышающееся над прочим. Это и значит, по его словам, «быть» по преимуществу. Так, мы говорим «поэт», без различия прилагая это слово ко всем стихотворцам; но уже у греков оно стало обозначением одного из них. Услышав просто «поэт», ты поймешь, что имеется в виду Гомер. Что же это? Бог, разумеется, – самый великий и могущественный из всего.

(18) Третий род – это то, что истинно существует, в неисчислимом множестве, но за пределами нашего зрения. – Ты спросишь, что это. – Плато-нова утварь: идеи, как он их именует, из которых возникает все видимое нами и по образцу которых все принимает облик. (19) Они бессмертны, неизменны и нерушимы. Слушай, что такое идея, то есть что она такое по мнению Платона: «Идея – вечный образец всего, что производит природа». А я прибавлю к этому определенью истолкование, чтобы тебе было понятнее. Я хочу сделать твой портрет; образцом моей

картины будешь ты сам, из тебя мой дух извлекает некие черты и потом переносит их в свое творение. Твое лицо, которое учит меня и наставляет, которому я стремлюсь подражать, и будет идеей. В природе есть бесконечное множество таких образцов – для людей, для рыб, для деревьев: с них-то и воспроизводится все, что должно в ней возникнуть. (20) На четвертом месте стоит ei5os. Слушай внимательно, что такое elSoe, и в том, что это вещь непростая, обвиняй не меня, а Платона; впрочем, простых тонкостей и не бывает. Только что я приводил для сравнения живописца; если он хотел изобразить красками Вергилия, то глядел на самого поэта; идеей было лицо Вергилия – образец будущего произведения; a_ то, что извлек из него художник и перенес в свое произведение, есть eiSo;. (21) Ты спросишь, какая между ними разница? Идея – это образец, а e18o; – это облик, взятый с него и перенесенный в произведение. Идее художник подражает, si3o; создает. У статуи такое-то лицо: это и будет e15oc. Такое лицо и у образца, на который глядел ваятель, создавая статую: это – идея. Ты хочешь, чтобы я привел еще одно различие? ElSoe – в самом произведении, идея – вне его, и не только вне его, но и предшествует ему. (22) Пятый род – это то, что существует вообще; он уже имеет к нам отношение, в него входит все: люди, животные, предметы..Шестым будет род вещей, которые как бы существуют, как, например, пустота, как время.

Все, что мы видим и осязаем, Платон не относит к числу вещей, истинно существующих. Ведь они текут и непрестанно прибывают или убывают. Никто не остается в старости тем же, кем был в юности, завтра никто не будет тем, кем был вчера. Наши тела уносятся наподобие рек; все, что ты видишь, уходит вместе со временем, ничто из видимого нами не пребывает неподвижно. Я сам изменяюсь, пока рассуждаю об изменении всех вещей. (23) Об этом и говорит Гераклит: «Мы и входим, и не входим дважды в один и тот же поток». Имя потока остается, а вода уже утекла. Река – пример более наглядный, нежели человек, однако и нас уносит не менее быстрое течение, и я удивляюсь нашему безумию, вспоминая, до чего мы любим тело самую быстротечную из вещей, и боимся однажды умереть, меж тем как каждый миг – это смерть нашего прежнего состояния. Так не надо тебе бояться, как бы однажды не случилось то, что происходит ежедневно. (24) Я говорил о человеке, существе нестойком и непрочном, подверженном любой порче; но даже мир, вечный и непобедимый, меняется и не остается одним и тем же. Хоть в нем и пребывает все, что было прежде, но иначе, чем прежде: порядок вещей меняется.

(25) Ты скажешь: «Какая мне польза от этих тонкостей?» – Если спросишь меня, то никакой. Но как резчик опускает и отводит на что-нибудь приятное утомленные долгим напряжением глаза, так и мы должны порой дать отдых душе и подкрепить ее каким-нибудь удовольствием. Однако пусть и удовольствие будет делом; тогда и из него ты, если присмотришься, извлечешь что-нибудь целительное. (26) Так и привык я поступать, Луцилий: из всякого знания7, как бы далеко ни было оно от философии, я стараюсь что-нибудь добыть и обратить себе на пользу. Что мне все, о чем мы рассуждали, если оно никак не связано с исправлением нравов? Как Платоновы идеи могут сделать меня лучше? Можно ли извлечь из них что-нибудь для обуздания моих желаний? Да хотя бы вот что: все вещи, которые, как рабы, служат нашим чувствам, которые нас распаляют и подстрекают, Платон не считает истинно существующими. (27) Значит, все вещи – воображаемые, лишь на короткий срок принявшие некое обличье; ни одна из них не прочна и не долговечна. А мы желаем их так, словно они будут при нас всегда или мы всегда будем владеть ими. Беспомощные и слабые, мы находимся среди вещей пустых и мнимых[8]; так направим свой дух к тому, что вечно, а свой взгляд – на витающие в высоте образы всех предметов и на пребывающего среди них бога, помышляющего о том, как бы защитить от смерти все, что из-за сопротивления материи не удалось ему сделать бессмертным, и победить разумом пороки тела! (28) Ведь все остается не потому, что оно вечно, а потому что защищено заботой властителя. Бессмертному опекун не нужен, а остальное охраняет творец, одолевая своей силой хрупкость материи. Будем же презирать все настолько лишенное цены, что приходится сомневаться, существует ли оно вообще. (29) И подумаем вот о чем: коль скоро провидение обороняет от опасностей мир, смертный, как и мы, то и наше провидение может хоть немного удлинить срок этому ничтожному телу, если мы научимся обуздывать и подчинять себе наслаждения – главную причину нашей гибели. (30) Сам Платон своими стараньями продлил себе жизнь до старости. Ему

досталось тело крепкое и здоровое, даже своим именем он обязан ширине плеч9; но странствия по морю и опасности отняли у него много сил, и только воздержность, соблюдение меры во всем, что будит алчность, и тщательная забота о себе помогли ему, вопреки всем препятствиям, дожить до старости. (31) Я думаю, ты знаешь это: благодаря таким стараниям Платон и достиг того, что умер в день, когда ему исполнился ровно восемьдесят один год. Поэтому маги 10, как раз тогда оказавшиеся в Афинах, принесли усопшему жертву, веря, что жребий его выше человеческого, ибо он прожил девятью девять лет, – а это число совершенное. Но я не сомневаюсь, что он охотно отдал бы несколько дней из этого срока вместе с жертвоприношением. (32) Умеренность может продлить старость, хотя по-моему не нужно к ней ни стремиться, ни отказываться от нее. Приятно пробыть с собою как можно дольше, если ты сумел стать достойным того, чтобы твоим обществом наслаждались. Итак, нам надо вынести решение, следует ли, гнушаясь последними годами старости, не дожидаться конца, а положить его собственной рукой. Тот, кто в бездействии ждет судьбы, мало чем отличается от боязливого, – как сверх меры привержен вину тот, кто осушает кувшин до дна, вместе с отстоем. (33) Но посмотрим, что такое конец жизни – ее отстой или нечто самое чистое и прозрачное, – если только ум не пострадал, и чувства, сохранившиеся в целости, помогают душе, и тело не лишилось сил и не умерло до смерти. Ведь все дело в том, что продлевать – жизнь или смерть. (34) Но если тело не годится для своей службы, то почему бы не вывести на волю измученную душу? И может быть, это следует сделать немного раньше должного, чтобы в должный срок не оказаться бессильным это сделать. И поскольку жалкая жизнь куда страшнее скорой смерти, глуп тот, кто не отказывается от короткой отсрочки, чтобы этой ценой откупиться от большой опасности. Лишь немногих долгая старость привела к смерти, не доставив страданий, но многим их бездеятельная жизнь как бы даже и не пригодилась. Что ж по-твоему, более жестокая участь – потерять кусочек жизни, которая и так кончится?

(35) Не надо слушать меня против воли, словно мой приговор касается и тебя, но все же взвесь мои слова. Я не покину старости, если она мне сохранит меня в целости – сохранит лучшую мою часть; а если она поколеблет ум, если будет отнимать его по частям, если оставит мне не жизнь, а душу, – я выброшусь вон из трухлявого, готового рухнуть строения. (36) Я не стану бежать в смерть от болезни, лишь бы она была излечима и не затрагивала души; я не наложу на себя руки от боли, ведь умереть так – значит, сдаться. Но если я буду знать, что придется терпеть ее постоянно, я уйду, не из-за самой боли, а из-за того, что она будет мешать всему, ради чего мы живем. Слаб и труслив тот, кто умирает из-за боли; глуп тот, кто живет из страха боли.

Но я слишком многоречив, да и сам этот предмет таков, что можно рассуждать о нем весь день. Как может вовремя кончить жизнь тот, кто не может кончить письмо? Будь здоров! Эти слова ты прочтешь охотнее, чем читал все про смерть да про смерть. Будь здоров.

Письмо LIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Твое письмо доставило мне великое наслаждение (позволь мне употребить слова общепринятые и не приписывай им смысла, какой имеют они у стоиков). Мы считаем наслажденье пороком. Пусть так, но слово это мы ставим, и чтобы обозначить испытываемое душою веселье. (2) Я знаю, что, если сообразовать слова с нашими указами, наслажденье есть нечто постыдное, а радость – удел одних лишь мудрецов: ведь она есть некая приподнятость души, верящей в собственные и подлинные блага[1]. Однако в повседневной речи мы говорим: нам доставило большую радость и то, что такой-то избран консулом, и то, что жена родила, и чья-то свадьба, хотя все это никакая не радость, а нередко даже начало будущей скорби. У радости же один непременный признак: она не может ни прекратиться, ни обернуться своей противоположностью. (3) Поэтому, когда наш Вергилий говорит: «И злые радости духа»[2], то слова эти красноречивы, но не очень точны: ведь радости не бывают злыми. К наслаждениям приложил он это имя и так выразил все, что хотел, имея в виду людей, довольных тем, что для них зло. (4) И все же я не напрасно сказал, что твое письмо доставило мне наслаждение; ведь если невежда радуется и по

какой-либо достойной причине, его чувство, не подвластное ему самому и готовое перейти в нечто иное, я называю наслаждением, родившимся из ложного мнения о благе, не знающим ни удержу, ни меры.

Но вернусь к тому, с чего я начал. Послушай, чем порадовало меня твое письмо. Слова подчиняются тебе, речь не заносит тебя ввысь и не увлекает дальше, чем ты был намерен. (5) Многих красота какого-нибудь полюбившегося слова уводит к тому, о чем они писать не собирались; с тобою такого не бывает: все у тебя сжато, все по делу. Ты говоришь столько, сколько хочешь, и смысла в сказанном больше, чем слов. Это – признак чего-то большого: души, в которой также нет ничего лишнего, ничего напыщенного. (6) Нахожу я и переносные выражения, не настолько дерзкие[3], чтобы нельзя было на них отважиться. Нахожу и образы, которыми нам порой запрещают пользоваться, полагая их дозволенными только поэтам, – запрещают те, кто, по-моему, не читал никого из древних, не произносивших речей ради рукоплесканий. У них, говоривших просто, старавшихся только разъяснить дело, полным-полно иносказаний, которые кажутся мне необходимыми не по той причине, по какой нужны они поэтам, но чтобы служить опорами нашей слабости, чтобы ученика или слушателя ввести в суть дела.

(7) Вот я прилежно читаю Секстия[4]; философ великого ума, он писал по-гречески, мыслил по-римски. Один образ у него меня взволновал. Там, где врага можно ждать со всех сторон, войско идет квадратным строем, готовое к бою. Так же, говорит он, следует поступать и мудрецу: он должен развернуть во все стороны строй своих добродетелей, чтобы оборона была наготове, откуда бы ни возникла опасность, и караулы без малейшей суматохи повиновались бы каждому знаку начальника. Мы видим, как в войсках, если во главе их великий полководец, приказ вождя слышат сразу все отряды, расставленные так, чтобы сигнал, поданный одним человеком, сразу обошел и пехоту, и конницу; то же самое, говорит Секстий, еще нужнее нам. (8) Ведь солдаты часто боятся врага без причины, и дорога, что кажется самой опасной, оказывается самой надежной. Для глупости нигде нет покоя: и сверху, и снизу подстерегает ее страх, все, что справа и слева, повергает ее в трепет, опасности гонятся за ней и мчатся ей навстречу; все ей ужасно, она ни к чему не готова и пугается даже подмоги. А мудрец защищен от любого набега вниманьем: пусть нападает на него хоть бедность, хоть горе, хоть бесславье, хоть боль – он не отступит, но смело пойдет им навстречу и пройдет сквозь их строй. (9) Многое связывает нам руки, многое нас ослабляет; мы давно погрязли в пороках, и отмыться нелегко: ведь мы не только испачканы, но и заражены.

Чтобы нам не скакать от образа к образу, я разберусь в том, о чем часто размышляю про себя: почему глупость держит нас так упорно? Во-первых, потому, что мы даем ей отпор робко и не пробиваемся изо всех сил к здоровью; во-вторых, мы мало верим найденному мудрыми мужами, не воспринимаем его с открытым сердцем и лишены в таком важном деле упорства. (10) Как добыть довольно знаний для борьбы с пороками тому, кто учится лишь в часы, не отданные порокам? Никто из нас не погрузился в глубину, мы срывали только верхушки и, занятые, считали, что с избытком довольно уделять философии самое ничтожное время. (11) А больше всего мешает то, что мы слишком скоро начинаем нравиться самим себе. Стоит нам найти таких, кто назовет нас людьми добра, разумными и праведными, – и мы соглашаемся с ними. Нам мало умеренных похвал: мы принимаем как должное все, что приписывает нам бесстыдная лесть; мы киваем тем, кто утверждает, будто мы лучше всех, мудрее всех, хотя и знаем их за лжецов. Мы так к себе снисходительны, что хотим похвал за то, вопреки чему поступаем. Обрекающий на пытки слушает речи о своей кротости, грабящий чужое – о своей щедрости, предающийся пьянству и похоти – о своей воздержности. (12) Александр, когда расхаживал уже по Индии, разоряя войной племена, о которых и соседи мало что знали, при осаде какого-то города объезжал стены, чтобы высмотреть слабые места, и при этом был ранен стрелой, однако остался в седле и продолжал начатое. Потом, когда кровь остановилась, сухая рана стала болеть сильней, а голень, свешивавшаяся с коня, постепенно опухла, он вынужден был отступиться и сказал: «Все клянутся, будто я сын Юпитера, но это рана всем разглашает, что я человек». (13) Будем и мы поступать так же. Хотя лесть всех делает дураками, каждого в свою меру, скажем и мы: «Вы называете меня разумным, а я сам вижу, сколько бесполезных вещей желаю, как много вредного хочу; я не понимаю даже того, что животным указывает насыщенье, – меры в еде и в питье, и не ведаю,

сколько могу вместить».

(14) Я научу тебя, как узнать, что ты еще не стал мудрым. Мудрец полон радости, весел и непоколебимо безмятежен; он живет наравне с богами. А теперь погляди на себя. Если ты не бываешь печален, если никакая надежда не будоражит твою душу ожиданием будущего, если днем и ночью состоянье твоего духа, бодрого и довольного собою, одинаково и неизменно, значит, ты достиг высшего блага, доступного человеку. Но если ты стремишься отовсюду получать всяческие удовольствия, то знай, что тебе так же далеко до мудрости, как до радости. Ты мечтаешь достичь их, но заблуждаешься, надеясь прийти к ним через богатство, через почести, словом, ища радости среди сплошных тревог. К чему ты стремишься, словно к источникам веселья и наслажденья, в том – причина страданий. (15) Я повторяю, радость – цель для всех, но где отыскать великую и непреходящую радость, люди не знают. Один ищет ее в пирушках и роскоши, другой – в честолюбии, в толпящихся вокруг клиентах, третий – в любовницах, тот – в свободных науках, тщеславно выставляемых напоказ, в словесности, ничего не исцеляющей. Всех их разочаровывают обманчивые и недолгие услады, вроде опьянения, когда за веселое безумие на час платят долгим похмельем, как рукоплесканья и крики восхищенной толпы, которые и покупаются, и искупаются ценой больших тревог. (16) Так пойми же, что дается мудростью: неизменная радость. Душа мудреца – как надлунный мир, где всегда безоблачно. Значит, есть ради чего стремиться к мудрости: ведь мудрец без радости не бывает. А рождается такая радость лишь из сознания добродетелей. (17) Радоваться может только мужественный, только справедливый, только умеренный. – «Что же, – спросишь ты, – разве глупые и злые не радуются?» Не больше, чем львы, дорвавшись до добычи. Когда они изнурят себя вином и блудом, когда ночь промчится в попойке, когда от насильственных наслаждений, которые не способно вместить хилое тело, пойдут нарывы, тогда несчастные воскликнут словами Вергилия:

> Как последнюю ночь провели мы в радостях мнимых,
> Знаешь ты сам.[5]

(18) Любители роскоши каждую ночь, – как будто она последняя, – проводят в мнимых радостях. А та радость, что достается богам и сопер никам богов, не прерывается, не иссякает. Она бы иссякла, будь она заемной, но, не будучи чужим подарком, она не подвластна и чужому произволу. Что не дано фортуной, того ей не отнять. Будь здоров.

Письмо LX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я жалуюсь, ссорюсь, сержусь. И теперь ты желаешь того же,. чего желала тебе кормилица, или дядька, или мать? До сих пор ты н& понял, сколько зла они тебе желали? Да, мольбы близких для нас – все равно что мольбы врагов! И тем они опасней, чем счастливей сбываются. Я не удивляюсь тому, что все дурное преследует нас с малых лет: ведь мы выросли среди родительских проклятий. Пусть боги услышат и нашу бескорыстную мольбу за себя. (2) До каких пор мы будем чего-нибудь требовать от богов, словно не можем еще сами себя прокормить? До каких пор будем засевать для себя столько полей, сколько впору большим городам? До каких пор целый народ будет снимать для нас урожай? До каких пор ради одного накрытого стола будут приплывать бессчетные корабли из разных морей? Несколько югеров[1] пастбища досыта кормят быка, один лес питает стадо слонов, – человек собирает пищу и с суши, и с моря. (3) Что же? Неужели природа, дав нам такое небольшое тело, наделила нас ненасытной утробой, так что мы побеждаем алчностью самых огромных и прожорливых зверей? Ничуть нет! Много ли воздается природе? Она довольствуется малым! Нам дорого обходится не голод, а тщеславие. Тех, кто, по словам Саллюстия [2], подчиняется желудку, мы должны причислить не к людям, а к животным, а некоторых даже не к животным, но к мертвецам. Жив тот, кто многим приносит пользу; жив тот, кто сам себе полезен. А кто прячется и коснеет в неподвижности, для того дом – словно гроб. Можешь хоть начертать у порога его имя на мраморе: ведь они умерли раньше смерти.

Будь здоров.

Письмо LXI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Не будем больше желать того, чего желали. Я, старик, стараюсь,. чтобы даже не казалось, будто желания у меня те же, что в отрочестве. На это идут мои дни, мои ночи, это – мой труд, мой помысел: положить конец былому злу. Я стараюсь, чтобы каждый день был подобием целой жизни. Я не ловлю его, словно он последний, но смотрю на него так, что,. пожалуй, он может быть и последним. (2) И это письмо я пишу тебе с таким настроением, будто смерть в любой миг может оторвать меня от писания. Я готов уйти и потому радуюсь жизни, что не слишком беспокоюсь, долго ли еще проживу. Пока не пришла старость, я заботился о том, чтобы хорошо жить, в старости – чтобы хорошо умереть; а хорошо умереть – значит, умереть с охотой. Старайся ничего не делать против воли! (3) Все предстоящее предстоит по необходимости тому, кто сопротивляется; в ком есть охота, для того необходимости нет. Я утверждаю: кто добровольно исполняет повеленье, тот избавлен от горчайшего в рабской доле: делать, чего не хочется. Несчастен не тот, кто делает по приказу, а тот, кто делает против воли. Научим же нашу душу хотеть того, чего требуют обстоятельства; и прежде всего будем без печали думать о своей кончине. (4) Нужно подготовить себя к смерти прежде, чем к жизни. У жизни всего есть вдоволь, но мы жадны к тому, что ее поддерживает: нам кажется и всегда будет казаться, будто чего-то не хватает. Довольно ли мы прожили, определяют не дни, не годы, а наши души. Я прожил, сколько нужно, милый мой Луцилий, и жду смерти сытый. Будь здоров.

Письмо LXII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Лгут те, кто хочет показать, будто куча дел не оставляет им времени для свободных наук. Такие притворяются занятыми, множат дела и сами у себя отнимают дни. А я свободен, Луцилий, свободен и принадлежу себе везде, где бы ни был. Делам я себя не отдаю, а уступаю на время и не ищу поводов тратить его впустую. В каком бы месте я ни остановился, я продолжаю свои раздумья и размышляю в душе о чем-нибудь спасительном для нее. (2) Предав себя друзьям, я не покидаю себя самого и подолгу остаюсь не с теми, с кем свели меня время или гражданские обязанности, а лишь с самыми лучшими: к ним я уношусь душой, в каком бы месте, в каком бы веке они не жили. (3) Повсюду при мне Деметрий[1], лучший из людей, и, удалившись от блещущих пурпуром, я беседую с ним, полуодетым, и им восхищаюсь. И как им не восхищаться? Я вижу, что он ни в чем не чувствует недостатка. Некоторые могут все презреть, все иметь никто не может. Кратчайший путь к богатству – через презрение к богатству. А наш Деметрий живет не так. будто он все презрел, а так, будто все уступил во владение другим. Будь здоров.

Письмо LXIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты тяжело переживаешь кончину твоего друга Флакка; но я не хотел бы, чтобы ты горевал сверх меры. Чтобы ты совсем не горевал, я навряд ли решусь потребовать, хоть и знаю, что это лучше. Но разве досталась в удел такая твердость духа кому-нибудь, кроме тех, кто уже стал много выше фортуны? И его такая вещь затронула бы, но только затронула. А нам можно простить и невольные слезы, если они были не слишком обильны, если мы сами их подавили. Пусть при утрате друга глаза не будут сухими и не струят потоков: можно прослезиться – плакать нельзя. (2) Суровый, по-твоему, закон налагаю я на тебя? Но ведь и величайший из греческих

поэтов[1] дал право лить слезы всего один день, ведь он сказал: «Даже Ниоба думала о пище».

Ты спросишь, откуда берутся стенанья, откуда безудержный плач? Мы ищем в слезах доказательства нашей тоски и не подчиняемся скорби, а выставляем ее напоказ. Никто не печалится сам для себя. Злосчастная глупость! И в скорби есть доля тщеславия! (3) – «Так что же, – спросишь ты, – неужели я забуду друга?» – Недолгую память обещаешь ты ему, если она минет вместе со скорбью! Скоро любой повод разгладит морщины у тебя на лбу и вызовет смех – я не говорю уже о более долгом времени, которое смягчает всякую тоску, утишает самое жгучее горе. Едва ты перестанешь следить за собой, как личина скорби спадет; ты сам сторожишь свое горе, но оно ускользает из-под стражи и иссякает тем раньше, чем было острее. (4) Постараемся же, чтобы память об утраченных была нам отрадна. Никто по доброй воле не возвращается мыслью к тому, о чем нельзя подумать без муки. Но пусть это неизбежно, пусть, встретив имя тех, кого мы любили и потеряли, мы чувствуем укол боли – в самой этой боли есть некая радость. (5) Ведь недаром наш Аттал повторял: «Воспоминанье об умерших друзьях приятно нам так же, как терпкость в некоторых плодах, как очень старое вино, которое тем и вкусно, что горчит: ведь за отдаленностью времени гаснет все, что нас мучило, и доходит до нас лишь чистая радость». (6) Если верить ему, то «думать о живых друзьях – все равно что есть мед и печенье, воспоминание о тех, что были, приятно не без горечи. Кто, однако, станет отрицать, что и горькое, и не лишенное остроты возбуждает желудок?» (7) Я, впрочем, чувствую иное, для меня думать об умерших друзьях отрадно и сладко. Когда они были со мной, я знал, что их утрачу, когда я их утратил, я знаю, что они были со мной.

Делай же, мой Луцилий, так, как подобает твоей невозмутимости, перестань дурно истолковывать милость фортуны. То, что ею отнято, она прежде дала! (8) Так будем жадно наслаждаться обществом друзей – ведь неизвестно, долго ли еще оно будет нам доступно. Подумаем о том, как часто мы оставляли их, отправляясь в долгое странствие, как часто, живя в одном месте, не виделись с ними, – и мы поймем, что больше вре мени было упущено при их жизни. (9) А стерпишь ли ты таких, кто пренебрегал друзьями, а теперь горше всех рыдает, кто не любит их, пока не утратит? Они потому и скорбят так безудержно, что боятся, как бы кто не усомнился в их любви, и ищут поздних доказательств своего чувства. (10) Если у нас есть еще друзья, то мы плохо к ним относимся и нс ценим их, коль скоро они не могут утешить нас, заменив одного погребенного; если же он был единственным нашим другом, то не фортуна перед нами виновата, а мы сами: она отняла у нас одного, а мы ни одного не добыли. (11) И потом, кто не мог любить больше, чем одного, тот и одного не слишком любил. Если с кого снимут единственную тунику, а он примется оплакивать себя, вместо того чтобы позаботиться о том, как бы избежать холода и чем-нибудь прикрыть тело, – разве ты не счел бы такого глупцом? Ты схоронил, кого любил; ищи, кого полюбить! Лучше добыть нового друга, чем плакать. (12) То, что я хочу прибавить, избито, я знаю, но все же не откажусь повторить только из-за того, что так говорят все. Если скорби не прекратит разум, ей положит конец время; однако для разумного человека утомление скорбью – позорнейшее лекарство от скорби. Так что уж лучше сам оставь скорбь, раньше чем она тебя оставит, и поскорей перестань делать то, чего при всем желании не сможешь делать долго. (13) Предки установили для женщин один год скорби – не затем, чтобы они скорбели так долго, но чтобы не скорбели дольше; для мужчин нет законного срока, ибо всякий срок для них постыден. Впрочем, можешь ли ты назвать мне хоть одну бабу из тех, которых только что оттащили от костра, оторвали от трупа, которая лила бы слезы целый месяц? Ничто не становится ненавистно так быстро, как горе; недавнее находит утешителя и некоторых привлекает к себе, застарелое вызывает насмешки. И не зря: ведь оно или притворно, или глупо. (14) И это пишу тебе я – я, так безудержно плакавший по дорогом мне Аннее Серене[2], что меня (вот уж чего я не хотел!) можно привести в пример как человека, побежденного горем. Теперь я осуждаю себя за это и понимаю, что было главной причиной такого горя: я никогда не думал, что он может умереть раньше меня. Только одно было у меня перед глазами: он младше меня, и младше намного, – как будто судьба соблюдает черед! (15) Нам надо постоянно думать о том, что смертны и мы, и любимые нами. И мне следовало тогда сказать себе: «Мой Серен младше, – но при чем тут это? Он должен умереть позже меня, но может и раньше». Я этого не сделал^ и удар фортуны застиг меня врасплох. Теперь я думаю так: все смертны, и для смерти нет закона. Что

может случиться всякий день, может случиться и сегодня. Так будем, мой Луцилий, помнить о том, что скоро сами отправимся туда, куда отправились оплаканные нами. И быть может, – если правдивы разговоры мудрецов и нас ждет некое общее для всех место, – те, кого мним мы исчезнувшими, только ушли вперед. Будь здоров.

Письмо LXIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Вчера ты был с нами. Ты вправе посетовать, что только вчера, но я потому и написал «с нами» – ведь со мною ты постоянно. Ко мне зашли друзья, из-за них сильнее пошел дым – не такой, что валит обычно из кухонь наших кутил, пугая караульных, а не слишком густой и только подающий знак, что пришли гости. (2) Речь шла у нас о многих вещах, но, как бывает на пиру, мы ни об одной не говорили исчерпывающе, а перескакивали с предмета на предмет. Потом читали книгу Квинта Секстия-отца, великого, поверь мне, человека и, хоть он это и отрицает, стоика. (3) О боги великие, сколько в нем силы, сколько мужества! Такое найдешь не у всякого философа. Сочинения иных ничем не блещут, кроме имени, а все остальное в них бескровно. Они наставляют, спорят, мудрствуют – только не укрепляют нас мужеством, которого у них самих нет. А прочтешь Секстия – скажешь: «Он жив, силен, свободен, он стал больше чем человеком, от него я ухожу с великой верой». (4) Признаюсь тебе, в каком я бываю расположенье духа, когда прочту его: мне хочется бросить вызов любому случаю, хочется воскликнуть: «Что же ты медлишь, фортуна? Нападай! Ты видишь, я готов». Мужеством я уподобляюсь тому, кто ищет, где бы испытать себя, кто хочет показать свою доблесть, кто

Страстно молит, чтоб вдруг повстречался средь смирных животных
С пенною пастью вепрь иль чтоб лев с горы появился.[1]

(5) Мне хочется, чтобы было над чем взять верх, на чем закалить терпеливость. Ведь у Секстия замечательно еще и то, что он и показывает величье блаженной жизни, и не лишает надежды на нее. Ты узнаешь, что она хоть и высоко, но для желающего достижима. (6) Тут так же, как с самой добродетелью: ты ей дивишься – и все же надеешься. А у меня всегда много времени отнимает само созерцание мудрости: я гляжу на нее с изумлением, словно на вселенную, которую подчас вижу как будто впервые.

(7) Да, я преклоняюсь перед всем, что создала мудрость, и перед самими создателями; мне отрадно видеть в ней наследие многих, накопленное и добытое их трудом для меня. Но будем и мы поступать, как честные отцы семейства: умножим полученное, чтобы это наследье обогащенным перешло от меня к потомкам. Много дела есть и теперь, и останется всегда, и даже тот, кто родится через сто тысяч лет, не лишен будет возможности что-нибудь прибавить к завещанному. (8) Но пусть даже все открыто древними всегда будет ново и применение открытого другими, и его познание и упорядоченье. Представь, что нам достались в наследство лекарства, чтобы лечить глаза; мне уже нет нужды искать новых, следует только приспособить каждое к своей болезни и применить в срок. Вот это облегчает сухость глаз, это прогоняет опухоли с век, это предотвращает внезапные воспаления и слезотеченье, это делает зрение острее. Нужно только растереть их и выбрать время, и еще найти меру для каждого. Лекарства для души найдены древними, но наше дело отыскать, как их применять и когда. (9) Жившие раньше нас сделали много, но не все; и все же нужно взирать на них благоговейно и чтить, как богов. Почему бы мне для поощрения души не завести у себя их статуи, не праздновать дни их рождения? Почему бы мне, почета ради, не призывать их в свидетели клятвы? Ведь если я обязан чтить своих наставников, то не меньше должен чтить и наставников человечества, в которых изначальный источник великого блага. (10) Разве, увидев консула или претора, я не воздам им того почета, какой положен их почетной должности? Не сойду с коня, не обнажу голову, не уступлю дороги? Так что же, неужто я не приму в сердце с величайшим почтением и обоих Марков Катонов, и Лелия Мудрого, и Сократа с Платоном, и Зенона с Клеанфом? Ведь я перед ними преклоняюсь, их великие имена возвышают и меня самого. Будь здоров.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо LXV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Вчерашний день разделил я с болезнью: первую его половину она отняла у меня, вторую мне уступила. Сначала я попытал свою душу чтением. Она выдержала. Тогда я решился приказать ей – а верней позволить что-нибудь потяжелее: стал писать, и с большим, чем обычно, вниманием, так как не желал сдаваться в схватке с трудностью предмета. Но тут подоспели друзья и силой обуздали невоздержного больного. (2) Место дощечек заняла беседа, из которой я перескажу тебе ту часть, что вызвала спор: ведь судьей мы избрали тебя. Дела у тебя будет больше, чем ты думаешь, так как тяжущихся сторон – три.

Наши стоики, как тебе известно, утверждают: все в природе возникает из двух начал – причины и материи. Материя коснеет в неподвижности, она ко всему готова, но останется праздной, если никто не приведет ее в движенье. Причина, или же разум, ворочает материю как хочет и, придавая ей форму, лепит всяческие предметы. Ведь в каждой вещи непременно должно быть то, из чего она делается, и то, чем она делается; второе есть причина, первое – материя. (3) Любое искусство подражает природе, так что сказанное мною о мироздании можешь приложить ко всем делам рук человеческих. Вот статуя: здесь наличествует и материя, послушная художнику, и художник, придавший материи обличье. Материей в статуе была бронза, причиной – художник. То же самое присуще и всем вещам: каждая состоит из того, что ее создало, и того, из чего она создана. (4) Стоики считают, что есть одна причина – то, что создает вещи. По Аристотелю[1], говорить о причине можно трояко: «Первая причина, по его словам, это сама материя, без которой ничего нельзя создать; вторая – это сам создатель; третья это форма, которая придается каждому изделию, как статуе», – ее-то Аристотель и называет «эйдос», «А четвертая причина – это намеренье, с которым создается изделие». (5) Я поясню, что это такое. Первая причина статуи есть бронза: ведь не будь того, из чего изваяние отлито или высечено, не было бы сделано и оно само. Вторая причина – художник: без его умелых рук бронза никак не могла бы принять вида статуи. Третья причина есть форма: статуя не звалась бы «Дорифор» или «Диадумен»[2], если бы не придали ей именно этого обличья. Четвертая причина – это намеренье, с каким ее сделали: не будь его, ее бы делать не стали. (6) Что такое намеренье? То, что привлекало художника и за чем он гнался: если он работал на продажу, – это деньги, или слава, если он работал ради почета, или вера, если он готовил приношенье в храм. Значит, причина и то, ради чего делается вещь. Или, по-твоему, нет необходимости считать в числе причин сделанного дела все, без чего оно бы не делалось? (7) Платон добавляет еще одну причину: образец, именуемый у него «идеей». На него-то и оглядывается художник, чтобы создать именно то, что собирался. Неважно, будет ли этот образец вне его, но перед глазами, или внутри, зачатый и выношенный в душе. Эти образцы всех вещей заключает в себе божество, обнимающее духом и число, и вид всего того, что имеет быть созданным: оно полно теми не ведающими ни смерти, ни перемены, ни усталости обликами, которые Платон зовет идеями. Люди погибают, а сама человечность, по образцу которой создается человек, пребывает и не терпит урона от людских страданий и смертей. (8) Итак, по словам Платона, есть пять причин: то, из чего, то, кем, то, в каком виде, то, наподобие чего, то, ради чего; последнее же – это то, что из них получается. Так, в статуе (раз уж мы начали о ней говорить) то, из чего, есть бронза, то, кем, – художник, то, в каком виде, – это форма, которая ей придана, то, наподобие чего, это образец, которому подражал создатель, то, ради чего, – это его намеренье, то, что из них получается, – это сама статуя. (9) То же самое, говорит Платон, есть и у вселенной: и создатель – то есть бог, и то, из чего она создана, – то есть материя, и форма – тот облик и порядок, которые мы видим в мире, и образец – то, наподобие чего бог сотворил эту прекрасную громаду, и намеренье, с которым он ее сотворил. (10) Ты спросишь, каково было намеренье бога? Сделать добро. Именно так и говорит Платон: «какая причина создать мир была у бога? Он добр, а добрый не жалеет другим ничего благого, – вот он и сделал лучшее, что мог»[3]. Так рассуди нас и вынеси приговор, чьи слова, на твой взгляд, всего правдоподобнее, – ведь до сужденья о том, чьи слова истиннее всего, нам далеко, как до самой истины.

(11) В утверждениях Платона и Аристотеля названо либо слишком много, либо слишком

http://library.ziyonet.uz/

мало причин. Если считать причинами все, без чего нельзя сделать того-то, – названо их слишком мало. Пусть тогда причислят к причинам и время: без времени ничто не будет сделано. Пусть причислят и место: ведь если делать негде, то и невозможно делать. Пусть причислят движение: без него ничто не делается и не гибнет, без движения нет ни искусства, ни изменений. (12) Но мы-то ищем первую и об щую причину. А она должна быть простой, потому что проста материя. Что это за причина? Конечно, деятельный разум, то есть бог; а перечисленные вами – это не отдельные причины, они все зависят от одной, той, которая и действует. (13) Ты говоришь, что форма есть причина? Но ее придает изделию художник, она есть часть причины, а не причина. И образец – не причина, а необходимое орудие причины. Образец так же необходим художнику, как резец, как напильник; без них искусство не сдвинется с места, но они – и не части его, и не причины. – (14) «Намеренье художника, то, ради чего он берется что-нибудь сделать, есть причина». – Пусть причина, но не действующая, а дополнительная. Таких может быть без счета, а мм доискиваемся до общей причины. Нет, без обычной своей тонкости утверждают они, будто весь мир, как любое законченное изделие, есть причина: между изделием и его причиной – большая разница.

(15) Что же, или вынеси приговор, или (это в подобных тяжбах самое легкое) потребуй доследования и верни дело. – Но ты скажешь: «Какая тебе радость терять время на эти пустяки? Они ведь ни одной из твоих страстей не уймут, ни от одного из вожделений не избавят». – Верно; я тоже считаю важнее те занятия, которые утишают душу, и сперва исследую себя, а потом только вселенную. (16) Но времени я, вопреки твоим мыслям, не теряю и сейчас: ведь если этих исследований не мельчить и не растекаться в ненужных тонкостях, они поднимают и возвышают наш дух, придавленный тяжелой ношей, но жаждущий распрямиться и вернуться в тот мир, которому он принадлежит. Тело для духа – бремя и кара, оно давит его и теснит, держит в оковах, покуда не явится философия и не прикажет ему вольно вздохнуть, созерцая природу, и не отпустит от земного к небесному. В этой отлучке он ускользает из-под стражи и набирается сил в открытом небе. (17) Как художники, утомив глаза тонкой и пристальной работой в плохо и скудно освещенной мастерской, выходят на улицу и в каком-нибудь отведенном для общественного отдыха месте дают глазам насладиться вольным светом, так дух, запертый в своем темном и унылом жилище, едва только может, стремится на простор и отдыхает, созерцая природу. (18) Мудрый или ищущий мудрости, хоть и прочно скованы с телом, отсутствуют лучшей своей частью и направляют помыслы ввысь. Они, словно присягнувшие воины, считают срок своей жизни сроком службы, и образ их мыслей таков, что жизнь они принимают без любви и без ненависти и терпеливо несут смертную долю, хотя и знают, что лучшее ждет их впереди. (19) Ты запрещаешь мне наблюдать природу? Отрываешь от целого, оставляешь мне малую часть? Нельзя мне доискиваться, в чем начала всех вещей? Кто их лепщик? Кто расчленил все, когда оно было слито воедино и облечено косной материей? Нельзя мне доискиваться, кто создатель этого мира? По какой разумной причине такая громада обрела закон и порядок? Кто собрал разбросанное, разделил перемешанное, коснеющему в единой бесформенности придал обличье? Что изливает столько света? Огонь ли это, или что-нибудь ярче огня? (20) Значит, нельзя мне этого доискиваться? Так мне и не узнать, откуда я вышел? Однажды ли я должен все это видеть, или мне предстоит рождаться много раз? Куда я отправлюсь отсюда? Какое жилище ждет душу, избавившуюся от рабского человеческого состояния? Ты запрещаешь мне причаститься небу – значит, велишь мне жить, не поднимая головы. (21) Я не так мал и не ради такой малости рожден, чтобы быть только рабом своему телу, – на него я гляжу не иначе как на цепь, сковавшую мою свободу. Его подставляю я судьбе, чтобы не шла дальше, и не позволяю ее ударам, пройдя через него, ранить и меня. Если что во мне и может потерпеть ущерб, так только тело; но в этом открытом для опасностей жилище обитает свободный дух. (22) Эта плоть никогда не принудит меня страшиться, не принудит к притворству, недостойному человека добра, или ко лжи во славу этого ничтожного тела. Я расторгну союз с ним, как только мне заблагорассудится. Мы и сейчас, покуда связаны друг с другом, союзники не на равных правах: все их забрала себе душа. Презрение к собственному телу наверняка дает свободу. (23) Возвращаясь к нашему предмету, я повторяю, что свободе этой немало способствует и наблюдение природы, о котором мы беседовали. Ведь все состоит из материи и бога. Бог упорядочивает смешение, и все следует за ним, правителем и вожатым.

Могущественнее и выше то, что действует, то есть бог, нежели материя, лишь претерпевающая действие бога. (24) То же место, что в этом мире бог, занимает в человеке душа; что в мире материя, то в нас – тело. Так пусть худшее рабски служит лучшему; будем же храбры против всего случайного, не побоимся ни обид, ни ран, ни оков, ни нужды. Что такое смерть? Либо конец, либо переселенье. Я не боюсь перестать быть – ведь это все равно, что не быть совсем; я не боюсь переселяться – ведь нигде не буду я в такой тесноте. Будь здоров.

Письмо LXVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) После долгих лет вновь встретил я Кларана, моего соученика;

я думаю, ты не ждешь от меня добавления «старца», – нет, право же, дух его бодр и могуч в борьбе с телом. Природа поступила несправедливо и дала высокому духу плохое жилище; а может быть, она как раз и хотела показать нам, что самый отважный и блаженный нрав может скрываться под любой оболочкой. Кларан победил все преграды и, не ставя ни во что себя самого, научился и все прочее не ставить ни во что. (2) Заблуждался, по-моему, тот, кто сказал:

Доблесть милее вдвойне, если доблестный телом прекрасен.[1]

Ей не нужны никакие прикрасы: сама она – лучшее украшение, ибо освящает всякое тело. И я иначе стал смотреть на нашего Кларана: он теперь для меня красив и прям не только душою, но и станом. (3) Великий человек может выйти из лачуги, а великая прекрасная душа – из безобразного убогого тела. Мне сдается, иных людей природа создала такими, желая показать нам, что добродетель может возникнуть везде. Если бы она сама по себе могла создавать души нагими, то так и делала бы; а теперь она делает еще больше: создает иные из них обремененными телом, но все же прорывающимися сквозь все преграды. (4) Кларан, по-моему, и создан нам в пример, – чтобы мы знали, что не уродство тела унижает душу, а красота души делает прекрасным тело.

Хотя мы и провели вместе мало дней, но беседовали много, и наши беседы я постепенно перескажу тебе и передам.

(5) В первый день мы рассуждали вот о чем: как блага могут быть равными, если все они троякого рода? Одни, как считают наши, это первые из благ, такие, как радость, мир, процветание отчизны; вторые из числа благ – те, что становятся явными в несчастье, такие, как выносливость под пыткой и сдержанность в тяжелой болезни. Первых благ мы желаем себе безусловно, вторых – если будет в них нужда. Есть и третий род благ – таких, как пристойная осанка, спокойное и открытое лицо, движения, подобающие человеку разумному. (6) Как же блага могут быть равными, когда одних следует желать, других – избегать? Если мы хотим уловить их различие, вернемся к изначальному благу и посмотрим, что же это такое. Это душа, которая устремляет взгляд к истине, знает, к чему стремиться, чего бежать, ценит все вещи по их природе, а не по общему мненью о них, проникает во всю вселенную и направляет свое созерцание на все, что в ней творится, которая равно бдительна в мыслях и в поступках, полна величия и деятельна, которую не победить ни бедам, ни удачам, ибо она не поддается ни ласке, ни вражде фортуны и стоит выше всего, что может нам перепасть или выпасть; душа, украшенная достоинством и спокойною силой, здравая и трезвая, непоколебимая и неустрашимая, не сламливаемая никакою силой, ни от какой случайности не возносящаяся и не поникающая. Душа эта есть добродетель. (7) Таково было бы ее обличье, если бы она дала охватить себя одним взглядом и явила бы себя сразу всю. Но у нее есть много разновидностей, раскрывающихся в пестроте жизни и в многообразии поступков; она же сама не становится ни больше, ни меньше. Ведь ни высшее благо не может пойти на убыль, ни добродетель не должна знать отливов: ей можно лишь появляться каждый раз в новом качестве, перевоплощаясь в зависимости от предстоящих ей деяний. (8) Все, к чему ни прикоснется, она окрашивает и делает похожим на себя: и поступки, и дружеские связи, и целые дома, которые она украшает, вступив в них и устроив. Все, за что она ни возьмется, получается замечательным и достойным и любви, и удивленья. Итак, ни силы ее, ни величина не могут возрасти: ведь самому большому не стать еще больше, и не найти ничего прямее пря-

мизны, истинней истины, умеренней умеренности. (9) Всякая добродетель не беспредельна, – а предел ее есть полная мера. Стойкости некуда расти, также как и надежности, правдивости, верности. Что можно добавить к совершенному? Ничего; а если можно, значит, не было и совершенства. Так и добродетели чего-то не доставало, если к ней можно что-нибудь прибавить. И честность не допускает никакого добавления: ведь именно то, о чем я сказал, и делает ее честностью. Что же больше? Разве не таковы и достоинство, и справедливость, и верность законам? Разве нет и для них предельной меры? Способность расти есть признак несовершенства. (10) Всякое благо подчинено тому же закону: связаны польза личная и общая, неотделимо достойное стремлений от достойного похвалы. Значит, и добродетели равны между собою, и дела добродетели, и все люди, кому она досталась.

(11) Есть и у посевов и стад добродетели, но смертные и потому непрочные, тленные и ненадежные: они становятся то больше, то меньше, оттого и цена им другая. -А человеческие добродетели – все под одну меру: ведь есть только один разум, прямой и простой, и нет ничего божественнее божественного, небеснее небесного. (12) Все смертное уменьшается, падает, ухудшается, растет, исчерпывается, вновь восполняется. Из-за этой неопределенности жребия и возникает в нем неравенство. А природа божественного всегда одна. Разум же есть не что иное, как частица божественного дыхания, заложенная в человеческую плоть. Если разум божествен и нет блага, непричастного разуму, значит, всякое благо божественно. А между божественным и божественным нет различия; значит, нет его и между благами. Так что равны между собою радость и мужественное, терпеливое упорство под пыткой: ведь и в том и в другом – одно величье духа, только в первом случае – спокойное и вольготное, во втором – воинственное и напряженное. (13) Разве не равны, по-твоему, доблестью храбро идущий на приступ вражеских стен и терпеливо выдерживающий осаду? Велик Сципион, сжимающий кольцом Нуманцию[2] и принуждающий ее защитников наложить на себя непобедимые руки, но велики духом и осажденные, знающие, что не заперт тот, для кого открыт путь смерти, и умирающие неразлучно со свободою. Точно так же равны между собой и прочие достоинства: спокойствие, простота, щедрость, стойкость, постоянство духа, терпеливость. Все они зиждутся на единой добродетели, которая и делает наш дух прямым и непреклонным.

(14) «Так что же, между радостью и несгибаемой терпеливостью среди мук нет разницы?» – Никакой – в том, что касается самих добродетелей; и очень большая – в том, на чем они проявляются. У одного дух, как это естественно, спокоен и волен, второй страдает, – а боль противоестественна. Но эти вещи – не благо и не зло, коль скоро допускают такое различие; а добродетелью и тот я другой равны. (15) Добродетель от обстоятельств не меняется: радостные и благополучные не делают ее лучше, тяжкие и трудные – хуже. Значит, она непременно будет всегда одинакова. Ведь и в тех, и в других все, что делается, делается одинаково правильно, одинаково разумно, одинаково честно; значит, и добро в обоих мужах равное, ибо ни первый не мог бы вести себя лучше в своей радости, ни второй – в муках. А две вещи, лучше которых ничего не может быть, одинаковы. (16) Ведь если бы внешние обстоятельства могли уменьшать либо увеличивать добродетель, то честное уже не было бы единственным благом. А если это допустить, – честного и достойного вообще не оста нется. Почему? Я отвечу: потому что не честно то, что делается против воли, по принужденью. Только добровольное – честное. Прибавь к нему лень, жалобы, попытки увильнуть, страх – и погибнет самое лучшее в нем: самоудовлетворение. Не может быть честным то, что несвободно: где страх – там рабство. (17) Все честное спокойно, все безмятежно. Если же оно что-нибудь отвергает, если оплакивает, если считает злом, значит, в него проникают волнение и разлад с самим собой. Видимость справедливости зовет туда, опасенье беды тянет назад. А если кто намерен поступать честно, он любое препятствие, даже считая его за неприятность, бедою не сочтет, а поступит по-своему – добровольно, с охотой. Все честное делается без приказа и принуждения, искренно и без примеси зла.

(18) Я знаю, что мне могут сейчас ответить: «Ты хочешь нас уговорить, будто человеку все равно – что радоваться, что висеть на дыбе, доводя палача до усталости?» – Я мог бы возразить: мол, сам Эпикур говорит, что мудрец, даже жарясь в Фаларидовом быке[3], воскликнет: «Как отрадно! Ведь меня это не касается!» Пусть я считаю равными блага того, кто возлежит на пиру, и того, кто мужественно терпит пытки, – что же ты этому удивляешься, когда даже Эпикур – со-

всем уж невероятно! – утверждает, будто отрадно жариться? (19) Но я возражу иначе. Есть большая разница между радостью и болью. Если будет выбор, я к первой буду стремиться, второй избегать: ведь радость естественна, а боль противоестественна. При такой оценке разница между ними огромная; а если перейти к добродетели, то и тут, и там, и в радостных обстоятельствах, и в прискорбных, она одинакова. (20) Никакого значения не имеют и мука, и боль, и все неприятное: добродетель все перекрывает. Как малые светильники затмевает сиянье солнца, так боль и тяготы и обиды добродетель отодвигает и попирает своим величием, и везде, где она заблистает, гаснет все непричастное к ней; и бедствия, выпавшие на долю добродетели, значат не больше, чем дождь, выпавший в море.

(21) Знай, что так оно и есть: ведь человек добра без промедленья устремится ко всему прекрасному, и, хотя бы на пути стоял палач и пытатель с огнем, будет смотреть не на грозящие страданья, а на само дело, и если оно честно, поверит ему, как другому мужу добра, и сочтет полезным для себя, безопасным и счастливым. Дело честное, но тяжкое и невеселое, для него все равно что человек добра, изможденный нищетой либо изгнаньем. (22) Поставь-ка рядом мужа добра, владеющего многими богатствами, и другого, ничего, кроме богатств духа, не имеющего; оба они одинаково добродетельны, при всем неравенстве судеб. И о поступках судить надо, как о людях: добродетель равно почтенна в том, кто силен и свободен, и в том, кто хил и закован. (23) И собственную добродетель ты не будешь чтить больше за то, что судьба дала тебе тело здоровое, а не искалеченное; иначе это было бы все равно, что по внешности рабов ценить хозяина. Ведь не отличается от рабов то, над чем властен случай: деньги, и тело, и почести – все шатко, преходяще, смертно, все не для надежного владения. Иное дело – добродетельные поступки: они свободны и непобедимы, и нельзя стремиться к ним больше, когда фортуна глядит на них милостиво, и меньше – когда им препятствуют враждебные обстоятельства. (24) Стремление в наших делах – то же самое, что между людьми дружба. Ведь, я полагаю, ты не будешь любить мужа добра в богатстве больше, чем в бедности, или крепкого и плечистого – больше, чем хрупкого и тщедушного; значит, ты и к делу спокойному и мирному не станешь стремиться с большей любовью, чем к сулящему расстройство и хлопоты. (25) А не то ты из двух одинаково добродетельных людей гладкого и умащенного предпочтешь покрытому пылью и небритому, а потом и до того дойдешь, что не искалеченный и владеющий всеми членами станет тебе ближе расслабленного или одноглазого. И понемногу ты в своей привередливости докатишься до того, что из двух одинаково праведных выберешь пышноволосого и кудрявого. Где двое равны добродетелью, там прочие различья и не видны: ведь они касаются даже не частей а просто случайных свойств. (26) Кто будет в своей семье таким строгим цензором, чтобы любить здорового сына больше недужного или высокого и стройного – больше коренастого и низкорослого? Звери не различают своих детенышей и ложатся кормить всех одинаково; птицы делят корм поровну. Одиссей спешил к камням своей Итаки не меньше, чем Агамемнон – к гордым стенам Микен, – ведь любят родину не за то, что она велика, а за то, что она родина. (27) К чему я это говорю? Хочу, чтобы ты знал: добродетель на все дела смотрит одинаково, как на свое порожденье, и все равно лелеет, но больше те, которые труднее; так родительская любовь сильнее к тем из детей, которых жалко. И добродетель те свои дела, которые видит в муке и угнетении, не то что больше любит, но по обычаю хороших родителей больше ласкает и греет.

(28) Почему одно благо не бывает больше другого? Потому что нет ничего ладнее ладного, глаже гладкого. Ведь нельзя сказать, что это равно чему-нибудь больше, чем то; значит, нет ничего честнее честного.

(29) Так что если природа всех добродетелей одинакова, то и три рода благ стоят наравне. Да, это так: умеренная радость и умеренная боль равны. Веселье не выше стойкости духа, подавляющей стон под пыткой; первые блага желательны, вторые – удивительны, но и те и другие равны, потому что любая тягостность перекрывается тем большей степенью блага.

(30) Кто считает их неравными, тот смотрит только на внешность, отворачиваясь от самих добродетелей. Истинные блага все одного веса, одного размера, в подложных – много пустоты, и те, что на взгляд велики и приметны, обманывают на проверку весом.

(31) Да, это так, мой Луцилий: что подтверждает истинный разум, то прочно и вечно, то укрепляет душу и навсегда возносит ее ввысь; что восхваляется без ума, что есть благо лишь по

мненью толпы, то раздувает душу пустым весельем; а что пугает и считается злом, то сковывает ее ужасом и гонит, как гонит зверей мнимая опасность. (32) И то и другое восхищает или гложет душу без причины: ведь первое не заслуживает радости, второе – страха. Один разум неизменно держится своих суждений, ибо он не раб, а повелитель чувств. Разум равен разуму, как правильное правильному; значит, добродетель равна добродетели, коль скоро она есть правильность разума. Всякая добродетель есть разум; она есть разум, если она правильна; а если она правильна, то равна другой. (33) Каков разум, таковы и поступки; значит, и они равны, ибо все подобное разуму подобно и между собой. Я имею в виду, что поступки равны между собою благородством и правильностью; в остальном различия будут велики, смотря по тому, широко или узко то, на что они направлены, славно оно или бесславно, многих или немногих касается. Но лучшее в них во всех одно: их благородство. (34) Так и люди добра равны именно тем, что они – люди добра, хотя различаются возрастом, – одни старше, другие моложе, различаются наружностью – одни красивы, другие нет, различаются судьбами – одни богаты, другие бедны, одни любимы, могущественны, известны целым городам и народам, другие неизвестны почти никому и неприметны. Но добродетель их всех уравнивает. (35) О добре и зле не чувству судить: что полезно, что бесполезно, оно не ведает. Вынести приговор оно может, только если дело у него перед глазами. Будущего оно не предвидит; прошлого не помнит; как одно вытекает из другого, не знает. А между тем только так порядок и череда дел и сплетаются в единство жизни, идущей правильным путем. Разум вот судья добра и зла; все постороннее и внешнее он не ставит ни во что, все, что не благо и не зло, считает побочным, ничтожным и неважным, а все благо для него – в душе. (36) Затем одни блага – те, к которым стремятся намеренно, – он считает первыми: таковы, например победа, хорошие дети, польза отечества; другие блага он считает вторыми – те, которые становятся видны только в беде: например спокойствие и терпение в тяжкой болезни, в изгнании; третьи блага для него – промежуточные: они и не согласуются с природой, и не перечат ей – например скромная походка или уменье сидеть пристойно. Ведь сидеть[1] так же естественно, как стоять или расхаживать. (37) Два высших рода благ различны между собою; первые согласны с природой: радоваться преданности детей, прочности отчизны; вторые – противны природе: мужественно сопротивляться пыткам, сносить жажду, когда болезнь жжет грудь. – (38) «Так что же, есть блага, противные природе?» – Нет, – но то, в чем это благо проявляется, бывает противно природе. Принимать раны, гореть на огне, мучиться, потеряв здоровье, – все это противно природе; но среди таких невзгод сохранить душу неустанной – это согласно с природой. (39) Говоря короче, обстоятельства, в которых обнаруживается благо, иногда противны природе, а само оно – никогда: ведь нет блага помимо разума, а разум следует природе.

«Что же такое разум?» – Подражание природе. – «Что есть высшее благо для человека?» – Поступать по воле природы. – (40). «Но ведь нет сомнения, что мир никогда не тревожимый счастливее добытого обильной кровью; нет сомнения, что больше счастья сохранять нерушимое здоровье, чем обрести его вновь после тяжких и грозящих смертью болезней благодаря терпению или иной силе. Значит, точно так же нельзя сомневаться, что радость – большее благо, чем упорная душа, терпеливая к мукам, ранам и огню». – (41) Вот уж нет! Все случайное бывает раз личным, ибо измеряется пользой тех, кому случай выпал. Все блага имеют в виду одно: быть согласными с природой; достигнув этого, они все равны. Когда мы в сенате присоединяемся к чьему-нибудь мнению, нельзя сказать: этот согласен больше, тот меньше. Все согласные идут в одну сторону[4]. То же я говорю и о добродетелях: все они согласны с природой. То же я говорю и о благах: все они согласны с природой. (42) Один умер в юности, другой в старости, третий – в младенчестве, едва успев увидеть жизнь; но все они были одинаково смертны, хотя жизни одних смерть позволила продлиться дольше, жизнь других оборвала в расцвете, третьих – в самом начале. (43) Один угас за ужином, у другого сон перешел в смерть, третьего убило совокупленье. Сравни с ними пронзенных копьем, погибших от укуса змеи, раздавленных обвалившейся кровлей или тех, у кого долгое окостенение жил отнимало член за членом. Можно сказать, кончина у одних была лучше, у других хуже, – но смерть у всех была смертью. Нашли они ее по-разному, а кончили все одним. Смерть не бывает больше или меньше: для всех она – конец жизни. (44) То же я говорю тебе и о благах: одно живет среди сплошных наслаждений, другое – среди бедствий и горестей, одно справляется с милостями фортуны, другое умеряет ее удары; но и то и другое –

блага, хотя одно идет гладким путем, другое – тернистым. Ведь цель у них одна: все они – блага, все заслуживают хвалы, все сопутствуют разуму и добродетели; а добродетель равняет все, что признает своим.

(45) И нет причин удивляться, что такое мнение принято у нас. Ведь и у Эпикура есть два блага, из которых и слагается высшее блаженство: отсутствие боли – в теле, волнения – в душе. Эти блага, достигнув полноты, уже не возрастают: ведь к полному нельзя ничего прибавить. Тело не чувствует боли: может ли это ее отсутствие вырасти? Душа довлеет себе и безмятежна: может ли вырасти это спокойствие? (46) Как чистота безоблачного неба, сверкающая и не замутненная, не может блистать ярче, так человек, пекущийся о душе и о теле и в обоих видящий источники своего блага, приходит к совершенному состоянию, к исполнению всех своих молитв, если в душе его нет бури, а в теле – боли. Если извне выпадает ему что-нибудь приятное, оно не увеличивает высшее благо, а, так сказать, приправляет его и подслащивает; независимое же благо человеческой природы довольствуется миром в теле и в душе. (47) Я укажу тебе у Эпикура разделение благ, весьма схожее с нашим. Одни блага – те, которые он предпочел бы иметь, как, например, для тела – покой, свободный от всего неприятного, для души – невозмутимость радостного созерцания собственных благ. Других благ он для себя не хочет, но считает и их заслуживающими похвалы и одобрения, – например то, о чем я недавно говорил, терпение к недугу и тяжким болям, которое сам Эпикур выказал в свой последний и счастливейший день. Хотя, по его словам, изъязвленный живот и мочевой пузырь доставляли ему такие муки, что больше и не бывает, все равно этот день был для него блаженным [5]. А прожить день блаженно может только тот, кто обладает высшим благом. (48) Значит, и у Эпикура считается благом то, чего лучше было бы не испытать, но что, коль скоро дело обернулось так, следует и принять, и хвалить, и приравнять к высшему благу. Ведь нельзя сказать, что не равно высшему то благо, которое завершило блаженную жизнь и которому Эпикур воздает хвалу в последних своих словах.

(49) Позволь мне, Луцилий, лучший из людей, сказать и посмелее: если бы одни блага могли быть больше других, я предпочел бы те, что кажутся горестными, всем нежащим и ласкающим, и назвал бы их более высокими. Ведь справиться с тяготами куда труднее, чем умерить радость. (50) Я знаю, один и тот же разум позволяет достойно переносить счастье и мужественно – беды. Одинаково храбры могут быть и тот, кто безмятежно стоит в карауле перед валом, когда враг не тревожит лагеря, и тот, кто с подрезанными жилами на ногах падает на колени и не выпускает оружия. «Слава твоей доблести!» – так говорят тем, кто в крови возвращается из боя. И я бы больше похвалил блага, испытанные в борьбе с фортуной и мужественные. (51) Разве поколебался бы я прославить искалеченную и обожженную длань Муция больше, чем здоровую руку любого храбреца? Он стоял, презирая врагов и пламя, и смотрел, как каплет с его руки кровь на вражеский очаг, покуда Порсенна не позавидовал славе того, чьей пыткой любовался, и не приказал убрать огонь против воли Муция. (52) Так почему мне не считать это благо в числе самых великих и ставить его тем выше благ безмятежных и не испытанных судьбою, чем реже победа над врагом, одержанная не с оружьем в руке, а ценой потерянной руки? – «Что же, ты и для себя пожелал бы этого блага?» – Почему бы и нет? Ведь только тот, кто может такое пожелать, и сделает такое. (53) А что мне предпочесть? Чтобы распутные мальчишки разминали мне ручки? Чтобы какая-нибудь бабенка или превращенный в бабенку юнец вытягивал мне каждый пальчик? Почему не считать мне счастливее Муция, протянувшего руку в огонь, как протягивают ее рабу для растирания? Так исправил он свою оплошность: безоружный, однорукий, он положил конец войне и обрубком победил двух царей. Будь здоров.

Письмо LXVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Начну с общих слов. Весна наступила, но ближе к лету, когда должно было стать жарко, опять посвежело, и верить ей нельзя до сего дня: слишком часто поворачивает она к зиме. Хочешь знать, до чего погода ненадежна? Я все еще не решаюсь погрузиться в настоящую холодную воду, все еще смягчаю ее резкость. Ты скажешь: «Но ведь это значит бояться и жары и хо-

лода». Что делать, Луцилий: в моем возрасте и собственного холода хватает – я едва оттаиваю к середине лета и большую часть времени кутаюсь в одеяло. (2) Но я благодарен старости, пригвоздившей меня к постели. И как не быть ей за это благодарным? Чего не следует желать, того я и не могу. Больше всего я беседую с книгами. Если порой приходят твои письма, мне кажется, что ты рядом, и настроение у меня такое, словно я отвечаю тебе не письмом, а живым словом. И о том, о чем ты спрашиваешь, мы как будто побеседуем и вместе разберемся, как обстоит дело.

(3) Ты спрашиваешь, всякое ли благо желательно. «Если мужество под пыткой, величье духа на костре, терпеливость в болезни – блага, следовательно, все они желательны; но я не вижу тут ничего достойного мольбы! Я не знаю никого, кто возблагодарил бы богов за то, что его секли плетьми, растянули на дыбе, или за скрючившую его подагру».

(4) Не смешивай все в одно, милый Луцилий, – и ты поймешь, что и тут есть чего желать. Пусть пытки будут от меня подальше, но если уж придется их терпеть, я пожелаю себе мужества, благородства, величия духа. Или – с чего бы мне предпочесть войну? Но если она начнется, я пожелаю себе отважно переносить и раны, и голод, и все, что неизбежность войны несет с собою. Я не настолько безумен, чтобы жаждать болезни; но если случится мне болеть, я пожелаю и сдержанности, и стойкости. Итак, желать следует не бедствий, а добродетели, помогающей их одолеть.

(5) Некоторые из наших полагают, что терпеливого мужества в бедах не нужно желать (хотя нельзя и отвергать), потому что стремиться надлежит только к чистому благу, спокойному и чуждому тягот. Я с ними не согласен. Почему? Во-первых, если благо есть благо, то оно не может не быть желательно. Во-вторых, если всякая добродетель желательна, а без добродетели не бывает благ, значит, и всякое благо желательно. В-третьих, если терпеливое мужество под пыткой не желательно, (6) то, спрашиваю я, значит, мужество и вообще нежелательно? [1] Но ведь оно-то и презирает опасности, и посылает им вызов; и самое прекрасное, самое удивительное в нем то, что оно не отступает перед огнем, идет навстречу ранам, порой не уклоняется от ударов, а подставляет им грудь. Но если желательно мужество, значит, желательно и терпенье под пыткой: ведь и это – часть мужества. Не смешивай все в одно, как я сказал, – и ничто уже не введет тебя в ошибку. Желательно не терпеть пытку, а терпеть ее мужественно; этого «мужественно» я и хочу, ибо оно и есть добродетель. – (7) «Но кто хоть когда-нибудь желал себе такого?» – Одни пожеланья высказаны явно, – когда каждое названо отдельно; другие скрыты, – когда одно пожелание охватывает многое. Я желаю себе жить честно; но ведь честная жизнь состоит из разных поступков. В нее входит и ящик Регула[2], и разодранная собственной рукой рана Катона, и ссылка Рутилия, и отравленная чаша, перенесшая Сократа из темницы на небо. Значит, желая себе жить честно, я пожелал и того, без чего порой жизнь честной не будет.

(8) Трижды, четырежды тот блажен, кто под стенами
Трои Перед очами отцов в бою повстречался со смертью! [3]

Пожелать кому-нибудь такой участи и признать ее желательной, – разве это не одно и то же? (9) Деций [4] пожертвовал собой ради государства и, пришпорив коня, ворвался в гущу врагов на верную смерть. Другой Де ций, соперник отцовской доблести, произнеся торжественные и уже наследственные слова, налетел на плотный строй, заботясь лишь о том, чтобы жертва его была благоприятна, и полагая желательной прекрасную смерть. И ты еще сомневаешься в том, что достопамятная смерть ради доблестного деянья прекрасна? (10) Кто мужественно переносит пытки, тому помогают все добродетели. Одна, быть может, выделяется и больше всего заметна – терпение; но тут и мужество, потому что терпение, стойкость, выносливость суть лишь его ветви; здесь и разумность, потому что без нее не будет решения, убеждающего как можно мужественнее перенести неизбежное; здесь и упорство, которое никому не поколебать, у которого никакой силе не вырвать изначального намерения; здесь весь неделимый сонм добродетелей, и все честное совершается одной добродетелью, но по решению всего их совета. А что одобрено всеми добродетелями, хотя по видимости делается одной из них, то и желательно. (11) Неужто, по-твоему, только то желательно, что приносят нам праздность и наслаждение, что мы встречаем, украсив двери? Есть блага и со скорбным ликом, есть желания, исполнение которых прославля-

ется не толпой поздравителей, а благоговеньем коленопреклоненных. (12) По-твоему, Регул не по собственному желанию прибыл обратно к пунийцам? Исполнись духом великого человека, отойди ненадолго от мнений толпы, постигни в должном величии прекрасный образ добродетели, которую надлежит чтить не венками и ладаном, а потом и кровью. (13) Взгляни на Марка Катона, подносящего чистейшие свои руки к святой груди и раздирающего слишком неглубокие раны. Скажешь ли ему: «Желаю тебе исполнения всех желаний» или «Соболезную тебе» – или скажешь: «Счастье твоему делу?» (14) Тут мне кстати вспоминается наш Деметрий, который спокойную жизнь без набегов судьбы называл «мертвым морем». Не иметь повода ни встряхнуться, ни взволноваться, не знать ни угрозы, ни нападения, чтобы на них испытать крепость духа, но бездействовать в ненарушаемой праздности – это не покой, а мертвый штиль. (15) Стоик Аттал говаривал: «Я предпочитаю лагерь фортуны ее ласке. Здесь я мучаюсь, но храбро – и это хорошо. Здесь я гибну, но храбро – и это хорошо». Послушай Эпикура: он говорит: «Как отрадно!» Я бы, правда, не назвал такое благородное и суровое дело столь изнеженным словом. (16) Я сгораю, но непобежденным; неужели это не желательно? Не то, что огонь меня жжет, а то, что не побеждает? Нет ничего величавее и прекраснее добродетели, и все, что делается по ее повелению, есть благо и потому желательно. Будь здоров.

Письмо LXVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Присоединяюсь к твоему решению: скройся от дел; но скрывай и свое безделье. И знай; ты сделаешь так если не по наставлениям стоиков, то по их примеру; впрочем, и по наставлениям тоже, ты докажешь это и себе самому, и кому угодно. (2) Мы и не всяким государственным делом велим заниматься, и не всегда, и не без конца. А кроме того, мы указали мудрецу государство, достойное его, – весь мир, так что он, и удалившись от дел, не оставит государства, а может быть даже, выйдет, покинув свой угол, на широкий простор, и поднимется к небесам, и поймет, как низко стоят кресла в сенате или в суде, на которые он всходил. Сохрани в себе мои слова: мудрец никогда не бывает так деятелен, как в те часы, когда перед его глазами предстает все божественное и человеческое. (3) Но вернусь к тому, в чем начал тебя убеждать, – чтобы твой досуг был никому не известен. Незачем писать слова «философия» и «покой» на вывеске: назови свое намеренье иначе, скажи «слабость здоровья», в худшем случае – «лень». Похваляться досугом – пустое тщеславие. (4) Звери, чтобы их нельзя было найти, путают следы у самого логова; то же надо сделать я тебе, а не то ты не избавишься от преследователей. Многие проходят мимо явного, но копаются в скрытом и тайном; вора влечет то, что под замком. Если что перед глазами, оно не ценится; открытую дверь взломщик минует. Таков же обычай и у толпы, таков и у всех невежд: каждый хочет ворваться туда, где заперто. (5) Поэтому лучше не хвастать досугом; а слишком таиться, избегая людского глаза, тоже есть род хвастовства. Один прячется в Таренте, другой запирается в Неаполе, третий много лет не выходит за порог; чей досуг стал притчей во всех устах, тот и собрал толпу.

(6) Отойдя от дел, нужно стараться, чтобы не люди о тебе говорили, а ты сам с собою говорил. О чем? О себе, и так же, как люди с особой охотой говорят о других, – со злостью. Так ты приучишься и говорить, и выслушивать правду. И больше всего занимайся тем, в чем сам чувствуешь свою слабость. (7) Каждый знает изъяны в своем теле, поэтому один облегчает желудок рвотой, другой укрепляет его частым приемом пищи, третий сушит и очищает тело, перемежая сытые дни голодными. У кого часто болят ноги, те воздерживаются от вина или бани; небрежные во всем прочем, люди преграждают дорогу тому, что чаще их тревожит. Но и у нашего духа есть как бы свои недужные члены, их-то и надо лечить. (8) Чем я занят, уйдя от дел? Лечу свою язву. Если бы я показал тебе распухшую ногу, синюшную руку, сухие жилы, стянувшие бедро, ты бы позволил мне не двигаться с места и лежа лечить болезнь. А моя болезнь тяжелее, хотя показать ее нельзя: ведь нарыв и скопленье гноя – в сердце! Нет, не хочу я похвал, не хочу, чтобы ты говорил: «О великий муж! Он все презрел и бежит от неистовств человеческой жизни, которую осудил!» – (9) Ничего я не осудил, кроме самого себя. И не с чего тебе приходить ко мне в

надежде на пользу. Кто рассчитывает найти здесь помощь, ошибается. Не врач, а больной живет здесь. По мне, лучше скажи, уходя:

«Я-то принимал его за счастливого, за ученого и навострил уши, а ухожу, и не увидев, и не услышав, чего хотел, так что незачем и возвращаться». Если ты это почувствуешь и скажешь, значит, польза была: я предпочитаю, чтобы праздность мою ты простил, а не завидовал ей.

(10) Ты скажешь: «Как же ты, Сенека, советуешь мне Праздность? Ты скатываешься к Эпикуру!» – Я советую тебе праздность, чтобы ты занялся делами, которые величавей и прекрасней оставленных тобою: стучаться в двери могущественных гордецов, переписывать по алфавиту бездетных стариков, иметь влияние на форуме – может быть, это и власть, но всем ненавистная, недолгая и, если оценить ее по-настоящему, нечистая. (11) Такой-то превосходит меня любовью завсегдатаев форума, такой-то – сроком военной службы и добытым через нее саном, такой-то – числом клиентов. Пусть все берут над тобою верх – дело того стоит, если ты сам берешь верх над фортуной, меж тем как среди толпы ты и вровень с нею не станешь: ведь общая любовь к ней сильнее. (12) Если бы ты намного раньше готов был исполнить это намеренье! Если бы мы начинали заботиться о блаженной жизни раньше, чем смерть появится вблизи! Но хоть теперь-то не будем медлить: поверим опыту в том, в чем надо бы давно поверить разуму, и признаем многие вещи лишними и вредными. (13) Как те, что выехали поздно и хотят наверстать время скоростью, пришпорим коня! Для наших занятий нет возраста лучше: он отбушевал и усмирил пороки, неукротимые в первом пылу юности; еще немного – и он совсем их угасит. – (14) «Но когда и в чем поможет тебе знанье, добытое на исходе жизни?» – Поможет лучше уйти! Не думай, будто есть для благоразумия возраст лучше того, который укрощен многообразным опытом и нередким раскаянием и приходит к спасительным мыслям с усмиренными страстями. Теперь самое время для этого блага! Кто пришел к мудрости стариком, того привели к ней годы. Будь здоров.

Письмо LXIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Мне не хочется, чтобы ты странствовал и скакал с места на место: во-первых, частые переезды – признак нестойкости духа, который, пока не перестанет блуждать да озираться вокруг, не сможет утвердиться в привычке к досугу. Чтобы держать в узде душу, сперва останови бег тела. (2) Во-вторых, чем длительнее лечение, тем больше от него пользы; нельзя прерывать покой, приносящий забвение прежней жизни. Дай глазам отучиться смотреть, дай ушам привыкнуть к спасительному слову. Как только ты двинешься с места, так еще по пути что-нибудь попадется тебе – и вновь распалит твои вожделения. (3) Как влюбленным, чтобы избавиться от своей страсти, следует избегать всего, напоминающего о любимом теле (ведь ничто не крепнет легче, чем любовь), так всякому, кто хочет погасить в себе прежние вожделенья, следует отвращать и взор, и слух от покинутого, но еще недавно желанного. (4) Страсть сразу поднимает мятеж: куда она ни обернется, тотчас же увидит рядом какую-нибудь приманку для своих притязаний. Нет зла без задатка: жадность сулит деньги, похотливость – множество разных наслаждений, честолюбие – пурпур, и рукоплескания, и полученное через них могущество, и все, что это могущество может. (5) Пороки соблазняют тебя наградой; а тут тебе придется жить безвозмездно. И за сто лет нам не добиться, чтобы пороки, взращенные столь долгим потворством, покорились и приняли ярмо, а если мы еще будем дробить столь короткий срок, – и подавно. Только непрестанное бдение и усердие доводят любую вещь до совершенства, да и то с трудом.

(6) Если хочешь меня послушаться, думай об одном, готовься к одному: встретить смерть, а если подскажут обстоятельства, и приблизить ее. Ведь нет никакой разницы, она ли к нам придет, мы ли к ней. Внуши себе, что лжет общий голос невежд, утверждающих, будто «самое лучшее – умереть своей смертью». Чужой смертью никто не умирает. И подумай еще вот о чем: никто не умирает не в свой срок. Своего времени ты не потеряешь: ведь что ты оставляешь после себя, то не твое. Будь здоров.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо LXX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) После долгого перерыва я вновь увидел твои Помпеи, а с ними и свою юность. Мне казалось, будто все, что я там делал в молодости, – а было это совсем недавно, – я могу делать и сейчас. (2) Но вся жизнь, Луцилий, у нас уже за кормой; и как в море, по словам нашего Вергилия, «отступают селенья и берег» [1], так в быстром течении времени сперва скрывается из виду детство, потом юность, потом пора между молодостью и старостью, пограничная с обеими, и наконец, лучшие годы самой старости; а недавно завиднелся общий для рода человеческого конец. (3) Мы в безумии считаем его утесом, а это – пристань, и войти в нее иногда надо поспешить и никогда нельзя отказываться. А если кого занесет туда в молодые годы, жаловаться на это – все равно что сетовать на быстрое плаванье. Ты ведь сам знаешь: одного обманывают и держат ленивые ветерки, изводит долгой скукой затишье, другого быстрее быстрого несет стойкий ветер. (4) То же и с нами: одних жизнь скоро-скоро привела туда, куда они пришли бы, даже если бы медлили, других долго била и допекала. Впрочем, как ты знаешь, за это не всегда нужно держаться: ведь благо – не сама жизнь, а жизнь достойная. Так что мудрый живет не сколько должен, а сколько может. (5) Он посмотрит, где ему предстоит проводить жизнь, и с кем, и как, и в каких занятиях, он думает о том, как жить, а не сколько прожить. А если встретится ему много отнимающих покой тягот, он отпускает себя на волю, и не в последней крайности: чуть только фортуна становится подозрительной, он внимательно озирается, – не сегодня ли надо все прекратить. На его взгляд, нет разницы, положить ли конец, или дождаться его, раньше он придет или позже: в этом мудрец не видит большого урона и не боится. Что капает по капле, того много не потеряешь. (6) Раньше ты умрешь или позже, – неважно, хорошо или плохо, – вот что важно. А хорошо умереть – значит, избежать опасности жить дурно. По-моему, только о женской слабости говорят слова того-родосца[2], который, когда его по приказу тирана бросили в яму и кормили, как зверя, отвечал на совет отказаться от пищи: «Пока человек жив, он на все должен надеяться». (7) Даже если это правда, не за всякую цену можно покупать жизнь. Пусть награда и велика, и надежна, я все равно не желаю прийти к ней через постыдное признание моей слабости. Неужели я буду думать о том, что живому фортуна все может сделать, а не о том, что с умеющим умереть ей ничего не сделать?

(8) Но иногда мудрец и в близости смерти, и зная о назначенной казни, не приложит к ней рук. Глупо умирать от страха смерти. Пусть приходит убийца – ты жди! Зачем ты спешишь навстречу? Зачем берешь на себя дело чужой жестокости? Завидуешь ты своему палачу, что ли? Или щадишь его? (9) Сократ мог покончить с собой, воздерживаясь от пищи, и умереть от голода, а не от яда, а он тридцать дней провел в темнице, ожидая смерти, – не в мыслях о том, что все может случиться, не потому что такой долгий срок вмещает много надежд, но чтобы не нарушать законов, чтобы дать друзьям напоследок побыть с Сократом. Что было бы глупее, чем презирать смерть, а яда бояться? (10) Скрибония, женщина почтенная, была теткою Друза Либона[3], юноши столь же опрометчивого, сколь благородного: он надеялся на большее, чем можно было надеяться не только в его, но и в любой век. Когда его больным вынесли из сената на носилках, причем вынос сопровождало не так уж много людей (все близкие бесчестно отступились от него, уже не осужденного, а как бы казненного), он стал советоваться: самому ли ему принять смерть или дождаться ее. Тогда Скрибония сказала: «Какое тебе удовольствие делать чужое дело?» Но Друза она не убедила, он наложил на себя руки, и не без причины: ведь если обреченный на смерть еще жив на третий или четвертый день, то он, по мненью врага, делает не свое дело.

(11) Нельзя вынести общего суждения о том, надо ли, когда внешняя сила угрожает смертью, спешить навстречу или дожидаться; ведь есть много такого, что тянет и в ту, и в другую сторону. Если одна смерть под пыткой, а другая – простая и легкая, то почему бы за нее не ухватиться? Я тщательно выберу корабль, собираясь отплыть, или дом, собираясь в нем поселиться, – и так же я выберу род смерти, собираясь уйти из жизни. (12) Помимо того, жизнь не всегда тем лучше, чем дольше, но смерть всегда чем дольше, тем хуже. Ни в чем мы не должны угождать

душе так, как в смерти: пускай, куда ее тянет, там и выходит; выберет ли она меч, или петлю, или питье, закупоривающее жилы, – пусть порвет цепи рабства, как захочет. Пока живешь, думай об одобрении других; когда умираешь, только о себе. Что тебе по душе, то и лучше.

(13) Глупо думать так: «Кто-нибудь скажет, что мне не хватило мужества, кто-нибудь другой, – что я испугался, а еще кто-нибудь, – что можно выбрать смерть благороднее». – Неужели тебе невдомек, что тот замысел в твоих руках, к которому молва не имеет касательства? Смотри на одно: как бы побыстрее вырваться из-под власти фортуны, – а не то найдутся такие, что осудят твой поступок. (14) Ты встретишь даже мудрецов по ремеслу, утверждающих, будто нельзя творить насилие над собственной жизнью [4], и считающих самоубийство нечестьем: должно, мол, ожидать конца, назначенного природой. Кто так говорит, тот не видит, что сам себе преграждает путь к свободе. Лучшее из устроенного вечным законом, – то, что он дал нам один путь в жизнь, но множество – прочь из жизни. (15) Мне ли ждать жестокости недуга или человека, когда я могу выйти из круга муки, отбросить все бедствия? В одном не вправе мы жаловаться на жизнь: она никого не держит. Не так плохо обстоят дела человеческие, если всякий несчастный несчастен только через свой порок. Тебе нравится жизнь? Живи! Не нравится – можешь вернуться туда, откуда пришел. (16) Чтобы избавиться от головной боли, ты часто пускал кровь; чтобы сбросить вес, отворяют жилу; нет нужды рассекать себе всю грудь – ланцет открывает путь к великой свободе, ценою укола покупается безмятежность.

Что же делает нас ленивыми и бессильными? Никто из нас не думает, что когда-нибудь да придется покинуть это жилище. Так старых жильцов привычка к месту делает снисходительными и удерживает в доме, как бы плохо в нем ни было. (17) Хочешь быть свободным наперекор этой плоти? Живи так, словно завтра переедешь! Всегда имей в виду, что рано или поздно лишишься этого жилья, – и тогда ты мужественней перенесешь неизбежность выезда. Но как вспомнить о близком конце тем, чьи желанья не имеют конца? (18) А ведь о нем-то нам необходимее всего размышлять, потому что подготовка к другому может оказаться и лишней. Ты закалил дух против бедности? А богатства остались при тебе. Мы вооружились, чтобы презирать боль? А счастье здорового и не узнавшего увечий тела никогда не потребует от нас применить на деле эту добродетель. Мы убедили себя, что нужно стойко выносить тоску по утрате? Но всем, кого мы любили, фортуна продлила дни дольше наших. И лишь готовности к одному потребует с нас день, который придет непременно.

(19) И напрасно ты думаешь, что только великим людям хватало твердости взломать затворы человеческого рабства. Напрасно ты считаешь, что никому этого не сделать, кроме Катона, который, не испустив дух от меча, руками открыл ему дорогу. Нет, люди низшего разряда в неодолимом порыве убегали от всех бед и, когда нельзя было ни умереть без затруднений, ни выбрать орудие смерти по своему разумению, хватали то, что под рукой, своей силой превращая в оружие предметы, по природе безобидные. (20) Недавно перед боем со зверями один из германцев, которых готовили для утреннего представления, отошел, чтобы опорожниться – ведь больше ему негде было спрятаться от стражи; там лежала палочка с губкой для подтирки срамных мест; ее-то он засунул себе в глотку, силой перегородив дыханье, и от этого испустил дух. – «Но ведь это оскорбление смерти!» – Пусть так! – «До чего грязно, до чего непристойно!» – Но есть ли что глупее, чем привередливость в выборе смерти? (21) Вот мужественный человек, достойный того, чтобы судьба дала ему выбор! Как храбро пустил бы он в ход клинок! Как отважно бросился бы в пучину моря или под обрыв утеса! Но, лишенный всего, он нашел и должный способ смерти, и орудие; знай же, что для решившегося умереть нет иной причины к промедленью, кроме собственной воли. Пусть как угодно судят поступок этого решительнейшего человека, лишь бы все согласились, что самая грязная смерть предпочтительней самого чистого рабства. (22) Однажды приведя низменный пример, я это и продолжу: ведь каждый большего потребует от себя, когда увидит, что презрели даже самые презираемые люди. Мы думаем, что Катоны, Сципионы и все, о ком мы привыкли слушать с восхищением, для нас вне подражания; а я покажу, что на играх со зверями отыщется не меньше примеров этой добродетели, чем среди вождей гражданской войны. (23) Недавно, когда бойцов везли под стражей на утреннее представление, один из них, словно клюя носом в дремоте, опустил голову так низко, что она попала между спиц, и сидел на своей скамье, пока поворот колеса не сломал ему шею: и та же повозка,

что везла его на казнь, избавила его от казни.

(24) Кто захочет, тому ничто не мешает взломать дверь и выйти. Природа не удержит нас взаперти; кому позволяет необходимость, тот пусть ищет смерти полегче; у кого в руках довольно орудий, чтобы освободить себя, тот пусть выбирает; кому не представится случая, тот пусть хватается за ближайшее как за лучшее, хоть бы оно было и новым, и неслыханным. У кого хватит мужества умереть, тому хватит и изобретательности. (25) Ты видел, как последние рабы, если их допечет боль, схватываются и обманывают самых бдительных сторожей? Тот велик, кто не только приказал себе умереть, но и нашел способ. Я обещал привести тебе в пример много людей того же ремесла. (26) Когда было второе потешное сражение кораблей, один из варваров тот дротик, что получил для боя с врагом, вонзил себе в горло. «Почему бы мне, – сказал он, – не избежать сразу всех мук, всех помыкательств? Зачем ждать смерти, когда в руках оружье?» – И зрелище это было настолько же прекрасней, насколько благороднее, чтобы люди учились умирать, чем убивать.

(27) Так неужели того, что есть у самых потерянных и зловредных душ, не будет у людей, закаленных против этих бедствий долгими раздумьями, наставленных всеобщим учителем – разумом? Он нас учит, что рок подступается к нам по-разному, а кончает одним: так велика ли важность, с чего он начнет, если исход одинаков? (28) Этот-то разум и учит, чтобы ты умирал, как тебе нравится, если это возможно, а если нет, – то как можешь, схватившись за первое попавшееся средство учинить над собой расправу. Стыдно красть, чтобы жить, красть, чтобы умереть, – прекрасно. Будь здоров.

Письмо LXXI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты упорно советуешься со мною о каждом деле, забывая, что между нами – широкое море. Но так как во всяком совете главное, – чтоб он был своевременным, непременно случится вот что: пока мое решение до тебя дойдет, впору будет принять противоположное. Советы зависят от дел, а дела наши движутся и даже мчатся. Поэтому на каждый день нужен свой совет, да и то он запаздывает: совет должен быть, как говорится, всегда под рукой. А как его найти, я тебя научу. (2) Едва захочешь узнать, чего следует избегать, к чему стремиться, – смотри на высшее благо, цель всей твоей жизни: с ним должны согласоваться все твои поступки. Только тот и распоряжается всем в отдельности, у кого есть в жизни высшая цель. Живописец, даже приготовив краски, ничего не изобразит, если не знает заранее, что хочет нарисовать. В том и наш грех, что жизнь по частям обдумывают все, а целиком – никто. (3) Стрелок, пуская стрелу, должен знать, куда метит: тогда он может прицелиться и направить ее полет. Наши замыслы блуждают, потому что цели у них нет. Кто не знает, в какую гавань плыть, для того нет попутного ветра. Невозможно, чтобы случай не имел такой власти над нашей жизнью, коль скоро мы живем случаем. (4) А бывает и так: некоторые сами не знают, что знают что-нибудь. Как мы ищем нередко тех, кто рядом, так еще чаще мы не знаем, что высшее благо – наша цель – совсем недалеко.

Чтобы заключить, что есть высшее благо, не нужно долгих слов и околичностей: нужно лишь, так сказать, ткнуть в него пальцем; и еще нельзя его дробить. Да и какая надобность делить его на частицы, когда можно просто сказать: «Высшее благо – то, что честно», или, чтобы ты удивился еще больше: «Только то и благо, что честно, а все остальные блага ложные и поддельные». (5) Если ты убедишь себя в этом и проникнешься любовью к добродетели (потому что просто любить ее мало), тогда для тебя будет удачей и счастьем все, к чему она причастна, каково бы оно ни было на чужой взгляд: и пытка, если ты останешься под нею спокойней твоего палача, и болезнь, если не станешь проклинать судьбу и поддаваться недугу. В конце концов все, что для других зло, для тебя смягчится и обернется благом, если сам ты станешь выше этого. Пусть будет для тебя ясно одно: нет блага, кроме того, что честно; и все бедствия по праву назовутся благами, если их сделает честными добродетель. (6) Многим кажется, что мы обещаем больше, чем совместимо с человеческим уделом. И недаром: ведь они смотрят только на плеть! Пусть обратят взгляд на душу – и придется им мерить человека мерой божества.

http://library.ziyonet.uz/

Поднимись же, Луцилий, лучший из людей, и брось эту словесную игру, которой философы низводят самое великое до разбора слогов и унижают, уничтожают душу, обучая ее пустякам; тогда сам ты станешь подобен первооткрывателям, а не учителям, по чьей вине философия кажется не великой, а трудной. (7) Сократ, призвавший всю философию возвратиться к людским нравам, сказал, что высшая мудрость – различать благо и зло. «Не упускай их из виду, – говорит он [1], – если мои слова что-нибудь для тебя значат, – и ты достигнешь блаженства. И пусть ты кому-нибудь покажешься глупцом – терпи это! Пусть, кто хочет, бранит тебя и оскорбляет, – ты от этого не пострадаешь, если добродетель будет с тобою. Если ты хочешь быть блаженным, быть поистине мужем добра, позволь другим презирать тебя». Этого не допустит никто, кроме тех, для кого все блага равны, ибо нет блага, не причастного честности, честность же во всех благах равна.

(8) Как же так? Нет разницы, избран ли Катон претором [2], или провалился? Победил ли он в Фарсальской битве, или побежден? Равны ли между собой эти блага, если одно заключалось в том, что он и на стороне побежденных не мог быть побежден, другое в том, что он победителем вернулся бы в родной город и установил бы мир? – А разве не равны? Одна и та же добродетель и побеждает враждебность судьбы, и умеряет ее милость, а добродетель всегда одного роста и не может быть выше или ниже. – (9) «Но Помпеи потеряет войско, но лучшие граждане – краса государства, – и передовой отряд помпеянцев, вооружившийся сенат, будут истреблены в одном бою и крушением великой власти разбросаны по всему миру: часть окажется в Египте, часть в Африке, часть в Испании. И даже этого не дано будет несчастной республике – испытать одно лишь крушенье!»[3] (10) Пусть будет, что будет! Пусть не поможет Юбе в собственном царстве ни знание местности, ни стойкая доблесть подданных в защите своего царя, пусть жители Утики изменят своей верности, сломленные бедами, пусть предаст Сципиона счастье, сопутствовавшее в Африке его имени; но давно уже сделано все, чтобы Катон не понес урона[4]. (11) – «Все-таки он побежден!» – Ну так причисли и это к его поражениям на выборах: пусть преграды не подпустили его ни к претуре, ни к победе, он переносит это с одинаковым мужеством. В день своего провала он играл в мяч, в ночь смерти читал книгу; для него было все равно, что лишиться претуры, что жизни: ведь он убедил себя в необходимости стойко терпеть любые превратности случая. (12) Мог ли он снести перемену в государстве иначе как со спокойствием и твердостью духа? Что избавлено от опасности перемены? Ни земля, ни небо, ни даже совокупность всех вещей, хотя и движимая и направляемая богом! Не всегда сохранится в ней нынешний порядок, и какой-нибудь день собьет ее с нынешнего пути. (13) Всему свое время, все должно родиться, вырасти, угаснуть. Все, что ты видишь, что вращается над нами, окружает нас, на чем мы стоим, как на прочнейшем основании, – все убывает и сходит на нет. У всего есть своя старость, все природа приводит, хоть и в разные сроки, но к одному рубежу. Что есть, того не будет, оно не погибнет, но распадется. (14) А для нас такой распад означает гибель: ведь мы смотрим только на ближайшее, а что дальше, того не прозревает слабый дух, подчинивший себя плоти, – не то бы он мужественнее перенес неизбежность кончины и своей, и близких, если бы надеялся, что все проходит своим чередом через жизнь и смерть и что возникшее распадается, а распавшееся возникает, ибо в этом труде и состоит вечное искусство божества – устроителя вселенной. (15) И тогда любой, обозрев минувшие века, скажет, подобно Катону: «Весь род человеческий, который был и который будет, обречен смерти; про все города, достигшие могущества и бывшие великим украшением чужих держав, когда-нибудь спросят, где они находились, – потому что все их уничтожит какая-нибудь напасть: одни разрушит война, другие истощат мир и праздность, обратившиеся в лень или роскошь – губительный плод великих богатств. Все плодородные поля скроет внезапно разлившееся море или поглотит сброс нежданно осевшей и разверзшейся почвы. Так что же мне негодовать или сетовать, если я немного опережу общую участь?» (16) Великий дух послушен божеству и не медлит претерпеть то, что велит закон вселенной. Он покидает жизнь либо для лучшей доли – светлого и спокойного пребывания среди богов, либо уж наверняка чтобы не чувствовать ничего неприятного, смесившись со всей природой и вернувшись в ее целокупность.

Значит, честная жизнь Катона есть не большее благо, чем честная смерть, ибо добродетель не увеличивается. Сократ говорил: «Добродетель и истина – одно», и как не растет истина, так не растет и добродетель: если она есть, то в полную меру. (17) Выходит, нет причин удивляться то-

му, что равны между собою блага, принимаемые нами намеренно, и блага, навязанные обстоятельствами. Ведь если ты допустишь их неравенство и признаешь мужество под пыткой меньшим благом, то скоро ты сочтешь его злом и назовешь несчастными и Сократа в темнице, и Катона, раздирающего рану с большим мужеством, чем нанес ее, а самым жалким – Регула, казнимого за верность данной врагам клятве. Но сказать такое не осмеливались даже самые изнеженные, кто, не признавая его блаженным, все же не считал и несчастным. (18) Древние академики признавали, что можно и под пыткой быть блаженным, но не до конца, не полностью5. С этим согласиться нельзя: кто не блажен, тот не достиг высшего блага; а высшее благо не имеет более высокой степени, если в нем присутствует добродетель, которую не уменьшили бедствия, не искалечили телесные увечья. Она постоянна: ведь добродетель, как я понимаю, мужественна и высока духом, все враждебное ее только поощряет. (19) То мужество, которым часто преисполняются благородные по задаткам юноши, когда их поражает красота какого-нибудь подвига, так что они готовы презреть все случайное, – его внушит нам и подарит мудрость. Она убедит нас, что только честное есть благо, что оно не может ни убавиться, ни прибавиться, – также как нельзя согнуть мерило, которым проверяют прямизну. Что ты в нем ни изменишь, все повредит прямизне. (20) То же самое мы скажем о добродетели: и она пряма, согнуть ее нельзя; стать тверже она может, вырасти – нет. Она судит обо всем, ей никто не судья. И как она сама не может стать прямей, так то, что делается в соответствии с нею, не бывает одно прямее другого: ведь все вымерено по ней и, значит, одинаково. (21) Ты скажешь: «Значит, все равно, лежать ли на пиру, или под пыткой?» – Это кажется тебе удивительным? Ну что ж, удивляйся еще больше: возлежать на пиру – зло, висеть на дыбе благо, если первое постыдно, второе – честно. И то, и другое – благо или зло не само по себе, а в зависимости от добродетели: где она появляется, там все – одной меры и цены. (22) Пусть любой, кто о мужестве всех судит по своему собственному, колет мне глаза моими словами о том, что равные блага – стойко вынести бедствия и честно судить об удачах[6], что равные блага – справлять триумф и с несломленным духом плестись перед колесницей7. Они мнят, будто и не бывает того, что им самим не под силу, и выносят приговор добродетели, глядя на собственную немощь. (23) Надо ли удивляться тому, что порой нам приятны и даже милы и огонь, и раны, и смерть, и цепи? Для привыкшего к роскоши воздержность – наказанье; для ленивца труд – пытка; избалованный жалеет деятельного; для празднолюбца усердье – мука. Так и все мы то, что нам не по плечу, считаем непереносимо трудным, забывая, что для многих мученье – остаться без вина или просыпаться на рассвете. Не так трудно все это по природе, как мы сами хилы и бессильны. (24) Чтобы судить о всяких делах, нужно величие духа, а не то мы припишем им наши пороки. Так прямые предметы, погруженные в воду, кажутся взгляду искривленными и переломленными. Важно не только то, что ты видишь, но и как: наша душа видит слишком смутно, чтобы разглядеть истину. (25) Дай мне неиспорченного юношу живого нрава – и он скажет, что ему представляется самым счастливым тот, кто не согнется, подняв на плечи груз бедствий, кто возвысился над фортуной. Ничего удивительного быть безмятежным среди спокойствия; удивляйся, если кто поднимает голову там, где все поникают, стоит там, где все лежат. (26) Много ли зла в пытках, во всем, что мы называем бедствиями? На мой взгляд, только одно: они подрезают наш дух, сгибают его, придавливают; но с мужем мудрым этого быть не может. Он ни под какой тяжестью не согнется, ничто не сделает его ниже, и все, что приходится сносить, будет ему по нраву. Ибо он не жалуется, когда на его долю выпадает что-нибудь из того, что может выпасть человеку. Он знает свои силы, знает, что должен носить тяжести. (27) Я не исключаю мудреца из числа людей, не утверждаю, что он чужд боли, словно бесчувственная скала. Я не забываю, что и он сложен из двух частей: одна из них чужда разума – она чувствует терзания, ожоги, боль; другая – разумная, и она тверда в своих мнениях, бестрепетна, непобедима. В ней-то и заключено высшее благо человека; пока оно не достигло полноты, дух колеблется в нерешительности, когда оно станет совершенным, дух делается спокойным и недвижимым. (28) Начинающий – тот, кто стремится к высшему благу и чтит добродетель, – даже если приблизился к совершенному благу, но еще не дошел до конца, может порой остановиться и ослабить напряжение духа, ибо еще не миновал полосы нерешительности и остается на скользкой почве. А кто блажен, в ком добродетель совершенна, любит себя тем больше, чем смелее пройдет через испытания, и страшное для всех прочих не только выдержива-

ет, если этой ценою честно выпол няется долг, но и принимает с радостью, предпочитая слышать о себе «вот храбрец!», чем «вот счастливец!»

(29) Теперь перейду к тому, куда зовет меня твое ожидание. Не думай, будто наша добродетель витает за пределами природы: нет, мудрец и задрожит, и побледнеет, и боль почувствует; ведь все это ощущения тела. Но где бедствие? Где истинное зло? Там, конечно, где тяготы заставляют пасть духом, признать себя рабом, раскаяться в том, что ты таков. (30) Мудрец побеждает фортуну добродетелью; но скольких мудрецов по ремеслу страшит малейшая угроза! В этом и есть наша ошибка: всего, что сказано о мудром, мы требуем от начинающих. Что я хвалю, в том хочу убедить себя, но еще не убедил; а если бы и убедил, все равно дух мой не настолько закален, чтобы с готовностью идти против всех превратностей. (31) Как шерсть одну краску впитывает сразу, другую – только когда долго мокнет и варится в ней, так одни учения ум удерживает, едва восприняв, а это учение, если не проникло глубоко и надолго, если не окрасило, а только испачкала душу, не даст ей ничего из обещанного. (32) Преподать его можно быстро и в немногих словах: есть одно благо – добродетель, и помимо нее благ нет; добродетель заключена в лучшей, то есть разумной, части нашего существа. Что же такое эта добродетель? Истинное и непоколебимое суждение; от него душа получает все побуждения, через него становятся ясны все те видимости, от которых побуждения исходят. (33) Держаться этого суждения – значит считать все, к чему причастна добродетель, благом, а все блага – равными.

Телесные блага суть блага для тела, а не блага во всем. В них есть своя ценность, но благородства в них нет, и между собою они далеко не равны: одни бывают больше, другие меньше. (34) И между приверженцами мудрости есть большие различия – этого невозможно не признать. Один преуспел лишь настолько, что осмеливается взглянуть в лицо судьбе, но ее взгляда не выдерживает и опускает глаза, ослепленные блеском; другой настолько, что ему под силу сойтись с ней лицом к лицу, – если он достиг вершины и не знает сомнений. (35) Несовершенное не может быть стойким: оно то движется вперед, то оскользается и никнет. Пусть оскользаются, лишь бы шли вперед и не оставляли стараний; но стоит ослабить неустанное рвение, перестать напрягаться – и поневоле пойдешь назад. Отступившись, не вернешься к достигнутому. Так будем усердны и упорны! (36) Пусть кое с чем мы сладили, но остается еще больше. Однако немалая часть успеха желание преуспеть. Это я знаю твердо, а потому и хочу, хочу всей душой. И тебя, я вижу, подстегивает то же самое желание, так что ты неудержимо спешишь к самому прекрасному. Поспешим вместе! Только так жизнь будет благодеянием, а не то жить – значит терять время, постыдно мешкая среди всяческой мерзости. Добьемся же, чтобы время принадлежало нам. Но этому не бывать, покуда мы сами не будем принадлежать себе. (37) Когда удастся нам презреть и вражду, и милость фортуны? Когда посчастливится нам, подавив и подчинив своей власти всякую страсть, воскликнуть: «Я победил!» – Кого, – спросишь ты? – Не персов, не далеких мидийцев, не живущие дальше дагов8 воинственные племена, если есть такие, – но скупость, но честолюбие, но страх смерти, которыми бывали побеждены победители народов. Будь здоров.

Письмо LXXII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) То, о чем ты меня спрашиваешь, было ясно мне само собою, когда я это дело изучал. Но давно уже я не упражнял память, и она с трудом меня слушается. Со мной, я чувствую, случилось то же, что бывает с книгами, слипшимися от долгого лежания; надо расправить душу и время от времени перетряхивать то, что в ней накопилось, чтобы оно было наготове в любой миг, когда потребуется. Так что покуда я отложу ответ: на него нужно потратить много труда и стараний. Я возьмусь за это дело, когда у меня будет надежда посидеть подольше на месте. (2) Есть вещи, о ко» торых можно писать и в двуколке; а есть такие, что требуют ложа, досуга, уединенья. И все-таки даже в те дни, когда ты завален делами, нужно чем-то заниматься – и заниматься весь день. Ведь не бывает так, чтобы не возникали все новые дела, – мы сами сеем их, так что из одного вырастает несколько, а потом сами же даем себе отсрочку. – «Когда я закончу то-то, тогда налягу всеми силами; когда улажу эту неприятность, тогда и предамся ученым заня-

тиям». – (3) Нет, философии нельзя отдавать один лишь досуг – надо всем пренебречь ради усердия к ней, для которой никакого времени не хватит, хотя бы наша жизнь и продлилась до крайнего срока, отпущенного людям. Бросишь ли ты философию на время или насовсем – разницы нет: она не останется там, где ты прервал занятия, – нет, как распрямляется сжатое силой, так возвращается к самому началу все, что не движется непрерывно вперед. Нужно сопротивляться делам и не распределять их, а устранять. Не бывает времени, неподходящего для спасительных занятий, хотя многие оставляют их из-за тех дел, ради которых и нужны занятия. (4) «Но случается, что-нибудь и мешает». – Мешает, да не тому, чья душа при любых хлопотах радостна и окрылена. Веселье не достигших совершенства прерывается, радость мудреца постоянна, ее не прервет никакая причина, никакая судьба. Мудрый всегда и везде спокоен. Ведь он от чужого не зависит и не ждет милости ни от фортуны, ни от людей. Счастье у него как дома: будь это счастье в его душе пришлым, оно бы и ушло оттуда, но ведь оно в ней и родилось. (5) Иногда подступает извне нечто, напоминающее о неминуемой смерти, – но лишь слегка задевает поверхность кожи. Какая-нибудь неприятность, повторяю, обдаст его своим дыханьем, но величайшее его благо непоколебимо. Итак, все неприятное остается вовне: так порой на здоровом, крепком теле вскакивают прыщи или язвочки, но внутри нет никакой болезни. (6) Между достигшим мудрости и идущим к ней та же, повторяю, разница, что между здоровым и оправляющимся от долгой и тяжелой болезни, у которого нет еще здоровья, а есть облегчение недуга. Не будет он внимателен – наступит ухудшение, и все начнется сначала. А мудрец не может ни заболеть снова, ни занемочь тяжелее. Телу здоровье дается на время, врач, если и вернет его, то не навсегда, и часто врача зовут к тому же, к кому приглашали прежде. А душа излечивается раз навсегда. (7) Я скажу тебе, как распознать здорового: он доволен собою, доверяет себе, знает, что для блаженной жизни ничего не дают ни все молитвы смертных, ни те благодеяния, которые оказывают, которых добиваются. Ведь все, к чему можно прибавить, несовершенно, от чего можно отнять, не вечно; а кому нужна вечная радость, тот пусть радуется только своему. Все, на что зарится толпа, притекает и утекает; фортуна ничего не дает во владение, но и преходящие ее дары приятны лишь тогда, когда разум их приправит и смешает: ведь это он умеет придавать вкус даже тем внешним благам, которые невкусно поглощать с жадностью.

(8) Аттал часто приводил такое сравнение: «Видел ты когда-нибудь, как собаки ловят на лету кусок хлеба или мяса, брошенный хозяином? А что поймает, она сразу заглатывает целиком и снова разевает пасть в надежде на будущее. Так же и мы: если фортуна что и бросит нам, насторожившимся в ожиданье, – мы и то проглатываем без всякого удовольствия и снова стоим, навострив уши и готовые схватить». С мудрым такого не бывает: он всегда сыт. А если ему и попадется что-нибудь, он берет спокойно и откладывает в сторону. Он наслаждается величайшей, постоянной и незаемной радостью. (9) А если кто и полон доброй воли, и сделал успехи, но еще далеко не дошел до вершины, тот попеременно то возносится, то падает духом, то поднимается к небесам, то стелется по земле. Тяжело нагруженные и неопытные падают бесконечно, летят, словно в беспредельную пустоту Эпикурова хаоса. (10) Но есть и третий род людей: они уже совсем подошли к мудрости, и хотя не достигли ее, но она у них перед глазами, до нее рукой подать. Такие уже не будут поколеблены, не отойдут вспять: они хоть и не на суше, но уже в гавани.

(11) Вот и выходит: если так велика разница между взошедшими к вершине и оставшимися внизу, если даже достигшие середины не только получают плоды, но и рискуют скатиться вниз [1], то мы не должны давать простор делам. И нельзя допускать их к себе: стоит войти одному – и оно приведет на свое место сотню других. Поставим же им преграду в самом истоке! Лучше пусть не начинаются, чем прекратятся. Будь здоров.

Письмо LXXIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) По-моему, ошибаются те, кто полагает, будто верные приверженцы философии из непокорности и упрямства презирают должностных лиц и царей, словом, всех, кто управляет об-

щественными делами. Наоборот, ни кто не чувствует к ним такой благодарности, и недаром: никто не получает от них больше тех, кому они дают покой и досуг. (2) Поэтому люди, чья высокая цель – жить праведно – недостижима без общего спокойствия в государстве, непременно будут чтить как отца подателя этого блага – куда больше, чем те не знающие покоя в гуще дел, которые многим обязаны правителю, но во многом его и винят, и чью жадность, возрастающую по мере насыщения, не утолит никакая щедрость. Кто думает, как бы получить, забывает о полученном, и самый гнусный порок жадных – неблагодарность. (3) К тому же любой из причастных к делам государства смотрит не на то, скольких сам побеждает, а на тех, кто может его победить; для этих не так радостно видеть многих у себя за спиной, как горько глядеть хоть на одного, бегущего впереди. Это общий порок честолюбцев: они не оглядываются. И не только честолюбие не знает покоя, но и вообще алчность: всякий конец для нее – лишь начало. (4) А человек чистосердечный и порядочный, который покинул курию и форум и отошел от государственных дел ради дел более важных, любит тех, чья охрана дает ему такую возможность, и только он один безвозмездно свидетельствует им свою благодарность за великую услугу, оказанную неведомо для них самих. И те, под чьей защитой занимается он благородными искусствами, чтимы и уважаемы им не меньше, чем наставники, чьим благодеянием мог он выйти из тупика. – (5) «Но ведь и других царь защищает своей силой». – Кто с этим спорит? Но как из всех, кому на пользу морская тишь, больше всего считает себя обязанным Нептуну тот, кто больше вез и чей товар ценней, как ревностней исполняет обет купец, чем путешественник, а из купцов щедрее благодарность того, кто вез идущие на вес золота благовония и пурпур, нежели того, чьи товары стоят не дороже корабельного балласта, – так и благодеянье мирной жизни, оказанное всем, глубже чувствует муж, который пользуется ею во благо. (6) Ведь среди облаченных в тогу немало таких, для кого мир хлопотнее войны. Или, по-твоему, так же обязаны подателю мира те, кто тратит мирное время на пьянство, и блуд. и другие беспутства, которым надо положить конец даже ценою войны? Неужели, ты полагаешь, мудрец до того несправедлив, что не считает лично себя обязанным за благодеяние, оказанное всем? Я обязан и солнцу, и луне – а они не для меня одного восходят; я благодарен году и божеству, управляющему его временами, – хотя все это устроено не в мою честь. (7) Только глупая жадность смертных различает владенье и собственность и не считает своим принадлежащее всем. А мудрый считает своим больше всего то, чем владеет сообща с человеческим родом. Ведь оно не было бы общим, если бы каждый не имел своей доли, и как бы эта доля ни была мала. каждый становится соучастником. (8) К тому же великие и подлинные блага делятся не так. что на душу приходится лишь ничтожная часть: нет. каждому достается все целиком. Из предназначенного к раздаче люди уносят столько, сколько обещано на одного; угощение и даровое мясо и все. что можно взять в руки. расходится по частям; а вот неделимые блага – свобода, мир – целиком принадлежат и всем вместе, и каждому в отдельности. (9) Мудрец помнит, благодаря кому пользуется их плодами, благодаря кому общественная необходимость не призывает его к оружию, к несению стражи, к охране стен и ко всем многочисленным военным трудам, и он благодарен своему кормчему. Тому и учит философия: быть благодарным за благодеяния и платить за них благом; но порой сама признательность служит платой.

(10) Значит, мудрый не станет отрицать, сколь многим он обязан тому, чье управление и попечение даруют ему щедрый досуг, и право распоряжаться своим временем, и покой, не нарушаемый общественными обязанностями.

О Мелибей, мне бог даровал такие досуги, Ибо всегда для меня он будет богом...

(11) Если говорящий так многим обязан за этот досуг, наивысший дар которого – в том, что

Он и коровам моим пастись, как видишь, позволил,

И самому мне играть, что хочу, на сельской тростинке,[1]

то во сколько же оценить нам досуг, проводимый среди богов и нас самих делающий богами?

(12) Так я утверждаю, Луцилий, и зову тебя к небесам кратчайшей дорогой. Секстий часто говорил: «Юпитер может не больше, чем муж добра». У Юпитера есть много такого, что посылает он людям; но из двух мужей добра не будет лучшим тот, который богаче, как из двух одинаково искусных в обращении с кормилом не назовешь лучшим того, чей корабль больше и наряднее. (13) Чем Юпитер превосходит добродетельного человека? Он добродетелен дольше.

Мудрый ценит себя ничуть не ниже оттого, что его добродетелям отмерено недолгое поприще. Так из двух мудрецов умерший в старости не блаженнее того, чья добродетель была ограничена немногими годами; так и бог берет над мудрецом верх не счастьем, а долгим веком. (14) Не та добродетель больше, что жила дольше. Юпитер всем владеет, – но все отдает другим во владение. И одним только правом пользуется он один быть подателем всего, чем пользуются люди. Мудрый с таким же презрительным спокойствием видит все в чужих руках, как и сам Юпитер, и ценит себя еще выше потому, что Юпитер не может всем этим пользоваться, а мудрец не хочет. (15) Поверим же Секстию, указывающему прекраснейший путь и восклицающему:

«Так восходят до звезд! [2] Так, следуя за умеренностью; так, следуя за воздержностью; так, следуя за храбростью!» – Боги не привередливы и не завистливы; они пускают к себе и протягивают руку поднимающимся. (16) Ты удивляешься, что человек идет к богам? Но и бог приходит к людям и даже – чего уж больше? – входит в людей. Нет благомыслия без бога. В человеческое тело заброшены божественные семена; если их примет добрый землепашец, взойдет то, что посеяно, и урожай будет под стать семени, из которого возрос; а если дурной, – они умрут, как в бесплодной болотистой почве, и взойдут сорняки вместо злаков. Будь здоров.

Письмо LXXIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Твое письмо и обрадовало меня, и ободрило в моей вялости, и еще разбудило мою память, теперь неповоротливую и ленивую. Неужели ты, мой Луцилий, сомневаешься в том, что наилучшее средство достичь блаженной жизни – это убежденье в одном: только то благо, что честно? Кто считает благом нечто иное, переходит под власть фортуны и зависит от чужого произвола; а кто ограничил благо пределами честности, – у того счастье в нем самом. (2) Одного печалит утрата детей, другого тревожат их болезни, третьего мучит их позор или обида, им нанесенная. Того изводит любовь к чужой жене, этого – к своей собственной; найдутся и такие, кого терзает провал на выборах, и такие, кому сама почетная должность не дает покоя. (3) Но самую многолюдную толпу несчастных из числа смертных составят те, кого томит ожидание смерти, отовсюду угрожающей нам, ибо нет такого места, откуда бы она не могла явиться. Вот и выходит, что нам, словно на вражеской земле, надо озираться во все стороны и на всякий шум поворачивать голову. Если не отбросить этот страх, придется жить с трепещущим сердцем. (4) Встретятся нам и сосланные и лишенные достояния, и те, кому мало их богатств, – а это худший род бедности; встретятся и потерпевшие крушение или подобие крушения – те ничего не ожидавшие и уверенные в будущем, кого либо гнев народа, либо зависть, злейшая пагуба лучших людей, стали швырять, словно буря, как раз тогда и налетающая, когда пловцы доверятся ясной погоде, или поразили, словно внезапная молния, приводящая в трепет всех вокруг. Ибо как в грозу всякий, кто стоял ближе к огню, цепенеет наравне с задетым молнией, так и при всяком несущем беду насилии одного поражает несчастье, остальных – страх, и возможность беды печалит их не меньше, чем потерпевшего – беда. (5) Чужие внезапные горести тревожат душу всех свидетелей. Как птиц пугает звук пустой пращи, так мы бежим прочь не только от удара, но и от шума.

Не может быть блаженным тот, кто поверил пустому мненью. Ведь нет блаженства без неустрашимости, а жить среди опасений плохо. (6) Кто больше всего предан случайному, тому не выпутаться из тревог: слишком много поводов к ним он сам для себя создал. Кто хочет прийти в безопасное место, тому одна дорога: презирать все внешнее и довольствоваться тем, что честно. Ведь кто думает о добродетели, будто есть благо больше нее и кроме нее, тот подставляет полу, чтобы поймать брошенную фортуной подачку, и ждет в тревоге, что же она пошлет. (7) Нарисуй-ка в душе такую картину: фортуна – устроительница игр – осыпает собравшихся смертных почестями, богатствами, милостями; но кое-что пропадает, разорванное расхватывающими руками, кое-что приходится делить с бесчестными сотоварищами, кое-что приносит великий ущерб тем, кому достается; часть оказывается у тех, кому нет до этого дела, часть теряется, потому что расхватывается слишком жадно, или пропадает на стороне, потому что уносится слишком поспешно. И даже удачно хватавшему захваченное не принесет надолго радости. Так

что всякий, кто благоразумней других, едва увидев, как вносят подарки, убегает из театра, зная, до чего дорого обходятся пустяки. Никто не сцепится с уходящим врукопашную, никто не ударит удаляющегося: вся свалка – вокруг добычи. (8) Так же обстоит дело и со всем, что с высоты швыряет нам фортуна. Мы, несчастные, бушуем, разрываемся на части, жалеем, что рук только две, оглядываемся то в ту, то в эту сторону. Нам кажется, что дары ее, раззадоривающие наши вожделенья, раздаются слишком поздно и достаются немногим, хоть ждут их все. (9) Они падают – мы готовы кинуться к ним; захватим что-нибудь и радуемся, что других обманула пустая надежда; дешевая добыча часто стоит нам большой неприятности или обманывает нас, оставив ни с чем. Так уйдем с этих игр, уступим место хватающим! Пусть они зарятся на эти ненадежные блага, чтобы вся их жизнь стала еще более ненадежной.

(10) Кто решил достичь блаженства, тот пусть помнит, что есть одно только благо – честность. А если он видит и другие блага, значит, он плохо думает о провидении, потому что с людьми справедливыми случается много неприятностей и потому, что все, уделяемое нам от него, кратковечно и ничтожно в сравнении с долговечностью всей вселенной. (11) Вот от таких-то жалоб и получается, что мы оказываемся неблагодарными истолкователями божественной воли. Мы сетуем, что все достается нам и не всегда, и помалу, и не наверняка, и ненадолго. Поэтому ни жить, ни умирать мы не хотим: жизнь нам ненавистна, смерть страшна. Всякий наш замысел шаток, и никакая удача не может нас насытить. А причина в том, что мы еще не достигли неизмеримого и непревзойденного блага, на котором не может не остановиться наше хотение, так как выше вершины нет ничего. (12) Ты спросишь, почему добродетель ни в чем не нуждается? – Она довольствуется тем, что есть, не жаждет того, чего нет; если есть, сколько нужно, ей не бывает мало. Откажись от этого суждения – и не останется ни благочестия, ни верности. Ведь желающему быть и верным, и благочестивым придется вытерпеть многое из того, что принято называть злом, и пожертвовать многим из того, чему мы привержены как благу. (13) Погибнет мужество, которое в том и состоит, что мы должны рисковать собою; погибнет благородство, которое только тогда и может возвыситься, когда с презрением сочтет мелким все то, чего толпа желает как самого великого; погибнет благодарность, которую никто не воздаст, если бояться труда, если признавать что-нибудь более ценным, чем верность, и не стремиться к самому лучшему.

(14) Но перейдем к другому. Либо благо – совсем не то, что так именуется, либо человек счастливее бога: ведь того, что готово для нас, у бога нет и в заводе; он чужд и похоти, и изысканности пиров, и богатств, и всех этих приманок, завлекающих человека дешевыми наслаждениями. Значит, либо придется поверить, что бог лишен благ, либо это как раз и доказывает, что все, чего лишен бог, не есть благо. (15) Прибавь еще одно: то, что хочет прикинуться благом, отпущено животным щедрее, чем людям. Они и прожорливее нас, и неутомимее в любви, и сил у них больше, и здоровье более крепкое и стойкое; следовательно, они намного счастливее человека. Да и живут они, не зная ни низости, ни козней, и наслаждаться они могут больше и легче нас, не опасаясь ни стыда, ни раскаянья. (16) Так рассуди же, можно ли назвать благом то, в чем человек превосходит бога. Высшее благо мы должны хранить в душе; оно лишится всякой цены, если перейдет из лучшей части нашего существа в худшую, если будут полагать его в чувствах, которые у бессловесных животных деятельнее, чем у нас. Нельзя думать, будто плоть – источник высшего нашего счастья. Те блага истинные, которые даются разумом, они и прочны, и постоянны, и не могут ни погибнуть, ни пойти на убыль. (17) Прочие же блага мнимые, имя у них то же, что и у благ истинных, но свойств блага в них нет. Их следует именовать «благополучными» или (лучше скажу на нашем языке) «предпочтительными» обстоятельствами и помнить, что они – наши слуги, а не части нас самих; пусть они будут при нас, но нам нельзя забывать, что они вне нас. Даже покуда они при нас, – причислять их надо к вещам второстепенным и незначительным, которыми никто не должен кичиться. Есть ли что глупее, чем гордиться собою по поводу того, к чему сам не приложил рук? (18) Пусть благополучие к нам пришло, – но оно не срослось с нами, так что, если его отнимут, можно потерять его без кровавых ран. Будем пользоваться им, но не похваляться; да и пользоваться будем умеренно, словно доверенным нам достоянием, которое придется вернуть. Неразумный, достигши благополучия, долго его не удержит: ведь счастье, если забыть о мере, само себя душит. Кто поверил мимолетным благам, тот быстро их лишится; а если и не лишится, будет ими раздавлен. Немногим удалось мягко сложить с плеч

бремя счастья; большинство падает вместе с тем, что их вознесло, и гибнет под обломками рухнувших опор. (19) Потому-то и нужно благоразумие, которое указывает меру и учит бережливости, между тем как невоздержность сама спешит разрушить собственное благополучие. Где нет меры, там и срок короток, если только не наложит узды укротитель-разум. Свидетельство этому – судьба многих городов, чья надменная власть пала в полном расцвете, потому что все накопленное добродетелью погубила неумеренность. От таких превратностей и надобно защищаться. Нет стен, непобедимых для фортуны; так возведем укрепления внутри себя! Если здесь все надежно, человека можно осаждать, но нельзя взять приступом. – (20) Ты хочешь знать, каковы эти укрепленья? – Что бы с тобой ни случилось, не выходи из себя; знай, что все направленное, на первый взгляд, к твоему ущербу, служит сохранению вселенной, что в нем-то как раз и осуществляется положенный миру кругооборот. Что угодно богу, то пусть будет угодно и человеку; пусть он дивится в себе только тому, что смог стать непобедимым и научился попирать всякое зло, что благодаря разуму, сильнее которого нет ничего, подчинил себе превратности, боль и обиду. (21) Люби разум – и эта любовь даст тебе оружие против жесточайших испытаний. Любовь к детенышу гонит зверя на рогатину, дикость и неразумный порыв делают его неукротимым. Души юно шеи жажда славы полнит презрением к мечам и огню; некоторых призрак и тень добродетели заставляют по своей воле идти на смерть. Но куда более отважен и стоек в сравнении со всем этим разум! И тем решительнее вырвется он из любых страхов и опасностей. (22) «Это не дело – отрицать всякое благо, кроме честности! Такие валы и рвы не защитят и не укроют вас от ударов фортуны! Вы сами признаете, что к числу благ относятся и преданность детей, и добрые нравы сограждан, и любовь родителей. На грозящие им опасности вы не можете смотреть спокойно: вас не оставят равнодушными смерть детей, сограждане в осаде, родители в рабстве». – (23) Я изложу сперва то, что обычно отвечают на такие возражения в нашу защиту, а потом и то, что, по-моему, следовало бы еще ответить. Одно дело – когда то, чего мы лишаемся, оставляет взамен что-нибудь неприятное: так крепкое здоровье, если его испортить, превращается в болезненность, острое зрение, притупившись, делает нас слепыми; а когда подсечены колени, мы не только теряем проворство, но и делаемся бессильны. Другое дело – все то, что перечислено раньше: тут нам такая опасность не грозит. Почему? Если я потеряю благородного друга, мне не придется взамен страдать от коварства; если я похороню добрых детей, их места не займут бесчестные. (24) И потом – теряем мы не друзей, не детей, но их тела. Человек добра погибает не иначе, как ставши дурным; а этого не допускает природа, потому что и добродетель, и всякое ее творение не знают порчи. И еще, пусть погибли друзья, погибли любимые дети, в которых исполнились молитвы отца, – есть нечто, способное заполнить пустоту утраты. – Ты спросишь, что это? – То самое, что сделало их достойными: добродетель. (25) Она не допускает ни пяди пустоты, занимает всю душу, не дает тосковать; ее одной нам довольно, ибо она – суть и начало всех благ. Задерживают ли проточную воду, утекает ли она – разве это важно, если цел ее источник? Ведь если один потерял детей, другой нет, ты не скажешь, будто в жизни второго больше справедливости или больше порядка, больше разумности, больше честности – словом, будто она лучше? Мы не становимся мудрее оттого, что друзей у нас множество, или глупее оттого, что их теряем; а значит, не становимся ни блаженнее, ни несчастнее. Покуда цела добродетель, ты не почувствуешь никакой утраты.

– (26) «Что же, разве не блаженнее окруженный толпою друзей и детей?» – Чем он блаженнее? Ведь высшее благо не знает ни ущерба, ни прироста; оно всегда в одних пределах, как бы ни вела себя фортуна. Отпущена ли человеку долгая старость или он скончается, не дожив до старости, – хоть век будет различен, мера высшего блага не изменится. (27) Начертишь ли ты больший или меньший круг, – это скажется лишь на его площади, а не на его форме; и пусть один круг останется надолго, другой ты, едва очертив на песке, тут же сотрешь – форма обоих будет одна. Все, что правильно, оценивается не по величине, не по числу, не по времени; его нельзя ни расширить, ни сжать. Сокращай как хочешь честно прожитую жизнь, сведи ее от столетия к одному дню – она не станет менее честной. (28) Иногда добродетель распространяется вширь, – пра вит царствами, городами, провинциями, законодательствует, щедра на услуги детям и близким; иногда стеснена узкими пределами бедности, изгнанья, одиночества; но она не становится меньше, сведенная с вершин в частную жизнь, из царских чертогов в низкую хижину, (29)

лишенная обширных прав в государстве и запертая в одном доме, в тесном углу. Она не теряет величия, когда уходит в себя, отовсюду изгнанная, потому что вопреки всему велик и несгибаем ее дух, совершенна мудрость, непреклонна справедливость. А значит, не теряет она и блаженства, которое все заключено в одной только душе, и остается огромным, непоколебимым и безмятежным, чего нельзя достичь без знания всех дел божеских и человеческих.

(30) А теперь о том, что, как было сказано, хотел бы ответить я. Мудрого не удручает утрата детей или друзей: он с тем же спокойствием переносит их смерть, с каким ждет своей, и как своей смерти он не боится, так о смерти близких не горюет. Добродетель сильна последовательностью: все ее дела согласны и созвучны с нею, но это созвучие гибнет, если дух,. которому надлежит быть высоким, угнетен тоской или скорбью. Всякий трепет и тревога, и леность в любом деянии несовместимы с честностью. Ибо честность спокойна и неустрашима, она всегда налегке, всегда наготове. – (31) «Что же, мудрецу не знакомо даже подобие волнения? Не побледнеет он, не изменится в лице, не похолодеют у него руки? Не почувствует он ничего из того, что происходит с нами не по велению души, а безотчетно, под внезапным действием самой природы?» – Почувствует, конечно. Но останется при своем убеждении, что все это – еще не зло и здоровому духу ради этого поникать не пристало. Все, что нужно сделать, он сделает смело и быстро. (32) Кто не согласится, что это свойства глупцов – делать всякое дело вяло и неохотно, посылать тело в один конец, душу – в другой и рваться во все стороны сразу? Чем глупость кичится, за что любуется собою, за то как раз ее и презирают; и даже то, чем хвалится, она делает неохотно. А если она боится какого-нибудь несчастья, то в ожидании его страдает так, словно оно уже пришло, и боязнь приносит ей все муки, которых она страшится. (33) Как у слабых здоровьем недугу предшествуют некие признаки – вялость всех мышц» и беспричинная усталость, и зевота, и пробегающий по телу озноб, – так и слабый дух содрогается задолго до того, как обрушатся несчастья: он предвосхищает их и падает раньше времени. Но есть ли что безумнее, чем мучиться от страха перед будущим и вместо того, чтобы сохранить силы для пытки, призывать и приближать к себе те беды, (34) которые, если уж нельзя их прогнать, лучше оттянуть? Ты хочешь убедиться, что никто не должен страдать от предстоящего? Пусть кто-нибудь услышит, что через пятьдесят лет его ждет мучительная казнь, – ведь он и не взволнуется, если не перескочит через весь этот промежуток и сам себя не потопит в том горе, которое будет век спустя. То же самое, когда души, которые наслаждаются своей болезнью и сами ищут поводов для скорби, печалятся из-за того, что давно прошло и забыто. Что минуло, что настанет, этого сейчас нет, и мы ни того, ни другого не чувствуем. А больно только тогда, когда чувствуешь. Будь здоров.

Письмо LXXV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты пеняешь мне за то, что письма мои не так тщательно написаны. Но кто же говорит тщательно, кроме тех, кто хочет говорить напыщенно? Какой была бы моя речь, если бы мы вместе сидели или гуляли, – такими же необработанными и непринужденными пусть будут и мои письма, в которых я не хочу никакой изысканности, никакой нарочитости. (2) Будь это возможно, я предпочел бы без слов прямо показать тебе все, что я чувствую. Даже и споря, я бы не топал ногою, не указывал бы рукой, не повышал бы голоса, – все это я бы оставил ораторам, довольствуясь тем, что донес бы до тебя свои чувства, не приукрасив их и не унизив. (3) Одно только я хочу тебе доказать: что я говорю, то и чувствую, и не только чувствую, но и люблю. Детей целуют иначе, чем любовницу; но и в такой ласке, чистой и скромной, ясно видно чувство.

Нет, я, право же, не хочу, чтобы сказанное о таких важных вещах было постным и сухим; философия не отвергает дарованья, не нужно только слишком уж трудиться над словом. (4) Пусть будет нашей высшей целью одно: говорить, как чувствуем, и жить, как говорим. Тот исполнил свое обещание, кто одинаков, слушаешь ли ты его, или смотришь. (5) Мы увидим, каков он, велик ли он, если только он един. Пусть наши слова приносят не удовольствие, а пользу. А если украшения красноречия даются без хлопот, если они под рукой и стоят немного, – пусть будут и они, но лишь сопутствуя вещам более прекрасным. Пусть красноречие прежде показы-

вает их, чем себя. Все прочие науки совершенствуют дарованье, здесь же дело идет о душе. (6) Больной ищет не того врача, что красно говорит [1]. А кто встретит такого, что и лечить умеет, и изящно рассуждает о необходимых средствах лечения, тот, конечно, будет доволен. Но и напав на врача, к тому же еще красноречивого, не с чем себя поздравлять: это все равно, как если опытный кормчий окажется красавцем. (7) Зачем ты щекочешь мне уши? Зачем развлекаешь меня? Не в этом дело! Меня нужно прижигать, резать, отлучить от пищи! Для этого тебя позвали. Ты должен лечить болезнь тяжелую, застарелую, заразившую многих. Работы у тебя столько же, сколько у врача в пору поветрия. Ты хлопочешь о словах? Радуйся и тому, что предмет тебе по плечу! Когда ты успеешь так много выучить? Когда усвоишь выученное так прочно, что оно уже не уйдет от тебя? Когда испытаешь его? Ведь тут, не в пример прочему, мало запомнить: нужно все испробовать в деле! Блажен не тот, кто знает, а кто делает.

– (8) «Что же выходит? Ниже него нет ступенек? Сразу же за мудрецом пропасть?» – Нет, по-моему. Те, что идут к мудрости, остаются в числе неразумных, но далеко от них оторвались; да и между самими идущими разрывы велики. Они, по мненью некоторых, разделяются на три разряда. (9) Первый – это те, кто еще не овладел мудростью, но подошел к ней вплотную. Однако то, что близко, все же вне нас. – Ты спросишь, кто они такие? – Они расстались со всеми пороками и страстями; они выучили все, что надо было постичь; но их надежность еще не испытана, приобретенным благом они еще не пользуются. Правда, они уже не могут скатиться туда, откуда бежали, – с того места, куда они добрались, сползти назад нельзя; но им самим это еще невдомек, они, как я писал в одном письме, не знают, что знают нечто. Иногда им удается воспользоваться своим благом, но не удостовериться в нем. (10) Некоторые так определяют разряд, о котором у нас речь: от болезней духа они уже ушли, от страстей – нет и стоят все еще на скользком месте, потому что вне опасности – -только те, кто совсем избавился от злонравия; а избавляются от него, только когда его место заступит мудрость.

(11) О том, какая разница между болезнью души и страстью, я говорил уже не раз, теперь только напомню. Болезни – это пороки застарелые и упорные, вроде скупости или непомерного честолюбия; они, однажды овладев душой[3], тесно срастаются с ней и становятся ее постоянным злом. Короче говоря, болезнь есть извращенное, но упорное суждение, – например, что нужно изо всех сил добиваться того, чего стоит добиваться лишь без траты сил; или, если угодно, можно определить и так: это – чрезмерное стремление к вещам, стремиться к которым стоит лишь немного или вовсе не стоит; или еще: это значит дорого ценить то, что ценится дешево или вовсе не ценится. (12) Страсти же – это душевные порывы, предосудительные, внезапные и безудержные; от них, если они часты и запущены, начинаются болезни: так насморк, который не стал постоянным, переходит в кашель, а непрерывный и застарелый вызывает чахотку. Выходит, те, что продвинулись дальше других, недоступны для болезней; а страсти обуревают и тех, кто близок к совершенству.

(13) Второй разряд – это те, кто избавился от наибольших зол души и от страстей, но так, что безопасность ненадежна: они еще могут скатиться к прежнему. (14) Третий – это те, кто изжил множество тяжких пороков, но не все: скупость они прогнали, а гнев еще чувствуют; похоть их не будоражит, а честолюбие одолевает; желаний у них нет, а страх остался, или страху перед одним они стойко противятся, страху перед другим – уступают, например, смерть презирают, боли пугаются.

(15) Поразмыслим-ка немного о сказанном. Не так-то плохо обстоит с нами дело, если нас можно причислить к последнему разряду. Чтобы занять вторую ступень, нужны счастливые природные задатки, нужно великое и непрестанное усердие в ученых занятиях, – так что и третий разбор презирать не следует. Подумай, сколько вокруг тебя зла; взгляни, – нет такого нечестья, которому нельзя сыскать примера; гнусность заходит с каждым днем все дальше, безобразия творятся и в государстве, и в каждом доме; и ты поймешь, что мы многого достигли, не значась в числе худших. – (16) Ты скажешь: «А я надеюсь, что смогу войти и в более высокий разряд». – Этого я скорее желаю нам обоим, чем обещаю. Мы ведь заняты; мы спешим к добродетели, опутанные пороками; стыдно сказать, мы чтим честность в свободное время. А какая награда нас ждет, если мы разом покончим со всеми делами, со всем этим цепким злом! Ни желанья, ни боязнь нас не коснутся. (17) Не волнуемые страхами, не развращаемые наслаждения-

ми, мы не будем пугаться ни смерти, ни богов, зная, что и смерть – не зло и боги – не злы. Все, что нам вредит, так же беспомощно, как те, кому оно вредит. Все лучшее лишено зловредной силы. (18) Если мы выберемся из этой грязи на высокие вершины, нас ждет спокойствие духа и, по избавлении от всех заблуждений, полная свобода. – Ты спросишь, в чем она? – В том, чтобы не бояться ни людей, ни богов; чтобы не желать ни постыдного, ни лишнего; чтобы стать полновластным повелителем самого себя. А принадлежать самому себе – неоценимое благо. Будь здоров.

Письмо LXXVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты грозишься стать мне врагом, если не будешь знать, что я делаю каждый день. Вот видишь, как все между нами просто: я и об этом сообщу тебе. Я слушаю философа[1]; уже пятый день, как я хожу к нему на уроки и с восьми часов[2] слушаю его рассуждения. – Ты скажешь: «Нашел время! В твоем-то возрасте». – А при чем тут возраст? Разве не величайшая глупость не учиться потому, что прежде долго не учился? – (2) «Что ж, и мне заниматься тем же, чем щеголи и юнцы?» – Не так-то плохи мои дела, если из всех моих занятий только это негоже для старости! В такую школу можно прийти в любом возрасте. – «Так мы состарились затем, чтобы идти вслед за юнцами?» – Я, старик, отправлюсь в театр, велю нести себя в цирк, не пропущу ни одной пары бойцов – и постыжусь заглянуть к философу? (3) Учись, покуда чего не знаешь, а если верить пословице, так и «век живи, век учись». И ни к чему другому не приложимо это правило лучше: век живи – век учись тому, как следует жить. Я же и учу там кое-чему. – Ты спросишь, чему? – Тому, что и старику надо учиться. (4) Всякий раз, как я вхожу на урок, мне стыдно за весь род человеческий. Ты знаешь, дорога тех, кто направляется в дом Метронакта, проходит у самого неаполитанского театра. Там битком набито, и все с жаром рассуждают, какой пифавлет[3] хорош; греческий флейтист и глашатай собирают множество народу, а там, где изучают, что есть муж добра, и учат, как стать мужем добра, сидят считанные слушатели, да и те, на взгляд большинства, занимаются пустым делом, так что именуют их дураками и лентяями. Что ж, пусть посмеются и надо мною: брань невежд нужно выслушивать равнодушно, и тот, кто стремится к честности, должен презирать презирающих его.

(5) Поспеши-ка, Луцилий, чтобы не случилось с тобою того же, что и со мной, и не пришлось тебе учиться в старости; спеши тем более, что ты взялся учиться тому, чему в старости едва ли обучишься. – Ты спро сишь: «Намного ли я преуспею?» – Настолько, насколько приложишь силы. (6) Чего ты ждешь? Знание никому не достается случайно. Деньги придут сами собой; почести тебе предложат; милостями тебя осыплют, в сан возведут. Но добродетель с неба не свалится; ее не познать ценою малых стараний и ничтожного труда. А потрудиться ради нее стоит: ведь ты разом получишь все блага. Благо только то, что честно, а в том, что одобряет молва, не найти ничего истинного, ничего непреложного.

(7) Почему только то благо, что честно, я тебе объясню: ведь, по твоему мнению, я немного достиг предыдущим письмом, где было больше похвал честности, чем доказательств. Перескажу кратко то, что говорил там. (8) Каждой вещи придает цену присущее ей благо. О лозе мы судим по урожаю гроздьев и вкусу вина; об олене – по быстроте ног. Ты спросишь, крепок ли у вьючных животных хребет, потому что они ведь на то и нужны, чтобы носить тяжести. В собаке первое дело – чутье, если она должна выслеживать дичь, резвость, если она должна дичь преследовать, смелость, если нужно нападать и кусаться. В каждом должно быть наилучшим то, для чего он родится и по чему ценится.

(9) А что лучшее в человеке? Разум, который его выделяет среди животных и приближает к богам. Значит, совершенный разум есть благо, присущее именно человеку, ибо все прочие он делит с животными. Человек силен? И львы тоже! Он красив? И павлины красивы! Он проворен? И лошади проворны. Я уж не говорю, что всем этим он уступает животным. И я спрашиваю не о том, что в нем самое большое, а о том, что присуще именно ему. У него есть тело? Есть оно и у дерева. Он может двигаться и произвольно направлять движенья? Но так же и звери, и черви!

У него есть голос? Но у собак голос звонче, у орлов – пронзительней, у быков – гуще, у соловьев – приятней и подвижней.

(10) Что же присуще именно человеку? Разум! Если он прям и совершенен, его довольно для счастья человека. Стало быть, если всякая вещь, усовершенствовав присущее ей благо, становится достойной похвал и достигает своей природной цели, то и человек, чье присущее благо есть разум, в той мере заслуживает похвалы и приближается к своей природной цели, в какой его усовершенствует. Этот совершенный разум носит имя добродетели, и он же есть честность. (11) Она-то и есть единственное благо в человеке, потому что единственно она и присуща только человеку; мы же теперь исследуем, не что есть благо, а какое благо присуще человеку. Если человеку присуще не что иное, как разум, то он – единственное благо человека, его и надо положить на весы против всего прочего. Кто дурной человек, тот, я думаю, не получит одобрения, кто человек добра, того, я думаю, одобрят; значит, главное и единственное в человеке – то, за что его одобряют или не одобряют.

– (12) Ты не сомневаешься, что это благо, но сомневаешься, единственное ли благо. – Если тот, у кого все есть – и здоровье, и богатство, и множество изображений предков, и толпа в прихожей, – признан человеком дурным, ты его не одобришь. А если тот, у кого нет ничего из перечисленного – ни денег, ни толпы клиентов, ни знатности, ни череды прадедов и пращуров, признан человеком добра, ты его тоже одобришь. Значит, это и есть единственное благо человека: кто обладает им, тот, даже лишенный всего остального, заслуживает похвалы; кто не обладает им, даже когда он наделен всем остальным в изобилии, того осуждают и отвергают. (13) С людьми дело обстоит так же, как с вещами. Хорошим называют не тот корабль, который раскрашен драгоценными красками, у которого нос окован золотом или серебром, а богпокровитель изваян из слоновой кости, и не тот, что глубоко сидит под тяжестью казны и царских богатств, но тот, который устойчив, надежен, сбит так прочно, что швы не пропускают воду, а стенки выдерживают любой натиск волн, послушен рулю, быстроходен и не чувствителен к ветру. (14) Ты назовешь меч хорошим не за то, что у него золоченая перевязь или ножны украшены самоцветами, а за то, что лезвие его отточено для рубки и острие пробивает любые доспехи. Про линейку спрашивают не о том, красива ли она, а о том, пряма ли. Всякую вещь хвалят за то, ради чего ее берут и что ей присуще. (15) Значит, и в человеке не то важно, сколько он пашет, и сколько отдает в рост, и сколько людей приходит к нему на поклон, и сколько стоит его ложе или блестящая чаша, из которой он пьет. Стал ли он человеком добра, – вот что важно. А таким он будет, если ум его ясен, прям и согласен с волей природы. (16) Такой ум и зовется добродетелью или же честностью, он и есть единственное благо человека. Ведь коль скоро лишь разум совершенствует человека и лишь совершенный разум делает его блаженным, значит единственным благом человека и будет то, что дает ему блаженство.

Мы говорим, что благо – также и все, исходящее от добродетели и ей причастное, то есть все добродетельные дела. Но она как раз потому есть единственное благо, что без нее блага нет. (17) Если все благо у нас в душе, значит, то, что ее укрепляет, возвышает, обогащает, и есть благо; а сильнее, возвышеннее и богаче делает душу добродетель. Все остальное, распаляя наши желания, угнетает и ослабляет душу, и хотя по видимости поднимает ее, на деле только надмевает и морочит всяческой суетою. Значит, благо только то, что делает душу лучше. (18) Все дела в нашей жизни определяются оглядкой на то, что честно и что постыдно; по этому признаку и судят, что нужно и чего нельзя. А как, я скажу сейчас. Муж добра, если сочтет, что должен действовать по чести, сделает так, несмотря на трудность, сделает, несмотря на убыточность, сделает, несмотря на опасность; и наоборот, ничего постыдного он не сделает, сколько бы оно ни сулило денег, наслаждений, могущества. От честного его ничем не отпугнешь, на постыдное ничем не соблазнишь. (19) Значит, если он любой ценой будет стремиться к честному, любой ценой избегать постыдного, во всяком деле смотреть лишь на то и на другое, то нет блага, кроме честного, нет зла, кроме постыдного; если одна добродетель не знает ни порчи, ни остановки, ни перемены, то добродетель – единственное благо, и с ней не может случиться ничего такого, от чего бы она перестала быть благом, опасность измениться ей не грозит. Глупости удается вскарабкаться до мудрости, мудрость же не может упасть до глупости. (20) Я, если ты помнишь, говорил, что нередко люди в безотчетном порыве попирают все то, чего толпа желает или стра-

шится. Нашелся такой, что возложил руку на огонь, кто не перестал смеяться под пыткой, кто, хороня детей, не пролил слез, кто бестрепетно бросился навстречу смерти, когда этого потребовали любовь, гнев, желанье, опасность. Но если на это способна душа, ставшая упорной лишь на миг, от возбужденья, то не больше ли может сделать добродетель, чья сила не рождена порывом, не внезапна, но неизменна, чья крепость постоянна? (21) Следовательно, то, что иногда презирают действующие безотчетно и всегда – мудрые, не есть ни благо, ни зло. А единственное благо – это добродетель, которая гордо проходит между благосклонной и враждебной фортуной, презирая обеих.

(22) Если ты усвоишь мнение, будто есть блага помимо честности, то добродетель непременно понесет урон: ведь ее нельзя достичь, если смотреть на что-нибудь помимо нее. Кто так делает, тот противится и разуму, источнику добродетели, и также истине, которой нет без разума; а мнение, противное истине, ложно. (23) Ты согласишься, что человек добра не может не быть благочестив перед богами, а значит, что бы с ним ни произошло, он перенесет это спокойно, ибо знает, что случилось оно по божественному закону, по которому все совершается в мире. Кто так делает, – признает благом только то, что честно; а в нем заключено все – и долг повиноваться богам, и способность не горячиться при внезапных переменах и не оплакивать свою участь, но терпеливо принимать рок и подчиняться его веленьям. (24) Если есть блага, кроме честного, то с нами неразлучна будет жажда жизни и всего, что делает жизнь удобней, а это жадность нестерпимая, бесконечная, беспокойная. Значит, единственное благо – честность, ибо тут есть мера.

(25) Мы сказали, что жизнь у людей счастливее, чем у богов, если те вещи, которых у богов нет в заводе, – деньги, например, или почести, суть блага. Вспомни также, что души, если они остаются, отделившись от тел, ожидает удел более счастливый, чем был в пору пребыванья их в теле. Но если блага – все то, что идет на потребу телу, то душам, получившим свободу, хуже, а ведь нельзя поверить, будто вольные и рассеянные во вселенной, они не так счастливы, как запертые и осажденные. (26) Кроме того, я говорил так: если все, что достается человеку наравне с бессловесными животными, благо, значит, и бессловесные животные будут жить в блаженстве, – а этого никак не может быть. Ради честности все нужно вытерпеть; а будь еще какое-нибудь благо, кроме честного, нужды в этом не было бы.

Об этом я писал пространнее в предыдущем письме, а сейчас бегло пересказал все в сжатом виде. (27) Однако такое мнение никогда не покажется тебе истинным, если ты сам не возвысишься духом и не спросишь самого себя: если вдруг потребуется умереть за отчизну и купить спасенье всех граждан ценой собственной жизни, разве не склонил бы я голову под меч не только безропотно, но и охотно? Если ты готов на это, значит, другого блага нет: ведь ради обладания им ты от всего отступился. Видишь, какова сила честности! За родину ты отдал бы жизнь даже в тот самый миг, как узнал бы, что это нужно сделать. (28) Радость от прекрасного поступка мы успеваем иногда вкусить за ничтожно короткий срок, и хотя плод совершенного подвига не достается умершему, непричастному делам человеческим, нам отрадно само созерцание предстоящего подвига, и человек храбрый и справедливый, видя перед собою все, за что платит он жизнью и отдает душу: свободу отчизны, общее спасение, – испытывает высочайшее наслажденье и радуется опасности. (29) Но и тот, у кого отнята даже последняя великая радость, доставляемая помыслами о подвиге, ринется на смерть без промедленья, довольный тем, что поступает по долгу и справедливости. Представь ему все доводы, отнимающие мужество. Скажи: «Твой поступок ожидает быстрое забвение, и граждане будут судить о тебе неблагосклонно». А он ответит: «Это все не имеет касательства к моему подвигу, я же созерцаю только его и знаю, что поступлю честно; вот я и иду, куда ведет и призывает честность».

(30) Значит, она и есть единственное благо, коль скоро это чувствует не только совершенный, но и просто благородный по врожденным задаткам дух. Все остальное летуче и изменчиво, им нельзя владеть без тревоги. Даже если все дары милостивой фортуны достались одному, они тяжело обременяют владельца и гнетут его, да и раздавить могут. (31) Ни один, кого ты видишь в пурпуре, нс счастливее тех, кому разыгрываемая на подмостках драма вручала жезл и царское облаченье; пусть перед глазами народа высоко шествуют они на своих котурнах, – удалившись, они тотчас разуваются и вновь делаются обычного роста. Никто из тех, кого возвысили богат-

ство и почести, не бывает велик. А почему он кажется великим? Ты мерить его вместе с подставкой. Карлик не бывает велик, пусть хоть стоит на горе; колосс сохранит свою величину, поставь его хоть в яму. (32) Это заблужденье – наш общий недуг; потому-то мы и обманываемся, что ценим человека не таким, как он есть, а с добавленьем всего, чем он украшен. Если хочешь знать истинную цену человека и понять, каков он, взгляни на него, когда он гол. Пусть сбросит с себя и наследственное достоянье, и почести, и все обманчивые прикрасы фортуны; пусть сбросит саму плоть: смотри на его душу, – какова она и велика ли своим или заемным величием. (33) Если он увидит блеск мечей и не опустит глаз, если знает, что нет никакой разницы, вылетит ли его душа из уст, или из перерезанного горла, зови его блаженным. Либо если ему объявят о предстоящих телесных муках, посланных случаем или несправедливостью власть имущего, а он спокойно услышит и о цепях, и об изгнании, и обо всем, что попусту пугает человеческий дух, и скажет:

«Я не вижу нежданных и новых
Бед и трудов впереди: их лицо привычно мне, дева!
Знал и прежде о них, и в душе их все одолел я.[4]

Ты возвещаешь мне сегодня, а я возвещал себе это всегда и, будучи человеком, готовился к человеческому уделу». (34) Удар предвиденного несчастья не так жесток. А глупцам, доверяющим фортуне, всякий пово рот обстоятельств кажется нежданным и новым, и немалая доля несчастья для невежд – в его новизне. Знай же, что пережитые в мыслях тяготы благодаря привычке переносятся мужественнее. (35) Потому-то мудрец привыкает к будущим бедам, и то, что другие облегчают себе долготерпеньем, он облегчает долгим размышленьем. Мы слышим иногда от невежд такие слова: «Знал ли я, что меня ждет такое?»[5] – Мудрец знает, что его ждет все; что бы ни случилось, он говорит: «Я знал». Будь здоров.

Письмо LXXVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Сегодня неожиданно показались в виду александрийские корабли, которые обычно высылаются вперед, чтобы возвестить скорый приход идущего вслед флота [1]. Именуются они «посыльными». Их появленье радует всю Кампанию: на молу в Путеолах стоит толпа и среди всей толпы кораблей различает по парусной оснастке суда из Александрии: им одним разрешено поднимать малый парус, который остальные распускают только в открытом море. (2) Ничто так не ускоряет ход корабля, как верхняя часть паруса; она-то и толкает его всего сильнее. Поэтому, едва ветер крепчает и становится больше, чем нужно, рею приспускают: ведь по низу он дует слабее. Как только суда зайдут за Капрею и тот мыс[2],

Где Паллада глядит со своей скалистой вершины,

все они поневоле должны довольствоваться одним парусом, – кроме александрийских, которые и приметны благодаря малому парусу.

(3) Эта беготня спешащих на берег доставила мне, ленивцу, большое удовольствие, потому что я должен был получить письма от своих, но не спешил узнать, какие новости о моих делах они принесут. Уже давно нет для меня ни убытка, ни прибыли. Даже не будь я стариком, мне следовало бы думать так, а теперь и подавно: ведь какую бы малость я ни имел, денег на дорогу у меня остается больше, чем самой дороги, – особенно с тех пор, как я вступил на такой путь, по которому нет необходимости пройти до конца. (4) Нельзя считать путешествие совершенным, если ты остановился на полпути и не доехал до места; а жизнь не бывает несовершенной, если прожита честно. Где бы ты ни прервал ее, она вся позади, лишь бы хорошо ее прервать. А прерывать ее часто приходится и не по столь уж важным причинам, так как и то, что нас держит, не так уж важно.

(5) Туллий Марцеллин, которого ты хорошо знал, провел молодость спокойно, но быстро состарился и, заболев недугом хоть и не смертельным, но долгим, тяжким и многого требующим

от больного, начал раздумывать о смерти. Он созвал множество друзей; одни, по робости, убеждали его в том же, в чем убеждали бы и себя, другие – льстивые и угодливые – давали такой совет, какой, казалось им, будет по душе сомневающемуся. (6) Только наш друг-стоик[3], человек незаурядный и – говорю ему в похвалу те слова, которых он заслуживает, – мужественный и решительный, указал наилучший, на мой взгляд, выход. Он сказал: «Перестань-ка, Марцеллин, мучиться так, словно обдумываешь очень важное дело! Жить – дело не такое уж важное; живут и все твои рабы, и животные; важнее умереть честно, мудро и храбро. Подумай, как давно занимаешься ты все одним и тем же: еда, сон, любовь – в этом кругу ты и вертишься. Желать смерти может не только мудрый и храбрый либо несчастный, но и пресыщенный». (7) Марцеллину нужен был, однако, не совет, а помощь: рабы не хотели ему повиноваться. Тогда наш друг прежде всего избавил их от страха, указав, что челяди грозит наказание, только когда неясно, была ли смерть хозяина добровольной, а иначе так же дурно удерживать господина, как и убивать его. (8) Потом он и самому Марцеллину напомнил, что человечность требует, – так же как после ужина мы раздаем остатки стоящим вокруг стола, – уделить хоть что-нибудь, когда жизнь окончена, тем, кто всю жизнь был нам слугою. Марцеллин был мягок душою и щедр, даже когда дело касалось его добра; он роздал плачущим рабам по небольшой толике денег и к тому же утешил их. (9) Ему не понадобилось ни железа, ни крови: три дня он воздерживался от пищи, приказав в спальне повесить полог. Потом принесли ванну, в которой он долго лежал, и покуда в нее подливали горячую воду, медленно впадал в изнеможенье, – по собственным словам, не без некоторого удовольствия, какое обычно испытывают, постепенно теряя силы; оно знакомо нам, частенько теряющим сознанье.

(10) Я отступил от предмета ради рассказа, который будет тебе по душе, – ведь ты узнаешь из него, что кончина твоего друга была не тяжкой и не жалкой. Хоть он и сам избрал смерть, но отошел легко, словно выскользнул из жизни. Но рассказ мой был и не без пользы: нередко сама неизбежность требует таких примеров. Часто мы должны умереть – и не хотим умирать, умираем – и не хотим умирать. (11) Нет такого невежды, кто не знал бы, что в конце концов умереть придется; но стоит смерти приблизиться, он отлынивает, дрожит и плачет. Разве не счел бы ты глупцом из глупцов человека, слезно жалующегося на то, что он еще не жил тысячу лет назад? Не менее глуп и жалующийся на то, что через тысячу лет уже не будет жить. Ведь это одно и то же: тебя не будет, как не было раньше. Время и до нас, и после нас не наше. (12) Ты заброшен в одну точку; растягивай ее, – но до каких пор? Что ты жалуешься? Чего хочешь? Ты даром тратишь силы!

И не надейся мольбой изменить решенья всевышних! [4]

Они тверды и неизменны, и направляет их великая и вечная необходимость. Ты пойдешь туда же, куда идет все. Что тут нового для тебя? Под властью этого закона ты родился! То же случилось и с твоим отцом, и с матерью, и с предками, и со всеми, кто был до тебя, и со всеми, кто будет после. Непобедимая и никакой-силой не изменяемая че реда связывает и влечет всех. (13) Какая толпа умерших шла впереди тебя, какая толпа пойдет следом! Сколько их будет твоими спутниками! Я думаю, ты стал бы храбрее, вспомнив о многих тысячах твоих товарищей по смерти. Но ведь многие тысячи людей и животных испускают дух от бессчетных причин в тот самый миг, когда ты не решаешься умереть. Неужто ты не думал, что когда-нибудь придешь туда, куда шел все время? Нет пути, который бы не кончился.

(14) А теперь, по-твоему, я должен привести тебе в пример великих людей? Нет, я приведу ребенка. Жива память о том спартанце, еще мальчике, который, оказавшись в плену, кричал на своем дорийском наречии: «Я не раб!» – и подтвердил эти слова делом. Едва ему приказали выполнить унизительную рабскую работу – унести непристойный горшок, – как он разбил себе голову об стену. (15) Вот как близко от нас свобода. И при этом люди рабствуют! Разве ты не предпочел бы, чтобы твой сын погиб, а не старился в праздности? Есть ли причина тревожиться, если и дети могут мужественно умереть? Думай сколько хочешь, что не желаешь идти вслед, все равно тебя поведут. Так возьми в свои руки то, что сейчас в чужой власти! Или тебе недоступна отвага того мальчика, не под силу сказать: «Я не раб»? Несчастный, ты раб людей, раб вещей,

раб жизни. Ибо жизнь, если нет мужества умереть, – это рабство.

(16) Есть ли ради чего ждать? Все наслаждения, которые тебя удерживают и не пускают, ты уже перепробовал, ни одно для тебя не ново, ни одно не приелось и не стало мерзко. Вкус вина и меда тебе знаком, и нет разницы, сто или тысяча кувшинов пройдет через твой мочевой пузырь: ты ведь – только цедило. Ты отлично знаешь, каковы на вкус устрицы, какова краснобородка; твоя жадность к наслаждениям не оставила тебе на будущее ничего неотведанного. А ведь как раз от этого ты и отрываешься с наибольшей неохотой. (17) С чем еще тебе больно расстаться? С друзьями, с родиной? Да ценишь ли ты ее настолько, чтобы ради нее позже поужинать? С солнцем? Да ты, если бы мог, погасил бы само солнце. Что ты сделал достойное его света? Признайся, не тоска по курии, по форуму, по самой природе делает тебя таким медлительным, когда нужно умереть: тебе неохота покидать мясной рынок, на котором ты ничего не оставил. (18) Ты боишься смерти; да и как тебе ее презреть среди удовольствий? Ты хочешь жить: значит, ты знаешь, как жить? Ты боишься умереть, – так что же? Разве такая жизнь не все равно что смерть? Гай Цезарь, когда однажды переходил через Латинскую дорогу[5] и кто-то из взятых под стражу, с бородой, отросшей по грудь, попросил у него смерти, ответил: «А разве сейчас ты живешь?» Так надо бы отвечать и тем, для кого смерть была бы избавлением: «Ты боишься умереть? А разве сейчас ты живешь?» – (19) «Но я хочу жить потому, что делаю немало честного; мне нет охоты бросать обязанности, налагаемые жизнью: ведь я исполняю их неукоснительно и неустанно». – А разве ты не знаешь, что и умереть – это одна из налагаемых жизнью обязанностей? Ты никаких обязанностей не бросаешь: ведь нет точно определенного их числа, которое ты должен выполнить. (20) Всякая жизнь коротка: если ты оглянешься на природу вещей, то короток будет даже век Нестора и Сатии[6], которая приказала написать на своем памятнике, что прожила девяносто девять лет. Ты видишь, старуха хвастается долгой старостью; а проживи она полных сто лет, кто мог бы ее вытерпеть? Жизнь – как пьеса: не то важно, длинна ли она, а то, хорошо ли сыграна. К делу не относится, тут ли ты оборвешь ее или там. Где хочешь, там и оборви только бы развязка была хороша! Будь здоров.

Письмо LXXVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Тебя замучили частые насморки и простуды, которые всегда идут вслед за долгими, неотвязными насморками; эта весть для меня особенно неприятна, потому что я хорошо знаю такое самочувствие. Поначалу я его презирал, – покуда моему юному возрасту под силу было справляться с тяготами и не поддаваться болезням; потом они взяли верх и довели меня до того, что я чуть душу не вычихал, совсем отощав и ослабев. (2) Часто меня тянуло покончить с собою, – но удержала мысль о старости отца, очень меня любившего. Я думал не о том, как мужественно смогу я умереть, но о том, что он не сможет мужественно переносить тоску. Поэтому я и приказал себе жить: ведь иногда и остаться жить – дело мужества. (3) Я скажу, в чем нашел тогда утешение, но прежде надо сказать, что то самое, чем старался я себя успокоить, оказалось и сильнейшим лекарством. Благое утешение становится целительным снадобьем; что поднимает дух, то помогает и телу. Наши занятия поправили мне здоровье. Философии благодарен я за то, что поднялся и окреп, ей обязан я жизнью, и это – самое меньшее из всего, чем я ей обязан. (4) Немало помогли моему выздоровлению и друзья, поддержавшие меня ободряющими речами и неусыпным вниманием. Ничто не укрепляет больного и не помогает ему так, как любовь друзей, ничто так не прогоняет страх и ожидание смерти. У меня и мысли о смерти не было, нет, я думал, что если они остаются жить, то буду жить и я, не с ними, а в них; мне казалось, что я не испущу дух, а передам его друзьям. Все это укрепило мое желание помочь себе и перетерпеть любые муки; ведь самое жалкое – это потерять мужество умереть и не иметь мужества жить.

(5) Испробуй и ты эти лекарства. Врач укажет тебе, сколько нужно гулять, сколько упражняться; посоветует не слишком предаваться безделью, хоть некрепкое здоровье и склонно к нему, посоветует читать внятным голосом, чтобы упражнять дыхание, чьи пути и вместилища поражены недугом, плавать в лодке, чтобы растрясти внутренности мягким качанием; назначит

тебе пищу и срок, когда надо прибегнуть к вину для укрепления сил, когда отказаться от него, чтобы от раздражения не обострился кашель. А мое наставленье излечивает не одну болезнь, но всю нашу жизнь. Вот оно: презирай смерть! Кто ушел от страха смерти, тому ничто не печалит душу.

(6) Во всякой болезни тяжелы три вещи: страх смерти, боль в теле, отказ от наслаждений. О смерти мы говорили довольно, добавлю только одно: страх этот – не перед болезнью, а перед природой. Многим болезнь отсрочила смерть; и то, что они казались умирающими, служило к их спасению[1]. Умрешь ты не потому, что хвораешь, а потому, что живешь. Та же участь ждет и выздоровевшего: исцелившись, ты ушел не от смерти, а от нездоровья. (7) Перейдем к другой неприятности, присущей именно болезни: она приносит тяжкие боли. Но и они терпимы, потому что перемежаются. Ведь боль, достигнув наибольшей остроты, кончается. Никто не может страдать и сильно, и долго: любящая природа устроила все так, что сделала боль либо переносимой, либо краткой. (8) Самой острой боль бывает в самых тонких частях нашего тела: больше всего она свирепствует в жилах, в суставах всюду, где ее стесняет узкое пространство. Но как раз эти части быстро немеют и теряют от боли ощущение боли, – потому ли, что дух[2], встречая на своем пути препоны и подвергаясь порче, теряет силу, которой держится сам и поддерживает в нас чувства, то ли потому, что гнилая влага, не имея куда стекать, сама себя теснит и лишает чувствительности те места, где скапливается. (9) Так подагра и хирагра, и всякая другая боль в сочлененьях и в жилах успокаивается на время, когда измученные ею части одеревянеют; при этих болезнях самое тягостное – первые зудящие боли, потом острота их со временем гаснет и наступает омертвение – конец всякой боли. Боль в зубах, в глазах, в ушах потому так пронзительна, что рождается в самых тесных местах тела, так же, клянусь, как боль в голове, которая, однако, став слишком резкой, переходит в умопомрачение и беспамятство. (10) Тем и можно утешаться при нестерпимой боли, что ты непременно перестанешь ее чувствовать, если сначала почувствуешь слишком сильно. А невеждам телесная мука так тягостна вот почему: они не привыкли довольствоваться своею душой и были чересчур заняты телом. Поэтому великий и разумный человек отделяет душу от тела и обращает помыслы к лучшей, божественной части своего существа, а другой, плаксивой и хилой, занимается только в меру необходимости. (11) «Но ведь тяжело лишиться привычных наслаждений, отказываться от пищи, терпеть голод и жажду». Воздержность тяжела на первых порах. Потом желания гаснут, по мере того как устает и слабеет то, посредством чего мы желаем. Со временем желудок становится своенравным, со временем мы смотреть не можем на то[3], до чего прежде бывали жадны, и сама потребность умирает. А обходиться без того, чего больше не хочется, ничуть не горько. (12) К тому же всякая боль перемежается или хотя бы облегчается. К тому же можно предостеречься, когда она вот-вот появится, и предупредить ее лекарствами: ведь всякой боли предшествуют некие приметы, особенно если она возвращается постоянно.

Болеэнь не так трудно терпеть, коль скоро ты презрел самую страшную ее угрозу. (13) Так не утяжеляй же свои несчастия и не отягощай себя жалобами. Боль легка, если к ней ничего не прибавит мнение; а если ты еще будешь себя подбадривать и твердить: «ничего не болит», или «боль пустяковая, крепись, сейчас все пройдет», – от самих этих мыслей тебе станет легче. Все зависит от мнения; на него оглядываются не только честолюбие и жажда роскоши, и скупость: наша боль сообразуется с мнением. Каждый несчастен настолько, насколько полагает себя несчастным. (14) По-моему, надобно отбросить все жалобы на миновавшую боль, все речи, вроде этих: «Никому не бывало хуже! Какие муки, какие страданья я перенес! Никто уж и не думал, что я встану. Сколько раз домашние меня оплакивали, сколько раз врачи от меня отступались! И на дыбе не бывает такой пытки!» Пусть даже это правда, но ведь все прошло! Какая радость опять переживать минувшую муку и быть несчастным от прежних несчастий? И потом, кто из нас не преувеличивает своих страданий и не обманывает самого себя? Наконец о том, что было горько, рассказывать сладко: ведь так естественно радоваться концу своих страданий. Значит, нужно поубавить и страх перед будущими, и память о прошлых невзгодах: ведь прошлые уже кончились, а будущие еще не имеют ко мне касательства. (15) Пусть в самый трудный миг каждый скажет:

Может быть, будет нам впредь об этом сладостно вспомнить! [4]

Пусть соберет все мужество для борьбы: кто отступит, будет побежден, кто сам пойдет в наступление на боль, победит. Теперь многие сами на себя обрушивают то, чему надо сопротивляться. Если ты попытаешься ускользнуть из-под нависшего давящего гнета, он тебя настигнет и наляжет еще тяжелее, а если встанешь твердо и захочешь сделать усилье, то и сбросишь его. (16) Сколько ударов и по лицу, и по всему телу получают кулачные бойцы? Но ради жажды славы они переносят все муки и терпят их не только в бою, но и ради боя: ведь сами их упражнения – пытка. И нам нужно все победить: наградой нам будет не венок и не пальмовая ветвь, не флейтист, устанавливающий тишину перед объявлением нашего имени, но добродетель и твердость духа, и мир на все остальные времена после первой же победы, одержанной в бою с фортуной.

– (17) «Как мне больно!» – А разве оттого, что ты ведешь себя, как баба, тебе не так больно? Как враги пагубнее для убегающих, так всякая случайная невзгода сильнее теснит с тылу, когда перед ней отступишь. «Но ведь тяжело!» – Так разве мы только на то и храбры, чтобы сносить легкое? Какую болезнь ты предпочел бы – долгую или короткую, но более тяжелую? Если она долгая, в ней бывают промежутки, она дает срок оправиться и дарит много времени, потому что непременно должна развиться, потом пройти. Короткая и стремительная болезнь сделает одно из двух: либо сама кончится, либо тебя прикончит. Но какая разница, ее ли не будет или тебя? В обоих случаях боль прекратится.

(18) Полезно также, направив мысли к другим предметам, отвлечь их от боли. Думай о том, как поступил ты честно и храбро, повторяй про себя, что во всем есть хорошая сторона, обрати свою память к тому, что тебя восхищало. Тогда тебе придет на помощь любой храбрец, победивший боль: и тот, кто продолжал читать книгу, покуда ему вырезали вздутые жилы, и тот, кто не переставал смеяться, когда палачи, разозленные этим смехом, пробовали на нем одно за другим орудия жестокости[5]. Неужели же разуму не победить боли, если ее победил смех? (19) Говори что хочешь о насморке, и о непрестанном кашле такой силы, что куски внутренностей извергаются наружу, и о жаре, иссушающем грудь, и о жажде, и о корчах, выворачивающих в разные стороны суставы рук и ног, – страшнее пламя, и дыба, и раскаленное железо, прижатое к вспухающим ранам, чтобы они открылись и углубились. Но есть такие, что не застонали под этими пытками; мало того и ни о чем не просили; мало того – и не ответили ни слова; мало того – и смеялись от души. Так не хочешь ли после этого посмеяться над болью?

– (20) «Но болезнь не дает ничего делать и уводит от всех обязанностей». – Нездоровье сковывает твое тело, а не душу. Пусть оно опутает ноги бегуну, окостенит руки портному или кузнецу. А ты, если привык к тому, что ум твой деятелен, будешь учить, убеждать, слушать, учиться, исследовать, вспоминать. Что же, по-твоему, быть умеренным в дни болезни значит ничего не делать? Ты докажешь, что болезнь можно одолеть или хотя бы вынести. (21) И в постели больного, поверь мне, есть место для добродетели. Не только с оружьем и в строю можно доказать, что дух бодр и не укрощен крайними опасностями: и под одеялом видно, что человек мужествен. У тебя есть дело – храбро бороться с болезнью, а если она тебя не покорила и ничего от тебя не добилась, ты подал славный пример. – «Поистине есть чем прославиться, если все будут глядеть, как мы хвораем!» Сам на себя гляди, сам себя хвали!

(22) Помимо того, есть два рода наслаждений. Телесные наслаждения болезнь ограничивает, но не отнимает, и даже, если рассудить правильно, делает острее. Приятнее пить, когда чувствуешь жажду, есть, когда голоден; после поста все поглощается с большею жадностью. А в удовольствиях душевных, которые и больше, и вернее, ни один врач больному не откажет. Кто предан им и понимает в них толк, тот презирает всякое ублажение чувств. (23) «О несчастный больной!» Почему? Да потому, что он не растапливает снега в вине, не охлаждает еще больше свое питье в объемистой посуде, взломав закупоривающий его лед, не открывают для него тут же за столом лукринских устриц[6], не хлопочут вокруг возлежащего за ужином повара, подтаскивая блюда вместе с жаровнями. Вот до чего додумалась страсть к роскоши: чтобы яства не остыли, чтобы не казались они недостаточно горячими потерявшему чувствительность нёбу, кухню волокут вместе с кушаньями. (24) О несчастный больной! Он ест, сколько может переварить; не положат перед ним на стол кабана, чтобы полюбоваться им, а потом отослать обратно:

ведь это мясо слишком дешевое! Не навалят для него на поднос птичьих грудок, потому что от вида целых птиц его тошнит. Что тебе сделали плохого? Ты будешь есть, как больной, вернее – как здоровый.

(25) Но все это мы вытерпим с легкостью: и отвары, и теплую воду, и все то, что кажется несносным для изнеженных, потонувших в роскоши и расслабленных скорее душою, чем телом. Только бы перестать бояться смерти! Чтобы этого достичь, надо познать пределы добра и зла – тогда и жизнь не будет нам тягостна, и смерть не страшна. – (26) Пресыщение жизнью не может отравить жизнь, в которой столько разных великих и божественных дел: только ленивая праздность заставляет ее ненавидеть самое себя. Кто странствует по всей шири природы, тому никогда не наскучит истина; только ложью можно пресытиться. (27) А если явится и позовет смерть, пусть преждевременная, пусть обрывающая жизнь посредине, плод этой жизни давно отведан: ведь такой человек познал природу в большей ее части и знает, что от времени честности не прибавляется. Тем всякий век непременно покажется коротким, кто мерит его пустыми и потому бесконечными наслаждениями.

(28) Поддерживай свои силы этими мыслями, а на досуге и моими письмами. Придет время, которое вновь соединит нас и сольет воедино; как бы ни было оно кратно, нам продлит его уменье им пользоваться. Потому что, как говорит Посидоний, «один день человека образованного дольше самого долгого века невежды». (29) Вот что помни, вот что удержи прочно: не падай духом в несчастье, не верь удачам, всегда имей в виду произвол фортуны, словно она непременно сделает все, что может сделать. Чего мы ждем задолго, то для нас легче, когда случается. Будь здоров.

Письмо LXXIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я жду от тебя писем с известиями о том, что нового показала тебе поездка по всей Сицилии, и прежде всего – сведений о Харибде. О том, что Сцилла – это утес, ничуть не страшный проплывающим мимо, я знаю очень хорошо; а вот о том, соответствуют ли истине рассказы о Харибде, ты мне, пожалуйста, напиши подробнее. И если тебе случится наблюдать ее (ведь дело того стоит), сообщи мне, один ли ветер закручивает там воду воронками или любая буря одинаково гонит ее; и еще – правда ли, что все подхваченное тамошним водоворотом уносится под водою на много миль и выныривает у Тавроменийского берега. (2) Если ты мне об этом напишешь, тогда я осмелюсь поручить тебе взойти в мою честь на Этну, которая будто бы разрушается и мало-помалу становится ниже, как утверждают некоторые на том основании, что прежде, мол, она была видна мореходам из большей дали. Но это может быть и не потому, что высота горы стала меньше, а потому, что огонь притих и вздымается не так бурно и широко; по той же причине и дым она выбрасывает день ото дня все ленивее. Оба явления вероятны – и то, что ежедневно пожираемая гора уменьшается, и то, что она остается прежней высоты, потому что огонь ест не её[1], а, разгоревшись в некой подземной полости, в ней и питается, гора же дает ему не пищу, но только путь наружу. (3) В Ликии хорошо известна область, которую местные жители называют Гефестион: почва там вся в отверстиях, и по ней блуждает безвредное пламя, не причиняя ущерба тому, что на ней родится. Область эта плодородна и богата растительностью, и огонь не палит, а только блестит, настолько он не горяч и бессилен.

(4) Но с этим исследованьем подождем до тех пор, когда ты напишешь мне, далеко ли от жерла горы лежит снег, не растапливаемый и летним зноем, а бушующим по соседству огнем – и подавно. Во всех таких хлопотах тебе нет причины винить меня: ты пошел бы на это и без чужого поручения, ради собственной страсти, (5) коль скоро ты описываешь Этну в стихах и касаешься этого священного для всех поэтов места. Овидию взяться за этот предмет не помешало то обстоятельство, что он был уже исчерпан Вергилием; и оба поэта не отпугнули Корнелия Севера[2]. Это место оказалось счастливо для всех, а предшественники, на мой взгляд, не предвосхитили всего, что можно о нем сказать, а только открыли подступы. (6) Ведь большая разница, берешься ли ты за предмет исчерпанный или только разработанный, который становится со дня на

день изобильнее, ибо найденное не мешает новым находкам. К тому же положение у последнего – наилучшее: он находит готовые слова, которые приобретают новый облик, будучи расположены по-иному, и при этом не присваивает чужого, потому что слова – общее достояние, а оно не становится собственностью за давностью владения, как утверждают правоведы. (7) Или я тебя не знаю, или у тебя при виде Этны слюнки потекут. Тебе очень хочется написать что-нибудь величавое, равное написанному прежде. Надеяться на большее тебе не позволяет твоя скромность, а она у тебя такова, что ты, мне кажется, стал бы обуздывать свое дарование, если бы была опасность победить предшественников, столь тобою чтимых.

(8) Помимо прочих, есть у мудрости и такое достоинство: тебя могут победить, только пока ты взбираешься вверх; когда достигнута вершина, все там равное, все стоит на месте, и возрастание невозможно. Разве солнце прибавляется в величине? Разве луна становится еще полнее, чем обычно? Моря не растут, вселенная сохраняет тот же порядок и меру. (9) Что достигло своего законного размера, то не может подняться еще выше. Сколько будет мудрецов, все они окажутся ровней друг другу; у каждого найдутся свои особенности: один будет приветливее, другой – деятельнее, третий – более скор на слова, четвертый – более красноречив; но то, о чем у нас речь и что делает их жизнь блаженной, у всех одинаково. (10) Может ли твоя Этна осесть и обрушиться, стачивает ли ее поднебесную вершину, видимую на широком пространстве моря, сила негасимого огня, – этого я не знаю, но добродетели не сделают ниже ни пламя, ни обвал. Лишь ее величие не знает умаления, не может ни прибывать, ни убывать. Оно, как величье небожителей, установлено раз навсегда. Попробуем же возвыситься до нее! (11) Много уже сделано, – но нет, признаться по правде, не так-то много! Быть лучшим среди худших еще не значит быть хорошим. Вправе ли тот, кто различил брезжущий день, кому солнце светит сквозь туман, похваляться зрением? Пусть он будет доволен, что вышел из мрака, – но благом света он еще не владеет. (12) Тогда нас можно будет поздравить, когда наша душа, покинув мрак, в котором пребывает, воспримет взором не еле заметное сиянье, но весь свет дневной, когда она будет возвращена родному небу, вновь заняв место, принадлежащее ей по праву рождения. Само происхождение зовет ее ввысь. И она будет там еще прежде, чем освободится из-под здешней стражи, если отбросит все пороки и вознесется, чистая и легкая, к божественным помыслам.

(13) Вот чем отрадно нам заниматься, милый Луцилий, вот куда радостно стремиться, хотя бы об этом знали немногие или даже никто не знал. Слава – тень добродетели, она следует за нею волей или неволей. Но как тень идет то впереди, то сзади, за спиною, так и слава то предшествует нам, видимая глазу, то прячется сзади, тем большая, чем позже она приходит после того, как зависть отступила. (14) Как долго казалось, что Демокрит[3] безумен! Да и Сократа молва насилу приняла. Как долго сограждане ставили ни во что Катона[4], отвергали его и только тогда опомнились, когда погубили. Невиновность и добродетель Рутилия остались бы неизвестны, если бы с ним не поступили несправедливо; насилье позволило им воссиять. Неужто же он не благодарил свой жребий и не принял изгнания с радостью? Я говорю о тех, кого фортуна прославила, истязая. А мало ли таких, чьи успехи в добродетели стали известны после их смерти? Мало ли таких, кого молва не признала, а откопала? (15) Ты видишь, как восхищаются Эпикуром не только те, что пообразованней, но и толпы невежд. А он был не известен даже Афинам, близ которых жил так незаметно. На много лет пережив своего Метродора, он в одном из посланий с благодарностью вспоминает о нем и прославляет свою с ним дружбу, а под конец добавляет: среди стольких великих благ ни Метродору, ни ему ничуть не повредило, что даже благородная Греция не знала о них и понаслышке. (16) Так не после того ли, как его не стало, был он открыт? И не заблистали ли его мнения? Метродор также признается в каком-то послании, что и он, и Эпикур были не слишком знамениты, но потом громкие имена и его, и Эпикура будут у всех на устах, и многие захотят пойти по их следам. (17) Добродетель нельзя утаить; а если до поры она таится, это не ей во вред. Придет день, когда она, спрятанная и погребенная злобою своего века, станет всем известна. Для немногих рожден тот, что думает лишь о поколении своих сверстников. Вслед придут многие тысячи лет, многие сотни поколений; гляди на них! Даже если всем, кто живет в одно время с тобою, зависть велит молчать, придут другие и будут судить без ненависти и без пристрастия. Если молва хоть как-то награждает добродетель, – и эта награда не пропадет. Пусть речь потомков не дойдет до нас, – все равно будут чтимы и часто поминаемы те,

кто уже ничего не чувствует. (18) Нет такого, кому добродетель не снискала бы любви при жизни или по смерти, – нужно только искренно стремиться к ней, не рядиться и не румяниться, а быть всегда одним и тем же, увидят ли тебя, известив заранее, или застигнут врасплох. В притворстве мало пользы: кое-как надетая личина немногих обманет. Истина в каждой своей части одна и та же. Что обманчиво, то непрочно. Ложь тонка, а потому прозрачна, если вглядеться пристальней. Будь здоров.

Письмо LXXX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Сегодня я свободен не только благодаря самому себе, но и благодаря зрелищу, собравшему всех докучных на состязанье игроков в шары[1]. Никто не ворвется, никто не помешает моему раздумью, и безопасность делает мысли еще смелее. Дверь не стукнет, занавес не будет поднят, можно идти одному, – а это самое необходимое для идущего своим путем к своей цели. Выходит дело, я ни за кем не иду следом? Нет, но я позволяю себе кое-что и придумать, и изменить, и отбросить. Я не раб предшественников, а единомышленник.

(2) Но я говорил слишком дерзко, когда сулил себе тишину и уединение без помех: вот с ристалища донесся громкий крик и, хоть не сбил меня, однако отвлек и сам стал предметом сопоставления. Я подумал про себя: как много людей упражняют тело и как мало – душу! Сколько народу сбегается смотреть потешное и мимолетное зрелище, и какая пустота возле благородных наук! Как немощны духом те, чьими плечами и руками мы любуемся! (3) Об этом я и думаю больше всего: если упражнениями можно приучить тело к такой терпеливости, что она позволяет сносить и удары, и пинки многих людей, проводить целые дни под палящим солнцем, в горячей пыли, обливаясь кровью, – то насколько же легче закалить душу, чтобы она была стойкой перед всяким даром и ударом фортуны. чтобы, сброшенная наземь и растоптанная, она поднималась вновь? Ведь телу для здоровья нужно многое, а душа растет сама собою, сама себя питает, сама себя закаляет. Атлету нужно много пищи, много питья, много масла, нужны долгие труды; тебе добродетель достанется и без вспомогательных орудий, и без затрат. Что может сделать тебя человеком добра, то при тебе. (4) Что же надобно, чтобы стать таким? Желание! Но можешь ли ты пожелать лучшего, нежели вырваться из гнетущего всех рабства, от которого даже невольники последнего разбора, рожденные в ничтожестве, силятся избавиться? Все свое достояние, скопленное за счет собственной утробы, отдают они за свободу. Так неужели ты, верящий, что родился свободным, не жаждешь любой ценой добиться свободы? (5) Зачем ты оглядываешься на свой ларь? Купить ее нельзя. То, что вносится в списки, есть лишь пустое имя свободы [2], которой нет ни у тех, кто ее купил, ни у тех, кто продал. Нужно, чтобы ты сам дал себе это благо, сам у себя его добился.

Освободись прежде всего от страха смерти, потом от страха бедности. (6) Если хочешь убедиться, что ничего худого в ней нет, сравни лицо богача и лицо бедняка. Бедняк чаще смеется от души; никакая тревога не жжет его в глубине; если и придет какая забота, она уйдет, как легкое облачко. У тех, что слывут счастливыми, веселье притворно, а печаль мучительна, как скрытый нарыв, – мучительна тем более, что порой нельзя быть откровенно несчастным и надо среди горестей, разъедающих сердце, играть счастливца. (7) Мне часто приходится приводить этот пример, потому что в нем яснее всего виден мим человеческой жизни, назначающей нам такие роли, каких нам не сыграть. Кто это спесиво шествует на подмостках и говорит, закинув голову:

> Я – Аргоса властитель!
> Завещал Пелоп
> От моря Геллы вплоть до Ионийских вод
> Простертую державу мне?..[3]

Раб, получающий пять мер зерна и пять денариев! (8) А кто вон тот, не знающий удержу в спеси и кичливо верящий в свое могущество, тот, который говорит:

Молчи, о Менелай. иль от моей руки
Падешь!
Ему платят поденно, и спит он под лоскутным одеялом!

То же самое можно сказать обо всех избалованных, которых над головами людей, над толпою возносят носилки; у всех у них счастье – только личина. Раздень их – и запрезираешь. (9) Покупая коня, ты велишь снять попону; выставленным на продажу рабам ты велишь сбросить одежду, чтобы не скрылись телесные изъяны. Почему же ты ценишь человека лишь в облаченье? Работорговцы все, что может не понравиться, прячут с помощью какой-нибудь уловки; поэтому покупателю украшенья и подозрительны: увидев повязку на ноге или на руке, ты прикажешь сбросить ее и показать тебе тело. (10) Ты видишь этого царя скифов или сарматов с роскошным убором на голове? Если хочешь оценить его и до конца узнать, каков он, развяжи диадему. Много зла прячется под нею! А что говорить о других? Хочешь знать, что ты весишь, – отставь в сторону деньги, дом, сан. Сам разберись в себе! А покуда ты судишь о себе, приняв на веру чужое мненье. Будь здоров.

Письмо LXXXI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты жалуешься, что напал на неблагодарного человека. Если это в первый раз. поблагодари либо судьбу, либо собственную осмотрительность. Впрочем, осмотрительность тут если что и может, так только сделать тебя недобрым: ведь, желая избежать такой опасности, ты всем откажешь в благодеяньях, – и они пропадут по твоей вине, из-за твоего страха, как бы они не пропали за другими. Но лучше уж не видеть ответных благодеяний, чем всем отказывать. Ведь и после плохого урожая надобно сеять, и нередко то, что гибло от постоянного бесплодия дурной почвы, возмещается изобилием одного года. (2) Чтобы найти благодарного, стоит попытать счастье и с неблагодарными. Не может быть у благодетеля столь верная рука, чтобы он никогда не промахивался; но пусть стрелы летят мимо – лишь бы иногда попадали в цель. И после кораблекрушения выходят в море; ростовщика не гонит с торжища обманщик[1]. Жизнь скоро оцепенеет в праздном покое, если надо будет отступаться от всего, что нам не по нраву. А тебя неудачи пусть сделают еще отзывчивее: ведь за то дело, исход которого неясен, следует браться почаще, чтобы когда-нибудь оно вышло.

(3) Но об этом я довольно говорил в тех книгах, которые названы «О благодеяниях». Здесь, мне кажется, надо исследовать то, что не было, по-моему, объяснено в должной мере: если кто-то нам сперва помог, а потом навредил, сквитался ли он с нами и освободил ли нас от долга? Прибавь, если хочешь, еще и то, что вред оказался больше прежней помощи. (4) Если ты потребуешь от строгого судьи правильного приговора, он вычтет одно из другого и скажет: «Хотя оскорбление и перевешивает, разницу следует списать за счет благодеяния. Он повредил больше? Но помог-то раньше! Прими во внимание и время». (5) И еще – это настолько ясно, что и напоминать незачем, – следует спросить, добровольно ли он помог и не повредил ли нехотя: ведь и благодеянья, и обиды зависят от намеренья. Я не хотел благодетельствовать, но уступил стыду, настойчивости просителя, надежде. (6) Как давалось, так нужно и воздавать, и мерится благодеяние не величиной, а доброй волей, которой порождено. А теперь отбросим это предположение. Пусть благодеяние было благодеяньем, а обида – обидой, превышающей меру прежнего благодеянья. Человек добра так поведет счет, чтобы самого себя обсчитать: к благодеянию прибавит, из обиды вычтет; и судья не столь суровый (таким я и предпочитаю быть) обиду непременно забудет, а благодеянье запомнит. – (7) «Но ведь справедливости подобает воздавать каждому свое и за благодеянье платить благодарностью, за обиду – местью или, по крайней мере, неприязнью». – Это правильно, если один нас облагодетельствовал, а обидел другой; но если все сделал один человек, благодеянье гасит обиду. Ведь к тому, кого следовало бы простить и без прежних заслуг, нужно быть вдвойне снисходительным, если обиде предшествовало благодеянье. (8) Для

меня цена их не одинакова: благодеянье я ставлю выше. Даже благодарные не все знают меру своего долга: ведь и неразумный, и невежда, и простолюдин могут испытывать благодарность, особенно сразу после благодеяния, но меры долга они не знают. Только мудрому ведомо, чего стоит каждая вещь. Потому что глупец, о каком я сейчас говорил, несмотря на добрую волю, платит либо меньше, чем должен, либо не там или не тогда, когда следовало бы, и, покуда несет, проливает и просыпает свое ответное воздаяние. (9) Удивительно, до чего точно подходят слова к некоторым вещам; обычай, издавна принятый в языке, отмечает их всем понятными знаками, указывая ими, что следует делать. Так мы всегда говорим: «Он его поблагодарил». Ведь дарить – значит давать по собственной воле. Мы не говорим «заплатил благодарностью»: платят ведь и по требованью, и через посредника. Мы не говорим: «вернул ему благодеяние» или «сквитался за благодеяние» – тут нам не по душе слова, которые подходят для ссуд. (10) «Благодарить» – значит, отвечать тем же на полученное в дар благо, слово «дарить» означает добровольное приношенье: кто дарит, тот сам себя позвал.

Мудрый все взвесит наедине: сколько он получил, от кого, когда, где, как. Потому мы утверждаем, что благодарить не умеет никто, кроме мудреца, то есть человека, для которого давать – большая радость, чем для другого получать. (11) Кто-нибудь, верно, причислит это к таким нашим высказываниям, которые противоречат общему мнению (греки называют их тсйраЗо^ос), и спросит: «Значит, никто, кроме мудреца, не умеет благодарить? Стало быть, никто, кроме него, не умеет и заимодавцу отдать долг, и расплатиться с продавцом, купивши какую-нибудь вещь?» – Так вот, чтобы не нас одних преследовала ненависть, пусть он знает, что и Эпикур говорил то же самое. Метродор прямо утверждает, что «только мудрый и умеет благодарить». (12) А потом он же удивляется, как это мы говорим:»только мудрый умеет любить, только мудрый может быть другом». Но ведь благодарность есть часть и любви и дружбы – она даже более распространена и доступна большему числу людей, чем истинная дружба. И он же удивляется, как это мы говорим: «только в мудром и есть верность», будто сам он говорит другое! Или, по-твоему, в том, кто не знает благодарности, есть верность? (13) Пусть же перестанут бесславить нас за якобы невероятную похвальбу и пусть знают: лишь мудрец обладает тем, что честно, а толпа только призраками и подобиями честности. Никто не умеет благодарить, кроме мудрого; благодарит и неразумный, но как придется, как может; ему не хватает не желанья, а уменья. Желанью учиться незачем. (14) Мудрый все сопоставит: ведь одно и то же благодеянье бывает и большим, и меньшим в зависимости от времени, места, побуждений. Нередко больше проку дать кстати тысячу денариев, чем наполнить весь дом богатствами. Ведь немалая разница – помогаешь ты или даришь, спасает ли твоя щедрость, или прибавляет роскоши. Часто дают мало, а достигают этим многого. А разве не велика, по-твоему, разница, у себя ли ты взял то, чем помог другому в нужде, или же прибег, чтобы дать, к чужому благодеянию?[2]

(15) Но как бы нам не вернуться к тому, что мы уже достаточно исследовали! Сравнивая благодеяние с обидой, человек добра рассудит, что самое справедливое, но отдаст предпочтение благодеянию: к таким вещам больше лежит у него душа. (16) В делах этого рода очень много значит еще и личность. Ты меня облагодетельствовал помощью моему рабу, а обидел, нанеся ущерб моему отцу; ты спас мне сына, но погубил отца. Так мудрец переберет все, что положено сравнивать, и если разница окажется невелика, закроет глаза на обиду; он простит ее, даже когда разница велика, если только можно быть великодушным, не нарушая ни верности, ни долга перед другими, то есть если обида касается его одного. (17) В итоге он будет при сведении счета уступчив и легко потерпит, чтобы на него записано было больше. Ему не захочется зачесть обиду в погашение долга за благодеяние. К другому он склонится, другое предпочтет: он будет желать, чтобы долг благодарности был за ним, будет желать отблагодарить скорее. Ведь тот, кому получать благодеяния приятнее, чем оказывать, заблуждается. Насколько возвращающий деньги радостнее берущего взаймы, настолько же сбросившему с плеч бремя великого долга за благодеяние следует быть веселее, чем тому, кто сейчас одалживается. (18) Ведь еще и в том ошибаются неблагодарные, что заимодавцу они начисляют лихву сверх полученной ссуды, благодеяние же считают безвозмездным. А долг и тут от промедленья растет, и чем позже ты платишь, тем больше обязан платить. Кто возвращает благодеянье без ростов, тот неблагодарный человек. Вот что, сравнивая полученное и отданное, мудрый примет в расчет.

(19) Нужно сделать все, чтобы благодарность наша была больше: ведь она – наше благо, подобно справедливости, которая, хотя и простирается по общему мнению на других, но в большей своей части возвращается к нам. Всякий, кто был полезен другому, принес пользу и себе. Я имею в виду не то, что получивший помощь охотно поможет, а взятый под защиту – оборонит и нас, что добрый пример по кругу возвращается к подавшему его, как дурные примеры обрушиваются на голову зачинателей зла, которых никому не жаль, так как они сами делом доказали, что поразившая их несправедливость возможна. Я имею в виду то, что ценность всех добродетелей – в них самих. В добродетелях упражняются не ради награды: прибыль от правильного поступка в том, что он совершен. (20) Я благодарю не ради того, чтобы кто-нибудь, подстрекаемый первым примером, охотнее услужил мне, но чтобы сделать дело приятное и прекрасное. Я благодарю не потому, что это мне на руку, а потому, что по душе. А что это так, узнай вот из чего: если я смогу отблагодарить только кажущейся неблагодарностью, если я смогу ответить на благодеянье не иначе, как видимостью обиды, то с полнейшим равнодушием пройду через поношение ради того, что сочту честным. По-моему, никто не ценит добродетель выше, никто не предан ей больше того, кто потерял славу человека добра, чтобы не потерять совести. (21) Итак, благодарность больше служит к твоему, чем к чужому благу. На долю другого приходится вещь обычная и повседневная: получить то, что дал; тебе на долю – вещь великая, доступная лишь душе, достигшей блаженнейшего состояния: благодарность. Ведь если злонравие делает нас несчастными, а добродетель – блаженными, и если благодарность есть добродетель, значит, ты отдал вещь самую обыкновенную, а приобрел неоценимую – сознанье благодарности, которое проникает только в душу божественную и счастливую. А того, кто испытывает противоположные чувства, гнетет величайшее несчастье. Всякий неблагодарный будет жалок, – да что будет, он сейчас жалок. (22) Потому следует бежать неблагодарности, и не ради других, а ради нас самих. Ведь наша бесчестность обдает других только брызгами и пеной, а самое худшее и, так сказать, самое плотное остается при нас и нас же давит; недаром наш Аттал любил повторять: «Злонравие само выпивает наибольшую долю своего яда». Яд, который змеи выделяют на гибель другому и сохраняют без вреда для себя, не похож на этот яд, который всего страшней для источающих его. (23) Неблагодарный сам себя мучит и гложет; он ненавидит полученное и старается умалить его, ибо нужно возвращать долг, а обиды раздувает и преувеличивает. А кто несчастнее человека, забывчивого на добро и памятливого на зло? Мудрость же, напротив, расхваливает самой себе всякое благодеяние, чтоб оно стало еще прекрасней, и наслаждается, все время вспоминая о нем. (24) Для плохого человека удовольствие одно, да и то краткое: получать благодеянье, а мудрый находит в нем радость долгую и постоянную. Ему отрадно не получать сей миг, а получить хоть раз; это остается для него бессмертным и вечным. Что ему во вред, то он презирает и забывает не по небрежению, а намеренно. (25) Он не видит во всем лишь плохое, не ищет, на кого бы взвалить свои беды, а людские грехи склонен относить за счет фортуны. Он не придирается ни к словам, ни к взглядам, и что бы ни случилось, все толкует снисходительно и тем облегчает. Покуда может, он старается помнить прежнее и лучшее, и только когда услужившие ему прежде добром сделают так много зла, что разности нельзя будет не заметить, даже закрывая глаза, тогда он изменит к ним отношенье, да и то лишь настолько, что после тяжкой обиды станет относиться к ним не иначе, чем до благодеянья. Ну, а если обида равна благодеянью, тогда в душе остается что-то от прежней приязни. (26) Как обвиняемого оправдывают, если голоса разделились поровну, и все, что сомнительно, человечность толкует в лучшую сторону, – так душа мудреца, если услуги равны ущербу, перестает ощущать за собой долг, но не перестает его желать, и поступает как должник, который платит после отмены долговых обязательств.

(27) Никто не может быть благодарным, не презрев всего, что приводит толпу в безумье. Если хочешь воздать благодарность, придется и в изгнанье идти, и кровь проливать, и нужду терпеть, и нередко запятнать собственную безупречность, сделав ее мишенью недостойных слухов. (28) Благодарный человек сам себе недешево обходится. Мы ничего не ценим выше благодеянья, покуда его домогаемся, и ниже – когда получим. Ты спросишь, что заставляет нас забыть полученное? Жажда получить еще. Мы думаем не о том, чего добились, а о том, чего предстоит добиться. Нас сводят с прямого пути богатство, почести, могущество и прочее, по нашему мнению дорогое, а по настоящей цене дешевое. (29) Мы не умеем оценивать вещи, о которых нужно

спрашивать совета не у молвы, а у природы. В тех, что влекут к себе наш дух, нет ничего величественного, кроме нашей привычки ими восхищаться. Дело не в том, что они желанны и потому мы их хвалим, нет, мы их желаем, потому что их хвалят, и как общее заблуждение создается заблужденьями отдельных людей, так заблужденья отдельных людей создаются общим заблужденьем. (30) Но если мы тут верим народу на слово, то поверим-ка ему и в другом: нет души честнее той, которая способна к благодарности. Это кликами одобрят все города, все племена даже в варварских землях; в этом сойдутся и добрые, и злые. (31) Одни хвалят наслажденье, другие предпочитают труды; те объявляют боль величайшим злом, эти – и не злом вовсе. Один причисляет богатства к высшим благам жизни, другой говорит, что они придуманы во зло человеку и богаче всех тот, кого фортуне нечем одарить. И при таких разноречивых суждениях все в один голос подтвердят тебе, что нужно быть благодарными сделавшим добро; в этом согласна вся разномыслящая толпа, хоть мы между тем и платим за благодеянья обидами. И первая причина неблагодарности – в том, что человек не может отблагодарить в должной мере. (32) До того дошло безумие, что опаснее всего стало оказывать великие благодеянья, тот, кому стыдно не воздать за них, хочет, чтобы воздавать было некому. – Владей тем, что получил, я ничего не прошу, не требую взамен: пусть только будет безопасно помогать людям. Нет ненависти пагубнее той, что рождена стыдом за неотплаченное благодеянье. Будь здоров.

Письмо LXXXII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) О тебе я перестал тревожиться. – Ты спросишь, кого из богов взял я поручителем? – Того, конечно, который никогда не обманывает, – душу, полюбившую все справедливое и благое. Лучшая часть твоего существа в безопасности. Фортуна может тебе повредить, но самого главного – как бы ты сам себе не повредил – я не боюсь. Иди, куда направился, и живи, как живешь, спокойно, но не легко. (2) Мне, например, пусть лучше будет плохо, чем легко. «Плохо» понимай в том смысле, как привык говорить народ: тяжко, трудно, в заботах. Мы часто слышим такие похвалы тем, чьей жизни завидуют: «Ему живется легко!» Но ведь это значит: «Он человек изнеженный!» Понемногу душа делается дряблой и бессильной, под стать тому безделью и лени, в которых она погрязла. Но разве не больше подобает мужу даже чрезмерная твердость? Избалованные боятся смерти – и делают свою жизнь подобной ей. А ведь лежать, отдыхая, и лежать в могиле – не одно и то же! – (3) Ты скажешь: «Да не лучше ли лежать хотя бы так, чем вертеться в водовороте дел?» – И то и другое гибельно – и судорога, и столбняк. По-моему, труп и тот, что лежит в благовониях, и тот, который волокут крюком [1]. Досуг без занятий науками – смерть и погребенье заживо. (4) Что пользы уединиться? Как будто поводы для тревог не погонятся за нами и через моря! В какое убежище не проникнет страх смерти? За какими стенами, в каких подземельях можно жить так спокойно, чтобы не бояться боли? Где бы ты ни скрылся, вокруг будет шуметь человеческое зло. Много его вне нас, и оно ходит вокруг, чтобы обмануть, чтобы настигнуть, много и в нас самих, и оно бушует даже среди одиночества.

(5) Нужно возвести вокруг несокрушимую стену философии, которую фортуна, сколько бы ни била осадными орудиями, не возьмет никогда. В недосягаемом месте та душа, что покинула все внешнее и отстаивает свою свободу в собственной крепости: никакое копье до нее не долетит. У фортуны руки не так длинны, как мы думаем: ей не схватить никого, кроме тех, кто льнет к ней. (6) Так будем держаться от нее как можно дальше – это удастся сделать, только познав и себя, и природу. Пусть каждый знает, куда он идет и откуда взялся, что для него хорошо, что плохо, чего он ищет и чего избегает, что есть разум, отличающий то, к чему должно стремиться, от того, чего следует бежать, укрощающий безумие желаний и смиряющий жестокость страхов. (7) Некоторые думают, что они подавили все это и без философии. Но когда живших безопасно испытает какое-нибудь бедствие, тогда и будет вырвано у них позднее признанье. Громкие слова уйдут из головы, когда пытатель потребует протянуть руку, когда смерть придвинется ближе. Тогда можно сказать: Легко тебе было издалека бросать вызов бедам! Вот боль, которую ты объявлял терпимой! Вот смерть, против которой ты произносил мужественные речи! Свистят бичи,

блещет клинок.

Вот теперь-то нужна и отвага, и твердое сердце! [2]

(8) А сделает его твердым неустанное размышление, если только ты будешь упражнять не язык, но душу и готовить себя к смерти, – а сил и мужества противостоять ей не даст тебе тот, кто словесными ухищрениями попытается убедить тебя, будто смерть не есть зло. Право, Луцилий, лучший из людей, приятно посмеяться над этими греческими глупостями, которые я, к моему собственному удивленью, еще не выбросил из головы.

(9) Наш Зенон прибегает к такому умозаключению: «Зло не может быть славным, смерть бывает славной, значит, смерть не есть зло». – Ты своего добился – избавил меня от страха! После таких слов я не поколеблюсь склонить голову под меч. Но не угодно ли тебе говорить серьезнее и не смешить идущего на смерть? Не легко сказать, кто глупее – тот ли, кто верит, будто такой уловкой погасил страх смерти, или тот, кто пытается ее распутать, словно это не чистое празднословие. (10) Ведь сам Зенон предложил противоположную уловку, основанную на том, что смерть мы причисляем к вещам безразличным (греки их называют ййьасвоэа). «Безразличное, – говорит он, – не бывает славным, смерть бывает славной, значит, смерть не безразлична». Видишь, к чему украдкой ведет эта уловка. Не смерть бывает славной, а мужественная смерть. Когда ты говоришь: «безразличное не бывает славным», я соглашусь с тобой в том смысле, что славным бывает только связанное с безразличным. Я утверждаю, что безразличное (то есть ни хорошее, ни плохое) – это и недуг, и боль, и бедность, и ссылка, и смерть. (11) Само по себе все это славным не бывает, но и без этого нет ничего славного: хвалят не бедность, а того, кого она не покорила, не согнула, хвалят не ссылку, а того, кто, отправляясь в ссылку, не горевал[3], хвалят не боль, а того, кого боль ни к чему не принудила; никто не хвалит смерть – хвалят того, у кого смерть отняла душу, так и не взволновав ее. (12) Все это само по себе не может быть ни честным, ни славным; но к чему приблизилась и прикоснулась добродетель, то она делает и честным, и славным. Эти вещи стоят как бы посредине, и все дело в том, что приложит к ним руку – злонравие или добродетель. Смерть, у Катона славная, у Брута[4] становится жалкой и постыдной. Ведь это тот Брут, который перед смертью искал отсрочек, вышел, чтобы облегчить живот, а когда его позвали и велели склонить голову под меч, сказал: «Сделаю это, клянусь жизнью!» – Какое безумие – бежать, когда отступать уже некуда! «Сделаю это, клянусь жизнью!» Чуть было не прибавил: «жизнью хотя бы и под Антонием». Право, он заслужил, чтобы его предали жизни!

(13) Но, как я сказал вначале, ты видишь, что сама смерть – не добро и не зло: Катону она послужила к чести, Бруту – к позору. Любая вещь, пусть в ней нет ничего прекрасного, становится прекрасной вкупе с добродетелью. Мы говорим: спальня светлая; но она же ночью становится темной; день наполняет ее светом, ночь его отнимает. (14) Так и всему, что мы называем «безразличным» и «стоящим посредине»: богатствам, могуществу, красоте, почестям, царской власти, и наоборот – смерти, ссылке, нездоровью, страданиям, и всему, чего мы больше или меньше боимся, дает имя добра или зла злонравие либо добродетель. Кусок железа сам по себе не горяч и не холоден, но в кузнечной печи он раскаляется, в воде остывает. Смерть становится честной благодаря тому, что честно само по себе: добродетели и душе, презирающей все внешнее.

(15) Но и то, Луцилий, что мы называем «средним», не одинаково: ведь смерть не так безразлична, как то, четное или нечетное число волос растет на голове. Смерть – не зло, но имеет обличье зла. Есть в нас любовь к себе, и врожденная воля к самосохранению, и неприятие уничтоженья; потому и кажется, что смерть лишает нас многих благ и уводит от всего, к чему мы привыкли. И вот чем еще отпугивает нас смерть: здешнее нам известно, а каково то, к чему все перейдут, мы не знаем и страшимся неведомого. И страх перед мраком, в который, как люди верят, погрузит нас смерть, естествен. (16) Так что даже если смерть и принадлежит к вещам безразличным, пренебречь ею не так легко: нужно закалять дух долгими упражнениями, чтобы вынести ее вид и приход. Презирать смерть больше должно, чем принято: слишком много насчет нее суеверий, слишком много даровитых людей состязалось, как бы пуще ее обесславить; изоб-

разили и преисподнюю темницу, и край, угнетаемый вечным мраком, и огромного

пса, что Орк охраняет,
Лежа на груде костей, обглоданных в гроте кровавом,
Вечно лаем своим он бескровные тени пугает,[5]

А если ты даже и убедишься, что все это сказка и усопших ничего не ждет из того, что внушало им ужас, – подкрадывается новая боязнь: ведь одинаково страшно и быть в преисподней, и не быть нигде. (17) Так разве мужественно пойти на смерть наперекор всему, что внушено нам давним убеждением, не есть один из самых славных и великих подвигов человеческого духа? Ему никогда бы не подняться к добродетели, если бы он считал смерть злом; он поднимется, если сочтет ее безразличной. Природа не допускает, чтобы кто-нибудь отважно шел на то, что считает злом; всякий будет медлить и мешкать, а сделанное поневоле, с желаньем увильнуть не бывает славным. Добродетель ничего не делает по необходимости. (18) И еще одно: не бывает честным то, что делается не от всей души, чему она хоть отчасти противится. А где идут на плохое, либо из боязни худшего, либо в надежде на хорошее, ради которого стоит однажды терпеливо проглотить плохое, там сужденья человека раздваиваются: одно велит выполнить задуманное, другое тянет назад, прочь от подозрительного и опасного дела. Так и разрывается человек в разные стороны. Но слава при этом погибает. Добродетель выполняет все, что решила, без разлада в душе и не боится того, что делает.

Ты же, беде вопреки, не сдавайся и шествуй смелее,
Шествуй, доколе тебе позволит фортуна! [6]

(19) Но ты не будешь шествовать смелее, если считаешь беды злом. Эту мысль нужно вытравить из сердца, не то останется замедляющее натиск подозренье, и ты натолкнешься на то, на что нужно бы напасть с ходу.

Наши хотят представить уловку Зенона истинной, а вторую, ей противоположную, обманчивой и лживой. Я не проверяю их ни законами диалектики, ни хитросплетеньями дряхлых ухищрений, но считаю, что неприемлем весь этот род вопросов, когда спрошенный полагает, что его запутали, и, вынужденный соглашаться, отвечает одно, а думает другое. Во имя истины нужно действовать проще, против страха – мужественней.

(20) Я предпочел бы все, что они накрутили, распутать и разъяснить, чтобы не навязывать сужденье, а убеждать. Войско, построенное для боя, идущее на смерть за жен и детей, – как его ободрить? Вот тебе Фабии[7], род, взявший в свои руки войну всего государства. Вот тебе лаконяне, засевшие в самой теснине Фермопил: они не надеются ни победить, ни вернуться, это место и будет им могилой. (21) Как ободрить их, чтобы они телами загородили дорогу лавине, обрушившейся на весь народ, и ушли из жизни, но не со своего места? Неужто сказать им: «Зло не может быть славным; смерть бывает славной, значит, смерть не есть зло»? Вот убедительная речь! Кто после нее поколеблется броситься на вражеские клинки и умереть стоя? А Леонид – как храбро обратился он к воинам! «Давайте-ка завтракать, соратники: ведь ужинать мы будем в преисподней!» – вот что он сказал. И ни у кого кусок не выпал из рук, не завяз в зубах, не застрял в горле; все обещали быть и за завтраком, и за ужином. (22) А тот римский вождь8, который, посылая солдат пробиться сквозь огромное вражеское войско и захватить некое место, сказал им: «Дойти туда, соратники, необходимо, а вернуться оттуда необходимости нет». Видишь, как проста и повелительна добродетель! Кого из смертных, запутав, вы сделаете храбрее, кому поднимете дух? Нет, вы его сломите, ибо меньше всего можно умалять его и насильно занимать хитроумными мелочами тогда, когда готовится нечто великое. (23) Нужно избавить от страха смерти не триста[9], а всех смертных. Как ты им докажешь, что она не зло? Как победишь предрассудки, если люди впитали их во младенчестве и питали на всем своем веку? Где ты найдешь помощь? Что ты ска жешь человеческой слабости? Что ты скажешь, дабы воспламенить людей и бросить в гущу опасностей? Какой речью разрушишь этот единодушный страх, какими силами ума искоренишь упорствующее против тебя убеждение рода человеческого? Будешь нанизывать

лукавые слова, сплетать каверзные вопросы? Больших чудовищ бьют большими снарядами. (24) В ту свирепую африканскую змею[10], что была для римских легионов страшней самой войны, напрасно метили из луков и пращей; и пикой[11] нельзя было ее ранить, потому что огромное тело, твердое в меру своей величины, отбрасывало и железо, и все, что метала человеческая рука; только огромными камнями сломали ей хребет. А сражаясь со смертью, ты посылаешь такие малые стрелы? Хочешь встретить льва шилом? То, что ты говоришь, остро. Но нет ничего острее ости на колосе. Есть вещи, которые как раз тонкость и делает бесполезными и никчемными. Будь здоров.

Письмо LXXXIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты велишь, чтобы я описывал тебе каждый мой день, и притом с начала до конца. Хорошего ты мнения обо мне, если думаешь, что мне за весь день нечего скрывать. Так и надо жить, словно мы на виду; и думать надо так, словно кто-то может заглянуть в глубь нашего сердца. И правда может! Что пользы утаить то или другое от человека? Для бога все настежь! Он присутствует в наших душах, проникает в наши замыслы. Я сказал «проникает», будто он когда-нибудь отлучается. (2) Ладно, я выполню твой приказ и охотно напишу обо всем, что я делаю и в каком порядке. Буду теперь все время за собою наблюдать и проверять каждый мой день – дело весьма полезное. Оттого мы и становимся такими скверными, что никто не оглядывается на свою жизнь. О том, что придется делать, мы думаем, да и то редко, а о сделанном и не думаем – хотя как раз прошлое подает советы на будущее! (3) Нынешний день остался цел, никто не отнял у меня и часа, и я разделил его между постелью и чтением, оставив лишь немного на телесные упражненья. За это я должен быть благодарен старости: они обходятся мне совсем недорого, я устаю, едва начав двигаться, а усталость цель всяких упражнений, даже самых усиленных. (4) Ты спрашиваешь, кто мой прогимнаст[2]? С меня довольно Фария, прелестного, как ты знаешь, мальчика; но и его я заменю. Мне уже нужен кто-нибудь помладше. Правда, Фарий говорит, что у нас с ним одинаковый «кризис» – у обоих выпадают зубы. Но я, бегая с ним, едва могу за ним угнаться, а скоро и совсем не смогу: вот видишь, как полезны ежедневные упражненья. Разрыв между нами, идущими по разным дорогам, растет очень быстро; он поднимается, между тем я спускаюсь, а ты сам знаешь, насколько одно быстрее другого. Впрочем, я солгал: наш возраст уже не спускается, а падает. (5) Ты спросишь, чем кончилось наше сегодняшнее состязание? Тем, чем редко кончается у бегунов: ничьей. Потом, больше устав, чем поупражнявшись, я погрузился в холодную воду (она у меня называется не слишком теплой). Я, завзятый любитель холодных купаний, я, в январские календы приветствовавший Еврип и на новый год загадывавший не только что-нибудь читать, писать и говорить, но и нырять в источник Девы, – перенес лагерь сперва к Тибру [3], а потом к собственной ванне, которую, когда я совсем крепок и все делается на совесть, согревает только солнце. Теперь мне уже недалеко и до бани. (6) Потом я завтракал сухим хлебом, не подходя к столу, так что после завтрака незачем было мыть руки. Сплю я мало. Ты знаешь мой обычай засыпать ненадолго, как будто выпрягаясь из повозки. С меня довольно перестать бодрствовать; иногда я замечаю, что спал, иногда только догадываюсь об этом. (7) Но вот донесся шум цирковых игр; внезапный крик толпы ударил мне в уши, но не сбил моих размышлений и даже не прервал их. Гул я переношу терпеливо: когда сливается много голосов, это для меня все равно что плеск потока, или шорох леса под ветром, или любой другой шум, лишенный смысла.

(8) К чему же я теперь прилежу душою? Вот к чему. Со вчерашнего дня меня занимает мысль, ради чего это самые разумные мужи подыскивали для важнейших вещей пустые и путаные доказательства, которые при всей их истинности, так похожи на ложь. (9) Зенон, великий муж основатель нашей школы, столь стойкой и незапятнанной, хочет отпугнуть нас от пьянства. Послушай, какие он строит умозаключения насчет того, что человек добра не бывает пьян: «Пьяному никто не доверит ничего тайного; человеку добра тайны доверяют, значит, человек добра не бывает пьян». А вот как потешаются над этим хитрым заключением, сопоставив с ним

подобное же (довольно будет привести одно из многих): «Спящему никто не доверит ничего тайного; человеку добра тайны доверяют, значит, человек добра не спит». (10) Посидоний защищает нашего Зенона единственным возможным способом, но и так, на мой взгляд, его не защитить. Вот что утверждает Посидоний: «пьяный» говорится в двух смыслах, – и о том, кто не в себе от выпитого вина, и о том, кто постоянно напивается и подвержен этому пороку. Зенон имеет в виду не того, кто напился, а того, кто постоянно напивается: ему не доверят тайны, которую он может разгласить во хмелю. (11) Это неверно. Ведь первое умозаключение относится к тому, кто пьян сейчас, а не к тому, кто будет пьян. Ты согласишься, что между пьяным и пьяницей большая разница: пьяный, может быть, пьян впервые и не подвержен этому пороку, а пьяница нередко бывает и не под хмелем. Вот я и понимаю это слово так, как велит обычное его значение, особенно если его употребил человек, проповедующий точность и взвешивающий слова. Прибавь к этому, что Зенон, понимая так это слово и желая, чтобы мы его так понимали, сам двусмысленностью искал возможность подвоха, – а этого нельзя делать, если ищешь истину. (12) Но пусть он даже и имел в виду такой смысл; второе утвержденье, – будто привыкшим пьянствовать не доверяют никаких секретов, ложно. Подумай сам, как часто солдатам, вовсе не всегда трезвым, и военачальник, и трибун, и центурион поручают такое, о чем надо молчать. Готовя убийство Гая Цезаря (того, который захватил государство, взяв верх над Помпеем), Тиллию Цимбру[4] доверяли не меньше, чем Гаю Кассию. Кассий всю жизнь пил только воду, Цимбр не знал удержу ни в пьянстве, ни в ссорах. Насчет этого он и сам шутил: «Как мне перенести, чтобы надо мною был кто-то, если я и вина не переношу?» (13) Пусть каждый назовет известных ему людей, которым вино нельзя было доверить, а тайну – можно. Но один пример, который пришел мне на память, я приведу, чтобы он не забылся: ведь в жизни всегда пригодятся славные примеры, и не всегда за ними нужно обращаться к старым временам. (14) Блюститель Города Луций Писон[5] как однажды начал пить, так с тех пор и был пьян; большую часть ночи он проводил в попойке, потом спал до шестого часа (это и было его утро). Но свои обязанности по охране Города он выполнял весьма прилежно. Ему давали тайные поручения и Божественный Август, когда сделал его наместником Фракии, которую он усмирил, и Тиберий, когда, отправляясь в Кампанию, оставлял в Городе многое, что было ему подозрительно и ненавистно. (15) Позже – потому, я думаю, что ему так повезло с пьяницей Писоном, – он назначил городским префектом Косса, человека степенного, скромного, но всегда хмельного, так что порой его выносили из сената, куда он являлся с попойки и где засыпал непробудным сном. И однако Тиберий своей рукой писал ему много такого, что не считал возможным передать даже через собственных прислужников. И ни одной тайны – ни государственной, ни доверенной частным лицом – Косе не разболтал. (16) Стало быть, надо покончить с разглагольствованиями насчет того, что, мол, душа, побежденная хмелем, над собою не властна; что как от винного сусла лопаются бочки и отстой, лежавший в глубине, силою жара вздымается вверх, так и в нас, когда бродит вино, все скрытое в глубине поднимается и выносится наружу; что, нагрузившись сверх меры неразбавленным вином, люди не могут удержать в себе ни пищу, ни тайну и выкладывают все – и свое, и чужое. (17) Хоть такое и бывает часто, но не реже и мы обсуждаем самые насущные дела с теми, за кем знаем пристрастие к выпивке. Значит, ложен этот выставляемый в защиту Зенона довод, – будто тому, кто привык напиваться, ничего нельзя доверить по секрету.

А насколько было бы лучше открыто обличить пьянство и перечислить его пороки! Тогда его стал бы избегать всякий приличный человек, а не только совершенный и мудрый, которому довольно утолить жажду, который, когда разгорится веселье и зайдет – не из-за него, а из-за других, – слишком далеко, все же остановится и допьяна не напьется. (18) Мы еще посмотрим, придет ли дух мудреца в расстройство от лишнего вина и будет ли мудрый делать то, что всегда делают пьяные. А пока, если хочешь доказать, что муж добра не должен напиваться допьяна, зачем строить умозаключения? Скажи просто: стыдно загонять в себя больше, чем можешь вместить, и не знать меры потребного для собственной утробы; пьяный делает много такого, от чего, протрезвев, краснеет, опьяненье – не что иное, как добровольное безумье. Продли это состояние на несколько дней, – кто усомнится, что человек сошел с ума? (19) Но и так безумье не меньше, а только короче. Приведи в пример Александра Македонского, как он во время пира убил Клита[6], самого верного и любимого друга, а поняв свое преступление, хотел умереть, – да и заслу-

живал смерти. Пьянство и разжигает, и обнажает всякий порок, уничтожая стыд, не допускающий нас до дурных дел. Ведь большинство людей только стыд, а не добрая воля удерживает от запретного. (20) Где душой овладевает слишком сильный хмель, все скрытое зло выходит наружу. Пьянство не создает пороков, а только выставляет их напоказ: похотливый даже не ждет ухода в спальню, а тут же, не откладывая, позволяет себе все, чего хочется его сладострастью; бесстыдный при всех сознается в своей болезни, наглый дает волю и рукам, и языку. У спесивого растет чванство, у жестокого – свирепость, у завистливого – злость; всякий порок выходит на свободу. (21) Прибавь еще, что пьяный не помнит себя, слова его бессмысленны и бессвязны, глаза видят смутно, ноги заплетаются, голова кружится так, что крыша приходит в движение и весь дом словно подхвачен водоворотом; живот у него болит, оттого что вино бурлит и распирает внутренности. Все это еще терпимо, пока хмель в силе; а когда сон его ослабит и опьяненье переходит в расстройство желудка? (22) Вспомни, к каким бедствиям приводило общее опьянение! Оно предавало врагу самые храбрые и воинственные племена, оно открывало крепости, многие годы обороняемые в упорных боях, оно подчиняло чужому произволу самых непреклонных и сбрасывавших любое иго, оно усмиряло непобежденных в битве. (23) Александр, только что мною упомянутый, остался невредим, пройдя столько дорог, столько сражений, столько зим, одолев и трудные времена, и трудные места, пересекши столько неведомо откуда текущих рек, столько морей, – и сгубили его невоздержность в питье и роковой геркулесов кубок [7].

(24) Велика ли слава – много в себя вмещать? Когда первенство почти что у тебя в руках, и спящие вповалку или блюющие сотрапезники не в силах поднимать с тобою кубки, когда из всего застолья на ногах стоишь ты один, когда ты всех одолел блистательной доблестью и никто не смог вместить больше вина, чем ты, – все равно тебя побеждает бочка.

(25) Что погубило Марка Антония, человека великого и с благородными задатками, что привело его к чужеземным нравам и неримским порокам, как не пьянство и не страсть к Клеопатре, не уступавшая страсти к вину? Оно и сделало его врагом государства, и притом слабейшим, чем его враги, оно и усугубило его жестокость, когда к нему за обедом приносили головы первых в Риме мужей8, когда он среди изобилия яств, среди царской роскоши пытался узнавать лица и руки убитых по спискам, когда, напившись вином, он жаждал крови. Мерзко было то, что он пьянел, когда творил все это, но еще мерзостнее то, что он творил все это пьяным.

(26) С пристрастьем к вину неразлучна свирепость, потому что хмель вредит здравому уму и ожесточает его. Как от долгой болезни люди становятся плаксивыми, раздражительными, так что малейшая обида приводит их в бешенство 9, так от непрестанного пьянства становится свирепой душа. Когда она часто не в себе, то пороки, укрепленные привычным безумием, возникнув во хмелю, и без него не теряют силы.

(27) Так говори прямо, почему мудрый не должен пить допьяна: покажи на деле, а не на словах, до чего отвратительно и вредно пьянство, – ведь это нетрудно. Докажи, что так называемые наслаждения, едва перейдут меру, становятся муками. А если ты какими-то доводами доказываешь, будто мудрец, сколько бы ни выпил вина, не собьется с правильного пути, даже если начнет буйствовать, – то можешь строить и такие умозаключенья: мудрец не умрет, выпив отравы, не заснет, приняв снотворное, а проглотив чемерицу, не извергнет сверху и снизу все, что будет у него в утробе. Нет, если ноги у него заплетаются, и язык тоже, то какие у нас основания думать, что он частью пьян, а частью трезв? Будь здоров!

Письмо LXXXIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Те поездки, что прогоняют мою вялость, полезны, я думаю, и для здоровья, и для занятий. Почему они полезны для здоровья, ты видишь сам: если пристрастье к наукам делает меня ленивым и мешает заботиться о теле, то так я упражняюсь хоть за чужой счет. А почему они полезны для занятий, я тебе объясню. Ведь я не перестаю читать, а это, по-моему, необходимо – во-первых, чтобы не довольствоваться самим собой, во-вторых, чтобы, зная исследованное другими, судить о найденном и думать о том, что еще нужно найти. Чтение питает ум и дает утомленному занятиями отдохнуть за другим занятием. (2) Нельзя только писать или только читать: одно

из этих дел удручает и отнимает силы (я имею в виду перо), второе рассеивает и расслабляет. Нужно в свой черед переходить от одного к другому и одно другим умерять, чтобы собранное за чтением наше перо превращало в нечто существенное. (3) Как говорится, мы должны подражать пчелам, которые странствуют в поисках медоносных цветов, а потом складывают принесенное в соты, где оно и переваривается в мед, и, как сказано у нашего Вергилия,

собирают текучий
Мед и соты свои наполняют сладким нектаром[1]

(4) О пчелах точно не известно, то ли сок, извлекаемый ими из цветов, есть готовый мед, то ли они придают собранному сладость некой примесью и свойством своего дыхания. Некоторые полагают, что их уменье – не делать мед, а собирать его, и говорят, что у индусов мед находят в листьях тростника, где он родится либо как роса, благодаря тамошнему климату, либо как сладкий и густой сок самого тростника, и что в наших травах есть та же сила, только не столь явная и заметная, а рожденные для того живые существа выискивают и копят такой сок. Другие думают, что со бранное пчелами с самых нежных трав и цветов превращается в новое вещество благодаря особым приправам и смешиванию, не без некого, так сказать, бродила, которое и сливает разное воедино.

(5) Но, чтобы мне не отвлечься от нашего предмета, скажу, что и мы должны подражать пчелам: вычитанное из разных книг разделять, потому что порознь все сохраняется лучше, а потом, употребив все тщание и все способности ума, слить разные пробы и добиться единого вкуса, так что, даже если будет видно, откуда что-то взято, оно должно выглядеть иным, нежели там, откуда было взято. Ведь то же самое в нашем теле делает без нашего старанья сама природа. (6) Съеденная пища лишь обременяет желудок, покуда остается, какой была, и плавает в нем твердыми кусками; только изменившись, превращается она в силу и в кровь. Пусть то же самое будет и со всем, что питает наш ум: нельзя, чтобы почерпнутое оставалось нетронутым и потому чужим. (7) Его нужно переварить, иначе это будет пища для памяти, а не для ума. Будем верны тому, с чем согласны, усвоим его так, чтобы из многого возникло одно, как из отдельных чисел получается одно, если меньшие разрозненные количества обнимет один подсчет. То же пусть сделает и наша душа: все, что помогло ей, пусть она скроет и показывает лишь то, чего сама добилась в итоге.

(8) А если и появится в тебе сходство с кем-нибудь, кого восхищение подняло в твоих глазах, я хочу, чтобы ты походил на него, как сын, а не как портрет: ведь портрет мертв. – «Что же, нельзя будет понять, чьей речи ты подражаешь, чьим доводам, чьим мыслям?» – Я думаю, порой и не поймешь этого – тогда, когда великий ум придает свой чекан всему[2], что пожелал взять от любого образца, и приведет все к единству.

(9) Разве ты не видел, как много голосов в хоре? И все они сливаются в единый звук. Есть в хоре голоса высокие, есть низкие, есть средние, сопровождают их флейты, – но отдельные голоса скрыты, явно слышен голос всех. (10) Я говорю о хоре, какой был известен старым философам. Во время наших состязаний больше певцов, чем когда-то бывало зрителей в театре; все проходы заполнены рядами поющих, скамьи окружены трубачами, с подмостков звучат флейты и органы всех родов, и из разноголосицы возникает стройность. То же самое хочу я видеть и в нашей душе: пусть она вместит много искусств, много наставлений, много примеров из разных веков, но пусть все это придет в согласие.

– (11) Ты спросишь, как этого можно достичь? – Постоянным вниманием, – не делая ничего иначе, как по совету разума. Если ты захочешь его послушаться, он тебе скажет: «Немедля оставь все, за чем гоняются; оставь богатства – они или опасны для владельца, или обременительны. Оставь наслажденья, и телесные, и духовные, – они изнеживают и расслабляют. Оставь поиски почестей – это вещь спесивая, пустая и непостоянная, ей нет конца, она всегда в тревоге, не видно ли кого впереди, нет ли кого за плечами, всегда мучится завистью, и притом двойной. Видишь, как несчастен человек, если и тот, кому завидуют, завидует тоже. (12) Видишь ты эти дома вельмож, эти пороги, у которых шумно ссорятся пришедшие на поклон? Ты натер пишься оскорблений, чтобы войти, а еще больше – когда войдешь. Иди мимо лестниц богачей и вознесенных насыпями прихожих: там ты будешь стоять не только над кручей, но и на скользком месте. Лучше направь шаг сюда, к мудрости: стремись к ее покою, к ее изобилию! (13) В делах че-

ловеческих ко всему, что на первый взгляд возвышается только над совсем уж низким, ведут крутые и трудные подступы. Неровною дорогой взбираются к вершине почестей. А если тебе угодно будет взойти на эту высоту, до которой не подняться фортуне, ты увидишь все почитаемое самым высоким у своих ног, хоть подъем твой будет пологим. Будь здоров.

Письмо LXXXV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я тебя щадил и до сих пор довольствовался немногим: пропуская все запутанное, давал тебе только отведать доказательства, приводимые нашими в подтвержденье тому, что одной добродетели довольно, чтобы сделать жизнь вполне счастливой. А теперь ты велишь мне изложить все умозаключенья, сколько их есть, – и наши, и придуманные с тем, чтобы выставить нас на смех; но если я захочу это сделать, получится не письмо, а книга. Я много раз заверял тебя, что не нахожу в доводах этого рода никакого удовольствия. Стыдно выходить в битву во имя богов и людей, вооружившись шилом.

(2) «Разумный человек умерен; умеренный стоек; стойкий безмятежен; безмятежный не знает печали; кто не знает печали, тот блажен; значит, разумный блажен, а разумности довольно для блаженной жизни». (3) Вот что возражают на это умозаключение некоторые перипатетики. Безмятежный, и стойкий, и не знающий печали – все это надо толковать так: «безмятежным» зовется не тот, кто никогда не волнуется, а тот, кто волнуется редко и умеренно; и «не знающий печали», по их словам, – это тот, кто печали не поддается, кто грешит этим пороком не часто и не слишком сильно, ибо человеческая природа отказала нам в том, чтобы чья-нибудь душа была недоступна печали, а мудреца скорбь не побеждает, не затрагивает, и прочее в этом роде, в соответствии со своим ученьем. (4) Они не устраняют страсти, а умеряют. Как мало, однако, признаем мы за мудрецом, если он сильнее самых слабых, радостнее самых скорбных, воздержнее самых разнузданных, выше самых низких! Что если кто-нибудь станет с восхищеньем хвалить собственное проворство, глядя на хромых и калек?

> В поле летела она по верхушкам злаков высоких,
> Не приминая ногой стеблей и ломких колосьев,
> Мчалась и по морю, путь по волнам пролагая проворно,
> Не успевая стопы омочить в соленой пучине.[1]

Вот что такое быстрота, если ценить ее самое по себе! Что если ты назовешь здоровым того, у кого небольшой жар? Не слишком сильная болезнь это еще не здоровье! (5) Они говорят, что «мудрец зовется безмятежным так же, как называются «бескосточковыми» не те финики, где вовсе нет твердых зерен, а те, где они не так тверды». Но это неправда. Как я понимаю, муж добра – не тот, в ком меньше зла, а тот, в ком его нет. Дело не в том, чтобы пороки были малы, а в том, чтобы их не было, а иначе, если будут хоть какие-то, они вырастут и опутают человека. Зрелое и большое бельмо ослепляет глаз, но и небольшое замутняет его. (6) Если ты допустишь у мудреца страсти, разум будет им не равен, и его смоет словно потоком; особенно же если ты оставишь мудрому не одну страсть, чтобы он с нею боролся, а все их. Целой толпою страсти, пусть и умеренные, сильнее, чем одна, даже и неистовая. (7) Человек жаден до денег, но не слишком, честолюбив, но умеренно, гневлив, но отходчив, непостоянен, но не мечется туда-сюда, похотлив, но не до умопомраченья. Нет, лучше тому, кем одна страсть владеет целиком, чем такому, кто одержим всеми понемногу. (8) И потом, не так важно, насколько страсть сильна: она, какова бы ни была, подчиняться не умеет и вразумлению не поддается. Как не слушается доводов ни одно животное, ни дикое, ни домашнее и кроткое (сама их природа глуха к увещаньям), так не повинуются, не внемлют им страсти, сколь бы ни были они ничтожны. Тигры и львы никогда не избавляются от свирепости, хоть иногда их укрощают; но когда меньше всего ждешь, усмиренная кровожадность просыпается, так и пороки не приручаются по-настоящему. (9) Далее, если разум в чем и помогает, так только в том, что не дает страсти возникнуть; а возникнув

вопреки ему, она вопреки ему и укоренится, ибо легче воспрепятствовать ее рождению, чем выдержать ее натиск.

Стало быть «умеренность» эта лжива и бесполезна, и думать о ней надо так же, как о призывах не слишком сильно сходить с ума, не слишком сильно хворать. (10) Управлять можно только добродетелью, а не душевными недугами – их легче искоренить, чем обуздать. Есть ли сомнение в том, что застарелые и упорные пороки человеческого духа, которые мы называем болезнями: скупость, жестокость, распущенность, неверность долгу – умерить нельзя? Значит, нельзя умерить и страсти, от которых прямой путь к порокам. (11) Далее, если ты дашь хоть немного воли скорби, страху, алчности и другим дурным порывам, они выйдут из-под твоей власти. Почему? Да потому что предметы, их возбуждающие, – вне нас. Они и растут смотря по тому, велики или малы вызывающие их причины. Тем сильнее будет страх, чем окажется больше или ближе то, что пугает; тем острее желание, чем обильнее награда, надежда на которую его разжигает. (12) Коль скоро нам не подвластно то, есть ли в душе страсти, то сила их – и подавно: если ты дашь им возникнуть, они будут расти вместе со своими причинами и какими только смогут стать, такими и будут. Прибавь и то, что они, как бы ни были ничтожны, всегда набирают силу: ведь все, что нам на погибель, не соблюдает меры. Болезнь легка сначала, когда подкрадывается, а потом больное тело гибнет и от самого малого прибавленья жара. (13) Кто настолько безумен, чтобы поверить, будто в нашей власти исход тех вещей, чье начало нам не подвластно? Откуда мне взять силы покончить с тем, чего я не в силах был не допустить? Между тем преградить доступ легче, чем задушить, допустивши. (14) А некоторые говорят о таком различии: «Если человек воздержан и разумен, то дух его по своему обычному состоянию и свойствам спокоен, но в итоге не спокоен. По обычному своему состоянию дух его не подвержен ни волненьям, ни скорби, ни страху, но есть множество внешних причин, способных его волновать». (15) Вот что примерно они хотят сказать: он хоть и не гневлив, но иногда бывает в гневе; хоть и не боязлив, но иногда боится; то есть порок боязливости ему чужд, но чувство боязни знакомо. Если согласиться с этим, то боязнь, появляясь все чаще, перейдет в порок, и гнев, допущенный в душу, изменит состоянье этой души, прежде не знавшей гнева. (16) И далее: кто не презирает внешних причин и чего-то боится, тот, когда надо будет храбро идти на огонь и клинки ради родины, законов и свободы, будет мешкать и пойдет сердцу вопреки. А в мудром такого двоедушия быть не может.

(17) Кроме того, я полагаю, надобно вот на что обратить внимание: как бы не смешать две вещи, которые следует доказывать порознь. Что только честное есть благо, – это одно умозаключение; а что для блаженной жизни довольно добродетели – другое. Если только честное есть благо, то все согласятся, что для блаженной жизни довольно добродетели; а вот наоборот никто не признает, что только честное есть благо, если добродетель одна лишь делает нас блаженными. (18) Ксенократ и Спевсипп[2] полагают, что блаженным можно стать и через одну добродетель, а вот честное не есть единственное благо. И Эпикур считает, что обладающий добродетелью блажен, но самой добродетели недостаточно для блаженной жизни, так как блаженными делает нас проистекающее из добродетели наслажденье, а не она сама. – Нелепое различенье! Ведь он же сам утверждает, что нет добродетели без наслаждения. А если оно всегда и неразрывно с нею связано, значит, довольно и ее одной: ведь наслаждение, без которого она не бывает, всегда при ней, даже когда она одна. (19) Бессмысленно и утвержденье, будто блаженным можно стать и через одну лишь добродетель, но совершенного блаженства ею не достичь [3]. Как это может быть, я не пойму. Блаженная жизнь заключает в себе совершенное благо, непревзойденное ничем, а если это так, то и блаженство совершенное. Если нет ничего больше и лучше жизни богов, а блаженная жизнь божественна, значит, ей некуда уже стремиться ввысь. (20) Кроме того, если блаженная жизнь ни в чем не нуждается, значит блаженная жизнь совершенна, и между блаженной и блаженнейшей жизнью разницы нет. Неужто ты сомневаешься, что блаженная жизнь есть высшее благо? А если в ней есть высшее благо, значит, есть и высшее блаженство. И как нельзя ничего прибавить к высшему (ибо что выше него?), так и к блаженной жизни, которая не бывает без высшего блага. Если ты представишь дело так, будто один блаженнее другого, то придется тебе пойти и дальше и представить бесчисленное множество степеней высшего блага; а я понимаю так, что выше высшего блага нет ни одной ступени. (21) Если один блаженнее другого, он,

стало быть, предпочтет чужую, более блаженную жизнь своей, а блаженный ничего чужого не желает. Значит, либо остается такое блаженство, которое и блаженный предпочел бы своему, либо он предпочитает не лучшее; но или одно, или другое невероятно! Всегда человек, чем он разумнее, тем больше тянется к наилучшему и желает достичь его любым способом. Так может ли быть блаженным тот, кто и может желать чего-нибудь еще, и должен? (22) Я скажу, откуда берется это заблуждение. Люди не знают, что блаженная жизнь одна. Наилучшей из всего ее делает главное свойство, а не величина. Все равно, долгая она или короткая, вольная или стесненная, простирается ли во все стороны, на множество мест, или сосредоточена в одном. Кто оценивает ее по частям, по числу и мере, тот лишает ее самого замечательного в ней. Что это? То, что блаженная жизнь всегда полна. (23) Я полагаю, цель еды и питья – сытость. Один съест больше, другой меньше, – а разницы нет: оба уже сыты. Один выпьет больше, другой меньше, – а разницы нет: оба утолили жажду. Один прожил много лет, другой – мало; но и это безразлично, если долголетие дало первому столько же блаженства, сколько второму – короткий век. Тот, кого ты называешь не столь блаженным, вовсе не блажен: само это слово не допускает ограниченья.

(24) «Кто храбр, тот не знает страха; кто не знает страха, тот не знает и печали; кто не знает печали, тот блажен». Это умозаключение принадлежит нашим. На него пытаются возражать так: мы, мол, вещь неверную и спорную утверждаем как общепризнанную, говоря, что храбрый не знает страха. – «Неужели же храбрый не испугается близко подступивших бедствий? Такое говорит скорей о безумии либо умоисступлении, чем о храбрости. А храбрый просто сдержан в своей боязни, хоть и не избавлен от нее совсем». – (25) Утверждающие так впадают в ту же ошибку: у них добродетель подменяется не столь сильным пороком. Ведь тот, кто боится, пусть реже и меньше, все же не чужд зла, хоть и не такого мучительного. – «А по-моему, тот, кто не боится близко подступивших бедствий, безумен». – Ты прав, если дело идет о бедствиях; а если он знает, что это не бедствие и единственным злом считает позор, то наверняка будет спокойно смотреть на опасности и презирать то, что другим страшно; а не то, если не бояться бедствий свойственно глупцу или безумцу, выходит, что всякий будет тем боязливей, чем он разумнее. – (26) «По-вашему, храбрый сам подставит себя под удар». – Ничуть! Он хоть и не боится опасности, но избегает ее: осторожность ему пристала, страх не пристал. – «Что же, ни смерти, ни цепей, ни огня, ни других оружий фортуны он не будет страшиться?» – Нет! Он ведь знает, что все это – кажущиеся, а не истинные бедствия, пугала человеческой жизни. (27) Опиши ему плен, побои, цепи, нищету, тело, терзаемое болезнью или насилием, – все, что тебе придет в голову; он отнесет это к числу беспричинных страхов. Бояться таких вещей должны боязливые. Или, по-твоему, может быть злом то, на что нам приходится порой идти по своей воле? (28) Ты спросишь, что есть настоящая беда? – Поддаться тому, что именуется бедами, и отдать им свою свободу, ради которой должно все перенести. Свобода гибнет, если ты не презришь все, что налагает иго. Не было бы сомнений в том, что подобает храброму, если бы знали, в чем истинная храбрость. Это – не дерзость вопреки разуму, не страсть к опасностям, не стремление навстречу ужасам. Храбрость есть умение различать, что беда и что нет. Она пристально оберегает себя, и она же терпеливо сносит все, что имеет обманчивое обличье беды. (29) «Как же так? Если над головою храброго мужа будет занесен меч, если ему будут пронзать одну часть тела за другой, если он увидит, как внутренности вываливаются ему на колени, если для того, чтобы он сильнее чувствовал пытки, их будут повторять и пускать свежую кровь из подсохших ран, ты скажешь, что он не боится и не страдает?» – Страдает, конечно; ведь человеческих чувств никакая добродетель не отнимает, – но не боится и, непобежденный, смотрит свысока на свои страдания. Ты спросишь, что у него тогда на душе? То же, что у старающихся ободрить больного друга.

(30) Беда – это то, что вредит; вредить – значит делать хуже; но страданье и бедность не делают нас хуже, следовательно, это не беды. «Но это ваше утвержденье ложно: не всегда вредить значит делать хуже. Буря и непогода вредят кормчему, но не делают его хуже». – (31) У стоиков и на это есть ответ. И кормчий из-за бури и грозы становится хуже, потому что не может выполнить свое намеренье и удержать направление; в своем искусстве он не становится хуже, в своем деле – становится. – Перипатетики говорят на это: «Значит, и мудреца делают хуже бедность, страдание и прочее в этом роде: они не отнимают у него добродетели, но делу ее мешают». – (32) Это было бы сказано верно, если бы обстоятельства у кормчего и у мудреца были од-

ни и те же. Цель мудреца не в том, чтобы непременно добиваться в жизни всего, за что бы он ни взялся, а в том, чтобы все делать правильно; цель же кормчего – непременно привести корабль в гавань. Искусства – прислужники, они должны давать, что обещали, мудрость – госпожа и направительница. Искусство служит жизни, мудрость повелевает. (33) Я, впрочем, думаю, что отвечать надо иначе: буря не делает хуже ни искусства кормчего, ни применения этого искусства на деле. Кормчий обещает тебе не счастье, а полезную работу и уменье править кораблем, – оно же тем заметнее, чем больше ему препятствует какая-нибудь случайная сила. Кто мог сказать: «Нептун, иначе как на верном пути ты этот корабль...», [4] – тот годен для своего искусства; буря же мешает не делу кормчего, а успеху. – (34) «Как же так, значит, кормчему не вредит то, что не дает ему достичь гавани, делает тщетными его усилья и либо несет его, либо держит и обезоруживает?» – Вредит, но не как кормчему, а как морскому путешественнику. Искусству кормчего непогода не только не вредит, но и помогает быть замеченным: в затишье, как говорится, всякий годится в кормчие. Препятствует она судну, а не тому, кто им правит, в его роли правящего. (35) Ведь у кормчего их две: одна – общая со всеми, кто сел на этот корабль, где он и сам – один из путешествующих; другая – особая, поскольку он кормчий. Буря вредит ему как путешественнику, а не как кормчему. (36) И еще: искусство кормчего – чужое достоянье, оно принадлежит тем, кого он везет, как искусство врача тем, кого он лечит. Мудрость же есть общее достояние – и тех, среди кого мудрец живет, и его собственное. Поэтому можно повредить кормчему, чей труд, отдаваемый другим, буря сводит на нет, (37) и нельзя повредить мудрецу: тут бессильны и бедность, и страдание, и остальные жизненные бури. Ведь его дело сводится на нет только в том, что касается других. Сам он всегда деятелен, и с наибольшей отдачей тогда, когда фортуна ему противится: тогда-то он и делает дело самой мудрости, которая, как мы сказали, и общее достояние, и его собственное.

(38) Да и тогда, когда его гнетет какая-нибудь необходимость, она не мешает ему приносить пользу людям. Бедность препятствует ему показать, как надо управлять государством, – и он показывает, как надо справляться с бедностью. Ничего нет в его жизни, что не служило бы делу мудрости. Никакая участь, никакие обстоятельства не отнимают у мудрого возможности действовать: ведь его дело – одолеть то, что мешает всякому делу. Ему по плечу и удачи, и беды: над одними он властвует, другие побеждает. (39) Повторяю, он так себя закалил, что обнаружит свою добродетель и в счастье, и в несчастье, так как смотреть будет лишь на нее самое, а не на то, что дает повод ее выказать. Ему не преграда ни бедность, ни боль, ни все прочее, что отпугивает невежд и обращает в бегство. Тебе кажется, беды гнетут его? Нет, служат ему! (40) Фидий умел ваять не только из слоновой кости; ваял он и в бронзе, а дали бы ему мрамор или другой камень, дешевле, – он сделал бы лучшее, что только можно из него изваять. Так и мудрец покажет, что такое добродетель, если возможно, – среди богатств, если нет, – в бедности, если удастся, – на родине, если нет, – в изгнании, если удастся, – полководцем, если нет. – солдатом, если удастся, – здоровым, если нет, – увечным. Какова бы ни была его доля, он сделает из нее нечто достойное памяти. (41) Есть укротители диких зверей, которые принуждают самых свирепых, одна встреча с которыми страшна, под ярмом возить человека. Не довольствуясь усмирением кровожадности, они приучают их жить с ним вместе. Львам, надсмотрщик сует руку в пасть, сторож целует своих тигров, слонов крохотный эфиоп заставляет приседать на колени и ходить на веревке. Мудрец – как они: его искусство – укрощать беды. И страданье, и нищета, и поношенье, и темница, и изгнанье, повсюду внушающие ужас, едва попадают к нему, становятся кроткими. Будь здоров.

Письмо LXXXVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я пишу тебе из усадьбы Сципиона Африканского, почтив его маны и алтарь, который, сдается мне, и есть могила великого человека[1]. Я убеждаю себя, что душа его вернулась в небо, откуда снизошла, – и не за то, что он предводительствовал многолюдным войском (войска были и у неистового Камбиза[2], для которого обернулось счастьем само неистовство), а за его необычайную скромность и верность долгу, которые, я считаю» больше заслуживали восхище-

нья в дни, когда он покинул родину, нежели когда защищал ее. Или Сципион, или свобода должны были уйти из Рима[3]. (2) И он сказал: «Я ничего не хочу менять ни в законах, ни в установлениях; пусть все граждане будут равноправны. Пользуйся моим благодеяньем без меня, родина! Благодаря мне стала ты свободна, благодаря мне все увидят, что ты свободна! Если я стал больше, чем тебе полезно, – я ухожу!» (3) Как мне не восхищаться этим величием души, с которым он удалился в добровольное изгнание, избавив отчизну от бремени? Ведь дело дошло до того, что либо Сципион ущемил бы свободу, либо свобода – волю Сципиона. И то, и другое было бы нечестьем – и он уступил место законам, а сам уединился в Литерне, – так же изгнав себя для пользы государства, как Ганнибал [4].

(4) Я видел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб, стену, окружающую лес, башни, возведенные с обеих сторон усадьбы как защитные укрепленья, водохранилище, выкопанное под всеми постройками и посадками, так что запаса хватило бы хоть на целое войско; видел и баньку, тесную и темную, по обыкновению древних: ведь нашим предкам казалось, что нет тепла без темноты. Большим удовольствием было для меня созерцать нравы Сципиона и наши нравы. (5) В этой тесноте гроза Карфагена, вождь, которому Рим обязан тем, что был взят лишь однажды[5], омывал тело, усталое от сельских трудов, – ведь он закалял себя работой и сам (таков был обычай в старину) возделывал землю. Под этой убогой кровлей он стоял, на этот дешевый пол ступал.

(6) Кто бы теперь вытерпел такое мытье? Любой сочтет себя убогим бедняком, если стены вокруг не блистают большими драгоценными кругами [6], если александрийский мрамор не оттеняет нумидийские наборные плиты, если их не покрывает сплошь тщательно положенный и пестрый, как роспись, воск, если кровля не из стекла, если фасийский камень, прежде – редкое украшение в каком-нибудь храме, не обрамляет бассейнов, в которые мы погружаем похудевшее от обильного пота тело, если вода льется не из серебряных кранов. (7) Но до сих пор я говорил о трубах для плебеев, – а что если я возьму бани вольноотпущенников? Сколько там изваяний, сколько колонн, ничего не поддерживающих и поставленных для украшения, чтобы дороже стоило! Сколько ступеней, по которым с шумом сбегает вода! Мы до того дошли в расточительстве, что не желаем ступать иначе как по самоцветам. (8) В здешней Сципионовой бане крохотные, высеченные в камне скорее щели, чем окошки, – сделаны для того, чтобы пропускать свет не в ущерб неприступности стен. А теперь называют тараканьей дырою ту баню, которая устроена не так, чтобы солнце целый день проникало в широченные окна, не так, чтобы в ней можно было мыться и загорать сразу, чтобы из ванны открывался вид на поля и море. И вот те бани, на посвященье которых сбегалась восхищенная толпа, переходят в число устарелых, едва только роскошь, желая самое себя перещеголять, придумает чего-нибудь новое. (9) А прежде бань было мало, и ничем их не украшали: да и зачем было украшать грошовое заведенье, придуманное для пользы, а не для удовольствия? В них не подливали все время воду, не бежали свежие струи, как будто из горячего источника; и не так было важно, прозрачна ли вода, в которой смывали грязь. (10) Но, правые боги, как приятно войти в эти темные бани, под простою крышею, зная, что там наводил собственноручно порядок в бытность свою эдилом Катон, или Фабий Максим7 или один из Корнелиев! Потому что и благороднейшие мужи по обязанности эдилов заходили в места, куда допускался народ, и требовали опрятности и полезной для здоровья теплоты – не той, что придумали теперь, вроде как на пожаре, так что впору заживо мыть там уличенного в злодеянье раба. Теперь я не вижу разницы, топится баня или горит.

(11) А ведь кое-кто сейчас назвал бы Сципиона деревенщиной за то, что его парильня не освещалась солнцем сквозь зеркальные окна, что он не пекся на ярком свету и не ждал, пока сварится в бане. Вот несчастный человек! Да он жить не умеет! Моется непроцеженною водой, чаще всего мутной и, в сильные дожди, чуть ли не илистой! И было для него нисколько не важно, чём мыться: ведь он приходил смыть пот, а не притиранья. (12) Что, по-твоему, сказали бы теперь? – «Я не завидую Сципиону: он и вправду жил в ссылке, если так мылся». – А если бы ты знал, что он и мылся-то не каждый день! Ведь те, кто сохранил преданье о старинных нравах Города, говорят, что руки и ноги, которые пачкаются в работе, мыли ежедневно, а все тело – раз в восемь дней. – Тут кто-нибудь скажет: «Ясное дело, как они были грязны! Чем от них пахло, по-твоему?» – Солдатской службой, трудом, мужем! Когда придумали чистые бани, люди стали

грязнее. (13) Когда Гораций Флакк намерен описать человека гнусного и всем известного своею изнеженностью, что он говорит?

Пахнет духами Букилл...[8]

А покажи Букилла теперь: да он покажется вонючим, как козел, и встанет на место того Горгония, которого Гораций противопоставляет Букиллу! Теперь мало душиться – надо делать это по два-три раза на день, чтобы аромат не улетучился. Удивительно ли, что такие люди похваляются им, словно своим собственным запахом?

(14) Если все это кажется тебе слишком грустно, вини усадьбу, в которой узнал я от Эгиала, трудолюбивого отца семейства (он теперь владеет здешнею землею), что пересаживать можно и старые деревья. Это необходимо знать нам, старикам, – ведь мы, если сажаем оливы, то наверное для других. А я видел, как он осенью пересадил целую рощу трех– и четырехлетних деревьев[9], недовольный ее плодами. (15) Она в тебя осенит, ибо

Медленен рост ее, тень она даст далеким потомкам,[10]

как говорит наш Вергилий, который старался не о том, чтобы сказать правдивее, а о том, чтобы покрасивее, и хотел не обучать земледельцев, а доставлять удовольствие читателям. (16) Не говоря о другом, перепишу тебе то, в чем мне как раз сегодня пришлось его уличить:

Боб высевают весной, и тебя, мидийка, тогда же
Рыхлые борозды ждут.
Что ни год, и о просе забота... [11]

Одновременно ли их сажают и весною ли сеют и то и другое, можешь судить вот по чему. Я пишу тебе сегодняшнее письмо в июне, скоро наступит июль; и в один и тот же день я видел сборщиков бобов и сеятелей проса.

(17) Но возвращаюсь к пересадке олив. Я видел два способа. Стволы больших деревьев, подрезав ветки и оставив их не более чем на фут, он переносил вместе с корневищем, причем корни снимал, не трогая лишь тот узел, из которого они свисают. Обмакнув его в навоз, дерево опускают в яму, а потом не просто засыпают ее землей, но и прибивают ее и утаптывают. (18) По его словам, нет ничего полезнее этого утаптывания: оно преграждает путь холоду и ветру, а кроме того, ствол меньше раскачивается, так что прорастающие из него корни могут вытянуться и укрепиться в почве, а не то их обрывает самое легкое раскачиванье, покуда они мягки, как воск, и держатся непрочно. Прежде чем зарыть дерево, он с него снимает немного коры: ведь отовсюду, где обнажена древесина, идут, по его словам, новые корни. Из земли ствол не должен торчать больше чем на три-четыре фута: тогда он оденется ветками с самого низа, и большая часть его не будет, как у старых олив, сухой и заскорузлой. (19) А вот второй способ посадки: сильные побеги с мягкой корой, какие бывают обычно на молодых деревьях, он высаживал таким же порядком. Эти растут медленнее, зато не бывают ни морщинистыми, ни хилыми, потому что происходят от саженцев. (20) Я видел еще, как он пересаживал к другому дереву многолетнюю лозу: у нее, если возможно, надо подобрать даже тончайшие корешки, а потом расстилать ее, не жалея длины, чтобы она и из стебля пустила корни. Я видел лозы, пересаженные не только в феврале, но и в конце марта, они уже обхватывают новые вязы и карабкаются вверх. (21) Но всем этим, так сказать, толстоствольным деревьям нужно, по его словам, помогать водою из подземного хранилища; если она поможет, значит, дождь в нашей власти.

Больше ничему я тебя учить не собираюсь, чтобы не сделать из тебя соперника себе самому, вроде того как наш Эгиал сделал из меня своего соперника. Будь здоров.

Письмо LXXXVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я потерпел крушенье, не успев взойти на корабль. Как все случилось, я не пишу, чтобы ты не вздумал и это причислить к стоическим парадоксам, – впрочем, я докажу тебе, если захочешь (и даже если не захочешь), что ни один из них не ложен и не так удивителен, как кажется на первый взгляд. Эта поездка мне показала, как много у нас лишнего и как легко было бы по своему почину избавиться от вещей, отсутствия которых мы и не почувствуем, когда они отняты неизбежностью. – (2) В сопровождении немногих рабов, умещающихся в одной повозке, без всяких вещей, кроме тех, что на нас, мы с Максимом[1] уже два дня живем блаженнейшей жизнью. Тюфяк лежит на земле, я – на тюфяке. Один дорожный плащ заменяет простыню, другой – одеяло. (3) Завтрак наш таков, что от него нечего убавить, он готов за пять минут и не обходится без сухих смокв, как без вощеных табличек. Если есть хлеб, – они мне вместо закуски, если нет, – вместо хлеба. С ними у меня каждый день новый год[2], а счастливым и благополучным я делаю его сам, благими помыслами и неизменной высокостью духа, который тогда бывает всего выше, когда, откинув чужое, обретает спокойствие через отсутствие страха, обретает богатство через отсутствие желаний. (4) Повозка, в которой я еду, самая грубая. Мулы бредут и только тем и доказывают, что живы; погонщик бос, и не из-за жары. С трудом заставляю я себя согласиться, чтобы люди считали эту повозку моей: еще упорна во мне извращенная привычка стыдиться того, что правильно. Стоит нам встретить путешественника с сопровожденьем, я невольно краснею, если оно выглядит почище. Вот и доказательство тому, что одобряемое и восхваляемое мною еще не укрепилось во мне непоколебимо. Кто стыдится убогой повозки, тот будет кичиться роскошью. (5) Покамест успехи мои невелики: я не осмеливаюсь на глазах у всех довольствоваться малым, и до сих пор меня заботит мненье проезжих. А надо поднять голос против мнений всего рода человеческого: «Вы безумны, вы заблуждаетесь! Вы восхищаетесь лишним и никого не цените по его подлинному достоянью! Зайдет дело об имуществе тех, кому вы собираетесь дать взаймы или оказать услугу (ведь вы и услуги записываете в долговую книгу), – тут вы, прилежные счетчики, берете на учет каждую статью. (6) «Владения у него обширны, да много долгов; дом у него прекрасный, но обставлен на чужой счет; никто так быстро не выведет напоказ челядь пышнее, но ссуд он не возвращает, а если расплатится с заимодавцами, у самого ничего не останется». (7) Ты считаешь его богачом, потому что и в дороге у него с собою золотая посуда, потому что он пашет во всех провинциях, потому что книга со сроками ссуд у него толста, а земли под самым городом так много, что, имей он столько даже в пустынной Апулии, ему бы все равно завидовали. Ты все назвал, – а он беден. – «Почему?» – Потому что должен... – «Много ли?» Все. Или, по-твоему, есть разница, получил он взаймы от человека или от фортуны? (8) Важно ли, что мулы у него откормлены и все одной масти? Что повозка вся в резьбе? Что «крылоногие скакуны

> В пестрых все чепраках и в пурпурных попонах узорных;
> Звонко бренчат у коней золотые подвески под грудью,
> В золоте сбруя у всех и в зубах удила золотые?» [8]

От этого не станет лучше ни хозяин, ни мул. (9) Марк Катон Цензор (его жизнь значила для государства не меньше, чем жизнь Сципиона: один вел войну с нашими врагами, другой – с нашими нравами) ездил на мерине, да еще вьючил его мешками вперемет, чтобы возить с собою пожитки. Как бы я хотел, чтобы он повстречал по дороге кого-нибудь из наших щеголей, что гонят перед собой скороходов, нумидийцев и столб пыли! Сомненья нет, он кажется изящнее Катона, и сопровождающих у него больше; но среди всей этой роскоши наш баловень не может решить, пойти ли ему внаймы к мечу или к рогатине[4]. (10) До чего славный был век, когда справивший триумф полководец, бывший цензор, больше того – Катон довольствовался одной лошаденкой, да и ту делил с вьюками, свисавшими по обе стороны. И разве ты бы не предпочел всем раскормленным иноходцам, всем рысакам и скакунам одну эту лошадь, которой стер спину сам Катон?»

(11) Но я вижу, предмет этот нескончаем, если только я сам не положу ему конец. Прекращаю говорить обо всем том, что он, без сомнения, угадывал в будущем и видел таким, каким оно

и стало теперь, и что называл «обузой». А теперь я хочу привести тебе несколько – совсем немного! –. умозаключений, касающихся добродетели; с их помощью наши отстаивают мысль, что ее одной довольно для блаженной жизни. (12) «Всякое благо и само хорошо, и делает нас хорошими; так то хорошее, что есть в музыкальном искусстве, делает человека музыкантом. Случайное не делает нас хорошими, а значит, и само оно не благо». – Перипатетики на это отвечают, что наше первое положение неверно. «От того, что само по себе хорошо, не становятся непременно хорошими. В музыке бывают хороши и флейта, и струна, и всякое орудие, приспособленное, чтобы на нем играть; но ни одно из них не делает человека музыкантом». – (13) На это мы ответим: вы не понимаете нашей посылки «то хорошее, что есть в музыке». Мы имеем в виду не то, что оснащает музыканта, а то, что его создает, ты же берешь утварь, потребную для искусства, а не само искусство. Если в самом музыкальном искусстве есть что хорошее, оно непременно сделает человека музыкантом. (14) Я растолкую это еще яснее. О хорошем в музыкальном искусстве можно говорить двояко, имея в виду и то, что помогает работе музыканта, и то, что помогает самому искусству. Для работы нужны орудия и флейты, и органы, и струнные, не имеющие касательства к самому искусству. Ведь можно быть музыкантом и без них, хотя, пожалуй, и нельзя применить свое искусство. Но для человека этой двойственности нет: одно и то же есть благо и для него самого, и для жизни. (15) «Что может достаться на долю человеку презренному и бесстыдному, не есть благо; богатства достаются и своднику, и ланисте[5], значит, богатство не есть благо». – «Ваше положение неверно, – скажут нам, – ведь и в грамматике, и во врачебном искусстве, и в ремесле кормчего хорошее достается порой, как мы видим, самым незаметным людям». – (16) Но эти искусства никому не сулят величия духа, они не стремятся ввысь, не гнушаются случайным. А добродетель поднимает человека надо всем, что дорого смертным, и ни так называемых благ, ни так называемых бед он не жаждет и не страшится. Хелидон, один из любимчиков Клеопатры, владел огромными богатствами. Недавно Натал[6], человек с языком столь же лживым, сколь и нечистым (женщины очищались прямо ему в рот), сам был наследником многих и оставил многим наследство. Что же, деньги сделали его нечистым, или он осквернил деньги, которые попадают некоторым людям, словно золотой в выгребную яму? (17) Добродетель стоит выше этого; ее ценят не по заемному достоянию, и сама она не сочтет благом то, что достается всякому. А вот искусство врачеванья или вождения кораблей восхищаться такими вещами не запрещает. Можно не быть человеком добра – и быть врачом, быть кормчим, быть грамматиком и, право, не хуже, чем поваром. Кому досталось иметь что-нибудь одно, того ты не назовешь кем угодно. Кто чем владеет, таков и он сам. (18) Денежный ящик стоит столько, сколько в нем лежит, а сам идет только в придачу к тому, что в нем лежит. Кто ценит полную мошну выше того, чего стоят спрятанные в ней деньги? То же самое – и владельцы больших богатств: они идут только в придачу и в прибавку к этим богатствам. Чем велик мудрец? Величием духа. Значит, это сказано верно: «что достается и человеку презренному, то не благо». (19) Я никогда не соглашусь, что не знать боли – благо: боли не ведает цикада, не ведает блоха. Не признаю я благом покой и отсутствие тягот: кто так же празден, как червь?

Ты спросишь, что делает человека мудрым? То же, что бога – богом. Дай ему нечто божественное, небесное, величавое. Благо достается не каждому, и не каждого владельца потерпит. (20) Взгляни,

Что тут земля принесет и в чем земледельцу откажет:
Здесь счастливее хлеб, а здесь виноград уродится.
Здесь плодам хорошо, а там зеленеет, не сеян,
Луг. Не знаешь ли сам, что
Тмол ароматы шафрана
Шлет, а Индия – кость, сабен же изнеженный – ладан,
Голый халиб – железо.. [7

(21) Все это поделено между разными краями, дабы необходим был обмен между смертными, дабы они стремились что-либо друг у друга получить. И высшее благо имеет свое место; оно родится не там, где слоновая кость, не там, где железо. Ты спросишь, где обиталище высше-

го блага? В душе! Но и она, если не будет чистой и незапятнанной, не примет в себя бога! (22) «Благо не рождается из зла; а богатства рождаются от скупости; значит, богатства – не благо». – Нам говорят, что неверно, будто добро не возникает из зла: ведь святотатством и кражей добываются деньги. И святотатство, и кража – зло, конечно, но лишь постольку, поскольку из них получается больше зла, чем блага; они приносят прибыль, но с нею страх, тревогу, душевные и телесные муки. (23) Кто так говорит, тот пусть непременно признает, что святотатство – и зло, так как приносит много зла, и благо, хотя бы отчасти, потому что приносит и кое-что хорошее. Может ли быть что чудовищнее? Впрочем, мы-то убедились, что и святотатство, и кража, и прелюбодейство теперь считаются за благо. Сколько людей не краснеет, украв, сколько хвастается прелюбодеянием? За мелкие святотатства наказывают, за крупные награждают триумфом. (24) Подумай еще и о том, что святотатство, если оно благо хотя бы отчасти, придется признать честным и назвать правильным: ведь у нас это дело обычное, хотя никто из смертных и мысли такой не допускает. Значит, благо не может родиться от зла. А если святотатство, как вы говорите, есть зло только потому, что влечет за собою много зла, то отмените наказанье, пообещайте безопасность – и оно станет благом сполна. Между тем наказанье за великие злодейства – в них самих. (25) Повторяю, ты заблуждаешься, откладывая кару до тюрьмы, до палача: она начинается, едва злодейство совершено, даже покуда совершается. Благо так же не родится от зла, как смоква – от оливы. Каково семя, таковы и плоды: хорошие выродиться не могут. Как из постыдного не родиться честному, так и благу из зла: ведь честное и благое – одно и то же.

(26) Один из наших отвечал так: «Предположим, что деньги – благо, откуда бы их ни взять; тогда деньги, пусть даже добытые святотатством, непричастны святотатству. Понимай это так: в одном сосуде находятся и золото, и гадюка; ты вынешь золото из сосуда, потому что в нем гадюка, но сосуд не потому дает золото, что в нем гадюка, а несмотря на то, что в нем гадюка. Точно так же и святотатство приносит прибыль не потому, что святотатство это позорно и преступно, а потому, что в нем заключена и прибыль. Как в названном сосуде зло – это гадюка, а не золото, так и в святотатстве зло – это преступленье, а не прибыль». – (27). Но я не согласен: ведь тут и там дело обстоит по-разному. Там я могу извлечь золото без гадюки, а здесь мне не получить прибыли без святотатства. Прибыль здесь не рядом со злодеянием, а вперемешку с ним.

– (28) «Если в погоне за чем-нибудь мы то и дело попадаем в беду, то предмет наших желаний не благо; а в погоне за богатством мы то и дело попадаем в беду – значит, богатство не есть благо». – Нам говорят:

«Ваше положение утверждает две вещи. Первая – что в погоне за богатствами мы то и дело попадаем в беду. Но то и дело попадаем мы в беду и в погоне за добродетелью. Человек путешествует по морю ради образованья – и терпит крушенье или попадает в плен. (29) Другое утвержденье такое: «То, из-за чего мы попадаем в беду, не есть благо». Но из него вовсе не следует, что мы попадаем в беду лишь из-за бо гатств или наслаждений. Если же именно из-за богатства мы то и дело попадаем в беду, оно не только не благо, но и зло, вы же о нем говорите только, что оно не есть благо. Кроме того, вы даже признаете, что богатство не совсем бесполезно, причисляете его к удобствам, тогда как по вашему рассуждению выходит, что оно и удобством не будет – столько у нас через него неприятностей». – (30) На это дан был такой ответ: «Вы ошибаетесь, относя неприятности на счет богатства. Оно никому не делает зла: каждому вредит либо собственная глупость, либо чужая подлость. Так сам меч никого не убивает, но служит оружием убийце. Если из-за богатств тебе повредили, это не значит, что повредили тебе богатства». (31) Посидоний (по-моему, он!) говорит лучше:

«Богатство – причина бед не потому, что само оно что-нибудь делает, а потому, что подстрекает сделать». Есть действующая причина, которая не может не вредить сама по себе, и есть причина предшествующая; вот предшествующая-то причина и заключена в богатствах. Они делают душу кичливой, порождают спесь, навлекают зависть, до того исступляют ум, что молва о наших деньгах, пусть и опасная, приятна нам. (32) А благу подобает быть свободным от всякой вины; оно не развращает душу, не будоражит, а если поднимает и делает шире, то без надменности. Что благо, то дает уверенность, а богатство – лишь дерзость; что благо, то дает величие духа, а богатства – лишь наглость. Ведь наглость не что иное, как ложный призрак величия. – (33) «Так получается, что богатство не только не благо, но и зло». – Оно было бы злом, если бы вре-

дило само по себе, то есть, как я сказал, было бы действующей причиной; в нем же заключена лишь предшествующая причина, и не только подстрекающая души, но и приманивающая. Ведь богатство являет некий образ блага, столь правдоподобный, что большинство людей ему верят. (34) В добродетели тоже заключена предшествующая причина, вызывающая зависть, – ведь многим завидуют за их мудрость, многим – за их справедливость; но причина эта не заключена в добродетели как таковой и лишена правдоподобья. Зато намного более правдоподобен тот образ, что добродетель посылает в души людей, побуждая их любить ее и чтить. (35) Посидоний говорит, что умозаключение должно быть таким:

«То, что не дает душе ни величья, ни уверенности, ни безмятежности, не есть благо; а богатство, крепкое здоровье и прочие подобные вещи ничего такого не дают и, значит, не могут быть благами». То же умозаключенье Посидоний излагает еще резче: «То, что не дает душе ни величья, ни уверенности, ни безмятежности, а, напротив, делает ее наглой, спесивой и надменной, есть зло; случайное же толкает душу к этим порокам; значит, случайное не может быть благом». – (36) «Но если так рассуждать, то оно не будет и удобством». – Одно дело удобство, другое благо. Удобство есть то, в чем больше пользы, чем тягости; благо должно быть неподдельным и совершенно безвредным. Благо – не то, что по большей части полезно, а то, что только полезно. (37) Удобства, кроме того, могут доставаться и животным, и людям несовершенным и глупым. С ними могут быть перемешаны и неприятности, однако они зовутся удобствами, оцениваемые по тому, чего в них больше. Благо достается на долю одному мудрецу и должно быть без изъяна.

(38) Теперь наберись мужества! Тебе остался один узел – но узел Геркулесов. «Из зол не возникает благо; но из многих бедностей возникает богатство; значит, богатство не есть благо». – Этого умозаключенья наши не признают; оно придумано перипатетиками, и они же его разрешают. По словам Посидония, Антипатр8 так опровергал этот софизм, затасканный по всем школам диалектиков: (39) «Говоря «бедность», имеют в виду не наличие, а отсутствие, или, как говорили в старину, небытность (греки тоже говорят ^лт-л a-cspTpiv), – не то, что есть, а то, чего нет. Из многих пустых кувшинов ничего не наполнишь. Богатства составляются из многих вещей, а не из многих нехваток. Ты понимаешь бедность не так, как должно. Быть бедным не значит иметь мало, а значит многого не иметь. И обязан человек этим именем не тому, что у него есть, а тому, чего ему не хватает». (40) Мне было бы легче выразить то, что я хочу, если бы было латинское слово, обозначающее (Хултохр1кх. Его-то Антипатр и применяет к бедности. – А на мой взгляд, бедность – не что иное, как скудость достояния. – В чем сущность бедности и богатства, мы разберемся, когда у нас будет много лишнего времени; но и тогда мы поглядим, не лучше ли было бы сделать бедность не такой горькой, а богатство – не таким кичливым, чем вести тяжбу о словах, – как будто о предметах уже вынесено суждение. (41) Представим себе, что нас позвали на сходку народа. Внесен закон об упразднении богатств. Неужто мы будем убеждать или разубеждать толпу такими умозаключеньями? Неужели с их помощью добьемся мы того, что римляне вновь устремятся к бедности и восхвалят ее, опору и зиждущую силу своей державы? Что они устрашатся своих богатств, вспомнят, что нашли их у побежденных, откуда и проникли в незапятнанный, славный воздержностью город подкупы, и раздачи, и мятежи? Что с чрезмерной страстью к роскоши стали они выставлять напоказ добытое у многих племен? Что отнятое одним народом у всех еще легче может быть отнято всеми у одного? Лучше убедить в этом и изгонять страсти, чем определять их. Если нам под силу, будем говорить храбро, если нет, то хоть откровенно. Будь здоров.

Письмо LXXXVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты желаешь знать, что я думаю о свободных науках и искусствах. Ни одно из них я не уважаю, ни одно не считаю благом, если плод его деньги. Тогда они – продажные ремесла и хороши до тех пор, пока подготавливают ум, не удерживая его дольше. На них следует задержаться, лишь покуда душа не в силах заняться ничем важнее; они – наше ученье, а не наша работа.

(2) Почему они названы свободными, ты видишь сам: потому что они достойны свободного человека. Впрочем, есть только одно подлинное свободное искусство – то, что дает свободу: мудрость, самое высокое, мужественное и благородное из них, а все прочие – пустяки, годные для детей. Неужто ты веришь, будто в них есть какое-то благо, хотя сам видишь, что нет людей ниже и порочнее их учителей? Все эти вещи нужно не все время учить, а однажды выучить. Некоторые полагали нужным разобраться, можно ли благодаря свободным искусствам и наукам стать человеком добра. Но они и не сулят этого, и даже не притворяются, будто знают такое! (3) Грамматик хлопочет только о нашем уменье говорить, а пожелай он пойти дальше, – займется историей или стихами, если раздвинет свои границы так, что шире некуда. Но пролагается ли дорога к добродетели объясненьем слогов, тщательностью в выборе слов, запоминаньем драм, правил стихосложенья, разновидностей строк? Это ли избавляет нас от боязни, искореняет алчность, обуздывает похоть? Перейдем к геометрии, к музыке: и в них ты не найдешь ничего такого, что наложило бы запрет на страх или алчность. А кому он неведом, для того все знания тщетны. (4) Нужно посмотреть, учат ли эти наставники добродетели; если не учат, то им нечего преподать; если учат, то они философы. Ты хочешь убедиться, что они на уроках и не думают учить добродетели? Взгляни, до чего ученье каждого не похоже на ученья остальных! А учи они одному и тому же, разнобоя бы не было. (5) Они бы тебя убедили даже в том, что Гомер был философом, если бы не опровергали этого своими же доводами. Ведь они превращают его то в стоика, одобряющего только добродетель и бегущего наслаждений, от честности не отступающего даже ради бессмертия; то в эпикурейца, восхваляющего покой в государстве, проводящего жизнь в пирах и песнях; то в перипатетика, устанавливающего три рода благ; то в академика, твердящего, что нет ничего достоверного[1]. Ясно, что ничего такого у него нет, раз есть все разом, – потому что учения эти между собою не совместимы. Но уступим им Гомера-философа. Он, видимо, стал мудрецом до того, как узнал о стихах; будем же и мы лучше учиться тому, что сделало Гомера мудрецом. (6) А спрашивать у меня, кто был старше – Гомер или Гесиод, такое же пустое дело, как разузнавать, почему Гекуба, хотя и была младше Елены[2], выглядела старой не по возрасту. И не пустое ли, по-твоему, дело – исследовать возраст Патрокла и Ахилла? (7) Будешь ли ты доискиваться, где блуждал Улисс, вместо того чтобы положить конец собственным заблуждениям? Нет времени слушать, носило ли его между Италией и Сицилией или за пределами известного нам мира. Да и не мог он на таком малом пространстве скитаться так долго. Душевные бури швыряют нас ежедневно, из-за собственной негодности мы терпим все Улиссовы беды. И красота прельщает наше зренье, и враг грозит; здесь – свирепые чудовища, лакомые до человеческой крови, там – коварный соблазн, привлекающий слух, и все разнообразье бед. Научи меня, как любить родину, жену, отца, как плыть к этой столь честной цели даже после кораблекрушенья. (8) Зачем ты доискиваешься, была ли Пенелопа вправду целомудренна[3], или обманула свой век? Подозревала ли она, что видит Улисса еще прежде, чем узнала наверное? Лучше объясни мне, что такое целомудрие, и какое в нем благо, и в чем оно заключено – в теле или в душе?

(9) Перейду к музыке. Ты учишь меня, как согласуются между собою высокие и низкие голоса, как возникает стройность, хотя струны издают разные звуки. Сделай лучше так, чтобы в душе моей было согласие и мои помыслы не расходились между собою! Ты показываешь мне, какие лады звучат жалобно; покажи лучше, как мне среди превратностей не проронить ни звука жалобы!

(10) Геометрия учит меня измерять мои владенья; пусть лучше объяснит, как мне измерить, сколько земли нужно человеку! Она учит меня считать, приспособив пальцы на службу скупости; пусть лучше объяснит, какое пустое дело эти подсчеты! Тот, чья казна утомляет счетоводов, не счастливее других; наоборот, как был бы несчастен владелец лишнего имущества, если бы его самого принудили сосчитать, сколько ему принадлежит! (11) Какая мне польза в умении разделить поле, если я не могу разделиться с братом? Какая мне польза до тонкости подсчитать в югере каждый фут и не упустить ни одного, ускользнувшего от межевой меры, если я только огорчусь, узнав, что сильный сосед отжилил у меня кусок поля? Меня учат, как не потерять ничего из моих владений, а я хочу научиться, как остаться веселым, утратив все. – (12) «Но меня выживают с отцовского, с дедовского поля!» – А до твоего деда чье это поле было? Можешь ты объяс-

нить, какому оно принадлежало – пусть не человеку, а племени? Ты пришел сюда не хозяином, а поселенцем. На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою благополучно, – у собственного наследника. Правоведы утверждают, что общественное достояние не присваивается за давностью владения; а то, что ты занял, то, что называешь своим, – общее достояние и принадлежит всему роду человеческому. (13) Замечательная наука! Ты умеешь измерить круг, привести к квадрату любую фигуру, какую видишь, называешь расстоянья между звездами, нет в мире ничего, что не поддалось бы твоим измереньям. Но если ты такой знаток, измерь человеческую душу! Скажи, велика она или ничтожна! Ты знаешь, какая из линий прямая; для чего тебе это, если в жизни ты не знаешь прямого пути?

(14) Перейду к той науке, которая похваляется знанием неба, которой известно,

.,. Отходит куда Сатурна звезда ледяная
И по каким из кругов вращается пламень Килленца [4].

Для чего нам это знание? Чтобы тревожиться, когда Сатурн и Марс окажутся в противостоянии или когда Меркурий зайдет вечером на виду у Сатурна? Лучше мне заучить, что они, где бы ни были, всегда благоприятны и не могут измениться. (15) Их ведет по непреложным путям извечный порядок судеб, они движутся по установленной череде смен и либо управляют всеми событиями, либо предвещают их исход. Но если в них причина всего, что бы ни случилось, какой толк знать то, чего нельзя изменить? А если они все предуказывают, – какая польза в предвиденье неизбежного? Знай, не знай, – все равно случится.

(16) Если ты будешь следить за солнечным зноем и сменой
Лун, чередой проходящих, тебя никогда не обманет
Завтрашний день, не введут в заблужденье прозрачные ночи.[5]

Но и так все в достаточной мере и сверх нее предусмотрено, чтобы я был застрахован от козней. – (17) «Разве не обманет меня наступающий час? Ведь обманывает все, что застигает врасплох ничего не ведающего». Что будет, я не ведаю, а что может быть, – знаю. И ничто не приведет меня в отчаянье, ибо, я жду всего, а если что меня минует, я считаю это за удачу. Наступающий час обманет меня, если пощадит; да и этим не обманет: ведь если я знаю, что все может случиться, то знаю также, что не все случится непременно. Потому я жду удачи, но готов и к бедам.

(18) Тебе придется смириться, если я тут сойду с предписанного тобою пути. Ведь ты не заставишь меня отнести к свободным искусствам то, чем занимаются живописцы или же ваятели, мраморщики и другие прислужники роскоши. И борцов, у которых вся наука – масло да пыль, я изгоняю из числа тех, кто занят свободными искусствами, – не то мне придется принять туда и составителей мазей, и поваров, и всех прочих, приспособивших свой ум к нашим наслажденьям. (19) Скажи мне, прошу, что общего со свободой имеют эти блюющие натощак толстяки с ожиревшим телом и отощавшей, одряхлевшей душою? И неужто мы будем считать свободным искусством все, в чем упражнялась, не присев, молодежь во времена наших предков: метанье копья, удары колом, верховая езда, владенье мечом? Они не учили детей тому, чему учатся, не двигаясь. Но ни то, ни другое не учит добродетели и не вскармливает ее. Что толку править конем и удерживать его бег уздою, покуда тебя самого несут необузданные страсти? Что толку побеждать в борьбе и в кулачном бою, когда тебя самого побеждает гнев?

– (20) «Так что же, свободные искусства и науки ничего не дают нам?» – Дают, и много, но не для добродетели. Ведь и те ручные ремесла, что всеми признаны за низкие, оснащают жизнь многим, но к добродетели не имеют касательства. – «Для чего же мы образовываем сыновей, обучая их свободным искусствам»? – Дело не в том, что они могут дать добродетель, а в том, что они подготавливают душу к ее восприятию. Как начала, у древних именовавшиеся грамотой и дающие мальчикам основы знаний, хотя не научают их свободным искусствам, но готовят почву для обучения им в скором времени, так и свободные искусства, хотя и не ведут душу к добродетели, но облегчают путь к ней.

(21) Посидоний различает четыре вида искусств: будничные и низкие, потешные, детские и свободные. Будничные – это ручные ремесла, занятые всем тем, чем оснащается жизнь; они даже и не прикидываются благородными или почтенными. (22) Потешные – это те искусства, чье назначение услаждать глаз и слух. К ним можно причислить и изобретение всякого рода приспособлений[6], вроде помостов, которые сами собой поднимаются, настилов, бесшумно растущих ввысь, – всего, что служит для внезапных перемен, когда то, что было сплошным, разверзается» края провала по собственному почину сходятся, возвышение понемногу понижается. Такие вещи поражают взоры невежд, по незнанью причин удивляющихся всему неожиданному. (23) Детские, имеющие нечто общее со свободными, – это те искусства, которые у греков называются еухох-Xioi, а у нас – свободными. Единственные же поистине свободные или даже, вернее сказать, дающие свободу искусства это те, что пекутся о добродетели. (24) Поскольку одна часть философии, продолжает Посидоний, занимается природой, другая – нравами, третья человеческим разумом, постольку и вся толпа свободных искусств притязает занять в ней место. Когда дело идет о вопросах естествознания, философия опирается на свидетельство геометрии, которая, стало быть, есть часть того, чему она помогает. (25) Но ведь многое нам помогает, не будучи частью нас самих; а будь оно нашей частью, помощи от него бы не было. Пища – подспорье телу, но не его часть. Услуги геометрии кое-что нам дают» но философии она нужна так же, как ей самой – кузнечное дело7; однако оно – не часть геометрии, как и геометрия – не часть философии. (26) Кроме того, у каждой из них – свои пределы. Мудрец исследует и познает причины естественных явлений, геометр отыскивает и высчитывает их число и меру. Каков незыблемый порядок небесных тел, какова их сила и природа, – все это знает философ; а кто высчитывает их движенье и возврат, кто собирает наблюдения над тем, как они восходят и заходят, а порой являют вид стоящих на месте, хотя небесным телам стоять и нельзя, тот математик. (27) Пусть мудрец знает, по какой причине в зеркале возникает отражение; геометр же может сказать, как далеко должен отстоять предмет от отражения и какое отражение дает та или другая форма зеркала. Что солнце огромно, докажет философ; какова его величина, укажет математик, который пользуется в работе неким опытом и навыком, но должен, чтобы работать, заимствовать некие основные положения. А если основы искусства – заемные, оно несамостоятельно. (28) Философия ничего не ищет на стороне, свое здание она возводит от земли. Математика, так сказать, занимает поверхность, она строит на чужой земле8, берет со стороны те начала, благодаря которым достигает дальнейшего. Если бы она шла к истине сама по себе, если бы могла обнять весь мир и всю природу, тогда я сказал бы, что она много дает человеческой душе, ибо, помышляя о небе, та сама растет и вбирает нечто свыше.

Лишь одно делает душу совершенной: незыблемое знание добра и зла [которое доступно только философии] [9] – ведь никакая другая наука добра и зла не исследует. (29) Переберем по одной добродетели. Храбрость есть презрение ко всему страшному; она пренебрегает внушающим ужас и склоняющим под иго нашу свободу, бросает ему вызов, переламывает его. Так неужто ее закаляют свободные искусства? Верность есть святейшее благо человеческого сердца, ее никакая необходимость не принудит к обману, никакая награда не совратит. Она говорит: «Жги, бей, убивай – я не предам! Чем сильнейшая боль будет выпытывать тайны, тем глубже я их скрою». Могут ли свободные искусства и науки сделать нас такими? Воздержность умеряет наслажденья; одни она с ненавистью изгоняет, другие соразмеряет и сокращает до здорового предела, никогда не приближаясь к ним ради них самих. Она знает, что лучшая мера для всего желанного – взять не сколько хочется, а сколько необходимо. (30) Человеколюбие запрещает быть надменным с товарищами, быть скупым, оно и в словах, и в делах, и в чувствах являет всем мягкость и ласковость, ничью беду не считает чужою, свое благо любит больше всего тогда, когда оно служит на благо другому. Неужели свободные искусства учат нас таким нравам? Нет, – так же как и простоте, скромности и умеренности; так же как довольству малым и бережливости; так же как милосердию, оберегающему чужую кровь не меньше своей и знающему, что человек не должен пользоваться силами другого человека расточительно.

– (31) «Но если вы согласны, что без свободных искусств и наук не достичь добродетели, то как же вы утверждаете, будто они ничего для добродетели не дают?» – Без пищи тоже не достичь добродетели, хотя пища к добродетели касательства не имеет. Древесина ничего не дает

кораблю, хотя корабли бывают только из дерева. Нет причин, повторяю, думать, будто вещь получается с помощью того, без чего она получиться не может. (32) Можно сказать и так: добродетель достигается и помимо свободных искусств; хотя добродетели и надо учиться, учатся ей не через их посредство. Почему я должен считать, что не знающий грамоты не может стать мудрым, как будто мудрость вся в грамоте? Она преподается на деле, а не на словах, и я не уверен, не будет ли память крепче без всякого внешнего подспорья. (33) Мудрость велика и обширна, ей нужно много простора; надо выучить все о делах божеских и человеческих, о прошлом и о будущем, о проходящем и о вечном, о времени, – а о нем одном, ты сам видишь, сколько есть вопросов? Первый – есть ли оно само по себе нечто? Потом было ли что-нибудь до времени, без времени? Возникло ли оно вместе с миром? Или прежде возникновения мира, поскольку было нечто, было и время? (34) И об одной только душе нет числа вопросам: откуда она? какова она? когда возникает? как долго существует? переходит ли с места на место, меняет ли обиталища, перебрасываемая во все новые виды одушевленных существ? или ей суждено только однократное рабство, а потом, отпущенная на волю, она бродит по вселенной? телесна она или нет? что она будет делать, когда мы перестанем быть ее орудиями? как она воспользуется свободой, когда убежит из здешней темницы? забудет ли прежнее? познает ли себя, лишь расставшись с телом и удалившись ввысь? (35) Какую бы часть божественных и человеческих дел ты ни взял, тебя утомит несметное обилие вещей, требующих исследованья и заучиванья. Чтобы все они, огромные и многочисленные, могли найти свободный приют, следует изгнать из души все лишнее. В такую тесноту добродетели не залучить: великому нужен широкий простор. Всё вон! Пусть сердце будет свободно для нее одной!

– (36) «Но ведь знание многих наук приятно». – Нет, из каждой надлежит нам запомнить лишь столько, сколько необходимо. По-твоему, порицанья заслуживает тот, кто копит лишнее и хвастливо выставляет в доме драгоценные вещи, но не заслуживает загромождающий свой ум ненужной утварью всяческих наук? Стремиться знать больше, чем требуется, – это тоже род невоздержности. (37) К тому же погоня за свободными искусствами и науками делает людей докучными, болтливыми, назойливыми и самодовольными; заучив лишнее, они из-за этого неспособны выучить необходимое. Грамматик Дидим написал четыре тысячи книг 10. Я пожалел бы и того, кто прочел столько лишнего! В одних книгах исследуется, где родина Гомера, в других – кто истинная мать Энея, в третьих – чему больше предавался в жизни Анакреонт, похоти или пьянству, в четвертых – была ли Сафо продажной распутницей, и прочие вещи, которые, знай мы их, следовало бы забыть. (38) Вот и говори теперь, что жизнь не долга. Но если ты возьмешь наших, я и тут покажу тебе много такого, что надо бы отрубить топором.

Большой траты времени, большой докуки для чужих ушей стоит похвала: «Вот начитанный человек!» Будем же довольны названием попроще: «Вот человек добра!» (39) Неужто мне развертывать летописи всех племен, отыскивая, кто первым стал писать стихи, высчитывать без календаря, сколько лет прошло между Орфеем и Гомером, узнавать все глупости, которыми Аристарх испещрил чужие стихи», губить свой век на подсчет слогов? Неужто мне не отводить глаз от песка геометров? Настолько ли я позабуду спасительное изречение: «Береги время!»? Все это я буду знать, – а чего не узнаю? (40) Грамматик Апион[12], который во времена Гая Цезаря колесил по всей Греции и в каждую общину был принят во имя Гомера, говорил: «Гомер исчерпал оба своих предмета в «Илиаде» и в «Одиссее» и присоединил к своему труду начало, охватывавшее всю Троянскую войну». А доказательство он приводил такое: «Поэт намеренно поставил в начале первого стиха две буквы, содержащие число книг»[13]. (41) Пусть знает такие вещи тот, кто хочет быть всезнайкой и не желает подумать, сколько времени отнимет у тебя нездоровье, сколько – дела, общественные и частные, сколько – дела повседневные, сколько – сон? Измерь свой век! Не так уж много он вмещает!

(42) Я говорил о свободных искусствах, – но сколько лишнего есть у философов! Сколько такого, что и не может пригодиться! И философы опускались до разделения слогов, до изучения свойств союзов и предлогов, и философы завидовали грамматикам и геометрам. Все, что было лишнего в их науках, они перенесли в свою. Так и вышло, что говорить «ни умели с большим тщанием, чем жить. (43) Послушай, как много зла в чрезмерной тонкости и как она враждебна истине! Протагор говорит, что утверждать и то, и другое можно одинаково о каждой вещи, в том

числе и о том, каждая ли вещь позволяет утверждать о ней и то, и другое. Навсифан[14] говорит: все, что кажется нам существующим, существует в такой же мере, как и не существует. (44) Парменид говорит: все, что нам кажется, не отличается от единого. Зенон Элейский[15] камня на камне не оставил от всех сложностей, сказав: ничего не существует. К тому же примерно приходят и последователи Пиррона, и мегарцы, и эритрейцы [16], и академики, которые ввели новое знание – о том, что мы ничего не знаем. (45) Брось все эчо в ту же кучу ненужностей, что и многое из свободных искусств! Те преподают мне науку, от которой не будет пользы, а эти отнимают надежду на всякое знание. Но уж лучше знать лишнее, чем ничего не знать. Они не идут впереди со светочем, направляя мой взгляд к истине, – они мне выкалывают глаза. Если я поверю Протагору, в природе не останется ничего, кроме сомнения; если Навсифану, – достоверно будет только то, что нет ничего достоверного; если Пармениду, – останется только единое, если Зенону, – и единого не останется. (46) Но что такое и мы сами, и все, что окружает нас, питает, держит на себе? Вся природа оказывается тенью, или пустой или обманчивой. Нелегко мне сказать, на кого я сержусь больше: на тех ли, что объявляет нас ничего не знающими, или на тех, кто и возможности ничего не знать нас лишает. Будь здоров.

Письмо LXXXIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) То, чего ты желаешь, – чтобы я написал о разделении философии, показал отдельные члены ее огромного тела, – вещь полезная и для стремящегося к мудрости необходимая. Ведь через посредство частей легче подойти к познанию целого. О, если бы вся философия могла предстать, подобно вселенной, когда она открывает перед нами весь свой лик! Как схожи были бы эти зрелища! Тогда бы философия наверняка заставила всех смертных любоваться ею и покинуть то, что мы, по неведенью подлинно великого, считаем великим. Но нам такое не дано, и приходится смотреть на нее так же, как созерцаем мы вселенную, – по частям. (2) Правда, душа мудреца охватывает всю ее громаду, обегая ее с той же быстротой, с какой наш глаз обегает небо; но нашему взгляду, слабому и на близком расстоянии и принужденному пробиваться сквозь туман, легче рассмотреть все по отдельности, так как целого нам не охватить. Я сделаю, что ты просишь, и разделю философию на части, но не на куски: ведь полезно разделить ее, а не раскромсать, потому что схватить слишком мелкое не легче, чем слишком крупное. (3) Народ расписывают по трибам [1], войско делится на центурии. Все, что разрослось, познается легче, если должным образом расчленено на части, не слишком мелкие, как я сказал, и не бесчисленные. У чрезмерной дробности тот же порок, что у нерасчлененности. Что измельчено в пыль, то лишено порядка. (4) Прежде всего, по-твоему, я должен сказать, чем отличается мудрость от философии. Мудрость есть совершенное благо человеческого духа, философия же – любовь и стремление к мудрости. Философия указывает туда, куда пришла мудрость. Почему философия называется так[2], ясно: само имя ее говорит об этом. (5) А мудрость некоторые[3] определяли как «знание всего божеского и человеческого», некоторые же говорили, что «быть мудрым – значит, познать все божеское и человеческое и его причины». Мне это дополнение кажется лишним: ведь «причины» – лишь часть «всего божеского и человеческого». И философию определяли то так, то этак: одни говорили, что она есть забота о добродетели, другие – забота об исправленье духа; некоторые же называли ее стремлением мыслить правильно. (6) Одно известно почти что твердо: между мудростью и философией есть разница. Ведь не может быть, чтобы ищущее и искомое были тождественны. Какова разница между жадностью, которая желает, и деньгами, которых желают, такова же она между философией и мудростью, которая есть ее конечный итог и награда. Философия – в пути, мудрость – в его конце. (7) Мудрость – это то, что греки называют зоукх. Это слово было в ходу и у римлян, как теперь в ходу слово «философия». Это засвидетельствуют тебе и древние тогаты, и надпись на памятнике Доссену[4]:

Прохожий, стой: прочти Софию Доссена здесь!

(8) Некоторые из наших, хотя философия есть забота о добродетели и стремится к ней как к цели, полагали, что их невозможно разлучить: ведь нет ни философии без добродетели, ни

добродетели без философии. Философия есть забота о достижении добродетели через посредство самой добродетели; ни добродетели не может быть, если о ней не заботиться, ни заботы о добродетели – без нее самой. Тут все иначе, чем со стрелком, пытающимся издали попасть во что-нибудь, когда целящийся и цель – в разных местах; и иначе, чем с дорогами, которые ведут в город, но лежат вне его. Путь к добродетели идет через нее самое. Значит, философия и добродетель нераздельны.

(9) Большинство писавших об этом, причем самых великих, утверждали, что философия делится на три части: нравственную, естественную и ту, что посвящена человеческому разуму[5]. Первая вносит порядок в душу. Вторая исследует природу вещей. Третья испытывает свойства слов, их расположение, виды доказательств, чтобы ложь не вкралась под видом истины. Впрочем, были и такие, что разделяли философию и на большее, и на меньшее число частей. (10) Некоторые перипатетики вводили четвертую часть: гражданскую философию, которой, мол, нужно заниматься неким особым образом, ибо предмет у ней совсем другой. Некоторые добавляли еще одну часть, называемую у греков oixovo^iicT), то есть умение управлять домашним имуществом. Некоторые уделяли особое место учению о разных образах жизни. Но все это входит в нравственную часть философии. (11) Эпикурейцы полагали, что в философии всего две части – нравственная и естественная, а ту, что посвящена ра зуму, они отбрасывали. Но потом, когда сама жизнь заставила их устранить все двусмысленное, изобличить ложь, таящуюся под личиною правды, они ввели раздел, названный ими «учением о суждениях и правилах», то есть ту же посвященную разуму часть, но под другим именем [6]; они, однако, думают, что лишь дополнили естественную философию. (12) Киренаики устранили и естественную, и посвященную разуму часть, довольствуясь только нравственной, – но тут же иным способом ввели то, что устранили; у них нравственная философия делится на пять частей, из которых одна учит о том, чего следует избегать и к чему стремиться, вторая о страстях, третья – о поступках, четвертая – о причинах, пятая – о доказательствах. Но причины вещей относятся к части естественной, доказательства – к той, что посвящена разуму [7]. (13) Аристон Хиосский сказал, что части, посвященные природе и разуму, не только излишни, но и мешают, а единственную оставляемую им нравственную философию урезал: тот ее раздел, что содержит правила поведения, он объявил нужным только воспитателю, а не философу, – как будто мудрец не есть воспитатель рода человеческого.

(14) Итак, поскольку философия трехчастна, мы начнем с разделения нравственной ее части. Было установлено, что и она делится натрое; первое в ней – наблюдение, назначающее каждому свое и оценивающее, что чего стоит; дело это чрезвычайно полезное, так как нет ничего более необходимого, чем установить цену каждой вещи. Второй раздел ее учит о побуждениях, третий – о поступках. Первая твоя обязанность – судить, что чего стоит; вторая – соразмерять и обуздывать в зависимости от этого твои побуждения; третья – заботиться, чтобы побужденья и поступки друг другу соответствовали, а сам ты ни в тех, ни в других не впадал в противоречие с самим собою. (15) Если одного из трех не будет, нарушится и все остальное. Что пользы знать цену всем вещам, если ты безудержен в побужденьях? Что пользы подавить побуждения и держать в своей власти желанья, если ты, действуя, не примешь в расчет времени и не будешь знать, когда, что, где и как надлежит делать? Ведь одно дело – знать цену и достоинство вещи, другое – выбрать нужный миг, и сверх того – обуздывать свои побужденья и браться за дело, а не хвататься вслепую. Ведь в жизни тогда нет противоречий, когда поступок не расходится с побуждением, а побуждение зависит от достоинства каждого предмета и смотря по тому, стоит его домогаться или нет, становится слабее или сильнее.

(16) Естественная философия членится надвое: на учения о телесных и о бестелесных вещах. Оба они разделяются на свои, так сказать, ступени. Учение о телах – таким образом: во-первых, о тех, что производят нечто, и о тех, что из них рождаются, – а рождаются первоначальные вещества. Учение о них, по мненью некоторых, неделимо, по мненью Других – делится на ученья о материи, о движущей всё причине и о самих первоначальных веществах.

(17) Мне остается написать о разделении той части философии, что посвящена разуму. Всякая речь либо непрерывна, либо распределена между вопрошающим и отвечающим. Было установлено, что первая именуется SictXsxTix-^ вторая – р-г,т&р|.х-г|. Риторика заботится о сло-

вах, их смысле и порядке; диалектика подразделяется на две части – о словах и о значениях, то есть о предметах, про которые говорится, и о речениях, посредством которых про них говорится. Далее следуют бесчисленные подразделы и той, и другой. А я на этом кончу и «расскажу лишь о главном» 8, – а не то, если я стану делить части на части, то получится целая книга изысканий. (18) Я не хочу отбить у тебя, Луцилий, лучший из людей, охоту все это читать, – только бы ты все прочитанное немедля относил к людским нравам. Усмиряй себя, будоражь, если есть в тебе вялость, обуздывай, если есть распущенность, укрощай упрямство, преследуй и свою, и, насколько сможешь, всеобщую алчность. Тем, кто будет тебе говорить: «Сколько можно об одном и том же?» – отвечай:

(19) «Сколько можно в одном и том же грешить? Вы хотите избавиться от лекарства, не избавившись от порока, – а я из-за вашего отказа еще упорнее буду твердить свое. Леченье начинает приносить пользу тогда, когда потерявшее чувствительность тело отвечает на прикосновение болью. Я буду твердить то, что и против вашей воли пойдет вам на пользу. Пусть хоть когда-нибудь дойдет до вас чей-нибудь нельстивый голос, и если каждый из вас не желает слушать правду, выслушайте ее все вместе.

(20) До каких пор будете вы расширять границы владений? Для одного хозяина тесно поле, на котором разместился бы целый народ. Куда должны простираться ваши пашни, если для вас мало засевать земли, размерами равные провинциям? Все теченье славных рек проходит по частным владеньям, ваши от устья до истока огромные потоки, что служат границами огромным народам! Но и этого мало – вам нужно вместить в пределы ваших поместий моря, нужно, чтобы ваш управитель царствовал за Адриатическими, Ионийскими и Эгейскими водами, чтобы острова, жилища могучих вождей, считались самым дешевым из всего вашего достояния. Владейте, чем хотите, пусть будет именьем то, что прежде называлось державой, присваивайте, что можете, – все равно того, что не ваше, будет больше.

(21) А теперь я обращаюсь к вам, чья расточительность так же безбрежна, как их алчность! Вам я говорю! Долго ли еще не будет такого озера, над которым не поднимались бы кровли ваших загородных, такой реки, чьи берега не были бы унизаны вашими домами? Где ни пробьются горячие ключи, там тотчас поднимутся новые пристанища роскоши. Где ни изогнется заливом берег, вы кладете основанья построек и, довольные только созданной руками почвою, гоните море вспять. Пусть повсеместно блистают ваши жилища, то на горах, откуда так широк вид на сушу и на море, то на равнине, но возносясь ввысь вровень с горами; сколько бы вы ни строили, как бы высоко ни строили, вы – только крошечные тела и ничего больше. Зачем вам множество спален? Ведь только в одной вы ложитесь! А где вас нет, там все не ваше.

(22) Теперь я перейду к вам, чье обжорство, бездонное и ненасытное, обыскивает и моря, и земли. Здесь закидывают крючки, там ставят силки и всевозможные тенета, не жалея труда на преследованье дичи и оставляя в покое только ту, которой вы пресытились. Много ли из того, что добывают для вас столько рук, много ли из всех яств отведают ваши утомленные наслажденьями уста? Много ли из всей дичи, добытой с такими опасностями, попробует господин, страдающий поносами и тошнотами? Много ли устриц, привезенных из такой дали, скользнет в его ненасытное брюхо? Вы несчастны, ибо сами не понимаете, что голод ваш больше вашей же утробы!» – (23) Говори это другим, чтобы, говоря так, услышать и самому; пиши, чтобы самому читать, когда пишешь. Все относи к нравам – для обуздания неистовых страстей. Учись для того, чтобы знать не больше, а лучше. Будь здоров!

Письмо XC

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Можно ли, мой Луцилий, сомневаться в том, что жизнь наша – милость богов, а благою делает ее философия, которой мы и обязаны больше, чем богам, настолько же, насколько благо в жизни – лучший дар, нежели сама жизнь? Это было бы так, когда бы и сама философия не была ниспослана богами, которые никому не дали ее знанья, но всем – способность к ней. (2) Ведь если бы они сделали это благо всеобщим и мы рождались бы разумными, мудрость потеряла бы

лучшее из того, что в ней есть, и принадлежала бы к вещам случайным. А теперь самое ценное и высокое в ней то, что она не идет к нам сама, но каждый обязан ею лишь себе и от другого ее не получит. За что было бы нам чтить философию, если бы она зависела от чужой милости? (3) Ее труд один: отыскивать истину обо всех делах божеских и человеческих. С нею неразлучны справедливость, благочестье, совестливость и прочие ее спутники – связанные и согласные между собою добродетели. Она научила чтить все божественное и любить все человеческое, научила, что в руках богов – власть, а между людьми – содружество, бывшее нерушимым до тех пор, пока алчность не разрушила всякую общность и не стала причиной бедности даже для тех, кого обогатила. Ведь они, пожелав иметь собственность, перестали владеть всем. (4) Но первые из смертных и рожденные ими не знали порчи и следовали природе, сделав ее и вождем, и законом и вручив себя воле лучшего среди них. Ведь подчинение худших лучшему – в природе вещей. И во главе бессловесных стад либо самые большие, либо самые сильные животные. Идет впереди коров не хилый бык, а победивший прочих самцов величиной и силою; стадо слонов ведет самый огромный, а у людей самым великим считается лучший. Потому правителя выбирали за его душевные свойства, и счастливы были те племена, где самым могущественным мог стать только самый лучший. Ведь тот может все, чего хочет, кто не считает, будто может больше, чем должен. (5) В том веке, который зовут золотым, по мненью Посидония, царствовали мудрецы. Они не допускали драк и защищали слабейших от сильных, они убеждали и разубеждали, показывая, что полезно, что нет. Их дальновидность заботилась о том, чтобы соплеменники ни в чем не знали недостатка, мужество отражало опасности, щедрость одаривала и украшала подданных. Править значило не властвовать, а исполнять обязанность. Никто не пробовал свое могущество на тех, кто это могущество создал, и ни у кого не было ни желания, ни причины творить обиды; все так хорошо слушались хорошего правителя, что самое сильное, чем царь грозил ослушникам, был уход от власти[1]. (6) Когда же исподволь появились пороки, а царская власть превратилась в тиранию, возникла нужда в законах, которые вначале предлагали те же мудрецы. Солон, основавший Афинское государство на законах справедливости, известен среди семи мудрецов своего века[2]. Живи Ликург[3] в ту же пору, он вошел бы в то же священное число восьмым. Хвалят еще законы Залевка и Харонда[4], учивших людей праву не на судной площади и не в прихожей законоведа, но в безмолвном и священном пифагорейском уединении и создавших право для цветущей тогда Сицилии и для греков в Италии.

(7) До сих пор я согласен с Посидонием, а вот что философия изобрела все науки, потребные для повседневной жизни, и ей принадлежит слава создательницы ремесел, – с этим я не согласен. «Она, – говорит Посидоний, наставила живших поодиночке людей, укрывавшихся в пещере, в какой-нибудь яме под скалой или в дупле дерева, и научила их воздвигать жилища». А по-моему, философия ничуть не больше придумала эти ухищрения, громоздящие постройки на постройки, города на города, чем рыбные садки, замкнутые ради того, (8) чтобы обжорству не грозили бури и, как бы ни бушевало море, страсть к роскоши имела безопасные гавани для откорма каждой породы рыб. Что ты говоришь? Философия ли вручила людям ключи и устроила засовы? Разве не алчности был подан этим знак? Философия ли возвела высокие кровли, опасные для жильцов? Дескать, мало было случайного крова, мало было без труда и искусства находить себе естественное убежище! Поверь мне, счастлив был век, еще не знавший архитекторов. (9) Вместе с роскошью родилось уменье обтесывать бревна в четырехугольные брусья и, уверенной рукой ведя пилу по размеченным чертам, разрезать балки.

А поначалу бревно кололи некрепкое клином,[5]

– ибо тогда не строили для пира покоев, способных вместить многолюдное застолье, и не везли на длинной веренице телег, сотрясающих улицы, ни сосен, ни елей, чтобы построить из них штучный потолок, отягченный золотом. (10) Развилины с двух сторон поддерживали кровлю, хворост или зеленые ветви, плотно уложенные по скатам, давали сток даже сильным дождям. И под таким вот кровом ничего не боялись. Под соломой жили свободные, под мрамором и золотом живут рабы. Не согласен я с Посидонием и в том, будто изделья из кованого железа изобретены мудрыми мужами. (11) Так можно назвать мудрецами и тех, что

Зверя сетями ловить и птиц обманывать клеем
Способ нашли, оцеплять лесные урочища псами.[11]

Но все это придумано человеческой хитростью, а не мудростью. (12) Не согласен я с ним и в том, будто мудрецы нашли и железо, и медь, когда почва, опаленная лесными пожарами, излила из неглубоких жил расплавленные металлы. Такие вещи находят те, кто их ценит. (13) И еще мне не кажется столь уж тонким вопрос, что стали употреблять прежде – молот или клещи. И то и другое изобрел человек ума острого и быстрого, но не величавого и не высокого, – как и все, чего нужно искать, согнув спину и потупясь душою в землю.

Мудрецу легко было прокормиться. Да и как же иначе, если он даже в нынешний век не хочет ничем себя обременять? (14) Скажи мне, прошу, как можно восхищаться и Диогеном, и Дедалом? Кто из них мудр, по-твоему? Тот, кто изобрел пилу, или тот, кто, увидев мальчика, пьющего воду из горсти, немедля вытащил из котомки чашку и разбил ее, обругав себя так: «Сколько же времени, глупый я человек, таскал я лишний груз!», кто спал, свернувшись в бочке? (15) И сегодня кого сочтешь ты мудрее: того ли, кто придумал, как устроить скрытые трубы, чтобы шафранная вода била из них на невиданную высоту[7], как вмиг заполнить водой или осушить Еврипы, как соединить над пиршественным покоем поворачивающиеся плиты, чтобы они показывали то одно, то другое лицо и с каждой переменой -на столе менялся вид штучного потолка, – или того, кто показывает себе и другим, что природа не требует от нас ничего тяжкого и трудного, что мы можем прожить и без мраморщика и кузнеца, одеться, и не торгуя с серийцами8, иметь все необходимое для нашего обихода, довольствуясь тем, чего земля не прячет в недра? Если бы род человеческий услышал его, то понял бы, что повар так же не нужен, как солдат. (16) Мудры или подобны мудрецам были те. для кого нетрудно было попечение о теле. Необходимое требует простой заботы, наслажденье – многих трудов. Будешь следовать природе, – не понадобится никаких ремесленников: она не пожелала занимать нас такими вещами и обучила всему, что сделала для нас непременным. – Холод невыносим для нагого тела. – Что же, разве шкуры зверей и других животных не могут вполне и с избытком защитить от холода? разве многие племена не одевают тела древесной корой? разве птичьи перья не скрепляются так, чтобы получилась одежда? разве и в наши дни большинство скифов не надевает лисьих и мышиных шкурок, мягких на ощупь и непроницаемых для ветра? – (17) Но нужно еще густой тенью прогонять летний зной. – Что же, разве древность не оставила множества укромных мест, выдолбленных или безжалостным временем, или другой какою причиною и превратившихся в пещеры? Что же, разве не делали вручную плетенок из любой лозы, не обмазывали их дешевой глиной, не крыли потом крыши соломой, или чем-нибудь принесенным из лесу и не проводили безмятежно зиму под дождями, стекавшими со скатов? Что же, разве не прячутся в землянках племена, обитающие близ Сиртов, у которых из-за чрезмерного солнечного жара нет более надежного укрытья для защиты от зноя, чем сама иссушенная почва? (18) Природа, позволившая всем животным жить легко, не была так враждебна человеку, чтобы он один не мог обойтись без наук и ремесел. Нет нам от нее такого приказа, нет нужды через силу добывать то, без чего не прожить. Мы рождены на все готовое, но, пресытившись легко доступным, обрекли себя на трудности. Все, что теперь достается ценой бессчетных хлопот: и кров, и покров, согревающий тело, и пища, – попадалось на каждом шагу и давалось задаром или стоило малого труда, потому что меру указывала необходимость. Мы сами сделали всё драгоценным и редким, сделали так, что без великого и многообразного уменья ничего нельзя добыть. (19) А природа дает вдоволь всего, что ей требуется. Страсть к роскоши отошла от природы, она ежедневно сама себя разжигает и растет уже много веков, изобретательностью способствуя порокам. Сперва она пожелала лишнего, потом противоестественного, а напоследок превратила душу в рабыню тела и заставила ее служить его похоти. Все эти ремесла, шум которых будоражит город, работают на потребу телу, которому прежде отпускали столько, сколько рабу, а теперь подносят все, как хозяину. Поэтому в той мастерской ткут, в этой куют, в той варят духи, тут учат изнеженным телодвиженьям, там – изнеженным, расслабленным напевам. Потерялась естественная мера, ограничивающая желания необходимым; теперь желать, сколько нужно, значит, слыть деревенщиной или нищим.

(20) Трудно поверить, Луцилий, до чего легко приятность речи уводит прочь от истины даже великих людей. Вот Посидоний (по-моему, один из тех, чей вклад в философию больше прочих): ему хочется описать сначала, как одни нитки сучатся, другие тянутся из мягкого распушенного волокна, потом как подвешенный груз выпрямляет и натягивает основу, как пропущенный уток, чтобы смягчить жесткость сжимающей его с двух сторон основы, бердом прижимается нить к нити, – и он говорит, будто ткацкое искусство изобрели мудрецы, позабыв, насколько позже был придуман более тонкий его род, когда

Держит основу навой; станок – разделяет тростинка;
Вот уж продет и уток меж острыми зубьями: пальцы
Перебирают его. Проводя между нитей основы
Зубьями берда, его прибивают они, ударяя...[9]

А что если бы довелось ему взглянуть на ткани нашего времени, из которых шьется ничего не прячущая одежда, не защищающая не только тела, но и стыдливости?

(21) Потом он переходит к земледельцам и не менее красноречиво описывает землю, однажды и дважды пропаханную плугом, чтобы рыхлая почва легче давала путь корням, а после брошенное в борозды семя и травы, выполотые вручную, затем чтобы случайные дикие всходы не погубили посева. И это, по его словам, есть дело мудреца, как будто сейчас землепашцы не придумывают много новых способов увеличить плодородие. (22) А потом, не довольствуясь этими уменьями, он посылает мудреца на мельницу и в пекарню. Вот что он рассказывает о том, как мудрец, подражая природе, стал выделывать хлебы: «Зерна во рту дробятся твердостью зубов, когда они сходятся, а что не попадает под них, то язык подталкивает к тем же зубам; потом примешивается слюна, чтобы глоток легче проскользнул в горло; а попав в утробу, пища перевариваетсяся теплом желудка и лишь тогда переходит в тело. (23) Следуя этому примеру, кто-то положил один шероховатый камень на другой, наподобие зубов, половина которых неподвижна и ожидает движенья другой половины. Потом трением камня о камень он стал дробить зерна, перемалывая их вновь и вновь, пока они, растертые много раз, не измельчались совсем. Затем он полил муку водой и принялся усердно месить ее, пока она не стала податливой; тогда он вылепил хлеб, который сперва пекся в горячей золе и на раскаленных кирпичах; позже были изобретены печи и другие устройства, где жар послушен нашему усмотренью». Не хватает только, чтобы он и сапожное ремесло объявил изобретеньем мудрецов!

(24) До всего этого додумался разум, -но не поистине правый разум. Ведь такие изобретенья – дело человека, а не мудреца, точно так же как суда, на которых мы пересекаем реки, пересекаем моря. приладив паруса, улавливающие напор ветра, приспособив сзади руль, поворачивающий судно туда и сюда (пример тут взят с рыб, которые легким движением хвоста вправо или влево направляют в сторону свой быстрый ход). (25) «Все это, – говорит Посидоний, – изобрел мудрец, но счел слишком ничтожным, чтобы заниматься самому, и отдал более скромным помощникам». Нет, все это и придумано теми, кто по сей день этим занят. Мы знаем такие вещи, что были созданы на нашей памяти – например, зеркальные окна, пропускающие дневной свет через прозрачную черепицу, или приподнятые полы бань и вделанные в стену трубы, по которым проходит тепло, равномерно нагревая все и снизу, и сверху. Что говорить о мраморе, которым сверкают и дома и храмы? О круглых и лощеных каменных громадах, поддерживающих портики и залы, способные вместить целый город? О значках, слово за словом подхватывающих сколь угодно быструю речь 10, так что скорость руки поспевает за проворством языка? Все это придумано ничтожными рабами. (26) Мудрость же стоит выше: она не обучает работать руками, она – наставница душ. Хочешь знать, что ею добыто, что создано? Не непристойные телодвижения, не напевы для труб и флейты, превращающих в звук проходящее сквозь них или излетающее из них дыхание; не оружье, не стены, не войны; нет, она мыслит о пользе, лелеет мир, зовет род людской к согласию. (27) Она, повторяю, не кузнец необходимейших орудий. Зачем приписывать ей так мало? Перед тобою та, чье искусство – устраивать жизнь. А все прочие искусства у нее в подчинении: ведь ей подвластна жизнь, а потому и все, что служит украшению жизни, которую она, впрочем, направляет к блаженству, ведет к нему, открывает к нему пути. (28) Она по-

казывает, что беда, а что кажется бедою; избавляет души от тщеславия и дарит им стойкое величье; душу спесивую и красующуюся попусту обуздывает; не позволяет нам не знать разницы между величием и напыщенностью; дает нам постичь и природу, и себя самое. Она объясняет, что такое боги и каковы они; что такое подземные силы, и лары, и гении, и божества второго рода – ставшие вечными души; где они пребывают, что делают, что могут и чего хотят. Таково ее посвящение, отворяющее не городское святилище, но огромный храм всех богов, именуемый миром, и в нем открывающее духовному взору подлинные кумиры, подлинные лики, – потому что для столь величавого зрелища глаза слишком слабы. (29) Потом она восходит к началам всех вещей, к заложенному в основе всего вечному разуму и силе, развивающей семена сущего, каждое на особый лад. Потом она принимается за исследованье души, – откуда она, где она, долговечна ли, на сколько членов разделена. Затем философия переходит от тел к бестелесному, разбирая, что такое истина и каковы ее доказательства, и еще – как различить двусмысленное в жизни и в словах, ибо и тут и там истина и ложь перемешаны.

(30) Я утверждаю, что мудрец не отошел от низких ремесел, как пола-. гает Посидоний, но вообще к ним не приближался. Он бы счел, что недостойно изобретать нечто недостойное вечного употребления, не взял бы того, что придется отложить. – (31) «Анахарсис[11], – говорит Посидоний, изобрел гончарный круг, на котором лепят сосуды». А потом, встретив гончарный круг у Гомера, предпочитают думать, будто под-ложны эти стихи, а не предание. Я не спорю, что эту вещь создал Анахарсис; а если так, значит, изобрел ее мудрец, – но не как мудрец: ведь все мудрецы многое делают не как мудрецы, а как люди. Представь себе быстроногого мудреца: он всех обгонит, но как быстроногий бегун, а не как мудрец. Я бы хотел показать Посидонию стеклодува, который дыханием придает стеклу множество таких форм, каких не вылепит и умелая рука. А способ этот отыскали после того, как стало невозможно отыскать мудреца. – (32) «Демокрит, – утверждает Посидоний, – по преданью, изобрел свод, в котором изгиб наклонно положенных камней замыкается срединным камнем». – А это, по-моему, неправда. Ведь непременно были и до Демокрита мосты и ворота, а их верхняя часть почти всегда изогнута. (33) И потом вы забыли, что тот же Демокрит якобы изобрел способ смягчать слоновую кость, превращать расплавленную гальку в изумруды – таким способом и по сей день окрашивают подходящие для этого камешки. Пусть это изобретено мудрецом, – но изобретал он не как мудрец: ведь и он делает много такого, что люди неразумные, как мы видим, делают не хуже или даже более ловко и умело.

(34) Ты спрашиваешь, что исследовал, что сделал ясным для всех мудрец? Во-первых, природу, за которой он не в пример прочим живым существам следил глазами, достаточно зоркими ко всему божественному. Во-вторых, закон жизни, который он согласовал со всеобщим законом, научив людей не только знать богов, но и следовать им, и все случайное воспринимать как приказанное ими. Он запретил повиноваться ложным мнениям и, взвесив все, всему указал настоящую цену; осудил перемешанные с раскаяньем наслаждения; превознес те блага, что всегда будут нам отрадны; обнаружил перед всеми, что самый счастливый – тот, кому не нужно счастье, самый полновластный – тот, кто властвует собою. (35) Я говорю не о той философии, что гражданина отрывает от родины. богов – от мира, которая отдает добродетель на произвол наслаждению [12], но о той, которая единственным благом считает честность, которую не прельстят ни дары человека, ни дары фортуны, награда которой в том, что никакой наградой не заманишь ее в плен.

Я не думаю, чтобы такая философия была в тот грубый век, когда не существовало ни наук, ни искусств и люди на опыте учились всему полезному; (36) и раньше [13], в счастливые времена, когда лежащими на виду благами природы пользовались все без разбору, когда жадность и страсть к роскоши не разобщили еще смертных и они не расторгли союза ради грабежа, люди не были мудрецами, хотя и делали то, что положено делать мудрым мужам. (37) Нет такого состояния рода человеческого, которым восхищались бы больше, чем этим, и если бы бог позволил кому-нибудь устраивать земные дела и давать народам нравы, никто не выбрал бы ничего другого, нежели памятные нам нравы тех, чьи

...поля неподвластны пахарям были;
Даже значком отмечать и межой размежевывать нивы

Не полагалося; всё сообща добывали. Земля же
Плодоносила сама, добровольно и без принужденья.[14]

(38) Было ли поколенье людей счастливее этого? Они сообща владели природою, а той, как матери, довольно было сил всех опекать, позволяя всем безопасно пользоваться общими богатствами. Почему же не назвать богатым поколенье смертных, среди которого нельзя было найти бедняка? В этот наилучший порядок вещей ворвалась жадность и, желая отделить и присвоить хоть что-то, сделала все из безграничного скудным и чужим, принесла с собою бедность и, захотевши многого, потеряла все. (39) Пусть она теперь мечется, стремясь возместить потерянное; пусть прибавляет поле к полю, изгоняя соседей деньгами или насилием, пусть сделает свои пашни просторными, как целая провинция, и долгие странствия по ним называет «обладанием»: никакое расширение границ не вернет нас к тому, от чего мы ушли. Сделав все, мы будем владеть многим, – а владели мы вселенной. (40) Сама земля, пока ее не обрабатывали, была плодороднее, и простора хватало всем народам, не расхищавшим ее. Для людей было равным наслаждением находить то, что давала природа, и указывать другому найденное, и не могло быть у одного – избытка, у другого – нехватки: все делилось в полном согласии. Сильный еще не поднимал руку на слабого, скупой еще не прятал лежащих втуне запасов, лишая других необходимого: каждый заботился о других, как о себе. (41) Оружье оставалось праздным, руки не обагрялись человеческой кровью, и вся ненависть обращалась против диких зверей. Те, кого защищала от солнца плотная тень рощи, кто жил в даровом убежище, заслоняясь от свирепости стужи или дождя кровлей из листвы, проводили ночь в покое, не вздохнув ни разу. Мы ворочаемся под нашим пурпуром, ужаленные острыми стрекалами беспокойства; а им как сладко спалось на твердой земле! (42) Не висел над ними штучный потолок, но скользили над лежащими под открытым небом светила, и было перед ними величавое зрелище ночи. Мир обращался в вышине, беззвучно совершая столь великий труд. И днем, и ночью был открыт их взору этот прекраснейший дом, им отрадно было наблюдать созвездия, как одни покидают середину неба, другие восходят из невидимых его областей. (43) Разве не сладостно было странствовать в виду этой усеянной чудесами шири? А вас пугает малейший скрип вашей крыши, вы бежите, сломя голову, едва что-то затрещит среди росписей [15]. Ни у кого не было домов в размер города – был воздух и вольное дыхание на просторе, и легкая тень скалы либо дерева, и прозрачные источники, и ручьи, не загрязненные ни канавами, ни трубами, ни иными насильственными путями, но бегущие по своей воле, и луга, красивые без всякого искусства, и среди них – грубая хижина, сложенная неумелой рукой. Таков был дом у живших в согласье с природой, в нем отрадно было обитать, не боясь ни его, ни за него. А теперь само жилище есть одна из первых причин нашего страха.

(44) Но, хотя жизнь их была превосходна и чужда коварства, они не были мудрецами, коль скоро это имя знаменует самое высокое совершенство. Я не отрицаю, что были мужи высокого духа, так сказать, рожденные прямо от богов: ведь нет сомнения, что мир, еще не истощенный родами, производил на свет только самое лучшее. И, однако, насколько по врожденным свойствам все были и сильнее, и способнее к труду, настолько ум их не был усовершенствован. Ведь природа не дает добродетели: достичь ее – это искусство. (45) Они еще не искали ни золота, ни серебра, ни самоцветов в глубине земной грязи; не могло быть такого, чтобы человек убивал человека не в сердцах, не из страха, а ради зрелища. Не было еще ни пестрых одежд, ни тканого золота – его и не добывали еще. (46) Что же выходит? Они были невинны по неведенью; а это большая разница, не хочет человек грешить или не умеет. У них не было справедливости, не было разумности, воздержности, мужества. В их грубой жизни были некие подобья этих добродетелей, сама же добродетель достается на долю только душе наставленной, обученной, достигшей вершин благодаря неустанному упражнению. Для этого – но лишенными этого – мы и рождаемся. В лучших из нас, покуда нет образования, имеются лишь задатки добродетели, но не добродетель. Будь здоров.

Письмо XCI

Сенека приветствует Луцилия!,

(1) Нашего Либералиса[1] опечалила весть о пожаре, дотла спалившем Лугдунскую колонию[2]. Такое несчастье хоть кого взволнует, – что же говорить о человеке, который так любит родной город! Вот и вышло так, что ему понадобилась вся твердость духа, которую он закалял против любых бед, каких только можно опасаться, как ему казалось. А такого неожиданного и, пожалуй, неслыханного бедствия не боялись, и я этому не удивляюсь: ведь не бывало даже таких примеров! Многие города страдали от огня, – ни один не был уничтожен. Даже там, где дома поджигала вражеская рука, во многих местах пламя гасло, и хоть его тем временем раздували, редко оно пожирало все и ничего не оставляло оружию. Даже и землетрясенья вряд ли бывали такими сильными и пагубными, чтобы разрушить целые города. И нигде, в конце концов, не случалось таких пожаров, чтобы ничего не осталось для другого пожара. (2) А тут столько прекрасных творений, каждое из которых могло бы прославить любой город, погубила одна ночь; в самую мирную пору случилось такое, чего и на войне нет причин бояться. Кто бы мог поверить? Теперь, когда во всем мире царит спокойствие, приходится спрашивать, где Лугдун, украшенье Галлии! Фортуна, если настигала бедою целую общину, всегда давала возможность бояться предстоящих испытаний. Все великое рушилось в течение некоего срока, а здесь вечером был огромный город – утром его не было. Я дольше рассказываю тебе о его гибели, чем он погибал. (3) Все это надломило дух нашего Либералиса, несгибаемый и стойкий перед его собственными горестями. И не без причины: все неожиданное гнетет нас сильнее, невиданность прибавляет тяжести бедствиям, всякий смертный, удивляясь, горюет больше.

(4) Поэтому ничто не должно заставать нас врасплох. Нужно посылать душу навстречу всему и думать не о том, что случается обычно, а о том, что может случиться. Есть ли что-нибудь, чего фортуна при желании не сгубила бы в самом расцвете? на что бы не напала и не ударила тем грознее, чем ярче оно блистало? Есть ли трудное и недоступное для нее? (5) Она налетает не всегда одним путем, не всегда проходит его до конца; иногда она поражает нас нашими же руками, иногда, довольствуясь собственными силами, находит опасности без виновника. Безопасного времени нет. В разгаре наслаждений зарождаются причины боли; в мирную пору начинается война и оплоты безопасности делаются источниками страха; друг становится недругом, союзник – врагом. Летнее затишье разражается внезапной бурей хуже зимней; мы терпим все, что терпят от врагов, хотя их у нас нет, и если не имеется других причин для пораженья, их находит в самом себе чрезмерное счастье. Самых воздержных настигает болезнь, самых здоровых – чахотка, самых невинных – кара, самых нелюдимых – смута. Иногда случай избирает нечто новое, чтобы настигнуть своею силой позабывших о нем. (6) Что по строило ценою великих трудов, при великой благосклонности богов долгое время, то один день рушит и опрокидывает. Кто сказал «один день», тот дал долгий срок поспешающим бедам: довольно часа, мига, чтобы низвергнуть державу! Было бы некоторым утешеньем в нашем бессилии и в наших обстоятельствах, если бы все погибало так же медленно, как возникает; но нет, медлителен только прирост, ущерб тороплив. (7) Все непрочно – и частное, и общественное; судьба городов, как судьба людей, вертится колесом. Среди полного спокойствия встает ужас; нигде нет причин для смятенья – а беды налетают, откуда мы их меньше всего ждем. Царства, устоявшие и в междоусобных, и во внешних войнах, рушатся без всякого толчка. Много ли государств благополучно пережили счастье?

Значит, нужно думать обо всем и укреплять дух против всего, что может случиться. (8) Держи в мыслях ссылку, пытки, войны, болезни, кораблекрушенья. Случай может отнять у тебя родину и тебя – у родины, может бросить тебя в пустыню, может сделать пустыней место, где сейчас задыхаются в толпе. Пусть перед глазами у тебя будет все, что входит в человеческий удел. Будем предвосхищать в душе не то, что происходит часто, а самое худшее, что может произойти, если только мы не хотим пасть духом, поражаясь необычному как небывалому. Нужно иметь в виду все, что под силу фортуне. (9) Сколько городов в Азии, сколько в Ахайе рушилось от одного землетрясенья? Сколько поглощено их в Сирии, в Македонии? Сколько раз опустошало Кипр это бедствие? Сколько раз рассыпался в прах Пафос? [3] Нам часто приносят вести о гибели целых городов; но мы-то, к кому часто приходят эти вести, большая ли часть всего мира? Так воспрянем духом перед лицом всего случайного,, и что бы ни произошло, будем знать: беда

не так велика, как гласят о ней слухи. (10) Выгорел богатый город, украшенье провинций, бывший их частью, но частью особой, и при этом стоявший на одном, не слишком высоком холме. Но когда-нибудь время изгладит даже следы всех тех городов, о величье и благородстве которых мы слышим теперь. Разве ты не видал, как в Ахайе изничтожились уже и основанья славных городов и не осталось ничего, что свидетельствовало бы о самом их существованье? (11) Рушится не только рукотворное, череда дней опрокидывает не только воздвигнутое человеческим искусством и усердием; оплывают горные цепи, волны покрывают те места, откуда моря и вдали не видно было; огонь опустошил холмы, прежде сверкавшие огнями, обглодал прежде высокие вершины – утешенье мореходов, их маяки, – сравнял их с низинами. Творенья самой природы терпят урон – потому-то мы должны спокойно сносить гибель городов. (12) Они возникают, чтобы упасть; всех ждет один конец, – сбрасывает ли внутренняя сила и напор сдавленного дыханья пригнетавший их груз[4], вырываются ли запертые в глубине потоки, прорывает ли напор пламени плотность почвы, ведет ли медленное наступленье ветхость, от которой ничто не защищено, изгоняет ли народы тяжелый климат, превращая их жилище в пустыню. Слишком долго перечислять дороги судьбы. Знаю только одно: все создания смертных обречены смерти, мы живем среди бренности. (13) Этими и подобными словами я утешаю Либералиса, пылающего какой-то невероятной любовью к родному городу, который, быть может, сгорел для того, чтобы подняться еще прекрасней. Часто урон расчищает место большей удаче; многое пало с тем, чтобы восстать выше и величественней. Тимаген[5], ненавидевший счастье столицы, говорил, что пожары в Риме печалят его по одной причине: он знает, что все сгоревшее будет поднято из развалин еще краше. (14) И вероятно, что также и в том городе все будут состязаться, стараясь восстановить утраченное величавей и прочнее. Да будут нерушимы основания, заложенные ими при добрых знаменьях на долгий век! Ведь этой колонии от ее начала пошел сотый год, – а такой возраст и для человека не предел! Выведенная Планком, она окрепла и стала многолюдной благодаря удачному местоположению, но сколько тяжелых напастей вынесла за тот срок, пока человек успевает состариться!

(15) Пусть же наш дух научится понимать и терпеть свой жребий и знает, что фортуна отважится на все; у нее столько же прав над державами, сколько над самодержцами, столько же власти над городами, сколько над людьми. На это нельзя негодовать: ведь мы пришли в мир, где живут по этим законам. Нравится – подчиняйся, не нравится – убирайся любой дорогой! Негодуй, если несправедливое установление метит только в тебя, но если одна необходимость опутывает стоящих и высоко, и низко, примирись со все разрешающим роком! (16) Незачем мерить нас величиной гробниц и тех памятников, что стоят вдоль дороги, одни больше, другие меньше. Прах всех уравнивает: рождаемся мы неравными, умираем равными. И о городах я скажу то же, что о горожанах. Что Ардею[6] взяли приступом, что Рим. Учредитель человеческого права разделил нас по родовитости и знатности имен, лишь покуда мы существуем. А когда смертному приходит конец, он изрекает: «Прочь тщеславие! Для всех отягощающих землю закон да будет один!» И необходимость все терпеть уравнивает нас: нет ни более хрупких, ни более уверенных в завтрашнем дне. (17) Александр, царь македонский, принялся изучать геометрию – несчастный! – только с тем, чтобы узнать, как мала земля, чью ничтожную часть он захватил. Несчастным я называю его потому, что он должен был понять ложность своего прозвища, – ибо можно ли быть великим на ничтожном пространстве? Обучали его всяким тонкостям, требующим прилежного внимания и непосильным для безумца, простирающего свои помыслы за океан. – «Учи меня чему-нибудь полегче!» – говорил он, и наставник отвечал: «Эти вещи для всех одинаково трудны!» – (18) Считай же, что так говорит тебе сама природа: «То, на что ты жалуешься, для всех одинаково, дать что-нибудь легче никому невозможно, но, кто хочет, может сам себе все облегчить». – Чем? – Спокойствием духа. Тебе придется и страдать, и терпеть жажду и голод, и стареть, если отпущен будет тебе долгий срок среди людей, и болеть, и нести утраты, и умереть. (19) Но незачем верить тому, о чем шумят вокруг: все это не зло, не тяготы, которых не перенесть. Страх перед этим – из общего мнения; ты боишься смерти, как боятся молвы. А кто глупее человека, боящегося слов? Остроумно говорит об этом наш Деметрий: «Голоса невежд для меня то же самое, что испускаемые животом звуки: какая мне разница, спереди они вылетают или сзади?» (20) Что за безумье – бояться бесславья от бесславных! И как сама молва, так и все назван-

ное мною страшно вам без причины: не будь приказа молвы, вы бы и не боялись. Какой ущерб человеку добра от враждебных толков? (21) Пусть же и смерти не вредят они в нашем мнении, хоть слава[7] у нее дурная. Никто из обвинителей ее не испытал, а осуждать то, чего не знаешь, – безрассудно. Зато ты знаешь, сколь многим она принесла пользу, сколь многих избавила от пыток, нищеты, от жалоб, от казни, от тоски. Пока смерть подвластна нам, мы никому не подвластны. Будь здоров.

Письмо XCII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я думаю, мы с тобою согласны в том, что все внешнее приобретается ради тела, о теле пекутся во имя души, что в душе есть части прислуживающие, – благодаря им мы движемся и питаемся, но даны они нам ради главного. А главное в ней состоит из разумной и неразумной части, которая в подчинении у разумной, она же одна ни с чем не соотносится и все соотносит с собою. Ведь и божественный разум стоит во главе всего и ничему не подчинен, и наш разум, происходящий от него, таков же. (2) Если в этом мы согласны, то непременно согласимся и в другом: блаженная жизнь заключается в том, чтобы разум наш был совершенен. Ведь он один не порабощает души, противостоит фортуне, охраняет нашу безопасность, как бы ни сложились обстоятельства. В этом – единственное нерушимое благо. Счастлив, повторяю, тот, кого ничто не умалит; он стоит на вершине и опирается только на самого себя, – а кто держится чужой помощью, тот может и упасть. В ином случае над ними обретает силу многое, нам не принадлежащее. Кто захочет иметь опорой фортуну? Какой здравомыслящий человек станет собою восхищаться, накопив чужое?

(3) Что есть блаженная жизнь? Безопасность и постоянное спокойствие. А их дает величье духа, дает упорство и постоянство в том, что хорошо обдумано. Как прийти к этому? Постичь истину целиком; соблюдать во всех поступках порядок, меру, приличие и добрую волю, благожелательную, неизменно послушную разуму, достойную и любви, и восхищенья. Чтобы сказать все коротко и ясно, напишу так: дух мудреца должен быть таким, какой приличествует и богу. (4) Чего желать тому, кому досталось все честное? Ведь если что-нибудь, помимо честного, может способствовать благоденствию, тогда из того же самого будет состоять и блаженная жизнь, а без этого ее не бывает. Но что может быть глупее и позорнее, чем полагать, будто благо разумного духа слагается из вещей неразумных? (5) Некоторые, однако, считают, будто высшее благо можно увеличить, ибо оно неполно, когда ему противятся вещи случайные. Даже Антипатр, один из великих чиноначальников этой школы, сказал, что придает внешнему некоторое значение, хотя и очень небольшое. Но разве ты не видишь, – это ведь то же самое, что быть недовольным дневным светом, если не горит еще какой-нибудь огонек? Много ли значит малая искра при сияющем солнце? (6) Если ты недоволен только тем, что честно, значит, ты непременно хочешь прибавить к нему или покой, который греки называют ао^лтрса, или наслажденье. Первый еще можно принять: душе ничто не докучает, и она вольна вглядываться во вселенную, ничем не отвлекаемая от созерцанья природы. А вот наслажденье – это благо для скотов. К разумному мы добавляем неразумное, к честному – бесчестное. Когда щекочут наше тело, это тоже наслажденье, (7) так что же вы не решаетесь сказать, что человек блаженствует, когда нёбо его ублажено? И ты причисляешь пусть не к мужам, но хотя бы к людям того, для кого высшее благо состоит из вещей приятных: лакомств, красок, звуков? Прочь его из прекрасного разряда существ, второго после богов, – к бессловесным скотам, ибо сам он животное, довольное кормом. (8) Неразумная часть души сама состоит из двух половин: первая – отважная, честолюбивая, безудержная, подверженная страстям; вторая – низменная, томная, преданная наслаждениям. Половину необузданную, но лучшую и, во всяком случае, сильнейшую и достойнейшую мужа, некоторые отставляют, а для блаженной жизни считают необходимой половину хилую и низкую. (9) Разум они заставляют служить ей, унижая и опошляя благо самого высокого по рожденью существа, превращая к тому же это благо в нечто чудовищное, составленное из разных и не подходящих друг к другу членов. Так говорит в «Сцилле» наш Вергилий:

Сверху – дева она лицом и грудью прекрасной,
Снизу – тело у ней морской чудовищной рыбы,
Волчий мохнатый живот и хвост огромный дельфина.[1]

С этой Сциллой срослись хотя бы животные свирепые, страшные и проворные; а из каких чудищ составляют иные мудрость? (10) «Первейшее искусство человека, – говорил Посидоний, – это сама добродетель, ей вверена бесполезная и хлипкая плоть, годная лишь на то, чтобы принимать пищу». Божественная добродетель переходит во что-то скользкое, и к верхней части, достойной поклонения и причастной небу, оказывается прилепленным бессильное, ленивое животное: покой, хоть его место сразу же после добродетели, сам ничего не дает душе и только устраняет помехи; наслаждение же изнеживает ее и подтачивает любую ее твердость. Можно ли найти сочетание тел, больше рознящихся между собою? С самым сильным соединяют самое вялое, с суровым – пустячное, с чистейшим – не знающее удержу ни в чем, вплоть до кровосмешенья.

– (11) «Так что же, если крепкое здоровье, и покой, и отсутствие страданья ничуть не мешают добродетели, ты не станешь к ним стре миться?» – Почему же? Но стремлюсь я к ним не как к благам, а потому только, что они не противны природе и я принимаю их по здравому суждению. Какое же в них будет тогда благо? Только одно: правильность выбора. Ведь когда я беру одежду, какую мне подобает, когда гуляю, сколько положено, когда ужинаю, как мне должно, то не ужин, не прогулка, не одежда суть блага, а мое обращение с ними, мое умение соблюсти в каждом деле отвечающую разуму меру. (12) Я и сейчас повторю: выбрать чистую одежду – это достойный предмет стремлений, потому что человек по природе – существо чистое и опрятное. Выходит, благо есть не сама по себе чистая одежда, а выбор чистой одежды, так как благо – не в самой вещи, а в ее выборе, и честность заключена в нашем действии, а не в том, на что оно направлено. (13) Можешь считать, что сказанное мною о вещах сказано и о теле. Ведь им природа облекла душу, словно некой одеждой, тело – ее покров. Но кто ценит одежду по сундуку? Ножны не делают меч ни лучше, ни хуже. И о теле я говорю тебе то же самое: если мне предоставят выбор, я предпочту здоровье и силу, но благом будет мое сужденье о них, а не они сами.

(14) Говорят[2] и так: «Мудрец, конечно, блажен; но высшего блага достигает он, только если этому способствуют естественные подспорья. Потому обладающий добродетелью не может быть несчастен, но и высшего блаженства нет у него, если он лишен естественных благ, таких, как здоровье и отсутствие увечий». (15) Однако ты при этом допускаешь вещь более невероятную: даже терпящий сильную и непрерывную боль может не быть несчастным и даже быть блаженным; а вот высшее блаженство у него ты отрицаешь, хоть это и меньше. Ибо если добродетель может сделать так, чтобы человек не был несчастен, ей еще легче дать ему высшее блаженство, – ведь расстояние от блаженства до высшего блаженства меньше, чем от несчастья до блаженства. Так неужели же то, что способно вырвать человека из всех превратностей и перенести его в число блаженных, не может сделать и остального – дать ему высшее блаженство? Неужели оно лишится сил у самой вершины склона? (16) В жизни есть вещи приятные, есть неприятности, но и то и другое – вне нас. Если человек добра не бывает несчастен даже под гнетом всяческих неприятностей, неужто он не испытывает высшего блаженства только потому, что лишен той или иной приятной вещи? Нет, как под грузом неприятностей он не согнется настолько, чтобы стать несчастным, так недостаток приятного не низведет его с вершины блаженства; высшее блаженство он испытывает независимо от всех приятных вещей так же, как среди неприятностей не бывает несчастен, – а если его высшее благо можно уменьшить, значит, можно его и отнять. (17) Я недавно говорил, что огонек ничего не добавляет к свету солнца, затмевающего все, что блестит без-него. – «Но порой застится и солнце!» – Сила и яркость солнца не убавляются и среди препон; пусть стоит между ним и нами преграда и не дает нам его увидеть, – оно делает свое дело, идет своим путем. Пусть солнце светит за облаками – оно от этого не тусклее и не медлительней, потому что застить его и препятствовать ему – не одно и то же. (18) Так же и все противостоящее добродетели ничего у нее не отнимает. Она не становится меньше, только не так сверкает; сама по себе она все та же и бьет нам в глаза своим блеском, невидимо проявляет свою силу, наподобье солнца во мгле. Против добродетели все беды, все уроны, все обиды так же бессильны, как облака против солнца.

(19) Есть и такие что говорят, будто мудрец, чье тело не в столь уж цветущем состоянии, и не несчастен, и не блажен. Но и это заблуждение: добродетели приравниваются к вещам случайным, мужам честным приписывается то же, что и лишенным честности. А есть ли что более мерзкое и недостойное, чем сравнивать вещи почтенные и презренные? Почтенны справедливость, благочестье, верность, храбрость, разумность; и наоборот, ничего не стоит то, что чаще и больше всего достается людям нестоящим: могучие и всегда здоровые и крепкие голени, и плечи, и зубы. (20) И потом, если считать недужного телом мудреца ни несчастным, ни блаженным, если оставить его посередке, то и жизнь его не такова, чтобы к ней стремиться или от нее бежать. Но разве не нелепо утверждать, что к жизни мудреца не надобно стремиться? И можно ли поверить, будто есть такая жизнь, чтобы незачем было ни стремиться к ней, ни от нее бежать? Далее, если изъяны тела не делают несчастным, они позволяют быть и блаженным. Ведь что бессильно ухудшить наше состояние, то и наилучшему состоянию неспособно положить конец.

(21) Мне возразят: «Мы знаем холодное и горячее, но между ними есть еще теплое; так же один блажен, другой несчастен, третий – ни блажен, ни несчастен». – Я хочу разбить это выдвинутое против нас сравнение. Если я добавлю к теплому больше холодного, оно станет холодным, если больше горячего, оно станет в конце концов горячим. А если тому, кто ни блажен, ни несчастен, я добавлю несчастий, он, по-вашему, не станет несчастным; значит, ваше сравненье не похоже. (22) И потом: вот тебе человек ни блаженный, ни несчастный; я добавлю к его бедам слепоту, – он не станет несчастным, добавлю изнуренье, – он не станет несчастным, добавлю постоянные тяжкие боли, – он не станет несчастным. Чью жизнь столько бед не сделают несчастной, у того они и блаженной жизни не отнимут. (23) Кто подался, как ему остановиться? А если что не дает ему скатиться донизу, оно же удержит его и на вершине. – «Неужели невозможно уничтожить блаженство в жизни?» – Его даже и убавить нельзя! Потому-то одной добродетели и довольно для блаженной жизни. – (24) «Что же, стало быть, тот мудрец, кто дольше жил, кого не отвлекала никакая боль, не блаженнее того, кто всегда боролся со злою судьбой?» – Ответь мне: разве он лучше и честнее? А если нет, так он и не блаженнее. Чтобы жить блаженнее, нужно жить правильнее; кто не может жить правильнее, тот и блаженнее не будет. Добродетель не знает прироста, – значит, не знает его и блаженная жизнь, чей источник – добродетель. – Сама добродетель – столь великое благо, что и не замечает привходящих мелочей, таких, как краткость века, горе, всяческие телесные страдания. Ибо и наслажденье недостойно того, чтоб она на него оглядывалась. (25) Что главное в добродетели? – Будущее ей не нужно, дней она не считает: в самый ничтожный срок она вкусит вечные блага.

Это все кажется нам невероятным, превосходящим человеческую природу затем, что мы мерим ее величие собственной немощью и прилагаем имя добродетели к собственным порокам. Но разве не столь же невероятными кажутся слова, которые некто мог сказать среди жесточайших мучений: «Какое блаженство!» – А ведь этот голос донесся из самой мастерской наслажденья! «Это мой последний и самый блаженный день!» – так сказал Эпикур[3], измученный и задержкой мочи, и болью незаживающих язв на животе. (26) Так невероятна ли такая вещь для почитателей добродетели, если ее можно найти и у подданных наслаждения? Они, выродившиеся, низкие духом, утверждают, будто среди тягчайших страданий, тягчайших бедствий мудрец будет ни несчастен, ни блажен. Но это невероятнее невероятного! Я не вижу, почему бы добродетели, сброшенной с ее высоты, не скатиться до самого низа! Она либо должна давать блаженство, либо, если ее от этого отрешили, ей не помешать нам стать несчастными. Покуда она на ногах, ее не прогнать: ей подобает только полное пораженье – или полная победа.

– (27) Говорят и так: «Только бессмертным богам досталась на долю и добродетель, и блаженная жизнь, – а нам лишь некое подобье и тень божеских благ, к которым мы приближаемся, чтобы никогда их не достигнуть». Но ведь разум у людей и богов один: в них он совершенен, в нас поддается совершенствованию. (28) А доводят нас до безнадежности наши пороки. Вторым после мудреца стоит тот, в ком еще мало стойкости, чтобы всегда блюсти наилучшее, чье суждение еще нетвердо и колеблется. Ему хочется иметь острый слух и зрение, крепкое здоровье, тело, не отталкивающее на вид и всегда сохраняющее крепость, и срок жизни подольше; (29) так неужели он на всем его протяжении не сделает ничего такого, в чем придется каяться? В человеке несовершенном пребывает некая сила зла; душа у него подвижна, сохранившееся в ней зло

гонит ее, и, гонимая, она отдаляется от блага[4]. Пока он еще не стал человеком добра, – но становится им. А кто еще добра не достиг, тот плох. Только

Тот, в чьем теле живут и отвага, и добродетель,[5]

равен богам; к ним он стремится, помня о своем происхожденье. (30) Ни для кого не зазорны старанья подняться туда, откуда спустился. Какие у тебя причины не верить в божественность того, кто сам есть частица бога? Все окружающее нас едино, оно и есть бог, мы же – и его соучастники, и члены его тела. Наша душа способна вместить его и вознестись к нему, если ее не пригнетают пороки. Как положение нашего тела – прямое и устремленное к небу, так и душа наша, которой можно подняться, насколько она хочет, с тем и создана природой, чтобы желать равного с богами и так не оставлять праздными своих сил и самой развертываться во всю ширь. Не чужою дорогой карабкается она ввысь; трудно было бы идти к небу, – а она возвращается. (31) Встав на этот путь, она шествует смело, презревши все, не оглядываясь на деньги: золото и серебро для нее достойны того мрака, в котором лежали, она ценит их не по блеску, бьющему в глаза невеждам, но по прежней грязи, из которой выкопала их наша алчность. Она, повторяю, знает, что богатства не там, где их копят, – наполнять надо душу, а не мошну. (32) Пусть она будет хозяйкой всех вещей, пусть вступает во владение всей природой, чтобы ограничить свои владения пределами востока и запада, чтобы обладать всем по обычаю богов и с высоты своего изобилия презирать богачей, не столько радующихся своим сокровищам, сколько удрученных чужими. (33) Поднявшись на такую высоту, душа и о плоти заботится, как о неизбежном грузе, но не любит ее и не подчиняется тому, над чем поставлена. Не бывает свободным раб своей плоти. Ведь, не говоря о других хозяевах, которых не миновать, если слишком о ней заботиться, собственная ее власть и своенравна, и прихотлива. (34) Из своей плоти душа либо выходит спокойно, либо отважно спешит прочь и не спрашивает, что случится потом с останками. Как мы пренебрегаем остриженными волосами и бородой, так и божественная душа, собираясь покинуть человека, не заботится, куда перенесено будет ее прежнее вместилище; спалит ли его огонь, покроет ли земля, растерзают ли звери, – все это. на ее взгляд, имеет к ней так же мало касательства, как послед – к новорожденному. Что переставшему существовать до того, растащат ли птицы его тело, или оно будет сожрано, отданное морским собакам в добычу? [11]

(35) Но и пребывая среди людей, мудрый не страшится посмертных угроз от тех. кому мало, чтобы люди их боялись вплоть до своей смерти. «Нет, говорит он, – мне не страшны крючья, не страшно гнусное для тех, кто увидит, растерзание брошенного на поругание тела. Я никого не прошу отдать мне последний долг, никому не поручаю моих останков; природа сама заботится, чтобы никто не лишился погребенья. Время схоронит тех. кого жестокость вышвырнула в поле». Превосходно говорит Меценат:

Что мне гробница моя? Похоронит останки природа!

Можно подумать, будто это сказано человеком, высоко подпоясанным! От природы он был велик и мужествен духом, да только распустился от постоянных удач 7. Будь здоров

Письмо XCIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) В том письме, где ты сетовал по поводу смерти философа Метронакта, словно он и мог, и должен был бы пожить дольше, я не обнаружил обычной твоей справедливости, которая всегда при тебе, кем бы ты ни стал и чем бы ни занимался, и которой тебе недостает только в одном – в том же, в чем и всем. Я встречал многих, кто был справедлив к людям, и ни одного, кто был бы справедлив к богам. Мы каждый день ругаем рок: почему того-то он унес посредине пути? почему не унесет такого-то,. а продлевает его старость, тягостную и для него, и для других? (2) Молю» тебя, рассуди по справедливости: ты ли должен подчиняться природе, или природа тебе?

Какая разница, скоро или нескоро уйдешь ты оттуда,. откуда все равно придется уйти? Заботиться нужно не о том, чтобы жить долго, а о том, чтобы прожить довольно. Будешь ли ты жить долго, зависит от рока, будешь ли вдосталь, – от твоей души. Полная жизнь всегда долгая, а полна она, если душа сама для себя становится благом и сама получает власть над собою. (3) Много ли радости прожить восемьдесят лет в праздности? Такой человек и не жил, а замешкался среди, живых, и не поздно умер, а долго умирал. Прожил восемьдесят лет! Но дело-то в том, с какого дня его считать мертвым. (4) А этот погиб во цвете лет! – Однако выполнил обязанности доброго гражданина, доброго друга, доброго сына и нигде ничего не упустил. Пусть век его неполон, зато жизнь полна. Прожил восемьдесят лет! Нет, восемьдесят лет просуществовал, – если только не говорить «прожил» в том же смысле, как говорят «дерево живет».

Молю тебя, мой Луцилий, постарайся, чтобы жизнь наша, подобно» драгоценностям, брала не величиной, а весом. Будем мерить ее делами, а не сроком. Хочешь знать, в чем разница между мужем бодрым, презирающим фортуну, выполнившим все, что положено на службе у жизни,, поднявшимся до высшего ее блага, и тем, у кого за плечами долгие годы? Один пребывает и после смерти, другой погиб, не успев умереть. (5) Так будем славить и причислять к счастливцам того, кто и отпущенной ему малости нашел хорошее применение. Он увидел истинный свет, не был одним из многих, он жил, а не прозябал. Иногда небо над ним было ясно, иногда, как бывает, сиянье могучего светила мерцало ему сквозь облака. Зачем спрашивать, долго ли он прожил? Он жил! Он пришел и к потомкам, оставив по себе память.

(6) Я не откажусь, конечно, если мой срок продлится на много лет, но если он будет урезан, не стану говорить, будто мне чего-то не хватило-для блаженной жизни. Я ведь не привязался мыслями к тому дню, который сулит мне последним жадная надежда: на всякий день я смотрю как на последний. Зачем ты спрашиваешь меня, когда я родился? Могу ли числиться среди еще не старых? Свое я получил. (7) Человек может быть. совершеннным и при тщедушном теле – так и жизнь может быть совершенной и при меньшем сроке. Возраст принадлежит к числу вещей внешних. Как долго я проживу, зависит не от меня, как долго пробуду – от меня [1]. Требуй от меня, чтобы я не провел мой бесславный век, как в потемках, чтобы я жил, а не тащился мимо жизни.

(8) Ты спросишь меня, каков самый долгий срок жизни? Жить, пока не достигнешь мудрости, – не самой дальней, но самой великой цели. Тут уж можешь смело хвалиться и благодарить богов и, пребывая среди них, ставить в заслугу себе и природе то, что ты был. И недаром: ведь ты вернул ей жизнь лучшей, нежели получил. Ты успел показать на примере, что такое муж добра, каков он и как велик; а если тебе прибавят времени, то и оно не будет отличаться от прожитого.

(9) И все же – до каких пор нам жить? Мы насладились знанием всего и вся. Мы знаем, от какого начала поднимается природа, как она устраивает вселенную, как все по тем же кругам возвращает год, как замыкает все, что было прежде, и сама себе становится пределом. Мы знаем, что звезды движутся своею силой, что только земля стоит на месте, а остальное несется с безостановочной скоростью. Мы знаем, как луна проходит мимо солнца, почему более медленное светило оставляет позади более быстрое, как получает от него свет и как теряет. Мы знаем, по какой причине наступает ночь и возвращается день. Вот и надо отправиться туда, чтобы все увидеть вблизи.

(10) Мудрец говорит: «Я смело ухожу туда не в надежде на то, что мне открыт, по моему разумению, путь к моим богам. Я заслужил быть принятым в их число и уже был среди них: я послал к ним мою душу, а они мне ниспослали свою. Но допустим, что я исчезаю совершенно, что от человека ничего не остается; мое мужество не меньше, даже если я ухожу в никуда».

– (11) «Он прожил меньше лет, чем мог бы!» – Есть книги, где мало стихов, но и достойные хвалы, и полезные. А вот «Летописи» Танудня – ты ведь знаешь, как они объемисты и как их называют[2]. Жизнь некоторых потому и долга, что похожа на «Летописи» Танузия. (12) Потвоему, счастливее тот, кого убивают в день игр на закате, а не в полдень? Или, ты думаешь, кто-нибудь так по-глупому жаден к жизни, что предпочтет быть зарезанным в раздевалке, а не на арене? Не с таким уж большим разрывом обгоняем мы друг друга; смерть никого не минует, убийца спешит вслед за убитым. То, о чем ты так хлопочешь, ничтожно. Разве в том дело, долго

ли ты будешь избегать неизбежного? Будь здоров.

Письмо XCIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Некоторые принимают только ту часть философии, что дает особые наставления человеку в каждой роли и, не стремясь придать стройность всему в его жизни, советует мужу, как вести себя с женою, отцу – как воспитывать детей, хозяину – как управлять рабами; прочие же части философии они отставляют как витающие за пределами нашей пользы, – как будто можно дать совет касательно части, не постигнув прежде всей жизни в целом. (2) А вот Аристон Стоик, наоборот, считает эту часть легковесной, не проникающей глубоко в сердце. Ей, со всеми ее наставлениями[1], помогают, по его словам, в наибольшей мере основоположенья «философии и определение высшего блага: ибо кто хорошо его понял и усвоил, тот сам себя наставит, как надобно поступать в каждом деле. (3) Как овладевающий искусством бросать копье старается попасть в намеченное место и приучает руку направлять оружье, а потом, приобретя благодаря упражненью и навыку эту способность, пользуется ею, как захочет (ведь он научился поражать не тот или этот предмет, а любой, какой пожелает), – так снаряженный на все случаи жизни не нуждается в напоминаньях по каждому из них; он ведь постиг все: не как нужно жить с сыном или с женой, а как нужно жить правильно, сюда же входит и то, как нужно жить с женою и детьми. (4) Клеанф считает и эту часть полезной, однако бессильной, если она не проистекает из философии в целом, не знает ее основоположений и правил.

Значит, тут различаются два вопроса: полезен ли этот раздел или бесполезен и может ли он сам по себе создать человека добра, иначе говоря, этот ли раздел лишний, или он делает лишними все остальные разделы. (5) Кто хочет представить его лишним, говорит так: «Если какая-нибудь преграда перед глазами мешает видеть, надо ее убрать, а покуда она застит зрение, даром будет стараться поучающий: «Ходи так, протяни руку сюда». Так же точно, если что-нибудь ослепляет душу и препятствует разглядеть порядок наших обязанностей, пустое дело поучать: «Так-то живи с отцом, так-то – с женою». Поучения бесполезны, пока ум помрачен заблуждениями; а рассеется их мрак, – станет видно, чего требует каждая обязанность. Не то ты будешь учить его, как нужно поступать здоровому, но здоровым не сделаешь. (6) Ты показываешь бедняку, как нужно вести себя, когда есть богатство; но разве такое может быть, покуда бедность при нем? Ты объясняешь голодающему, что бы он делал, насытившись; а ты лучше утоли голод, засевший у него в утробе. И то же самое я говорю тебе обо всех пороках: их надо устранить, а не поучать тому, что при них невозможно. Если ты не изгонишь ложные мнения, которыми мы страдаем, ни скупой не станет слушать о том, как должно пользоваться деньгами, ни трусливый – о том, как презирать опасность. (7) Добейся, чтобы он знал, что деньги – не благ» и не зло, покажи ему, как несчастны богачи. Добейся, чтобы он знал. что всеобщие пугала, в том числе и боль и смерть, не так страшны, как толкует всюду молва. Хотя смерть непреложный закон, есть и тут великое утешение: ни к кому она не приходит дважды; а против боли лучшим лекарством будет упорство духа, который все может облегчить себе стойкостью и терпением. Боль по природе хороша и тем, что длительная не может быть сильной, а сильная – длительной. Нужно мужественно встречать все, что приказывает нам мировая неизбежность». (8) Когда, внушив ему эти основоположенья, ты научишь его видеть свой удел в мире, когда он узнает, что блаженна жизнь, ищущая не наслаждений, а согласия с природой[2], когда полюбит добродетель как единственное человеческое благо и как единственного зла станет бежать позора, а все прочее: богатство, почести, крепкое здоровье, власть – признает безразличным, не причисляемым ни к благу, ни ко злу, – тогда ему незачем будет напоминать все по отдельности и твердить: «Ходи так, обедай этак! Это пристало муж чине, это – женщине, это – женатому, это холостому». (9) Кто усердно напоминает, тот обычно сам на это не способен. Так наставляет дядька – мальчика, бабушка – внучку; так сердитый учитель рассуждает о том, что сердиться нельзя. Войди в школу, где учат грамоте, и ты убедишься: о чем так надменно вещают философы, все есть в детских прописях.

http://library.ziyonet.uz/

(10) Далее, должен ли ты давать советы о вещах явных или сомнительных? Где все ясно, вразумленья не нужны; дающему советы о вещах сомнительных не верят – значит, все наставленья излишни. Об этом запомни вот что. Если ты вразумляешь в случае темном и неясном, нужно помочь себе доказательствами; а станешь доказывать, – взятые для доказательства примеры будут сильнее вразумлений, так что хватит их одних. (11) «Так относись к другу, так – к согражданину, так – к союзнику». – «Почему?» «Потому что это справедливо». – Но все это внушит мне тот раздел, где говорится о справедливом. Здесь я найду и то, что к справедливости нужно стремиться ради нее самой, и то, что к ней не принуждает никакой страх, не приманивает никакая награда, и то, что любящий в этой добродетели что-нибудь, кроме нее самой, не бывает справедливым. Когда я проникнусь такими убежденьями, зачем мне нужны будут наставленья всех желающих учить ученого? Для знающего наставленья излишни, для незнающего их недостаточно. Ведь он должен слышать не только, как его наставляют, но и почему. (12) Кому, повторяю, нужны наставленья: обладающему или не обладающему истинными мненьями о благе и зле? У кого их нет, тому ты ничуть не поможешь: его уши заткнула молва, противоречащая твоим вразумленьям; а кто верно судит о том, к чему должно стремиться и чего избегать, знает и без твоих слов, что ему делать. Значит, всю эту часть философии можно отбросить.

(13) Есть две причины наших преступлений: или в душе живет злонравие, укрепляемое превратными мнениями, или, даже если ложные понятия ею не овладели, она склонна к ним и легко развращается, прельщаемая какой-нибудь неподобающей видимостью. Значит, мы должны либо излечить больной дух, избавив его от пороков, либо еще свободный от них, но тянущийся ко злу, захватить заранее. И то, и другое делают основоположенья философии – и, стало быть, другой род наставлений ничего не дает. (14) И потом, если наставлять каждого в отдельности, дело это окажется неохватным. Ведь ростовщику нужны одни наставленья, земледельцу – другие, купцу третьи, ищущему дружбы царей – четвертые; любящему свою ровню потребны не те, что любящему стоящих ниже. (15) В браке придется поучать, как обращаться мужу с женой, которую он взял девушкой, и как с женой, которая до женитьбы знала мужчин; как жить с богатой и как – с бесприданницей. А разве не будет, по-твоему, никакой разницы между плодовитой и бесплодной, между пожилой и молоденькой, между матерью и мачехой? Нельзя охватить все разряды, а каждый из них требует своего. Между тем законы философии кратки, но связывают все. (16) Прибавь к этому, что наставленья мудрости должны быть определенными и твердыми; то, чего нельзя определить, лежит вне мудрости, которая знает границы вещей. Значит, эта наставительная часть философии должна быть отброшена: ведь она то, что обещает немногим, не может дать всем, а мудрость охватывает всех. (17) Нет разницы между безумием всеобщим и тем, которое поручают лечить врачам, кроме одной: тут страдают недугом, а там – ложными мнениями. Тут причина неистовства – в состоянии здоровья; там само оно есть нездоровье души. Кто начнет наставлять безумца, как он должен говорить, как ходить, как вести себя на людях и как – дома, тот будет безумнее вразумляемого: значит, надо лечить черножелчие, устранять саму причину безумия. То же следует делать, и когда безумна душа: нужно изгнать безумье, а не то все вразумляющие речи пропадут даром.

(18) Вот что говорит Аристон. Ответим ему на всё по отдельности. Во-первых, возразим на его слова о том, что преграду, мешающую глазу видеть, надо убрать. Согласен, тут нужны не советы, как смотреть, а лекарство, которое прочистило бы зрение и согнало с глаза вредную помеху. Но мы видим благодаря природе, и убравший преграду вернул бы ей исконную способность. А чего требует от нас каждая обязанность, тому природа не учит. (19) Потом тот, у кого вылечили бельмо, не может сразу же, как прозреет, возвращать зрение другим; а кого избавили от злонравья, тот и других избавляет. Нет нужды ни в ободрении, ни в советах, чтобы глаз понял свойства красок; без всякого вразумления любой отличит черное от белого. А вот душа нуждается во многих поученьях, чтобы увидеть, как следует поступать в жизни. Даже больных глазами врач не только лечит, но и вразумляет. (20) «Нельзя, – говорит он, – подставлять ослабевшее зрение вредному свету: от тьмы переходи сперва к сумеркам, потом отважься на большее и постепенно приучись терпеть ясный свет; нельзя заниматься после еды; нельзя насиловать воспаленные и вспухшие глаза; надо избегать сильного и холодного ветра в лицо». И прочие советы в таком роде врачеванье присоединяет к лекарствам, помогая ими не меньше, чем снадобьями.

– (21) «Заблуждение – причина всех грехов; а от него наставленья нас не избавят, не вытеснят ложных мнений о благе и зле». – Не спорю, сами по себе наставления слишком слабы, чтобы опровергнуть в душе превратные убежденья; но разве они поэтому не могут быть полезны в сочетании с другим? Во-первых, они освежают память; во-вторых, то, что в общем и целом видится неясно, по частям можно рассмотреть тщательнее. Ведь так ты можешь назвать лишними и утешения и ободренья; но они лишними не бывают, а значит, и вразумленья тоже.

– (22) «Глупо, – говорит он, – поучать больного тому, что он должен был бы делать здоровым. – Нужно вернуть ему здоровье, а иначе все наставленья бесполезны». – Но разве нет у больных и у здоровых общего, о чем им надо напоминать? Например, чтобы они не были жадны в еде, чтобы избегали усталости? Значит, есть общие наставленья и для бедного и для богатого. – (23) «Вылечи алчность, и тебе не в чем будет вразумлять ни бедняка, ни богача, если успокоится их жажда наживы». – Но разве одно и то же – не быть жадным до денег и уметь пользоваться деньгами? Алчные не знают в них меры, а пользоваться ими не умеют не одни алчные. – «Уничтожь заблуждения – ив наставленьях не будет надобности». – Неверно! Представь себе, что алчность утихла, представь, что жажда роскоши крепко связана, дерзость обуздана, леность пришпорена; но даже избавившись от пороков, мы должны будем учиться, что и как нам делать. – (24) «Вразумления бессильны против тяжких пороков». – Но и врачеванье не побеждает неисцелимых болезней; однако к нему прибегают ради излеченья одних или облегченья других недугов. Даже сила всей философии – если она соберет для этого все свои силы – не искоренит отвердевшей застарелой язвы в душе; но если она лечит не все, это не значит, будто она ничего не лечит. – (25) «Много ли пользы указывать на очевидное?» – И даже очень! Порой мы и знаем, да не замечаем. Напоминанье не учит, а направляет и будит наше вниманье, поддерживает память, не дает упустить из виду. Мы проходим мимо многого, что лежит перед глазами; напомнить – это вроде как ободрить. Часто душа не хочет видеть и очевидного; значит, нужно внушить ей знание самых известных вещей. Тут к месту повторить изреченье Кальва[3] в речи против Ватиния: «Вы знаете, что подкуп был, и все знают, что вы это знаете». (26) Ты знаешь, что дружбу нужно чтить свято, но не делаешь этого. Знаешь, что бесчестно требовать от жены целомудрия, а самому совращать чужих жен, знаешь, что ни ей нельзя иметь дело с любовником, ни тебе – с наложницей, – а сам не поступаешь так. Поэтому нужно порой привести тебя в память: таким вещам следует не лежать в запасе, а быть под рукой. Что полезно для нас, нужно часто встряхивать, часто взбалтывать, ибо оно должно быть не только известно нам, но и всегда наготове. К тому же так и очевидное становится обычно еще очевиднее.

– (27) «Если то, чему ты поучаешь, сомнительно, надобны вдобавок доказательства, – и выходит, что полезны они, а не поученья». – А что если и без всяких доказательств поможет сила влияния самого вразумляющего? так же, как ответы правоведов действительны, даже если не приведено основание? И потом то, чему поучают, весомо и само по себе, особенно если оно вплетено в стихи или в свободной речи сжато в изреченье. Возьми хоть Катоновы слова: «Покупай не то, что нужно, а что-необходимо. А чего не нужно, за то и асе отдать дорого» [4]. А каковы изречения, или высказанные оракулом или подобные им: «Береги время! Познай себя!» (28) И разве ты будешь требовать обоснований, услышав от кого-нибудь такие стихи?

Забвение – лекарство от любых обид,
Храбрым фортуна помощница.
Ленивый сам себе помеха.[5]

Таким словам не нужны заступники: они задевают чувства и приносят пользу силою самой природы. (29) В душе заключены семена всех благородных дел, и вразумленья пробуждают их, – так искра, если помочь ей легким дуновеньем, выпускает на волю свой огонь. Добродетель выпрям ляется от малейшего прикосновения и толчка. Кроме того, в душе есть нечто слишком глубоко запрятанное; оно-то и освобождается, будучи произнесенным. Есть и лежащее разрозненно, чего неопытный ум не может собрать воедино. Значит, все это должно быть сведено и связано, чтобы стать сильнее и поднять душу выше. (30) А иначе, если наставленья ничего не дают, надо упразднить всякое образование и довольствоваться одною природой. Кто так говорит, тот не ви-

дит, что один человек по природе подвижен и остер умом, другой медлителен и туп и, во всяком случае, один умнее другого. Сила природного ума растет, питается наставленьями, к врожденным убежденьям он присоединяет новые и исправляет превратные.

– (31) «Если кому неизвестны правильные основоположенья, в чем вразумления помогут ему, опутанному пороками?» Понятно, освободиться от них! Ведь врожденные задатки в нем не угасли, а только затемнены и задавлены, они и так пытаются прорваться ввысь, одолев все злое, а обретя защиту и помощь в наставлениях, и совсем укрепятся, – если только они не отравлены и не убиты долгою заразой, потому что тогда обучение философии их не восстановит, каким бы ни было оно усиленным. В чем разница между основоположениями философии и наставлениями? Только в том, что первые это общие наставления, а вторые – на случай. Учат и те, и другие, но одни – в целом, другие – по частям. – (32) «Если кто усвоил правильные и честные основоположения, того излишне вразумлять». – Ничуть не бывало! Пусть он обучен тому, что надлежит делать, но не всегда ясно видит это. Ведь не только страсти мешают нам поступать благородно, но и неумение найти то, что требуется в том или другом деле. Иногда строй нашей души хорош, но она ленива и неопытна в отыскании путей к выполнению долга, а их-то и указывают наставленья. – (33) «Избавь его от ложных мнений о благе и зле, замени их истинными – и вразумленьям нечего будет делать». – Без сомненья, душа обретает таким образом правильный строй, – но не только таким. Хотя из многих доводов и сделан вывод, что есть благо и что – зло, но и наставленьям кое-что остается на долю: ведь и разумность, и справедливость состоят в исполнении обязанностей, а в чем наши обязанности, растолковывают наставленья. (34) И еще правильное сужденье о добре и зле подтверждается исполненьем обязанностей, к которому нас приводят наставления. И основоположения, и наставленья друг с другом согласны: и первые не могут быть впереди без того, чтобы за ними не следовали вторые, и вторые идут за ними в свой черед, показывая, что первые – впереди.

– (33) «Наставлений бессчетное множество». – Неверно! Тех, что относятся к вещам самым важным и необходимым, – не бессчетное множество. И не так уж различаются они в зависимости от места, времени и лица. Да и тут можно дать общие наставления. – (36) «Нельзя вылечить наставлениями безумье; значит, и злонравие тоже». – И это не так. Избавив от безумия, ты возвращаешь здоровье; а за изгнанием ложных мнений не сразу приходит уменье видеть, что следует делать, а если и приходит, то вразумленье укрепляет правильность суждений о благе и зле. Неправда и то, что наставленья для безумцев бесполезны: пусть одни они не исцеляют, но помогают лечению, а предупрежденье и порицанье держит безумных в узде. Я говорю о тех, у кого разум поврежден, а не отнят.

– (37) «И законы не могут добиться, чтобы мы поступали, как должно, а что такое законы, как не наставленья вперемежку с угрозами?» – Прежде всего, они потому и не убеждают, что грозят, наставленья же не заставляют, а уговаривают. Потом законы страхом удерживают от злодейства, наставленья поощряют к выполнению обязанностей. Прибавь к этому, что и законы полезны для добрых нравов, по крайней мере если они не только повелевают, но и учат. (38) Тут я не согласен с Посидонием, который говорит: «Мне не нравится, что к Платоновым законам приложены их основания: ведь закон должен быть краток, чтобы невеждам легче было его усвоить. Он как божественный голос свыше, приказывает, а не обсуждает. По-моему, нет ничего холоднее и нелепее, чем закон со вступлением. Вразумляй меня, говори, что я должен делать! Я не учусь, а подчиняюсь». – Законы поистине полезны: ведь мы видим, что в государствах с дурными законами и нравы дурные. – «Но полезны-то они не для всех». – (39) И философия так же, однако от этого она не становится бесполезной и бессильной образовать наши души; а что такое философия, как не закон жизни? Но допустим, что законы бесполезны; из этого не следует, что бесполезны и увещанья. Либо тогда уж признай, что утешать, разубеждать, ободрять, порицать, хвалить также бесполезно. Ведь эти речи – разного рода вразумления, благодаря им достигаем мы совершенного состояния души. (40) Ничто так не облагораживает душу, ничто так не возвращает на прямой путь колеблющихся и склонных к порочности, как общенье с людьми добра. Часто видеть их, часто слышать – все это постепенно проникает в сердце и обретает силу наставления. Право, даже встретить мудреца полезно: есть в великом человеке нечто такое, что и без слов действует благотворно. (41) Я затрудняюсь сказать тебе, откуда это действие, но пони-

маю, что оно есть. Как говорит Федон[6], «укус мелких тварей нечувствителен, до того тонка и обманчива их вредящая сила; место укуса вспухает, но и в опухоли не видно ранки. То же самое – и общение с людьми мудрыми: ты и не заметишь, как и когда оно принесло тебе пользу, но пользу от него заметишь». – (42) Ты спросишь, к чему это все. – Добрые наставления, как и добрые примеры, если они всегда с тобой, принесут пользу. Пифагор говорит, что иной становится душа у входящих во храм, созерцающих вблизи изваянья богов, ожидающих голоса некого оракула.

(43) Кто станет отрицать, что некоторые наставления поражают даже самых неискушенных? Например, эти изреченья, такие короткие, но такие весомые:

> Ничего сверх меры! Для тех, кто жаден, всякая корысть мала.
> Что ты другим, того же от других ты жди.[7]

Слыша это, мы чувствуем некий удар, и нельзя уже ни сомневаться, ни спрашивать «почему?». Вот до чего захватывает, даже и без всякого обоснованья, истина. (44) Если благоговение смиряет души и обуздывает пороки, то почему же неспособно на это поучение? Если порицание может устыдить, почему и поучение, даже прибегая к одним лишь наставленьям, не в силах добиться того же? Конечно, действует больше и проникает глубже такое поученье, которое подкрепляет наставления разумными доводами, прибавляет, почему надо сделать то или это и какая награда ждет сделавшего и послушного наставнику. Если есть польза от приказов, то и от вразумлений тоже; но от приказов польза есть, – а значит, есть она и от поучений. (45) Добродетель разделяется на две части: на созерцание истины и поступки. Созерцать учит образованье, действовать – поучение. Правильные поступки и упражняют, и обнаруживают добродетель; если убеждающий поступить так полезен тебе, то полезен будет и поучающий тебя. Итак, если правильно поступать необходимо для добродетели, а как поступать правильно, указывает поучение, стало быть, и оно необходимо. (46) Две вещи больше всего укрепляют дух: вера в истину и вера в себя. И то. и другое дается поучением, потому что ему верят, и, поверив, чувствуют в душе великое вдохновение и веру в себя; значит, вразумление вовсе не излишне. Марк Агриппа8 из всех, получивших от гражданской войны славу и могущество, один был удачлив не в ущерб народу, и он говорил, что многим обязан такому изречению: «Согласием поднимается и малое государство, раздором рушится и самое великое»[9]. Благодаря этим словам, он стал, как сам говорит, и добрым братом, и другом. (47) Если такие изреченья, глубоко воспринятые в душу, образовывают ее, то неужели неспособна на это та часть философии, которая слагается из таких изречений? Добродетель дается отчасти обучением, отчасти упражнением, – ибо нужно и учиться, и закреплять выученное делом. А если это так, полезны не только постановления мудрости, но и наставленья: они словно указом сдерживают и обуздывают страсти.

– (48) «Философия двояка: это и знания, и душевные свойства. Кто приобрел знания и понял, что следует делать и чего избегать, тот еще не мудрец, если его душа не преобразилась в соответствии с выученным. А третья часть философии – наставленья – исходит из первых двух: из основоположений и свойств души; и коль скоро их обеих довольно для совершенной добродетели, третья оказывается излишней». – (49) Но так и утешение окажется излишним, потому что и оно исходит из тех же частей, и поощрение, и убеждение, и само доказательство, потому что источник всех их свойства души сильной и сохраняющей свой строй. Пусть они и берут начало от наилучших свойств души, но эти наилучшие свойства и создают их, и создаются ими. (50) И потом все, что ты говоришь, относится только к мужу совершенному, поднявшемуся на вершины человеческого счастья. А к ним приходят медленно; между тем и всякому, не достигшему совершенства, но стремящемуся к нему, нужно показать, какую дорогу избрать в своих поступках. Мудрость, быть может, выберет ее и без вразумления, – она ведь привела уже душу к тому, что та иначе как верным путем не двинется. А кому послабее нужен кто-нибудь идущий впереди: «Этого избегай, делай так». (51) Кроме того, нельзя ждать, покуда такой человек сам узнает, что лучше всего делать, тем временем он будет блуждать, и заблужденья не допустят его прийти к тому, чтобы ни в ком не нуждаться. Значит, его нужно направлять, пока он не сможет направлять себя сам. Мальчиков учат по прописям: охватив детские пальцы, чужая рука водит ими по

изображению букв, потом детям велят подражать образцам, улучшая по ним почерк; так и наша душа получает пользу, обучаясь по прописям.

(52) Вот чем доказывается, что вся эта часть философии вовсе не лишняя. Дальше спрашивается, довольно ли ее одной, чтобы создать мудреца. Этому вопросу мы посвятим особый день; а пока и без всяких доказательств разве не ясно, что нам нужен некий помощник, чьи наставления противоборствовали бы наставленьям толпы? (53) Ни один голос не доносится до нашего слуха безнаказанно: нам вредят, желая нам блага, вредят, проклиная, – потому что и проклятья сеют в нас ложные страхи, и добрые пожелания любящих учат дурному. Они отсылают нас к благам далеким, неверным и ускользающим, хотя мы можем добыть счастье и дома. (54) Невозможно, я повторяю, идти правильным путем: в сторону тянут родичи, тянут рабы. Никто не заблуждается про себя, всякий заражает безумием ближних и заражается от них. Каждый в отдельности вмещает все пороки толпы, потому что толпа наделяет ими каждого. Любой, делая другого хуже, становится хуже и сам; обучившись низости, всякий учит ей; а в итоге получается та безмерная гнусность, в которой собрано воедино все худшее, что известно каждому. (55) Пусть же будет при нас некий опекун, который и за ухо дернет, и даст отпор людским толкам, и окриком заглушит похвалы толпы. Ты ошибаешься, полагая, будто наши пороки рождены с нами: они нас настигли, внесены в нас извне. Так пусть частые вразумления оборонят нас от мнений, провозглашаемых вокруг. (56) Природа не навязывает нам ни одного порока, она производит нас на свет незапятнанными и свободными. Ничто разжигающее нашу алчность не поместила она на виду, но бросила нам под ноги и золото, и серебро, давая попирать и топтать все то, из-за чего попирают и топчут нас. Она подняла наше лицо к небу, пожелав, чтобы мы, глядя вверх, видели все, что она создала величавым и дивным: восход и закат, и плавный ход мчащейся вселенной, днем открывающий взору земное, ночью небесное, и движенье светил, медленное, если сравнить его с бегом целого, но быстрое, если вспомнить, какие пространства обегают они с никогда не перемежающейся скоростью, и все прочее, достойное восхищения, что либо появляется в свой черед, либо мелькает, движимое внезапными причинами, как, например, огненные борозды в ночи, и зарницы в разверзающемся без всякого шума и стука небе, и огни в виде столпов, балок и еще многого. (57) Все это она поместила над нами, а вот золото и серебро и железо, никогда не знающее из-за них мира, она скрыла, ибо к нам в руки они попадают на горе. Мы сами извлекаем на свет то, из-за чего будем сражаться, мы сами, раскидав груды земли, вы капываем и причину, и орудие своей гибели; мы вручили нашу пагубу фортуне и не стыдимся ставить выше всего то, что лежало в земле ниже всего. (58) Ты хочешь убедиться, что блеск, ослепивший тебе глаза, обманчив? Пока металлы погружены в грязь и облеплены ею, нет ничего отвратительнее, ничего тусклее! Когда их вытаскивают из тьмы длиннейших копей, покуда они не отделены от родной грязи и не стали тем, что есть, нет ничего безобразнее! Наконец, взгляни на мастеров, чьи руки очищают этот род бесплодной, безобразной земли! Ты увидишь, сколько на них копоти! (59) А ведь душу эти металлы пачкают больше, чем тело! Больше грязи на их владетеле, чем на изготовителе!

Значит, необходимо, чтобы тебя вразумляли, чтобы при тебе был благомыслящий защитник, чтобы среди великого шума и суматохи лживых речей слышался хоть один голос... Какой голос? Да тот, что шепнет тебе на ухо, оглушенное криками честолюбцев, спасительное слово; что скажет: (60) «Нечего завидовать тем, кого толпа зовет великими и счастливыми; незачем из-за плеска рук терять здравый ум и спокойствие духа; незачем тебе гнушаться собственной безмятежностью из-за вон того, шествующего среди фасций в пурпурном одеянье, незачем считать его счастливее себя потому, что перед ним расчищают дорогу, а тебя ликтор прогоняет с пути. Если хочешь власти, и тебе полезной, и никому не тягостной, – изгони пороки! (61) Много найдется таких, что подожгут города, разрушат то, что было неприступным много веков и благополучным много поколений, взгромоздят насыпь вровень с крепостным холмом, возведенные на невиданную высоту стены сокрушат таранами и другими орудиями. Есть много таких, что погонят прочь войска, будут неотступно грозить неприятелю с тыла, дойдут, залитые кровью, до великого моря; но и они, победители, побеждены алчностью. При их приближении никто не в силах сопротивляться, но и они не в силах сопротивляться честолюбию и жестокости; когда казалось, что они гонят врагов, их самих гнали. (62) Несчастного Александра гнала и посылала в

неведомые земли безумная страсть к опустошению. Или, по-твоему, здрав умом тот, кто начал с разгрома Греции, где сам был воспитан? кто отнял у каждого города то, что там было лучшего, заставив Спарту рабствовать, Афины – молчать? кто, не довольствуясь поражением многих государств, либо побежденных, либо купленных Филиппом 10, стал опрокидывать другие в других местах, неся оружье по всему свету? чья жестокость нигде не остановилась, уставши, – наподобие диких зверей, загрызающих больше добычи, чем требует голод? (63) Уже множество царств он слил в одно; уже греки и персы боятся одного и того же; уже носят ярмо племена, свободные даже от власти Дария; а он идет дальше океана, дальше солнца, негодует, что нельзя нести победу по следам Геркулеса и Либера10 еще дальше, он готов творить насилие над самой природой. Он не то что хочет идти, но не может стоять, как брошенные в пропасть тяжести, для которых конец паденья – на дне.

(64) И Гнея Помпея не разум и доблесть убеждали вести войны, междоусобные и внешние, а безумная страсть к ложному величию [12]. Он шел то на серторианские войска в Испании, то против пиратов, чтобы установить мир на морях; (65) но все это были только предлоги продлить свою власть. Что влекло его в Африку, что на север, что против Митридата, что в Армению и во все уголки Азии? Конечно, бесконечная жажда подняться еще выше, – хотя только ему одному его величье казалось малым. Что толкало Цезаря к роковому для него и для республики исходу? Жажда славы и почестей, не знавшая меры страсть возвышаться над всеми. (66) Он не мог потерпеть над собою даже одного, хотя государство терпело над собою двоих. По-твоему, Гай Марий 13, однажды консул (ибо одно консульство он получил, остальные взял силой), когда разбил кимвров и тевтонов, когда гонялся за Югуртой по африканским пустыням, разве шел против опасностей по веленью доблести? Нет, Марий вел войско, а Мария вело честолюбие. (67) Эти люди, никому не дававшие покоя, сами не ведали покоя, будучи подобны смерчам, которые все захватывают своим вращением, но прежде приведены во вращенье сами и потому налетают с такою силой, что сами над собою не властны. Явившись на беду многим, они на себе чувствуют потом ту губительную силу, которой вредят другим. И не думай, будто кто-нибудь стал счастливым через чужое несчастье.

(68) Нужно распустить эту ткань из примеров, окутывающую нам глаза и уши, нужно опорожнить сердце, наполненное пагубными речами. Пусть расчищенное место займет добродетель, – она искоренит все поддельное и прельщающее вопреки истине, она отделит нас от толпы, которой мы слишком уж верим, и вернет нас к правильным сужденьям. В том и состоит мудрость, чтобы обратиться к природе и вернуться туда, откуда изгнало нас всеобщее заблужденье. (69) Большой шаг к исцелению – покинуть подстрекателей безумья, подальше отойти от людей, которые толпятся, заражая друг друга.

Хочешь убедиться, что это правда, – погляди, как по-разному живут напоказ народу или для себя. Само по себе одиночество не есть наставник невинности, и деревня не учит порядочности; но где нет свидетеля и зрителя, там утихают пороки, чья награда – указывающие на тебя пальцы и уставившиеся взгляды. (70) Кто наденет пурпур, если некому его показать? Кто прикажет подавать на золоте, ужиная в одиночку? Кто, лежа один в тени сельского дерева, расставит всю свою роскошную утварь? Никто не прихорашивается напоказ самому себе или немногим и близким людям; нет, все пышное убранство своих пороков разворачивают, смотря по числу глазеющих. (71) Это так: поклонник и сообщник – вот кто подстрекает нас на все наши безумства. Добейся, чтобы мы ничего не выставляли напоказ, – и ты добьешься, чтобы мы перестали желать. Честолюбие и роскошь и безудержность хотят подмостков; ты вылечишь их, если спрячешь».

(72) Потому-то, если мы живем среди городского шума, пусть будет при нас наставник, который, наперекор хвалителям огромных имуществ, хвалит богатого при малом достатке, измеряющего изобилье потребностью. Наперекор превозносящим милость и власть сильных, пусть зовет почет ным досуг, отданный наукам, и душу, от внешних возвратившуюся к своим благам. (73) Пусть покажет, как блаженствующие на взгляд черни дрожат и цепенеют на этой достойной зависти высоте и держатся о себе совсем иного мнения, чем другие. Ведь то, что прочим кажется высотою, для них есть обрыв. Вот у них и спирает дыханье и начинается дрожь, когда они заглянут в бездну собственного величия. Они думают обо всяческих превратностях, делающих вер-

шину столь скользкой, (74) они страшатся желанного прежде, и счастье, через которое они стали в тягость всем, еще тягостнее гнетет их самих. Тогда они хвалят отрадный и независимый досуг, ненавидят блеск, ищут путей бегства от своего величия, покуда оно не рухнуло. Тут-то ты и увидишь философов от страха, и безумную судьбу, дающую здравые советы. Ибо, словно благополучие и благомыслие несовместимы, мы правильно судим в беде, а удача уносит верные сужденья Будь здоров.

Письмо XCV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты требуешь от меня немедленно расквитаться с тобою и написать о том, что я счел нужным отложить и потом растолковать в свой срок: способна ли та часть философии, которую греки называют napaive tixif), а мы – назидательной, одна лишь дать совершенную мудрость. – Я знаю, ты не обидишься, даже если я нарушу обещанье. Но я его исполню в подтвержденье пословицы: «Впредь не проси того, чего получить не хочешь». (2) Ведь мы иногда прямо-таки набиваемся на то, от чего отказались бы, будь оно нам предложено. Легкомыслие ли это или угодничество. наказывать его надо скорым согласием на просьбу. Мы слишком часто хотим показать, будто желаем того, чего не желаем. Некто приносит для публичного чтения длиннейшую «Историю», написанную мелко-мелко и плотно скатанную, и, прочитав большую часть, объявляет: «Если хотите, я остановлюсь». Все кричат: «Читай, читай!» – а сами только того и хотят, чтобы чтец умолк. Мы часто про себя желаем одного, вслух – Другого, и даже богам не говорим правды; но боги либо нас не слушают, либо жалеют. (3) А я отомщу без малейшего милосердия и заставлю тебя читать нескончаемое письмо; и когда ты будешь это делать без всякой охоты, говори: «Я сам накликал беду!» Считай тогда себя одним из тех, кого допекает жена, высватанная с великими хлопотами, кому опостылели богатства, собранные ценой обильного пота, кого до муки тяготят почетные должности, ради которых шли на любые уловки и труды, словом, одним из совиновников собственных бед.

(4) А теперь попробую, пропустив вступление, перейти прямо к делу. Говорят так: «Блаженная жизнь складывается из правильных поступков; к правильным поступкам ведут наставленья; значит, наставлений довольно для блаженной жизни». – Но наставленья ведут к правильным поступкам не всегда, а только когда им послушен ум, иногда же, если душу держат в осаде превратные мнения, наставлять ее бесполезно. (5) Потом некоторые, даже поступая правильно, не знают сами, что правильно поступают. Ведь только образованный, прошедший всю науку с начала и постигший ее суть, может соблюсти все статьи, чтобы знать, что надлежит делать, когда, насколько, как и с кем. Другому, даже при самом упорном желании, невозможно вершить то, что велит честность, от всей души, – он будет оглядываться и колебаться.

– (6) «Если честные поступки проистекают из наставлений, то их с избытком довольно для блаженной жизни; а так как первое верно, верно и второе». – На это мы ответим: к честным поступкам побуждают наставления, но не одни только наставления. – (7) «Если все науки довольствуются наставлениями, то должна довольствоваться ими и философия, потому что и она есть наука о жизни. Кормчим человека делает тот, кто наставляет его: так поворачивай рулевое весло, так опускай паруса, так двигайся с попутным ветром, так сопротивляйся встречному, а так используй боковой, не благоприятный и не враждебный». И любого наставленья укрепляют в его науке; значит и для науки жить они могут сделать то же». – (8) Но все эти науки заботятся лишь о средствах к жизни, а не о жизни в целом. Поэтому многое мешает им и препятствует извне: надежда, желание, страх. А той, что провозгласила себя наукой о жизни, никогда ничто не помешает оказать свое действие: она опрокидывает преграды и влечет за собой препятствия. Хочешь знать, как несхожи между собой эта и все прочие науки? В тех простительней ошибаться намеренно, а не случайно, в этой величайшая вина погрешить по своей воле. (9) Вот что я имею в виду. Грамматик не покраснеет, заведомо употребив неправильное выражение, и покраснеет, употребив его по неведенью. И намного виновнее перед своей наукой врач, если он не понял, что больной отходит, чем если сделал вид, будто не понял. А в науке жизни намеренное прегреше-

ние постыднее.

Прибавь к этому, что во всех науках и искусствах, даже в самых свободных, есть не только наставленья, но и основные правила, – как, например, во врачебном искусстве. Поэтому у Гиппократа – своя школа, у Асклепиада – своя, и своя – у Темисона[1]. (10) И у каждой из умозрительных наук есть свои основы, которые греки называют 86ур.дта, а мы вольны называть «основоположеньями», или «первичными установлениями», или «исходными утверждениями», – их ты найдешь и в геометрии, и в астрономии. Философия же есть наука и умозрительная, и прикладная, она и созерцает, и действует. Ты ошибаешься, полагая, будто она сулит пользу лишь в земных делах; она метит выше! Она говорит: я исследую весь мир и не остаюсь среди смертных, довольствуясь тем, чтобы убеждать вас или разубеждать; меня манит великое, то, что выше вас:

(11) Ибо о сущности высшей небес и богов собираюсь
Я рассуждать для тебя и вещей объясняю начала,
Все из которых творит, умножает, питает природа
И на которые все после гибели вновь разлагает,

как говорит Лукреций[2]. Следовательно, как наука умозрительная, она имеет свои основоположенья. (12) Да что там! Даже того, что следует, не исполнить надлежащим образом, если не усвоено общее правило, как соблюсти в любом деле все статьи наших обязанностей; этого не сделать тому, кто получил наставления на каждый случай, а не общие. Если их дают по частям, они бессильны и, так сказать, не пускают корней. А основоположенья – это то, что укрепляет наш дух, сохраняет наше спокойствие и безмятежность, объемлет всю жизнь и всю природу. Разница между основоположеньями философии и наставлениями та же, что между первоначальными веществами и отдельными предметами: вторые зависят от первых, первые суть причины вторых, да и всего на свете.

– (13) «Древняя мудрость поучает только тому, что надо делать и чего избегать, – а люди тогда были лучше. Когда ученых стало больше, хороших стало меньше, потому что простая и очевидная добродетель превратилась в темную и велеречивую науку, и учат нас рассуждать, а не жить». – (14) Без сомнения, древняя мудрость, особенно при своем рождении, была, как вы говорите, безыскусственна; так и прочие науки, чья тонкость возросла со временем. Но тогда и нужды не было в тщательном лечении. Испорченность еще не выросла настолько и не распространилась так широко; с простыми пороками можно было бороться простыми лекарствами. А теперь нужно строить укрепленья тем заботливей, чем сильнее снаряды, бьющие в нас. (15) Врачеванье сводилось когда-то к знанью немногих трав, которые останавливали кровотеченье, заживляли раны, а потом постепенно оно дошло до нынешнего многообразия. И не удивительно, что у него было меньше дела тогда, когда люди были еще и сильны и крепки телом, а пища легка и не испорчена искусством получать наслаждения. Только потом понадобилась пища, не утоляющая, а разжигающая голод, и придуманы были сотни приправ, распаляющих прожорливость, и то, что было питаньем для проголодавшихся, стало бременем для пятых. (16) От этого и бледность, и дрожь в суставах, где жилы расслаблены вином, и злейшая, чем при голоданье, худоба от поносов; от этого нетвердость ног, всегда заплетающихся, как во хмелю; от этого набухшая влагой кожа по всему телу и живот, растянутый от привычки поглощать больше, чем может вместить; от этого разлитие желчи, вызывающей желтизну бескровного лица, от этого хилость, и внутреннее гниение, и сухие пальцы с окостеневшими суставами, и жилы, либо онемевшие до потери чувствительности, либо трепещущие постоянной дрожью. (17) А что говорить о головокружениях? о мучительной боли в глазах и в ушах? о мурашках, пробегающих по горящему мозгу? о тех частях, через которые мы испражняемся, сплошь изъязвленных изнутри? о бесчисленных видах лихорадок, либо свирепствующих приступами, либо крадущихся тихой сапой, либо грозно нападающих и сотрясающих все члены? (18) К чему упоминать бесчисленное множество других болезней, карающих за страсть к роскоши?

Им были не подвержены те, кто еще не растратил здоровья на удовольствия, кто сам себе был и господином, и слугою. Тело закалялось подлин ным трудом, утомленное или бегом, или охотой, или пахотой. Потом ждала их пища, способная понравиться только проголодавшимся.

Вот и не было надобности в разнообразной врачебной утвари, в таком множестве железок и склянок. Проста была причина – и простым было здоровье; обилие блюд породило обилие болезней. (19) Взгляни, сколько всего намешала жажда роскоши, опустошительница суши и моря, – чтобы все прошло через одну глотку! Такие разные вещи и не могут соединяться воедино и, проглоченные, перевариваются плохо, потому что каждая действует по-своему. Неудивительно, что и болезни, вызываемые несовместимыми кушаньями, изменчивы и разнообразны, и еда, в которой насильно перемешаны противоположные по природе части, извергается наружу. Вот мы и болеем, как живем, – на множество ладов[3]. (20) Величайший врач[4], создатель этой науки, говорил, что у женщин не выпадают волосы и не болят ноги. Но вот они и волосы теряют, и ноги у них больные. Изменилась не природа женщины, а жизнь[5]: уравнявшись с мужчинами распущенностью, они уравнялись с ними и болезнями. (21) Женщины и полунощничают, и пьют столько же, состязаясь с мужчинами в количестве масла[6] и вина, так же изрыгают из утробы проглоченное насильно, вновь измеряют выпитое, все до капли выблевывая, и так же грызут снег, чтобы успокоить разбушевавшийся желудок. И в похоти они не уступают другому полу: рожденные терпеть, они (чтоб их погубили все боги и богини!) придумали такой извращенный род распутства, что сами спят с мужчинами, как мужчины.

Что же удивительного, если величайший врач, лучший знаток природы, попался во лжи, и есть столько плешивых и подагрических женщин? Из-за таких пороков они потеряли преимущества своего пола и, перестав быть женщинами, приговорили себя к мужским болезням.

(22) В старину врачи не умели учащать приемы пищи и поддерживать вином слабеющее сердцебиение, не умели отворять кровь и облегчать затяжную болезнь баней и потением, не умели, связав руки и ноги, скрытую в глубине болезнетворную силу оттягивать к конечностям. Им не было нужды, по малочисленности угроз, выискивать множество средств помощи. (23) А теперь до чего дошла порча здоровья! Это мы платим пеню за переходящую всякую меру и закон страсть к наслаждениям. Сочти поваров – и перестанешь удивляться, что болезней так много. Все науки отступили вспять, и наставники свободных искусств сидят в пустых углах, никем не посещаемые. В школах философов и риторов ни души, зато как многолюдно на кухнях у чревоугодников, сколько молодежи там теснится у печки! (24) Я не говорю о толпах несчастных мальчишек, которых по окончании пира ждут в спальне новые надругательства, не говорю о целом войске юнцов-наложников, разделенном по племенам и мастям, – чтобы все были одинаково гладки, у всех одинаково отрос первый пушок, одинаковы были волосы, – не дай бог, если среди курчавых окажется один с прямыми прядями! Не говорю о толпах пекарей, не говорю о прислужниках, которые по знаку разбегаются за новыми блюдами. Столько людей – и всем дает работу одна утроба! Неужели, по-твоему, грибы, этот вкусный яд, не делают своего дела исподтишка, даже если сразу не вредят? (25) Неужели ты думаешь, будто от этого летнего снега не твердеет печень? Неужели ты считаешь, что податливая мякоть этих устриц, раскормленных в иле, не оставляет в желудке тяжелого осадка? Неужели ты полагаешь, будто союзническая приправа7, эта драгоценная сукровица протухших рыб, -не жжет соленой жижей наших внутренностей? Неужели, по твоему, эти гноящиеся куски, что идут в рот прямо с огня, остывают у нас в утробе без всякого вреда? Какою мерзкой отравой потом рыгается! Как мы сами себе противны, когда дышим винным перегаром! Можно подумать, будто съеденное не переваривается внутри, а гниет! (26) Я вспоминаю, что когда-то много говорили об изысканном блюде, в которое наши лакомки, поспешая к собственной погибели, намешали все, за чем они обычно проводят день: съедобные части венериных и иглистых раковин и устриц были разделены проложенными между ними морскими ежами, сверху лежал слой краснобородок, без чешуи и без костей. (27) Лень уже есть все по отдельности – и вот на стол подают то, что должно получиться в сытом животе. Не хватает только, чтобы все приносилось уже пережеванным! Впрочем, и не хватает самую малость: ведь скорлупа снята, кости вынуты, вместо зубов потрудились повара. – «Лакомиться всем по отдельности стало тяжко – пусть всё стряпают вместе, чтобы вкус был один. Зачем мне протягивать руку за чем-нибудь одним? Пусть подадут все сразу, пусть будет сложено вместе и соединено столько, что хватило бы на украшение многих перемен! (28) Пусть знают те, что утверждают, будто все это нужно мне для похвальбы и ради тщеславия: я не выставляю мои яства напоказ, а даю вам их разгадывать. Что всегда бывает отдельно, то пусть будет вместе под од-

ной подливкой; пусть не отличаются друг от друга устрицы, морские ежи, иглистые раковины, краснобородки, перемешанные и сваренные заодно». – Право, в блевотине пища перемешана не меньше! (29) И насколько сложны эти блюда, настолько же разные, многовидные и непонятные болезни порождаются ими; и врачебное искусство начало вооружаться против них многими способами лечения, многими наблюдениями.

То же самое говорю я и о философии. Когда-то, среди не столь тяжких грешников, излечимых даже легким уходом, она была проще; а против нынешнего разрушения нравов нужно испытать все средства. Пусть бы хоть ими можно было остановить эту заразу! (30) Мы безумствуем не только поодиночке, но и целыми народами. Убийства и отдельных убийц мы обуздали; а что войны, что истребленье целых племен – это прославляемое злодейство? Ни алчность, ни жестокость не знают меры. Убийства, совершаемые в одиночку и исподтишка, не так опасны и чудовищны; но жестокости творятся теперь по постановлению сената и народа, и запрещенное частным лицам приказывается от лица государства. (31) За одно и то же преступление платят головою, если оно совершено тайно, а если в солдатских плащах получают хвалы. Людям, кроткому роду, не стыдно радоваться крови друг друга, вести войны и поручать детям продолжать их, меж тем как среди бессловесных и диких животных царит мир. (32) Против такого могучего и повсеместного безумия философия, которой прибавилось труда, накопила столько же сил, сколько прибыло их у противника. Легко было порицать преданных вину и лакомых до изысканных блюд; немного сил нужно было, чтобы привести на путь воздержности душу, когда она едва с него сошла.

(33) Теперь-то потребны
Сила. и рук быстрота, и наставник надежный – искусство.[8]

Люди повсюду ищут наслаждений, каждый порок бьет через край. Жажда роскоши скатывается к алчности; честность в забвении; что сулит приятную награду, того не стыдятся. Человека – предмет для другого человека священный – убивают ради потехи и забавы; тот, кого преступно было учить получать и наносить раны, выводится на арену голый и безоружный: чтобы развлечь зрителей, с него требуется только умереть.

(34) При такой извращенности нравов нужны средства сильнее обычных, чтобы прогнать застарелые недуги; необходимы основные правила. чтобы искоренить глубоко воспринятые общим убеждением ложные мненья. Вместе с основоположеньями наставления, утешения, ободрения, может статься, и будут достаточно сильны, а сами по себе они не подействуют. (35) Если мы хотим связать людей и вырвать их из плена пороков, пусть научатся различать благо и зло, пусть знают, что всё, кроме добродетели, меняет имя и становится то злом, то благом. Как первые узы военной службы – это благочестье, и любовь к знаменам, и священный запрет бежать от них, а потом уже легко требовать с приведенных к присяге всего остального и давать им любые порученья, – так и в тех, кого ты хочешь повести к блаженной жизни, нужно заложить первые основания, внушив им добродетель. Пусть держатся ее с неким даже суеверием, пусть ее любят, пусть иначе, как с нею, не хотят и жить.

– (36) «Но что же, разве нет честных людей, которые, и не обучаясь тонкостям, ускользнули от пороков и весьма преуспели, слушаясь одних лишь наставлений?» – Согласен, есть, но в них от природы были счастливые задатки, и ум их на лету ловил благотворные советы. Ведь подобно тому как бессмертные боги не учатся добродетели, наделенные всем от рождения, и благость есть часть их природы, так и некоторые люди особого дарования без долгой науки постигают все, что обычно преподается, и впитывают правила честности, едва услышав о них; эти-то умы так восприимчивы к добродетели и щедры на нее. А у других, слабых и тупых или порабощенных дурной привычкой, долго надо счищать ржавчину с души. (37) Впрочем, преподав основоположенья философии, можно и склонных к добру быстрее поднять до вершины, и кому послабее помочь и избавить их от порочных мнений. Как необходимы эти основоположенья, можешь убедиться вот на чем[9]. Есть в нас что-то, делающее нас ленивыми в одном, опрометчиво поспешными в другом. Нельзя ни укротить эту дерзость, ни расшевелить эту косность, не уничтоживши их причин: ложного восхищения и ложного страха. Пока они владеют нами, гово-

ри сколько угодно: «Это ты должен отцу, это – детям, это друзьям, а то – гостям». Кто попытается – того удержит жадность. Пусть человек знает, что нужно сражаться за родину: его отговорит страх; что ради друзей следует трудиться до седьмого пота: ему помешают наслажденья; что худшая обида для жены – любовница: его вынудит поступать наоборот похоть. (38) Стало быть, так же бесполезно давать наставления, не устранив прежде все преграждающее наставленьям путь, как бесполезно класть у кого-нибудь на виду оружье и пододвигать его ближе, не освободив ему рук, чтобы за оружье взяться. Чтобы душа могла пойти навстречу нашим наставленьям, ее следует освободить. (39) Представим себе человека, поступающего как должно; но он не станет так поступать постоянно и непременно, ибо не будет знать, почему так поступает. Что-то получается у него правильно либо случайно, либо по навыку, но в руках у него не будет мерила, которым бы он проверил свои поступки и поверил бы, что они правильны. Кто порядочен случайно, тот не может обещать, что будет всегда таким же.

(40) Далее, благодаря наставленьям ты, быть может, будешь делать то, что следует, – но делать все так, как следует, они тебя не научат, а не научив этому, не приведут и к добродетели. Я согласен, после вразумлений ты сделаешь, что следует, – но этого мало; ведь хвалы заслуживает не сам поступок, но то, как он совершен. (41) Что позорнее роскошного ужина, на который тратится всадническое состояние? [10] Что больше заслуживает цензорской отметки, – особенно когда пир устраивают, как говорят наши кутилы, в честь себя самого и своего гения? Но бывало, что самым скромным людям во столько же сестерциев обходились вступительные пиры[11]. Одно и то же, если делается ради обжорства, – позорно, если ради чести, – не навлекает упрека, ибо это уже не мотовство, а трата, освященная обычаем.

(42) Когда Тиберию цезарю прислали краснобородку невероятных размеров (почему бы мне не сообщить ее вес и не подзадорить наших обжор? – говорят, в ней было около четырех с половиною фунтов), тот приказал отнести ее на мясной рынок и добавил: «Ну, друзья, либо я во всем ошибаюсь, либо эту рыбу купят Апиций или Публий Октавий [12]». И эта его догадка исполнилась сверх всех ожиданий: оба стали тягаться за краснобородку, продаваемую цезарем, и победил Октавий, который, чтобы рыба не досталась Апицию, купил ее за пять тысяч сестерциев, чем стяжал величайшую славу среди своих. Платить такую цену было позорно только для Октавия, – тот, кто послал рыбу Тиберию (впрочем, я и его бы упрекнул), просто восхищен был предметом, достойным, по его мненью, лишь цезаря. (43) Этот сидит подле больного друга, – мы его одобряем: другой делает то же ради наследства, – он коршун, ожидающий падали. Одно и то же может быть и позорным, и честным: важно, почему и как оно делается. Но все будет делаться честно, если мы преданы одной лишь честности и считаем, что в делах человеческих только то и благо, что из нее проистекает. Все остальное – благо лишь на сей миг. (44) Такое убеждение должно прочно укорениться в нас на всю нашу жизнь; его я и называю основою. Каково будет убеждение, таковы и по ступки, и помыслы, а каковы будут они, такова и жизнь. Кто хочет привести в должный порядок целое, тому мало убедить других в той или этой части. (45) Марк Брут [13] в книге, озаглавленной Пер1 ха&^хомто-, дает множество наставлений и родителям, и детям, и братьям, – но никто не выполнит их как должно, если не с чем будет соразмерять поступки. Так поставим перед собою цель – высшее благо, чтобы стремиться к ней изо всех сил и иметь ее в виду в каждом деле, в каждом слове, – так мореходы должны направлять свой путь по какой-нибудь звезде. (46) Кто живет без цели впереди, тот всегда блуждает. А если непременно нужно поставить себе цель, то становятся необходимы и основоположенья. Я думаю, ты согласишься, что нет зрелища постыднее, чем колеблющийся, нерешительный, робкий человек, пугливо отдергивающий ногу. Но мы окажемся такими во всяком деле, если не избавимся от всего, что сковывает и удерживает нам душу и не дает вложить в него всего себя.

(47) Есть обычай давать наставленья, как следует чтить богов. Мы запрещаем зажигать им светильники по субботам, – ведь и боги не нуждаются в освещенье, и людям нет никакой радости от копоти. Мы возбраняем являться с утренними приветствиями и сидеть перед дверьми храмов: таким угожденьем подкупают людское тщеславие, бога чтит тот, кто его познал. Мы не велим приносить Юпитеру простыни и скребницы, держать зеркало перед Юноной, – богу не нужны прислужники 14 Почему? Да потому что он сам служит роду человеческому, везде и всякому готовый помочь. (48) Пусть человек выслушал, какую меру надо соблюдать в жертвопри-

ношеньях, как необходимо бежать прочь от докучных суеверий, – все равно он далеко не пойдет, если как должно не постигнет умом, каков есть бог – всем владеющий, все ниспосылающий, безвозмездно -благодетельствующий. В чем причина божеских благодеяний? В природе богов. (49) Заблуждается думающий, будто они не хотят вредить: они и не могут. Невозможно ни им причинить, ни от них потерпеть урон: ведь ущерб, который нам наносят и который наносим мы, связаны. Кого высокая и прекрасная природа избавила от угроз, тем она не дала и грозить другим. (50) Начало почитания богов – вера в них; затем следует признать за ними и величье, и благость, без которой нет величия, знать, что это они правят миром, они устрояют своею силой вселенную, опекают род человеческий, заботясь иногда и об отдельных людях. Они и не причиняют зла, и не испытывают; впрочем, некоторых они и наказывают, и обуздывают, и налагают кару, посылая ее порою и под видом блага Хочешь умилостивить богов? Будь благ! Кто им подражает, тот чтит их достаточно!

(51) Но вот другой вопрос, – как обращаться с людьми? Что нам делать? Какие давать наставленья? Чтобы щадили человеческую кровь? Какая это малость, – не вредить тем, кому должно приносить пользу! Великая, конечно, слава для человека – быть милосердным к другому человеку! Поучать ли нам, что тонущему надо протянуть руку, заблудившемуся – указать дорогу, с голодным – поделиться хлебом? Когда я кончу перечислять все, что следует делать и чего избегать? Ведь я могу преподать одно короткое правило о том, в чем человеческий долг: (52) «Все, что ты видишь, в чем заключено и божественное и человеческое, – едино: мы – только члены огромного тела. Природа, из одного и того же нас сотворившая и к одному предназначившая, родила нас братьями. Она вложила в нас взаимную любовь, сделала нас общительными, она установила, что правильно и справедливо, и по ее установлению несчастнее приносящий зло, чем претерпевающий, по ее велению должна быть протянута рука помощи. (53) Пусть будет у нас и в сердце, и на устах этот стих:

Коль скоро сам я человек, то думаю,
Что мне ничто не чуждо человеческое.[15]

Запомним: мы родились, чтобы жить вместе. И сообщество наше подобно своду, который потому и держится, что камни не дают друг другу упасть».

(54) Сказав о богах и людях, посмотрим, как надо обращаться с вещами. Мы бросали бы наставленья на ветер, не наставив предварительно, каковы должны быть наши мнения о каждом предмете: о бедности и о богатстве, о славе и о поношенье, о родине и об изгнании. Оценим все по отдельности, отбросив прочь общие толки, и доищемся, что это такое, а не как называется.

(55) Перейдем теперь к добродетелям. Иной станет поучать, чтобы мы высоко ценили разумность, учились храбрости, любили воздержность и, если это возможно, больше всего прилежали душой справедливости. Но он ничего не добьется, если мы не знаем, что такое добродетель, одна ли она или есть их множество, существуют ли они раздельно или неразрывно связаны, обладает ли обладающий одною и всеми остальными, различаются ли они и чем. (56) Ремесленнику нет надобности исследовать свое ремесло, где его начало и каково примененье, так же как и миму – искусство танца. Если такие искусства знают сами себя, этого довольно 16, так как они не охватывают жизнь целиком. Добродетель есть знание и себя самой, и других вещей. Нужно выучить в ней все, чтобы выучиться ей. (57) Поступок не будет правильным без правильного намеренья, которым поступок и порождается. И опять-таки намеренье не будет правильным без правильного строя души, которым и порождается намеренье. А строй души не будет наилучшим, если она не постигнет законов всей жизни, не определит, как нужно судить о каждой вещи, и не сведет ее к тому, что она есть поистине. Спокойствие достанется на долю только тем, кто пришел к незыблемым и твердым сужденьям, а остальные то и дело вновь берутся за прежнее, с чем покончили, и так мечутся между отказом и желанием. (58) А причина метаний – в том, что для руководимых самым ненадежным вожатым, молвою, ничто не ясно. Если хочешь всегда хотеть одного и того же, надо хотеть истинного. Но до истины не дойти, не зная основоположений: они заключают в себе всю жизнь. Благо и зло, честное и постыдное, благочестивое и нечестивое, добродетели и приложение добродетелей, обладание вещами удобными, доброе имя и достоин-

ство, здоровье, сила, красота, острота чувств – все это требует оценщика. Пусть нам будет позволено знать, что по какой цене следует занести в список. (59) Ведь ты заблуждаешься: многое кажется тебе дороже, чем оно есть; то, что считается у нас самым важным, – богатство, милость и власть – не стоят и сестерция: вот как ты заблуждаешься! Но тебе этого не узнать, если ты не разберешься в том законе, по которому такие вещи сравниваются и оцениваются. Как листья не могут жить сами по себе, – им нужна ветка, чтобы на ней держаться и пить из нее сок, – так и наставления, если они одни, вянут: им нужно прирасти к учению.

(60) И потом те, кто отбрасывает основоположенья, не понимают, что этим самым укрепляют их. Что они говорят? Для объяснения жизни хватит наставлений, и лишними будут основоположенья мудрости, то есть догматы. Но и то, что они говорят, есть догмат, – так же как я, если бы сказал, что нужно отказаться от наставлений, ибо они излишни, и обратить все наше усердие на одни только основоположенья, давал бы наставленье, утверждая, будто о наставленьях незачем и думать! (61) В философии одно требует увещаний, другое, и к тому же многое, – доказательств: это то, что не лежит на поверхности и едва может быть обнаружено благодаря величайшему прилежанию и тонкости. Но если необходимы доказательства, необходимы и основоположенья, потому что в них истина подкреплена доводами. Есть вещи явные, есть темные. Явные – те, которые постигаются чувствами и памятью, темные – те, что им недоступны. Разум же не довольствуется очевидным, большая и прекраснейшая его часть занята тайным. Тайное требует доказательства, – но без основоположений доказывать нельзя; значит, основоположенья необходимы. (62) Что делает воззрение всеобщим, то же самое делает его и совершенным: это – твердая убежденность, и если без нее все в душе плавает, то необходимы основоположенья, дающие душам непоколебимость суждений. (63) Наконец, если мы поучаем кого-нибудь относиться к другу как к самому себе, верить, что враг может стать другом, стараться первому внушить любовь, а во втором утишить ненависть, мы прибавляем: «Это справедливо и честно». Но в честности и справедливости и заключается смысл наших основоположений; значит, они необходимы, если ни той, ни другой без них нет.

(64) Нужно сочетать основоположенья и наставленья: ведь и ветви без корня бесполезны, и корни получают помощь от того, что ими порождено. Чем полезны нам руки, нельзя не знать, – они помогают нам явно; а сердце, благодаря которому руки живут и действуют, которое приводит их в движение, – сердце прячется. То же самое могу сказать я и о -наставленьях: они на виду, тогда как основоположенья мудрости скрыты. Как величайшие святыни таинств известны только посвященным, так и в философии тайны ее священнодействий открыты только для взора избранных и допущенных, а наставленья и прочее в этом роде известно и непосвященным.

(65) Посидоний считает необходимым не только «наставительство» (воспользуемся его словом и мы), но и ободренье, утешенье, убежденье. К ним он прибавляет изыскание причин – этиологию (не вижу, почему бы и нам не сказать так, если грамматики, стражи латинского языка, употребляют это название). По его словам, полезно будет и описание каждой добродетели, его Посидоний именует «отологией», а другие – «характеристикой», так как оно выделяет приметы каждой добродетели и порока, по которым можно различить сходные между собою. (66) Суть у этого дела та же, что у наставлений. Ведь наставник говорит: «Делай так-то, если хочешь быть воздержным», – а описывающий: «Воздержан тот, кто делает то-то, а того-то гнушается». – Ты спросишь, в чем разница? – Один дает наставленья к добродетели, другой приводит образец. Должен признаться, что такие описания и (воспользуюсь словечком откупщиков) «образчики» небесполезны: предложим достойный хвалы пример, – найдется и подражатель. (67) Разве, потвоему, бесполезно назвать приметы, по которым ты узнаешь благородного коня, чтобы не ошибиться при покупке и не тратить труда, объезжая ленивого? Так насколько полезнее знать признаки величия духа, которые можно перенять у другого!

(68) Прежде всего, на лугу племенных кровен жеребенок
Шествует выше других и мягко ноги сгибает.
Первым бежит по дороге, в поток бросается бурный,
И не боится шаги мосту неизвестному вверить.
Шумов пустых не пугается он; горда его шея,

Морда точеная, круп налитой и подтянуто брюхо,
Великолепная грудь мускулиста.....
Едва прогремит издалека оружье,
Конь уже рвется вперед, трепещет, ушами поводит,
Ржет и, наполнясь огнем, ноздрями его выдыхает.[17]

(69) Хоть наш Вергилий ведет речь о другом, описал он отважного мужа: я бы иного изображения великого мужа и не дал. Пусть мне надо было бы нарисовать Катона, бестрепетного среди грохота гражданских распрей, первым нападающего на придвинувшиеся уже к Альпам отряды, идущего навстречу гражданской войне: я не приписал бы ему ни иного выраженья лица, ни иной осанки. (70) Никто не мог шествовать выше того, кто поднялся и против Цезаря, и против Помпея, и когда одни становились приверженцами цезарианских сил, другие – помпеянских, бросал вызов и тем и другим, доказав, что и у республики остались сторонники. Разве что о Катоне мало будет сказать:

Шумов пустых не пугается он...

Почему? Да потому что он не пугался и подлинного близкого шума, когда поднял свободный голос против десяти легионов и галльских вспомогательных отрядов и варварских сил, перемешанных с римскими, когда убеждал республику не терять мужества и на все решиться ради свободы, ибо честнее ей пропасть, чем пойти в рабство! (71) Сколько в нем силы духа, сколько уверенности среди общего трепета! Ведь ему понятно: он единственный, о чьей свободе речь не идет; вопрос не в том, быть ли Катону свободным, а в том, жить ли ему среди свободных. Оттого и презренье к мечам и угрозам. Восхищаясь необоримой стойкостью мужа, не дрогнувшего среди общего крушенья, нельзя не сказать:

Великолепная грудь!

(72) Полезно не только говорить, какими бывают мужи добра, и нарисовать их облик и черты, но и рассказывать, какими они были, и показать последнюю, самую отважную рану Катона, через которую свобода испустила дух, показать мудрость Лелия и его единодушие со Сципионом, прекрасные деянья другого Катона дома и на войне, Тубероновы деревянные козлы на пиру, что он дал народу 18, и козьи шкуры вместо покрывал, и перед святилищем Юпитера – выставленную для пирующих глиняную посуду. Что сделал Туберон, как не освятил бедность на Капитолии? Пусть я не знал бы других его деяний, позволяющих поставить его в ряд с Катонами, – неужели мы не поверили бы одному этому? То был не пир, а суд над нравами. (73) О, насколько же люди, жадные до славы, не ведают, что она есть и как ее добиваться! В тот день римский народ видел утварь многих, но восхищен был утварью одного. Золото и серебро всех других было изломано и тысячекратно переплавлено, а Туберонова глина будет цела во все века. Будь здоров.

Письмо XCVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) А ты все-таки на что-то сердишься или жалуешься и не понимаешь, что во всем этом плохо одно: твое негодованье и жалобы. Если ты спросишь меня, то я думаю, что у человека нет никаких несчастий, кроме одного: если он хоть что-то в природе считает несчастьем. Я стану несносен самому себе в тот день, когда не смогу чего-нибудь вынести. Я хвораю? Такова доля человека! Перемерла челядь? задавили долги? стал оседать дом? мучат убытки, раны, труды, тревоги? Обычное дело! Мало того: неизбежное. (2) Все это предопределено, а не случайно. Если ты хоть немного мне веришь, я открою тебе самые сокровенные мои чувства: ко всему, что кажется враждебным и тягостным, я отношусь так: богу я не повинуюсь, а соглашаюсь с ним и

следую за ним не по необходимости, а от всей души. Что бы со мной ни случилось, ничего я не приму с печальным или злым лицом. Нет налога, который я платил бы против воли. А все то, над чем мы стонем, чему ужасаемся, есть лишь налог на жизнь. Так что, мой Луцилий, и не надейся, и не старайся получить от него освобожденье. (3) Тебя беспокоила боль в мочевом пузыре, письма пришли не слишком приятные, одолели непрестанные убытки; подойду еще ближе: ты боялся за свою жизнь. Так разве ты, когда желал себе дожить до старости, не знал, что желаешь и всего этого? Это все неизбежно в долгой жизни, как в долгой дороге неизбежны и пыль, и грязь, и дожди. – (4) «Я хотел жить, но так, чтобы быть избавленным от всего неприятного». – Такие по-женски расслабленные речи мужу не пристали! Посмотри сам, как ты примешь такое мое пожелание, – а я произношу его не только от чистого сердца, но и с твердостью сердца: да избавят тебя все боги и богини от постоянных ласк фортуны! (5) Спроси сам себя: если бы кто из богов дал тебе власть выбирать, где захотел бы ты жить, в обжорном ряду или в лагере? А ведь жить, Луцилий, значит нести военную службу. И кто не знает покоя, кто идет вверх и вниз по трудным кручам, кто совершает опаснейшие вылазки, – те храбрые мужи, первые в стане, а те, кого нежит постыдный покой, покуда другие трудятся, – те голубки, позором избавленные от опасности. Будь здоров.

Письмо XCVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты ошибаешься, Луцилий, если думаешь, будто только наш век повинен в таких пороках, как страсть к роскоши, пренебрежение добрыми нравами и все прочее, в чем каждый упрекает свое столетье. Это свойства людей, а не времен: ни один век от вины не свободен. А если ты начнешь измерять распущенность каждого, то, стыдно сказать, никогда не грешили так открыто, как на глазах у Катона. (2) Некоторые думают, будто деньги были заплачены в том суде, где Клодий обвинялся в тайном блуде с женою Цезаря и в осквернении таинств жертвоприношения[1], совершаемого, как принято говорить, от лица народа, видеть которое всякому мужчине возбраняется так строго, что даже нарисованных животных-самцов чем-нибудь прикрывают. Верно, судьи получили и деньги, но вдобавок (и это куда позорнее денежной сделки!) – возможность поблудить на закуску с замужними женщинами и подростками из знатных семей.

(3) В самом преступленье было меньше греха, чем в его оправдании. Обвиненный в прелюбодеянье поделился тем, в чем был обвинен, и перестал беспокоиться о своем благополучии, лишь когда уподобил себе своих судей. И это в суде, где сам Катон если и не заседал, то давал показания! Я приведу слова Цицерона, так как поверить в это невозможно[2]:

(4) «Он пригласил к себе, пообещал, поручился, роздал. Вот уж, благие боги, гнусное дело! Как самую дорогую мзду кое-кто из судей получил ночи с некоторыми женщинами и свиданья с некоторыми подростками из знатных семей». – (5) Не ко времени сетовать из-за денег, когда главное надбавка! – «Хочешь жену этого сурового мужа? Получай! Хочешь супругу того богача? И ее доставлю тебе в постель! Не захочешь блудить – считай меня виновным. И та красавица, которую ты хочешь, придет к тебе, и ночь с этим я обещаю тебе безотлагательно: обещанье будет выполнено еще до срока вынесения приговора». – Раздаривать прелюбо деянья хуже, чем совершать их: ведь не по доброй воле шли на них матери семейств. (6) Эти Клодиевы судьи требовали от сената охраны, необходимой им только в случае обвинительного приговора, – и получили ее. А Катул остроумно сказал им на это, после оправдания подсудимого:

«Зачем вы добиваетесь охраны? Чтобы у вас деньги не отняли?» Но среди этих шуточек ушел безнаказанно тот, кто до суда был блудодеем, на суде сводником, кто от наказанья избавился еще гнуснее, чем заслужил его. (7) Бывают ли, по-твоему, нравы развращеннее, если ни священно-действо, ни суд – не преграда для похоти, если на чрезвычайном следствии, устроенном по постановлению сената, совершается преступленье тяжелее расследуемого? Расследовали, может ли кто остаться цел после прелюбодеянья; выяснили, что без прелюбодеянья нельзя остаться целым. (8) И это совершалось рядом с Помпеем и Цезарем, рядом с Цицероном и Катоном, – тем Катоном, в чьем присутствии народ не позволил себе даже потребовать обычной на

Флоралии забавы: чтобы шлюхи сбросили платье[3]. Или, по-твоему, люди на зрелищах были тогда строже, чем в суде? Такие дела и делаются и делались, и распущенность в городах временами шла на убыль благодаря строгости и страху, но никогда – сама по себе. (9) Поэтому напрасно ты думаешь, что лишь теперь похоти дано больше всего воли, а законам – меньше всего. Нынче молодежь куда скромнее, чем когда обвиняемый отпирался перед судьями, отрицая прелюбодеянье, а судьи перед обвиняемым сознавались в нем, когда блудили по причине предстоящего суда, когда Клодий, угождая теми же пороками, в которых провинился, сводничал во время самого слушанья дела. Кто поверит, что ожидавший приговора за одно прелюбодеянье откупился многими!

(10) Всякий век рождает Клодиев, не всякий – Катонов. Мы падки на все скверное, потому что тут непременно найдутся и вожатый и спутник, да и без вожатого, без спутника дело пойдет: дорога к порокам ведет не под уклон, а под откос. И вот что многих делает неисправимыми: во всех искусствах для тех, кто ими занимается, погрешности постыдны и для сделавшего промах вредны, а в жизни грехи сладки. (11) Не радуется кормчий, если корабль перевернется; не радуется оратор, если по вине защитника подсудимый проиграет дело; не радуется врач, когда хоронят больного; а вот преступленье против себя для всех приятно. Тот радуется прелюбодеянью, на которое раззадорила его трудность дела; этот радуется обману и краже; и никто не разочаруется в злых делах, пока не разочаруется в их удаче. Все это происходит от дурной привычки. (12) Можешь убедиться сам. что в душах, даже далеко зашедших во зле, остается ощущенье добра, и они не то что не ведают позора, но пренебрегают им: ведь все прячут свои грехи и, пусть даже все сойдет счастливо, пользуются плодами, а само дело скрывают. Только чистая совесть хочет выйти и встать на виду; злонравью и во тьме страшно. (13) По-моему, остроумно сказал Эпикур: «Может случиться, что злодей скроется, но чтоб он был в этом уверен, быть не может». Или же, если. по-твоему, так можно сделать понятнее смысл сказанного: провинившемуся мало пользы скрыться, потому что у него, даже если будет в этом удача, уверенности в удаче не будет. Так оно и есть! Злодеянья могут быть безнаказанны, но не безмятежны. (14) Если так истолковать эти слова, они, я думаю, не противоречат нашему ученью. Почему? Потому что первое и наибольшее наказанье за грех – в самом грехе, и ни одно злодейство, пусть даже фортуна осыплет его своими дарами, пусть охраняет его и опекает, не бывает безнаказанным, так как кара за злодейство – в нем самом. Но и другие кары преследуют его и настигают: постоянный страх, боязнь всего, неверие в свою безопасность. С чего бы мне освобождать злонравие от этой кары? Почему не оставить его в постоянной тревоге? (15) Нам не следует соглашаться с Эпикуром, когда он говорит, что нет справедливого по природе, и преступлений нужно избегать, так как нельзя избежать страха. Но с ним следует согласиться в том, что злые дела бичует совесть, что величайшая пытка для злодея – вечно терзающее и мучащее его беспокойство, не позволяющее поверить поручителям его безопасности. Но ведь если никто и в безопасности не может не бояться, – это и есть, Эпикур, доказательство того, что именно природа заставляет нас отшатываться от преступлений. Многих фортуна освободила от кары, но никого – от страха. (16) Почему так? Не потому ли, что в нас вложено отвращенье ко всему осуждаемому природой? Из-за того даже скрывшийся не верит в возможность скрываться, что его уличает и обличает перед самим собою совесть. Плохо было бы наше дело, если бы многие злодеяния ускользали от мстящего закона и предписанной кары – и не приходилось бы тотчас же за них платиться тяжким наказаньем, налагаемым природой, которая заменяет пытку страхом. Будь здоров.

Письмо XCVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Никогда не считай счастливцем того, кто зависит от счастья! Если он радуется пришедшему извне, то выбирает хрупкую опору: пришлая радость уйдет. Только рожденное из самого себя надежно и прочно, оно растет и остается с нами до конца; а прочее, чем восхищается толпа, – это благо на день. – Так что же, невозможно ни пользоваться им, ни наслаждаться? Можно, кто спорит? – но так, чтобы оно зависело от нас, а не мы от него. (2) Все причастное

фортуне и плодоносно, и приятно, если владеющий им владеет и собою, не попав под власть своего достоянья. Поэтому, Луцилий, ошибаются полагающие, будто фортуна может послать нам хоть что-нибудь хорошее или дурное: от нее – только поводы ко благу или ко злу, начала тех вещей, которым мы сами даем хороший или дурной исход. Ведь душа сильнее фортуны: это она ведет все туда или сюда, она делает свою жизнь блаженной или несчастной. (3) Душа дурная все оборачивает к худшему, даже то, что при ходит под видом наилучшего. Душа прямая и чуждая порчи исправляет зловредность фортуны и знанием смягчает с трудом переносимые тяготы; все приятное она встречает скромно и с благодарностью, все неприятное – мужественно и со стойкостью. Пусть человек будет разумным, пусть все делает по зрелом размышленье, пусть не берется ни за что непосильное. – не получит он этого полного, избавленного от всех угроз блага, если не будет заведомо спокоен перед неведомым. (4) Взгляни пристально хоть «а других (ведь о чужом мы судим свободнее), хоть на себя, отбросив пристрастие, – и ты почувствуешь и признаешь: ни одна из этих желанных и высоко ценимых вещей не будет на пользу, если ты не вооружишься против непостоянства случая и всего того, что от случая зависит, если среди утрат не будешь повторять часто и не сетуя: «Боги иначе судили»[1]. (5) Или даже – чтобы мне сделать этот стих еще мужественнее и справедливее, чтобы ты мог лучше поддержать им душу, – тверди каждый раз, когда что-нибудь произойдет вопреки твоим ожиданьям: «Боги лучше судили». Кто так настроен, с тем ничего не случится. А настроится так только тот, кто задумается об изменчивости человеческих дел прежде, чем почувствует ее силу, кто, имея и детей, и жену, и богатство, знает, что все это не будет непременно и всегда при нем, и не станет несчастным, если перестанет ими владеть. (6) Всегда в смятении душа, что тревожится за будущее, и до всех несчастий несчастен тот, кто заботится, чтобы все, чем он наслаждается, до конца осталось при нем. Ни на час он не будет спокоен и в ожидании будущего потеряет нынешнее, чем мог бы наслаждаться. Ведь что жалеть о потерянной вещи [2], что бояться ее потерять одно и то же.

Это не значит, что я проповедую тебе беспечность. (7) Что страшно, то старайся отклонить; что рассудок может предвидеть, то старайся предвидеть; что грозит тебе ударом, старайся заметить и предотвратить,прежде чем оно случится. В этом тебе немало поможет спокойная уверенность и дух, закаленный и ко всему выносливый. Тот может оградить себя против фортуны, кто способен перенести все, что она пошлет; во всяком случае спокойный дух ей не привести в смятение. Есть ли что более жалкое и глупое, чем бояться заранее? Что за безумье – предвосхищать собственные несчастья? (8) Я хочу подытожить вкратце то, что думаю, и описать тебе людей, что сами себе не дают покоя, сами себе в тягость: они так же нестойки в беде, как и до нее. Кто страдает раньше, чем нужно, тот страдает больше, чем нужно. Одна и та же слабость не дает ему ни правильно оценить боль, ни ждать ее. Одно и то же незнанье меры велит ему воображать свое счастье вечным, а свое достоянье не только не убывающим. но и все возрастающим, и сулить себе неизменность всех случайных преимуществ, забыв о том маховом колесе, которое переворачивает все человеческое. (9) Потому-то кажутся мне замечательными слова Метродора в том письме, где он обращается к сестре, потерявшей сына – юношу высокого дарования: «Всякое благо смертных смертно!» Он говорит о тех благах, которые всех манят, потому что подлинные блага – мудрость и добродетель – не умирают, они неизменны и постоянны. В уделе смертного только они бессмертны. (10) Впрочем, люди так бесстыдны, до того забывают, куда они идут, куда влечет их каждый день, что, обреченные однажды потерять все, удивляются всякой потере. То, на чем ты пишешься хозяином, при тебе, но не твое: кто сам непрочен, у того нет ничего прочного, кто сам хрупок, у того нет ничего вечного и непобедимого. Гибнуть и терять одинаково неизбежно, и, поняв это, мы найдем утешенье и спокойно будем терять теряемое неизбежно.

(11) Но в чем же нам найти помощь против этих потерь? В том, чтобы хранить утраченное в памяти, не допускать, чтобы вместе с ним канул и тот плод, который оно нам принесло. Чем мы владеем, то можно отнять; чем мы владели, того не отнимешь. Верх неблагодарности – не чувствовать себя обязанным за то, что однажды получил, хотя потом и утратил. Случай отнимает вещь, но оставляет плоды обладанья ею, которые мы теряем сами, вопреки справедливости сожалея об отнятом.

(12) Скажи себе: «Из того, что кажется страшным, все можно одолеть. Многие побеждали что-нибудь одно: Муций – огонь, Регул – крест, Сократ яд, Рутилий – ссылку, Катон – смерть от

меча; и мы что-нибудь да победим! (13) Опять-таки многие презрели то, что видимостью счастья манит толпу. Фабриций[3], будучи полководцем, отверг богатства, будучи цензором, осудил их. Туберон счел бедность достойной и себя, и Капитолия, когда, расставив на всенародном пиру глиняную посуду, показал, как человек должен довольствоваться тем, что и богам годится. Отец Секстий отказался от почетных должностей: рожденный, чтобы править государством, он не принял от божественного Юлия тоги с широкой каймой, ибо понимал: все, что дано, может быть отнято. Так поступим и мы хоть в чем-нибудь мужественно! Попадем и мы в число примеров! (14) Отчего мы слабеем? Отчего теряем надежду? Что могло случиться прежде, то может и сейчас. Только очистим душу и будем следовать природе, потому что отступивший от нее обречен желаньям, страху и рабству у вещей случайных. Можно еще вернуться на правильный путь, можно все восстановить. Сделаем это, чтобы переносить боль, когда она охватит тело, и сказать фортуне: ты имеешь дело с мужчиной; хочешь победить – поищи другого! [4]»

(15) Такими или подобными речами утишается боль язвы, – хоть я и желаю ему, чтобы она облегчилась, или была излечена, или хотя бы осталась такою же и старела с ним. Впрочем, за него я спокоен; это нам грозит урон, у нас будет отнят замечательный старик. Сам он уже сыт жизнью, а если и желает ее продленья, то не ради себя, а ради тех, кому он полезен. Так что, оставаясь жить, он являет свою щедрость. (16) Другой бы положил конец этим мукам, а он считает одинаково постыдным бежать и от смерти, и от жизни. – «Так что же, если обстоятельства его убедят, неужели он не уйдет?» – А почему ему не уйти, если никто уже не сможет прибегнуть к нему? если ему не о чем будет заботиться, кроме своей боли? (17) Вот что значит, Луцилий, учиться философии у жизни, упражняться в ней, видя перед собою истинный пример: разумного человека, его мужество перед лицом подступающей смерти, среди гнетущих болей. Кто делает, как должно, у того и учись, как должно делать. До сих пор мы приводили доводы: может ли кто-нибудь противиться боли, сломит ли приближающаяся смерть даже великие души. (18) Но к чему слова? Взглянем воочию! Ему не смерть дает мужество сопротивляться боли и не боль – сопротивляться смерти. Он противится и той, и другой, полагаясь только на себя. Он страдает терпеливо не в надежде смерти и с охотой умирает не потому, что ему невтерпеж страданья. Страданья он терпит, смерти ждет. Будь здоров.

Письмо XCIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я посылаю тебе письмо, которое написал Маруллу, когда он потерял младенца-сына и, по слухам, обнаружил при этом слабость. В письме я отступил от своего обыкновенья и не счел нужным мягко говорить с тем, кто заслуживает скорее порицанья, чем утешенья. Удрученному и тяжко.раненному, если он плохо переносит боль, нужно дать немного воли: пусть пресытится или, по крайней мере, даст выход первому порыву. А те, кто нарочно взялись горевать, должны быть немедленно наказаны: пусть знают, что и слезы можно лить по-глупому.

(2) Ты ждешь утешений? Так получай упреки! Вот какую слабость ты обнаружил, когда умер сын! А что бы ты делал, потеряв друга? Умер сын, чье будущее неясно, совсем крохотный; загублен самый короткий век. (3) Мы ищем причин для страданья и хотим сетовать на судьбу даже неоправданно, когда она не дает нам повода к справедливым жалобам. А ведь мне уже, клянусь, казалось, что тебе хватит мужества противостоять и большим, а не то что этим призрачным бедам, от которых люди стонут только по обычаю. Даже потеряв друга – а это для нас самый тяжкий урон! – ты должен заставить себя больше радоваться тому, что у тебя был друг, чем горевать об утрате. (4) Но большинство людей не считает, сколько им было дано, сколько они успели порадоваться. И в этом, помимо прочего, дурная сторона такого горя: оно не только неуместно, но и неблагодарно. Значит, был у тебя друг, – и все пропало даром? Столько лет общей жизни и единодушного товарищества во всех занятиях ничего не дали? Вместе с другом ты хоронишь и дружбу? Что же ты горюешь, потеряв его, если тебе мало пользы от того, что он был? Поверь мне: пусть случай отнимет тех, кого мы любили, – немалая часть их существа остается с нами. То время, что прошло, наше; что было, то теперь в самом надежном месте. (5) Рас-

полагая на будущее, мы не ведаем благодарности за уже полученное, – как будто будущее, если только оно наступит, не перейдет очень скоро в прошлое. Кто радуется только настоящему, тот слишком сужает пределы обладанья всеми вещами, нет, и прошлое, и будущее тешат нас, одно – ожиданием, чей исход, однако, неведом, ибо оно может не сбыться, другое – воспоминанием, которого не может не остаться. Что» за безумие – упускать самое надежное? Успокоимся на том, что мы уже успели зачерпнуть, – если только мы не будем черпать дырявой душой, из которой все выливается.

(6) Есть бесчисленные примеры того, как люди без слез хоронили детей, умерших молодыми, как шли от костра в сенат или возвращались к другой общественной обязанности, как сразу принимались за дела. И ненапрасно: ведь, во-первых, скорбеть излишне, если скорбью ничему не поможешь, и во-вторых, несправедливо сетовать на то, что с одним случилось, остальных ожидает. И еще, глупо вопить в тоске, если разрыв между тоскующим и утраченным ничтожен: мы должны быть спокойнее хотя бы потому, что сами идем вслед за теми, кого потеряли. (7) Взгляни» как скоротечно время, подумай, как коротко ристалище, по которому мы бежим так быстро; посмотри на весь человеческий род, единым сонмом,. с самыми малыми промежутками, – хоть порой они и кажутся большими, – поспешающий к одному концу; тот, кого ты считаешь погибшим, только предшествовал тебе. Так есть ли большее безумие, чем оплакивать того, кто раньше прошел дорогу, которую и тебе предстоит измерить? Разве плачут над тем, про что известно заранее, что оно случится? А кто не думал о предстоящей каждому человеку смерти, тот обманывал себя. (8) Разве плачут над тем, о чем сами говорили: оно произойдет непременно? Сетующий на чью-нибудь смерть сетует на то, что умерший был человеком. Все мы связаны общим уделом: кто родился, тому предстоит умереть. (9) Сроки разные, исход один. Расстоянье между первым и последним днем изменчиво и неведомо; если мерить его тяготами пути, оно велико даже у ребенка, если скоростью – коротко даже у старца. Все ненадежно и обманчиво, все изменчиво как погода. Все несется стремглав и, по веленью фортуны, превращается в нечто противоположное, и в таком коловращении человеческих дел нет ничего заранее известного, кроме смерти. И однако все жалуются на то единственное, в чем никто еще не обманулся.

– «Но он умер ребенком!» – Не буду говорить о том, что отжившему свое лучше, перейду к другому: намного ли состарившийся взял верх над младенцем? (10) Представь себе безграничность глубин времени и охвати мыслью весь мир, потом сравни с этой безмерностью то, что именуется человеческим веком, – и ты увидишь, как ничтожен отрезок, которого мы желаем, который стремимся продлить. А сколько занимают в нем слезы тревоги? (11) Сколько занимает смерть, желанная прежде, чем придет? Сколько занимает нездоровье, сколько страх, сколько годы младенчества и годы, прожитые в невежестве и без пользы? Половину срока мы спим. Прибавь еще труды, скорби, опасности, – и ты поймешь, что за самый долгий век времени жить остается очень мало. (12) Кто же согласится с тобою, что не лучше тому, кому позволено скоро вернуться и закончить путь еще до усталости? Жизнь есть не благо и не зло, а только вместилище блага и зла. Так что твой сын ничего не потерял, кроме жребия, ко торый верней выпал бы не в его пользу. Он мог бы стать человеком скромным и разумным, возможно, твоя забота создала бы из него и что-нибудь получше, но также (и опасаться этого есть больше причин) мог он сделаться подобным большинству. (13) Взгляни на юношей, которых мотовство вытолкнуло из знатных домов на арену; взгляни на тех дважды бесстыдных, что и сами развратничают, и служат чужому разврату, и у которых ни дня не проходит без пьянства, ни дня без какой-нибудь крупной мерзости, – и тебе станет ясно, что опасаться тут можно скорее, чем надеяться. Так что нечего тебе выискивать поводы для скорби и негодованьем раздувать мелкие неприятности. (14) Я не увещаю тебя собраться с силами и выпрямиться: ведь я не столь плохого о тебе мнения, чтобы думать, будто против такого случая тебе нужно призвать всю твою доблесть. Знай, это не боль, а укол, – боль из него делаешь ты сам. Велики, без сомненья, успехи философии, если твой мужественный дух тоскует по мальчике, покуда более знакомом кормилице, нежели отцу!

(15) Неужели я призываю тебя к бесчувственности, требую, чтобы во время похорон ты не изменился в лице, не допускаю, чтобы у тебя сжалось сердце? Нет, конечно! Ведь это не доблесть, а бесчеловечность – смотреть на похороны близких таким же взглядом, каким смотрел на них самих, ничего не чувствовать, когда их впервые отрывают от тебя. Но представь даже, что я

все это запрещаю; есть вещи, от нас не зависящие, порой слезы льются, как их ни сдерживай, и, пролившись, облегчают душу. (16) Что из этого следует? Позволим им течь, но не будем им приказывать; пусть льются столько, сколько требует чувство, а не подражанье. Не будем ничего прибавлять к нашей скорби и преувеличивать ее по чужому примеру. Горе напоказ требует больше, чем просто горе: много ли есть горюющих для самих себя? Люди стонут более внятно, когда их слышат, и, спокойные и молчаливые в одиночестве, снова разражаются слезами, едва завидят кого-нибудь. Тут-то они и тянутся рвать на себе волосы, хотя свободнее могли бы сделать это, когда никто не мешает, тут-то и зовут смерть, тут-то и скатываются с постели. Без зрителя горе затихает. (17) И здесь, как и во всем, не покидает нас один порок: прилаживаться к примеру большинства, смотреть, не что должно, а что принято. Мы удаляемся от природы и предаемся толпе, от которой ничего хорошего исходить не может, которая и тут, как во всем прочем, непостоянна. Увидит она человека мужественного в своей скорби – и зовет его безбожным я диким, увидит другого, бессильно прильнувшего к мертвому телу, – и зовет его безвольным и хилым. (18) Потому-то и надо все делать по разуму. Нет ничего глупее, чем печалиться для славы и плакать ради общего одобрения. По-моему, мудрый муж плачет, либо когда сам дает волю слезам, либо когда они льются по своей воле. Я скажу, в чем тут разница. Когда «ас поразит первая весть о горестной кончине, когда мы держим тело, которое из наших объятий перейдет на костер, – слезы исторгает природная необходимость, и дух, под ударом скорби, сотрясает вместе со всем телом также и глаза, силой заставляя пролиться находящуюся близ них влагу. (19) Эти исторгнутые слезы текут вопреки нам. Но бывают слезы, которым мы сами даем выход, – например, возвращаясь памятью к тем, кого мы потеряли, и есть нечто сладостное в печали, когда нам вновь приходят на ум их отрадные речи, их веселая беседа, их преданная любовь; тогда глаза увлажняются, словно от радости. Этим слезам мы не противимся, а те первые побеждают нас. (20) Так что нельзя ни удерживать, ни выдавливать из себя слезы ради стоящих и сидящих вокруг: и плакать, и перестать куда менее позорно, чем притворяться. Пусть слезы текут сами собой: ведь и люди спокойные и сдержанные их могут пролить. Часто они текли, не умаляя почтенности мудреца, с такой пристойностью, что была в них полная мера и человечности, и достоинства. Можно, повторяю, повиноваться природе, не теряя степенности. (21) Я видел почтенных людей, хоронивших своих близких: вся любовь была написана у них на лице, но в их скорби не было лицедейства, – ничего, кроме подлинных чувств, которым они дали выход. И в скорби есть приличья, – их-то и следует соблюдать мудрецу. И как во всем, так и тут наступает миг, когда плакать довольно. И радость, и горе льются через край только у неразумных.

(22) Неизбежное нужно принимать равнодушно. Разве случилось нечто невероятное, невиданное? Скольким людям сейчас нанимают служителей для похорон! Скольким покупают смертный убор! Сколько людей будут горевать после тебя! Едва ты подумаешь, что он был еще ребенком, думай и о том, что он был человеком, – а человеку ничего не обещано наверняка, и фортуна не должна непременно довести его до старости, но вправе отпустить, где ей угодно. (23) А в остальном то и дело говори о нем, торжественно чти, насколько можешь, его память, – ведь воспоминанья станут приходить к тебе тем чаще, чем меньше в них будет горечи. К печальному обращаются неохотно, а тем более к самой печали. Если ты наслаждался его речами, его шутками, пусть еще детскими, чаще повторяй их, смело утверждай, что сын оправдал бы надежды, питаемые в отцовской душе. (24) Бесчеловечно забывать близких, хоронить вместе с прахом память о них, щедро лить слезы, а вспоминать скупо. Так любят своих детенышей звери, своих птенцов птицы: их любовь неистова, порой до бешенства, но утрата гасит ее. Такое не пристало разумному человеку: пусть его память будет долгой, скорбь короткой.

(25) Я никак не одобряю утверждения Метродора, будто и в печали есть некое связанное с нею наслаждение; его-то и нужно ловить в такое время. Я выписал сами слова Метродора[1]. (26) Я не сомневаюсь, что ты подумаешь о них. Есть ли что постыднее, чем ловить наслаждение даже в скорби, получать его от самой скорби, искать среди слез хоть чего-нибудь приятного? Так вот кто упрекает нас в чрезмерной суровости, бесчестит наши наставления именем «жестоких» – потому только, что мы велим либо не допускать скорби в душу, либо быстрей изгонять ее. Но что невероятнее, что бесчеловечнее: не чувствовать скорби, потерявши друга, или в самой же скорби ловить наслажденье? (27) То, чему поучаем мы, честно: когда чувство изольется слезами

и, так сказать, перекипит, не следует отдавать душу скорби. А ты что говоришь? Надо и к скорби примешать наслаждение! Так мы утешаем детей печеньем, так унимаем плач младенцев, налив им молока. Ты не допускаешь, чтобы наслажденье прекращалось даже на то время, пока горит на костре сын или друг испускает дух, ты хочешь, чтобы сама печаль тебя тешила. Что же честнее: устранять скорбь из души или соединять наслаждение со скорбью? Да что соединять! Ловить, ловить его в самой же скорби! – (28) «Есть некое наслаждение, неотделимое от печали». Это нам позволительно говорить так, а не вам. Вы знаете одно лишь благо – наслажденье, и одно лишь зло – скорбь. Как благо и зло могут быть неотделимы? Но считай, что могут; значит, теперь-то самое время рыться в своей боли и искать, есть ли близ нее что-нибудь приятное и услаждающее? (29) Есть лекарства, для одних частей тела целебные, но не применимые для других по своей мерзости и непристойности; то, что где-нибудь принесло бы пользу без вреда для стыдливости, не годится для раны в другом месте. И не стыдно тебе лечить горе наслажденьем? Для этой язвы нужны более суровые меры. Лучше напомни, что погибший ничего плохого уже не чувствует, а если чувствует, то он не погиб. (30) Ничто не задевает того, кто стал ничем; а если задевает, значит, он жив. По-твоему, ему плохо от того, что он стал ничем? Или от того, что он еще существует? Небытие не причиняет муки: что может чувствовать тот, кого уже нет? Но и быть не мучительно: кто существует, тот ушел от самой большой беды, приносимой смертью, – небытия. (31) И еще вот что скажем тому, кто оплакивает похищенного в раннем возрасте и тоскует по нем: что до краткости века, то если сравнить его со вселенной, мы все равны, – и юноши, и старцы. Что достается нам от века всей вселенной, того нельзя даже назвать малой долей: ведь самая малая доля есть некая доля, а срок нашей жизни близок к ничто, и однако (таково наше безумие!) люди стремятся раздвинуть его.

(32) Я написал это тебе не потому, что ты-де ждешь от меня такого позднего лекарства: мне ясно, что ты сам говорил себе все, о чем прочтешь здесь. Но я хотел наказать тебя и за тот ничтожный срок, на который ты отошел от себя самого, а на будущее ободрить, чтобы ты воспрял духом и противился фортуне, предвидя, что все ее удары не только могут упасть на тебя, но упадут непременно. Будь здоров.

Письмо С

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты пишешь, что с жадностью читал книги Фабиана Папирия «О делах гражданских», но они обманули твои ожиданья; а потом, забыв, что речь идет о философе, обвиняешь его за плохой слог. – Пусть будет так, как ты считаешь, пусть он скорее изливает слова, чем ставит каждое на место. Во-первых, в этом есть своя прелесть, и медленно текущая речь по-своему прекрасна. Я думаю, большая разница, плавная она или прерывистая. Не меньшее различие, по-моему, и в том, о чем я сейчас скажу. (2) У Фабиана, по-моему, слова льются обильно[1], но не бурно: так его речь широка и, хотя не лишена стремительности, но нигде не бушует. Она прямо и откровенно сознается в том, что ее не обрабатывали и долго не обтачивали. Но пусть будет по-твоему; онто, однако, старался совершенствовать нравы, а не выраженья, и писал для души, а не для ушей. (3) Во-вторых, говори он сам, тебе некогда было бы обращать вниманье на частности, – так увлекло бы тебя целое; а то, что нравится сразу, почти всегда перестает казаться столь замечательным, когда возьмешь его в руки. Но ведь и это немало привлечь с первого взгляда, даже если тщательное рассмотренье найдет, к чему придраться. (4) Если ты спросишь меня, – по-моему, более велик тот, кто отнимает у нас саму способность оценивать, чем тот, кто заслуживает высочайшей оценки, хоть я и знаю, что второй рискует меньше, что он смелее может рассчитывать на будущее.

Чересчур тщательная речь не пристала философу. Где покажет себя смелым и стойким, где поставит себя под удар тот, кто боится за слова? (5) В речах Фабиана была не небрежность, а уверенность. В них ты не найдешь грязи: слова отобраны, а не выхвачены и не переставлены вопреки своей природе, по обычаю нашего века; они блестящи, хоть и берутся из тех, что под рукой, а мысли благородны и высоки, хоть и не сжаты в изреченье, а изложены пространно. Мы

заметим и кое-что растянутое» и кое-что шероховатое, лишенное нынешнего лоска; но обыщи хоть все, – ты не увидишь ненужной сжатости. (6) Пусть не будет ни пестрого мрамора, ни множества желобов, по которым вода течет через спальню, ни комнаты бедняка, ни всего прочего, что нагромоздила жажда роскоши, недовольная простым убранством, – все равно дом, как говорится, будет «как следует». Прибавь к этому, что о слоге нет единого мненья. Одни требуют, чтобы он был и растрепанным, и причесанным, другие так рады всякой шероховатости, что везде, где случайно речь получится глаже, они нарочно рассыпают слова и обрубают концовки, – лишь бы звучало неожиданно. (7) Почитай Цицерона: у него слог ровный, плавно выступающий, изящный не в ущерб величавости. У Азиния Поллиона[2], наоборот, – неровный, скачущий, обрывающийся на тех местах, где меньше всего ждешь. У Цицерона все завершается, у Поллиона летит стремглав, за изъятием немногих мест, построенных по заданной мере и единому образцу.

(8) Еще ты говоришь, что все кажется тебе слишком обыденным, лишенным возвышенности; но я считаю его свободным от этого порока. Там нет ничего низменного, а есть спокойствие, под стать безмятежному, умиротворенному строю души, нет ничего плоского, а есть ровность. Ему не достает ораторской мощи, жалящей остроты, которой ты ищешь, внезапно поражающих изречений; но все тело (посмотри, как оно убрано!) – без изъяна. Достоинством своим его речь обязана не самой себе, а предмету. (9) Назови, кого можно предпочесть Фабиану. Укажи Цицерона, у которого книг по философии почти столько же, сколько у Фабиана, – и я соглашусь; но уступающий самому великому отнюдь еще не ничтожен. Укажи Азиния Поллиона, – я соглашусь и отвечу, что быть в таком деле третьим – значит быть незаурядным. Назови еще Тита Ливия: ведь и он писал диалоги, которые можно отнести столь же к философии, сколь и к истории, и книги откровенно философского содержания. Я и ему дам место; но взгляни, скольких оставил позади тот, кого победили только трое – трое самых красноречивых.

(10) Правда, не все у него замечательно. Его речь, хоть и возвышенная, лишена мужественности; она льется легко, но не безудержно, не стремительно; она не прозрачна, хотя и чиста. Ты, по твоим словам, хочешь, чтобы о пороках говорилось сурово, об опасностях – храбро, о фортуне свысока, а о честолюбии – презрительно. «Я хочу, чтобы роскошь была выругана, похоть выставлена на смех, честолюбие сломлено; поэтому речь пусть будет по-ораторски резкой, величавой, как у трагиков, тонкой, как у комиков». – Ты хочешь, чтобы он корпел над вещью ничтожной – над словами? Он посвятил себя великим предметам, а красноречие, словно тень, шло за ним, хоть он о нем и не старался. (11) Не каждая мелочь, без сомненья, будет у него тщательно взвешена, завершена, не каждое слово раззадорит и уколет, это так; многие, сделав выпад, промахнутся, и порою речь будет праздно течь мимо. Но во всем будет много света, и большие куски прочитываются без усталости. И ты поймешь: он стремился дать тебе понять, что ему нравится, а не понравиться тебе. Цель всего – способствовать успехам и благомыслию, а рукоплесканья ему не нужны.

(12) Я не сомневаюсь, что его сочинения таковы, хотя скорее припоминаю их, чем помню; у меня сохранился в памяти их цвет, но не так явственно, как после недавней встречи, а в общих чертах, как бывает с узнанным давно. По крайней мере, когда я его слушал, они казались мне хотя и немного рыхлыми, но богатыми, способными увлечь даровитого юношу и побудить к подражанию, не отнимая надежды на победу, – а это, по-моему, самое действительное ободрение, так как всякий, кто внушает желание, но отнимает надежду подражать себе, только отпугивает нас. Впрочем, слов у него в изобилии, и, хоть по отдельности не все части заслуживают похвалы, в целом он великолепен. Будь здоров.

Письмо CI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Каждый день, каждый час показывает нам, что мы – ничто. Все новые доказательства напоминают об этом людям, забывшим о своей бренности, и заставляют их от простирающихся на целую вечность замыслов обратиться взглядом к смерти. – Ты спрашиваешь, к чему такое начало? – Ведь ты знал Корнелия Сенециона, римского всадника, человека блестящего и услуж-

ливого; он пробился своими силами, начав с малого, и перед ним уже открыт был пологий путь к остальному. (2) Ибо достоинство растет скорее, чем возникает. И деньги, едва вырвавшись из бедности, долго мешкают поблизости от нее. А Сенецион подошел вплотную к богатству, к которому вели его два способствующих успеху свойства: уменье приобретать и уменье беречь, – а из них и одно может сделать любого богачом (3) И вот этот человек, весьма воздержный и заботившийся о теле не меньше, чем об имуществе, утром по обыкновению побывал у меня. потом весь день до вечера просидел у постели безнадежно больного друга, потом весело поужинал, – а вечером захворал быстротечною болезнью – перепончатой жабой, которая сдавила ему горло так, что он дышал, да и то с трудом, только до рассвета. Так он и отошел, спустя несколько часов после того, как сделал все, что положено здоровому и крепкому. (4) Он, пускавший деньги в оборот по морю и по суше, он, не оставлявший без вниманья ни одного источника прибыли и уже подбиравшийся к откупам, был унесен из самой гущи ладившихся дел, в разгаре охоты за деньгами.

Груши теперь, Мелибей, прививай, рассаживай лозы![1]

Как глупо строить расчеты на весь свой век, не владея даже завтрашним днем! Какое безумство – сегодня надеяться на далекое будущее! – «Я куплю, я построю, я дам взаймы и стребую, я получу эти должности, – а потом, усталый и пресыщенный, проведу на покое старость». – (5) Поверь мне, даже у счастливцев будущее неверно. Никто не должен ничего сулить себе: даже то, что мы держим, ускользает из рук, и вот этот час, уже пойманный нами, случай может оборвать. Время катится – по установленному закону, но темным путем; что мне до будущего природы, которое ясно, когда мое будущее неясно?

(6) Мы рассчитываем, объездив чужие берега в долгом плаванье, много спустя вернуться на родину, рассчитываем на позднюю награду за военную службу и лагерные труды, на управленье провинцией, на восхожденье от должности к должности, – смерть же стоит рядом, а так как мы думаем о ней только по поводу чужой кончины, нам напоминают о том, что люди смертны, всё новыми примерами, хоть мы и будем помнить их, только пока они перед глазами. (7) Сегодня случилось то, что может случиться каждый день, – и есть ли что глупее, чем удивляться этому? Всем нам неумолимая неизбежность судеб поставила некий предел, но никто из нас не знает, близко ли он. Настроим же душу так, словно мы дошли до конца; не будем ничего откладывать, чтобы всякий день быть в расчете с жизнью. (8) Величайший изъян жизни – вечная ее незавершенность из-за нашей привычки откладывать со дня на день. Кто каждый вечер заканчивает дело своей жизни, тому время не нужно. Между тем нужда в нем родит страх и жажду будущего, истачивающую душу. Нет ничего более жалкого, нежели сомненья в том, чем кончится наступающий день. Сколько бы и что бы нам ни предстояло, тревожный дух будет мучиться неизъяснимым страхом [2].

(9) Как избежать этих треволнений? Нужно одно: чтобы наша жизнь не рвалась вперед, чтобы она была сосредоточена, – ибо у кого настоящее уходит впустую, тот и зависит от будущего. А когда я расквитался с са мим собой, когда спокойный дух знает, что день и век – одно и то же, тогда он смотрит свысока на все дни и дела, которые наступят, и с громким смехом думает о череде времен. Разве страшны изменчивость и непостоянство случая, если ты заведомо спокоен перед неведомым? (10) Так что спеши-ка жить, мой Луцилий, и каждый день считай за целую жизнь. Кто приладился жить так, для кого каждый вечер – конец жизни, тот не знает страха. Кто живет надеждой, тот упускает ближайшее время, – а тогда на него нападают жадность и жалкий, делающий жалким все вокруг страх смерти. Вот откуда взялась постыдная молитва Мецената, в которой он не отказывается ни от расслабленности, ни от уродства, ни даже от пытки – лишь бы среди этих бедствий ему продлили жизнь:

(11) Пусть хоть руки отнимутся,
Пусть отнимутся ноги,
Спину пусть изувечит горб,
Пусть шатаются зубы,
Лишь бы жить, и отлично все!
Даже если и вздернут

На крест, – жизнь сохраните мне!

(12) Он желает себе худшего, что только может случиться, и молит о продлении пытки, как о жизни! Я счел бы самым презренным любого, кто хотел бы жить вплоть до пытки. А он говорит: отними у меня руки и ноги, лишь бы в расслабленном, бесполезном теле осталось дыханье; изувечь меня, но только прибавь чудовищному уроду хоть немного времени; вздерни меня на крест, заставь сесть на кол [3], – стоит зажать свою рану и висеть распятым, лишь бы оттянуть самое лучшее среди бедствий – конец муки; стоит сохранить душу, чтобы дольше с нею расставаться! Что пожелать такому, как не благосклонности богов? (13) Разве другого хочет позорная изнеженность этих стихов? Эта сделка с безумной трусостью? Это гнусное выклянчиванье жизни? Можно ли подумать, что ему когда-то Вергилий читал:

Так ли гибель страшна? [4]

Он желает себе худших бедствий и жаждет того, что тяжелее всего вынести: чтобы они тянулись и не прекращались. Ради какой награды? Ради чуть более долгой жизни. Но разве долго умирать значит жить? (14) Неужто найдется такой, кто предпочтет хиреть в пытках, терять один за другим члены тела, расставаться с душою по капле вместо того, чтобы сразу испустить ее? Неужто хоть кто-нибудь, будучи приведен к позорному дереву и уже прежде расслабленный, уже изувеченный, со вспучившейся горбом спиной и грудью, еще до креста имевший тысячу причин умереть, захочет продлением пыток продлить жизнь? Вот и спорь теперь с тем, что неизбежность смерти – великое благодеянье природы! (15) Многие готовы вытерпеть и кое-что похуже, готовы предать друга, чтобы жить подольше, собственноручно отдать на растление детей, чтобы только глядеть на свет – свидетель стольких злодеяний. Нужно избавиться от жажды жизни и заучить одно: безразлично, когда случится с тобою то, что все равно когда-нибудь случится. В жизни важно благо, а не долгий век; и нередко в том и благо, что он короток. Будь здоров.

Письмо CII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Как тот, кто будит нас и прерывает приятное сновиденье, нам в тягость (ведь он отнимает наслаждение, хоть и мнимое, но по действию своему равное настоящему), так и твое письмо испортило мне настроенье, оторвав от самых подходящих для меня мыслей, которым я отдавался, готовый, если будет можно, пойти и дальше. (2) Я тешился изысканиями о бессмертии души и даже, клянусь, рад был верить в него. Да, я легко вверялся мнениям великих людей, скорее посуливших, чем доказавших эту желанную возможность. Вот я и предавался прекрасной надежде, и уже сам себе был несносен, и презирал уже остаток моей одряхлевшей жизни, готовясь перейти в бесконечное время и стать хозяином вечности, – и вдруг пришло твое письмо и разбудило меня, лишив красивого сновиденья. Впрочем, разделавшись с тобою, я снова его потребую и выкуплю.

(3) В начале письма ты утверждаешь, будто я не довел до ясности то рассужденье, где пытался доказать, что посмертное признанье есть благо, как утверждают наши. Я-де не опроверг возражения, гласящего, что не бывает блага из отдельных частей, признанье же именно таково. (4) То, о чем ты, Луцилий, спрашиваешь, относится к тому же рассужденью, но к другому разделу, потому я и оставил в стороне не только это, но и еще нечто, относящееся к нему же. Ты сам знаешь, что с вопросами нравственными перемешаны и вопросы, касающиеся мышления. Вот я и занялся той частью, которая прямо относится к нравам: не глупо ли и не излишне ли заботиться о том, что наступит после смертного часа? погибают ли наши блага вместе с нами? остается ли что-нибудь от того, кого уже нет? можно ли получить или стремиться получить какой-нибудь плод с еще не существующего и имеющего появиться тогда, когда мы его не почувствуем? (5) Все это касается нравов и, значит, было к месту. А все, что возражают диалектики, следовало отделить, – вот оно и было оставлено без вниманья. Но сейчас, раз уж ты требуешь, я не пропу-

щу ни одного из их утверждений и выскажусь против каждого в отдельности.

(6) Без предисловий нельзя будет понять, что опровергается. Что же я хочу сказать предварительно? Есть тела цельные – например, человек; есть составные – например, корабль, или дом, словом, все, в чем разные части скреплены в единое целое; и есть слагающиеся из отдельных членов, существующих порознь, – например, войско, народ, сенат. Предметы, из которых слагаются такие тела, объединены правами или обязанно стями, но по природе не связаны и разобщены. Что же еще мне предварительно сказать? (7) Мы думаем, что не бывает благ, состоящих из отдельных частей: единое благо должно охватываться и управляться единым духом, иметь единый исток. Это, если тебе угодно, доказывается само собою, – но установить это следовало, так как в нас мечут наши же копья. – (8) «Вы утверждаете, что не бывает блага из отдельных частей; но признанье есть благоприятное сужденье людей добра. Как не может быть молвою речь одного-единственного и поношеньем – дурное мнение одного-единственного, так и для признанья мало понравиться одному человеку добра. Для признанья потребно единодушие многих известных и почтенных мужей. Стало быть, признанье слагается из суждений множества лиц, то есть из отдельных частей, и, следовательно, не может быть благом. (9) Признанье – это хвала, воздаваемая людьми добра человеку добра; хвала есть речь, речь есть звук, обозначающий нечто, или голос; а голос, пусть даже и самых лучших людей, не есть благо. Ведь не все, что делает человек добра, есть благо: он и рукоплещет, и свистит, но даже тот, кто всем в нем восхищается и все хвалит, не назовет благом ни рукоплесканья, ни свист, – так же, как чох или кашель. Значит, признанье не есть благо. (10) И главное, скажите-ка, для кого оно благо – для хвалящего или для хвалимого? Говорить, как вы, что оно благо для хвалимого, так же смешно, как утверждать, будто чужое крепкое здоровье – это мое здоровье. Но хвалить по заслугам есть деянье честное; значит, хвала есть благо для хвалящего, то есть совершающего деянье, а не для нас, хвалимых. Этого-то мы и доискивались».

(11) Теперь я кратко отвечу на все по отдельности. Во-первых, еще не установлено, нет ли благ из отдельных частей; оба ответа имеют сторонников. Во-вторых, признанье не нуждается во многих поданных за него голосах – довольно сужденья и одного человека добра; ведь и один человек добра признает нас равными себе. – (12) «Так что же, значит, и молва это мнение одного человека, а поношенье – это злоречивость одного? Слава, по-моему, требует широкого распространенья и единодушия многих». Но одно дело молва или поношение, другое – признанье. Почему? Да если обо мне хорошо думает муж добра, это все равно, как если бы так же думали все мужи добра; да они и думали бы так же, если бы меня узнали. Все они судят одинаково, ибо равно основываются на истине и потому не могут разойтись. Вот и получается так, словно они все думают одно, ибо иначе думать ни один не может. – (13) «Для молвы или для славы мало мненья одного-единственного». – Но тут приговор одного равноценен общему, – потому что он будет одинаков у всех, если их опросить; а там у несхожих людей различны и суждения, несходны чувства, и все – сомнительно, легковесно, подозрительно. Ты думаешь, они могут судить все одинаково? Даже один судит по-разному! Человек добра держится правды, а у правды одна суть, один облик; все прочие согласны между собою только в вещах ложных, которые не бывают постоянны, но изменчивы и противоречивы. – (14) «Но хвала – это только голос, а голос не может быть благом». – Однако, говоря, что признанье есть хвала, воздаваемая добрыми добрым, они сами имеют в виду не голос, а суждение. Пусть муж добра молчит, но кого он считает достойным хвалы, тот ее получил. (15) И потом, хвала – это одно, а восхваленье – другое: для него-то и нужен голос. Потому говорят не «надгробная хвала», а только «восхваление», что выполняющий эту обязанность должен держать речь. Утверждая, что такой-то заслуживает хвалы, мы сулим ему не благожелательные разговоры, а мнения. Значит, хвала – это и невысказанное одобренье того, кто про себя хвалит человека добра.

(16) Далее, как я сказал, источник хвалы – душа, а слова только обнаруживают выношенную в душе хвалу и доводят ее до сведенья многих. Хвалит тот, кто считает хвалу уместной. Когда знаменитый наш трагический поэт[1] говорит, что превосходно, когда «нас хвалит достохвальный муж», он имеет в виду мужа, достойного хвалы. И когда столь же древний поэт говорит: «Хвала питает искусства» [2], он имеет в виду не восхваленье; оно развращает искусства, и ничто так не испортило и красноречье, и прочие из них, которые обращаются к слуху, как

всенародное одобрение. (17) Молва непременно требует слов в полный голос, признанье – нет: оно может довольствоваться невысказанным сужденьем и быть полным не только среди молчанья, но и среди порицающих криков. Я объясню, в чем разница между признанием и славой: слава слагается из суждений многих, а признанье одних только добрых.

– (18) «Для кого признанье, или хвала, воздаваемая добрыми добрым, есть благо: для хвалящих или для хвалимых?» – Для обоих: и для меня, которого хвалят, потому что природа наделила меня любовью ко всем, и я радуюсь правильности моих поступков, и счастлив, что нашлись благодарные истолкователи моих добродетелей. Их благодарность – благо для многих, но и для меня тоже. Ведь строй моей души таков, что я считаю чужое благо своим, особенно если я сам – источник блага для них. (19) Но признанье благо и для хвалящих: его направляет добродетель, а всякое ее деяние есть благо. Оно бы им не досталось, не будь я таким. Значит, заслуженная хвала – благо для обоих, – точно так же, клянусь, как судить благосклонно – благо и для того, кто судит, и для того, в чью пользу его сужденье. Неужели ты сомневаешься, что справедливость – благо и для того, кто ею обладает, и для того, кому она воздает должное? А ведь хвалить по заслугам – справедливо; значит, такая хвала – благо для обоих.

(20) Мы щедро ответили на все эти умствования. Но не это должно быть нашей целью – хитро рассуждать и низводить философию с вершин ее величия в такие теснины. Не лучше ли идти прямой и открытой дорогой, чем по доброй воле петлять и с трудом выбираться из этой путаницы? Ведь все эти прения – просто игра для тех, кто старается половчее поймать друг друга. (21) Лучше скажи о том, что согласно природе наш дух должен стремиться в бескрайнюю ширь, ибо душа человека – вещь великая и благородная и не допускает, чтобы ей ставили иные, нежели богам, пределы. Во-первых, она не согласна, чтобы родиной ее были ничтожный Эфес или тесная Александрия или другое место, еще обильней населенное и гуще застроенное. Ее граница – все то, что опоясывается последним и всеобъемлющим кругом, внутри которого лежат земли и моря, внутри которого воздух соединяет и вместе разделяет божественное и человеческое, внутри которого расставлено по местам столько божеств, чтобы каждое делало свое дело. (22) Во-вторых, она не принимает отпущенного ей короткого срока: «Мне принадлежат, – говорит она, – все годы, ни один век не заперт для великого ума, и все времена доступны мысли. Когда придет последний день и разделит божественное и человеческое, перемешанные сейчас, я оставлю это тело там, где нашла его, а сама вернусь к богам. Я и теперь не чужда им, хоть и держит меня тяжкая земная темница». (23) Этот медлительный смертный век только пролог к лучшей и долгой жизни. Как девять месяцев прячет нас материнская утроба, приготовляя, однако, жить не в ней, а в другом месте, куда мы выходим, по-видимости способные уже и дышать и существовать без прежней оболочки, так за весь срок, что простирается от младенчества до старости, мы зреем для нового рождения. Нас ждет новое появленье на свет и новый порядок вещей. А без такого промежутка нам не выдержать неба.

(24) Так не страшись, прозревая впереди этот решительный час: он последний не для души, а для тела. Сколько ни есть вокруг вещей, ты должен видеть в них поклажу на постоялом дворе, где ты задержался мимоездом.

(25) Природа обыскивает нас при выходе, как при входе. Нельзя вынести больше, чем принес; да и немалую часть того, что ты взял с собою в жизнь, придется оставить. Ты сбросишь верхний из одевающих тебя покровов – кожу, ты лишишься плоти и разливающейся по всему телу крови, лишишься костей и жил, скрепляющих все текучее и непрочное.

(26) Тот день, которого ты боишься как последнего, будет днем рождения к вечной жизни. Сбрось груз! Что ты медлишь, как будто уже однажды не покинул прятавшего тебя тела? Ты мешкаешь, упираешься, – но и тогда тебя вытолкнуло величайшее усилие матери. Ты стонешь, плачешь; плакать дело новорожденного, но тогда тебя можно было простить: ты появился неразумным и ничего не ведающим, тебя, едва покинувшего мягкое тепло материнской утробы, овеял вольный воздух, а потом испугало грубое прикосновение жестких рук, и ты, нежный, ничего не понимающий, оторопел перед неведомым. (27) Теперь для тебя уже не внове отделяться от того, частью чего ты был; так равнодушно расставайся с ненужными уже членами и сбрасывай это давно обжитое тело. Его рассекут, закопают, уничтожат. А ты что печалишься? Это дело обычное! Ведь оболочка новорожденных чаще всего гибнет. Зачем ты любишь как свое то, что

тебя одевает? Придет день, который сдернет покровы и выведет тебя на свет из мерзкой зловонной утробы.

(28) И теперь взлети отсюда, насколько можешь; привязывайся к самым дорогим и близким не больше, чем чужой человек[3]; уже здесь помышляй о более высоком и величавом. Когда-нибудь перед тобою откроются тайны природы, рассеется этот туман и отовсюду ударит в глаза яркий свет. Представь себе, каково будет это сиянье, в котором сольется блеск бессчетных звезд. Ни одна тень не омрачит ясности, каждая сторона не бес будет сверкать одинаково ослепительно, – ведь чередованье дня и ночи есть удел нижнего воздуха. И вот, когда ты всем существом воспримешь весь этот свет, который теперь смутно доходит слишком тесными для него путями зрения и все же издали восхищает тебя, – тогда ты скажешь, что прожил жизнь в темноте. Чем покажется тебе божественный свет, когда ты его увидишь в его области? (29) Мысль о нем не допускает, чтобы в душе угнездились грязь, и низость, и жестокость. Она твердит, что боги – свидетели всех наших дел, приказывает искать их одобрения, готовиться к будущей встрече с ними, видеть перед собою вечность. А тот, кто постиг ее разумом, не устрашится никакого войска, не испугается трубы, не побоится ничьих угроз. (30) Да и откуда страх у того, кто надеется умереть? Ведь и утверждающий, будто душа существует лишь до тех пор, покуда удерживается в оковах плоти, а отделившись, тотчас рассеивается, все же старается [4] и после смерти быть полезным. Пусть он сам исчезнет с глаз, однако

Мужество мужа в душе вспоминают и древнюю славу Рода его...[6]

Подумай сам, до чего нам полезны добрые примеры, – и ты поймешь, что память о великих людях не менее благотворна, чем их присутствие. Будь здоров.

Письмо CIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Зачем ты опасаешься беды, что может произойти с. тобою, а может и не произойти? Я имею в виду пожар, обвал дома и прочее, что на нас обрушивается, но не подстерегает нас. Лучше смотри и старайся избежать того, что следит за нами и хочет поймать. Потерпеть крушение, упасть с повозки – все это случаи тяжкие, но редкие; а вот человек человеку грозит ежедневно. Против этой опасности снаряжайся, ее выслеживай внимательным взглядом: нет беды чаще, нет упорней, нет вкрадчивей. (2) Буря, прежде чем разразиться, грозит нам, здания, прежде чем рухнуть, дают трещину, дым предупреждает о пожаре, – гибель от руки человека внезапна и чем ближе подступает, тем усерднее прячется. Ты заблуждаешься, если веришь лицам встречных: обличье у них человеческое, душа звериная; или нет, со зверьми только первое столкновение опасно, а кого они минуют, тех не ищут больше, потому что только необходимость толкает их чинить вред. Зверей заставляет нападать или голод, или страх, а человеку погубить человека приятно.

(3) Думай, однако, о грозящей от человека опасности так, чтобы не забывать и о долге человека. На одного гляди, чтоб он тебе не повредил, на другого – чтобы ему не повредить. Радуйся чужим удачам, огорчайся неудачам, помни, что ты должен дать другим и чего остерегаться. (4) Чего ты достигнешь, живя так? Повредить тебе смогут все равно, а вот обмануть не смогут. Укройся, насколько сможешь, в философии: она тебя спрячет в объятиях, в ее святилище ты будешь или в полной, или в большей безопасности. Сталкиваются только те, кто гуляет по одной дороге. (5) Однако и самой философией нельзя похваляться: для многих, кто хвастался ею и кичился, она стала причиной опасности. Пусть она избавит от пороков тебя, а не обличает чужие пороки; пусть не чурается общепринятых обычаев; пусть постарается не внушать мненья, будто она осуждает то, от чего воздерживается. Можно быть мудрым, и не выставляясь напоказ, не вызывая неприязни. Будь здоров.

Письмо CIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я убежал к себе в Номентанскую усадьбу, – от чего, по-твоему? От города? – Нет, от лихорадки, – той, что подкрадывается исподволь. Она уже наложила на меня руку, но я сразу велел закладывать повозку, хоть Паулина[1] меня и удерживала. Врач говорил, что это только начало, потому что биение жил неспокойно и неровно, его обычная мера нарушена. Я настаивал на отъезде. На устах у меня были слова господина моего Галлиона[2], который, захворав лихорадкой в Ахайе, тотчас поднялся на корабль, восклицая, что болезнь обитает не у него в теле, а в тамошней местности. (2) Это я и сказал Паулине, ради которой мне приходится думать о здоровье. Зная, что ее жизнь стала едина с моею, я начинаю щадить себя, так как щажу ее, и, хотя старость сделала меня во многом храбрее, я теряю это преимущество моего возраста. Мне приходит на ум, что моя старость вобрала в себя чужую молодость, которую нужно беречь. И так как я не добиваюсь от Паулины, чтобы она была мужественней в любви ко мне, то она добивается, чтобы я был прилежнее в любви к себе. (3) Ведь высоким чувствам нужно идти навстречу, и порой, вопреки напору обстоятельств, во имя близких возвращаться к жизни даже и с мукой, зубами удерживая вылетающий дух; ведь человеку добра нужно жить, сколько велит долг, а не сколько приятно. Кто ни жены, ни друга не ценит настолько, чтобы ради них продлить себе жизнь и не упорствовать в намеренье умереть, тот просто избалован. Если польза близких требует, душа может даже приказать себе положить конец не только желанью смерти, но и самой смерти, когда она началась, – только бы угодить близким. (4) Вернуться к жизни ради других признак наибольшего величия души, и величайшие мужи часто так поступали. Но и то, по-моему, свидетельствует о высочайшей человечности, что ты оберегаешь свою старость, величайшее благодеянье которой – возможность беспечнее относиться к себе и смелее пользоваться жизнью, и заботишься о ней, зная, что кому-нибудь из твоих юна мила, полезна и дорога. (5) И за это нам достается в награду немалая радость: разве не самое отрадное когда жена так тебя любит, что ты сам начинаешь любить себя больше? И выходит, что Паулина может поставить мне в заслугу не только страх за нее, но и за меня самого.

(6) Но ты спрашиваешь, чем кончился мой замысел уехать? Едва я выбрался из давящего города, от запаха дымящихся кухонь, которые, едва их затопят, изрыгают вместе с пылью все таившиеся в них ядовитые пары, как тотчас самочувствие мое изменилось. А как ты думаешь, сколько сил прибавилось у меня, когда я добрался до виноградников? Выпущенный на пастбище, я накинулся на мой корм. Я снова нашел самого себя: не осталось слабости в ненадежном, замышлявшем дурное теле, я опять всей душой предался занятиям.

(7) Но место мало поможет в этом, если душа не будет принадлежать сама себе, – а она, если захочет, найдет способ уединиться даже в гуще дел. Напротив, кто выбирает то ту, то эту местность в погоне за досугом, всюду найдет отвлеченья. Рассказывают, еще Сократ, когда кто-то жаловался на то, что не получил пользы от путешествий, ответил: «И недаром: ведь ты путешествовал с тобою!» (8) Как хорошо было бы некоторым уехать подальше от себя! А не то они сами себя теребят, портят, пугают. Что пользы пересекать моря и менять города? Если хочешь бежать от того, что не дает тебе покоя, другим должно быть не место а ты. Представь себе, что ты приехал в Афины, приехал на Родос; выбирай какую угодно страну; разве важно, какие в ней нравы? Ведь твои-то нравы – с тобою! (9) Ты считаешь богатства благом; стало быть, тебе будет мучительна бедность и – самое печальное! – бедность мнимая: ведь ты, хоть имеешь много, будешь воображать, будто тебе не хватает ровно столько, яа сколько превзошел тебя имеющий больше. Ты считаешь благом почести: так тебе будет плохо от того, что такой-то стал консулом, а такой-то – даже во второй раз; ты будешь завидовать всякому, чье имя чаще попадается в годовых списках[3]. И честолюбие настолько лишит тебя разума, что при виде одного обогнавшего ты забудешь обо всех, кого оставил позади. (10) Ты считаешь смерть величайшим злом, хотя если есть в ней что-то плохое, как только одно: ее боятся раньше, чем она приходит. Тебя будут пугать не то что опасности, а подозрения, ты постоянно будешь мучиться пустыми страхами. Что пользы, если

Путь меж врагов позади, позади твердыни аргивян? [4]

Даже мир даст тебе поводы бояться; однажды пав духом, ты и самой безопасности не будешь верить. Привыкшая к слепому страху душа неспособна будет заботиться о собственном спасенье: она ие избегает, а убегает, а опасности легче ударить нас сзади. (11) Самым тяжким злом ты считаешь потерю любимых, – а это так же глупо, как оплакивать листья, падающие с красивых и украшающих твой дом деревьев. На все, что тебе приятно, смотри так же, как смотришь на эти листья, покуда они зелены[5]. Тот или этот день непременно отнимет у тебя того или этого; но и утрата тек, кого ты любишь, кого считаешь усладой своей жизни, не тягостней паденья листьев: снова родятся листья, снова появятся близкие, хоть прежние вновь и не родятся. – (12) «Вот именно, не прежние!» – Так и ты не будешь прежним! Всякий день, всякий час ты меняешься, – но что похищено у других, то явно, а украдкой похищенного у нас мы не видим. Других у нас отнимают, а самих себя мы теряем незаметно. Об этом ты не думаешь и не ищешь лекарства для ран, – напротив, ты сам сеешь причины для треволнений, на то надеясь, в этом отчаиваясь. Но разумный всегда примешивает к надеждам долю отчаянья, к отчаянью – долю надежды.

(13) Чем может помочь странствие само по себе? Оно не умерит страсти к наслажденьям, не обуздает алчности, не утишит гневливости, не отразит неукротимого натиска любви, не избавит душу от других зол, не прояснит суждений, заблуждений не рассеет, – разве что на короткое время займет тебя новизной, как мальчика, который дивится невиданному. (14) В остальном же езда только усиливает непостоянство духа, когда он нездоров, делает его еще легкомысленней и беспокойней. Те, кто жадно стремился в иные места, покидают их еще более жадно, перелетают как птицы, уезжают быстрей, чем приехали. (15) Путешествие даст тебе узнать другие племена, покажет горы необычайных очертаний, исхоженные пространства равнин, орошенные неиссякаемыми водами долины, или, если ты понаблюдаешь, природу какой-нибудь реки, которая либо набухает от летнего паводка, как Нил, либо, как Тигр, скрывается из виду, а потом» такая же полноводная, появляется из тайников, через которые текла; либо, как Меандр – предмет упражнений и игры для всех поэтов, – вьется частыми излучинами, близко подступает к собственному руслу и опять поворачивает, не успевши влиться в себя самое. Но путешествие не сделает тебя ни лучше, ни здоровее.

(16) В ученых занятиях, в общении с чиноначальниками мудрости должны мы проводить время, чтобы усвоить исследованное, исследовать неоткрытое. Так нуждающаяся в искуплении душа отпускается на свободу из жалкого рабства. А пока ты не знаешь, от чего бежать, к чему стремиться, что необходимо, что не нужно, что справедливо и что честно, будешь ты не путешествовать, а блуждать. (17) Никакой пользы не даст тебе эта езда: ты ведь будешь путешествовать вместе со своими страстями, и твои беды от тебя не отстанут. Если бы только не отстали? Тогда они были бы еще далеко: а так они не с тобою, а в тебе и, значит, везде будут томить тебя и мучить одинаковыми неприятностями. Больному следует искать не новых мест, а лекарства. (18) Человек сломал бедро, подвернул сустав: не в повозку и не на корабль должен он садиться, но позвать врача, чтобы тот срастил сломанную кость, вправил вывих. Так неужели, по-твоему, можно вылечить переменою мест душу, сломанную и вывихнутую во многих местах? Слишком силен этот недуг» чтобы лечить его прогулками в носилках. (19) Путешествие никого не сделает ни врачом, ни оратором; местность не учит никакому искусству; так неужели мудрости, которая превыше всего, можно набраться по дороге? Поверь мне, нет дороги, которая уведет тебя прочь от влечений» от гнева, от страха, – а будь такая дорога, весь род человеческий пустился бы по ней сомкнутым строем.

Все эти недуги будут томить тебя и иссушать в странствиях по морям и по суше, пока ты будешь носить в себе их причины. (20) Ты удивляешься, что бегство тебе не помогло? Но все, от чего ты бежишь, с тобою. Значит, исправься сам! Сбрось с себя бремя, удерживай желания в неких пределах, выскобли из души всякую порчу! Если хочешь приятно путешествовать, вылечи твоего спутника! Будешь жить вместе со скупым и алчным, – жадность пристанет к тебе; будешь общаться со спесивцем, – к тебе перейдет чванство; в дружбе с палачом ты не избавишься от жестокости; возьми в товарищи развратника – распалится и твоя похоть. (21) Хочешь освободиться

от пороков – сторонись порочных примеров. Скупец, развратитель, жестокий, коварный, – все, что повредили бы тебе, будь они близко, – в тебе самом. Уйди от них к лучшим, живи с Катонами, с Лелием, с Тубероном, а если тебе по душе греки – побудь с Сократом, с Зеноном. Один научит тебя умереть, когда это необходимо, другой – раньше, чем будет необходимо6. (22) Живи с Хрисиппом, с Посидонием. Они передадут тебе знание божественного и человеческого, они прикажут быть деятельным и не только красно говорить, сыпля словами для удовольствия слушателей, но и закалять душу и быть твердыми против угроз. В этой бурной, как море, жизни есть одна пристань: презирать будущие превратности, стоять надежно и открыто, грудью встречать удары судьбы, не прячась и не виляя. (23) Природа произвела нас на свет высокими душой и, подобно тому как одних животных она наделила свирепостью, других – хитростью, третьих – трусостью, так нам она дала дух славный и божественный, ищущий, как жить честнее, а не как безопасней, подобный вселенной, – ибо с нею он состязается, за ней следует, насколько это возможно человеческому шагу. Он жаждет отличиться и верит, что его заметят и похвалят. (24) Он – господин всего, он над всем и, значит, ничему не покоряется. Ничто не кажется ему ни тяжким, ни способным согнуть мужа.

Гибель и тягостный труд – ужасные видом обличья;[7]

вовсе нет, если кто сможет посмотреть на них прямо и пробиться взглядом сквозь тьму. Многое, что ночью представляется ужасным, день делает смехотворным.

Гибель и тягостный труд – ужасные видом обличья.

Наш Вергилий сказал превосходно: они ужасны не на самом деле, а только видом, то есть кажутся такими, а казаться – не значит быть. (25) Так ли они, повторяю, страшны, как гласит молва? И скажи, Луцилий, молю: с чего мужу бояться труда, человеку – смерти?

Сколько раз попадались мне считающие невозможным все, чего сами они не могут, и говорящие, будто мы требуем больше, чем выдерживает человеческая природа. (26) Насколько же лучше я думаю о них! Ведь и они многое могут, да не хотят. А кому из тех, кто пытался, изменял успех? Разве, когда возьмешься, все не оказывается легче? Мы не потому не осмеливаемся, что трудно, – трудно оттого, что мы не осмеливаемся. (27) Если вам нужен пример, возьмите Сократа, старца необычайной выносливости, прошедшего через все невзгоды, но не побежденного ни бедностью, еще более гнетущей из-за домашнего бремени, ни тяготами, которые он нес и на войне, и дома должен был сносить, – вспомни хоть его жену с ее свирепым нравом и дерзким языком, хоть тупых к ученью детей, больше похожих на мать, чем на отца. И почти всю его жизнь была то война, то тирания, то свобода более жестокая, чем война и власть тиранов. (28) Двадцать семь лет шли битвы8; закончились бои – государство предано было зловредности тридцати тиранов, большинство из которых были ему врагами. И наконец – приговор по самым тяжким статьям: ему ставили в вину и святотатство, и развращение юношества, которое он, мол, натравливал на богов, на родителей, на государство; а после этого – темница и яд. Но все это настолько не изменило его души, что он даже в лице не изменился. Вот удивительное и редкое свойство! А Сократ сохранил его до последнего часа: никто не видел его ни веселее, ни печальнее, – он был постоянно ровен среди постоянных преследований фортуны.

(29) Хочешь другой пример? Возьми того Катона, что жил недавно, которого фортуна гнала с еще большей враждебностью и упорством. Во всем она ставила ему преграды, даже под самый конец не давала умереть, а он доказал, что мужественный может и жить, и умереть против воли фортуны. Вся его жизнь прошла или в пору гражданских войн, или в ту, что была уже чревата гражданской войною. И о нем, ничуть не меньше, чем о Сократе, можно сказать, что он жил под игом рабства 9, если только ты не считаешь Гнея Помпея, и Цезаря, и Красса сторонниками свободы. (30) Никто не видел, чтобы Катон менялся при всех переменах в государстве: он явил себя одинаковым во всем – в преторской должности и при провале на выборах, при обвиненье и в провинции, на сходке народа, в войсках, в смерти. Наконец, когда трепетало все государство, когда по одну сторону был Цезарь, поддержанный десятью легионами и таким же многочислен-

ным прикрытием из иноземных племен, по другую – Помпеи, который один стоил всех этих сил, когда эти склонялись к Цезарю, те – к Помпею, – один лишь Катон составлял партию приверженцев республики. (31) Если ты захочешь охватить в душе картину того времени, то по одну сторону ты увидишь плебеев и чернь, готовую устроить переворот, по другую – оптиматов и всадническое сословие и все, что было в городе почтенного и отборного; а посреди осталось двое – Катон и республика. Ты удивился бы, увидав, что

Здесь и Атрид, и Приам, и Ахилл, обоим ужасный,[10]

ибо он обоих порицает, обоих разоружает. (32) Вот какой приговор выносит Катон обоим: «Если победит Цезарь, я умру; если Помпеи – отправлюсь в изгнанье». Чего было ему бояться, если он сам себе – и побежденному, и победителю – назначил то, что мог бы назначить.разгневанный противник? Он и погиб по собственному приговору. (33) Ты видишь, что люди могут переносить тяготы: через пустыни Африки он пешком провел свое войско. Видишь, что можно терпеть и жажду: увлекая за собой по иссохшим холмам остатки побежденного войска, безо всякой поклажи, он выносил недостаток влаги, а когда случалась вода, пил последним н. Видишь, что можно презреть и почет и бесчестье: в самый день своего провала он играл на площади собраний в мяч. Видишь, что можно не бояться могущества вышестоящих: он бросал вызов сразу и Цезарю, и Помпею, меж тем как остальные если и осмеливались задевать одного, то лишь в угоду другому. Видишь, что можно презреть и смерть, и изгнанье: он сам себе назначил и изгнанье, и смерть, а до того – войну.

(34) Значит, мы можем набраться довольно мужества, чтобы всему.этому противостоять, – лишь бы нам захотелось высвободить шею из ярма. Прежде всего надо отвергнуть наслаждения: они ослабляют, изнеживают и многого требуют, – потому-то многого приходится требовать от фортуны. Потом надо презреть богатства: они – залог рабства. Так отступимся от золота, от серебра и всего, чем отягощены счастливые дома: свободы не добыть задаром. А если ты высоко ее ценишь, то все остальное придется ценить ни во что. Будь здоров.

Письмо CV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я скажу, за чем тебе надобно следить, чтобы жить безопасней. А ты, полагаю, выслушаешь мои наставления так, словно я поучаю тебя, как сохранить здоровье на Ардеатинском поле[1]. Посмотри сам, что подстрекает человека губить другого, – и ты увидишь надежду, зависть, ненависть, страх, презренье. (2) Из всего названного самое легкое – это презренье: многие даже прятались в нем ради самозащиты. Кого презирают, того, конечно, топчут, но мимоходом. Никто не станет вредить презираемому усердно и с упорством. Даже в бою лежачего минуют, сражаются с тем, кто на ногах. (3) Для надежды ты не подашь бесчестным повода, если у тебя не будет ничего, способного распалить чужую бесчестную алчность, ничего примечательного. Ведь желают заполучить как раз примечательное и редкое, пусть оно и мало[2]. Зависти ты избежишь, «ели не будешь попадаться на глаза, не будешь похваляться своими благами, научишься радоваться про себя. (4) Ненависть порождается либо обидами, – но ее ты не навлечешь, если никого не будешь затрагивать, – либо родится беспричинно, – но от нее тебя убережет здравый смысл. Для многих ненависть бывала опасна: ведь иные вызывали ее, хотя и не имели врагов. Бояться тебя не будут, если твоя удачливость будет умеренной, а нрав кротким. Пусть же люди знают, что тебя задеть не опасно и помириться с тобою можно наверняка и без труда. А если тебя боятся, и дома, и вне его, и рабы, и свободные, это тебе же самому плохо: ведь повредить под силу всякому. Прибавь еще одно: кого боятся, тот и сам боится, кто ужасен другим, тому неведома безопасность. (5) Остается еще презренье; мера его – в твоей власти, если ты сам принял его на себя, если такова твоя воля, а не неизбежность. Избавиться от этой неприятности тебе помогут или свободные искусства, или дружба с людьми, имеющими власть и влияние у власть имущих. Впрочем, к ним нужно приближаться, но не сближаться тесно, чтобы лекарство не обошлось нам

дороже болезни.

(6) А самым полезным будет не суетиться и поменьше разговаривать с другими, побольше с собою. Есть в беседе некая сладость, вкрадчивая и соблазнительная, и она-то не иначе, чем любовь или опьянение, заставляет выдавать тайны. А кто услышит, тот не промолчит, кто не промолчит, тот скажет больше, чем слышал, да и о говорившем не умолчит. У всякого есть человек, которому доверяют столько же, сколько ему самому доверено. Пусть первый даже не даст воли своей болтливости, пусть довольствуется одним слушателем, – их получится целый город, и то, что недавно было тайной, делается общим толком.

(7) Еще немалый залог безопасности – не поступать несправедливо» Кто над собою не властен, у тех жизнь полна смуты и тревоги, от которых они никогда не свободны. Чем больше они навредят, тем больше боятся» трепещут, сделав зло, и не могут ничего другого делать, удерживаемые совестью, принуждающей их держать перед нею ответ. Кто ждет наказанья, тот наказан, а кто заслужил его, тот ждет непременно. (8) Когда совесть нечиста, можно остаться безнаказанным, а уверенным нельзя. Даже не пойманный думает, что его вот-вот поймают, он ворочается во сне, и едва заговорят о каком-нибудь злодействе, вспоминает о своем: оно кажется ему плохо скрытым, плохо запрятанным. Преступник может удачно схорониться, но полагаться на свою удачу не может. Будь здоров.

Письмо CVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я не так скоро отвечаю на твои письма не потому, что так уж обременен делами: этих оправданий можешь не слушать, ведь свободен и я, и все, – если мы только пожелаем. Дела за нами не гонятся, – люди сами держатся за них и считают занятость признаком счастья. Так почему же я сразу не написал тебе? То, о чем ты спрашивал, составляет часть моего труда. (2) Ведь ты знаешь, что я в нем хочу охватить всю нравственную философию и объяснить все относящиеся к ней вопросы. Вот я и колебался, отложить ли мне тебя или рассмотреть твое дело прежде, чем до него в своем месте дойдет очередь; и мне показалось, что человечнее будет не задерживать пришедшего из такой дали. (3) По тому я и этот предмет изыму из ряда связанных с ним и, если будет еще что-нибудь подобное, пошлю тебе по своей воле, без просьбы. Ты спросишь, что я имею в виду. – Все, о чем скорей приятно, чем полезно, знать; вроде того, про что ты задаешь вопросы: телесно ли благо?

(4) Благо приносит пользу, то есть действует; а что действует, то телесно. Благо движет душу, в некотором роде лепит ее и удерживает, – а все это свойства тела. Телесные блага сами телесны, – а значит, и душевные блага тоже, потому что и душа есть тело. (5) Благо человека не может не быть телом, потому что он сам телесен. Я солгу, если не признаю, что всё питающее тело или поддерживающее либо восстанавливающее его здоровье – телесно; значит, и благо человека есть тело. Я думаю, ты не сомневаешься, что страсти – такие как гнев, любовь, грусть, – суть тела (мне хочется присовокупить и то, о чем ты не спрашиваешь); а если сомневаешься, погляди, меняемся ли мы от них в лице, хмурим ли лоб и распускаем ли морщины, краснеем ли и чувствуем ли, как кровь отливает от щек. Что же, по-твоему, может оставить столь явные телесные признаки, кроме тела? (6) А если страсти суть тела, то и душевные недуги тоже, – такие как скупость, жестокость, все закоренелые и уже неисправимые пороки; а значит, и злоба со всеми ее разновидностями – коварством, завистью, спесью – тоже; (7) а значит, и блага тоже, во-первых, потому что они противоположны порокам, и, во-вторых, потому что явят тебе те же приметы. Неужели ты не видел, какую силу придает взгляду храбрость? какую остроту – разумность? какую кротость и покой – благочестье? какую безмятежность веселье? какую непреклонность – строгость? какую невозмутимость – правдивость? Значит, все это – тела: от них меняется и цвет кожи, и состоянье тела, над которым они и властвуют. Все названные мною добродетели суть блага, как и всё, что они дают. (8) Как усомниться вот в чем: все, что может к чему-либо прикоснуться, есть тело?

Тело лишь может касаться и тела лишь можно коснуться,

так сказал Лукреций [1]. А от всего названного мною наше тело не менялось бы, если бы не испытало прикосновений; значит, все это телесно. (9) Опять-таки, все, в чем достаточно силы, чтобы толкать вперед, принуждать, удерживать, приказывать, есть тело. Но разве страх не удерживает? Разве дерзость не толкает вперед? Разве храбрость не придает сил и не движет нами? воздержность не обуздывает и не отзывает вспять? радость не поднимает? грусть не давит? (10) Наконец, что бы мы ни делали, мы поступаем так по веленью либо злонравия, либо добродетели; а что повелевает телом, то и само есть тело, что дает телу силы, то тоже тело. Благо человека есть и благо его тела; значит, оно телесно.

(11) Ну что ж, в чем ты хотел, в том я тебе угодил; а сейчас я скажу себе, что ты скажешь на это (я воочию вижу тебя): мы играем в разбойники [2]; тратим время на ненужные тонкости, от которых становятся не лучше, а только ученее. (12) Мудрость и яснее, и проще, для благомыслия довольно прочесть немного. Но и философию, как все остальное, мы загромождаем ненужностями. В чтении, как и во всем, мы страдаем неумеренностью; и учимся для школы, а не для жизни. Будь здоров.

Письмо CVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Где твоя разумность? где тонкое уменье разбираться во всем? где величье? Такой пустяк так тебя мучит? Рабы сочли твою занятость благоприятной для побега! Обманули бы тебя друзья (пусть они носят это имя, которое дает им наш Эпикур [1], и зовутся так, чтобы им было особенно стыдно не быть друзьями на деле); а тебя покинули люди, на которых ты даром тратил труды, которые считали, что ты и другим в тягость. (2) Тут нет ничего необычного, ничего неожиданного. Сердиться на все эти вещи так же смешно, как жаловаться, что на улице тебя обрызгали, а в грязи ты испачкался. В жизни все – как в бане, в толчее, на дороге: одно брошено в тебя нарочно, другое попадает случайно. Жизнь – вещь грубая. Ты вышел в долгий путь, – значит, где-нибудь и поскользнешься, и получишь пинок, и упадешь, и устанешь, и воскликнешь «умереть бы!» – и, стало быть, солжешь. Здесь ты расстанешься со спутником, тут похоронишь его, там – испугаешься. Через такие вот неприятности ты и должен измерить эту ухабистую дорогу. (3) Он желает смерти? Пусть приготовит душу ко всему, пусть знает, что явился в такое место, где гремит гром, где

Скорбь ютится и с ней грызущие сердце заботы,
Бледные ликом живут болезни, унылая старость.[2]

С ними и приходится проводить жизнь под одной кровлей. Бежать от них ты не можешь, презирать можешь. А презришь ты их, если часто сумеешь предвосхитить мыслью будущее. (4) Всякий смелее подступится к тому, к чему долго приучал себя, и будет стоек в тяготах, если думал о них заранее. А неподготовленный, напротив, испугается пустяков. Вот и надо добиваться, чтобы для нас не было неожиданностей; а так как все кажется тяжелее из-за новизны, то благодаря непрестанному размышлению ты ни в какой беде не будешь новичком.

– (5) «Рабы покинули меня!» – А другого они ограбили, обвинили, предали, затоптали, старались погубить ядом или доносом. То, о чем ты говоришь, случалось со многими. Немало стрел, и самых разных, направлено в нас; одни уже вонзились, другие метко посланы и попадут непременно, третьи, хотя попадут в других, заденут и нас. (6) Так не будем дивиться тому, на что мы обречены от рожденья, на что никому нельзя сетовать, так как оно для всех одинаково. Да, так я и говорю, – одинаково: ведь даже избежавший беды мог и не уйти от нее; равенство прав не в том, что все ими воспользуются, а в том, что они всем предоставлены. Прикажем душе быть спокойной и без жалоб заплатим налог, причитающийся со смертных.

(7) Зима приносит стужу – приходится мерзнуть; лето возвращает тепло – приходится страдать от жары; неустойчивость погоды грозит здоровью приходится хворать. Где-нибудь встретится нам зверь, где-нибудь – человек, опасней любого зверя. Одно отнимет вода, другое –

огонь. Изменить такой порядок вещей мы не в силах, – зато в силах обрести величье духа, достойное, мужа добра, и стойко переносить все превратности случая, не споря с природой. (8) А природа переменами вносит порядок в то царство, которое ты видишь. За ненастьем следует вёдро; после затишья на море встают волны; по очереди дуют ветры; ночь сменяется днем; одна часть неба поднимается, другая опускается; вечность состоит из противоположностей. (9) К этому закону и должен приспособиться наш дух, ему должен следовать, ему повиноваться; что бы ни случилось, пусть он считает, что иначе быть не могло, и не смеет бранить природу.

Лучше всего перетерпеть то, чего ты не можешь исправить, и, не ропща, сопутствовать богу, по чьей воле все происходит. Плох солдат, который идет за полководцем со стоном. (10) Поэтому будем проворно и без лени принимать приказы и неукоснительно продолжать прекраснейший труд, в который вплетено все, что мы терпим. Будем обращаться к Юпитеру, чье кормило направляет эту громаду, с теми же словами, что наш Клеанф в своих красноречивых стихах, которые позволил мне переложить на наш язык пример Цицерона [3], красноречивейшего мужа. Понравятся они тебе – будь доволен, не понравятся – знай, что я только следовал Цицеронову примеру.

(11)

Властитель неба, мои отец, веди меня
Куда захочешь! Следую не мешкая,
На все готовый. А не захочу – тогда
Со стонами идти придется грешному,
Терпя все то, что претерпел бы праведным.
Покорных рок ведет, влечет строптивого.[4]

(12) Так и будем жить, так и будем говорить. Пусть рок найдет нас готовыми и не ведающими лени! Таков великий дух, вручивший себя богу. И, наоборот, ничтожен и лишен благородства тот, кто упирается, кто плохо думает о порядке вещей в мире и хотел бы лучше исправить богов, чем себя. Будь здоров.

Письмо CVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) То, о чем ты спрашиваешь, – из числа вещей, знанье которых не дает ничего, кроме знанья. Но все-таки дает, да и ты торопишься и не желаешь дожидаться книг, охватывающих всю нравственную часть философии, хоть я как раз привожу их в порядок; поэтому рассчитаюсь с тобою, не откладывая. Однако прежде напишу, как тебе следует справляться с обуревающей тебя жаждой учения, чтобы она сама себе не стала преградой. (2) Нельзя хватать и там, и тут, нельзя на все набрасываться, – целым овладевают по частям. Нужно выбирать груз по силам и заниматься только тем, на что нас хватит. Черпать надо не сколько хочется, а сколько можешь вместить. Пусть только душа твоя будет благой, – и ты вместишь, сколько хочешь. Чем больше душа принимает в себя, тем она становится шире. (3) Этому, помню, поучал нас Аттал, когда мы осаждали его уроки, приходили первыми, а уходили последними, и даже на прогулках вызывали его на разговор, между тем как он не только с готовностью, но и с радостью шел навстречу ученикам. «И для учащего, и для учащегося, – говорил он, – цель должна быть одна: польза, которую один желает принести, другой – получить». (4) Кто пришел к философу, тот пусть каждый день уносит с собою что-нибудь хорошее и возвращается домой или здоровее, или излечимее. Впрочем, так оно и будет: в том и сила философии, что она помогает не только приверженным ей, но и всем, кто имеет с нею дело. Если выйдешь на солнце – загоришь, даже если выйдешь не ради этого; если посидишь у торговца притираньями и замешкаешься немного дольше, унесешь с собою запах; побыв рядом с философией, люди, даже не стараясь, непременно извлекут нечто полезное. Обрати вниманье, что я сказал «даже не стараясь», а не «даже сопротивляясь».

– (5) «Как так? Разве мы не знаем таких, кто много лет просидел у философов – и ничуть

даже не загорел?» – Знаем, конечно, и столь постоянных и упорных, что я называю их не учениками, а жильцами философов. (6) Но многие приходят слушать, а не учиться, – так нас приводит в театр удовольствие, доставляемое слуху либо речью, либо голосом, либо действием. Ты увидишь немалую часть слушателей, для которых уроки философа приют на время досуга. Они и не думают избавиться там от пороков, усвоить какое-нибудь правило жизни, чтобы проверять свои нравы, но желают только услаждения слуха. А ведь некоторые приходят даже с письменными дощечками, – затем, чтобы удержать не мысли, а слова, и потом произнести их без пользы для слушающих, как сами слушали без пользы для себя. Других возбуждают благородные изречения, и они, подвижные и лицом и душой, преисполнятся тех же чувств, что и говорящий, – (7) точно так же, как под звуки флейты приходят в возбуждение фригийские полумужи[1], беснующиеся по приказу. Этих подстегивает и увлекает красота предмета, а не звук пустых слов. Если мужественно говорят о смерти или с непокорностью – о судьбе, им хочется тут же сделать все, о чем они слышали. Они поддались, они стали такими, как им велено, – если бы только душа их сохранила этот строй, если бы народ, умеющий отговорить от всего честного, сейчас же не отнял бы у них прекрасного порыва. Немногие способны донести до дому те намеренья, которыми исполнились. (8) Нетрудно пробудить у слушателя жажду жить правильно: природа во всех заложила основанья добра и семена добродетели; все мы для нее рождены, и когда придет подстрекатель, добро, как бы уснувшее в нашей душе, пробуждается. Разве ты не видел, каким криком оглашается театр, едва скажут что-нибудь, с чем все мы согласны и о чем нашим единодушием свидетельствуем, что это истина?

(9)

Нужда во многом бедным, жадным нужда во всем.
Скупец ко всем недобр, но злей всего – к себе.[2]

Этим стихам рукоплещет последний скряга, радуясь обличенью своих пороков. Но разве такое действие не было бы, по-твоему, еще сильнее, если бы спасительные наставления исходили из уст философа, если бы они были вложены в стихи, благодаря которым те же самые мысли легче проникают в души невежд? (10) «Ибо, – говорил Клеанф, – как наше дыханье, пропущенное сквозь длинный и тесный ход трубы, с большей силой вырывается с другого ее конца и производит отчетливый звук, так и наши чувства становятся отчетливее благодаря сжатой непреложности стихов». Сказанное прозой слушается не так внимательно и задевает меньше, а если в дело вступает размер, если благородный смысл закреплен его стопами, то же самое изреченье вонзается, будто брошенное с размаху копье. (11) Много говорено о презрении к деньгам, произносились в поученье людям длинные речи о том, что богатство – не в наследственном достоянье, а в душе, что богат тот, кто приспособился к своей бедности,. кто, имея мало, считает себя зажиточным. Но куда сильнее поражают душу изречения вроде этих:

Кто хочет меньше, меньше и нуждается.
Имеет все, кто хочет, сколько надобно.

(12) Слыша это или нечто подобное, мы не можем не признать истины. И вот те, кто всегда хочет больше, чем надобно, кричат от восторга и проклинают деньги. И как заметишь у них такое настроенье, – донимай их, жми, тесни, отбросив всяческие умозаключенья, и тонкости, и прочие забавы бесполезного умствования. Говори против алчности, говори против роскоши, а когда покажется, что польза есть, что души слушателей затронуты, наседай еще сильнее. Трудно поверить, как бывает полезна речь имеющая в виду исцеление, направленная целиком ко благу слушателей. Неокрепшим умам легко внушить любовь ко всему правильному и честному; да и над не слишком испорченными и податливыми истина получает право собственности, если найдет умелого ходатая. (13) Я сам, когда слушал, как Аттал держит речи против пороков, против заблуждений, против всякого зла в жизни, часто жалел род людской, а о нем думал, что он оставил внизу все вершины, достигаемые людьми. Сам он называл себя царем, но мне казалось, что выше царской власть того, кто вправе вершить суд над царями. (14) А когда он принимался

восхвалять бедность и доказывать, что все ненужное есть только лишний груз, обременительный для несущего, – часто хотелось выйти с урока бедняком. Когда же он начинал осмеивать наши наслаждения, восхвалять целомудренное тело, скромный стол, чистый ум, не помышляющий не только о беззаконных, но и об излишних наслажденьях, – хотелось положить предел прожорливости брюха. (15) Кое-что, Луцилий, я удержал с тех пор. Приступал я ко всему с большим рвением, а потом, вынужденный вернуться к государственной жизни, немногое сохранил от этих добрых начал. Все же с тех пор я на всю жизнь отказался от устриц и грибов: ведь это не пища, а лакомство, заставляющее насытившихся есть опять, легко извергаемое и снизу, и сверху, – а это весьма по душе обжорам, запихивающим в себя больше, чем могут вместить. (16) С тех пор я в жизни не брал притираний: ведь лучше всего пахнет тело, которое ничем не пахнет[3]. С тех пор мой желудок забыл о винах. С тех пор всю жизнь я избегаю бани, сочтя, что обваривать себе тело и истощать его потением – бесполезное баловство. К прочему, оставленному тогда, я вернулся, но даже в том, от чего перестал воздерживаться, сохраняю меру, которая и ближе к воздержанию и, может быть, труднее воздержанья: ведь от чего-то легче отказаться совсем, чем сохранять умеренность.

(17) Если уж я сказал тебе начистоту, что в молодости взялся за философию с большим пылом, чем занимаюсь ею в старости, то не постыжусь признаться, какую любовь внушил мне Пифагор. Сотион рассказывал, почему тот отказывался есть животных и почему, позже, Секстий. У обоих причины были разные, но благородные. (18) Один полагал, что человеку и бескровной пищи хватит и что там, где резня служит удовольствию,. жестокость переходит в привычку. И еще он говорил, что нужно ограничивать число предметов, на которые зарится жажда роскоши, что разнообразная пища, чуждая нашему телу, вредна для здоровья. (19) А Пифагор утверждал, что есть родство всего со всем и взаимосвязь душ, переселяющихся из одного обличья в другое. Ни одна душа, если верить ему, не погибает и не перестает существовать иначе как на малое время, после которого переливается в другое тело. Мы увидим, сколько временных кругов она пройдет и сколько обиталищ сменит, прежде чем вернется в человека. А покуда она внушает людям страх совершить злодейство и отцеубийство, невзначай напав на душу родителя и железом или зубами уничтожив то, в чем нашел приют дух какого-нибудь родича. (20) Сотион не только излагал это, но и дополнял своими доводами: «Ты не веришь, что души распределяются по все новым и новым телам? Что именуемое нами смертью есть только переселение? Не веришь, что в теле этих скотов, этих зверей, этих подводных обитателей пребывает душа, когда-то бывшая человеческой? Что все во вселенной не погибает, а только меняет место? Не веришь, что не одни небесные тела совершают круговые движения, но и живые существа исчезают и возвращаются, и души переходят по кругу? Но в это верили великие люди! (21) Так что воздержись от суждения и оставь все как есть. Если это правда, то не есть животных – значит быть без вины; если неправда – значит быть умеренным. Велик ли будет урон твоей жестокости? Я только отнимаю у тебя пищу львов и коршунов». (22) Под его влияньем я перестал есть животных, и по прошествии года воздержанье от них стало для меня не только легким, но и приятным. Мне казалось, что душа моя стала подвижней; впрочем, сегодня я не взялся бы утверждать, что это так. Ты спросишь, как я от этого отошел? Время моей молодости пришлось на принципат Тиберия Цезаря: тогда изгонялись обряды инородцев[4], и неупотребление в пищу некоторых животных признавалось уликой суеверия. По просьбам отца, не опасавшегося клеветы, но враждебного философии, я вернулся к прежним привычкам; впрочем, он без труда убедил меня обедать лучше. (23) Аттал всегда хвалил тот матрас, который сопротивляется телу; я и в старости пользуюсь таким, что на нем не останется следов лежанья.

Я рассказал тебе об этом, чтобы ты убедился, как силен у новичков первый порыв ко всему хорошему, если их кто-нибудь ободряет и подстегивает. Но потом одно упускается по вине наставников, которые учат нас рассуждать, а не жить, другое – по вине учеников, которые приходят к учителям с намереньем совершенствовать не душу, а ум. Так то, что было философией, становится филологией. (24) Ведь очень важно, с каким намереньем ты к чему-либо подходишь. Кто изучает Вергилия как будущий грамматик, тот читает превосходную строку

Бежит невозвратное время [5]

и не думает так: «Нельзя спать! Кто не спешит, тот отстанет. Торопливый день торопит нас и мчится сам. Нас влечет все дальше незаметно.для нас; а мы откладываем все на будущее и остаемся медлительными в быстрине». Нет, он заметит, что Вергилий всякий раз, говоря о быстротечности времени, употребляет глагол «бежать».

Самые лучшие дни убегают для смертных несчастных
Ранее всех; подойдут болезни, унылая старость,
Скорби, – а там унесет безжалостной смерти немилость.[6]

(25) Всякий, чей взгляд направлен к философии, и это сведет, к чему следует, и скажет: «Никогда Вергилий не говорит «дни проходят», но всегда «убегают», – а это самый быстрый бег; самые же лучшие минуют первыми, – почему же мы сами себя не подгоним, чтобы сравняться скоростью с самым быстротечным из всего? Лучшее пролетает мимо, наступает худшее. (26) Как из кувшина выливается сперва самое чистое вино,.а то, что тяжелее и мутнее, оседает, так и на нашем веку лучшее идет сначала. А мы допускаем, чтобы его вычерпали для других, оставив нам самим подонки. Так пусть запечатлеются в душе наравне с изречением-оракула эти слова:

Лучшие самые дни убегают для смертных несчастных
Ранее всех.

(27) Почему лучшие? Да потому, что остальные нам неведомы. Почему лучшие? Потому что в молодости мы можем учиться, можем направить. к лучшему неокрепшую душу, покуда она податлива; потому что это самое подходящее время для трудов, подходящее для того, чтобы взбодрить дух учеными занятьями, закалить тело работою. Остальные годы и ленивей, и расслабленнее, и ближе к концу. Так оставим же всё, что нас отвлекает, и всей душой будем стараться об одном: чтобы быстротечность неудержимо бегущего времени не стала понятна нам, только когда оно уйдет. Каждый день будем считать лучшим и завладеем им! Что убегает, то нужно захватывать».

(28) Но читающий Вергилиевы стихи глазами грамматика будет думать не о том, что каждый день – лучший, ибо подходят болезни, теснит старость, уже нависшая над головой почитающих себя юнцами, – он скажет, что поэт всегда ставит вместе «болезни и старость». И, право же,. недаром: ведь сама старость есть неизлечимая болезнь. (29) И еще, скажет он, поэт дает старости прозвище, всегда называя ее «унылою»:

... подойдут болезни, унылая старость.
И еще в другом месте:
Бледные там болезни живут, унылая старость.. [10]

Не надо удивляться, если из одного и того же каждый извлекает лишь нечто, соответствующее его занятиям. На одном и том же лугу бык ищет траву, собака – зайца, аист – ящерицу. (30) Если книги Цицерона «О государстве» возьмет в руки сперва какой-нибудь филолог, потом грамматик, потом приверженец философии, каждый из них обратит все усердие не на то, на что оба другие. Философ подивится, что так много можно сказать против справедливости. Филолог, если возьмется за то же чтение, отметит вот что: «Было два римских царя, из которых один не имеет матери, другой отца». Ибо есть сомнения насчет матери Сервия, а отца-у Анка не имеется, царя именуют внуком Нумы8. (31) И еще он заметит, что тот, кого мы называем диктатором и о ком читаем в истории под тем же именем, у древних звался «начальником народа», что сохраняется доныне в авгуральных книгах, а доказательством служит произведенное от этого наименование «начальник конницы». Равным образом-он заметит, что Ромул погиб во время солнечного затмения и что право воззвания к народу было уже у царей; некоторые, в том числе Фенестелла, полагают, будто об атом есть в понтификальных книгах9. (32) Если же эти книги развернет грамматик, он прежде всего внесет в свои заметки старинные10 слова: ведь Цицерон говорит

«воистину» – вместо «на самом деле», а также «оного» вместо «его». Затем грамматик перейдет к тем словам, употребленье которых изменилось за столетье; например, Цицерон говорит: «его вмешательство вернуло нас от самой известковой черты», ибо то, что у нас в цирке называется «меловой чертой», в старину именовалось «известковой»[11]. (33) Потом он соберет Энниевы стихи, прежде всего эти, написанные о Сципионе:

Кому ни гражданин, ни враг
Воздать не мог награду по трудам его.

Из этого, скажет он, понятно, что в старину слово «труды» означало также и «подвиги, дела»: ведь поэт имеет в виду, что Сципиону никто, ни гражданин, ни враг, не мог воздать награду за его подвиги. (34) И совсем уж счастливым он сочтет себя, обнаружив, откуда, по-видимому, взял Вергилий слова:

... грохочет Неба огромная дверь.[12]

Энний, скажет он, похитил их у Гомера, а Вергилий – у Энния. Ведь у Цицерона в этих самых книгах «О государстве» есть такая эпиграмма Энния:

Если возможно взойти в небожителей горнюю область,
Мне одному отперта неба великая дверь.

(35) Но чтобы мне самому, отвлекшись, не соскользнуть на путь грамматика или филолога, напоминаю тебе, что и слушать и читать философов нужно ради достижения блаженной жизни, и ловить следует не старинные или придуманные ими слова либо неудачные метафоры и фигуры речи, а полезные наставленья и благородные, мужественные высказыванья, которые немедля можно претворить в действительность. Будем выучивать их так, чтобы недавно бывшее словом стало делом. (36) Никто, я думаю, не оказал всем смертным столь дурной услуги, как те, кто научились философии словно некому продажному ремеслу и живут иначе, чем учат жить. Они-то, подверженные всем обличаемым ими порокам, и являют собой наилучший пример бесполезной учености. (37) От такого наставника мне столько же пользы, сколько от кормчего, которого в бурю валит морская болезнь. Когда несет волна, нужно держать руль, бороться с самим морем, вырывать у ветра паруса: а чем мне поможет правитель корабля, одуревший и блюющий? Разве нашу жизнь, по-твоему, буря не треплет сильнее, чем любую лодку? Нужно не разговаривать, а править. (38) Всё, что говорится, чем бахвалятся перед заслушавшейся толпой, – заемное, все это сказано Платоном, сказано Зеноном, сказано Хрисиппом, Посидонием и огромным отрядом им подобных. А как нынешним доказать, что сказанное подлинно им принадлежит, я тебе открою: пусть поступают, как говорят.

(39) Я сказал все, что хотел тебе сообщить, а теперь я пойду навстречу твоему желанью и то, чего ты требовал, целиком перенесу в другое письмо, чтобы ты не брался усталым за дело спорное, которое надобно слушать, с любопытством насторожив уши. Будь здоров.

Письмо CIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты желаешь узнать, может ли мудрый помочь мудрому. – Ведь мы говорим, что мудрец преисполнен всяческим благом и достиг вершины; спрашивается, как можно принести пользу обладающему высшим благом. Мужи добра полезны друг другу: они упражняются в добродетелях и поддерживают мудрость такой, как она есть. Каждому нужен кто-нибудь, чтобы разговаривать с ним, с ним заниматься изысканьями. (2) Опытные борцы упражняются друг с другом, музыканта наставляет другой, равный ему выучкой. Мудрому тоже нужно, чтобы его добродетели не были праздны; и как он сам не дает себе лениться, так же не дает ему этого и другой муд-

рец. (3) Чем мудрый поможет мудрому? Подбодрит его, укажет случай поступить благородно, И еще поделится с ним мыслями, научит тому, что сам открыл. Ведь и мудрому всегда будет что открыть, будет простор для вылазок духа.

(4) Дурной вредит дурному, делает его хуже, подстрекая в нем гнев и страх, потакая унынью, восхваляя наслажденья; и дурным людям хуже всего там, где сошлись пороки многих и негодность их слилась воедино. Значит, если заключать от противного, добрый полезен доброму. – «Чем?» – спросишь ты. – (5) Он доставит ему радость, укрепит в нем уверенность; при виде спокойствия другого каждому станет еще отраднее. Помимо этого, один передаст другому знанье некоторых вещей: ведь мудрец знает не все, а если бы и знал, другой может придумать кратчайшие пути и показать, по каким из них возможно легко довести весь труд до конца. (6) Мудрец поможет мудрецу, и, конечно, не только своими силами, но и силами того, кто получает помощь. Он может сделать свое дело и покинутый на самого себя; но даже бегуну полезен ободряющий зритель. Мудрец помогает не мудрецу, а самому себе, знай это. Лиши его собственных сил – и он ни на что не годен. (7) Так же точно можно сказать, что в меду нет сладости: это у пробующего мед язык и нёбо должны так приладиться к тому или другому вкусу, чтобы он нравился, а не казался противным. Ведь есть и такие, кому из-за болезненного изъяна мед кажется горьким. Нужно обоим быть такими, чтобы один мог принести, другой извлечь пользу.

– (8) «Но раскаленное до последнего предела излишне нагревать; а достигшему высшего блага излишне помогать. Разве снаряженный всем, что требуется, землепашец просит орудий у других? Разве воин, если у него довольно оружья для боя, хочет вооружаться дальше? Так же и мудрец: ведь он достаточно и снаряжен, и вооружен для жизни». – (9) Отвечаю на это: даже раскаленное до последнего предела нуждается в заемном жаре, чтобы остаться у этого предела. – «Но жар сам себя поддерживает». – Те вещи, которые ты сравниваешь, не так уж похожи. Ведь жар всегда один, а польза бывает разная. И потом к жару, чтобы он был горячим, не нужно добавлять жар, а дух мудреца не может оста ваться, как был, если рядом с мудрым не будет подобных ему друзей, с которыми он мог бы делиться добродетелями. (10) Прибавь к этому, что все добродетели дружны между собою. Значит, есть польза в том, чтобы любить чужие, равные твоим, добродетели и чтобы кто-нибудь любил твои. Само сходство отрадно, особенно когда схожее благородно и когда сходствующие умеют и одобрить, и снискать одобренье.

(11) Кроме того, никто не может с толком действовать на душу мудреца, кроме мудреца, как никто не может разумно действовать на человека, кроме человека. И как для того, чтобы действовать на разум, нужен разум, так и для действия на совершенный разум нужен разум столь же совершенный.

(12) Говорят, нам помогают и те, кто щедро дает нам вещи промежуточные: деньги, милости, безопасность и прочее, что ценится или необходимо в повседневной жизни. Так скажут и о глупце, будто этим он помогает мудрецу. Но помогать – значит согласно природе действовать на душу посредством добродетели, и своей, и того, на кого ты действуешь. Это не может не быть на благо и самому помогающему: ведь заставляя другого упражняться в добродетели, он упражняет и собственную. (13) Но пусть мы оставим в стороне и само высшее благо и все ему способствующее, – все равно мудрые могут принести друг другу пользу. Найти другого мудреца само по себе желательно для мудрого: ведь по природе благо дорожит благом, и человек добра привязывается душою к другому такому же, словно к самому себе.

(14) Но сам предмет наш требует перейти от этого вопроса к другому. Спрашивают, станет ли мудрец обсуждать свои дела, призовет ли он кого-нибудь на совет. – Без этого ему не обойтись, едва только доходит до дел гражданских, домашних, так сказать, смертных. Тут чужой совет нужен ему так же, как бывает нужен врач, кормчий, ходатай, посредник в тяжбе. Значит, мудрец порой принесет пользу мудрецу и тем, что убедит его. Но пригодится он и в делах великих и божественных, – тем, что будет, как мы говорили, заодно с другом стремиться к честности, сольется с ним душою и помыслами. (15) И потом, льнуть к друзьям, радоваться их поступкам, как своим собственным, – это согласно с природой. А не будь этого, мы лишились бы и добродетели, которая сильна повседневным упражнением. Добродетель же учит нас не тратить впустую настоящего, заранее думать о будущем, советоваться с другими и не расслабляться душою, – а не расслабляться и дать ей развернуться во всю ширь нам легче, имея кого-нибудь рядом. Зна-

чит, нам нужен друг или совершенный, или стремящийся и близкий к совершенству. Совершенный принесет пользу, коль скоро общим разумением легче найти решенье. (16) Говорят, человек зорче в чужих делах, чем в своих; это бывает с такими, кого ослепляет себялюбие, у кого страх отнимает способность разглядеть свою пользу. А в безопасности, не страшась ничего, эти люди становятся здравомыслящими. Но есть вещи, на которые даже мудрецы глядят пристальней, когда дело касается других. И потом мудрый дарит мудрому такую отрадную и благородную вещь, как единство желании; а в единой упряжке можно создать самый прекрасный труд.

(17) Я выполнил все, чего ты требовал, хоть оно и входило по порядку в число вопросов, которые я собираюсь охватить в книгах о нравственной философии. Помни и о том, о чем я часто твержу тебе: все это – упражненья для нашего остроумия, и только. Я то и дело возвращаюсь к одному: а чем мне это поможет? стану ли я от этого мужественней, справедливей, воздержней? Мне пока еще не до упражнений: во враче я нуждаюсь. (18) Зачем же ты учишь меня тому, что знать бесполезно? Наобещал ты много, а то, что я вижу, ничтожно [1]. Ты говорил, что я не затрепещу, даже если вокруг меня засверкают мечи, если острие прикоснется к горлу; говорил, что я останусь безмятежен, даже если вокруг меня запылают пожары, если внезапный вихрь подхватит мой корабль и будет бросать его по всему морю. Дай же мне презирать наслажденье, презирать славу; потом ты научишь меня распутывать запутанные узлы, разбираться в двусмысленных утвержденьях, проникать взглядом в темноту, а сейчас учи необходимому. Будь здоров.

Письмо CX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Шлю тебе привет из моей Номентанской усадьбы и желаю благомыслия, то есть милости всех богов, которые всегда расположены и благосклонны к тому, кто сам к себе благосклонен. По нынешним временам тебе нужно отказаться от мысли, столь любезной некоторым, – будто каждому дан в воспитатели бог, пусть даже не сановитый, а второразрядный, из числа тех, о ком Овидий говорит; «бессмертные низкого званья»). Но я хочу, чтобы, отказываясь от этого заблужденья, ты помнил одно: наши предки, верившие в него, были истинные стоики, – ведь они каждому давали либо гения, либо Юнону[2]. (2) Позже мы посмотрим, есть ли у богов время быть управителями частных дел; а покуда знай: приписаны ли мы к богам или брошены ими и отданы фортуне[3], – ты никого не сможешь проклясть страшнее, чем пожелав ему быть в гневе на себя самого. Нет причины накликать на того, кого ты считаешь достойным кары, вражду богов: они и так враждебны ему, даже если он, по-видимому, преуспевает через их покровительство. (3) Присмотрись пристальней, что такое наши дела действительно, а не по названию, и ты узнаешь, что большая часть бед – это удачи, а не беды. Как часто становилась причиной и началом счастья так называемая «невзгода»? Как часто встреченное общими поздравлениями событие строит лишнюю ступень над пропастью и поднимает высоко вознесенного еще выше, как будто оттуда, где он стоял, падать безопасно? (4) Но и в самом падении нет никакого зла, надо только разглядеть предел, ниже которого природа никого не сбрасывала. Исход всех дел, повторяю, близок, – одинаково близок и от того места, откуда изгоняется счастливец, и от того, откуда выходит на волю несчастный. Мы сами увеличиваем расстоянье и удлиняем путь страхом и надеждой.

Если ты умен, мерь все мерой человеческого удела, не преувеличивай поводов ни для радости, ни для страха. Чтобы сократить время боязни, стоит сократить и время радости. (5) Но почему я только убавляю это зло? Ничего вообще ты не должен считать страшным! Все, что волнует нас и ошеломляет, – пустое дело. Никто из нас не разобрался, где истина, и все заражают друг друга страхом. Никто не отважился подойти ближе к источнику своего смятения и узнать его природу, понять, нет ли в нем блага. Потому-то и верят поныне пустому заблужденью, что оно не изобличено. (6) Так поймем же, до чего важно вглядеться внимательнее, – и станет очевидно, как кратковременны, как шатки, как безопасны причины нашей боязни. В душе у нас и теперь та же путаница, какую видел Лукреций:

Ибо как в мрачных потемках дрожат и пугаются дети,
Так же и мы среди белого дня опасаемся часто.[4]

Так что же, разве мы и впрямь не глупее любого ребенка, если страшимся при свете? (7) Нет, Лукреций, это неверно, мы страшимся не при свете, а сами разливаем вокруг тьму и не видим, что нам во вред и что – на пользу; всю жизнь мы проводим в бегах и от этого не можем ни остановиться, ни посмотреть, куда ставим ногу. Вот видишь, какое безумье этот безудержный бег в темноте. А мы, клянусь, только о том и стараемся, чтобы нас отозвали попозже, и хоть сами не знаем, куда несемся, упорно продолжаем мчаться тем же путем.

(8) Но ведь может и посветлеть, если мы захотим! Есть только один способ: усвоить знание всего божественного и человеческого, не только окунуться в него, но и впитать, почаще повторять усвоенное и все относить к себе, исследовать, что благо, что зло, а чему эти имена напрасно приписаны, исследовать, что есть честное, что есть постыдное, что есть провиденье. (9) Но пытливость человеческого ума не останавливается в этих пределах: ему хочется заглянуть и дальше вселенной, понять, куда она несется, откуда возникла, к какому исходу мчит все вещи их необычайная скорость. Мы же оторвали душу от этого божественного созерцания и низвели ее до низменной убогости, чтобы она стала рабыней алчности, чтобы, покинув мир и его предельные области и движущих всё властителей, рылась в земле, искала, что бы еще выкопать на горе нам, не довольствующимся лежащим перед глазами. (10) Все, что нам на благо, наш бог и родитель поместил у нас под рукой и дал по доброй воле, не ожидая наших поисков, а все вредное спрятал поглубже. Нам не на кого жаловаться, кроме как на себя: всё гибельное для нас мы сами вытащили на свет, вопреки воле скрывшей его природы. Мы обрекли душу наслаждениям, – а потворство им есть начало всех зол; мы предали ее честолюбию и молве и другим столь же пустым видимостям.

(11) Что же мне посоветовать тебе? Что ты должен делать? Ничего нового: ведь не от новых болезней нужны нам лекарства. Прежде всего ты сам для себя должен разобраться, что необходимо и что излишне. Необходимое ты легко найдешь повсюду; лишнее нужно всегда искать, тратя всю душу. (12) Далее, тебе не за что будет так уж себя хвалить, если ты презришь золотые ложа и посуду в самоцветах. Велика ли добродетель – презреть лишнее? Восхищайся собой, когда презришь необходимое. Пусть ты можешь жить без царского убранства, – это не так уж много! Пусть тебе не нужны тысячефунтовые кабаны, языки заморских птиц и прочие чудовищные выдумки роскоши, пресытившейся целыми тушками и выбирающей из каждой только те или другие части, – я буду восхищаться тобою, когда ты презришь даже грубый хлеб, когда убедишь себя, что трава родится не только для скота, но, в случае необходимости, и для человека, когда узнаешь, что молодыми побегами деревьев тоже можно наполнить желудок, который мы набиваем ценностями, словно он может их сохранить. Насытиться можно и без прихотей. Какая разница, что поглотило брюхо, которое все равно не удержит проглоченного? (13) Тебе нравится видеть разложенным по блюдам все, что можно добыть на суше и на море; одно приятнее тебе, если доставлено к столу свежим, другое – если его долго откармливали и заставляли жиреть до того, что сейчас оно безудержно расплывается салом. Тебя радует наведенный с великим искусством лоск, – а между тем, клянусь, все эти с трудом добытые и разнообразно приготовленные яства, едва попав в утробу, превратятся в одинаковую мерзость. Хочешь научиться, как презирать чревоугодие? Взгляни, чем всё выходит!

(14) Я помню, как Аттал к вящему восхищению всех говорил: «Долгое время меня ослепляло богатство; я цепенел всякий раз, как видел там или здесь его блеск, и думал, что и скрытое от глаз подобно выставляемому на обозренье. Но однажды на пышном празднестве я увидел все богатства столицы, всё чеканное золото и серебро, и еще многое, что дороже золота и серебра, и одежды изысканных цветов, привезенные не только из-за нашей границы, но и из-за рубежей наших врагов. Тут были толпы мальчиков, прекрасных и убранством и наружностью, там – толпы женщин, словом, все, что выставила всевластная фортуна, обозревающая свои владения. (15) И я сказал себе: что это, как не разжигание и без того не знающих покоя человеческих вожделений? К чему это бахвальство своими деньгами? Мы собрались здесь учиться жадности. А я, клянусь, унесу отсюда меньше вожделений, чем принес сюда. Я презираю теперь богатства не по-

тому, что они не нужны, а потому, что они ничтожны. (16) Ты видел, вся эта череда, хотя шла медленно и не густо, прошла за два-три часа? Так неужто нас на всю жизнь займет то, что не могло занять и целого дня? И еще одно прибавилось: мне показалось, что богатства так же не нужны владельцам, как и зрителям. (17) С тех пор всякий раз, когда что-нибудь такое поразит мой взгляд, когда попадется на глаза блистательный дом, отряд лощеных рабов, носилки на плечах красавцев-слуг, я говорю себе: «Чему ты удивляешься? Перед чем цепенеешь? Все это – одно бахвальство! Такими вещами не владеют – их выставляют напоказ, а покуда ими любуются, они исчезают. (18) Обратись-ка лучше к подлинным богатствам, научись довольствоваться малым и с великим мужеством восклицай: у нас есть вода, есть мучная похлебка, – значит, мы и с самим Юпитером потягаемся счастьем! Но прошу тебя: потягаемся, даже если их не будет. Постыдно полагать все блаженство жизни в золоте и серебре, но столь же постыдно – в воде и похлебке». – (19) «А как же, если их не будет?» – Ты спрашиваешь, где лекарство от нужды? Голод кладет конец голоду. А не то какая разница, велики или малы те вещи, которые обращают тебя в рабство? Важно ли, насколько велико то, в чем может отказать тебе фортуна? (20) Эта самая вода и похлебка зависит от чужого произвола; а свободен не тот, с кем фортуна мало что может сделать, но тот, с кем ничего. Да, это так; если ты хочешь потягаться с Юпитером, который ничего не желает, – нужно самому ничего не желать». Всё это Аттал говорил нам, а природа говорит всем[5]. Если ты согласишься часто об этом думать, то добьешься того, что станешь счастливым, а не будешь казаться, то есть будешь казаться счастливым самому себе, а не другим. Будь здоров.

Письмо CXI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты спросил меня, как назвать «софизмы» по-латыни. Многие пытались дать им название, но ни одно не привилось; как видно, сам предмет для нас был неприемлем и настолько неупотребителен, что противились даже его имени. Мне самым подходящим кажется то, которое употреблял Цицерон: (2) он называл их «изворотами»[1], поскольку тот, кто им предался, только хитро запутывает мелкие вопросы, ничего полезного для жизни не приобретая, не став ни мужественней, ни воздержней, ни выше духом. Зато всякий, кто занимается философией ради собственного исцеления, делается велик духом и неодолим, преисполняется уверенности и кажется тем выше, чем ближе подойдешь. (3) Что бывает с большими горами, чья высота плохо видна смотрящим издали, и только приблизившимся становится ясно, как вознеслись их вершины, – то же самое, Луцилий, происходит и с подлинным философом, доказывающим свою подлинность делами, а не ухищрениями. Он стоит на возвышении, всем видимый снизу вверх, и величье его – истинное. Он не обувает высоких подметок и не ходит на цыпочках, наподобие тех, кто уловками прибавляет себе росту, желая казаться выше, чем на самом деле. Он доволен своим природным ростом. (4) Да и как ему быть недовольным, если он дорос до того, что фортуне к нему не дотянуться? Значит, рост его выше человеческого и при любых обстоятельствах остается одинаковым, будет ли теченье жизни благоприятным или же она бурно понесется через пороги трудностей. Такого постоянства не дадут хитрые извороты, о которых я только что говорил. Душа забавляется ими, но без пользы для себя, и низводит философию с ее высот в низину. (5) Я не стану запрещать тебе иногда ими заняться, – но только тогда, когда тебе захочется побездельничать. В том-то и вся беда, что в них есть некая приятность, они держат в плену душу, соблазненную видимостью тонкости, и не отпускают, хоть ее и зовет неодолимая громада дел, хотя всей жизни едва хватает на то одно, чтобы научиться презирать жизнь. – «А не управлять ею?» – спросишь ты. Это дело второе; ведь только тот, кто презрел ее, сумеет хорошо ею управлять. Будь здоров.

Письмо CXII

Сенека приветствует Луцилия!

(I) Клянусь тебе, я и хочу образовать твоего друга, как ты желаешь, и решил сделать это, – да он слишком тверд, чтоб воспринимать, или вернее – и это еще хуже – слишком мягок, чтобы воспринимать, и сломлен долголетними дурными привычками. Я хочу привести тебе пример из нашего ремесла. (2) Не всякая лоза годна для прививки: та, что стара и изъедена, и та, что не окрепла и гнется, либо не принимают привоя, либо его не питают, не дают срастись с собой, не перенимают его свойств и природы. Поэтому мы и делаем обыкновенно надрез над землею, чтобы, если лоза не ответит, попытать счастья вторично и сделать новую прививку под землею.

(3) Тот, кого ты в письме поручал мне, не имеет сил; он предавался порокам и оттого подгнил и отвердел одновременно. Он не может ни принять, ни вскормить привой разума. – «Но ведь он сам жаждет!» – Не верь! Я не хочу сказать, что он тебе лжет; он сам воображает, будто жаждет. Роскошь ему опротивела, однако он скоро снова с нею помирится. – (4) «Но он говорит, что такая жизнь ему в тягость». – Не спорю; а кому она не в тягость? Люди и любят, и ненавидят свою жизнь. Вынесем ему приговор тогда, когда он на деле докажет нам свою.ненависть к роскоши, а сейчас они только в размолвке. Будь здоров.

Письмо CXIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты требуешь написать тебе, что я думаю о вопросе, так часто обсуждаемом нашими: одушевленные ли существа – справедливость, мужество, разумность и прочие добродетели. Такими тонкостями, Луцилий, мы только одного и добьемся: всем покажется, будто мы заняты пустыми упражнениями ума и от нечего делать предаемся бесполезным рассуждениям. Я поступлю, как ты требуешь, и изложу мненье наших. Но признаюсь, сам я сужу об этом иначе. Есть вещи, которые пристали только носящим сандалии да короткий плащ [1]. Итак, вот что занимало древних, или вот чем занимались древние.

(2) Душа, бесспорно, одушевлена, поскольку и нас делает одушевленными, и все одушевленные существа получили от нее имя. Добродетель же есть не что иное, как душа в известном состоянии; значит, и она одушевлена. Далее: добродетель производит действие, а это невозможно для того, в чем нет самодвиженья; если же самодвиженье, присущее только одушевленным предметам, есть в ней, то и она одушевлена. – «Но если добродетель одушевлена, то она обладает добродетелью». – А почему бы ей не обладать самой собою? (3) Как мудрец все делает через добродетель, так и сама добродетель. – «Стало быть, одушевлены и все искусства, и всё, что мы думаем, всё, что наш дух объемлет собою, и в тесноте нашего сердца обитает много тысяч одушевленных существ, а каждый из нас – это множество живых существ, либо каждый содержит в себе множество их». – Ты спрашиваешь, что отвечают в опроверженье этого? Каждый из названных предметов одушевлен, но вместе они множеством одушевленных существ не будут. – «Как так?» – Я скажу тебе, если ты приложишь все свое вниманье и сообразительность. (4) Отдельный одушевленный предмет должен иметь отдельную сущность, а у этих всех душа одна; значит, быть отдельными они могут, быть множеством не могут. Ведь я – и человек, и живое существо, но ты не скажешь, что нас двое. Почему? Потому что двое должны существовать порознь, иначе говоря, должны быть отделены друг от друга, чтобы их было двое. А что множественно внутри единого, то относится к одной природе и, значит, существует как одно. (5) И душа моя одушевлена, и сам я – существо одушевленное, однако нас не двое. Почему? Потому что душа есть часть меня самого. Любой предмет может считаться отдельно, если он самостоятелен, а где он – лишь член другого предмета, там его нельзя рассматривать как нечто особое. – «Почему?» – Я отвечу: все особое должно принадлежать самому себе и быть завершенным в себе независимым целым.

(6) Я признавался тебе, что сам сужу об этом иначе. Ведь если с этим согласиться, то не одни добродетели окажутся одушевленными существами, но и противоположные им пороки и страсти, такие как гнев, скорбь, страх, подозренье. Можно пойти еще дальше: одушевленными

будут все наши мысли, все сужденья, – а с этим уж никак нельзя согласиться. Ведь не все, что исходит от человека, есть человек. – (7) «Что такое справедливость? Некое состояние души. Значит, если душа одушевлена, то и справедливость также». – Нет, она есть состояние души и некая ее сила. Одна душа превращается во множество обличий, но не становится другим существом всякий раз, как совершает нечто другое; и то, что исходит от нее, не есть одушевленное существо. (8) Если и справедливость – одушевленное существо, и мужество, и прочие добродетели, то перестают ли они порой существовать, а потом снова возникают, или же пребывают всегда? Добродетели перестать существовать не могут, значит, в одной душе теснится множество, несчетное множество живых существ. – (9) «Но их не множество, все они привязаны к одному и остаются частями и членами одного и того же». – Значит, мы представляем себе душу подобьем гидры со многими головами, из которых каждая сама по себе сражается, сама по себе жалит. Но ведь ни одна из этих голов не есть одушевленное существо, все они – головы одного существа; и вся гидра – одно существо. А в химере ни льва, ни змея нельзя назвать отдельными существами: они – части химеры и, значит, отдельными существами не могут быть.

Из чего ты можешь сделать вывод, будто справедливость – одушевленное существо? – (10) «Она оказывает действие, приносит пользу, обладает движением, а обладающее им есть одушевленное существо». – Это было бы правильно, если бы она обладала самодвижением; но справедливость движима не самою собой, а душою. (11) Всякое живое существо до самой смерти остается тем же, чем появилось на свет; человек, покуда не умрет, остается человеком, лошадь – лошадью, собака – собакой, и перейти одно в другое не может. Справедливость – то есть душа в неком состоянии – существо одушевленное. Что же, поверим! Далее, одушевленное существо есть и храбрость – также душа в неком состоянии. Какая душа? Та же, которая только что была справедливостью? Одушевленные существа остаются, чем были, им не дано превратиться в другое существо и положено пребывать в том же виде, в каком они появились на свет. (12) Кроме того, одна душа не может принадлежать двум существам, а тем более – многим. Если справедливость, мужество, умеренность и все прочие добродетели – одушевленные существа, как же может быть у них одна душа на всех? Нужно, чтобы у каждой была своя, – или же они не будут одушевленными существами. (13) Одна тело не может принадлежать многим существам, – это и наши противники признают. Но что есть тело справедливости? Душа! А тело мужества? Опять-таки душа! Не может быть у двух существ одно тело. – (14) «Но одна и та же душа переходит из состояния в состояние, становясь то справедливостью, то мужеством, то умеренностью». – Могло бы быть и так, если бы душа, став справедливостью, переставала быть мужеством, став мужеством, переставала бы быть умеренностью; но ведь все добродетели пребывают одновременно. Так как же могут они быть отдельными существами, если душа одна и не может стать больше чем– одним существом? (15) И потом, ни одно одушевленное существо не бывает частью другого, справедливость же – часть души и, следовательно, не есть одушевленное существо.

Мне кажется, я напрасно трачу силы, доказывая вещи общепризнанные. Тут скорее уместно негодование, а не спор. Ни одно существо не бывает во всем подобно другому. Осмотри всё и вся: каждое тело имеет и свой цвет, и свои очертанья, и свою величину. (16) В числе причин, по которым удивителен разум божественного создателя, я полагаю и ту, что среди такого обилия вещей он ни разу не впал в повторенье: ведь даже на первый взгляд похожее оказывается разным, если сравнить. Сколько создал он разновидностей листьев – и у каждой свои особые приметы, сколько животных – и ни одно не сходствует[2] с другим полностью, всегда есть различия. Он сам от себя потребовал, чтобы разные существа были и не похожи, и не одинаковы. А добродетели, по вашим же словам, все равны: значит, они не могут быть одушевленными существами.

(17) Кроме одушевленного существа, ничто не может действовать само собою; но добродетель сама собою и не действует – ей нужен человек. Все существа делятся на разумных, как человек и боги, и неразумных, как звери и скоты; добродетели непременно разумны, но притом и не боги и не люди; значит, они не могут быть одушевленными существами. (18) Всякое разумное существо, чтобы действовать, должно быть сперва раздражено видом какой-либо вещи, затем почувствовать побужденье двинуться, которое наконец подтверждается согласием. Что это за согласие, я скажу. Мне пора гулять; но пойду я гулять только после того, как скажу себе об этом, а потом одобрю свое мнение. Пора мне сесть – но сяду я только после этого. Такого согласия

добродетель не знает. (19) Представь себе, к примеру, разумность; как может она дать согласие: «пора мне гулять»? Этого природа не допускает: разумность предвидит для того, кому принадлежит, а не для себя самой. Ведь она не может ни гулять, ни сидеть; значит, согласия она не знает, а без согласия нет и разумного существа. Если добродетель – существо, то существо разумное; но она не принадлежит к разумным, а значит, и к одушевленным существам. (20) Если добродетель – одушевленное существо, а всякое благо есть добродетель, значит, всякое благо – одушевленное существо. Наши это и признают. Спасти отца – благо, внести в сенате.разумное предложение – благо, решить дело по справедливости благо; значит, и спасенье отца – одушевленное существо, и разумно высказанное предложение – одушевленное существо. Тут дело заходит так далеко, что нельзя не засмеяться. Предусмотрительно промолчать – благо, хорошо поужинать – благо, значит, и молчанье, и ужин – одушевленные существа!

(21) Право, мне хочется подольше пощекотать себя и позабавиться этими хитроумными глупостями. Если справедливость и мужество – одушевленные существа, то они и существа земные. Всякое земное существо мерзнет, хочет есть и пить; значит, справедливость мерзнет, мужество хочет есть, милосердие – пить. (22) И еще, почему бы мне не спросить, каков облик этих существ? Человеческий, лошадиный, звериный? Если они припишут им круглую форму, как богу[3], я спрошу: а что, жадность, мотовство, безрассудство тоже круглы? Ведь и они – одушевленные существа. Если они их тоже округлят, я опять-таки спрошу: а гулянье в меру – одушевленное существо? Им придется согласиться, а потом сказать, что и гулянье, будучи существом одушевленным, кругло.

(23) Впрочем, не думай, будто я первым из наших стал говорить не по предписанному, а по своему разумению. И между Клеанфом и его учеником Хрисиппом не было согласья в том, что такое гулянье. Клеанф говорит, что это дух посылается руководящим началом[4] к ногам, а Хрисипп – что это само руководящее начало. Так почему бы каждому, по-примеру самого Хрисиппа, не заявить о своей самостоятельности и не высмеять все это множество существ, которого и весь мир не вместит? (24) «Добродетели – это не многие существа, но все же существа. Как человек бывает поэтом и оратором, оставаясь одним человеком, так и-добродетели – существа, но не многие. Душа справедливая, и разумная, и мужественная – это все одна душа, только состояние ее меняется-соответственно добродетелям». – (25) Ладно, вопрос снят. Ведь и я покамест признаю душу существом одушевленным, а потом погляжу, какого суждения мне на этот счет держаться; но вот что деянья души суть одушевленные существа, я отрицаю. Не то и все слова окажутся одушевленными, и все стихи. Ведь если разумная речь – благо, а благо – существо одушевленное, значит, и речь тоже. Разумные стихи благо, благо – одушевленное существо, значит, и стихи тоже. Выходит, что» «Битвы и мужа пою» – одушевленное существо, только его не назовут круглым, коль скоро оно о шести стопах[5]. – (26) Ты скажешь: «Вот уж, право, занялся хитросплетеньями!» – А я лопаюсь со смеху, когда воображаю себе одушевленными существами и солецизм, и варваризм, и силлогизм, и придумываю для них, на манер живописца, подходящие обличья.

Вот о чем мы рассуждаем, нахмуря брови и наморщив лоб. Тут я не могу не сказать вместе с Цецилием6: «О глупости унылые!» Смешно все это! Лучше займемся чем-нибудь полезным и спасительным для нас, поищем, как нам пробиться к добродетели, где ведущие к ней дороги. (27) Учи меня не тому, одушевленное ли существо храбрость, а тому, что ни одно существо не бывает счастливым без храбрости, если не укрепит себя против всего случайного и не усмирит в мыслях все превратности еще раньше, чем испытает их. Что такое храбрость? Неприступное укрепление, обороняющее человеческую слабость; кто возвел его вокруг себя, тот безопасно выдержит осаду жизни: ведь у него есть свои силы, свое оружие. (28) Тут я хочу привести тебе изреченье нашего Посидония: «И не думай, будто оружье фортуны избавит тебя от опасностей, – бейся твоим собственным! Фортуна против себя не вооружит. Значит, даже» снаряженные против врага – против нее безоружны». (29) Александр разорил и обратил в бегство и персов, и гирканн7, и индийцев, и все племена, сколько их есть на востоке вплоть до Океана; а сам, одного друга потеряв, другого убив8, лежал в темноте, один раз горюя о своем злодеянии, в другой – тоскуя об утрате. Победитель стольких царей и народов поддался гневу и печали: ведь он старался подчинить своей власти все, кроме страстей. (30) Какими заблужденьями одержимы люди,

которые жаждут распространить за море свое право владения, считают себя счастливей всех, если займут военной силой множество провинций, присоединив новые к старым, – и не знают, в чем состоит безграничная богоравная власть! Повелевать собою – вот право величайшего из повелителей. (31) Пусть научат меня, сколь священна справедливость, блюдущая чужое благо и ничего не добивающаяся, кроме одного: чтобы ею не пренебрегали. Ей нет дела до тщеславия, до молвы: она сама собой довольна. Вот в чем каждый должен убедить себя прежде всего: «Я должен быть справедлив безвозмездно!» Мало того! Пусть убедит себя вот в чем: «Этой прекраснейшей из добродетелей я рад буду пожертвовать всем!» Пусть все помыслы отвернутся прочь от твоих собственных выгод! Нельзя смотреть, будет ли за справедливое деяние награда помимо самой справедливости! (32) Запомни и то, что я говорил тебе недавно: неважно, многие ли знают о твоей справедливости. Кто хочет обнародовать свою добродетель, тот старается не ради добродетели, а ради славы. Ты не хочешь быть справедливым, не получая взамен славы? А ведь тебе, клянусь, придется быть справедливым и получить взамен поношенье! И тогда, если ты мудр, тебе будет отрадно дурное мнение, которое ты снискал добром. Будь здоров.

Письмо CXIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты спрашиваешь меня, почему в те или иные времена возникает род испорченного красноречия, как появляется в умах склонность к тем или иным порокам, – так что иногда преобладает напыщенное произнесение, иногда – томное и протяжное, словно песня? Почему иногда нравятся мысли смелые и неправдоподобные, иногда – выражения недоговоренные и загадочные, в которых приходится больше постигать умом, чем слухом? Почему была пора, когда бессовестно злоупотребляли переносными значениями? – Причина в том, о чем ты часто слышал и что у греков даже перешло в пословицу: «Какова у людей жизнь, такова и речь». (2) И если у каждого оратора манера говорить похожа на него самого, то и господствующий род красноречия иногда подражает общим нравам. Если порядок в государстве расшатан, если граждане предались удовольствиям, то свидетельством общей страсти к ним будет распущенность речи, коль скоро она присуща не одному-двум ораторам, а всеми принята и одобрена. (3) Не может быть душа одного цвета, а ум другого. Если душа здорова, если она спокойна, степенна и воздержна, то и ум будет ясным и трезвым; развратят душу пороки – ум станет напыщенным. Разве ты не видел: у кого в душе томность, тот волочит ноги и двигается лениво; у кого душа порывиста и жестока, тот ускоряет шаг; у кого душа охвачена неистовством или так похожим на неистовство гневом, у того все телодвижения беспорядочны, тот не ходит, а мечется? Так неужели, по-твоему, того же самого не будет и с умом, тем более что он слит с душой воедино, ею создается, ей повинуется, от нее получает закон?

(4) Как жил Меценат, известно настолько хорошо, что мне нет нужды здесь об этом рассказывать: как он разгуливал, каким был щеголем, как хотел, чтобы на него смотрели, как не желал прятать свои пороки. Так что же? Разве речь его не была такой же вольной и распоясанной, как он сам? Разве его слова – под стать его одежде, слугам, дому, жене – не должны были больше всего удивлять? Он был бы человеком большого дарования, если бы повел его правильным путем, если б не избегал быть понятным, если бы знал границы хотя бы в речи. Его красноречие – ты увидишь сам – это красноречие пьяного, темное, беспутное и беззаконное. Есть ли что позорнее? [Меценат, «О моем образе жизни»] (5) «По реке вдоль берегов, что лесами курчавятся, взгляни, как челны взбороздили русло, как, вспенивши мели, сад заставляют назад отбегать». Или это: «Завитки кудрявой женщины голубит губами, – начинает, вздыхая, – так закинув усталую голову, безумствуют леса владыки». – «Неисправимая шайка: на пирах они роются жадно, за бутылкой обыскивают домы, и надежда их требует смерти». – «Гений, который свой праздник едва ли заметит, нити тонкого воска, и гремучая мельница, – а очаг украшают жена или мать». – (6) Разве не сразу по прочтении ты увидишь, что это тот самый, кто всегда расхаживал по Риму в неподпоясанной тунике (даже когда он замещал отсутствовавшего Цезаря, пароль получали [2] от распоясанного полководца)? тот, кто и на суде, и на ораторском возвышенье, и на любой

сходке появлялся с закутанной в плащ головой, оставляя открытыми только оба уха, наподобье богатых беглецов в мимах? [3] тот. кто в разгар гражданской войны, когда город был в страхе и все вооружились, ходил по улицам в сопровожденье двух скопцов – больше мужчин, чем он сам? кто тысячу раз женился – и брал ту же самую жену? [4] (7) Эти слова, так беззаконно соединенные, так небрежно расставленные, употребленные вопреки общепринятому смыслу, свидетельствуют о нравах не менее невиданных, извращенных и странных. Больше всего его хвалят за незлобивость: он не касался меча, не проливал крови, и если чем и выставлял напоказ свое могущество, так только вольностью нравов. Но он сам подпортил эту свою славу затейливостью чудовищных речей. (8) По ним видно, что он был изнежен, а не кроток.

Это станет ясно любому, кто увидит его кудрявый слог, и перевернутые слова, и мысли, нередко величавые, но теряющие силу еще прежде, чем высказаны до конца.

Чрезмерное счастье вскружило ему голову; иногда в этом повинен сам человек, иногда – время. (9) Там, где счастье широко разливает страсть к удовольствиям, роскошь начинается с заботливого ухода за телом: потом хлопочут об утвари; потом с усердьем занимаются домом, стараясь, чтобы он был обширнее поместья, чтобы стены сверкали заморским мрамором, чтобы кровля сияла золотом и штучным потолкам отвечали блеском плиты пола. Потом изысканность распространяется и на обеды; тут ищут отличиться новизной блюд и переменой обычного их порядка: чем принято обед заканчивать, то подают сначала, что раздаривалось при входе, то дарят при выходе. (10) Когда душа привыкнет гнушаться всем общепринятым, а обычное считать слишком дешевым, – тогда ищут новизны и в речах, то вытаскивают на свет старинные забытые слова, то выдумывают новые или переиначивают общеизвестные, то принимают за верх изящества частые и смелые переносы смысла, которых стало так много в последнее время. (11) Есть такие, что обрывают мысль, видя всю прелесть речи в недоговоренности, в том, чтобы дать слушателю только намек на смысл. Но есть и такие, что каждую мысль тянут и не могут кончить. Есть такие, что не случайно подходят вплотную к пороку (для всякого, кто отваживается на что-нибудь великое, это неизбежно), но этот самый порок любят. Словом, где ты увидишь, что испорченная речь нравится, там, не сомневайся, и нравы извратились. Как пышность пиров и одежды есть признак болезни, охватившей государство, так и вольность речи, если встречается часто, свидетельствует о падении душ, из которых исходят слова.

(12) И не приходится удивляться, если испорченность речи благосклонно воспринимается не только слушателями погрязнее, но и хорошо одетой толпой: ведь отличаются у них только тоги, а не мнения. Удивительнее то, что хвалят не только речи с изъяном, но и самые изъяны. Первое было всегда: без снисхождения не понравятся и самые великие. Дай мне любого, самого прославленного мужа – и я скажу тебе, что его век прощал ему и на что намеренно закрывал глаза. Я укажу тебе много таких, кому изъяны не повредили, и даже таких, кому они были на пользу, – укажу людей самых прославленных, которыми принято восхищаться; кто попробует что-нибудь исправить, тот все разрушит: изъяны здесь так неотделимы от достоинств, что потянут их за собою. (13) Прибавь к этому, что для речи нет строгих правил. Их изменяет привычка, господствующая среди граждан, а она никогда не задерживается долго на одном. Многие ищут слова в далеких веках, говорят языком Двенадцати таблиц; для них и Гракх, и Красе, и Курион слишком изысканны и современны, они возвращаются к Аппию и Корунканию[5]. Другие, наоборот, признавая только избитое и общепринятое, впадают в пошлость. (14) И то и другое – порча, хотя и разного рода, – не меньшая, право, чем желанье пользоваться только словами яркими, звучными, поэтическими, а необходимых и общеупотребительных избегать. По-моему, и то, и другое неправильно. Один холит себя больше, чем нужно, другой небрежен больше, чем нужно: один и на бедрах выщипывает волосы, другой даже под мышками не выщипывает.

(15) Перейдем к слогу. Сколько примеров всяческих погрешностей могу я тебе привести! Некоторым по душе слог изломанный и шероховатый: где речь льется плавно, там они нарочно приводят ее в беспорядок, не допуская ни одного заглаженного шва; что задевает слух своей неровностью, то им кажется мужественным и сильным. А у некоторых – не слог, а напев, до того мягко скользит их речь и ласкает уши. (16) А что сказать о таком слоге, где слова переставляются подальше и, давно ожидаемые, появляются перед самою концовкой? Или о слоге медлительном, как у Цицерона, полого скатывающемся с мягкими замедлениями, ни на миг не отступаю-

щем от некого обыкновения, размеряемом привычными стопами? И у высказываемых мыслей изъян может состоять не только в том, что они ничтожны, или простоваты, или бесчестны, или оскорбляют стыд чрезмерной дерзостью, но и в том, что они цветисты, что произносятся впустую и звучат громко, но никого не трогают.

(17) Все эти изъяны вводятся в обиход одним – тем, кто об эту пору главенствует в красноречии; остальные ему подражают и заражают один другого. Так, когда был в силе Саллюстий, верхом изысканности считались недоговоренные мысли, речи, прерывающиеся раньше, чем ожидаешь, темная краткость. Аррунтий[6], человек редкой порядочности, написавший историю Пунической войны, был саллюстианцем и очень усердствовал в этом. У Саллюстия7 сказано: «Серебром сделал войско», то есть набрал его за деньги. Это полюбилось Аррунтию, ион начал на каждой странице писать так же. В одном месте он говорит: «Они сделали нашим бегство», в другом: «Гиерон, царь сиракузский, сделал войну», еще где-то: «Услышанное известие сделало так, что панормнтанцы сдались римлянам». (18) Я дал тебе только образцы на пробу, а у него вся книга из этого состоит. Что у Саллюстия редкость, то у него попадается часто и чуть ли не постоянно, и не без причины: у Саллюстия такие реченья – случайность, Аррунтий отыскивал их нарочно. Видишь, что получается, когда за образец берется изъян. (19) Саллюстий сказал: «Воды повернули к зиме». Аррунтий в первой книге о Пунической войне пишет: «внезапно погода повернула к зиме», и в другом месте, желая сказать, что год был холодный, пишет. «Ведь год повернул к зиме». И еще в одном месте: «Он послал шестьдесят грузовых судов, посадив на них только солдат и необходимое число моряков, так как северный ветер повернул к зиме». Аррунтий не перестает совать эти слова куда попало. Саллюстий сказал где-то:

«Среди междоусобиц он старался, чтобы молвы признали его честным и справедливым». Аррунтий не удержался и в первой же книге поставил: «Молвы широко разгласили о Регуле».

(20) Эти и подобные изъяны, перенятые через подражание, не будут приметами испорченной и падкой до наслаждений души; те, по которым можешь судить о страстях человека, должны принадлежать только ему, от него родиться. У гневливого речь сердитая, у беспокойного – возбужденная, у избалованного – мягкая и плавная. (21) Ты видишь, чего добиваются те, кто выщипывает бороду, местами или всю целиком, кто тщательно выбривает и выскабливает губы, оставив и отпустив волосы на щеках и подбородке, кто надевает невиданного цвета плащ поверх прозрачной тоги, кто не захочет сделать ничего такого, что осталось бы незамеченным, кто дразнит людей, лишь бы на него оглянулись, и согласен быть выруганным, лишь бы на него смотрели. Такова же речь Мецената и всех прочих, допускающих ошибки не случайно, а заведомо и намеренно. (22) Причина тут – тяжелый душевный недуг. Как после вина язык начинает заплетаться не прежде, чем ум, не выдержав тяжести, подломится или изменит нам, так и этот род речи (чем он отличается от пьяных речей?) ни для кого не в тягость, если только душа не пошатнулась. Поэтому лечить надо душу: ведь от нее у нас и мысли, и слова, от нее осанка, выраженье лица, походка. Когда душа здорова и сильна, тогда и речь могуча, мужественна, бесстрашна; если душа рухнула, она все увлекает в своем паденье.

(23) Ежели царь невредим, живут все в добром согласье,
Но лишь утратят его, договор нарушается [8]...

Наш царь – это душа; пока она невредима, все прочие исполняют свои обязанности и послушно повинуются; но стоит ей немного пошатнуться, и все приходит в колебанье. А стоит сдаться наслаждениям, тотчас сходят на нет все ее уменья, вся деятельная сила, и за что она ни берется, все делается вяло и лениво.

(24) Если я уж взялся за это сравненье, то продолжу его. Наша душа то царь, то тиран: царь, когда стремится к честному, заботится о здоровье порученного ей тела, не требует от него ничего грязного, ничего постыдного; а когда она не властна над собою, жадна, избалована, тогда получает ненавистное и проклятое имя и становится тираном. Тут-то ею овладевают безудержные страсти, одолевают ее и сперва ликуют, наподобье черни, которой мало насытиться вредоносной раздачей и которая старается перещупать все, чего не может проглотить. (25) Но по мере того как болезнь все больше подтачивает силы, а удовольствия входят в плоть и в кровь, одер-

жимый недугом доволен и видом того, на что чрезмерная жадность сделала его негодным, и возмещает собственные наслажденья зрелищем чужих, став поставщиком и свидетелем похотливых забав, которых сам себя лишил невоздержностью. Не так отрадно ему обилие услаждающих вещей, как горько то, что не всю эту роскошь он может пропустить через глотку и утробу, что не со всеми распутными бабами и юнцами может переспать; он печалится, что упускает немалую часть своего счастья оттого, что тело так мало вмещает. (26) Разве безумье в том, мой Луцилий, что мы забываем о неизбежности смерти? о собственной слабости? Нет, оно в другом: никто из нас не подумает, что он только один! Погляди на наши кухни, сколько там бегает между очагами поваров: неужто, по-твоему, не покажется, что в такой суматохе пища приготавливается не для одного брюха? Взгляни на наши винохранилища, на погреба, где собран урожай за много столетий: неужто, по-твоему, не покажется, что не для одного брюха запечатаны эти вина, выжатые во многих краях при многих консулах? Погляди, в скольких местах переворачивают землю, сколько тысяч пахарей пашет и копает, – неужто, по-твоему, не покажется, что не для одного брюха сеют и в Африке, и в Сицилии? (27) Мы будем здоровы, будем воздержны в желаньях, если каждый поймет, что он – один, если измерит свое тело и узнает, как мало оно вместит и как ненадолго! Ничто так не способствует умеренности во всем, как частые мысли о краткости нашего века и ненадежности срока. Что бы ты ни делал, не упускай из виду смерть! Будь здоров.

Письмо CXV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Мне не хочется, мой Луцилий, чтобы ты слишком уж тревожился по поводу слов и слога: у меня есть для тебя заботы поважнее. Ищи, о чем писать, а не как; старайся, что пишешь, то и думать, а что думаешь, то усвоить и как бы запечатлеть собственной печатью. (2) Чья речь покажется тебе придирчиво вылощенной, у того, так и знай, душа тоже занята пустяками. Великий муж говорит небрежней и уверенней; что бы он ни сказал, во всем больше убедительности, чем тщательности. Ты знаешь многих молодых людей с красивой бородой и прической, словно только что вынутых из сундука: от них не жди ничего мужественного, ничего основательного. Речь убранство души: если она старательно подстрижена и подкрашена, и отделана, то ясно, что и в душе нет ничего подлинного, а есть некое притворство[1]. Стройность речи – украшенье не для мужчины.

(3) Если бы нам дано было увидеть душу человека добра, – какой святостью, каким кротким величием светилась бы она! Как блистали бы в ней и справедливость, и отвага, и воздержность, и разумность[2], а кроме них и скромность, и сдержанность, и терпимость, и щедрость и общительность, и (кто бы этому поверил?) редчайшее в человеке благо – человечность сливали бы свое сиянье. А предусмотрительность, а тонкость вкуса, а самое возвышенное из свойств – благородство – сколько бы они прибавили красоты, сколько степенности и величавости! Всякий сказал бы, что не одну любовь, но и почтенье внушает эта душа. (4) Если бы кто увидел ее лик возвышенней и блистательней всех лиц, какие он привык видеть у людей, разве он не остановился бы, не оцепенел, словно встретив божество? Не стал бы молча умолять, чтобы взгляд на нее не был сочтен за грех? а потом, ободренный призывной кротостью лика, не приблизился бы, не молился бы коленопреклоненно, не созерцал бы долго, глядя снизу вверх – ибо она намного выше привычного для наших глаз роста, – в ее пылающие кротким, но ярким огнем очи? не повторил бы наконец изумленно и благоговейно строки нашего Вергилия:

(5) Как мне тебя называть? Ты лицом непохожа на смертных,
Голос не так звучит, как у нас... Счастлива будь, кто б ты ни была! Облегчи нам заботу! а

И она снизойдет и облегчит заботу, если мы захотим чтить ее! А чтят ее не жирными тушами зарезанных быков, не повешенным на стену золотом и серебром, не вкладом в храмовую казну, но волею к праведности и благочестью.

http://library.ziyonet.uz/

(6) Всякий, повторяю, загорелся бы к ней любовью, если бы нам посчастливилось ее увидеть; а теперь многое нам препятствует, либо поражая наш взгляд чрезмерным блеском, либо удерживая его темнотою. Но мы, если бы захотели освободить от всех преград зрение души, так же как мы очищаем лекарствами глаза и делаем их взгляд острее, – могли бы раз глядеть добродетель даже в прячущем ее теле, даже сквозь бедность, даже сквозь униженность и поношенье; мы увидели бы, повторяю, эту красоту даже сквозь скрывающую ее грязь. (7) И наоборот, мы разглядели бы злонравие и вялость горемычной души, даже если бы нам мешал яркий блеск, излучаемый богатствами, и бил в глаза лживый свет почестей и могущества. (8) Тогда бы мы и поняли, каким презренным вещам мы дивимся, словно дети, для которых любая игрушка драгоценна. Ведь они и родителям, и братьям предпочитают купленные за медные деньги бусы. «Какая разница между ними и нами, – говорит Аристон[4], – помимо той, что мы сходим с ума из-за картин и статуй и наша глупость обходится дороже?» Им доставляют удовольствие обкатанные камешки с побережья, если они пестрые, а нам – разноцветные пятна на огромных колоннах, привезенных из египетских песков или из африканских пустынь и поддерживающих какой-нибудь портик или потолок столовой, вмещающей целый город. (9) Мы восхищаемся стенами, облицованными тонкими плитами мрамора, и хотя знаем, что под ними скрыто, сами обманываем свои глаза. А наводя позолоту на кровли, разве не лживой видимости мы радуемся? Ведь знаем же мы, что под нею – неприглядное дерево! Но не только стены и потолки украшаются тонкою облицовкой; и у всех тех, кто гордо шествует у тебя на виду, счастье облицовано. Вглядись – и узнаешь, сколько зла скрыто под тонким слоем достоинства.

(10) А та вещь, которая дает работу стольким должностным лицам, стольким судьям, и стольких делает должностными лицами и судьями деньги! С тех пор как они в чести, ничему больше нет заслуженной чести: делаясь поочередно то продавцами, то товаром, мы спрашиваем не «какова вещь», а «какова цена»? Смотря по мзде, мы верны долгу, смотря по мзде неверны. Мы следуем правилам честности, пока она сулит нам что-нибудь, но тотчас перебежим к ее противникам, если понадеемся больше получить за злодейства. (11) Родители приучили нас восхищаться золотом и серебром, внушенная в нежном возрасте алчность, засев глубоко, растет вместе с нами. К тому же весь народ, ни в чем не единодушный, сходится в одном: на деньги смотрят с почтеньем, близким желают побольше денег, деньги, словно это величайшее достоянье человека, жертвуют богам, когда желают угодить им. Наши нравы дошли до того, что бедность стала проклятьем и бесчестьем, богачи ее презирают, бедняки ненавидят.

(12) А тут еще поэты с их стихами: пуще распаляют они наши страсти, восхваляя богатство как единственное украшенье и прелесть нашей жизни. Им кажется, что даже бессмертные боги ничего лучшего ни дать, ни иметь не могут.

(13) Солнца высокий дворец поднимался на стройных колоннах,
Золотом ясным сверкал..,
Взгляни и на колесницу Солнца:
Ось золотая была, золотое и дышло, и обод
Вкруг колеса золотой на серебряных спицах держался.[5]

И даже век, который они хотят представить самым лучшим, именуется у них золотым. (14) И у греческих трагиков представлены такие, кто меняет на барыш невинность, здоровье, доброе имя.

Дан слыть мерзавцем – лишь бы богачом прослыть...
Не спрашивают, кто да что, а «сколько есть?»..
Кто чем владеет, во столько же и ценится...
Такого нет, чем стыдно было б нам владеть...
Богатым – жить хочу, а бедным – лучше смерть...
Коль умирать – так тоже лучше с прибылью...
Превыше блага для людей, чем деньги, нет:
Ни наслажденье матери, ласкающей

Детей, ни отца опека не сравнится с ним.
И если лик Венеры так же сладостен,
Ее недаром любят боги и смертные.[6]

(15) Когда последние слова были произнесены, все зрители как один вскочили, чтобы прервать эту трагедию Еврипида и прогнать актера, – и тогда сам Еврипид вышел на середину и попросил их подождать и посмотреть, чем кончит этот поклонник золота. Беллерофонт в этой драме поплатился карой, как любой из нас платится в своей драме. (16) Жадность не бывает без кары, хотя она и сама по себе есть немалая кара. Во сколько она обходится слез, во сколько трудов! Сколько горести доставляет ей желаемое, сколько горести приобретенное![7] Прибавь еще ежедневные тревоги, чья мучительность соразмерна богатству. Владеть деньгами – большая пытка, чем добывать их. Как стонем мы над убытками, которые и на самом деле велики, и еще больше кажутся. И потом, пусть фортуна ничего не отнимает, – для таких людей убыток все, чего они не заимели. – (17) «Но их-то все и называют богатыми и счастливыми и мечтают сравняться с ними достоянием». – Согласен, но что с этого? Кому живется хуже тех, которых преследуют и горести, и зависть? Вот если бы мечтающие о богатствах посоветовались с богачами, а искатели почестей – с честолюбцами, достигшими высших степеней! Тогда они изменили бы желанья, между тем как теперь, предав проклятью прежние, тотчас же загораются новыми. Нет человека, довольного своим счастьем, даже если бы оно шло к нему в руки. Все недовольны и своими замыслами, и успехами, всем кажется лучшим то, от чего отказались.

(18) Но это как раз и даст тебе философия (ничего важнее, по-моему нет): ты никогда не будешь раскаиваться. К такому прочному счастью, которого никакая буря не поколеблет, не приведут тебя ни складные слова, ни плавно льющаяся речь. Пусть слова текут как хотят, лишь бы строй души не нарушался, лишь бы она была высока и не заботилась о чужом мнении, довольная собою как раз за то, за что другие недовольны, лишь бы жизнью поверяла свои успехи и о своем знании судила по тому, многого ли она не желает, многого ли не боится. Будь здоров.

Письмо CXVI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Часто спрашивают, довольно ли, чтобы страсти были умеренными, или лучше не иметь никаких страстей. Наши изгоняют страсти, перипатетики стараются их укротить. Я не вижу, почему умеренная тяжесть болезни может быть целебной или полезной. Не бойся! Я не отнимаю у тебя ничего такого, что ты отдал бы против воли; я буду сговорчив и снисходителен ко всему, что ты считаешь или необходимым для жизни, или приятным, или полезным и к чему стремишься, а избавлю тебя от порока. Ведь я, запретив тебе жаждать, разрешу хотеть, чтобы ты то же самое делал без страха по твердому решению, чтобы даже наслажденья твои были острей. Разве ты не будешь чувствовать их полнее, ставши их повелителем, а не рабом?

(2) Ты скажешь: «Но ведь естественно мучиться, тоскуя о друге: дай же право плакать, когда столь праведна причина. Естественно быть задетым людскими мнениями, огорчаться, если они неблагоприятны; почему же ты не допускаешь этого благородного страха перед дурным мнением?» – Нет порока без оправдания, начало всякого из них скромно и простительно, – зато после он разливается широко. Позволь ему возникнуть – и ты не покончишь с ним никакими стараньями. (3) Всякая страсть вначале немощна, а потом сама себя разжигает и набирается силы, разрастаясь: легче не пустить ее, чем выгнать. Кто спорит с тем, что всякая страсть берется из некого естественного истока? Заботиться о себе велела нам природа; начни потакать этой заботе – и она превратится в порок. Наслажденье природа подмешала к вещам необходимым, не затем, чтобы мы его домогались, но чтобы благодаря этой прибавке стало приятнее для нас то, без чего мы не можем жить; а появится самозаконное наслаждение – и начинается сластолюбие. Так будем же при входе сопротивляться страстям, коль скоро, как я сказал, их легче не впустить, чем заставить уйти. – «Но позволь хоть в какой-то мере горевать, хоть в какой-то мере бояться!» – (4) Эта мера растягивается очень широко! Ты уже и как захочешь, не остановишься. Пусть

мудрец не столь бдительно стережет себя – для него это безопасно: он, когда ему угодно, положит конец и слезам, и наслаждениям; а нам лучше и не пытаться идти вперед, если вернуться так трудно. (5) Мне кажется, очень тонко ответил Панэтий одному юнцу на вопрос, может ли мудрец полюбить: «Как будет с мудрецом, посмотрим; а вот нам с тобой до мудреца далеко, и мы не должны допускать, чтобы над нами взяла верх страсть бурная и необузданная, сама себя ставящая ни во что и отдающаяся во власть другому. Взглянут на нас благосклонно – мы пуще распаляемся от доброты; отвернутся – нас раззадоривает надменность. Вредна и легкая любовь, и трудная: легкостью она берет нас в плен, с трудностями заставляет бороться. Так что лучше нам остаться в покое, зная нашу слабость. Нестойкую душу нельзя вверять ни вину, ни красоте, ни лести, ни другим соблазни тельным приманкам». (6) То же самое, что Панэтий говорил о любви, я скажу обо всех страстях. Насколько в наших силах, отойдем от скользкого места: мы и на сухом-то стоим нетвердо. – (7) Ты сейчас выставишь против меня общий упрек, всегда бросаемый стоикам: «Слишком много вы обещаете, слишком суровы ваши наставленья! Мы – люди слабые и не можем себе отказать во всем! Мы будем горевать, но не очень, будем желать, но умеренно, будем сердиться – а потом успокоимся». – Знаешь, почему мы этого не можем? Не верим, что можем! (8) А на деле, клянусь, все иначе! Мы защищаем наши пороки, так как любим их, и предпочитаем извинять их, а не изгонять. На это природа дала человеку довольно сил, – если мы соберем их и напряжем и пустим в ход не против себя, а себе в защиту. «Не хотим» – вот причина; «не можем» – только предлог. Будь здоров.

Письмо CXVII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты доставишь мне много хлопот и, сам того не зная, вынудишь ввязаться в долгую и докучную тяжбу, если будешь задавать мне хитрые вопросы, в которых я не могу ни разойтись с нашими, не поссорясь с ними, ни согласиться, не поссорясь с совестью. Ты спрашиваешь, верно ли такое утвержденье стоиков: мудрость есть благо, быть мудрым – не благо. Сперва я изложу мнение стоиков, потом решусь высказать и свое сужденье.

(2) Наши считают, что благо телесно, ибо благо действует, а что действует, то телесно. Благо приносит пользу, а, не действуя, приносить пользу невозможно; если же благо действует, значит, оно телесно. По их словам, мудрость есть благо; следовательно, они не могут не признать ее телесной.

(3) А быть мудрым – это, по их мнению, дело другое: оно лишь прилагается к мудрости и бестелесно, а значит, и не действует и не приносит пользы. – «Но как же мы говорим, что быть мудрым – благо?» – Говорим, имея в виду самое мудрость, от которой и зависит, мудр ли человек.

(4) Теперь послушай, что отвечают на это некоторые, а потом и я начну от них откалываться и перейду на другую сторону. – «Если так, то и жить блаженно – не благо». – Хочешь не хочешь, а приходится отвечать, что блаженная жизнь – благо, а жить блаженно – не благо. (5) И еще нашим возражают так: «Вы хотите быть мудрыми: значит, это принадлежит к числу вещей, которых надо добиться непременно. А все непременное – благо». – И наши вынуждены калечить слова, добавлять к «непременному» два слога, чего не допускает наш язык. Но я, с твоего позволения, прибавлю их. «Непременное есть то, к чему следует стремиться непременно, то есть благо; а то, что достается нам по достижении блага, есть непреминуемое: его не добиваются как блага, но к достигнутому благу оно прилагается неминуемо». – (6) Я думаю иначе и полагаю, что наши опускаются до этого, так как их связывает цепью прежнее утвержденье, а изменить его им нельзя. Мы обычно придаем немалый вес всеобщим установившимся сужденьям, и если так кажется всем, – это для нас доказательство истины. Например, существованье богов выводится, среди прочего, и из того, что мнение это вложено во всех людей и нет племени, до того чуждого всех законов и обычаев, чтобы не верить в каких-нибудь богов. Когда мы рассуждаем о бессмертии души, немалое подспорье для нас – единодушие людей, либо страшащихся обитателей преисподней, либо их почитающих. И я воспользуюсь всеобщим убеждением: ты не найдешь нико-

го, кто не считал бы, что и мудрость благо, и быть мудрым – благо. (7) Однако я не буду, по обычаю побежденных, взывать к толпе: начну сражаться собственным оружием.

Если что-то прилагается к чему-то, оно находится либо вне, либо внутри того, к чему приложено. Если оно внутри, – значит, оно столь же телесно, как и то, к чему приложено. Ничто не может быть приложено – и не прикасаться, а что прикасается, то телесно. Если оно вне, то может и расстаться с тем, к чему приложено; но что расстается, то обладает движением, а что обладает движением, то телесно. (8) Ты надеешься, что я скажу: бег и бежать – одно и то же, так же как тепло и быть теплым, свет и светить. Нет, я согласен, что это – вещи разные, но при этом – одного рода. Если здоровье принадлежит к вещам безразличным, то и быть здоровым – также. Если к ним же принадлежит красота, то и быть красивым – также. Если справедливость – благо, то и быть справедливым – благо. Если бесстыдство – зло, то и быть бесстыдным – зло; тут, клянусь тебе, все точно так же, как с близорукостью: если она – зло, то и быть близоруким – зло. Одно – так и знай! – не может быть без другого. Кто мудр, тот обладает мудростью; кто обладает мудростью, тот мудр. И не. может быть сомнений, что каково одно, таково и другое, – настолько, что многие считают и то и другое одним. (9) Но лучше разберем вот что: поскольку всё есть или благо, или зло, или вещи безразличные, то что же такое «быть мудрым»? Что это благо – отрицают; что это зло – нельзя и подумать; значит, остается безразличное. Но мы называем «безразличным» или «промежуточным» то, что может достаться и хорошему, и дурному человеку: например, деньги, красоту, знатность. А быть мудрым может только человек добра: значит, быть мудрым к разряду вещей безразличных не принадлежит. Но и злом не может быть то, что никогда не достается на долю злым; значит, быть мудрым благо. Чего нет ни у кого, кроме людей добра, то благо; мудрыми бывают только люди добра, и, значит, это благо. – (10) «Но это лишь прилагается к мудрости». – То, что ты называешь «быть мудрым», порождается ли мудростью или порождает ее? Порождает ли, порождается ли, – все равно оно телесно: ведь тело и то, что производит что-нибудь само, и то, что чем-нибудь производится. А если так, то быть мудрым – благо, потому что для этого ему не хватало только одного: телесности. (11) Перипатетики считают так: быть мудрым – это то же самое, что мудрость, ибо одно без другого не бывает. Неужели, по-твоему, есть мудрые кроме тех, кто обладает мудростью? И не всякий ли, кто мудр, обладает, по-твоему, мудростью? (12) Старые диалектики разделяли эти вещи, и от них такое разделение пришло к стоикам. Я скажу, как у них получалось. Поле – это одно, а владеть полем – другое; и разве не так, если второе касается не поля, а его владельца? Точно так же мудрость это одно, а быть мудрым – другое. Я думаю, ты согласишься: тот, кто владеет, и то, чем владеют, – вещи разные; так и тут: владеют мудростью, а владеет мудрый. Мудрость есть наука жить и, стало быть, совершенство мысли, достигшей наивысшего и наилучшего. Что такое «быть мудрым»? Я не могу сказать: «Совершенство мысли», – нет, это то, что дается на долю обладателю совершенной мысли. Итак, благомыслие – это одно, а быть благомыслящим – другое.

– (13) «Есть тела разной природы: например, вот это – человек, это конь; за ними следуют движения души, содержащие сведения о телах. В таких движениях есть нечто самостоятельное, отдельное от тел. Например: я вижу гуляющего Катона; чувства показывают мне это, душа им верит. То, на что обращены и глаза, и душа, – тело. Но потом я говорю: «Катон гуляет», – и то, что я говорю, бестелесно. Это – некое сведенье о теле, которое одни называют «высказыванием», другие – «известьем», третьи – «речью». Так же, говоря «мудрость», мы имеем в виду нечто телесное; а говоря «он мудр», мы высказываем нечто о теле. Но ведь далеко не одно и то же сказать «он» и сказать о нем». – (14) Допустим покамест, что не одно и то же (я ведь еще не высказываю своего мнения). Разве это мешает и другому быть другим, но благом? Немного раньше говорилось, что поле – одно, а владеть полем – другое. Правильно: владеющий принадлежит к одной природе, владенье – к другой, владеет человек, владение его – земля. Но у нас речь о другом: тут и владеющий мудростью, и она сама – одной природы. (15) Там владенье – одно, владетель – другое, а здесь и владетель и владенье нераздельны. Полем владеют по праву, мудростью – от природы, поле может быть отчуждено и передано другому, мудрость неразлучна с владеющим. Нельзя сравнивать вещи столь несхожие. Я начал было говорить, что предметы могут быть разными, но оба тем не менее – блага. Например, мудрость и мудрец – не одно и то же, но ты согласишься, что и то, и другое – блага. И как ничто не мешает мудрости быть благом, а обладате-

лю мудрости – благим, так же ничто не помешает быть благом и мудрости, и обладанию мудростью; а обладать мудростью – это и есть быть мудрым. (16) Я для того и хочу достичь мудрости, чтобы быть мудрым. Так что же, разве не благо то, без чего нет и другого блага? Ведь вы наверняка говорите, что мудрость, которая дается не для применения к жизни, не нужна. А что такое применять мудрость? Быть мудрым! Это в ней самое драгоценное, без этого она становится лишней. Если пытка – зло, то и быть под пыткой зло; это настолько неоспоримо, что если отвергнуть второе, то и первое не будет злом. Мудрость есть совершенство мысли, быть мудрым – значит применять к жизни совершенство мысли. Но может ли не быть благом примененье того, что без применения само перестает быть благом? (17) Я спрошу тебя, надо ли стремиться к мудрости. Ты скажешь, что непременно. Я спрошу, надо ли стремиться применить мудрость к жизни. Ты согласишься и скажешь, что если тебе запретят это, мудрость тебе не нужна. А то, к чему должно непременно стремиться, есть благо. Быть мудрым – значит применять мудрость к жизни; так, говорить речь значит пользоваться красноречием, видеть значит пользоваться глазами; выходит, и быть мудрым – значит пользоваться мудростью. К этому должно непременно стремиться; значит, следует непременно быть мудрым, а что следует непременно, то благо.

(18) Я давно уже ругаю себя за то, что подражаю людям, которых обвиняю, и трачу слова, доказывая очевидное. Кто может сомневаться, что если жара – зло, то и томиться от жары – зло, если мороз – зло, то и мерзнуть – зло, если жизнь – благо, то и жить – благо? Все это говорится вокруг да около мудрости и к ней непричастно, нам же должно оставаться в ее пределах. (19) Даже если захочется отлучиться, в ней хватит простора и для дальних странствий. Будем исследовать природу богов, и первичные вещества светил[2], и разнообразные пути звезд; будем доискиваться, направляются ли все наши движенья их движеньями, оттуда ли приходит побуждающая сила ко всем телам и душам, связано ли непреложным законом даже именуемое случайным, поистине ли в обращениях мира ничего неожиданного, ничего нарушающего порядок не происходит. Пусть это далеко от улучшения нравов, но возвышает душу и приближает ее к величию изучаемых предметов. А то, о чем я рассуждал прежде, умаляет и унижает душу, при этом, вопреки твоему мнению, не изощряя, а ослабляя ее. (20) Опомнитесь! Зачем расточать старанья, столь.необходимые для другого, более важного и прекрасного, на вещи, может быть, и не ложные, но наверняка бесполезные? Какая мне польза знать, вправду ли мудрость – одно, а быть мудрым – другое? Какая мне польза знать, что одно из них – благо? Что же, наберусь дерзости, брошу жребий, загадав желанье, – и пусть тебе выпадет мудрость, а мне – быть мудрым! Ни ты, ни я не в проигрыше.

(21) Лучше покажи мне дорогу, по которой приходят к мудрости. Скажи, чего я должен избегать, чего искать; какие занятия укрепят мне нестойкую душу; как мне справиться с обилием зол; как отразить те беды, что врываются ко мне, и те, на которые я сам нарвался. Научи меня, как переносить тяготы, самому не застонав, и счастье, никого не заставив стонать, как не ждать последнего и неизбежного предела жизни, а бежать из нее по собственному решению. (22) По-моему, самое постыдное – это звать к себе смерть. Если ты хочешь жить, зачем звать ее? а если не хочешь, зачем просить у богов того, что дано тебе от рождения? Ведь установлено, что когда-нибудь ты умрешь и против воли; добровольная смерть – в твоих руках. Одно для тебя неизбежно, другое дозволено. (23) На этих днях я прочитал у одного, впрочем, красноречивого человека такое, право же, позорное вступление: «О если бы мне умереть скорее!» Безум ный! Ты просишь того, что всегда при тебе. «О если бы мне умереть скорее!» Ты, может быть, до старости дожил, восклицая так, – а что стояло у тебя на пути? что тебя держало? Уходи, когда заблагорассудится! Выбери любую часть природы и прикажи ей открыть перед тобою выход. Есть три стихии, которыми управляется этот мир: вода, земля, воздух, – все они и источники жизни, и пути к смерти! (24) «О, если бы мне умереть скорее!» Что ты называешь «скорее»? На какой день назначаешь срок? Он может прийти раньше, чем ты желаешь! Слова эти – человека, слабого душой, проклятьем своим он ищет жалости. Кто желает себе смерти, тот умирать не хочет. У богов проси жизни и здоровья; а решишь умереть, – так в том и будет тебе прок от смерти, что перестанешь себе ее желать.

(25) Вот чем следует заниматься, мой Луцилий, вот чем образовывать душу! Это и есть мудрость, это и значит быть мудрым, – а не пустыми и мелочными рассуждениями упражнять

ненужное хитроумие! Столько вопросов задала тебе фортуна, а ты, не решив их, занялся умствованьем! Глупо, услышав сигнал к бою, размахивать мечом в воздухе. Брось потешное оружье пора взяться за то, которым решается бой. Скажи, как добиться, чтобы душу не смущали ни печаль, ни ужас, чтобы сбросить бремя тайных вожделений. Будем делать дело! – (26) «Мудрость – благо, быть мудрым – не благо». Так мы и добьемся, что нам откажут в мудрости, что все наши занятия будут высмеяны, ибо предмет их никому не нужен.

А что бы ты сказал, узнав, что есть и такой вопрос: «Благо ли будущая мудрость?» – Да разве можно хотя бы подумать, будто закрома предчувствуют будущий урожай, а детство постигает силу и крепость будущей юности? Покуда мы больны, нам бесполезно будущее здоровье, и не восстановит сил после бега и борьбы отдых, который начнется через много месяцев. (27) Кто не знает, что предстоящее в будущем потому и не благо, что оно лишь будет? Ведь благо непременно должно приносить пользу, а полезным может быть лишь насущное. Если что бесполезно, то оно и не благо; если полезно, оно в настоящем. Я – будущий мудрец; вот когда я им стану, это и будет благом, но не раньше. Сперва должно быть нечто, а уж оно будет таким или иным. (28) Как может быть, скажи, благом то, чего еще нет? А если я скажу тебе «это будет», – нужно ли тебе дальше доказывать, что этого нет? Что приходит, то еще неизвестно, придет ли. Наступит весна, – но я знаю, что сейчас зима; наступит лето, – но я знаю, что лета еще нет. «Это будет» – вот лучшее свидетельство тому, что этого нет. (29) Я надеюсь стать мудрым; но пока что я не мудр; обладай я этим благом, я избавился бы от этого зла. В будущем я стану мудрым; из этого тебе можно понять, что я еще не мудр. Я не могу быть сразу и при будущем благе, и при нынешнем зле. Они вместе не сходятся, и не бывает у одного человека и блага, и зла.

(30) Оставим затейливые пустяки и поспешим к тому, что подаст нам помощь. Никто, торопясь позвать повитуху к рожающей дочери, не станет читать распоряженье об играх и их распорядок; никто, когда бежит на пожар собственного дома, не станет смотреть на игральную доску, чтобы узнать, как освободится взятый в плен камешек[3]. (31) А тебе, клянусь, со всех сторон приходят вести и о горящем доме, и о детях в опасности, и о родине в осаде, и о расхищаемом добре; прибавь еще землетрясения, кораблекрушенья и все, что только может нас пугать. И посреди всего этого у тебя хватает времени заниматься вещами, годными только для удовольствия души? Ты исследуешь, что такое мудрость и что такое быть мудрым? Тяжелая скала висит у тебя над головой, а ты вяжешь и распутываешь узлы? (32) Не так щедро и милостиво отпустила нам время природа, чтобы мы могли тратить его впустую! Взгляни, как много теряют даже самые усердные: часть его отнимает собственное нездоровье и нездоровье близких, часть – неизбежные дела и дела государственные; часть жизни уделяем мы сну. Что пользы тратить понапрасну большую долю этого времени, такого короткого, и быстротечного, и уносящего нас? (33) Не забудь еще, что душа легче привыкает забавлять себя, нежели лечить, и превращает в забаву философию – свое лекарство. Я не знаю, в чем разница между мудростью и «быть мудрым», знаю, что для меня неважно, знаю я это или нет. Скажи мне, разве я стану мудрым от того, что усвою эту разницу? Почему ты стараешься занять меня словами о мудрости и не допускаешь до мудрых дел? Сделай меня храбрее, сделай увереннее, сделай равным фортуне, сделай выше нее! В моих силах стать выше, если к этому будет устремлено все, чему я учусь. Будь здоров.

Письмо CXVIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Ты требуешь, чтобы я писал чаще. Подведем-ка счет, – несостоятельным окажешься ты. Мы уславливались, что твои письма будут первыми ты пишешь, я отвечаю. Но не буду прижимист: я ведь знаю, что тебе можно поверить в долг, и все дам досрочно. При этом я не буду поступать как Цицерон, человек весьма красноречивый, который велел Аттику[1], «даже если не о чем будет говорить, писать все, что взбредет на ум». (2) Мне всегда будет о чем писать, хоть я и не стану заниматься вещами, которыми заполняет свои письма Цицерон: кто выступил притязателем на должность и хлопочет о выборах, кто борется своими силами, кто чужими руками, кто домогается консульства, полагаясь на Цезаря, на Помпея, на свою ловкость[2]; какой несговор-

чивый ростовщик – Цецилий, от которого даже близкие не получат ни гроша иначе как из двенадцати процентов. Лучше заниматься своими, а не чужими пороками, разобраться в себе и посмотреть, как много есть вещей, на которые мы притязаем, но не можем собрать голосов. (3) Вот что самое благородное, мой Луцилий, вот в чем безмятежность и свобода: ничего не домогаться, а миновать площадь, где фортуна ведет выборы. Неужели, по-твоему, не приятно, – когда трибы созваны, когда притязатели на должность трепещут от неизвестности на своих возвышеньях и один обещает деньги, другой действует через посредника, третий покрывает поцелуями руки, до которых он, будучи избран, и дотронуться не захочет, и все в оцепенении ждут крика глашатая[3], – стоять в стороне и смотреть на это торжище, ничего не покупая и не продавая? (4) А насколько больше радость того, кто спокойно взирает не на консульские и не на преторские выборы, а на те великие, на которых одни хлопочут о годичных должностях, другие – о пожизненной власти, третьи – об удачном завершенье войны и триумфе, четвертые – о богатствах, те – о женитьбе, о детях, эти – о своем здоровье и о здоровье близких. Сколь великой будет душа того, кто один ничего не станет домогаться, никого не захочет умолять и скажет: «Что мне до тебя, фортуна! Я не дам тебе власти надо мною. Я знаю, у тебя Катонов проваливают, а избирают Ватиниев[4], – и я ни о чем не прошу!» Вот что значит взять фортуну в свои руки. (5) Вот о чем мы можем писать друг другу, не боясь исчерпать этот предмет, – меж тем как на нас с беспокойством смотрят тысячи людей, которые, чтобы добыть что-нибудь себе же на погибель, попадают из одной беды в другую и гонятся за тем и за другим, чтобы вскоре от него же бежать или им погнушаться. (6) Кто, достигши, довольствовался тем, что представлялось ему покрывающим с избытком все желанья? Счастье, вопреки общему мнению, не жадно, а слишком ничтожно, чтобы кого-нибудь насытить. Тебе кажется высоким то, от чего ты далеко, а взойди наверх – и оно окажется низким. Пусть я буду лжецом, если тебе и тогда не захочется взойти выше: то, что ты считал вершиной, только ступенька. (7) От незнания истины плохо всем. Люди мчатся, словно вдогонку за благами, обманутые слухами, а потом, достигнув и немало выстрадав, видят, что достигнутое ими или дурно, или тщетно, или меньше, чем они надеялись; а немалая часть людей дивится обманчивым издалека вещам, и большое кажется толпе благом.

(8) Чтобы такое не случилось и с нами, исследуем, что есть благо. Его толкуют по-разному: один определяет его так, другой говорит о нем иначе. Некоторые дают такое определенье: «Благо есть то, что привлекает души, что зовет их к себе» На это сразу же возражают: а что, если оно зовет души им на погибель? Ведь ты знаешь, как много зол выглядит соблазнительно. Правда и правдоподобье отличаются друг от друга. Благо же непременно сочетается с правдой: что не истинно, то не благо; а что привлекает и заманивает, то правдоподобно, оно подкрадывается, подзадоривает, влечет. (9) Другие давали такое определенье: «Благо – это то, что заставляет желать себя, вызывает в душе сильное стремленье к себе». – И на это можно возразить так же: сильное стремленье вызывает в душе многое, к чему стремятся себе на горе. Лучшее определение дают те, что говорят: «Благо – это то, что вызывает в душе стремленье к себе, согласное с природой, и только потому заслуживает, чтобы его домогались». Что заслуживает домогательства, то честно, ибо и стремленье к нему совершенно. (10) Но тут сам предмет напоминает мне, что уместно будет сказать о различии между благом и честностью. У них есть нечто единое и неразделимое: нет блага, в котором не было бы доли честности, и что честно, то всегда благо. А в чем же различие? Честность есть совершенное благо, завершающее собою блаженство жизни, благо, через причастность которому и все прочее становится благом. (11) Вот что я имею в виду: военная служба, например, или начальство над легионом, или право вершить суд – все это и не благо и не зло. Но когда обязанности эти исполняются честно, они становятся благами, переходят из разряда вещей безразличных в разряд благ. Благо делается благом в сообществе с честностью, честность и сама по себе благо. Благо вытекает из честности, честность – сама себе исток. Нынешнее благо могло когда-то быть злом; все, что честно, иначе как благом быть не может.

(12) Некоторые давали и такое определение: «Благо есть то, что согласно с природой». Слушай внимательно, что я скажу: все, что благо, согласно с природой, но не все, что согласно с природой, есть также и благо. Много вещей не противоречат природе, но они так ничтожны, что имя блага им не пристало. Они так легковесны, что заслуживают презрения, из благ же и самое малое его не заслуживает. Ибо пока оно ничтожно, оно не станет благом, а став благом, переста-

нет быть ничтожным. Как распознать благо? Оно в совершенстве согласуется с природой. – (13) «Ты не споришь, что благо согласно с природой, ибо таково его качество, но утверждаешь, будто есть и не блага, согласные с природой. Как же может быть одно благом, другое нет? Как может быть разного свойства то, что обладает таким важным общим признаком, как согласие с природой?» – (14) Может из-за своей величины. Не ново, что многое, вырастая, изменяется. Был ребенком – стал взрослым, и качество уже другое: ребенок неразумен, взрослый разумен. Многое благодаря приросту делается не только больше, но и другим. – (15) «Нет, что становится больше, не становится другим: нальешь ли ты вино в бутылку или в бочку, – разницы нет, вино и там и там сохраняет свое качество; возьми от большого количества меда немного – вкус будет тот же». – Но твои примеры – совсем другого рода: у этих вещей свойства сохраняются, хотя их самих становится больше. (16) Есть вещи, которые от умножения не меняют ни рода, ни свойств, и есть такие, что после многих добавлений от последнего превращаются в нечто другое, ибо оно-то и придает им новое, иное, нежели прежде, качество. Один камень создает свод – тот, который замыкает наклонные стены и, вклинившись, связывает остальные камни. Почему больше всего делает последнее добавленье, как бы ни было оно мало? Потому что оно не увеличивает, а завершает собою. (17) А некоторые вещи в постепенном движении избавляются от прежнего обличья и принимают новое. Если душа долго осматривает что-нибудь и устает следовать за его величиной, мы начинаем называть эту вещь бесконечной, – а это совсем не то, что вещи, кажущиеся большими, но имеющие предел. Так же точно мы думаем, что такая-то вещь делится с трудом, и с возрастанием трудности под конец обнаруживаем, что она неделима; а от того, что движется еле-еле и с натугой, мы переходим к неподвижному. Таким же образом нечто было согласно с природой, – но возрастание величины переводит его в другое качество, и оно становится благом. Будь здоров.

Письмо CXIX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Никогда я, если найду что-нибудь, не жду, пока ты скажешь: «Чур, на двоих!» – а сам себе говорю это. Ты спросишь, какова моя находка? Подставляй полу, здесь чистая прибыль! Я научу тебя, как в два счета стать богачом, – а тебе об этом куда как хочется услышать, и недаром: я кратчайшим путем поведу тебя к величайшему богатству. Впрочем, тебе нужен будет заимодавец; чтобы начать дело, придется взять в долг; но я не хочу, чтобы ты брал через вторые руки, не хочу, чтобы посредники трепали твое имя. (2) Я представляю тебе сговорчивого заимодавца – того, что указан был Катоном: «Бери в долг у себя самого». Нам хватит любой малости, если все, чего недостает, мы будем просить у себя самих. Знай, мой Луцилий: что не желать, что иметь – одно и то же. Итог и тут и там одинаков: мучиться ты не будешь. Я не поучаю тебя хоть в чем-нибудь отказывать природе: она упряма, одолеть ее нельзя, – все равно потребует своего; но что выходит за ее пределы, то заемное, а не необходимое. (3) Я голоден, – надо поесть; а полбяной будет хлеб или пшеничный, это к природе касательства не имеет. Она хочет, чтобы мы насыщали утробу, а не ублажали. Мне хочется пить, – а какую воду – ту ли, что я зачерпнул из соседнего озера, или ту, которую запечатал снегом, чтобы она была свежей от заемного холода, – это к природе касательства не имеет. Она велит одно: утолить жажду; будет ли твой кубок из золота, из хрусталя или из мурры, будет ли у тебя тибуртинская чашка[1] или собственная горсть, – это природе неважно. (4) В каждом деле смотри на цель – и откажешься от всего лишнего. Голод взывает ко мне, – я протяну руку к тому, что ближе лежит, а он сам сделает вкусным все, что бы я ни взял. (5) Голодный ничем не гнушается.

– «А что же будет у меня для удовольствия?» – По-моему, прекрасно сказано: «Мудрец – самый неустанный искатель природного богатства». – Ты скажешь: «Что ты угощаешь меня с пустой тарелки? Я приготовил было мешки для денег, озирался, выбирая, в какое море мне пуститься для торговли, какой взять откуп, какие ввозить товары. Посулить богатство, а потом учить бедности, – это обман!» – Стало быть, того, кто ни в чем не знает недостатка, ты считаешь бедняком? – «Но этим он обязан себе и своему терпению, а не фортуне». – Так ты не хочешь

считать его богатым только потому, что его богатство неисчерпаемо? Что больше: иметь много или сколько хочется? (6) Кто имеет много, тот желает еще больше, – а это доказывает, что он имеет меньше, чем ему хочется. А у кого есть, сколько хочется, тот достиг цели, – чего никогда не дается богатству. Ты потому только считаешь, будто у них нет богатства, что их корысти ради не внесли в смертные списки, что им корысти ради не подсыпали яду ни сын, ни жена? что во время войны им ничего не грозит? что в дни мира они свободны от дел? что ни владеть такими богатствами не опасно, ни распоряжаться не трудно? – (7) «Но ведь мало есть у того, кто разве что не знает холода, и голода, и жажды!» – Большего нет и у Юпитера! Иметь, сколько хочется, никогда не мало, а меньше, чем хочется, – всегда мало. После Дария, после индийцев Александр Македонский беден. Разве я лгу? Ведь он ищет, чего бы присвоить, рыщет по неведомым морям, шлет в океан флот за флотом, взламывает, так сказать, запоры мира. Чего довольно самой природе, человеку мало! (8) Нашелся один, кто, имея все, захотел еще. Вот до чего слеп наш ум, вот до чего легко каждый из нас, преуспев, забывает, с чего начал! Он, не бесспорный владетель жалкого уголка[2], достигнув границы земли и возвращаясь по захваченному им миру, был печален.

(9) Деньги никого не сделали богатым, – наоборот, каждого они делают еще жаднее до денег. Ты спросишь, в чем тут причина? Кто имеет много, тому становится по силам иметь больше. Одним словом, можешь взять любого, чьи имена называют заодно с Крассом и Лицинием[3], и вывести на средину; пусть принесет свое имущество и подсчитает, что имеет и на что надеется; он беден, если верить мне, а если поверить тебе, то может обеднеть. (10) А тот, кто сообразуется с требованьями природы, не только не чувствует, но и не боится бедности. Впрочем, знай, что сократить свое добро до естественной меры крайне трудно: тот, кого мы называем близким к природе, кого ты именуешь бедняком, что-нибудь лишнее да имеет. (11) Богатство ослепляет толпу и привлекает к себе взгляды, если из дому выносят много денег, если крыша у него щедро позолочена, если отборная прислуга бросается в глаза или красотой и ростом, или платьем. Но счастье таких богачей смотрит на улицу; а тот, кого мы избавили и от толпы, и от фортуны, счастлив изнутри. (12) Ведь что до тех, у кого хлопотливая бедность ложно присвоила имя богатства, то они вроде больных лихорадкой, про которых говорят: «у него лихорадка», – а между тем как раз он у нее во власти. Но говорим мы и так: «его треплет лихорадка»; и тут нужно говорить так же: «его треплет богатство».

В одном я хочу тебя вразумить, – в том, в чем любых вразумлений мало: мерь все естественными желаниями, которые можно удовлетворить или задаром, или за малую цену. И не смей примешивать к желаньям пороки! (13) Ты спрашиваешь, каким должен быть стол, на каком серебре подавать, надо ли, чтобы все прислужники были одного роста и без бороды. Но ведь природе ничего, кроме пищи, не нужно!

> Разве, коль жажда тебе жжет глотку, ты лишь к золотому
> Тянешься кубку? Голодный, всего, кроме ромба, павлина,
> Будешь гнушаться? [4]

(14) Голод не тщеславен, ему довольно, если его утолят, а чем – ему нет дела. Остальное – муки злосчастной жажды роскоши: это она доискивается, как бы ей, наевшись, снова захотеть есть, как ей не наполнить, а набить брюхо, как вновь возбудить жажду, напившись первыми глотками. Прекрасно говорит Гораций, что жажде нет дела, в какой чаше и сколь изящною рукою подана вода. А если ты считаешь важным, кудряв ли мальчик, протягивающий тебе питье, и блестит ли кубок, – значит, ты пить не хочешь. (15) Помимо прочих даров получили мы от природы и этот, наилучший: необходимое не приедается. Выбирать можно только между лишними вещами. «То некрасиво, это никем не ценится, а вон то оскорбляет мой взгляд». Великий создатель мира, предписавший нашей жизни законы, сделал так, чтобы мы были здоровы, а не избалованы. Для здоровья все есть, все под рукой; для баловства все добывается с трудом и муками. (16) Так воспользуемся этим благодеяньем природы, полагая его в числе величайших и наибольшей ее заслугой перед нами будем считать данную нам способность не пресыщаться тем, чего мы желаем по необходимости. Будь здоров.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо CXX

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Твое письмо блуждает с одного вопроса на другой, но потом останавливается на одном и требует на него ответа: «Откуда берется у нас знание блага и честности?» – Многие считают, что благо и честность – вещи разные, мы же только отделяем одно от другого. Вот что я имею в виду. (2) Некоторые полагают, будто благо – это то, что полезно, то есть прилагают это имя и к богатству, и к лошади, и к вину, и к обуви – до того дешевым становится у них благо, до таких низин опускается. Честным называют они все, в чем присутствует неукоснительное выполненье долга: преданную заботу об отцовской старости, помощь другу в бедности, отважный поход, разумное и умеренное предложение в сенате. (3) Мы тоже не считаем благо и честность за одно, хотя они едины. Без честности нет блага, а что честно, то непременно благо. В чем между ними разница, я говорил не раз и считаю излишним повторять. Скажу одно: нам не кажется благом то, чем можно воспользоваться во зло, – а ты сам видишь, как часто злоупотребляют богатствами, знатностью, могуществом.

Теперь вернусь к тому, о чем ты просишь сказать: откуда у нас впервые берется знание блага и честности. (4) Природа не могла научить нас: она дала нам семена знания, но не само знание. Некоторые утверждают, будто мы напали на это знание случайно; однако невозможно поверить, чтобы у кого-нибудь перед глазами вдруг возник образ добродетели. Нам кажется, что он создается благодаря наблюдению и сравнению часто совершаемых поступков; наши полагают, что и честность и благо постигаются посредством аналогии. Это слово, коль скоро латинские грамматики дали ему права гражданства, не следует, по-моему, осуждать и высылать на родину, и я буду пользоваться им не только как принятым, но и как общеупотребительным. (5) Вот что такое эта аналогия. Узнав, что есть здоровье тела, мы подумали, что есть и некое здоровье духа. Узнав о телесной силе, мы сделали вывод, что есть и крепость духа. Нас поразили милосердные, человечные, смелые поступки, мы увидели в них совершенство и восхитились им. Но под ними скрывалось множество пороков, таившихся под блистательной внешностью некоторых поступков, – и мы этих пороков не заметили. Ведь природа велит преувеличивать все достойное хвалы, и всякий видит славу большей, чем она есть. Вот откуда и взяли мы образ величайшего блага.

(6) Фабриций отверг золото царя Пирра: он мог презреть царские богатства – и это было для него ценней любого царства. И он же, когда врач Пирра пообещал дать царю яд, предупредил Пирра, чтобы тот опасался козней. Не дать богатствам победить себя, не побеждать ядом – для этого нужна равная высокость духа! Мы восхищаемся величием мужа, не прельстившегося ни посулами царя, ни посулами погубить царя, мужа, верного благим примерам и – самое трудное! – на войне чуждого преступлений, верившего, что есть вещи, которые не дозволено делать даже врагу, и в крайней бедности, которую он сделал лучшим своим украшением, гнушавшегося золотом не меньше, чем ядом. «Живи моим благодеяньем, Пирр, – сказал он, – и радуйся неподкупности Фабриция, прежде так печалившей тебя!» (7) Гораций Коклит[1] один перегородил узкий мост и приказал отрезать сзади путь, лишь бы ему самому не дать дороги врагам! И он сопротивлялся их натиску, покуда не затрещали сорванные мощным обвалом брусья. Тогда он оглянулся и, убедившись, что принял на себя опасность и спас от опасности отчизну, сказал: «Пусть, кто хочет, гонится за мной этим путем!» Тут он кинулся с моста, но, равно заботясь о том, чтобы сохранить в быстрине потока и жизнь, и оружье, не бросил украшенных недавней победой меча и щита; так и вернулся он к своим, невредимый, словно прошел по мосту. (8) Эти и подобные им деянья и являют нам образ добродетели.

Я прибавлю такое, что может показаться странным: иногда зло делало виднее красоту честности, и прекраснейшее ярче блистало рядом с безобразным. Ты ведь знаешь, что есть пороки, смыкающиеся с добродетелями, а самое постыдное, самое пропащее похоже порой на должное и правильное. Так расточитель прикидывается щедрым, хотя между умеющим одарять и не умеющим беречь – разница огромная. Есть, я повторяю, немало людей, которые не раздают, а разбрасывают; я не назову, мой Луцилий, щедрым того, кто враг своим деньгам. Равнодушие

притворяется уступчивостью, наглость – смелостью. (9) Такое сходство заставило нас быть внимательней и различать близкое по внешности, но не тождественное по сути. Наблюдая прославившихся великими деяньями, мы начали примечать, ктр совершил его мужественно и благородно, ничуть не колеблясь, – но всего лишь однажды. И увидев одного храбрым на войне и робким на форуме, другого – мужественно сносящим бедность, но трусливо – поношение. мы стали хвалить поступок, но презирать человека. (10) А третьего мы видели благосклонным к друзьям, терпимым к врагам, безупречным и добросовестным в делах частных и государственных; видели, как во всем, что приходится выносить, ему хватает терпения, а везде, где нужно действовать, – разумности; как он раздает щедрой рукой, когда нужно оделить многих, как он настойчив и упорен, когда нужно трудиться, и силою духа одолевает усталость тела. К тому же он всегда одинаков, и верен себе в каждом поступке, и хорош не по намеренью, а потому что усовершенствовал свой нрав и не только может поступать как должно, но и не может поступать иначе. И мы поняли, что перед нами образец совершенной добродетели. (11) Ее мы разделили на части; оказалось, что следует обуздать желания, подавить боязнь, разумно заботиться о предстоящих делах, раздать все, что должно быть отдано; мы постигли, что такое воздержность, мужество, разумность, справедливость, и определили, в чем долг каждой из них. Но из чего мы поняли, что такое добродетель? Нам показали ее присущие такому мужу последовательность и красота, и постоянство, и согласие во всех делах, и величие, превзошедшее все виденное нами. Отсюда же мы поняли, что такое блаженная жизнь, текущая без бурь и зависимая лишь от собственной воли. (12) Как это стало нам ясно? Я скажу. Никогда тот достигший совершенной добродетели муж не проклинал фортуну, никогда не печалился, принимая удары случая, но считая себя гражданином мира и солдатом, переносил все труды, словно ему приказал начальник. Что бы ни стряслось, он принимал все не с негодованьем, как беду, насланную враждебным случаем, а как нечто ему самому порученное. «Каково бы оно ни было, – говорил он, – но оно мое; пусть оно трудно, пусть тягостно, – будем и в этом деле усердны». (13) И не могло не стать ясно, сколь велик тот, кто ни от каких невзгод не застонал, ни разу на свой рок не пожаловался; многих он заставил понять, каков он, и блистал ярко, словно свет во мраке, а своей кротостью, и мягкостью, и справедливостью во всех делах божественных и человеческих он привлек к себе все души. (14) Собственная его душа была совершенна и поднялась до крайних своих пределов, так что выше нее был только дух бога, частица которого и излилась в эту смертную грудь. А она никогда не бывает более божественной, чем в то время, когда думает о своей смертности, знает, что человек затем и рожден, чтобы выполнить труд жизни, и что это тело – приют не постоянный, а временный и даже кратковременный, который придется покинуть, едва хозяин сочтет тебя тягостным гостем.

(15) Повторяю, мой Луцилий: главный признак души, явившейся свыше, это если всё, среди чего она обитает, кажется ей низким и тесным, если она не боится выйти вон. Ведь кто помнит, откуда он явился, тот знает, «уда уйдет. Неужто мы не видим, как много неприятного мучит нас, как мало подходит нам это тело? (16) Мы жалуемся то на голову, то на желудок, то на грудь и горло; то нас мучат сухожилия, то нога, потом понос, потом простуда; иногда крови мало, иногда – слишком много; со всех сторон нас донимают и гонят прочь. Так бывает со всеми, кто живет не у себя. (17) А мы, получив в удел такое хилое тело, простираем свои замыслы на вечность, надеемся на самый долгий срок, какой только случалось прожить человеку, и не довольствуемся никаким богатством, никаким могуществом. Что может быть бесстыднее и глупее? Близким к смерти, даже умирающим, нам всего мало! А ведь мы с каждым днем все ближе к последнему, и каждый час торопит нас туда, откуда нам суждено упасть. (18) Взгляни, как слеп наш ум! То, что считаю я будущим, происходит сейчас, и наибольшая часть его – все время, которое мы прожили, – уже позади. Мы заблуждаемся, когда страшимся последнего дня: ведь каждый день вносит долю в нашу смерть! Усталость – не от того шага, на котором мы падаем без сил: он только ее обнаруживает. Последний день лишь приходит к смерти, а идут к ней все подряд. Она уносит нас не сразу, а малыми долями.

Потому-то великая душа, зная свою высшую природу, старается и на этом назначенном ей месте нести службу честно и усердно и все вокруг считает не своим, а только взятым на подержанье, и пользуется им, подобно» заезжему и спешащему прочь гостю. (19) И если мы увидели в

ком-нибудь такую стойкость, то как может не возникнуть у нас образ души необычайных свойств, особенно когда постоянство, о каком я говорил, доказало нам подлинность ее величия? Все истинное остается неизменным, все ложное краткосрочно. Есть люди, которые бывают попеременно то Ватиниями, то Катонами; то для них Курий[2] недостаточно строг, Фабриций недостаточно беден, Туберон недостаточно скромен и невзыскателен, – то они богатствами бросают вызов Лицинию, обедами – Апицию, удовольствиями – Меценату. (20) Первый признак больной души – колебания и непрестанное метанье от показной добродетели к искренно любимым порокам.

То вдруг двести рабов у него, то не больше десятка,
То о царях говорит и тетрархах высокие речи,
То вдруг скажет: «Довольно с меня, был бы стол, хоть треногий,
Соли простая солонка, от холода грубая тога!»
Дай ты ему миллион, как будто довольному малым,
И в пять дней в кошельке ничего! [3]

(21) Многие таковы, как описанный здесь Горацием Флакком, никогда не похожий на самого себя и всегда бросающийся из стороны в сторону. Я сказал «многие», – нет, почти что все. Нет таких, чтобы день ото дня не меняли и замыслы, и желания: то хочется иметь жену, то любовницу; то мечтают царствовать, то стараются быть услужливей раба; то надуваются до того, что все их ненавидят, то сжимаются и становятся ниже тех, что лежат на земле; деньги то швыряют, то гребут. (22) Этим-то изобличается безрассудство души: каждый раз она другая, непохожая на себя, – а ничего позорней, по-моему, нет. Поверь мне, великое дело – играть всегда одну роль. Но никто, кроме мудреца, этого не делает; все прочие многолики. То мы покажемся тебе бережливыми и степенными, то расточительными и тщеславными. Мы то и дело меняем личины и берем противоположную той, какую сбросили. Так потребуй от себя одного: каким. ты показал себя вначале, таким оставайся до конца. Сделай так, чтобы тебя хвалили, а не сможешь так хоть чтобы узнавали. А то порой о человеке, с которым виделись вчера, по праву можно спросить: «Кто это?» Так мы меняемся! Будь здоров.

Письмо CXXI

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Я вижу, ты станешь спорить со мною, когда я изложу тебе сегодяшний вопрос, на котором мы уже достаточно долго останавливались. Ты снова воскликнешь: «Какое касательство все это имеет к нравам?» – Восклицай, что хочешь; я же сперва представлю тебе и других твоих противников в этой тяжбе – Посидония и Архидема[1] (пусть-ка и они держат ответ), а потом скажу так: не все относящееся к нравам воспитывает добрые нравы. (2) Одно нужно человеку для питания, другое – для упражнения, третье для удовольствия, четвертое – чтобы его одеть, пятое – чтобы обучить. Все это имеет касательство к человеку, хоть и не все делает его лучше. И к нравам одно причастно так, другое – иначе. Одно их исправляет и улучшает; другое исследует их природу и происхожденье. (3) Когда я исследую, почему природа произвела человека, почему предпочла его прочим живым существам, – неужели, ты думаешь, я далеко отхожу от нравов? Неверно это! Откуда ты узнаешь, какие нравы нужны, если не отыщешь, что для человека лучше всего? если не будешь наблюдать его природу? Только тогда ты поймешь, что тебе нужно делать и чего избегать, когда усвоишь, что должен ты своей природе. – (4) «А я хочу усвоить, как мне меньше желать, меньше бояться! Избавь меня от предрассудков; объясни, как пусто и легковесно то, что зовется счастьем, – ведь к нему так легко приставляется еще один слог!» – Я исполню твое желание, ободрю тебя на пути к добродетели, буду бичевать пороки; пусть меня сочтут не знающим в этом ни удержу, ни меры, – я не перестану преследовать злонравие, обуздывать неистовые страсти, умерять наслажденья, готовые перейти в муки, перебивать молитвы. Почему? Да потому что самые большие беды мы сами себе вымаливаем, и в чем сейчас нас утешают, с

тем поначалу поздравляли.

(5) Покуда позволь мне разобраться в вопросе, на первый взгляд от всего этого далековатом. Он гласит: «Ощущают ли все животные состояние своего тела?» Что это так, более всего явствует из той ловкости и складности, с какой они двигают своими членами, словно обучены таким движеньям. Каждое животное свободно владеет любой частью тела. Ремесленник легко действует орудиями, кормчий корабля умело поворачивает руль, художник, хоть перед ним и множество разных красок, быстро замечает те, что нужны ему для передачи сходства, и рука его и взгляд легко снуют между воском [2] и произведением. С тем же проворством и животные владеют своим телом. (6) Мы дивимся на умелых плясунов, – до чего послушны им руки, способные выразить любую страсть и любой предмет, так что их быстрые телодвижения поспевают за словами [3]. Но то, что дало им учение, животным дает природа. Ни одно из них не переставляет с трудом конечностей, все владеют своим телом без помех. Рожденные для этого, они сразу же становятся подвижны, они всё умеют с первого мига и появляются на свет обученными всему. – (7) «Но ведь животные так складно двигают всеми частями тела только потому, что, двигайся они иначе, им стало бы больно». – По-вашему выходит, они двигаются правильно по принужденью и от страха, а не по своей воле; но это неверно. Когда их заставляет необходимость, они неповоротливы, а ловки, только когда двигаются по своему почину. Нет, уж никак не страх перед болью принуждает их к проворству, коль скоро они стремятся к естественному движению даже через силу, вопреки боли. (8) Если ребенок, задумав встать и приучаясь держаться на ногах, начинает пробовать силы, он тотчас же падает, но всякий раз с плачем встает, покуда, упражняясь наперекор боли, не добьется того, чего требует природа. Некоторые животные с твердой спиной, если их перевернуть, корчатся и сучат ногами, покуда кто-нибудь их не поставит, как положено. Черепаха, лежа на спине, никаких мук не испытывает, но желание принять естественное положение не дает ей покоя, и она не перестает вытягиваться и барахтаться, пока не встанет на ноги. (9) Значит, чувствовать состоянье тела дано всем, и отсюда – такая свобода в движении всех членов; нет животного, которое владело бы своим телом с неловкостью новичка, – и этим лучше всего доказывается врожденность их уменья.

– (10) «Но вы утверждаете, что состояние – это такое или иное отношение руководящего начала души к телу. Как понять ребенку такое путаное и тонкое определение, которое и вы сами с трудом выговариваете? Все животные должны были бы родиться диалектиками, чтобы понять эти вещи, темные и для большинства носящих тогу». – (11) Твое возражение было бы правильно, если бы я утверждал, будто животные постигают определение состояния, а не само состояние. А его легче постичь естественным образом, чем выговорить. Ребенок не знает, что такое состояние, а свое состояние знает, и не знает, что такое живое существо, однако чувствует, что сам он живое существо. (12) Да и состояние своего тела он постигает смутно, в самых грубых чертах. И мы тоже – знаем, что-у нас есть душа, но не знаем, что она такое, какова она, откуда берется, где находится. Как мы ощущаем в себе душу, хотя и не знаем ни ее природы, ни местопребывания, так и все животные ощущают состояние-своего тела. Ведь не могут они не чувствовать того, через посредство чего чувствуют все остальное, не могут не чувствовать того, чему повинуются,. чем управляются. (13) Всякий из нас понимает, что есть нечто, заставляющее нас двигаться туда или сюда, но никто не знает, что это; всякий чувствует в себе некое усилие, но что оно такое и откуда оно, не знает. Так и у детей, и у животных есть ощущение руководящего начала собственной души, хотя и неясное, нечеткое. (14) «Но вы говорите, что каждое животное прежде всего приспосабливается к собственному состоянию; а поскольку главное в состоянии человека – разум, то человек приспосабливается к себе не как к живому существу, а как к существу разумному. Человек тем и дорог себе, что он человек. Но как же младенец может приспособиться к состоянию разумного существа, когда он еще неразумен?» – (15) У всякого возраста – свое состояние: у младенца одно, у мальчика другое, у старика третье. Все приспосабливаются к тому состоянию, в котором сейчас пребывают. У младенца нет зубов – он приспосабливается к этому состоянию; прорезались зубы – он приспосабливается к новому состоянию. Ведь и у злака, который станет урожаем на поле и зерном, одно состояние, когда он нежен и едва всходит из борозды, другое – когда он окрепнет и поднимется и его верхушка, хоть и мягкая, уже несет свой груз; третье – когда он пожелтел и готов для тока, и колос у него твердеет; какого состояния он до-

стигнет, то и поддерживает и сообразно ему принимает облик. (16) Младенчество, детство, юность, старость – возрасты разные; но я, бывший я младенцем, и ребенком, и юношей, остаюсь самим собою. Так же, хотя состояние у каждого все время становится другим, приспособление к своему состоянию всегда одинаково. Ведь природа заставляет меня видеть не мальчика, или юношу, или старика, а меня самого. Поэтому младенцем я приспосабливался к младенческому состоянию, а не к будущему юношескому. И если младенцу предстоит вырасти и перейти в другое состояние, это не значит, будто то, в котором он рождается, противоестественно. (17) Живое существо прежде всего приспосабливается к самому себе: ведь должно же быть некое средоточье, к которому устремлено все остальное. Я ищу наслаждений; для кого? для себя! Значит, я забочусь о себе. Я избегаю боли; ради кого? ради себя! Значит, я забочусь о себе. Если я все делаю, заботясь о себе, значит, забота о себе для меня превыше всего. Это присуще всем животным, и не прививается им, а дается от рождения. ^18) Природа взращивает свое потомство и не покидает его; но поскольку самая надежная опека есть опека изблизи, каждый поручен самому себе. Поэтому, как я говорил в прежних письмах, даже неокрепшие животные, едва вышедшие из материнской утробы или появившиеся как-нибудь иначе, уже знают, что им враждебно, и избегают грозящего смертью; даже тени пролетающей хищной птицы пугаются те, что служат ей добычей. Всякое животное, входя в жизнь, знает страх смерти.

– (19) «Но как новорожденное животное может понимать, что спасительно и что смертоносно?» – Прежде всего спрашивается, понимает ли, а не каким образом понимает. А понимание у него есть, как явствует из того, что они делают не больше и не меньше, чем делали бы, понимая. Почему курица не бежит ни от павлина, ни от гуся, и бежит от еще неведомого ей и куда меньшего ястреба? Почему цыплята кошек боятся, а собак не боятся? Ясно, что у них есть знание того, что им вредно, собранное не на опыте, – многого они ведь остерегаются, и не испытав на себе. (20) И еще, чтобы ты не подумал, будто все это случайно: они и не боятся, чего не следует, и никогда не забывают об осторожности и внимании; все бегут от гибели одинаково. И потом они не становятся тем боязливей, чем дольше живут. Отсюда ясно, что они пришли к этому не на опыте, а благодаря врожденной любви к себе и к собственной безопасности. Опыт приходит поздно и учит разному; природа дает знание сразу и всем одинаковое. (21) Если ты настаиваешь, я скажу, как всякое животное доходит до понимания того, что для него гибельно. Оно ощущает, что состоит из плоти, и когда чувствует, что может резать, жечь, рвать плоть, какие животные вооружены и могут вредить, составляет себе понятие обо всем враждебном и опасном. Две вещи связаны между собою: всякое животное приспосабливается к тому, как бы сохранить себя, и одинаково идущего впрок ищет, а наносящего ущерб избегает. Естественны и эта тяга ко всему полезному, и отвращение ко всему враждебному: и то и другое появляется без подсказывающего размышления, без намерения, как все, чему учит природа. (22) Разве ты не видишь, с каким тонким искусством пчелы строят себе жилища? какое между ними согласие в разделении работ? Разве ты не видишь, что никому из смертных не сравниться с пауком в тканье? Сколько стоит трудов расположить нити так, чтобы одни шли прямо и держали остальное, другие шли по кругу, в середине чаще, к краям реже, и сделать так, чтобы они, словно тенета, удерживали маленьких тварей, на погибель которым протянуты? (23) Этому искусству не-учатся, – с ним рождаются. Поэтому одно животное не бывает искусней другого. Ты можешь видеть, что у всех пауков паутина одинакова, во всех ячейках сот одинаковы углы. Что преподает нам наука, то и неодинаково, и ненадежно; что раздает природа, всем достается поровну. А она больше всего учит самосохранению и всему, что для него нужно; поэтому все животные начинают учение вместе с жизнью. (24) Нет ничего удивительного, если они от рожденья наделены тем, без чего бы родились напрасно. Первые орудия, данные им природой для выживанья, – приспособленье и любовь к себе. Они, если бы не хотели, и не могли бы уцелеть, и хот» сама эта воля не спасла бы их, без нее ничто бы не служило им во спасение. Ты не найдешь ни одного, которое бы собою не дорожило и пренебрегало. Даже бессловесным и тупым скотам, как бы ни были они неуклюжи во всем прочем, хватает ловкости и вниманья, чтобы жить. Ты сам увидишь, что даже те из них, что для других бесполезны, для своей пользы ничего не упустят. Будь здоров.

Письмо CXXII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) День уже пошел на убыль и стал на шаг короче, однако дает довольно простора тем, кто, так сказать, встает вместе с ним; еще добрей и щедрее он к тем, кто дожидается его и видит первый луч. И стыдно тому, кто лежит в полусне, когда солнце высоко, чье бодрствованье начи нается в полдень, – да и это для многих все равно что встать до рассвета. (2) Есть и такие, что превращают ночь в день и поднимают отяжелевшие от вчерашнего хмеля веки не раньше, чем приблизится тьма. Говорят, что у тех, кого природа, по словам Вергилия, поселила под нашими краями, перевернув вниз головой,

> Чуть лишь задышат на нас, запыхавшись, кони Востока,
> Там зажигает, багрян, вечерние светочи Веспер[1]

И такой же порядок у людей, у которых перевернута не страна, а жизнь. Есть и в нашем городе антиподы, которые, как говорит Марк Катон [2], «не видали ни восхода, ни заката». (3) Неужели, по-твоему, знают, как надо жить, не знающие, когда жить? И они еще боятся смерти, после того как погребли себя заживо, зловещие, словно ночные птицы! Пусть проводят ночи за вином, среди благовоний, пусть коротают время извращенного бдения за пиром из множества перемен, – все равно они не пируют, а самим себе отдают последний долг. Впрочем, и мертвых поминают днем.

А для занятого делом, клянусь, день не бывает слишком долгим! Продлим себе жизнь! Ведь и смысл, и главный признак ее – деятельность. Сократим же хоть ненамного ночь в пользу дня! (4) В темноте держат птиц, откармливаемых для пира, чтобы они легче жирели в неподвижности; и так же у тех, кто в праздности позабыл обо всех упражнениях, ленивое тело пухнет и в сумраке заплывает жиром. Поэтому так мерзки на вид тела обрекших себя жить в темноте. Цвет их лиц подозрительней, чем у побледневших от болезни: томные и расслабленные, они бледны как мел, и плоть у них заживо становится как у мертвецов. Но это, я бы сказал, наименьшая из их бед. Насколько же темнее у них в душе! Она уставилась в себя самое, окутанная сумраком, и завидует слепым. Ведь не для темноты есть у нас глаза!

(5) Ты спросишь, откуда такая извращенность в душах, чтобы гнушаться днем и переносить всю жизнь на ночь. Все пороки сражаются против природы, все отходят от должного порядка: наслаждаться всем извращенным – такова цель сластолюбия, и не только свернуть с прямого пути, но и отойти как можно дальше или пойти в обратную сторону. (6) А те, по-твоему, живут не вопреки природе, кто пьет натощак, чтобы принять вино в. пустые жилы, и приступают к еде пьяными? А этот порок, такой частый у юнцов, старающихся стать сильнее: они пьют на самом пороге бани, среди скинувших платье, и не пьют, а пьянствуют, чтобы потом соскабливать пот, вызванный обильным и горячим питьем? Пить же после обеда или ужина пошло, так делают деревенские отцы семейств, не знающие, что такое истинное наслажденье. Чистое вино приятно, когда не смешивается с пищей и свободно расходится по жилам; опьяненье на пустой желудок – верх удовольствия. (7) Или, по-твоему, живут не вопреки природе те, кто меняется одеждой с женщинами? Не живут вопреки природе те, кто старается, чтобы отрочество блистало и за пределами должного срока? Есть ли что-нибудь более жестокое и более жалкое? Он никогда не станет мужчиной, чтобы дольше быть утехой для мужчины! Но если ради этой гнусности у него пришлось отнять его пол, почему бы не отнять и возраст? (8) А разве не живут вопреки природе те, что хотят роз среди зимы, кто с помощью горячей воды ловко создает подложное тепло и в стужу выращивает лилию, весенний цветок? Разве не вопреки природе живут насаждающие на башнях плодовые сады? У кого на крышах домов и вышках колышутся леса, пустив корни там, докуда они едва ли доросли бы вершинами? Не живут ли вопреки природе и те, кто закладывает основания бань среди моря и полагает, что их купанье недостаточно изысканно, если в стенки горячего бассейна не бьют волнами бури? (9) Однажды начавши желать того, что противно заведенному природой порядку, под конец совсем от него отходят. Светает; пора спать! Все затихло; теперь займемся упражненьями, отправимся гулять, позавтракаем! Близится рассвет; время ужинать! Нельзя делать так же, как весь народ: идти в жизни проторенным путем

и пошло и низко! Долой день для всех! У нас будет свое особое утро.

(10) Они для меня все равно что мертвецы: разве жизнь при факелах и свечах – не те же похороны, и вдобавок преждевременные? Я помню многих, которые в одну и ту же пору жили так, и среди них – Атилия Буту, бывшего претора; когда он растратил огромное состояние и признался Тиберию, что обеднел, тот сказал: «Поздно же ты проснулся!» (11) Монтан Юлийd, сносный поэт, известный дружбой с Тиберием и ее охлаждением, читал перед слушателями поэму. Он очень любил слова «восход» и «закат», всюду совал их. Когда кто-то, рассердившись на читавшего весь день, отказывался впредь ходить на его чтения, Натта Пинарий [4] сказал: «А у меня не будет лучшего случая показать мою щедрость, и я готов слушать его с восхода до заката». (12) И когда Монтан произнес такие стихи:

Феб начинает уже воздымать свой пламенник жаркий,
Сея алеющий свет, а печальная ласточка утром
Корм начинает носить болтливым птенцам, возвращаясь
То и дело к гнезду и всех оделяя из клюва...

Вар, римский всадник из окружения Марка Виниция[5], ловец хороших обедов, которые он зарабатывал злоязычьем, воскликнул: «Бута дремать. начинает!» (13) А потом, когда Монтан прочитал:

Вот уже пастухи загнали стада свои в хлевы,
Ночь начинает уже тишиною окутывать земли
Спящие...

тот же Вар сказал: «Что он говорит? Уже ночь? Пойду приветствовать» Буту!» Эта его вывернутая наизнанку жизнь была известна всем и каждому, хотя в то время, повторяю, многие жили как он.

(14) А причина этому – не какая-то особая приятность, которую некоторые находят в ночи, а неприязнь ко всему общепринятому; вдобавок, нечистой совести свет в тягость; и еще, кто и желает и презирает все смотря по тому, дорого или дешево оно куплено, те совсем уж гнушаются даровым светом. Далее, любители удовольствий хотят, чтобы, пока они живы, их жизнь стала предметом общих толков, и если о них молчат, они полагают, что стараются впустую. Им плохо каждый раз, когда молва не заметит какого-нибудь их поступка. Многие проедают имущество, у многих есть любовницы, и чтобы твое имя не затерялось среди всех, мало роскошничать, – нужно сделать что-нибудь особенное. В городе, где все так заняты, о простом беспутстве не заговорят. (15) Я слышал, как Педон Альбинован[6], остроумнейший рассказчик, вспоминал о Спурии Папинии, чей дом стоял ниже его дома: «Слышу в третьем часу ночи удары бичей; спрашиваю, что он делает, отвечают: ведет расчеты. В шестом часу ночи слышу: сильнейший вопль; спрашиваю, что это; отвечают: пробует голос. В восьмом часу ночи спрашиваю, что значит этот стук колес; отправляется на прогулку, – отвечают мне. (16) Перед рассветом – беготня, зовут слуг, виночерпии и повара суетятся. Спрашиваю, что такое? Говорят, что вышел из бани, потребовал медового питья и полбяной похлебки». – А на вопрос: «Что же, обед занимал у него весь день?» – был ответ: «Ничуть не бывало: жил он очень умеренно, и если что и тратил, так только ночи». А тем, кто называл этого человека жадным и скаредным, Педон говорил: «Можете еще назвать его ночным зверем». (17) Ты не должен удивляться, обнаружив у пороков столь странные черты: пороки бесчисленны и многолики, установить их разновидности невозможно. Прямой путь один, окольных много, и они еще петляют то так, то этак. То же самое и нравы людей: кто следует природе, у тех нрав почти одинаков, – покладистый и свободный; а у извращенных нравы не схожи ни между собою, ни с нравами всех прочих. (18) Но главная причина этой болезни, по-моему, в том, что они гнушаются общепринятым образом жизни. Как отличаются они от всех и одеждой, и изысканностью обедов, и изяществом повозок, так же они хотят выделяться и выбором времени. Кто грехами добивается дурной славы как награды, тому обычные грехи не нужны. А ее-то и ищут все, кто, так сказать, живет наоборот. (19) Вот почему, Луцилий, нам и нужно

держаться дороги, указанной природой, и с нее не уклоняться. Тем, кто идет ею, все легко и просто; кто старается идти в обратную сторону, для тех жить – все равно что грести против течения. Будь здоров.

Письмо CXXIII

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Утомленный дорогой, не столько долгой, сколько трудной, я прибыл к себе в Альбанскую усадьбу глубокой ночью. Здесь ничего не готово – я один готов. Приходится вытянуть усталое тело на ложе. Медлительность поваров и пекарей меня не сердит, ибо я говорю самому себе:что легко принимаешь, то и не тяжело; не стоит негодовать ни на что, если ты сам не преувеличил повода своим негодованием. (2) Мой пекарь не испек хлеба, но хлеб есть у смотрителя усадьбы, у домоправителя, у издольщика. – Ты скажешь, что хлеб у них плох. – Подожди – и станет хорош. Голод превратит его для тебя в самый тонкий пшеничный. Не нужно только есть, прежде чем голод не прикажет. Подожду и я и не сяду за стол раньше, чем не получу хорошего хлеба или перестану брезговать плохим. (3) Необходимо привыкать к малому. И время, и место даже для тех из нас, кто богат и всем обеспечен, порою мешают получить желанное[1]. Никто не может иметь все, чего захочет, – зато всякий может не хотеть того, чего не имеет, и с радостью обойтись тем, что под рукой. Кроткий и привыкший терпеть дурное обращенье желудок – немалый залог свободы.

(4) Трудно измерить наслажденье, доставляемое мне тем, что усталость моя проходит сама собою. Мне не нужно ни бани, ни притираний, никакого лекарства, кроме времени. То, что сделал со мною труд, исправит покой. Скромный ужин тут будет для меня приятнее вступительного пира. (5) Ведь я неожиданно испытал свою душу, а такое испытание и проще и надежнее. Когда человек подготовится и заставит себя быть терпеливым, тогда не так ясно, какова его подлинная стойкость; самые верные доказательства – те, которые он представил без подготовки, если смотрел на трудности не только равнодушно, но и кротко, если не вспылил и не затеял ссоры; если сам себе восполнил отсутствием желанья все, чего не получил; если думал, что и того, и этого не хватает не ему, а его привычке. (6) Ведь только не имея некоторых вещей, мы узнаем, что многие из них нам и не нужны. Мы пользовались ими не по необходимости, а потому что они у нас были.

А как много вещей мы приобретаем потому только, что другие их приобретают, что они есть у большинства! Одна из причин наших бед – та, что мы живем по чужому примеру и что не разум держит нас в порядке, а привычка сбивает с пути. Чему мы и не захотели бы подражать, если бы так делали немногие, за тем идем следом, стоит всем за это приняться (как будто, чем чаще что-нибудь делается, тем оно честнее), и место истины занимает для нас заблужденье, едва оно станет всеобщим. (7) Все путешествуют так, чтобы впереди них мчалась нумидийская конница и двигался отряд скороходов; стыдно, если никто не будет сгонять встречных прочь с дороги, если столб пыли не будет оповещать всех, что едет порядочный человек. У всех есть мулы, чтобы возить сосуды из хрусталя и мурры и чаши чеканки знаменитых мастеров; стыдно, если кому-нибудь покажется, что вся твоя поклажа не боится тряски. Всех мальчишек везут, вымазав им лица, чтобы нежная кожа не пострадала от солнца или стужи; стыдно, если во всей их толпе будет хоть один без мази на здоровом лице.

(8) С такими надо избегать разговора: они-то и заражают нас пороками, передавая их от одного к другому. Кажется, что худший род людей – переносчики чужих слов, а на самом деле это переносчики пороков. Их разговор приносит величайший вред: даже если он не действует сразу, то оставляет в душе семена, и за нами, даже когда мы с этими людьми расстанемся, неотступно следует зло, которое взойдет потом. (9) Как слушав шие музыку уносят с собой в ушах переливы сладкого напева, который мешает сосредоточить мысли на важном, так и слова льстецов и хвалителей порока остаются в нас и после того, как мы перестаем их слышать. Нелегко прогнать из души их сладкий звук: он с упорством преследует нас и время от времени возвращается. Поэтому нужно закрывать уши еще прежде, чем услышишь зловредный голос: а когда со-

блазнитель уже начал говорить, ты же согласился слушать, он наглеет все больше. (10) И в конце концов дело доходит до таких разговоров: «Добродетель, философия, справедливость – все это треск пустых слов. Есть только одно счастье: угождать жизни, есть, пить, свободно распоряжаться имуществом. Это и значит жить, это и значит помнить о том, что ты смертей. Дни текут, проходит невозвратимая жизнь. Что же мы колеблемся? Что толку быть мудрым и навязывать воздержность возрасту, который и может наслаждаться, и требует наслаждений, и скоро станет не годен для них? Зачем забегать вперед смерти и самому запрещать себе[2] то, что она отнимет? У тебя нет ни любовницы, ни мальчика, которому даже любовница позавидует; каждый день ты выходишь трезвым; обедаешь ты так скромно, будто должен давать ежедневную запись расходов отцу на одобренье. Это значит не жить, а смотреть, как живут другие. (11) Какое безумие – быть распорядителем имущества твоего наследника, отказывать себе во всем, чтобы большое наследство превратило твоего друга во врага! Ведь чем больше он получит, тем сильнее порадуется твоей смерти. Не ставь и в грош всех этих унылых и нахмуренных цензоров чужой жизни, врагов своей собственной, этих всеобщих опекунов! Не сомневайся в том, что предпочесть: хорошую жизнь или добрую славу!» (12) Таких голосов надо избегать не меньше, чем тех, мимо которых Улисс не хотел проплыть иначе как связанным[3]. У них та же сила: они уведут прочь от отчизны, от родных, от друзей, от добродетели и сделают так, что несчастный постыдно разобьется о постыдную жизнь [4].

Насколько лучше идти прямым путем и прийти к тому, чтобы только честное и было тебе приятно. (13) Мы и сможем достичь этого, если будем знать, что есть два рода вещей: одни нас привлекают, другие отпугивают. Привлекают богатства, наслажденья, красота, почести, всё вкрадчивое и улыбчивое; отпугивает труд, смерть, боль, поношенье, скудная пища. Нам нужно упражняться, чтобы не бояться второго и не желать первого. Будем же сопротивляться и тому и другому: от заманчивого отступать, на враждебное нападать. (14) Разве ты не видишь, что под гору и в гору идут по-разному? Кто идет под уклон, откидывается назад, кто взбирается на кручу, тот нагибается вперед. А переносить свой вес вперед на спуске и назад при подъеме – это, мой Луцилий, все равно, что потворствовать порокам. Путь к наслажденьям ведет вниз, к трудностям и тяготам приходится взбираться: так будем тут помогать своему телу, а там его сдерживать.

(15) Ты думаешь, я утверждаю, будто для нашего слуха пагубны только те, кто расхваливает наслажденье и внушает страх перед болью, сам по себе ужасный? Я считаю вредными для нас и тех, кто под видом стои ческого учения поощряет наши пороки. Вот что они болтают: «Только мудрец и ученый умеет быть любовником. И в искусстве есть и пить с сотрапезниками мудрец понимает больше всех и только один к нему и пригоден. Исследуем, до какого возраста юноши могут служить для любви». (16) Пусть греческим обычаям это позволено, а мы лучше будем слушать другое: «Никто не становится превосходным мужем случайно: добродетели нужно учиться. Наслажденье – вещь и низменная, и ничтожная, не имеющая никакой цены, общая у нас с бессловесными животными, ибо на нее слетаются даже самые малые и презренные твари. Слава и пуста, и непостоянна, она подвижнее ветра. Бедность – зло только для того, кто ее не приемлет. Смерть не есть зло. – Ты спросишь, что она такое? – Единственное, в чем весь род людской равноправен. Суеверие есть самое безумное из заблуждений: оно страшится тех, кого должно любить, и оскорбляет тех, кого чтит. Какая разница отрицать ли богов или бесчестить их?» – (17) Вот что следует выучить и даже заучить. Философия не должна поставлять оправдания для пороков. Нечего и надеяться на выздоровленье тому больному, которого врач поощряет к неумеренности. Будь здоров.

Письмо CXXIV

Сенека приветствует Луцилия!

(1) Много могу передать старинных тебе наставлений.
Если ты прочь не бежишь и забот не чуждаешься мелких[1].

http://library.ziyonet.uz/

Ты-то прочь не бежишь, и никакие тонкости тебя не отталкивают, вкус твой слишком тонок, чтобы заниматься только[2] самым большим. А так как я одобряю твое обыкновенье все мерить пользой и знаю, что ты терпеть не можешь одного, – чтобы величайшая тонкость ни к чему не вела, – то постараюсь и сейчас не допустить этого.

Вопрос таков: чувством или рассудком постигается благо? С ним связано и утвержденье, что в бессловесных животных и младенцах нет блага. (2) Кто ставит выше всего наслажденье, те считают благо чувственным; мы же, приписывающие благо душе, – умопостигаемым. Если бы о благе судили чувства, мы бы не отвергали никаких наслаждений: ведь все они заманчивы, все приятны, – и наоборот, не шли бы добровольно на страданье, потому что всякое страданье мучительно для чувств. (3) Далее, не заслуживали бы упрека слишком уж приверженные наслаждениям и больше всего боящиеся боли. Мы же порицаем предающихся обжорству и похоти и презираем тех, кто из боязни боли ни на что не отваживаются и теряют мужество. Но в чем их грех, если они повинуются чувствам, которым вами же отдано право судить о благе и зле и решать, к чему стремиться, а от чего отказываться. (4) Ведь ясно, что лишь разум властен выносить приговор о жизни, добродетели, о честности, а значит и о благе и зле. А они поручают судить о самом лучшем самой грубой из наших способностей, так как приговор о благе должно выносить чувство, тупое и близорукое, куда менее проворное у человека, чем у других животных. (5) Что если кто-нибудь захочет различить мелочи не глазами, а на ощупь? А ведь из всех внешних чувств зрение по своей тонкости и внимательности – самое для этого подходящее, оно позволило бы различить благо и зло. Вот видишь, в каком неведенье истины пребывает и как низводит на землю все высокое и божественное тот, кто судит о высшем благе и зле на ощупь.

– (6) «Но ведь как всякая наука, всякое искусство должны возникнуть и вырасти из чего-то очевидного, постижимого чувствами, так и начала и основания блаженной жизни – в очевидном и доступном чувствам. И вы сами говорите, что блаженная жизнь берет начало в очевидном». – (7) Мы называем блаженной жизнь, согласную с природой; а что согласно с природой, то видно сразу же и явственно, как и все совершенное. Однако то, что согласно с природой, что дается тотчас после рождения, я называю не благом, а началом блага. Ты же даришь младенчеству высшее благо – наслажденье, чтобы новорожденный начинал с того, к чему приходит зрелый человек. (8) Если бы кто-нибудь сказал, будто плод, скрытый в материнской утробе, неведомого еще пола, не имеющий завершенного облика, уже причастен благу, – все ясно увидели бы его заблужденье. А велика ли разница между только что начавшим жить и тем, кто скрыто обременяет материнское чрево? Оба они одинаково созрели для понимания блага и зла, и младенец не больше способен воспринять благо, чем способно дерево или бессловесное животное. А почему нет блага ни в дереве, ни в бессловесном животном? Потому что нет разума. Потому же нет блага и в младенце: ведь и у него разум еще отсутствует. Он придет к благу, только когда войдет в разум.

(9) Есть существа неразумные, есть еще неразумные, есть обладающие разумом, но несовершенным. Ни в одном из них нет блага: его приносит с собою разум. В чем различие между названными мною разрядами? Неразумным благо не достанется никогда; кто неразумен до поры, те не могут покуда и обладать благом; у тех, чей разум несовершенен, блага нет, но может быть. (10) Потому я и говорю, Луцилий: благо пребывает не во всяком теле и не во всяком возрасте; оно так же далеко от младенчества, как последнее от первого, как совершенство от начала; значит, его нет и в нежном, едва крепнущем теле. Как оно могло бы в нем быть? Да не больше, чем в семени! (11) Если ты говоришь: «Мы знаем некое благо и в деревьях, и в посевах», – то оно не в первых ростках, только что пробившихся из земли. Есть благо в пшенице – но не в полных млечного сока стеблях, не в мягком колосе, едва выпроставшемся из-под листика; оно возникает только тогда, когда лето довело зерно до положенной спелости. И как все в природе являет свое благо, только созрев до конца, так и благо человека есть лишь в том человеке, чей разум уже достиг совершенства. (12) Что это за благо? Я скажу: это душа свободная и возвышенная, все подчиняющая себе и сама ничему не подчиненная. Такое благо младенчеству недоступно, и детству нельзя на него надеяться, и юности едва ли можно. И хорошо еще, если старости удалось достичь его ценою долгих и упорных стараний. А если это так, значит, благо умопостигаемо.

– (13) «Однако ты сам сказал, что есть благо и у дерева, и у травы; выходит, благо может быть и у младенца». – Подлинного блага нет ни у дерева, ни у бессловесных животных; их благо нельзя назвать благом в собственном смысле. – «А что же это?» – То, что согласно с природой каждого из них. Благо никак не может выпасть на долю бессловесному животному: благо принадлежит лучшему и более счастливому роду существ. Где нет места разуму, там нет и блага. (14) Есть четыре рода существ: деревья, животные, люди, боги. Последние два обладают разумом, и, значит, они одной природы, а разница между ними та, что боги бессмертны, люди смертны. Благо одних довела до совершенства сама природа, – я имею в виду богов; благо других – то есть людей – совершенствуется их усилиями. Остальные существа совершенны в своем роде, а это не есть подлинное совершенство, коль скоро разум в них отсутствует. Только то подлинно совершенно, что совершенно в согласии со всеобщей природой, а всеобщая природа разумна; остальные могут быть совершенны только в своем роде. (15) Значит, у них не может быть и блаженной жизни, и того, что ее создает; создает же блаженную жизнь благо; у бессловесных животных нет того, что создает блаженную жизнь, – следовательно, у бессловесных животных нет блага.

(16) Бессловесное животное чувством постигает настоящее, о прошлом вспоминает тогда, когда встречает нечто напоминающее о нем чувствам: так лошадь вспоминает дорогу, когда подведена к ее началу, в стойле же у нее нет никаких воспоминаний о дороге, даже множество раз пройденной. Третье время – будущее – бессловесным животным недоступно. (17) Как же может показаться совершенной природа тем, кто не знает прошлого? Время составляется из трех частей: прошедшего, настоящего и грядущего. Животным дано только самое краткое и быстро пролетающее – настоящее; воспоминанья.о прошлом у них редки и вызываются только видимым в настоящий миг. (18) Значит, благо, принадлежащее совершенной природе, не может быть в том, что по природе несовершенно; а не то, если оно есть у существ другой природы, значит, есть оно и у посевов. Я не отрицаю, и у бессловесных животных есть сильное и пылкое влечение ко всему, что кажется согласным с природой, но порывы этого влечения беспорядочны и смутны. Благо же не бывает ни беспорядочным, ни смутным. – (19) «Как так? Неужели движения животных беспорядочны и неуклюжи?» – Я бы сказал, что они двигаются беспорядочно и неуклюже, будь им по природе доступен порядок; а так они двигаются сообразно своей природе. Беспорядочно же то, что могло бы совершиться и по порядку. Беспокойно то, что могло бы быть безмятежным. Порок есть только там, где могла бы быть добродетель. Движения бессловесных животных таковы от природы. (20) Но, чтобы не держать тебя слишком долго, я скажу: и у бессловесного животного бывает некое благо, некая добродетель, некое совершенство, но не благо, добродетель и совершенство в безусловном смысле. Они достаются на долю не только существам разумным, которым дано знать, почему, до какой степени и как. Поэтому благо есть только у того, у кого разум.

(21) Но ты спросишь, к чему ведет все это рассуждение, чем оно может быть полезно твоей душе? Я отвечу: оно делает ее и сильнее и проницательнее и, коль скоро она хочет чем-либо заниматься, не дает отойти от занятий благородных. Оно полезно хотя бы тем, что велит помедлить рвущимся к злу. И еще вот что я скажу: больше всего пользы я принесу тебе, показав, в чем твое благо, отделив тебя от бессловесных животных и поместив рядом с богами. (22) Зачем ты упражняешь и копишь телесные силы? Природа щедрее отпустила их скоту и диким зверям. Зачем ты холишь свою наружность? Что бы ты ни делал, красотою ты уступаешь многим животным. Зачем ты так тщательно укладываешь волосы? Распустишь ли ты их на парфянский лад, соберешь ли узлом, как германцы, будут ли они у тебя торчать, как у скифа, – все равно у любого коня будет грива гуще твоей, и у любого льва – красивее твоей. Сколько бы ты ни упражнялся в быстроте ног, все равно не сравнишься с зайцем. (23) Так не хочешь ли, оставив все, в чем непременно будешь побежден, потому что тратишь силы не на свое дело, вернуться к твоему собственному благу? В чем оно? В том, чтобы исправить и очистить душу, которая соперничала бы с богами и поднялась выше человеческих пределов, видя все для себя только в себе самой. Ты – разумное существо! Что же есть твое благо? Совершенный разум! Призови его к самой высокой цели, чтобы он дорос до нее, насколько может. (24) Считай себя блаженным тогда, когда сам станешь источником всех своих радостей, когда среди всего, что люди похищают, стерегут, чего

жаждут, ты не найдешь не только, что бы предпочесть, но и чего бы захотеть. Я дам тебе короткое правило, оно поможет тебе оценить себя и почувствовать, достиг ли ты совершенства. Ты тогда будешь владеть своим благом, когда поймешь, что несчастнее всех счастливцы. Будь здоров.

ПРИЛОЖЕНИЕ

С. А. Ошеров
Сенека. От Рима к миру

Философское мировоззрение есть сам дух личности человеческой... Это не биография, не душа с ее страстями и страданиями, не колеблющийся отклик, то радостный, то болезненный, на события дня и на полночные мысли. Это – стержень самой души и биографии.

Густа Шлет. Философское мировоззрение Герцена.

По своему философскому мировоззрению Сенека был стоиком, и стоиком достаточно правоверным. Говорить о развитии этого мировоззрения нелегко, так как в своей стоической основе оно не менялось, и в поздних «Нравственных письмах к Луцилию» нередко повторяются вещи, сказанные в трактатах, датируемых более ранними годами[1]. Зато хорошо известна внешняя биография Сенеки: его имя часто встречается у историков, где он выступает отнюдь не свидетелем, а участником важнейших событий эпохи, хотя при первом же упоминании и Тацит, и Светоний[2] говорят, что Сенека успел прославиться научными занятиями и речами. По этой причине образ его стал как бы двоиться в глазах потомства.

Жизнь Сенеки, полную взлетов и падений, определяющихся перипетиями столичной политики, трудно согласовать с образом философа-моралиста и со многими собственными его писаниями. Бесполезно рассуждать о том, что толкало Сенеку в гущу политики: честолюбие и корыстолюбие, в которых его часто обвиняли современники и потомки и которым он, по всей видимости, действительно не был чужд, либо доктринерское убеждение, что философ, став рядом с властителем, способен принести пользу людям. Живые черты облика Сенеки утрачены и невосстановимы. Но можно попытаться понять основное противоречие жизни Сенеки, исходя из исторической ситуации, из мироощущения философа, каким оно видится в его сочинениях, и из традиции того учения, к которому он примыкал.

И если мы внимательно вглядимся в те положения, в которые ставила Сенеку история, и соотнесем с ними его сочинения, то легко будет убедиться в одном: почти каждый трактат был ответом на очередной вопрос, заданный жизнью, – и ответ этот давался не столько другим, сколько самому себе[3]. «Ты», к которому обращен трактат, – это почти всегда и «я» автора. Между жизнью и философией протягиваются силовые линии и возникает напряжение, которым отличается философствованье Сенеки в лучших его работах. Там, где проблема пережита им, он уходит от бесконечного варьирования одной мысли, от скучного разбора всех возможных случаев, от примеров, избитых в сотнях риторических упражнений. Напряженная связь с жизнью была необходимым стимулом к подлинному творчеству для Сенеки-писателя[4].

Но связь с жизнью предполагает определенное отношение к ней. Жизнеотношение Сенеки формировалось под воздействием не только запросов дня, но и глубоких традиций, без знания которых нельзя понять ни его жизненного поведения, ни его философствования.

1. Традиции

В своем жизнеотношении Сенека был писателем и римлянином – и это главное. Первое предполагает пристальное внимание к жизни. Второе – ощущение нормы, более ценной, чем жизненная прагматика. Как писатель Сенека был обостренно зорок к конкретным ее проявлени-

ям, к их характерности и порой гротескности (вспомним хотя бы анекдоты – в пушкинском смысле слова – в «Письмах к Луцилию»: о Кальвизии Сабине (п. XXVII), о чревоугодниках Апиции и Публии Октавии (п.XCV и др.). Как писатель Сенека был склонен к скрупулезному анализу индивидуальной психологии – собственной прежде всего. Но писательская пристальность взгляда знаменует более активный интерес к жизни, большую меру ее приятия. Действительно, Сенека не был так ригористичен в своем осуждении действительности, как некоторые стоики, например Эпиктет, так замкнут на себе, как Марк Аврелий.

Однако нежелание отвернуться от жизни еще не означает бездумного растворения в ней, нравственного безразличия ко всяким ее проявлениям того, что выражалось у современников Сенеки в стремлении «плыть по течению» и вело к безоглядному раболепству перед принцепсом, к доносительству, к полному забвению моральной нормы. Ощущение «нормы жизни» было искони присуще римлянину, он всегда поверял наличные «нравы» неким их эталоном (чаще всего этот эталон именовался «нравы предков»). Это ощущение нормы было всегда присуще и римской литературе. Оно есть у Катулла, полемически противопоставившего традиционным ценностям гражданской общины новые, неофициальные ценности. Оно есть у Петрония, рисующего такое разложение нравов, при котором преданы забвению самые естественные запреты. Даже у Марциала, всем своим творчеством воплотившего принцип (а вернее беспринципность) «растворения в потоке жизни», это ощущение не утрачено до конца. Тем более у Сенеки ощущением нормы определяется сам взгляд на жизнь. Каждая схваченная им жизненная деталь ценна постольку, поскольку в ней отражается отступление от нормы, «порча нравов» (специфически римское понятие нравов органически входит в его философию). А нежелание отворачиваться от жизни приводит к тому, что писательство становится средством явить людям норму и воспитать их: по столь же исконному убеждению римлян, нравы исправимы. Талант художника Сенека – даже в трагедиях – подчиняет задачам моралиста.

Однако, унаследовав от староримской традиции убежденность в существовании нравственной нормы, Сенека не мог механически воспринять от отцов и дедов саму эту норму. Для римской традиции средоточием всех ценностей – и прежде всего нравственных – было государство, точнее – гражданская община[5]. Только как ее член может осуществить себя человек, единственным полем приложения его сил и средством выявления высоких моральных качеств может быть государственная деятельность. Цицерон писал: «Ни в одном деле человеческая добродетель не приближается к могуществу богов так же, как в основании новых государств и в сохранении основанных»[6]. Долг гражданский неотделим от долга нравственного: оба эти понятия слиты в римском термине «officium», которым определялась совокупность обязанностей гражданина. Добродетель (virtus – мужество) проявляется в подвигах, совершаемых на благо республики, которая платит за них общим признанием – «хвалою» и «славой». Завет служения республике передан предками, и выполняющий его есть «vir bonus» – доблестный муж, идеал человека и гражданина.

Для римлян не было утопическим государство, в котором мог осуществиться этот идеальный порядок вещей. Более того, не только Цицерону, но и многим современникам Сенеки, даже младшим, казалось, что идеал был осуществлен в Римской республике прошлых веков, погубленной ростом внешнего могущества Рима и накоплением богатств, – т. е. в переводе на нашу систему исторических понятий, превращением Рима из города-государства в мировую державу. В период кризиса города-государства и присущего ему республиканского уклада государственной жизни – во время гражданских войн I в. до н. э. – это поняли Саллюстий, Цицерон и некоторые другие прозорливые их современники. Но даже они не в силах были понять объективную необходимость замены старых форм государства иными, способными интегрировать не только гражданскую общину города на семи холмах, но и все завоеванные им провинции. Убеждение в том, что идеал – в прошлом, что все подлинные ценности связаны лишь с республикой, оставалось настолько всеобщим, что Август, учредитель новых, по сути монархических порядков, должен был, маскируя свой переворот, действовать именем «республики», провозгласить ее восстановление и сохранить основы ее конституции.

На краткий миг в это поверили – поверили, например, Вергилий и Гораций, чья молодость совпала с гражданскими войнами, чей талант бил добровольно отдан делу примирения традици-

онной системы ценностей с новым порядком вещей. Свести концы с концами не удалось даже им, а для следующего поколения идеал служенья государству совсем поблек. Овидий говорит об отказе от государственной деятельности с гордостью[7].

Но распространение политического индифферентизма – лишь одна из сторон реакции на установление нового режима, получившего у историков название «принципата». Чем больше принципат обнаруживал черты самовластья и даже деспотизма, тем чаще взоры людей, не утративших интереса к делам гражданским, обращались назад, к республиканскому прошлому. Конечно, республиканцы из числа сенаторов, стоявшие в оппозиции к империи, понимали, что республика изжила себя, – и причины этому искали там же, где когда-то, в пору гражданских войн, Саллюстий: в росте внешнего могущества и богатства и в порче нравов. Об этом прямо писал Лукан, племянник Сенеки, в поэме «Фарсалия», посвященной гражданским войнам[8]. Но тот же Лукан с редкой выразительностью нарисовал политический идеал республиканской оппозиции: Рим – это сенат; один из сенаторов так и говорит:

Мы – вершина всему, в пускай далеко занесет нас
Рок, но высшая власть неразлучна останется с нами
... Никогда с переменою места Наше сословие прав не теряло своих.[9]

Эта узкая точка зрения не давала возможности ни охватить взглядом огромные пространства империи, ни заглянуть в будущее и увидеть, что, например, решение Клавдия о даровании некоторым галльским народам права избираться в сенат есть не просто ущемление этого «воплощающего государство» совета, а закономерный шаг в том направлении, куда развивалась история... Оставалось восхвалять былую республику, – что, впрочем, было также гражданским актом (за него при Тиберии был наказан смертью историк Кремуций Корд)[10], – или участвовать в заговорах, бессильных – даже при успехе – вернуть Рим к прежней форме правления (как было в январе 41 г., когда заговорщики убили Калигулу). Вся система традиционных нравственных ценностей оказывалась оторванной от жизни, неприложимой к деятельности. Для подтверждения этих ценностей нужна была иная санкция, – которой и искали сенаторы-республиканцы в стоической философии.

Сенека ничуть не хуже их понимал, что принципат не есть восстановленная республика, что возврата к прежнему нет. Но это прежнее и не имеет для него того обаяния, что для них. Коль скоро нравы именно при республике пали так низко (доказательству этого посвящено в «Письмах к Луцилию» письмо XCVII), значит, форма правления не может быть гарантией их чистоты и потому не так уж важна. Обсуждая, прав ли был Брут, убив Цезаря, Сенека вступает с республиканцами в прямую полемику: «По-моему, хоть во всем прочем был он великим мужем, в этом деле он весьма заблуждался и действовал не по учению стоиков, – или убоявшись слова «царь», хотя наилучшее состояние государства – при справедливом царе, или надеясь на будущую свободу там, где столь велика была награда и за господство, и за рабство, или полагая, будто возможно вернуть государство к прежнему виду и после утраты прежних нравов и быть равенству гражданских прав и незыблемости законов там, где на его глазах столько тысяч людей сражались, решая не о том, быть ли им в рабстве, а о том, у кого» (Благ., II, 20, 2–3)[11] 11. Утратив добрые нравы, государство не могло не утратить прежнего уклада и, чтобы не распасться (Мил., I, 4, 2), должно было обратиться к единоличной форме власти. Отныне, отчужденное от граждан, оно воплощено в одном человеке, который так «навязал себя республике, что разделить их стало невозможно, кроме как погубив обоих» (сказано о Цезаре – Мил., I, 4, 3).

Итак, единовластие для Сенеки не только неизбежность, но и, при известных условиях, наилучшая форма государства. Отсюда для него вытекают два вывода: первый – практический: служение принцепсу вовсе не обязательно несовместимо с моралью. Второй – философский: коль скоро та или иная форма государства оказывается преходящей, обреченной на крушение[12], то не с нею должна быть связана вечная и непреходящая система моральных ценностей.

Где же взять их? – Во всяком случае не там, где ищет большинство. Слепая приверженность традициям есть такая же разновидность веры в чужие мнения, как и беспринципный прагматизм, выше всего ставящий признанные толпою блага: успех, богатство, наслаждения. Между

тем человек ничего не должен принимать на веру, но до всего доискиваться разумом. «Одного надо добиваться прежде всего: чтобы мы не шли, как овцы, вслед за вожаками стада, направляясь, не куда следует идти, а куда идется... Наилучшим мы считаем то, что принято по общему согласию и чему видим больше примеров, и живем мы не по разуму, а по чужому подобию... Вредно неотступно следовать за шедшими впереди, и покуда каждый предпочитает верить, а не судить, мы и о жизни не судим, а все принимаем на веру. Нас опрокидывает и валит в пропасть переданное нам через множество рук заблуждение, губит чужой пример» (Бл. ж., I, 3–4). Это стремление к ответственному индивидуальному выбору позиции, требование определяемого разумом отношения к жизни, во-первых, выделяло Сенеку из среды оппозиционеров, застывших в своей приверженности старому, и, во-вторых, прокладывало пропасть между ним и беспринципными ловцами успеха, властолюбцами и сластолюбцами, воспринимавшими любую моральную норму как преграду...

Вместе с тем эта высокая оценка разумного суждения не вела Сенеку к крайностям, до которых доходил порой рационализм греков, к провозглашению человека «мерой всех вещей». Слишком сильно было у Сенеки римское ощущение, что норма отвечает объективной истине; следовательно, ее-то и должно найти разумное суждение. И в этом ищущий должен опираться на опыт «людей сведущих, исследовавших предстоящий нам путь» (Бл. ж., I, 2). Люди эти – философы, чье учение способно дать знание истинного блага.

Сделать это обещали все три самые влиятельные этико-философские школы эпохи эллинизма: киники, эпикурейцы и стоики. Все они соглашались в том, что знание истинного блага делает жизнь человека блаженной. Но, рожденные в эпоху крушения полиса – греческого города-государства, – они предлагали утратившему свое привычное место в гражданской общине человеку разные пути к «евдэмонии» (термин, который Сенека пытался передать своим термином «блаженная жизнь»). Если внутри полиса каждый, радея о счастье целого, тем самым заботился и о собственном счастье, то теперь он должен был сам искать линию жизненного поведения, обеспечивающего «евдэмонию». Киники, видевшие ее в умении ограничиться удовлетворением одних лишь насущнейших естественных потребностей, и эпикурейцы, усматривавшие «евдэмонию» в безмятежности и отсутствии страданий, таким образом изымали человека из всех социальных связей; у стоиков дело обстояло иначе.

Свою этику основатели древней стой (как и Эпикур) строили на фундаменте натурфилософии. Переняв у киников[13] идею счастья как жизни согласно природе, они переосмыслили ее, создав новое учение о природе и человеке. В основе природы лежит «логос» – разум, разлитый во всем сущем и обеспечивающий неодушевленным предметам «устойчивое состояние», растениям – «произрастание», животным – «самодвижение», а в людях и богах выступающий как разум в собственном смысле. Следовательно, «жить по природе» для человека значит «жить по разуму», а нравственная цель – через усовершенствованье этой природы прийти к «добродетели». Но, соответственно разумной природе человека, совершенная добродетель есть совершенное знание, или мудрость. Путь, указываемый стоиками, совпадал со стремлением Сенеки прийти к нравственной норме через разумное суждение и знание.

Из стоического понимания природы человека возникает идеал мудреца. «Евдэмонию» мудрецу обеспечивает знание единственного истинного блага все той же добродетели[14] – и понимание того, что все внешнее не есть благо. Каждый поступок истинного мудреца направлен к этому благу и определяется термином «правильное деяние». Следовательно, если даже некие действия направлены к благу ближних, этого мало, чтобы отнести их к числу «правильных». Деянье воина, жертвующего жизнью, богача, раздающего богатства, если оба не имеют в виду самосовершенствованье, не будут «правильными». В этом – глубокий индивидуализм идеала мудреца. Но, будучи человеком, мудрец должен делать и то, что не исходит из совершенного знания и не имеет своей целью добродетель: например есть, пить, заботиться о здоровье. Такие действия, не противоречащие высшей природе человека и отвечающие всей его природе, получают название «подобающие». К их числу древние стоики относили и выполнение обязанностей перед другими людьми.

Зенон и его преемники охотно повторяли аристотелевское определение человека как «йом RO_.-KOV» – «существа, живущего в гражданском сообществе», а потом и расширили его,

назвав человека «№оу хо'.vovixov» «существо, живущее в сообществе». Естественность для человека жизни в сообществе стоики доказывают наличием языка, врожденным чувством приязни к себе подобным, которые близки нам и равны уже в силу того, что они люди[15]. Таким образом, человек оказывается согражданином всех людей гражданином мира (само слово хоз^ото/^тт^ создано стоиками). Вместе с тем как существо разумное человек входит в один разряд с богами, и возникает «сообщество богов и людей», обитель которого – не полис, город-государство, и не земной круг, а вселенная. «Город говорится в двух смыслах: это и жилище, и объединение населяющих его людей и граждан; подобно этому и вселенная есть как бы город, объединяющий людей и богов..., ибо вселенная именуется обителью богов и людей»[16]. «Космополит» оказывается «гражданином вселенной». Космополитизм стой и ее индивидуализм – это две стороны одной медали; в обоих отразился дух времени – эллинистической эпохи с ее огромными державами и их распыленными, разноплеменными подданными.

Стоики не отворачивались от государства, подобно киникам или эпикурейцам, но с высоты «вселенского града» могли по-новому взглянуть и на эту малую общность людей. Зенон, по традиции написавший «Политию», утверждал, что мудрец будет сообразоваться с государственным устройством, заведет семью и выполнит обязанности гражданина. Его преемники пошли еще дальше. Земное государство, рассуждали они, есть лишь слепок вселенского «града», управляемого мировым разумом; значит, важно не государственное устройство как таковое, а соответствие его мировому разуму. И если мудрец поможет достичь такого соответствия, это будет для него «подобающим деяньем», и он не преминет сделать это, пока ничто ему не препятствует. Отсюда – связь самих древних стоиков со спартанским реформатором Клеоменом, с македонским царем Антигоном Гонатом, учеником Зенона. Отсюда же прямой путь к основателю средней стой Панэтию и началам римского стоицизма (середина II в. до н. э.).

Панэтий изменил учение древних стоиков о «подобающих деяньях». Причиной этому был во многом контакт с римской элитой того времени и даже расчет на нее. Сблизившись с эллински образованной римской аристократией, группировавшейся вокруг Сципиона Африканского Младшего («кружок Сципиона»), Панэтий воспринял сложившуюся в Риме этико-политическую систему. В духе этой системы Панэтий признал наряду с самодовлеющей добродетелью мудреца ценность практических добродетелей, вроде римской virtus, а «подобающие деянья» провозгласил обязанностью всех людей, и мудреца в том числе. Так понятие «подобающего» отождествилось с римским «долгом» (officium), а мудрец приблизился к римскому «доблестному мужу» (vir bonus).

Соприкосновение с римской гражданственной этикой необходимо было Панэтию, чтобы преодолеть, хотя бы отчасти, индивидуализм древней стой и ее доктринерскую оторванность от жизни. Но и Сципиону с друзьями, стоявшим на той вершине внутреннего и внешнего расцвета республики, откуда завиднелся ведущий вниз склон[17], нужны были для их этики иные, нежели освященность ее традицией, основания, соотнесенные с личностью каждого. Эти рационалистические основания и предлагала им средняя стоя. Если выполнять свой долг перед республикой значит не только следовать завету отцов, но и поступать в соответствии с разумной природой человека, то нужно быть упорным в этом даже вопреки внешнему неуспеху и непризнанию граждан (что случалось все более часто с нарастанием социальных конфликтов). И вот линия идет от Панэтиева ученика Рутилия Руфа, в годы своего наместничества в провинции боровшегося со злоупотреблениями откупщиков из всаднического сословия, а после осуждения судьями из того же сословия стойко сносившего изгнание, к стоику Катону Утическому, спокойно переживающему провалы на выборах и вопреки духу времени до последнего дыхания отстаивающему дело республики, и далее – к стоической республиканской оппозиции первых десятилетий империи: к современнику Сенеки Тразее Пету – автору панегирического жизнеописания Катона – и к воспитанным им молодым стоикам – Гельвидию Приску, изгнанному Нероном и казненному при Веспасиане, Арулену Рустику, намеревавшемуся во время суда над Тразеей защищать его и почти 30 лет спустя казненному Домицианом за похвальное слово Тразее и Гельвидию. И Рутилий, и Катон, и даже остававшийся республиканцем при Нероне Тразея Пет активно участвовали в государственной жизни. В Риме стоическая философия не только не была теоретической основой гражданской пассивности, но, наоборот, оказывалась стимулом к деятельности.

Однако судьба Катона, а вслед за тем судьба еще одного стоика – цезареубийцы Марка Брута – ясно показали, что есть и другая сторона проблемы. Если идея служения государству как долга не только гражданского, но и нравственного и даже «естественного» связана лишь с определенным типом государства, то его крушение есть и крушение нравственной основы жизни. Поиски выхода из тупика вели к переоценке иных, внегосударственных сфер деятельности – всего того, что римская традиция охватывала словом otium – досуг. Проблема вставала не только перед стоиками, – но, вероятно, именно стоицизм с его предписанием индивидуального нравственного совершенствования мог дать наиболее приемлемый ответ. И вот Цицерон, отставленный от дел при диктатуре Цезаря, заявляет, что «смысл и учение всех наук, которые указывают человеку верный путь в жизни, содержится в овладении тою мудростью, которая у греков зовется философией», и при изложении ее охотно прибегает к стоическим положениям[18].

Младшие современники Цицерона пошли еще дальше. Учитель учителей Сенеки, Квинт Секстий Нигр, вместе с сыном основавший в Риме философскую школу и создавший учение, «новое и исполненное римской силы» (Изыск., VII, 32, 2), в котором стоицизм сочетался с киническими и даже пифагорейскими идеями, отверг предложение Цезаря войти в сенат и остался частным лицом даже при Августе, «восстановившем республику». Увлеченный его примером, целиком отдался философии уже завоевавший успех оратор Фабиан Папирий, один из наставников Сенеки. Младший современник Сенеки стоик Мусоний Руф, подвергавшийся преследованиям и при Нероне, и при Веспасиане, также отказался от официальной карьеры и был профессиональным учителем философии. А параллельно с ними действовала целая толпа уличных философов-проповедников, перемешавших кинические и стоические догматы и обращавшихся к бедноте и рабам. Впрочем, отдельные из них были приняты и у сенаторов, например Деметрий, которым так восхищается Сенека. Вообще, иногда Сенека поглядывает на людей этого склада не без зависти: ведь именно они исполняют «истинный долг» (Кр. ж., 14, 5). Но сам он до поры идет своим путем. В течение четырнадцати лет он остается в гуще придворных интриг, почти восемь лет направляет императорскую политику; тактика уступок и компромиссов порой приводит к действиям, никак не согласующимся с проповедуемой им моралью; его неслыханное обогащение вызывает общие нарекания. И все же Сенека разительно отличается от обычных приспешников Агриппины или Нерона. Каждый свой шаг, каждый поступок он так или иначе стремится осмыслить, соотнести с избранным идеалом, с моральной нормой, а значит, ни на миг не теряет чувства внутренней ответственности за совершаемое. Так возникают те напряжение и страстность, которые отличают лучшие философские работы Сенеки.

2. Жизнь и философия

Сам выбор политической карьеры не был для Сенеки бесконфликтным. Такая карьера была вполне обычна для его сверстников; на этот же путь толкала его и семейная традиция. Отец Сенеки, соименный младшему сыну-философу, происходил из испанского города Корду бы (Кордовы), где в 4 г. до н. э. родился и сам Сенека. Провинциал Луций Анней Сенека Старший был не только римским всадником, но и настоящим римлянином старого закала, благочестиво уверенным в справедливости богов, в былом величии Рима, в преимуществе практической деятельности над философией, заниматься которой он не дал своей жене Гельвии, матери Сенеки. Подлинной его страстью была риторика: в молодости он побывал в Риме, слышал самых выдающихся ораторов своего времени, запомнил благодаря феноменальной памяти[19] множество декламаций видных ораторов эпохи Августа и на старости лет записал их для сыновей; эти «Свазории» и «Контроверсни» дошли до нас, в отличие от исторического труда, также написанного им в старости. В нем, несмотря на явную приверженность республике, Сенека Старший тем не менее признавал закономерность изменения строя: ведь «состарившаяся» ко времени гражданских войн республика не могла обойтись без «царствующего правителя» как «без опоры», чтобы не распасться[20]. Поэтому он не стоял в активной оппозиции к режиму, сам выполнял при Августе административные обязанности и мечтал о политической карьере для сыновей, – хотя, «хваля этот путь и побуждая к нему», понимал, что он «почетен, но опасен»[21]. Ради детей он и перебрался в Рим. И действительно, старший его сын Анней Новат, получивший по

усыновлению имя Галлион[22], успешно прошел всю лестницу общественных должностей и достиг консульского ранга. Зато второй сын, Анней Мела, предпочел остаться частным лицом и вырастил своего сына Лукана в духе преклонения перед республикой.

Младший сын увлекся философией с юности. Под влиянием учителей: Сотиона и Фабиана Папирия, вышедших из школы Секстиев, а также близкого к пифагорейству Аттала – Сенека неукоснительно следует строгим правилам воздержания, составлявшим важнейший элемент учения Секстиев[23]. Сенека сам рассказывает о привычках, которые удержал с той поры до старости, о причинах отказа от вегетарианства и о той роли, которую сыграл в этом отец (п. CXIII, 14–23). Но, судя по всему, влияния отца хватило на большее: ему удалось направить рвение пылкого юноши по другому руслу и, пробудив его честолюбие, заставить его «вернуться к государственной жизни», вместо того чтобы стать профессиональным наставником-философом. Впрочем, первые же успехи Луцня Аннея Младшего были прерваны тяжелой болезнью; она чуть было не довела его до самоубийства, от которого удержала его только привязанность к отцу (п. LXXVIII, 2). Для излечения Сенека на много лет уезжает в Египет. Здесь он пишет некоторые свои естественнонаучные сочинения, не дошедшие до нас (например, «О стране и обрядах египтян»). Долгая отлучка расширила взгляд Сенеки, пробудила его интерес к иному, неримскому укладу жизни...

По возвращении успехи возобновились: Светоний говорит о «расцвете славы» Сенеки при Калигуле[24]. Уже не столь молодой, но быстро наверстывающий упущенное писатель и оратор получает первую государственную должность, входит в сенат. Там одна из его речей вызвала такую зависть Калигулы, что тот распорядился убить Сенеку; спасло его только вмешательство какой-то из императорских наложниц, сказавшей, что слабый здоровьем оратор и так скоро умрет25. Это был первый гром над головой Сенеки; видимо, он всей фактурой своей личности слишком выделялся из среды раболепствующего сената. А первая гроза разразилась в 41 г., когда по инициативе Мессалины он был обвинен в прелюбодеянии с опальной племянницей Клавдия Юлией Ливиллой. Сенаторы требовали смерти для своего слишком уж ярко блиставшего сотоварища, и самому Клавдию пришлось ходатайствовать о замене казни ссылкой (Полиб., 13, 2 – 3). Местом ссылки была избрана Корсика; только в двух городах на острове жили римляне, да и то почти сплошь отставные солдаты, которые никак не могли составить компанию столичному жителю и философу. Потому не удивительна жалоба, высказанная Сенекой в одной из эпиграмм:

Здесь только двое всего – ссыльный да ссылка – живут.

Сперва Сенека пал духом. Его написанное в изгнании «Утешение к Полибию», влиятельному вольноотпущеннику, содержит слишком много комплиментов принцепсу, чтобы не быть ходатайством о помиловании. Однако позже он ободрился и вновь предался научным занятиям, увлеченный больше всего наблюдением небесных светил. Об этом пишет он сам в утешительном послании к матери Гельвии (Гельв., 8, 6). И автор приписываемой Сенеке трагедии «Октавия» заставляет философа вспоминать время ссылки в таких словах (ст. 881 ел.):

Уж лучше жить мне на скалистой Корсике,
Как прежде, вдалеке от глаз завистливых,
Где сам себе принадлежал мои вольный дух.
Всегда досуг имел я для излюбленных
Занятий. Наблюдать мне было радостно Красу небес...

Удаление из столицы, созерцание мира-космоса изменяли перспективу взгляда, сдвигали масштабы в земном мире. Ссылка с новой остротой поставила перед Сенекой вопрос об отчизне и чужбине, о Риме и мире. Представление о круге земель как едином обиталище человеческого рода в умозрительном виде было почерпнуто им из стоического учения; теперь, после двух долгих отлучек из столицы, оно наполнилось конкретным содержанием пережитого опыта. Люди непрестанно меняют место под солнцем, гонимые бедствиями, войнами, а чаще просто недовольством настоящим и надеждой на будущее.

Ощущение безграничности мира и бесконечности человеческих странствий Сенека с особой силой выразил в пророческих словах хора в «Медее» (ст. 369 сл.):

Для странствий новый положен предел,
На новых землях встают города,
Ничто не осталось на прежних местах,
Стал торным путем весь мир...
Пролетят века, и наступит срок,
Когда мира предел разомкнет Океан,
Широко распахнется простор земли
И Тефиса явит нам новый свет,
Отодвинув за Фулу последнюю грань.

Это пророчество – лишь последний вывод из наблюдений над реальным строем жизни бескрайней империи, где путешествия и долгие, иногда длившиеся всю жизнь отлучки на чужбину давно стали явлениями повседневными. Но большинство людей – от правителя провинции, который не мог продолжать карьеру в Риме, не отбыв срок наместничества, до легионера, сражавшегося в Армении или в Парфии, – ощущали себя прежде всего римскими гражданами. Сенека идет наперекор этой центростремительной тенденции. Для него за практическими причинами человеческих странствий кроется врожденное свойство души, чья материя причастна материи вечно движущихся светил. Что считать родиной, если из-за всеобщих странствий почти нигде не найти аборигенов, если и самый Рим основан пришельцами и даже на неприютной и незаманчивой Корсике столько раз менялись народы (Гельв., 6 – 8)?

И природа души, и историческое происхождение племен – все отрывает человека от клочка земли, где он родился. «Пусть мы проедем из конца в конец любые земли – нигде в мире мы не найдем чужой нам страны: отовсюду одинаково можно поднять глаза к небу» (Гельв., 9, 1). Ибо созерцание величия мира есть первый подлинный долг человека, несоизмеримый со всем тем, что у большинства принято звать долгом.

Как в годы молодости, перед Сенекой вновь встал вопрос о сравнительной ценности «государственной жизни», от которой его насильно оторвали, и жизни созерцательной, – то есть долга перед государством и долга перед самим собой, поскольку лишь философия ведет к истинному благу. Ответ на него философ дал в трактате «О краткости жизни», который принято считать написанным в последние годы ссылки. Римская традиция связывала понятие долга (officium) лишь с обязанностями перед государством; жизнь, посвященная философии, литературе, науке, определялась словом «досуг». Сенека сохраняет эту терминологию, но в корне меняет соотношение ценностей. Выполнение долга перед государством ничего не приносит, кроме тревог и волнений, оно отнимает всякую возможность обратить взгляд на себя. Это доказывает пример даже таких людей, как Цицерон или Август, непрестанно мечтавший о «досуге». Что же говорить о наших днях, когда «долг» обязывает только к одному: во время утренних визитов не пропустить прихожей хотя бы одного из могущественных людей? – Нет, «без спешки исполнять истинный долг можно лишь тем, кто захочет каждый день быть в теснейшей близости к Зенону, к Пифагору, к Демокриту и другим зачинателям благих наук» (Кр. ж., 14, 5).

Время корсиканской ссылки – период наибольшего удаления Сенеки от традиционно-римских воззрений. Он до такой степени ощутил себя философом и гражданином мира, что собирался в случае помилованья отправиться из Рима в Афины и заниматься одной лишь философией. Однако намеренье так и осталось намереньем.

Помилованье пришло в 48 г., когда Мессалина была убита, а женою Клавдия стала Агриппина, сестра Ливиллы и мать Домиция Агенобарба – будущего императора Нерона. Она добилась возвращения Сенеки из ссылки, выхлопотала для него высокую государственную должность и предложила ему стать наставником ее сына, «чтобы такой наставник вел к возмужанию отрочество Домиция и чтобы его же советы шли на пользу ее надеждам на власть: ведь полагали, что Сенека в память о благодеянии предан Агриппине и, оскорбленный несправедливостью, враждебен Клавдию»[26]. Последний расчет не оправдался: никто из историков не говорит об

участии Сенеки в интригах Агриппины, закончившихся отравлением Клавдия и воцарением Нерона. Но, принимая место наставника, Сенека, безусловно, шел на компромисс с собою, так как не мог не понимать планов Агриппины, будущей участи Британника, родного сына Клавдия, а может быть, и опасностей, ожидавших его самого[27]. Так или иначе, положение его стало двойственным, жизнь разошлась с начертанной им самим и как будто уже окончательно избранной программой. Как раскололись официальная и неофициальная линия его поведения, видно хотя бы из того, что после обожествления убитого Клавдия он написал для Нерона надгробное восхваление почившему и в то же время сочинил на него язвительнейшую сатиру «Отыквление»[28].

Но только ли честолюбие и корыстолюбие толкнуло Сенеку на такой путь? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно пристально взглянуть на то, что Сенека, оказавшийся ближайшим советником воцарившегося в 16 лет принцепса, делал и писал в первые пять лет его правления (конец 54 – 59 г.), которые принято считать счастливой эпохой принципата. С самого начала Сенека употребил свое влияние на то, чтобы обуздать властную жестокость Агриппины, которая первым делом поспешила расправиться с двумя своими противниками. «Она бы пошла в убийствах и дальше, не воспротивься ей Афраний Бурр и Анней Сенека. Они, наставники императорской юности, и, что редко между властвующими сообща, согласные между собой, одинаково вошли в силу, хоть и разными средствами: Бурр – тщанием в делах военных и строгими нравами, Сенека – наставлениями в красноречии и мягкостью без угодничества. Они помогали друг другу, чтобы легче было удержать пребывавшего в опасном возрасте принцепса, дозволив ему, если он пренебрежет добродетелью, некоторые наслаждения»[29].

Ценою компромиссов Бурру и Сенеке удалось добиться многого. Если не считать династического убийства Британника, до 59 г. Рим забывает о кровопролитии. Возрастает власть сената, о чем так мечтала республиканская оппозиция, достаточно открыто подававшая там голос. Проводятся финансовые мероприятия, имеющие целью отделить государственную казну от личного имущества императора. Объективно необходимые и прогрессивные устремления принципата к тому, чтобы превратить провинции из ограбляемых завоеванных областей в органические составные части единой империи, находят систематическое выражение в судебных процессах над наместниками, виновными в корыстных злоупотреблениях. Космополитические веянья носились в воздухе, но что у Нерона приняло форму несколько карикатурного эллинофильства (достаточно вспомнить его «гастрольное турне» по Греции!), то у Сенеки на уровне практическом выражалось в разумных политических мерах. Была предпринята и попытка положить конец политическим нравам, сложившимся при Тиберии, Калигуле и Клавдии, прежде всего – покончить с доносительством. К суду привлечен был Суиллий, при Клавдии – самый грозный и самый продажный обвинитель. Однако именно эта мера вызвала больше всего нареканий против Сенеки: слишком многие опасались судьбы Суиллия.

Но Сенека не был бы Сенекой, если бы не попытался теоретически осмыслить свою политическую деятельность, найти ей оправдание с точки зрения нравственной нормы исповедуемого им стоицизма. Не будучи убежденным республиканцем, Сенека принимал взгляд древних стоиков, согласно которому монархия при справедливом царе может быть залогом благоденствия государства. Именно тут, как казалось Сенеке, и открывается выход. Исправить нравы «толпы» нельзя – об этом говорили и стоическое учение, и наблюдение жизни. В то же время старый стоический парадокс гласил, что «только мудрец умеет быть царем». Если у власти окажется «мудрец», то он и будет тем «справедливым царем», который обеспечит государству «наилучшее состояние». И когда принцепсом стал шестнадцатилетний воспитанник Сенеки, тому показалось, что идеал достижим. Спустя год после воцарения Нерона Сенека обратился к нему с трактатом «О милосердии», в котором начертал образ идеального государя (или, что то же, мудреца у власти – Мил., II, 5, 5) и противоположный ему образ тирана. Благодаря основной добродетели властвующего – разумному милосердию (отличному от неразумного сострадания!) – он находит должную меру между мягкостью и строгостью, необходимой для обуздания порочной толпы; так достигается основная цель – исправляются нравы, а благодаря этому воцаряется единодушие в государстве и любовь к принцепсу. Правда, последнему приходится больше обуздывать себя, нежели подданных, и «вершина величия» превращается в рабство (Мил., I, 8, 4). Такое самоогра-

ничение естественно для мудреца, – но Сенека сохраняет достаточное чувство реальности, чтобы не верить в мудреца на престоле, как и в чувство ответственности властвующего перед богами, людьми и законами, которое приписывается Нерону (Мил., I, 7, 1 и 1, 4). Поэтому он доказывает необходимость милосердия также и соображениями выгоды. Никакие запоры и крепостные стены не охранят царствующего так надежно, как любовь подданных (Мил., I, 11, 4). После красноречивого описания беспричинной жестокости как главнейшего порока тирана такое соображение должно напомнить о мече, поразившем Калигулу[30], о яде, которым извели Клавдия...

Едва ли Сенека, вопреки прямым утверждениям в трактате, надеялся, что легковесный, склонный к актерству Нерон будет поистине «справедливым государем». Явные опасения звучат в обращенных к нему словах:

«Это было бы трудно, будь твоя доброта не природной, а заемной и временной: ведь никто не может долго носить маску» (Мил., I, 1, 6). Расчет – жизненный, а не высказанный в книге – был на другое. Сенека давно уже понял, что при новом режиме служить можно только лицам («могущественным»), а не делу (Кр. ж., 2, 4–5). Так может быть, на этот раз служба одному человеку может превратиться в служение людям? – И вот начинается цепь интриг с целью ограничить влияние Агриппины, череда уступок порокам Нерона – тем, которые не так уж важны для дел государства...

Первое время эти компромиссы по видимости оправдывали себя. Ощущение их оправданности пагубно влияет на поведение самого Сенеки: он принимает от своего воспитанника бесчисленные подарки, его богатства растут настолько, что все громче становятся разговоры о несоответствии проповеди Сенеки и его поступков. Правда, Тацит вкладывает эти обвинения в уста доносчику Суиллию[31], – но у обвинявших в руках были факты, и Сенеке пришлось защищаться. Его апологией стал трактат «О блаженной жизни». Однако значение книги выходит далеко за пределы простой самозащиты. Это самая решительная попытка Сенеки примирить стоическую доктрину и действительность. Только мудрец в силах осуществить идеальную норму поведения, пишет Сенека, но ведь ни он сам, ни даже основатели стои не могут быть названы мудрецами. Они, как и все люди, погружены в жизнь с ее заботами и требованиями, связаны с людьми, опутаны обязанностями перед близкими, перед государством. Как же при этом сберечь нравственную чистоту? – Нужно сохранять всегда и во всем сознание нравственной нормы. Это сознание – оно же совесть[32] – и отличает человека нравственного (философа) от толпы, полностью порабощенной заботами о богатствах, власти, наслаждениях. Но не только ради приближения к идеалу необходимо сознание нормы: оно противостоит беспринципному растворению в потоке жизни еще и потому, что в самой повседневной практике оно укажет путь и к сохранению внутренней свободы, и к служению другим людям. Так оно поможет тебе сделать твое богатство полезным для всех, научив тебя щедрости и благодеяниям... Понятие совести как осознанной разумом и в то же время пережитой чувством нравственной нормы было введено в стоицизм Сенекой. Именно оно позволяло ему сохранить живую связь с действительностью, уйти от доктринерской беспочвенности. И оно же было опорным камнем его противостояния беспринципному прагматизму, тому вульгарному «приятию жизни», которое сводилось к стремлению получить любой ценой как можно больше наслаждений, как можно больше благ.

Но во главе подобных «жизнелюбцев» стоял сам Нерон. Поэтому политика уступок неминуемо уводила Сенеку все дальше и дальше от осознаваемой и прославляемой им нравственной нормы. Противоречие достигло кризисной остроты в момент убийства Агриппины. С точки зрения политической пользы Сенека должен был приветствовать уничтожение этой женщины, всегда боровшейся с ним за влияние на Нерона и при этом делавшей ставку на самые низменные инстинкты сына; с точки зрения здравого смысла Сенека понимал, что, противодействуя убийству, предотвратить его не сможет, а остатки влияния на Нерона потеряет. И вот он вынужден не только санкционировать матереубийство, но и написать для Нерона послание к сенату, в котором Агриппина обвинялась в покушении на сына. «В итоге ропот шел уже не против Нерона, чья чудовищность превосходила любые пени, а против Сенеки, облекшего в писаную речь признанье в преступлении»[33].

Вопреки всему, Сенека медлит уйти, несмотря на пример, поданный ему Тразеей Петом, все больше удалявшимся от дел, несмотря на потерю влияния и неизбежность скорой отставки.

Что удерживало его: жажда ли власти, как утверждали недоброжелатели, надежда ли хоть в чем-то обуздать Нерона, или страх перед опасностью слишком резкого разрыва с ним, – сказать трудно. Лишь в 62 г. после смерти (или убийства) Бурра Сенека ходатайствует об отставке и хочет вернуть Нерону все полученные от него богатства. Нерон отказывается принять их обратно. Но Сенека «отменяет все заведенное в пору прежнего могущества: запрещает сборища приветствующих, избегает всякого сопровождения, редко показывается на улице, как будто его удерживает дома нездоровье либо занятия философией»[34].

Новая жизненная ситуация заставляет Сенеку по-новому рассмотреть вопрос об «otium» – «досуге» – и обязанностях перед государством. За пять лет служения сообществу людей, именуемому государством, так много было сделано, – и все сделанное рушилось. Ставка на Нерона оказалась битой: принцепс становился как бы живым воплощением самого явления нравственной безответственности, эгоистической агрессивной безудержности[35]. Стоило ли делать все, что было сделано, не правильнее ли было удалиться в Афины, отдаться философии?

– Нет, – отвечает Сенека в трактате «О спокойствии души». Деянье остается для него истинным поприщем добродетели, и прежде всего деяние на благо государства. «Вот что, я полагаю, должна делать добродетель и тот, кто ей привержен: если фортуна возьмет верх и пресечет возможность действовать, пусть он не тотчас же бежит, повернувшись тылом и бросив оружие, в поисках укрытия, как будто есть место, куда не доберется погоня фортуны, – нет, пусть он берет на себя меньше обязанностей и с выбором отыщет нечто такое, чем может быть полезен государству. Нельзя нести военную службу? Пусть добивается общественных должностей. Приходится остаться частным лицом – пусть станет оратором. Принудили к молчанию пусть безмолвным присутствием помогает гражданам. Опасно даже выйти на форум – пусть по домам, на зрелищах, на пирах будет добрым товарищем, верным другом, воздержным сотрапезником. Лишившись обязанностей гражданина, пусть выполняет обязанности человека!.. Так что самое лучшее – сочетать досуг с делами, если деятельной жизни мешают случайные преграды либо состояние государства; ведь никогда не бывает все настолько недоступно, чтобы не осталось места для честного деянья» (Сп. д., 4, 2–3, 8). Под такою тирадой мог бы подписаться Цицерон! Нигде римская сущность Сенеки не сказалась так ясно, как здесь. Несмотря на отчетливо ощущаемую полемику со стоической оппозицией, ясно видно, что Сенека растет из тех же корней, что она, и в нем тоже живет дух Катона.

Но вот отставка стала неизбежной (или уже произошла), вынужденный «досуг» сделался реальностью. И Сенека в третий раз обсуждает вопрос, который трактовал в диалогах «О краткости жизни» и «О спокойствии души»; он пишет книгу «О досуге» (от нее дошел фрагмент). Иногда считают, что содержащееся в ней прославление досуга свидетельствует о некоем пересмотре позиций. Действительно, теперь Сенека отстаивает право мудреца на досуг – в споре с основателями стой, посылавшими его в гущу государственных дел (Дос., 1, 4; 2, 1; 3, 1). Конечно, основным правилом остается предписание Зенона, которого держался и сам Сенека:

«Пусть он (мудрый) берется за дела государства, если этому ничто не мешает» (Дос., 3, 2). Но человек имеет право на досуг, и не отслужив свой срок. На первый взгляд, Сенека возвращается к положениям трактата «О краткости жизни». Но там он делал упор на долг человека перед самим собою – теперь же на первое место выдвигается долг перед людьми. Исполнять этот долг учит пример отцов стоической философии, которые «выносили законы для всего рода человеческого, а не для одного государства» (Дос., 6, 4). Эта «государственная» терминология – не просто метафора. Еще в трактате «О спокойствии души», в цитированной главе, говорилось о том, что, выполняя обязанности человека, мы не запираемся в стенах одного города, но выходим на простор мира, и он становится нам отчизной (Сп. д., 4, 4). Теперь эта стоическая идея становится жизненной опорой для самого обреченного на досуг автора: «Два государства (res publicas) объемлем мы душою: одно поистине общее (publica), вмещающее богов и людей, где мы не глядим на тот или на этот угол, но ходом солнца измеряем пределы нашей гражданской общины, и другое, к которому мы приписаны рождением... Этому большему государству мы можем служить и на досуге, – впрочем, не знаю, не лучше ли на досуге» (Дос., 4, 1–2. Та же мысль – п. LXVIII. 2)[36].

Но что это за служение? Это – философия, она же созерцание величия всего сотворенного

богом. «Мы имеем обыкновение говорить: высшее благо жить согласно природе; но природа родила нас и для созерцания сущего, и для деятельности» (Дос.. 4, 2). Отныне, ведя созерцательную жизнь, Сенека по-прежнему служит сообществу людей – но уже не римской гражданской общине, выродившейся в толпу рабов тирана, а вселенскому «сообществу богов и людей». Для его граждан он законодательствует, создавая обобщающие философские труды: трактаты «Изыскания о природе», «О благодеяниях» и книгу итогов – «Письма к Луцилию».

Но уход Сенеки в частную жизнь не обезопасил его от Нерона. Сенека это понимал и прямо писал, что безопасности не может гарантировать даже «досуг» (п. XIV, 15); он превосходно отдавал себе отчет в том, что «казнь за научные занятия», которую Сенека-отец называл «делом новым и невиданным», стала обычной. Но и Нерон ощущал, что сама личность учителя, всегда воплощавшая для него норму и запрет и по традиции сопоставляемая всеми с новым (а вернее – истинным) обликом бывшего воспитанника, есть некая преграда на его пути. По осторожно передаваемому Тацитом слуху, Нерон пробует против Сенеки яд, доносчики пытаются связать имя Сенеки с аристократической оппозицией, возглавляемой Писоном. И когда раскрыт был заговор Писона – заговор, не имевший положительной программы, составленный людьми, которых объединяли более всего личная ненависть к принцепсу и страх перед ним, – Нерон, несмотря на почти доказанную непричастность Сенеки, не может упустить случая и приказывает своему наставнику умереть. Философ вскрыл себе вены вместе с женою, которую пытался сперва удержать от самоубийства. «У Сенеки, чье стариковское тело было истощено скудной пищею, кровь шла медленным током, и он взрезал жилы еще и на голенях, и под коленями. Обессилев от жестокой боли, он, чтобы его страдания не сломили духа жены и чтобы самому при виде ее мук не потерять терпеливости, убедил ее перейти в другую комнату. И в последние мгновения он призвал писцов и с неизменным красноречием поведал им многое, что издано для всех в его собственных словах и что я считаю лишним искажать пересказом». Мы не знаем этих последних слов Сенеки. Он сам уготовил себе гибель, когда, связав себя с Нероном, на пути уступок пытался сохранить «любовь к чистой совести» (Бл. ж., 20, 5). Но окончательные выводы его философствования показали, что, не сумев на практике примирить философию как нравственную норму и служение сообществу людей как наличному государству, в теории Сенека нашел выход из этого противоречия и снял его.

3. Итоги

Итоговые труды Сенеки («Изыскания о природе», «О благодеяниях» и «Письма к Луцилию») отличаются от предшествующих трактатов прежде всего размерами – и это не случайность: ведь в них философ решает уже не одну проблему, с особой остротой поставленную перед ним жизнью, но стремится дать свод этических правил, – свод законов для рода человеческого. С этим намерением связано и то центральное место, которое занимает в них этика. Даже свои естественнонаучные исследования Сенека подчиняет моралистической задаче; о чем бы ни писал он в «Изысканиях о природе» – о молнии и громе, о землетрясениях, о водах и ветрах, – он желает одного: через знание избавить человека от страха смерти. «Коль скоро причина страха – незнанье, то не стоит ли нам познать, чтобы не бояться?» (Изыск., VI, 3, 4).

В «Письмах к Луцилию» – «Нравственных письмах»! – Сенека почти полностью ограничивается областью этики. Он отвергает изощренную диалектику и логику древней стой – все эти «греческие глупости» (п. LXXXII, 9): они не помогут человеку найти верный путь в жизни и подменяют решение ее вопросов мудрствованьем по их поводу (п. XXV, XXXII, XXXIII и др.). Не увлекает Сенеку и материалистическая натурфилософия стоиков: он, правда, ее не отбрасывает, кроме некоторых крайностей (таких, например, как ученье об одушевленности добродетелей[37] – п. CXIII), но если и излагает где-нибудь ее положения, то как затверженный урок, без внутреннего участия (п. CXXI). Зато этика разработана Сенекой со скрупулезной полнотой. Наверное, все вопросы, трактованные им раньше, вошли в «Письма» в том или ином виде (иногда даже – почти в тех же выражениях, с теми же сравнениями – например, п. XCIV, 73 – Сп. д., 10, 5); и в конечном итоге из мозаики писем слагается система стоической этики в истолковании Сенеки, – логическая и стройная, вопреки кажущейся разорванности изложения. Вместе с тем

система эта разомкнута, открыта в жизнь. Любая житейская мелочь становится отправной точкой для рассуждения, любой жизненный факт – от походов Александра Великого до непристойной сплетни о неведомом нам современнике – может служить примером. Жизненно конкретен и адресат посланий – заваленный делами прокуратор Сицилии, – и их отправитель, страдающий от городского шума, путешествующий из усадьбы в усадьбу, превозмогающий болезнь, вспоминающий молодость... Вместе с тем текучее разнообразие жизни входит в письма как некий негативный фон для незыблемой нормы, т. е. философии, целительницы душ, «науки жизни», призванной судить ее и дать ей законы. Сборник писем к другу становится сводом стоической морали.

Первое, что вычитывается из «Писем к Луцилию», – это программа нравственного самоусовершенствования, равно предназначенная для адресата и отправителя. Определяют ее – в полном согласии с письмом XCV – основоположения стоической доктрины. Цель се – «блаженная жизнь», то есть состояние полной независимости от внешних обстоятельств (все они, по учению стоиков, суть «вещи безразличные»). Достигает «блаженной жизни» мудрец, он же – «vir bonus»; но традиционный римский нравственный идеал переосмысляется у Сенеки в стоическом духе. Vir bonus – уже, пожалуй, не «доблестный муж» старых времен, но скорее «человек добра». Точно так же и добродетель – virtus, – если где и сохранила связь с мужеством, с воинской доблестью, то лишь в многочисленных сравнениях жизни с военной службой. Да и от гражданской доблести в сенековской «virtus» осталось мало[38]; хрестоматийные римские герои – Муций Сцевола, Деции, Регул, Фабриций – выступают как носители стоических добродетелей: презрения к смерти и боли, воздержности. Основное содержание их подвигов – служение Риму выпадает из поля зрения Сенеки. Более того, в «Письмах» досуг признается необходимым условием для нравственного совершенствования (п. XXVIII и многие другие). И если для старориманского «доблестного мужа» наградой непременно мыслилась слава, знаменующая признание среди сограждан, то сенековский «человек добра» пренебрегает ею как похвалой людей неразумных и ищет лишь «признанья» равных себе (п. CII). Вообще же награда за добродетельный поступок – в нем самом (вспомним стоическое понятие «правильное деянье»), ибо такой поступок отвечает разумной природе человека, – в отличие от противоположных ей страстей. Для достижения добродетели нужно не ограничивать страсти, как учат перипатетики, а совершенно искоренять их, – и благодаря этому можно достичь полной независимости от мира, то есть бесстрастия.

Во всех этих наставлениях Сенека лишь повторяет на свой лад стоическую доктрину. Однако порой знание человеческой психологии, анализ поступков и побуждений, характерный для Сенеки-писателя, толкают его к знаменательным отступлениям от стоических верований. Так, с одной стороны, Сенека принимает положение о разумном характере добродетели: чтобы стать добродетельным, нужно понять, в чем благо. Но если для греческой этики со времен Сократа «познать добродетель» и значит «стать добродетельным», если Зенон учил, что человек стремится к тому, что считает благом «по закону природы» (это разумное стремление и именуется волей), то Сенека понимает, что одного знания добра недостаточно.. «В душах, даже далеко зашедших во зле, остается ощущение добра, и они не то что не ведают позора, но пренебрегают им» (п. XCVII, 12). Следовательно, воля к добру должна быть активной, она не даруется природой, и потому ее роль возрастает: «Желание стать добродетельным – полпути к добродетели» (п. XXXIV, 3). А направить нашу волю к добру должна еще одна нравственная инстанция, причастная скорее чувствам, чем разуму: это совесть, «бичующая злые дела» (п. XCVII, 14), но не тождественная страху наказанья. Отсюда ясно, что проповеднику добродетели нужно взывать не только к разуму, но и к совести, воздействовать не одною логикой, но волновать (п. CVIII, 12). На фоне рационалистической психологии древних стоиков, признававших всякое побужденье лишь видоизменением «руководящего», т. е. разумного, начала души[39], такие новшества не только меняли весь стиль философствования, но и заставляли заново решать проблемы, казалось бы, уже решенные. Прежде всего, момент воли, то есть ответственного выбора жизненного поведения, вступал в противоречие со стоическим фатализмом, учением о роке как о неразрывной и непреодолимой цепи причинно-следственных связей. Человеку, по мнению древних стоиков, остается только одна свобода: добровольно принять волю рока. «Человек подобен собаке, привязанной к повозке; если собака умна, она бежит добровольно и этим довольствуется, если же она

садится на задние лапы и скулит, повозка тащит ее». Для выбора места не остается.

Чтобы снять противоречие, Сенека, также признающий, что «причина цепляется за причину» (Пров., 5, 7) смещает акцент, выдвигает вперед другое стоическое понимание рока – как воли миросозидающего логоса или, что то же, божества[40]. В отличие от человеческой воли, эта божественная воля может быть только благой (п. XCV, 49): бог величайший благодетель (Благ., I, 1, 9 и в других местах), слуга своих слуг (п. XCV, 48), он заботится о людях (п. XC, 18) и воля его есть провидение.

Но отношение Сенеки к жизни было достаточно критическим, чтобы тотчас же встал вопрос о совместимости благого провидения и людских страданий. Ответ на него Сенека старался дать в трактате «О провидении» (его принято считать написанным одновременно с письмами). Бог посылает страдание с тем, чтобы закалить человека добра в испытаниях, и в этом он подобен любящему отцу, а не ласковой матери (Пров., 2, 5). Только в испытаниях можно выявить себя («Ты великий человек? А откуда мне это знать, если судьба не дает тебе случая показать твою добродетель?» – Пров., 4, 2), а значит, и доказать людям ничтожность невзгод. «У бога то же намеренье, что у мудрого мужа: обнаружить, что все желанное для толпы, все страшное для нее, – не благо и не зло» (Пров., 5,1). Так возникает решение проблемы судьбы-провидения и свободы воли: самый благой выбор – это приятие воли божества, пусть даже суровой:

«Великие люди радуются невзгодам, как храбрые воины – битве» (Пров., 4, 4). И не к образу собаки, привязанной к повозке, прибегает Сенека, а вспоминает стихи самого благочестивого из древних стоиков – Клеанфа, истово утверждающие радостное приятие воли богов (п.CVII, 11).

Как часть божественной воли человек добра воспринимает и смерть (Пров., 5, 8; то же – п. XXX и др.). В этом – лучшее лекарство против страха смерти, той из человеческих страстей, против которой Сенека в «Письмах к Луцилию» борется с наибольшим упорством[41]. Смерть предустановлена мировым законом и потому не может быть безусловным злом. Но и жизнь сама по себе не есть безусловное благо: она ценна постольку, поскольку в ней есть нравственная основа. Об этом Сенека писал уже давно: обжора Апиций, промотавшись, принял яд – самое полезное из всего, что он проглотил за свою жизнь (Гельв., 10, 9–10).

Та же этическая скала ценностей позволила Сенеке решить и вопрос о добровольной смерти. Когда-то Платон запретил человеку покидать пост, на который поставили его боги. Когда-то Зенон, сломавший ногу, увидел в этом волю призывавших его богов и ушел из жизни. Спустя несколько десятилетий после Сенеки Эпиктет в перекличке с Зеноном напишет: «Если ты, (боже), послал меня туда, где жить в согласии с природой человеку невозможно, я покину эту жизнь, не из непокорности, а потому что ты сам подал мне сигнал к отступлению»[42]. Сенека стоит посредине между Платоном и Зеноном. Нельзя уходить из жизни под влиянием страсти (п. XX 1У, 24 – 25, XXX, 15). Разум и нравственное чувство должны подсказать, когда самоубийство являет собой наилучший выход. И критерием, который философ пытается найти, оказывается все та же этическая ценность жизни, определяемая возможностью исполнять свой нравственный долг. Как бы ни угнетали тебя болезни и старость, ты не вправе уходить из жизни, пока твоя жизнь нужна близким (п. CIV, 3), пока ты можешь выполнять долг перед ними и перед своею природой: «Я не покину старости, если она сохранит меня в целости – лучшую мою часть: а если она поколеблет ум, если будет отнимать его по частям... я выброшусь вон из трухлявого, готового рухнуть строения» (п. LVIII» 35). Но вместе с тем, если не останется возможности исполнять свой долг человека, самоубийство не только допустимо, но и оправдано. А возможность эта исчезает тогда, когда человек оказывается под гнетом принуждения, лишается свободы. Поразительные примеры рабских самоубийств (п. LXX) наглядно доказывают утвержденье, что «к свободе повсюду открыты дороги, короткие и легкие... Никто не может навязать нам жизнь, и мы в силах посрамить нужду» (п. XII, 10) Принуждение, неотвратимость казни рабство – вот те крайние явления в наблюдаемой философом жизни, которые даже смерть делают одною из обязанностей мудреца (п. I–XX, 5)

В вопросе о самоубийстве Сенека потому расходится с правоверным стоицизмом, что наравне с долгом человека перед собою ставит долг перед другими. При этом в расчет берутся даже такие незначительные для стоика вещи. как любовь, привязанность и прочие эмоции (п. CIIV, 4). Вообще, нравственные основы человеческого общежития занимают Се-неку – отныне

законодателя вселенского государства – ничуть не меньше, чем правила нравственного совершенствования отдельного человека. Впрочем, и первое, и второе неразделимо друг с другом: «Связаны польза личная и общая, неотделимо достойное стремлений (т. е нравственная норма – С О.) от достойного похвалы (т.е. признания окружающих. – С. О.)» (п. VI, 10). Если же «достойное стремлений» не может снискать. общего признания, если сообщество людей единодушно лишь в заблуждениях и пороках (такое сообщество именуется у Сенеки «толпою»), то подлинное общежитие вообще невозможно. Среди современников Сенеки убеждение в том, что «нынешний век» порочен и что порча нравов погубила Рим, было всеобщим. Сенека идет дальше: он стремится показать, что порочность каждого делает невозможным не только государственное, но любое объединение людей. Самое обычное побуждение порочного человека по отношению к другому – погубить его; к этому подстрекают своекорыстная надежда, зависть, ненависть, страх, презренье. И здравый смысл – практическая мораль – учит не иметь «ничего примечательного, способного распалить чужую алчность», «не похваляться благами», «никого не задевать», быть кротким и никому не внушать страха, «поменьше разговаривать с другими, побольше с собою» (п. CV, 1–6). Но неужели этот свод правил, отлично резюмируемых Эпикуровым девизом «живи незаметно» и ведущих к взаимной разобщенности людей, был для Сенеки последним словом в его этике человеческих отношений?

К счастью, нет. Мы уже видели, что кроме эмоций, которые в XX веке были бы названы агрессивными, Сенека признает и другие: любовь, привязанность к ближним. И это не уступка рационалиста минутной умиленности, не дань традиционно-римскому культу семьи, какую Сенека отдал в «Утешении к Гельвии». Нет, чувство приязни к людям, согласно Сенеке, естественно и заложено в нас природой: «Все что ты видишь, в чем заключено и божественное и человеческое, – едино: мы только члены огромного тела. Природа, из одного и того же нас сотворившая и к одному предназначившая, родила нас братьями. Она вложила в нас взаимную любовь, сделала нас общительными, она установила, что правильно и справедливо, и по ее установлению несчастнее приносящий зло, чем претерпевающий, по ее велению должна быть протянута рука помощи» (п. XCV, 52). Это – основа конституции стоического вселенского государства или той «большей республики» Сенеки, которой служит человек добра. В ней все равны, ибо всем досталась душа – частица божества, а высокой она может быть и у римского всадника, и у раба (п. XXXI, 11). Не родословная, а величие души и делает человека благородным, «ибо она из любого состояния может подняться выше фортуны» (п. XLVI, 5), которая одна только и делает человека всадником или рабом. А если так, то нет нужды освобождать всех рабов: те из них, что благородны духом, сами возвысятся над рабством либо, если оно станет невыносимым, обретут свободу через смерть. Равенство в духе – вот что важнее для вселенского государства, чем конкретное социальное действие.

Но между безотрадной панорамой реальных человеческих отношений с их следствием – разобщающей моралью – и радужной теорией равенства в духе пропасть слишком велика, чтобы Сенека не ощущал ее. Философ, пытавшийся служить людям через службу государству, узнавший на этом пути и горечь компромисса, и боль от бесплодности усилий, не может, как бы ни был он разочарован в деятельности, не искать основ человеческого общежития менее умозрительных, чем равенство в духе. И он нс только ищет. но и находит их. Это – милосердие и благодеяние. Первое есть обязанность, налагаемая на нас уже тем, что все мы люди: «Человек – предмет для другого человека священный» (n.XCV,33). Но того же требует и жизненная практика. Если мы хотим этой добродетели от правителя государства, то и сами должны обладать ею по отношению к стоящим ниже – прежде всего к рабам (п. XLVII, 11). И далее аргументация в письме точно та же, что в трактате «О милосердии»: мягкость с рабами есть условие безопасности для владельца, позволь рабам говорить за столом, – и они будут молчать, когда твой обвинитель станет допрашивать их под пыткой.

Вопрос о благодеяниях Сенека разбирает в большом трактате под этим названием, написанном одновременно с письмами. Благодеянья для него становятся универсальным принципом отношений во вселенском граде, последней из социальных связей, на которую Сенека возлагает надежды. Пример людям подают боги, ничего не требующие взамен своих даров – и дарующие нам все. «Разве мало дала природа, дав нам себя?» (Благ., IV, 43). Точно так же для человека вся-

кое благодеянье есть тот добродетельный поступок, награда которого – в нем самом. Такие поступки не только благодетельствуют, но и совершенствуют обе стороны: «Он неблагодарен? Но мне он этим не нанес обиды. Ведь это я, давая, получил пользу от благодеянья. И по такой причине я буду делать не только не ленивее, но усерднее. Что потерял я на нем, то возмещу на других. Но и его я снова облагодетельствую, как хороший земледелец, который заботой и обработкой побеждает бесплодие почвы... Давать и терять – не это свойственно великой душе. Терять и давать – вот что ей свойственно» (Благ., VII, 32, 1). Таким же нравственным долгом перед самим собою является и благодарность за благодеяние. Пусть мудрецу, как и богу, неважно, найдет ли он ее, зато она благодетельна для самого благодарящего. Но всего важнее в такой взаимности то, что благодеянье и благодарность за них образуют самую прекрасную связь между людьми. Страсти и пороки антисоциальны, они «разобщают людей», «раскалывают согласье между ними» (Благ., VII, 27, 3). Наоборот, «благодеянье – это то, что более всего связывает человеческий род» (Благ., I, 4, 3). Ради этой-то всеобщей связи и нужно учиться оказывать и принимать благодеянья и благодарить за них (для чего и написан трактат). Ведь если благодеянье оказано нехотя, или с унижением просящего, или случайно, – оно и не заслуживает благодарности, и связи между людьми не возникает. Значит, самое главное – не объем благодеяния, а готовность к нему, добрая воля, приветливость, словом, не «вещь», а «дух». Точно так же и питаемой в душе благодарности довольно, чтобы достойно ответить на благодеяние. Так в неразрывную цепь благодеяний и благодарностей включаются богатые и бедные, рабы и хозяева, боги и люди. «Дух» стирает социальные грани в новом человеческом сообществе.

Потерпев крах в государственной деятельности, разочаровавшись в возможности отвечающего нравственным нормам сообщества людей внутри государства, Сенека тем не менее не хочет замыкаться в высокомерном «бесстрастии» мудреца, закрывшего глаза на порочный мир либо благоде тельствующего ему самим явлением своей добродетели. Из двух идеалов, предлагаемых стоей, его душе римлянина был ближе идеал человеческой общности, хотя бы в форме «вселенского града». Как римлянин, он пытался иногда обосновать необходимость такого сообщества прагматически – слабостью отдельного человека перед лицом природы. Как моралист, он искал таких нравственных основ общежития, которые были бы доступны всем согражданам по человечеству. Как человек своей эпохи, все больше забывавшей о городе-государстве, он не видел свой идеал осуществленным в прошлом (в отличие от Цицерона), не верил в его осуществление в римском государстве при наличном его состоянии, разделяя «всеобщее убеждение что из этого положения нет выхода», что «основанная на военном господстве императорская власть является неотвратимой необходимостью». И опять-таки как человек своей эпохи он искал новых основ человеческого сообщества в «духе», пролагая путь к Августинову граду божию, к христианским писателям последующих веков.

4. Философия и стиль

Среди благодеяний, которые человек может оказать человеку, Сенека мыслит величайшим одно: если мудрый или дальше ушедший по пути к мудрости обратит неразумного к философии и поведет его вслед за собой к блаженной жизни. Наставничество представлялось всей античности неотъемлемым долгом знающего: еще Гесиод посвятил свой дидактический эпос брату Персу, а Лукреций свою философскую поэму – Меммию. Образ Сократа, не столько поучающего собеседника, сколько вместе с ним отыскивающего истину, определил собой жанр философского диалога. Однако уже у Платона диалог становится, по сути дела, монологическим: знающий Сократ, хоть и не увещает непосредственно, но направляет мысль собеседника в нужную сторону и приводит его к однозначному ответу. Мы не можем проследить весь путь превращения диалогичности в формальный прием, но в конце этого пути видим «Тускуланские беседы» Цицерона, где поучающий «М.» (Марк Туллий? Magister – наставник?) рассуждает вне всякой зависимости от поучаемого «А.» (Аттик? audiens – слушающий?). «Диалогами» по традиции, идущей от античности, именовались и трактаты Сенеки (всегда кому-нибудь адресованные), но в них следы диалога можно усмотреть только в редких и безлично вводимых словами «он скажет» возражениях, – по сути дела, лишь излагающих мнения профанов или иных философских учений и слу-

жащих поводом для опроверженья. Такие «реплики» в той же роли нередки и в «Письмах к Луцилию».

С началом эллинистической эпохи, когда целью философствования сделалась мораль, когда отыскание причин и следствий всего сущего сменилось увещанием жить согласно тому или иному своду правил, важнейшую приобрело роль поученье. Первая и естественнейшая его форма – живая беседа – была тем более важна, что предполагала замену отношений, определяемых местом человека в гражданской общине, отношениями внеофициальными: друзей-единомышленников внутри кружка, учителя среди группы учеников. Устная философская беседа-проповедь – диатриба – оставалась живым жанром на протяжении многих столетий, – прежде всего как «низовой жанр», в устах тех кинических и стоических проповедников, которые обращались к толпе бедняков и рабов на улице, на площади. Мало того, этот жанр с его ориентацией на жизненные примеры, на легко запоминающиеся сентенции вместо сложной логики, с его доверительной интонацией оказался не только весьма живуч, но и агрессивен. «Пересекая жанровые перегородки, по всей литературе эпохи ранней империи проходит влияние... диатрибы. Форма диатрибы, вышедшая из рук киников... и ставшая к этому времени универсальной формой популярного моралистического философствования, оказывается надолго важнейшим ферментом всего литературного развития в целом: ареал усвоения приемов диатрибы простирается от римской сатиры до раннехристианской проповеди. Родовые черты диатрибы – установка на критическое отношение к миру, стремление к острой постановке радикальных этических вопросов и к бескомпромиссному их решению, перевес откровенной дидактичности над прочими элементами литературного целого... напряженная и суховатая, но в то же время живая и раскованная интонация, обыгрывание живого «присутствия» оппонирующего автору слушателя (читателя) – все это в своей совокупности определяет лицо целой историко-литературной эпохи»[43]. Собственно, каждая из перечисленных исследователем черт может быть легко замечена в «Письмах к Луцилию»: ведь форма, избранная Сенекой – письмо, будучи и в житейской практике заменой непосредственной беседы, в литературе оказывается естественной ее ипостасью.

Поучающие и советующие письма писали еще Платон и Исократ, однако именно для эллинистической философии письмо стало важнейшим жанром. Мы знаем о существовании писем киника Кратета; однако истинным классиком этого жанра был Эпикур. Правда, мы не можем судить, были ли письма Эпикура, адресованные его ученикам, предназначены самим автором для распространения и публикации, но как бы то ни было, эти письма были «литературным фактом» – и именно с той функцией, о которой – применительно к другой эпохе – говорил Ю. Тынянов: письмо становится жанром литературы, когда нужно подчеркнуть неофициальность, интимность высказывания в противовес закрепленным в литературе высоким жанрам[44]. После Эпикура «философические письма» писали его ученики, из стоиков наверняка – Панэтий и Посидоний. Все эти письма утрачены, и судить о степени их влияния на Сенеку невозможно. Но одно можно сказать твердо: за «Письмами к Луцилию» стоит большая литературная традиция, и Сенека, обращаясь к другу, в то же время вполне осознанно создавал литературное произведение.

Сенека сам разбирает вопрос о том, каким следует быть поучению философа. По его мнению, оно должно быть доступным (без чрезмерных тонкостей), легко запоминающимся (чему немало способствует стихотворный размер), но главное – «поражающим душу». Эмоциональное воздействие – вот главное средство философа-наставника: «Донимай их (слушателей), жми, тесни, отбросив всяческие умозренья, и тонкости, и прочие забавы бесполезного умствования. Говори против алчности, говори против роскоши, а когда покажется, что польза есть, что души слушателей затронуты, наседай еще сильнее» (п. CVIII, 12).

Но античность обладала уже богатым запасом приемов такого воздействия. Его накопила риторика. Античные теоретики даже выделяли «симбулевтический» («убеждающий») род ораторской прозы. Само собой понятно, что и в своих письмах, которые относятся к убеждающему роду, Сенека, прошедший хорошую школу риторики, увлеченный ею как таковой (вспомним хотя бы письма C, CXIV), воспользовался всеми выработанными ею средствами воздействия. Из них Сенека предпочитает, пожалуй, два: антитезу и «метаболу» – смену тона. Эффектные противопоставления то и дело подчеркивают контрастность мира, несоответствие его реальности той норме, которая проповедуется. А метабола – изящный переход от живо изображенного «приме-

ра» к эмфатической морализующей декламации по его поводу, от иронии к негодованию, от рассказа к поучению – не позволяет читателю пресытиться повторениями, многократными подходами к одному выводу, воздействует на чувство, – чего и искал Сенека. При этом, несмотря на богатство интонаций, в своем слоге Сенека отдает дань риторической моде на короткие, «рубленые» фразы[45], что, впрочем, не только создает единство стиля, но служит и более важным целям.

При всем этом неверно видеть в Сенеке только «ритора от философии»: в его разработке жанра «поучающего письма» есть свои особенности, и они куда интереснее и важнее для понимания «Писем», чем их риторическое одеяние. Первую из этих особенностей не назовешь иначе, как разомкнутостью. Прежде всего, подобно подлинным письмам, они разомкнуты в жизнь– Сенека заботливо и искусно стилизует это свойство. Он как бы и не собирается рассуждать, а только сообщает другу о себе: о своей болезни, об очередной поездке, встрече с тем или иным знакомым. Так главным примером в системе нравственных правил становится сам «отправитель писем», а это придает увещаньям убедительность пережитого опыта.

Иногда Сенека отвечает на вопросы Луцилия, – и это позволяет ему без видимой логической связи с предыдущим ввести новую тему. Точно так же естественно входит в письмо любое жизненное событие: горе Либералиса после пожара Лугдунской колонии, цирковые игры, посещение лекции философа или усадьбы Сципиона. И любое может стать поводом, отправной точкой для рассужденья.

Во-вторых, письма разомкнуты и формально. Редко какое из них посвящено одной теме. Чаще Сенека переходит от темы к теме, потом как бы спохватывается: «Вернемся к нашему предмету», – потом вновь отвлекается, искусно поддерживая напряженный интерес читателя. Короткие фразы не выстраиваются в периоды, где синтаксическое подчинение ясно обнаруживает логику причинно-следственных связей. Нередко читатель сам должен восстанавливать связь, угадывать отсутствующие звенья, – пока наконец, по всем правилам риторики, броская сентенция не подытожит сказанного и не отметит конец темы. «Сенека не только пытается вывести некую истину логически, рационально-наглядным путем, но и дает ей самой по себе ярко сверкнуть. Сенека прячет систематичность, отдавая предпочтение увлекательности непосредственного озарения перед рациональным пониманием и явно полагая, что первое проникает глубже».

Но и подведя к некоей истине, Сенека не закрывает тему. Чаще всего он возвращается к начатому в другом письме, напомнив о нем либо отсылкой назад («как мы уже говорили»), либо повторением каких-либо слов или даже ключевой сентенции (вспомним, как часто он твердит «нет блага кроме честности»). Так возникает своего рода «лейтмотивная техника», объединяющая письма в группы и позволяющая легче проследить развитие одной темы. И вместе с тем такое ее дробление помогает опять-таки избежать логической последовательности и систематичности. Письма остаются как бы фрагментарными, и это еще больше способствует впечатлению жизненной достоверности и дружеской доверительности высказыванья. К тому же и каждая отдельная истина приобретает больший вес, чем она имела бы в логической цепи, и внимание читателя остается в постоянном напряжении.

Разделенные темы и лейтмотивы связывают группы писем в некие единства; однако и тут нет прямолинейно-логического развития: Сенека часто повторяется, резюмирует, вновь приходит новым путем к уже высказанному выводу, словом, делает все, чтобы система стала незаметной. Этой же цели служат письма, тематически не связанные не только с окружающими, но, казалось бы, и со всем сборником (все письмо CXIV – об ораторском искусстве, большие экскурсы в письмах LXXIX – об Этне и LXXXVI – о пересадке олив).

И все же «Письма к Луцилию» – единое произведение не только по мысли, но и композиционно. Это целое начинается разомкнуто – «Так и поступай, мой Луцилий», – ответ на сообщение друга, звено в цепи долгой переписки... Мы не знаем, кончалось ли оно так же разомкнуто: конец «Писем к Луцилию» утрачен. Внутри же сборника сделано все, чтобы ощущение разомкнутости, бессистемности сохранилось. Однако в этой бессистемности есть система, и подчинена она последовательным этапам обращения Луцилия (понимай – всякого читателя) в стоическую веру.

Начинает Сенека с того, что делится своим горьким опытом и советует другу, не в пример

ему самому, освободить время (п. I), не разбрасываться – хотя бы в чтении (п. II), словом – научиться принадлежать самому себе ради «обращения к лучшему»; что есть лучшее, покуда не уточняется (п. VI, 1). Этим общим предпосылкам самосовершенствованья посвящен первый десяток писем, и здесь же «завязываются» важнейшие темы, пронизывающие книгу: тема ничтожности внешних благ, необходимости дружеских связей между людьми, лживости мнений толпы. Далее уточняются условия движения к мудрости: это – следованье благим примерам (п. XI), правильное отношение к старости и смерти (п. XII), преодоление страха перед фортуной (п. XIII, XIV), должная мера заботы о теле (п. XV). Все это, главным образом, частные наставления, касающиеся внешних благ и жизненных невзгод. Кульминация – в письмах XVI – XVII с их патетическим «побуждением к философии», единственной освободительнице от гнета фортуны.

Письма XVIII – XXX по-разному варьируют прежние темы: презренья к смерти, необходимости досуга, тщеты всех дел, направленных вовне, благ, даруемых философией, – пока наконец письмо XXXI не вводит нового положения, из числа основных в стоической доктрине: добродетель есть знание. В предыдущих письмах «еще преобладает мораль», т. е. конкретные наставления по отдельным поводам; теперь Сенека обращается к этике, т. е. стремится «заложить общие основы морали, которой руководствуется индивид». Среди множества писем, то варьирующих прежние, то просто ободряющих, то уводящих в сторону, все чаще попадаются посвященные важнейшим догматам стой: разум есть основа мудрости (п. XXXVII), душа человека – божественной природы (п. XLI), все люди равны (п. XLIV). И моральные предписания следующих писем строятся уже на их основе: если люди равны – значит, следует соответственно относиться к рабам (п. XL VII); если основа добродетели – разум, то незачем запутывать его софизмами (п. XLV – завязка одной из главных тем дальнейших писем). Письма L–LIII посвящены теме пороков и образуют цельную группу; к этой же теме Сенека то и дело возвращается в самых «личных» во всем корпусе письмах LIV–LVII. Наконец, в письме LVIII он дает метафизическую базу всей намеченной прежде иерархии ценностей, а в следующем – определяет место мудрости в ней.

Маленькие письма LX–LXII лишь возвращают к тому, что уже говорилось прежде. Затем большая группа писем (вплоть до п. LXXX) посвящена предмету, о котором так естественно говорить после того, как ему было отведено высочайшее в иерархии ценностей место: мудрости-добродетели. И лишь когда это центральное понятие стоической этики всесторонне исследовано, можно позволить себе по-новому говорить о сказанном прежде, излагать те или иные разделы стоического учения, заняться даже презираемой диалектикой, высмеять ее нелепости и негодовать по поводу чрезмерного увлечения ею. Можно разбирать даже. каковы наиболее действенные средства «психагогики» – искусства руководить душою человека, которое с такой виртуозностью применил сам Сенека в письмах. Ведь главная задача выполнена: Луцилий вслед за своим наставником обратился к философии, завершено воспитание гражданина той вселенской «большей республики», которая виделась Сенеке.

ПРИМЕЧАНИЯ

При переводе «Писем к Луцилию» были использованы следующие издания текста:

L. Annaei Senecae Opera philosophica, quae rocognovit... M. N. Bouillet. Vol. III–IV. Parisiis, MDCCCXXVIII; Seneca. Ad Lucilium Epistulae morales, with an english translation by R. M. Gummer. Vol. I III. (The Loeb classical library). London–Cambridge–Massachusetts, 1943; L. Annaei Senecae Ad Lucilium epistularum moralium quae supersunt edidit Otto Hense. Lipsiae, Teubneri, MDCCCXCVIII. Однако переводчик не придерживался строго текста данных изданий и, опираясь на критический аппарат, везде, где возможно, отдавал предпочтение чтению рукописей. Эти случаи в комментарии не оговорены. Основных рукописей насчитывается 6, они восходят ко времени от начала IX до XI века.

В других случаях, когда избранный переводчиком вариант восходит к одной из рукописей, отличающейся от других, или к конъектурам издателей, не учтенным ни Булье, ни Гаммером,

это указывается в комментарии. При этом учитывались исправления и конъектуры, предложенные в изданиях Эразма Роттердамского (1515 и 1529), Муре (1587), Юста Липсия (1607 и 1652), Рукопфа (1800–1805), Швейгехойзера (1809), Гаазе (1852), Бюхелера (в изд. Генэе), а также в трудах Пинциана (In omnia L. Annaei Senecae scripta Ferdinandi Pinciam castigationes, 1536), Грутера (Cruieri Animadversiones ad Senecam, 1594), Гроновия (Cronouii Ad L. et M. Annaeos Senecas notae, 1649), Мадвига (Madvig. Adversaria critica ad scriptore» latinos, vol. 2, 1873), Герца (Certz. Studia critica in L. Annaei Senecae Dialogos, 1874).

Разделение текста на параграфы, различное в старых и новых изданиях, произведено по изданиям Гензе и Гаммера.

Полностью на русский язык «Письма к Луцилию» переводятся впервые. Избранные письма к Луцилию были изданы в СПб., в 1893 г. в переводе П. Краснова.

Письмо I

Ср. Гесиод. Работы и дни, 369: «У дна смешна бережливость» *.

* Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, цитаты даны в переводе составителя комментариев.

Письмо III

1 Ср. Плутарх. О братской любви: «Чужих надо, как говорит Феофраст, не судить, полюбив, а любить, составивши сужденье».

2 Помпоний – скорее всего, комедиограф, автор ателлан (комедий масок), а также трагедий (I в. до и. э.). Однако приводимая Сенекой цитата – не стихотворная.

Письмо IV

1 Претекста – тога с пурпурной каймой, которую римлянин торжественно снимал в день совершеннолетия и облачался в мужскую тогу без украшений. После этого родители вели его на Форум, а затем – на Капитолий, где его заносили в списки граждан. Возраст совершеннолетия в эпоху Сенеки – 15 лет.

2 Римляне обозначали год по именам избранных на этот год консулов.

3 Гней Помпеи (106 – 47 гг. до н. э.) после битвы при Фарсале (48 г.), где он был разбит Цезарем, бежал в Египет и там был убит по приказу евнуха Потина, советника малолетнего царя Птолемея Диониса. Марк Лициний Красе (115 – 53 гг. до н. э.) во время парфянского похода был убит врагами, заманившими его на переговоры о перемирии.

4 Гай Цезарь – император Гай Калигула (37 – 41 гг.). Своего любимца и зятя Эмилия Лепида он казнил по обвинению в заговоре; сам был убит составившим против него заговор трибуном преторианцев Кассием Хереей.

[5]... в чужих садах... – намек, раскрывающий автора цитаты – Эпикура. По приезде в Афины из Лампсака Эпикур купил сад, где и основал свою школу. Слово «сад» часто употребляется древними для обозначения эпикурейской школы.

Письмо V

1 Гекатон (I в. до н. э.) – родосский философ-стоик, ученик Панэтия, автор сочинения «Об обязанностях».

Письмо VI

1 Ср. Гораций. Наука поэзии, 180 – 181 (пер. М. Гаспарова):

То, что дошло через слух, всегда волнует слабее, Нежели то, что зорким глазам предстает необманно. (Здесь и далее стихи Горация цитируются по изданию: Гораций. Оды, эподы, сатиры,

послания. М., 1970).

2 Зенон из Китиона (ок. 336 – ок. 264 гг. до н. э.) – философ, сперва – ученик киника Кратета, затем – основатель собственной школы, названной по месту его деятельности – афинскому «Расписному портику» (stoa itoixi>.'q) – стоической. Клеанф (331 – 251 гг. до н. э.) – ближайший ученик Зенона, после его смерти – руководитель стоической школы.

3 Ошибка Сенеки: Аристотель родился спустя 15 лет после гибели Сократа.

* Метродор из Афин, Гермарх из Митилены, Полнен из Лампсака (конец IV – начало III в. до н. э.) упоминаются в качестве учеников Эпикура также у Диогена Лаэрция (X, 15, 22). Метродор – ближайший ученик Эпикура, адресат многих его посланий; умер раньше учителя у него на руках. Гермарх и Полиен, став последователями Эпикура, отказались первый – от занятий риторикой, второй – математикой. Полиен умер при жизни Эпикура, Гермарх возглавил после смерти учителя школу по его завещанию.

Письмо VII

1 Во время гладиаторских игр давали два представления в день: утреннее – борьба со зверями, и полуденное – бой между гладиаторами. В промежутке иногда разыгрывались мимы.

2 Обычные пары – гладиаторы в полном вооружении. Любимые бойцы – так называемые postulatitii (от postulare – требовать), самые прославленные гладиаторы, которых выпускали на арену по требованию зрителей.

3 Мечами, факелами и ударами бичей на арену возвращали отступавших гладиаторов.

4 Иногда на арене заставляли биться осужденных на казнь преступников.

[5] Марк Порций Катан Цензор (234 – 149 гг. до н. э.) – государственный деятель, противник греческого влияния, прославившийся обличением роскоши и испорченных нравов в Риме. Гай Лелий, прозванный Мудрым (II в. до н. э.), – правовед и государственный деятель. Оба – обычные примеры «добрых нравов» в римской моралистике.

* Симмах («Письма», IX, 105) приписывает это изречение Гераклиту.

Письмо VIII

1 При Тиберии право избрания должностных лиц было отнято у народного собрания и передано сенату (см. Тацит. Анналы, I, 15).

2 Гогота – комедия с сюжетом из римской жизни, персонажи которой были одеты в тогу.

3 Публилий Сир (I в. до н. э.) – автор мимов, многие цитаты из которых составили сборники популярных изречений.

* Обутые в сандалии – комические актеры; выступающие на котурнах трагические актеры.

Письмо IX

[1] Стильпон (IV в. до н. э.) – виднейший философ мегарской школы, разрабатывавший по преимуществу этические вопросы и объявивший высшей целью жизни «апатию». Один из учителей Зенона.

2 Этот термин может означать и отсутствие страданий, и – в языке стоиков – бесстрастие. Сенека приписывает этому слову еще одно значение – нетерпеливость,

3 В некоторых изданиях это место читается: «один или оба глаза».

4 Аттал (1 в. до н. э. – 1 в. н. э.) – философ-стоик, учитель Сенеки. Сенека Старший («Свавории», II, 12) характеризует его: «Муж величайшего красноречия, из философов, каких только видел наш век, самый тонкий и речистый».

[5] Перевод сделан по чтению одной из рукописей. Во многих из них последняя фраза отсутствует.

6 Хрисипп из Сол (ок. 280 – 206 гг. до н. э.) – ученик Клеанфа, окончательно сформировавший стоическое учение. Написал 705 трудов, в которых развил теорию познания. нарисовал идеальный образ мудреца и т. д. Диоген Лаэрций писал о нем (VII, 7, 183): «Не было бы Хрисип-

па, – не было бы и стой». От Хрисиппа пошли также свойственные стоикам диалектические и терминологические сложности, на которые нередко нападает Сенека.

7 Хрисипп различал понятия «терпеть нужду» и «иметь потребность». «Потребность» возникает в предметах, пользу которых человек энает и без которых не может обойтись. Терпеть нужду – значит испытывать душевное сокрушение из-за отсутствия какого-либо предмета, независимо от его пользы.

8 По учению стоиков, мир должен погибнуть в огне.

9 Деметрий (337 – 283 гг. до н. э.) – один из «эпигонов» – полководцев, ведших войны за раздел и передел державы Александра Македонского и его наследников. За изобретение осадных машин был прозван Полиоркетом разрушителем городов. Эпизод со Стильпоном пересказывает также Плутарх («Деметрий», IX), по версии которого, Стильпон ответил Деметрию: «Я не видел, чтобы кто-нибудь из твоих воинов унес мое знание».

10 В некоторых изданиях далее следует слово «воздержность», отсутствующее в рукописях.

п Изречение Публилия Сира.

Письмо X

[1] Кратет из Фив (2-я половина IV в. до н. э.) – философ-киник, ученик Диогена. Раздав свое имущество, вел жизнь странствующего философа-проповедника. Его учеником был Зенон.

2 Афинодор (I в. до н. э.) – философ-стоик, сначала – хранитель Пергамской библиотеки, затем (с 70 г.) живший в Риме, в доме Катона Утического (см. прим. 2 к письму XIII).

3 Молиться во всеуслышанье – одно из правил пифагорейцев.

Письмо XI

1 Ср. у Диогена Лаэрция (VII, 54) рассказ о кинике Диогене, который сказал при виде покрасневшего юноши: «Верь в него: это цвет добродетели!»

2 Слова «или души» некоторые издатели нового времени опускают, как противоречащие общему смыслу учения Сенеки.

3 Фабиан Папирий – один из учителей Сенеки, сперва оратор, затем философ, близкий к стоицизму.

4 О понятии «человека добра» у Сенеки см. в статье, стр. 343 – 344.

Письмо XII

[1] Гением римляне называли духа-покровителя каждого мужчины, вместе с ним рождавшегося и умиравшего.

2 Прозвище Гераклита – Темный.

3 Пакувия как командира легиона в Сирии в 19 г. н. э. упоминает Тацит («Анналы», II, 79). Видимо, был впоследствии (до 32 г.) наместником этой провинции.

4 Вергилий. Энеида, IV, 654 (здесь и далее многочисленные цитаты из Вергилия приводятся по изданию: Вергилий. Буколики, Георгики, Энеида. М., 1971. «Буколики» и «Георгики» цитируются в переводе С. Шервинского, «Энеида» – в переводе С. Ошерова).

Письмо XIII

1 Текст переведен по исправлению Швейгехойзера. Бюхелер предлагает другое исправление: «Мы отдаемся на волю уносящих нас ветров».

2 Катан – Марк Порции Катон Младший (95 – 46 гг. до н. э.), прозванный Утическим. Философ-стоик и государственный деятель, страстный защитник традиционной республики и противник Помпея и Цезаря в пору их союза. С началом их вражды, после вторжения Цезаря в Италию, присоединился к Помпею, а после его разгрома пытался организовать сопротивление

Цезарю в Северной Африке. Потерпев неудачу, покончил с собою в Утике (Ливия), бросившись на меч, а потом сорвав повязку со своей раны. Катон – любимый герой писателей стоической оппозиции.

Письмо XIV

[1] Сицилийское море – часть Средиземного моря у восточного берега Сицилии. Харибда локализовалась в Мессинском проливе (между Сицилийским и Тирренским морем).

2 Жреческие повязки – убор жреца во время священнодействий; жрец был лицом неприкосновенным.

3 Сенека метафорически изображает позицию Катона в начале гражданской войны (январь 49 г. до н. э.), когда тот категорически требовал от Цезаря роспуска войск и поддерживал намерение Помпея удалиться в Испанию, также распустив легионы.

4 Имеется в виду эпизод борьбы Катона против закона о раздаче земель, предложенного Цезарем в год его консульства (59 г. до н. э.). Ср. Плутарх. Катон, XXXIII:

«Цезарь предложил еще один закон – о разделе почти всей Кампании... Ему не противоречил никто, кроме Катона. Цезарь приказал прямо с ораторского возвышения отвести его в тюрьму, но и тут Катон не пал духом и не умолк – напротив, по дороге в тюрьму он продолжал говорить о новом законе».

[5] Некоторые издатели принимают конъектуру Мадвига, предлагающего читать это место так: «...надо ли мудрому стараться о делах государства».

6 Перевод по конъектуре Гроновия.

Письмо XV

[1] Ср. Гораций. Сатиры, II, 2, 77 – 78 (пер. М. Дмитриева): Тело, вчерашним грехом отягченное, дух отягчает И пригнетает к земле часть дыханья божественной силы. «Аристон остроумно уподобил атлетов колоннам в гимнасии, ибо они такие же гладкие и каменные. И Диоген-киник на вопрос, почему атлеты почти что лишены чувств или разума, ответил: «Потому что состоят из свиного и бычьего мяса». Был и стих-пословица: «Желудок полон – тонким уж не будет ум»» (Примечание Юста Липсия).

2 Маслом атлеты умащали тело.

3 Салии – коллегия жрецов Марса; ежегодное празднество их сопровождалось бегом по городу с пением и пляской-прыжками. Само название коллегии связывали со словом salire – «прыгать».

4 Сукновалы, занимаясь чисткой шерстяной одежды, погружали ее в мочу и топтали, подпрыгивая.

[5] Место по-разному читается в разных рукописях и изданиях. Можно прочесть его и так: «не требующее выучки и легкое».

6 Место сильно испорчено и восстанавливается по-разному. Нами принято чтение большинства изданий.

Письмо XVI

[1] Место испорченное и по-разному восстанавливаемое разными издателями. 2 Рок и божество повелевают миром – по учению стоиков, случай – по учению эпикурейцев. 8 Ср. изречение Эпикура (Стобей. «Цветник», XVII): «Спасибо блаженной природе за то, что необходимое она сделала легко доступным, а недоступное – не необходимым».

Письмо XVI!

[1] В сохранившихся сочинениях Цицерона этих слов нет.

2 Сигналом трубы собирали войско; в эпоху Ранней республики неимущие граждане не должны были являться на службу. Возможно, впрочем, что Сенека имеет в виду не этот старинный обычай, а сигнал, подававшийся при казни через бичевание (см. Тацит. Анналы, II, 32).

3 Слово бедняк введено Бюхелером и Герцем. В старых изданиях – «она (т. е. бедность) знает».

* Ср. Гораций. Послания, I, 2, 47 – 48 (пер. Н. Гинцбурга): Ибо ни дом, ни земля, ни меди и золота груды Прочь лихорадку отвесть от больного владельца не могут.

Письмо XVIII

1 Сатурналии праздновались в эпоху Сенеки с 17 декабря в течение недели. Обычная одежда заменялась на мягкое шелковое платье и остроконечный колпак, все предавались веселью и удоводьствиям в память о царстве Сатурна – Золотом веке.

2 В начале гражданской войны многие приверженцы республики, по примеру Катона Утического, облачились в темные тоги.

3 «... великих людей... – Пифагора, Сократа, Эпикура.

4 Тимоновы трапезы – скромные трапезы в одиночестве, названные так по имени знаменитого афинского человеконенавистника. Бедные каморки – особые комнаты в домах римских богачей, «упражнявшихся в бедности», чтобы задобрить богиню Немесиду, чей культ распространился в период Ранней империи.

[5] Асе – самая мелкая медная монета.

6 У греков год обозначался -именем одного из архонтов, как у римлян именами консулов. Архонтство Харина – 307/308 г. до н. э.? Вергилии. Энеида, VIII, 364 – 365.

Письмо XIX

[1] Меценат, Гай Цильний (род. между 74 и 64 гг. до н. э. – ум. 8 г. до н. э.) – сподвижник и друг Августа, организатор его идеологической политики. Собрал кружок поэтов, в который входили Вергилии, Гораций, Пропорций, Варий и др. Сам писал стихи и прозу в пышном «азианском» стиле. Под «пыткой» Сенека, возможно, разумеет бессонницу, мучившую Мецената последние годы жизни. Изнеженный образ жизни Мецената и его стиль – обычные объекты нападок Сенеки.

2 Номенклатор – раб, обязанный на улице подсказывать господину имена встречных, а дома – имена рабов и клиентов.

Письмо XX

[1] Деметрий (I в. н. э.) – моралист-киник, о котором Сенека («О блаженной жизни», XVIII, 3) писал: «Увидев, в какой крайней бедности проводит он жизнь, я по-другому слушаю его и читаю». Деметрий нападал на Нерона, впоследствии – при Веспасиане и Домициане – дважды был изгнан из Рима.

2 После этих слов следуют слова, считающиеся поздней вставкой: «Но спокойней тот, у кого нет богатства».

Письмо XXI

[1] Пламеней из Лампсака (конец IV – начало III в. до н. э.) – зять и ученик Эпикура, автор сочинения «О сократиках».

2 Аттик, Тит Помпоний (110 – 32 гг. до н. э.) – римский всадник, писатель и издатель. Принципиально уклонялся от государственной деятельности, больше 20 лет прожил в Афинах. Ближайший друг Цицерона, чьи письма к Аттику составляют 16 книг.

3 Агриппа, Марк Випсаний (62 – 12 гг. до н. э.) – полководец и ближайший сподвижник Августа, второй человек в государстве после принцепса. Первым браком был женат на дочери Аттика Помпонии, вторым – на дочери Августа Юлии Старшей. Его дочь от Помпонии, Випсания Агриппа, была первой женой Тиберия и матерью его единственного сына Друза Цезаря (13 г. до н. в. – 23 г. н. в.).

4 Вергилий. Энеида, IX, 446 – 449. Поэт обращается к двум своим героям, Нису и Эвриалу, мужественно погибшим в бою. Капитолийский утес – Капитолий, средоточие государственных святынь Рима. Род Энея – род Юлиев, к которому принадлежал Август, получивший титул «отца отчизны».

[5] Пифокл – ученик Эпикура, красавец-юноша, талант которого учитель ценил особенно высоко.

6 Ср. Цицерон. Тускуланские беседы, V, 33 (Цицерон. Избранные сочинения. М» 1975, пер. М. Гаспарова): «Эпикур делит желания на три рода...: во-первых, естественные и необходимые; во-вторых, естественные, но не необходимые; в-третьих, ни те ни другие Необходимые желания удовлетворяются сущим пустяком: ведь богатства природы у нас под руками. Желанья второго рода не трудны для достижения, но нетрудно обойтись и без них. Наконец, желанья третьего рода, пустые, чуждые и природе, и необходимости, следует вовсе искоренять».

Письмо XXII

1 Слово «жажда» дает одно из первоизданий, однако без него смысл восстанавливается лишь с натяжкой.

Письмо XXIV

1 Публий Рутилий Руф (ок. 154 – 74 гг. до н. в.) – государственный деятель, юрист и философ-стоик, ученик Панэтия. Друг Сципиона Младшего и Лелия, участник многих войн. Управляя провинцией Азией, боролся со злоупотреблениями откупщиков-всадников и за ато по возвращении в Рим был несправедливо осужден всаднический судом и изгнан. Жил в Митилене на Лесбосе, занимаясь философией, затем в Смирне; здесь в 78 г. до н. а. его посетил Цицерон. Когда Сулла, двинувшийся из Азии походом на Рим против марианцев. предложил Рутилию пойти с ним, тот отказался.

2 Квинт Цецилий Метелл, прозванный Нумидийским за победы над нумидийским царем Югуртой, консул 109 г. до н. э., цензор 102 г. до н. э» боролся как цензор против радикального земельного закона, а когда закон был принят, отказался присягнуть ему и удалился в добровольное изгнание на Родос (100 г.). Через год был возвращен благодаря усердным хлопотам сына, вопреки сопротивлению демократов – сторонников Мария, соперничавшего с Метеллом еще во время Югуртинской войны.

3 См. Платон. Критон, Федон.

4 Муций Сцевола – хрестоматийный пример староримской доблести. В 508 г. до н. э., когда этруски осадили Рим, пытался убить их царя Порсенну, но поразил только его писца. Схваченный и отданный на пытку, сам положил правую руку на огонь. Пораженный его мужеством, Порсенна снял осаду.

[5] Сципион – Квинт Цецилий Метелл Пий Сципион (внук Метелла Нумидийского по усыновлению), коллега Помпея по консульству 52 г. до н. в., командовал его флотом во время битвы при Фарсале, затем бежал в Африку, где принял у Катона верховное командование, и после разгрома при Тапсе покончил с собой (46 г. до н. в.).

6 Сципион Африканский Старший (235 – 183 гг. до н. э.) во время второй Пунической войны перенес военные действия в Африку из Италии и в 202 г. разгромил Ганнибала при Заме, чем положил конец войне. Его внук (по усыновлению) Сципион Эмилиан Африканский Младший (185 – 129 гг. до н. э.) разрушил в 146 г. Карфаген. Человек обширной образованности, глава дружеского кружка, куда, кроме государственных деятелей, как Лелий, входили философы, в частности Панэтий, и поэты (сатирик Луцилий, комик Теренций), Сципион Младший со времени Цицерон» стал любимым примером у римских моралистов.

7 Иксион, привязанный к вечно вращающемуся колесу. Сизиф, вечно катящий в гору камень, Титий, чью печень вечно терзают коршуны, – мифические нечестивцы, наказанные муками в царстве мертвых.

Письмо XXVI

1 Место, сильно испорченное и по-разному восстанавливаемое, переведено по чтению Рукопфа.

Письмо XXVII

1 Известен Гай Кальвизий Сабин, сенатор, консул 26 г. н. э.; в бытность его наместником Паннонии его жена учинила в военном лагере непристойный скандал, и Сабин, обвиненный Калигулой, покончил с собою в 32 г. Однако большинство исследователей считает, что Сенека имеет в виду не его.

2 Перевод сделан по конъектуре Гроновия.

3 Александрийские грамматики составили канон из девяти величайших лириков. В него вошли Алкман, Алкей, Стесихор, Анакреонт, Сафо, Симонид Кеосский, Ивик, Вакхилид и Пиндар.

Письмо XXVIII

[1] «Энеида», III. 71. 2 «Энеида», VI, 78 – 79. Речь идет о Кумской сивилле, впадающей в пророческое исступленье. « О космополитизме стоиков см. в статье, стр. 330 – 331. Однако утверждения такого рода приписывались и Сократу (Цицерон. Тускуланские беседы. V, XXXVII, 108) и Демокриту (Стобей, XXXVIII).

2 Тридцать тиранов – олигархическая клика, захватившая власть в побежденных Спартой Афинах (404 – 403 гг. до н. э.). Хотя во главе их стоял ученик Сократа Критий, философ резко нападал на них, за что те ему пытались запретить вестн его обычные беседы с гражданами.

Письмо XXIX

1 Марцеллин – лицо, из других источников не известное.

2 Известно несколько философов, носивших это имя; очевидно, Сенека имеет в виду перипатетика времен Августа, которого упоминает также Страбон (XVII, 790), упрекающий его в неоригинальности.

3 Скавр Мамерк Эмилий – выдающийся оратор и трагический поэт. Покончил с собой в 34 г., обвиненный в оскорблении величества за несколько стихов из трагедии

4 «Атрей», которые были истолкованы как намек на Тиберия. 4 Слово «перипатетик» происходит от греч. лерптео) – «гуляю». 6 Греции, Юлий – сенатор, ученый-винодел. Отказался выступить обвинителем Скавра и за это был убит по приказу Калигулы.

Письмо XXX

[1] Ауфидий Басе (1 в. н. э.) – последователь учения Эпикура, крупнейший историк, автор книг о войнах с германцами (возможно, раздел всеобщей истории его времени).

2 Семь кругов – обычная дистанция пробега колесниц в римском цирке.

Письмо XXXI

[1] Имеется в виду эпизод из «Одиссеи» (XII, 47 – 48), когда Улисс-Одиссей залепил спутникам уши воском перед тем, как проплыть мимо Сирен.

2 Рациональный характер добродетели – одно из основных положений стоицизма, восходящее, однако, к Сократу. Цицерон в «Тускуланских беседах» (IV, VI, 12) так излагает взгляды Зенона: «Радость и желание вытекают из суждения нашего о благе... Ведь по законам самой природы люди тянутся к тому, что кажется им благом, а противоположного избегают... Если это влечение устойчиво и разумно, то стоики называют его Bou^ai^ мы – волею. Такой волей обла-

дает у них только мудрец; отсюда и определение: воля есть разумное желание». Мусоний Руф почти буквально говорит то же, что Сенека (Стобей, XXVII): «Добродетель – это знание, причем не только умозрительное, но и приложимое к деятельности». О понятии «воли» у Сенеки см. в статье, стр. 344.

3 Гензе предлагает читать эчо место иначе: «Как так? Разве труд пустой и ненужный, вызванный пустыми причинами, не есть зло?» – «Ничуть не больше, чем тот...»

4 Ленинский и Греческий хребет – в Альпах, Кандавия – горная область в Македонии, Сирты – мелководные заливы у северного берега Африки, Сцилла и Харибда локализовались в Мессинском проливе.

[5] Претекста – см. прим. 1 к письму IV. Претекста была также отличьем сенаторов.

6 Эразм, исправляя одно слово, предлагает читать: «нечто такое, что не становится день ото дня все хуже, не знает препятствий».

7 Вергилий. Энеида, VIII, 365.

Письмо XXXIII

1 Туника с рукавами – одежда по преимуществу женская, ношение ее мужчинами считалось признаком изнеженности.

2 Высоко подпоясанные – римские солдаты.

3 Овидий. Метаморфозы, XIII, 824.

4 Хрия – краткий рассказ об изречении или поступке прославленного человека; служил в школе материалом для заучиванья.

Письмо XXXIV

1 Чтение, предложенное Швейгехойзером со ссылкой на один из кодексов. Пословицу, приведенную выше, ср. Гораций. Послания, 1, 2, 40 (пер. Н. Гинцбурга): Тот уж полдела свершил, кто начал; осмелься быть мудрым!

Письмо XXXV

1 Ср. «О благодеяниях», I, – слова Эсхина, обращенные к Сократу: «Дарю тебе единственное, что у меня есть, – самого себя».

Письмо XXXVI

1 Аристон Хиосский (III в. до н. э.) – ученик Зенона, позже эволюционировавший в сторону кинизма; за красноречье своих проповедей был прозван «сиреной».

Письмо XXXVII

1 Клятва гладиаторов, формула которой приводится далее.

2 Побежденный гладиатор имел право просить пощады, обратившись к зрителям. Если те опускали вниз отставленный большой палец, просящего добивали.

3 Конъектура Грутера, добавившего одно слово и получившего очень кстати употребленную цитату из Вергилия («Энеида», II, 494).

Письмо XXXIX

1 Слово breviarium (обобщение), очевидно, было в эпоху Сенеки неологизмом, поскольку мы находим его только у позднейших авторов, а комментируемая фраза – первый по времени случай его употребления. Впрочем, слово summarium (краткий итог) также встречается лишь здесь.

2 Перечни (или каталоги) философов были составлены александрийскими грамматиками. По их образцу составил перечень римских философов Квинтилиан в «Воспитании оратора» (X, I); в этом перечне он дает характеристику Сенеки.

Письмо XL

1 Об Одиссее Гомер говорит («Илиада», III, 222, пер. Н. Гнедича):Речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись... а о старце Несторе (там же, I, 249): Речи из уст его вещих, сладчайшие меда, лилися.

2 Перевод сделан по конъектуре Муре.

3 Публий Виниций – консул 2 г. н. э., характеризуется Сенекой Старшим как оратор умный, но не самостоятельный. Азеллий Сабин – ритор, упоминаемый им же; возможно, был воспитателем Калигулы и автором заслужившего награду от Тиберяя «диалога устрицы, гриба и дрозда». Варий Гемин. Квинт – политический деятель эпохи Августа, также упоминаемый Сенекой Старшим как оратор.

4 Квинт Гатерий (ум. 24 г. н. а.) – политический деятель и оратор. Образцы его декламации сохранились в книге Сенеки Старшего. Его имя, искаженное в рукописях, воссгановлено Юстом Липсием.

Письмо XLI

1 Вергилий. Энеида, VIII, 352.

Письмо XLIV

1 Четырнадцать рядов, ближайших к орхестре, были отведены в театре для всадников. Сенаторы сидели на орхестре.

2 Точно таких слов в сохранившихся сочинениях Платона не г. Комментаторы указывают аналогичные мысли в «Тэетете», II.

3 Портреты предков, вылепленные из воска, выставлялись в атрии (прихожей) в домах знатных римлян. Законченность указывает на давность этих изображений, водруженных во времена, когда над очагом было только отверстие для выхода дыма.

Письмо XLV

1 Имеется в виду знаменитый софизм: «У тебя есть то, чего ты не терял, рогов ты не терял, значит, у тебя есть рога». По преданию, киник Диоген, услышав этот софизм, пощупал лоб и ответил: «Что-то я их не вижу». 2 Другой знаменитый софизм, книги о котором написали среди прочих Феофраст и Хрисипп. В нем предлагалось ответить на вопрос: «Лжет ли тот, кто говорит о себе, что лжет?»

Письмо XLVI

1 Перевод по чтению Муре, Юста Липсия и др. В рукописях – «легкой».

Письмо XLVII

* Рабов, привлекавшихся в качестве свидетелей к суду, разрешалось допрашивать только под пыткой.

* Каллист – вольноотпущенник Калигулы, участник заговора против него, при Клавдии – всемогущий временщик.

* В первую десятку включали самых никудышних из выставленных на продажу рабов. «Каллист добился чего-нибудь для господина, домогавшегося этого у цезаря Клавдия, но не без

платы или подарка» (Примечание Юста Липсия). 9 В рукописях это место читается: «когда разбит был Марий». Однако из дальнейшего явствует, что речь идет о войне с варварами, Марий же разгромил германские племена кимвров и тевтонов. Отсюда – остроумное исправление Юста Липсия, предложившего изменить одну букву (Mariana clade – Variana clade). Квинтилий Вар был в 9 г. н. э. разбит в Тевтобургском лесу вождем германского племени херусков Арминием.

6 Гекуба – жена Приама, после падения Трои попавшая в плен к ахейцам. Крез (VI в. до н. э.) – царь Лидии, чьи богатства вошли в пословицу. Был взят в плен разгромившим его державу персидским царем Киром. Мать Дария III Сизигамбида была взята в плен разбившим ее сына Александром Македонским. Платон в бытность свою в Сицилии пытался осуществить там проект своего утопического государства, но был за это продан в рабство тираном Дионисием Старшим. Первый хозяин перепродал Платона, второй освободил его. Диоген был захвачен пиратами и продан коринфянину Ксениаду, который приставил его воспитателем к детям.

7 Сатурналии.

8 Консуляр – пожизненное звание бывших консулов. 8 Знак сатурнальных вольностей.

Письмо XLVIII

1 Место испорченное, перевод сделан по конъектуре Швейгехойзера. '* Увертки – так называемые «exceptiones» – предлоги, с помощью которых ответчик старался доказать незаконность судебного иска. Мастерами придумывать их были наемные стряпчие, обычно сидевшие возле доски, на которой вывешивались преторские эдикты. ' Вергилий. Энеида, IX, 641.

Письмо XLIX

1 Сотион – философ школы Секстиев, автор сочинения «О гневе», возможно повлиявшего на одноименный трактат его ученика Сенеки. 2 В сохранившихся сочинениях Цицерона этих слов нет. 8 Вергилий. Энеида. VIII, 385 386. * Еерчпид. Финикиянки, 481.

Письмо L

1 Перевод сделан по исправлению Герца.

Письмо LI

1 Мессала, Марк Валерий Корвин (ок. 64 г. до н. а. – 8 г. в. в.) сподвижник Августа, оратор, филолог, автор книги о достопримечательностях. К группировавшемуся вокруг него кружку поэтов принадлежал, кроме Тибулла, молодого Овидия и др., Вальгий Руф, консул 12 г. до н. э., ученый и поэт, автор элегий и эпиграмм.

2 Байи – курорт на западном побережье Италии, прославленный горячими источниками.

3 Каноп – город в устье Нила, место отдыха жителей Александрии, знаменитое вольностью нравов.

4 По мнению римлян, Ганнибал погубил себя тем, что после каннской победы не стал брать Рим, а дал своим войскам зимний отдых в Кампании, где они изнежились и потеряли прежнюю выносливость, проявленную при переходе через снежные Альпы при вторжении в Италию.

6 Литерн – городок в Кампании. Сципион Африканский Старший, победитель Ганнибала, в 184 г. до н. э. был обвинен народными трибунами, желавшими подорвать его возраставшую власть, и добровольно удалился в свою усадьбу в Литерне (см. письмо LXXXVI), где и умер в следующем году.

« Сенека неправильно связывает греческое слово p1*.T|'п]с – «мошенник» с глаголом yiAEu) – «любить».

Письмо LII

1 В некоторых изданиях эти слова отсутствуют. Однако ср. Цицерон. О природе богов, I, 26: «Как мы видим из его писаний, он (Эпикур) похвалялся, что никто не был его учителем».

2 Перевод сделан по конъектуре Швейгехойзера.

3 Муре предлагает читать это место: «кто учит своей жизнью».

Письмо LIII

1 Партенопея – Неаполь, Путеолы – торговый порт близ Бай. Несида островок против Путеол. Путь по морю от Неаполя в Путеолы – меньше 20 км.

2 «Энеида», VI. 3 и 902.

3 Т. е. буду плыть вдвое дольше Улисса-Одиссея.

4 По Квинту Курцию (История Александра, IV, 5), Александр дал этот ответ Дарию,

Письмо LV

1 Кумы – город на побережье Кампании; озеро – Ахерусийское озеро или болото в Кампании, отделенное от моря узким песчаным перешейком.

2 Азиний Галл (40 г. до н. э. – 33 г. а. э.) – выдающийся оратор, политический деятель. Женился на Випсании Агриппе после развода с нею Тиберия и за это ста» ему ненавистен. В 30 г. был осужден и после трехлетнего заточения умер от голода.

3 Сеян, Луций Элий (между 20 и 16 гг. до в. а. – 31 г. н. э.) – префект претория (императорской гвардии), всесильный временщик при Тиберии. полностью ему доверявшем. Стремился захватить власть принцепса, для «того добился от своей любовницы Ливии, чтобы та отравила своего мужа Друза, сына Тиберия. Разоблаченный, Сеян был схвачен в сенате и немедля казнен. И полновластное хозяйничанье Сеяна в Риме и его падение повлекли за собой множество жертв.

4 Еврип – пролив между материковой Грецией и островом Эвбея.

[5] Фавоний – западный ветер.

Письмо LVI

1 В рукописях ошибочно стоит имя Хрисиппа. Юст Липсий исправил его на имя Криспа, друга Сенеки, к которому обращена его эпиграмма VI. 2 Фонтан в Риме. ' Строка из несохранившейся поэмы «Аргонавтика» Варрона Атацинского (I в. до н. э.).

Эта же цитата содержится в «Контроверсиях» Сенеки Старшего (III, 16). 4 Вергилий. Энеида, II. 726 – 729.

Письмо LVII

[1] Борцы сперва натирались жирной мазью, чтобы тело стало скользким, затем посыпали его мелким песком. 2 Тоннель в Позилипанском холме, длиною в 700 шагов, по которому шла дорога из Путеол в Неаполь. « Ср. Марк Аврелий, V, 26: «Ощущению, поскольку оно от природной причины, нельзя и пытаться воспротивиться».

Письмо LVIII

[1] «Георгики», III, 146 – 150. ' «Энеида». XII. 709 – 711.

* «Энеида», XI, 467.

'* Энный, Квинт (234 – 169 гг. до н. 8.) – римский поэт и драматург, создатель первого написанного гексаметром латинского эпоса «Анналы» изложения римской истории. «Анналы» были вытеснены из круга чтения римлян «Энеидой» Вергилия – того, кого мы ежедневно берем в руки. Акций (II в. до н. э.) – трагический поэт, пьесами которого восхищался еще Цицерон.

ъ В сохранившихся сочинениях Цицерона слово «essentia» отсутствует, настоящее письмо Сенеки – первый засвидетельствованный случай его употребления.

http://library.ziyonet.uz/

* Возможно другое чтение: «по своей природе лежащее...». ' Слово, испорченное в рукописях, по-разному восстанавливается издателями. Большинство вслед за Эразмом читает: «Из всякого досуга».

* Перевод сделан по конъектуре Герца.

v Прозвище «Платон» значит «широкоплечий». Настоящее имя Платона было Аристокл.

10 Маги – персидские жрецы.

Письмо LIX

1 По другому чтению: «в собственные блага и собственные силы».

2 «Энеида», VI. 278-279.

3 После этих слов в рукописях стоят слова, считающиеся позднейшей вставкой: «и не лишенные красоты».

4 Квинт Секстий Нигр – римский философ времен Цезаря и Августа, автор книги о растениях и лекарствах, написанной по-гречески. Отказался полностью от общественной деятельности и по своим этическим взглядам был близок к стоикам.

[5] «Энеида», VI. 513-514.

Письмо LX

1 Югер – около четверти гектара. 2 «Заговор Катилины», I.

Письмо LXII

[1] Деметрий – см. прим. 1 к письму XX.

Письмо LXIII

1 Гомер. Имеются в виду стихи из «Илиады», XIX, 228 – 229: Долг наш земле предавать испустившего дух человека, Твердость в душе сохраняя, поплакавши день над умершим..., а также XXIV, 602 – 603: Пищи забыть не могла и несчастная матерь Ниоба, Матерь, которая разом двенадцать детей потеряла...

1 А пней Серен – друг Сенеки, упоминаемый также Тацитом («Анналы», XIII, 13).

Письмо LXIV

1 Вергилий. Энеида, I, 158 – 159.

Письмо LXV

1 Аристотель («Физика», II, 4 – 6) разделяет причины на действующие, формальные, материальные и конечные.

2 v-Дорифор» («Копьеносец») и «Диадумен-» («Повязывающий голову лентой») – статуи Поликлета.

* Платон, <Тимей», 29е (цитата переведена Сенекой вольно).

Письмо LXVI

[1] Вергилий. Энеида, V, 344.

2 Нуманция – город в Испании, взятый Сципионом Африканским Младшим после долгой осады. Многие нумантинцы, чтобы не попасть в плен, покончили с собой.

3 Орудие пытки, медный бык, в котором крики сжигаемой жертвы превращались в мычание. Был сделан для тирана сицилийского города Акраганта Фаларида ваятелем Периллом, который и был первым изжарен в нем.

4 В сенате голосующие расходились в разные стороны, в зависимости от того, за чье пред-

ложение подавали голос.

[5] Сенека пересказывает отрывок из последнего письма Эпикура к Идоменею; отрывок этот приведен в латинском переводе в трактате Цицерона «О пределах добра и зла», II, 30.

Письмо LXVII

1 Переведено по чтению одного из первоизданий. Более обычное чтение по конъектуре Эразма: «Неужто мужество и вообще не желательно?»

2 Регул, Марк Атилий (III в. до н. в.) – римский флотоводец, после нескольких побед над карфагенянами в первой Пунической войне был взят в плен; через пять лет под честное слово был отправлен в Рим просить о мире, однако выступил в сенате против заключения мира с Карфагеном. Не желая нарушить слово, вернулся в плен и был предан пыткам; в частности, его спустили с горы в утыканном гвоздями ящике. Погиб в Карфагене.

3 Вергилий. Энеида, I, 93 – 94.

4 Публий Деуий Мус – консул 340 г. до н. э» в этом же году в битве с латинянами посвятил себя в жертву богам и бросился в гущу врагов, своей гибелью обеспечив римлянам победу. Его подвиг повторил в 295 г. до н. э. его сын – также консул – в битве с самнитами и галлами. Тот же подвиг повторил и Деций-внук в бою с Пирром (279 г. до н. э.).

Письмо LXX

1 «Энеида», III. 72.

* Телесфора, приближенного царя Лисимаха (361 – 281 гг. до н.э.), одного из преемников Александра Македонского. Телесфор оскорбил царицу Арсиною, и разгневанный Лисимах, отрезав ему нос и уши, держал его в яме, покуда тот не потерял человеческий облик. Эту историю Сенека рассказывает в трактате «О гневе», III, 17.

* Скрибония – вторая жена Августа, мать его дочери Юлии. Ее брат Луций Скрибо-ний Либон усыновил Секста Помпея, сына Помпея Великого. Либон Друз, Марк Скрибоний – сын Секста Помпея, претор 16 г. н. э., обвиненный перед сенатом в заговоре против Тиберия. 4 Общее мнение академиков и перипатетиков.

Письмо LXXI

1 Некоторые старые издатели предлагают читать «говорю я», полагая сказанное словами не Сократа, а Сенеки.

2 В 54 г. до н. э. Катон провалился на преторских выборах, благодаря подкупу и поддержке Помпея ему был предпочтен один из бессовестнейших цезарианцев – Публий Ватиний, уже известный своими злоупотреблениями в провинциях и в Риме.

3 После битвы при Фарсале в Эпире (6 июня 48 г. до н. в.), где Цезарь разгромил Помпея, тот бежал в Египет и погиб там. Его сторонники сосредоточились в Северной Африке, где им помогал людьми и продовольствием нумидийский царь Юба, однако в апреле 46 г. они были разбиты Цезарем при Тапсе. После этого Катон, Сципион и царь Юба покончили с собой. Еще год спустя Цезарь разгромил в Испании остатки помпеянцев, возглавляемых сыновьями Помпея.

4 Сенека использует формулу «крайнего постановления сената», принимавшегося при Республике в экстренных случаях: «Пусть позаботятся консулы, чтобы республика не понесла урона».

5 Академики – последователи философии Платона, преподававшего в роще героя Ака-дема в Афинах. Древними называли учеников Платона и их ближайших преемников. Оспаривая положение стоиков о совершенной бесчувственности мудреца, Цицерон в «Тускуланских беседах» (V, VI, 12) приводит слова философа-академика Крантора (III в. до н. э.): «Я нимало не согласен с теми, кто восхваляет какую-то бесчувственность, которой не может быть и не должно быть. Я не хотел бы заболеть; а если заболею, то не хотел бы лишиться чувств, даже если бы у меня что-нибудь отсекали или отрывали от тела. Ибо слишком дорогой ценой покупается эта бесчув-

ственность: душа грубеет, а тело цепенеет».

6 Место это в разных изданиях исправляется по-разному.

7 Плестись перед колесницей триумфатора обязаны были пленные вражеские вожди.

8 Даги – племена на северо-востоке Персидской державы. В некоторых рукописях это слово читается «даки» – т. е. племена, жившие по Нижнему Дунаю.

Письмо LXXII

[1] Чтение других рукописей: «если даже у достигших середины есть свои прилив и отлив, есть опасность скатиться вниз».

Письмо LXXIII

[1] Вергилий. Буколики, I, 6 – 7, 9 – 10. 2 Вергилий. Энеида, IX, 641.

Письмо LXXV

[1] После этих слов в рукописях следуют слова «а того, что лечит», признаваемые позднейшей вставкой.

2 См. письмо LXXI, 4.

3 Слова «однажды овладев душой» в некоторых изданиях отсутствуют.

Письмо LXXVI

1 Метронакт, которого слушал Сенека, из других источников неизвестен.

2 По нашему счету времени – примерно два часа пополудни. 8 Пифавлет флейтист, сопровождавший в театре сольные партии актеров и игравший в антрактах.

4 Вергилий. Энеида, VI, 103 – 105. 6 Многие издатели принимают конъектуру Муре и читают эту фразу так: «Я не знал, что меня ждет такое».

Письмо LXXVII

1 Флот этот вез из Египта хлеб для Рима в количестве 80 млн. модиев (без малого 7 млн. гектолитров). Такова была дань Египта.

2 Мыс Минервы с ее храмом при входе в Путеоланский (Неаполитанский) залив, Источник приводимой далее цитаты неизвестен.

3 Швейгехойзер, предполагая, что это – учитель Сенеки Аттал, ввел его имя в текст.

4 Вергилий. Энеида, VI, 376.

[5] Улица в Риме, ответвлявшаяся от Аппиевой дороги.

6 Гомеровский Нестор пережил три поколения людей. Плиний Старший («Естественная история», VII, 48) упоминает о некоей Статилии, умершей в Риме при Клавдии в возрасте 99 лет. Имя Статилии вместо Сатин дает и одна из рукописей Сенеки.

Письмо LXXVIII

1 Возможно, намек Сенеки на факт его собственной жизни, сообщаемый Дионом Кас-сием (I, IX, 19): когда Калигула решил убить Сенеку, того спасло замечание какой-то из наложниц принцепса, сказавшей, что он и так скоро помрет от чахотки.

2 Дух – «л-гд», материя, из которой состоит душа.

3 В некоторых изданиях: «на ту пищу.,.»

4 Вергилий. Энеида, I, 203.

[5] Испанский раб, который, мстя за своего господина, убил на охоте (221 г. до н. э.) Гасдрубала, карфагенского полководца, укрепившего мощь Карфагена в Испании в период между

первой и второй Пуническими войнами. в Устрицы из Лукринского озера в Кампании считались лучшими.

Письмо LXXIX

[1] Перевод сделан по конъектуре Гаазе.

2 Овидий описывает Этну в «Метаморфозах», XV, 340 ел., Вергилий – в «Энеиде», III, 571 ел. Кроме того, в так называемом «Вергилиевом дополнении», содержащем ряд стихотворений и малых поэм, по большей части приписанных Вергилию ошибочно, сохранилась поэма «Этна». Корнелий Север жил в эпоху Августа и написал несколько исторических поэм, в том числе – о сицилийской войне (скорее всего, Августа с Секстом Помпеем).

3 По преданию, Демокрит прослыл безумным, так как отказался от наследственных богатств.

4 Катон, кроме упомянутого провала на преторских выборах, не прошел и на консульских выборах 51 г. до н. э.

Письмо LXXX

[1] Игра в шары – недостаточно хорошо известный нам вид состязания кулачных бойцов. 2 Всех получивших свободу и римское гражданство цензор заносил в список граждан. 8 Цитата из трагедии Акция «Атрей». Источник следующей стихотворной цитаты неизвестен.

Письмо LXXXI

[1] Обманщик – чтение, предложенное Муре со ссылкой на одну из рукописей. 2 Место это по-разному исправляется разными издателями. Перевод сделан с учетом конъектуры Гаазе.

Письмо LXXXII

1 Крюком стаскивали в Тибр трупы казненных преступников.

2 Вергилий, Энеида, VI, 261.

3 Место, испорченное в рукописях и по-разному восстанавливаемое издателями, переведено по смыслу.

4 Брут – Децим Юний Брут (85 – 43 гг. до н. э.), сподвижник Цезаря, потом участник заговора против него. Во время войны Октавиана с Антонием в 43 г. защищал от последнего Мутину; после примирения противников, порвав с Октавианом, направился в Македонию к Марку Бруту, но был покинут своими легионами, предан и убит по приказу Антония.

[5] Вергилий. Энеида. VIII, 297, и VI. 400 – 401.

6 Вергилий. Энеида, VI, 95 – 96.

7 Фабии – патрицианский род, могущественный в первые века Республики. В 477 г. до н. э. Фабии независимо от государства начали воину с этрусским городом Веки, в которой погибло 306 представителей этого рода.

8 Авл Геллий (III, 7), со ссылкой на «Происхождения» Катона Старшего, называет имя вождя: Квинт Цедиций, военный трибун, командовавший отрядом римлян в Сицилии во время первой Пунической войны.

9 Триста – число спартанских воинов при Фермопилах.

10 Об этой змее, испугавшей действовавшее в Африке во время первой Пунической войны войско Регула, упоминают многие авторы.

11 Большинство изданий сохраняют чтение рукописей: «и пифием нельзя было ее ранить»; при этом предполагается, что «пифий» есть некий вид осадной машины. В нашем переводе мы придерживались исправления, предложенного Эразмом.

Письмо LXXXIII

1 Слова «да и то редко, а о сделанном и не думаем» в некоторых рукописях отсутствуют.

2 Прогимнаст – раб, проделывавший вместе с хозяином гимнастические упражнения, показывая ему темп и ритм.

3 Имеется в виду римский обычай в январские календы (первый день года) делать понемногу все то, чем хотелось бы заниматься весь год. Любитель холодных купаний, Сенека нырял в Еврип – ров вокруг цирка, названный в честь знаменитого пролива в Греции. Источник Девы – водопровод в Риме с водою чрезвычайно холодной; начавши нырять в Тибр, Сенека предпочел более теплое купанье.

4 Тиллий Цимбр – сперва сподвижник, потом враг Цезаря. В день убийства сорвал с плеча Цезаря тогу, чем подал знак остальным заговорщикам. Погиб в битве при Филиппах, где были разгромлены войска Брута и Кассия.

5 Луций Кальпурний Писон Фруги (48 г. до н. э. – 32 г. н. э.) – правитель многих провинций, в том числе Македонии; в этой должности усмирил фракийское племя бессов. Светоний («Тиберий», 42, 1) рассказывает: «Однажды Тиберий два дня и ночь напролет объедался и пьянствовал с Помпонием Флакком и Луцием Пи-соном; из них одного он тут же назначил префектом Рима» («Жизнь двенадцати Цезарей». М» 1964. Пер. М. Гаспарова).

6 Арриан («Поход Александра», IV, 8 – 9. М., 1962. Пер. М. Сергеенко) подробно рассказывает об убийстве Клита, рассердившего Александра тем, что он восхвалял Филиппа и умалял подвиги самого Александра, и заключает рассказ: «Александр обнаружил, что находится во власти двух пороков, гнева и пьянства, – разумному человеку не подобает быть во власти даже одного из них».

7 Огромные серебряные кубки, чеканившиеся в Беотии.

8 Это происходило во время «убийств по спискам» (проскрипций), учиненных Октавианом и Антонием после примирения в 43 г. до н. э. Среди убитых, чьи головы были доставлены Антонию, был и Цицерон.

9 Перевод сделан с учетом исправлений Мадвига и Гаупта.

Письмо LXXXIV

1 Вергилий. Энеида, I, 432 – 433.

2 Место весьма испорченное, переведено по конъектуре Гроновия.

Письмо LXXXV

[1] Вергилий. Энеида, VII. 808 – 811.

2 Cneecunn – племянник Платона и его преемник в руководстве Академией (347 – 339 гг. до н. э.); разрабатывал естественнонаучные вопросы, был обвинен в безбожии. Ксенократ – его преемник, руководивший Академией в 339 – 314 гг. до н. в,

3 Утверждение академиков.

4 Подразумевается «не потопишь». Слова некоего родосского кормчего, многократно приводимые древними авторами.

Письмо LXXXV!

[1] Речь идет о Сципионе Африканском Старшем, о чьем удалении из Рима см. прим. 5 к письму LI. Маны – духи умерших.

2 Камбиз – персидский царь (530 – 522 гг. до н. э.), завоеватель Египта.

8 Перевод сделан по чтению одного из первоизданий. Есть и другое чтение: «Должно было либо Сципиону быть в Риме, либо Риму – свободным».

4 После поражения во второй Пунической войне Ганнибал несколько лет управлял Карфагеном, но потом, когда туда прибыли римские послы, тайно бежал из города. Некоторые издатели читают это место иначе: «изгнав для пользы государства себя, как прежде – Ганнибала».

6 Галлами в 390 (или 387) г. до н. э. После битвы при Каннах, когда Ганнибал грозил Риму, Сципион – в то время юный командир легиона – разубедил римских вождей бежать из Италии, как они задумали.

6 По одним толкованиям, имеются в виду круги, составленные из наборных плит разноцветного мрамора; такие украшения упоминает Плиний Старший («Естественная история», XXXV, 1). По другим толкованиям, речь идет о круглых зеркалах.

7 Фабий Максим, Квинт (ум. 203 г. до н. э.) – полководец, во время второй Пунической войны придерживавшийся тактики уклонения от боя с Ганнибалом и потому прозванный Кунктатором (Медлителем). Известный своей набожностью и приверженностью старинным нравам, Фабий Максим был одним из любимых героев римских моралистов.

8 «Сатиры», I, 2, 27. Строка звучит так (перевод М. Дмитриева): Пахнет духами Руфилл – и козлом воняет Горгоний.

9 Место испорчено в рукописях, перевод – по чтению Гроновия и Грутера.

10 Вергилий. Георгики, II, 58.

11 Вергилий. Георгики, I, 215 – 216. Мидийка – люцерна.

Письмо LXXXVII

[1] Максим, Цезенний (или Цезоний) – ближайший друг Сенеки, сопровождавший его в ссылку на Корсику. В связи с заговором Писона был изгнан в Сицилию.

2 Сухие смоквы по обычаю посылали в подарок на Новый год, чтобы весь год был сладким.

3 Вергилий. Энеида, VII, 277 – 279.

4 Т. е. наняться ли гладиатором или сражаться на арене со зверями. Оба исхода были нередки для молодых людей, промотавшихся и залезших в долги.

5 Ланиста – содержатель школы гладиаторов.

6 Хелидон и Натал из других источников неизвестны. Всадник Антоний Натал участвовал в заговоре 65 г. и первым выдал Писона и Сенеку. Быть может, речь идет о его отце.

7 Вергилий. Георгики, I, 53 – 58. Тмол – гора в Малой Азии, известная винами и благовониями. Сабеи – аравийское племя, халибы – причерноморское племя, прославленное коваными изделиями.

8 Антипатр из Тарса (II в. до н. э.) – философ-стоик, учитель Панэтия. Цицерон называет его «одним из первых диалектиков» («Академические рассуждения», [I, 143). Известен своей полемикой с академиком Карнеадом.

ве Академией (347 –, был обвинен в без-339 – 314 гг. до н. э.

кормчего, многократно

Письмо LXXXVIH

[1] Три рода благ – для души, для тела и внешние блага. Академики со времен Арке-силая (III в. до н. э.) все больше переходили на позиции скептицизма.

2 Над такими хронологическими изысканиями древних грамматиков смеется Лукиан в диалоге «Сновидение, или Петух» (17): «Елена выглядела очень немолодой, почти ровесницей Гекубе: ведь первым обладал ею в Афинах похитивший ее Тесей, который жил во времена Геракла. Геракл же захватил Трою еще задолго до нас» («Избранное». М., 1962. Пер. Н. Баранова). 24 Сенска

3 По одной из версии мифа, Пенелопа родила Пана от Меркурия.

4 Вергилий. Георгики, I, 336 – 337. Килленец – Меркурии.

5 Вергилий. Георгики, I, 424 – 426.

6 Имеются в виду театральные машины.

7 Кузнецы изготовляли для геометров остроконечные палочки, которыми те чертили на песке свои фигуры.

6 По римским законам, все находящееся на поверхности земли считалось принадлежащим

ее владельцу.

8 Слова в квадратных скобках в лучших рукописях отсутствуют.

10 Дидим – александрийский грамматик времен Августа, прозванный за свою неутомимость «медноутробным».

11 Аристарх (217/215 – 145/143 гг. до н. э.) – выдающийся александрийский филолог, создатель критического текста Гомеровых поэм, комментатор многих древних поэтов.

12 An ион – позднеалександрийский грамматик, ученик Дидима, автор комментария к Гомеру, старший современник Сенеки. Отличался крайним тщеславием и самодовольством. При Калигуле был в Риме во главе посольства александрийцев, хлопотавших об антисемитских мерах в городе.

13 Первое слово «Илиады» MTJVI-» («гнев») начинается с букв МН, которые у греков, обозначавших цифры буквами, значат 48 – число книг в обеих поэмах.

14 Навсифан (конец IV в. до н. э.) – ученик Пиррона (см. прим. 16) и учитель Эпикура, автор сочинения по теории познания «Треножник».

15 Парменид (конец VI в. до н. э.) и Зенон Элейский (V в. до н. в.) виднейшие представители элейской школы. Парменид постулировал единое, неделимое, не знающее ни становления, ни гибели бытие. Зенон утверждал, что это бытие исключает возможность существования множественных вещей.

16 Пиррон (ум. 275/270 г. до н.) – основоположник скептицизма, считавший, что мы не можем знать сущности вещей и потому должны воздерживаться от суждений, чем и достигнем бесстрастия. Мегарцы – представители школы, созданной учеником Сократа Евклидом из Мегары; отрицали достоверность наших чувственных восприятии. Эритрейцы – последователи ученика Сократа Федона, близкие к ме-гарцам; крупнейший представитель вритрейской школы Менедем отвергал всякое предположительное или отрицательное суждение.

Письмо LXXXIX

[1] Трибы – подразделения римской гражданской общины; во времена Сенеки их было 35.

2 Цицерон пишет («О законах», I, 22): «Мудрость – мать всех благих искусств, и от любви к ней получила по-гречески свое имя философия». Действительно, слово «философия», по преданию, придуманное Пифагором, происходит от греч. уЛем «люблю» и eoyla – «мудрость».

3 Стоики.

4 Доссен – маска злодея в ателлане. Однако некоего Фабия Доссена называет в числе использованных авторов Плиний Старший.

5 Имеются в виду втика, физика и логика (диалектика). Такое разделение философии приписывается академику Ксенократу (см. прим. 2 к письму LXXXV).

6 Эпикур отрицал диалектику стоиков и мегарцев, как чересчур сложную, однако сам написал краткий свод положений об истине и лжи под названием «Канон».

7 В некоторых рукописях читается: «доказательства – к нравственной». Это дало основания некоторым издателям внести исправление, добавив: «а поступки – к нравственной».

8 Вергилий. Энеида, I, 342.

Письмо XC

[1] Перевод сделан по конъектуре Гроновия. Рукописное чтение гласит: «был приказ покинуть царство».

2 Семь мудрецвв (VI в. до н. а.) – государственные мужи семи греческих городов; в их число, согласно Платону, входили афинский законодатель Солон, Фалес, Пит-так, Биант, Клеобул, Мисон и Хилон.

3 Ликург – мифический царь Спарты, якобы создавший ее государственное устройство.

4 Залевк – законодатель города Локры; греческие историки считали его законы древнейшими писаными законами и относили их к середине VII в. до н. а. Харонд из Катаны в Сицилии считался вторым древвейшим законодателем.

http://library.ziyonet.uz/

5 Вергилий. Георгики, I, 144.

6 Вергилий. Георгики, I, 139 – 140.

7 Фонтан, окроплявший шафранной водой сцену в римском театре, упоминается уже Овидием («Наука любви», I, 103) и Проперцием (IV, I, 15 16).

8 Серийцы – китайцы, от которых в Рим доставлялись шелка.

9 Овидий. «Метаморфозы», VI, 54 – 57 (М., 1937 Пер. С. Шервинского).

10 Изобретателем стенографии считают Марка Туллия Тирона, вольноотпущенника Цицерона и издателя его сочинений. Сенека сам записал в особом сочинении «Тнро-новы знаки», числом 5800.

11 Анахарсис – мудрый скифский царь, якобы посетивший Грецию при семи мудрецах.

12 Имеются в виду эпикурейцы.

13 Перевод по конъектуре Швейгехойэера.

14 Вергилий. Георгики, I, 125 – 128.

15 Обвал домов был в Риме обычным явлением.

Письмо XCI

1 Либералису Сенека посвятил свой трактат «О благодеяниях»; из других источников он неизвестен.

2 Лугдунская колония – столица римской Галлии, нынешний Лион. Была основана в 44 г. до н. э. Луцием Мунацием Планком, которого Цезарь оставил наместником в Галлии. Вопрос о дате пожара считается спорным: или 56 г. (за это говорит тог факт, что, по подсчету Сенеки, городу сотый год), или 65 г. (судя по тому, что Сенека говорит о пожаре как о событии недавнем).

3 Пафос – приморский город на Кипре, центр культа Афродиты.

4 Перевод сделан по чтению Швейгехойэера.

5 Тимаген – александрийский ритор, был привезен как военнопленный в Рим Юлием Цезарем. Сенека Старший («Контроверсии», V, 34) пишет о нем: «Человек злой на язык и чересчур свободный, – потому, я думаю, что долго был несвободным. Став из пленного поваром, из повара носильщиком, из носильщиков он поднялся, по счастью, до дружбы с Цезарем, но так презирал свою участь, и прежнюю, и нынешнюю. что Цезарь по многим причинам на него рассердился и отказал ему от дома: тогда Тимаген сжег историю его деяний, тем как бы отказав Цезарю в своем даровании. Человек он был остроумный и речистый, и многое сказано им зло, но с изяществом».

6 Ардея – маленький городок в Лации.

7 Перевод сделан по исправлению Гроновия.

Письмо XCII

[1] Вергилий. Энеида, III, 426 – 428.

2 Излагаются возражения академиков и перипатетиков.

3 См. прим. 3 к письму XVI.

4 Гак неужели... – от блага. – Место сильно испорчено, переведено по исправлениям Рукопфа и Швейгехойзера.

5 Вергилий. Энеида, V, 363. У Вергилия: «Тот, в чьем сердце...»

6 Вергилий. Энеида, IX, 483. У Вергилия – «собакам латинян».? Место, не вполне сохранное в рукописях, переведено по чтению одной из них.

Остроумное исправление предложил Юст Липсий: «распустил его вместе с собою» т. е. вместе с одеждой, которую, как пишет Сенека в письме CXIV, 4, 6. Меценат никогда не подпоясывал. 24*

Письмо XCIII

[1] Место испорчено в рукописях, переведено по конъектуре Бюхелера. 2 Танузий Гемин –

историк времен Цезаря. К его «Летописи» принято относить строку из стихотворения XXXVI Катулла: «Летописи Волюзия, загаженная бумага». Ее-то, вероятно, имеет в виду Сенека.

Письмо XCIV

[1] Место, испорченное в рукописях, переведено по конъектуре Швейгехойзера.

2 В некоторых рукописях это место читается так: «блаженна жизнь, проводимая не по нашей воле, а в согласии с природой».

3 Кальв, Лициний (I в. до н. э.) – знаменитый оратор и поэт. В 56 г. до н. э. выступил обвинителем одного из клевретов Цезаря Публия Ватиния, виновного во множестве злоупотреблений. По просьбе Помпея и Цезаря защищал Ватиния Цицерон.

4 Катон Старший был автором многих изречений.

5 Первое изречение – Публилия Сира, второе – полустишие из «Энеиды», X, 284. Источник третьего изречения неизвестен, некоторые новые издатели считают его позднейшей вставкой.

6 Федон – ученик Сократа, именем которого назван знаменитый диалог Платона. Сам писал диалоги (см. также прим. 16 к письму LXXXVIII).

7 Первое изречение приписывается одному из семи мудрецов – Хилону. Два Других принадлежат Публию Сиру.

8 См. прим. 3 к письму XXI.

9 Саллюстий. Война с Югуртой, 10 (Сб. «Историки Рима». М» 1970).

10 Филипп II – царь македонский (359 – 336 гг. до н. в.), отец Александра. Поддерживал во многих городах Греции промакедонскую партию, пока, наконец, Беотия не признала добровольно его гегемонии. Позже разгромил возглавляемый Афинами антимакедонский союз греческих государств.

11 Геркулес дошел до крайних границ мира на западе, Либер (Вакх) – на востоке.

12 Перечисляются походы Помпея Великого: в Африку против бывших сторонников Гая Мария с их союзником, нумидийским царем Ярбой (81 г. до н. э.), в Испанию против отложившегося от Рима полководца Сертория (76 – 72 гг.), против средиземноморских пиратов (67 г.), в Азию, где он воевал в Армении, в Понтийском царстве против Митридата, в Палестине, Сирии и других странах (65 – 62 гг.).

13 Гай Марий, вождь народной партии, был консулом восемь раз, однако все консульства, кроме первого, доставались ему в результате борьбы с оружием в руках.

Письмо XCV

[1] Наряду с Гиппократом (ок. 460 – 370 гг. до н. э.) Сенека называет Асклепиада (ум. ок. 40 г. до н. э.), крупнейшего греческого врача, жившего в Риме, эпикурейца-атомиста, которому принадлежит девиз лечащего: «Быстро, надежно, приятно», и его ученика Темисона (конец I в. до н. э. – начало I в. н. э.), создателя методической школы в античной медицине.

2 «О природе вещей», I, 53 – 56 (М., 1946. Пер. Ф. А. Петровского).

3 Перевод сделан по конъектуре Булье (в примечаниях) и Гаупта.

4 Гиппократ; однако в сохранившихся его сочинениях этой цитаты нет.

5 В некоторых рукописях – другое чтение: «природа женщины не изменена, а побеждена».

6 Намек на увлечение некоторых женщин борьбой.

7 Упоминаемый многими авторами дорогой соус из крови морской рыбы; лучший его сорт доставлялся из Нового Карфагена в Испании.

8 Вергилий. Энеида, VIII, 442 (у Сенеки цитата неточная).

9 Перевод по конъектуре Гаазе.

10 Имеется в виду всаднический ценз – имущество, дававшее право войти в сословие всадников.

11 Большинство издателей придерживается исправленного чтения более старых рукописей: «вдесятеро дороже обходятся...» Вступительные пиры задавались при вступлении в общественную должность.

12 Апиций – знаменитейший чревоугодник времен Августа и Тиберия, покончил с собой, проев два с половиной миллиона сестерциев. Его имя стало нарицательным; ему же приписывается написанная позже поваренная книга. Публий Октавий отождествляется некоторыми комментаторами с известным из надписей наместником Египта при Августе.

13 Марк Юний Брут (85 – 42 гг. до н. э.) был философом-стоиком, его трактат «О подобающем», как и другие сочинения (написанные по-гречески), до нас не дошел.

14 Об этих же суеверных обычаях Сенека писал в не дошедшем до нас сочинении (его цитирует Августин: «О граде божием», VI, 10). «Пришел я на Капитолий, – говорит Сенека, – и стало мне стыдно за всеобщее безумие: чего только не вменило себе в обязанность пустопорожнее неистовство! Один подсказывает богу имена, другой сообщает Юпитеру, который час; тот – ликтор, этот – умаститель, двигает руками в пустоте, подражая втирающему мазь. Есть и такие, что укладывают волосы Юноне и Минерве, стоя поодаль не то что от кумира, а даже от храма: одни шевелят пальцами на манер убирающих волосы, другие держат зеркало».

15 Теренций. Самоистязатель, I, I, 54.

16 Перевод испорченного в рукописях места – по восстановлению Гаупта.

17 Вергилий. Георгики, III, 75 – 84.

18 Квинт Элий Туберон (II в. до н. э.) – политический деятель и философ-стоик, ученик Панэтия. О пире, устроенном им для римского народа по случаю смерти его дяди, Сципиона Младшего, рассказывает Цицерон («Речь в защиту Лициния Мурены», XXXVI, 75): «Этот образованнейший стоик устлал козьими шкурками жалкие ложа на пунийский лад, выставил самосскую посуду, как будто умер киник Диоген, а не поминали божественного мужа Сципиона!.. Римский народ был тяжко оскорблен этой Тубероновой мудростью невпопад».

Письмо XCVII

1 В декабре 62 г. до н. э. Публий Клодий Пульхр (ум. 52 г. до н. э.), демагог и смутьян, клеврет Цезаря и враг Цицерона, проник, переодевшись женщиной, в дом верховного понтифика Цезаря на празднество Доброй Богини, куда допускались только женщины. По слухам, его целью было свидание с Помпеей, женою Цезаря. Цезарь дал жене развод, Клодий был привлечен к суду за святотатство, но оправдан подкупленными судьями.

2 В некоторых рукописях перед цитатой стоит: «Цицерон в письмах к Аттику, книга первая» (по традиционному счету – I, 16, 5). Это письмо служило Сенеке основным источником сведений: из него взята и острота видного деятеля сенатской партии, консула 78 г. Квинта Лутация Катула Капитолина. Пригласил судей к себе в дом, по-видимому, Марк Красе.

3 На празднике в честь богини Флоры, праздновавшемся 28 апреля – 1 мая и отличавшемся многими вольностями, проститутки должны были выступать в театре с танцами и по требованию народа сбрасывать одежду.

изменена, а побеж
S рыбы; лучший его
во войти в сословие
юлее старых рукопи-1вались при вступле

Письмо XCVIII

1 Вергилий. Энеида, II, 428.

2 Место, испорченное в рукописях, переведено по чтению Бюхелера.

3 Фабриций, Гай Луцин – консул 282 и 278 гг. до н. э. По преданию, отверг большой подкуп, предложенный ему царем Пирром, к которому он был отправлен послом для переговоров об обмене пленными, а в 275 г., будучи цензором, изгнал одного из сенаторов за то, что у того была серебряная ваза весом в десять фунтов.

4 По мнению большинства издателей, здесь кончается письмо и далее следует фрагмент другого письма, начало которого потеряно.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо XCIX

1 Далее Сенека цитирует те же слова Метродора по-гречески.

Письмо C

[1] Красноречие Фабиана характеризует и Сенека Старший («Контроверсии», II, пре-дисл. 1): «Ему не хватало ораторской силы и боевого задора, но был... блеск как бы необработанной речи... Слова у него текли как бы сами собой».

2 Азиний Поллион (76 г. до н. э. – 4 г. н. э.) – выдающийся политический деятель» оратор и трагический поэт.

Письмо C1

[1] Вергилий. Буколики. 1, 73.

2 Переведено по исправлению Бюхелера.

3 Кол – брусок, торчавший вперед из древка креста; распятый как бы садился на него» верхом. «Энеида», XII. 646.

Письмо CII

[1] Гней Невий (ум. ок. 201 г. до н. э.), один из первых римских поэтов, – в трагедии. «Гектор». Цитату эту часто приводил Цицерон («Тускуланские беседы», IV, XXXI, 67; «Письма к близким», V, 12, 7 и т. д.).

2 Автор этих слов, которые Цицерон приводит в «Тускуланских беседах» (1, II, 4) не как цитату, неизвестен.

3 Место, сильно испорченное в рукописях, переведено по восстановлению Гроновия.

4 Слова, введенные в издании Булье. 6 Вергилий. Энеида, IV, 3 – 4.

Письмо CIV

1 Пацлина, Помпея – вторая жена Сенеки; когда пришел от Нерона приказ Сенеке умереть, Паулина также вскрыла себе вены, однако по приказу императора ей не позволили умереть; от потери крови она долго болела и умерла несколько лет спустя.

2 Галлион, Луций Юний Анней – брат Сенеки, в 51/52 г. проконсул провинции» Ахайя, упоминаемый в «Деяниях апостолов» (18, 2). Покончил с собою одновременно с Сенекой.

3 Имеются в виду списки магистратов на каждый год.

4 Вергилий. Энеида, III, 282.

5 Испорченное в рукописях место переведено по исправлению Швейгехойзера.

6 О самоубийстве Зенона см. в статье, стр. 346.

7 Вергилий. Энеида, VI. 277.

8 Речь идет о Пелопоннесской войне.

6 Место испорченное, переведено по смыслу. 10 Вергилий. Энеида, 1, 458. « Ср. Лукан, Фарсалия, IX, 591 (М., 1951, пер. Л. Остроумова):

Самый последний в питье: когда, отыскавши источник, Войско к желанной воде теснится, томимое жаждой, – Пьет, соблюдая черед.

Письмо CV

[1] Ардеатинское поле – местность в 12 км. от Рима, нездоровая из-за своей заболоченности. 2 Место испорченное, перевод сделан по конъектуре Мадвига.

Письмо CVI

[1] «О природе вещей», I, 304. 2 Игра наподобие шашек.

Письмо CVII

[1] По учению стоиков, друзьями могут быть только мудрецы, по учению Эпикура, друзей приобретают для определенной надобности. 2 Вергилий. Энеида, VI, 274 – 275. 3 Цицерон писал в «Тускуланских беседах» (II, II, 26): «Я потом стал пользоваться

примерами из наших поэтов, а когда их не находилось, многое переводил с греческого сам».

4 Эти же ямбы Клеанфа в оригинале (кроме последней строки) цитирует Эпиктет («Руководство», 52).

Письмо CVIII

1 Оскопленные жрецы Великой Матери богов, которые по знаку верховного жреца и по сигналу флейты начинали неистовствовать.

2 Оба эти изречения, как и два следующих, большинство комментаторов приписывает Публилию Сиру.

3 Ср. Плавт. Привидение, 273: «Хорошо пахнет там, где ничем не пахнет».

4 В 19 г. началось преследование иудейского культа и четыре тысячи иудеев-вольноотпущенников были сосланы в Сардинию.

5 «Георгики», III, 284.

6 «Георгики», III, 66 – 68.

7 «Энеида», VI, 275.

8 Пятый римский царь Сервий Туллий считался сыном рабыни; третий царь Анк Марций и у Тита Ливия, и у Дионисия Галикарнасского назван внуком Нумы Пом-пилия, второго царя, без упоминания имени отца.

9 Право воззвания к народу, т. е. апелляции к народному собранию как высшей инстанции, давалось осужденным к самым тяжким мерам наказания. Фенестелла (начало I в. н. э.) – римский историк, сочинения которого не сохранились. Понтифи-кальные книги – записи, которые велись жрецами-понтификами начиная со времен Анка Марция.

10 В переводе принято исправление Швейгехойзера.

11 Финиш во время конных ристаний отмечался меловой чертой; в переносном значении это слово стало означать просто конечную цель.

12 «Георгики», III. 260 – 261.

Письмо CIX

1 Перевод сделан по исправлению Эразма и чтению старых изданий.

Письмо CX

[1] «Метаморфозы», I, 595.

2 Стоики (в частности Посидоний) развили заимствованное у платоников учение о демонах – духах-покровителях каждого человека, посредниках между ним и богами. Сенека иронически отождествляет их с духами-покровителями староримских верований: гениями для мужчин, Юнонами для женщин.

3 Учению стоиков противопоставляется учение эпикурейцев о невмешательстве богов в земные дела.

4 «О природе вещей», II, 55 – 56.

5 Слова «а природа говорит всем» в более ранних рукописях отсутствуют.

http://library.ziyonet.uz/

Письмо CXI

1 В одном из не дошедших до нас сочинений.

Письмо CXIII

1 Греческим странствующим философам.

2 Перевод сделан по конъектуре Эразма. Более обычное чтение: «не совпадает по величине».

3 Стоики, отождествлявшие мир с богом, мыслили его круглым.

4 Руководящее начало – по учению стоиков, разумное и потому высшее начало, представляющее собой одну из составных частей человеческой души.

5 Битвы и мужа пою – начало «Энеиды». О шести стопах – игра слов: имеются в виду шесть стоп гексаметра.

6 Цецилий Стаций (ум. 168 г. до н. э.) – римский комедиограф, сочинения которого не сохранились.

7 Гиркане – племена, жившие на южном берегу Каспийского моря.

8 Потеряв Гефестиона, начальника своей конницы и близкого друга, умершего от лихорадки в Мидии, и убив Клита (см. прим. 6 к письму LXXXIII).

Письмо CXIV

[1] День рождения человека римляне считали праздником его гения.

2 Август дважды оставлял Мецената своим наместником в Риме и в Италии – в 36 в в 31 гг. до н. э. Полководец ежевечерне перед разводом ночных караулов давал пароль. состоявший из одного слова.

3 Это место, весьма невразумительное и по-разному, но недостаточно убедительно объясняемое и исправляемое издателями, переведено по рукописям.

4 Также и в трактате «О провидении» (III, 9) Сенека упоминает о «ежедневных разводах» Мецената с его «своенравной женой» Теренцией.

5 Двенадцать таблиц – первый писаный свод римских законов (451 – 450 гг. до н. э.). Гракх, Тиберий Семпроний (168 – 133 гг. до н. в.), старший из знаменитых братьев-трибунов, был одним из выдающихся ораторов своего времени. Красе, Луций Лици-ний (140 – 91 гг. до н. э.) – величайший римский оратор предшествовавшего Цицерону поколения, герой его диалога «Об ораторе». Курион, Гай Скрибоний – очевидно, Курион-дед, претор 122 г. до н. в., первый в семье соименных ему знаменитых ораторов. Об Аппии Клавдии Слепце (консуле 307 и 296 гг. до н. э.) н Тиберий Корункании (консуле 280 г. до н. в.) Цицерон («Брут», 55) говорит, что, как «можно догадываться, они тоже были речисты»; образцы же их красноречия были не известны и ему.

6 Аррунтий, Луций – скорее всего, консул 22 г. до н. э., сперва противник, потом сподвижник Августа.

7 Приводимые Сенекой фрагменты Саллюстия – из не дошедшей до нас части его «Истории».

8 Вергилий. Георгики, IV, 212 – 213.

Письмо CXV

[1] В некоторых рукописях здесь читается: «некий надлом».

2 Эти четыре добродетели платоники считали главными.

3 «Энеида». I, 327 – 328, 330.

4 Стоик Аристон Хиосский (см. прим. 1 к письму XXXVI).

5 Овидий. Метаморфозы, II, 1 – 2, 107 – 108.

6 Источники отдельных строк неизвестны. Монолог – из несохранившейся трагедии Еврипида «Даная».

http://library.ziyonet.uz/

7 Перевод сделан по исправлению Эразма.

Письмо CXVII

1 Побежденные гладиаторы (см. прим. 2 к письму XXXVII).

2 Это чтение дает Швейгехойзер со ссылкой на рукописи. Другое чтение: «чем питаются светила».

3 Речь идет об игре в разбойники, где камушки-пешки брались в плен, как в нынешних шашках.

Письмо CXVIII

1 Письма к Аттику, I, 12, 4. В том же письме (1) упоминается и о прижимистости

в ссудах Цецилия, дяди Аттика. ' По чтению других рукописей: «на свою мошну». ' Глашатай объявлял результаты выборов.

* См. прим. 2 к письму LXXI.

Письмо CXIX

[1] Мурра – неизвестный нам драгоценный материал, то ли минерал, то ли фарфор. Тибуритинская чашка – глиняная.

2 При своем воцарении Александр должен был преодолеть сопротивление родственников своей мачехи.

3 Красе, сотоварищ Помпея и Цезаря по триумвирату 60 г. до н. э. и неудачливый полководец в походе на парфян, нажил несметное состояние скупкой имущества убитых во время проведенных Суллой «убийств по спискам». Лициний – богатый вольноотпущенник Августа; по другому чтению Лицин, богач, упоминаемый наряду с Крассом также у Персия (II, 36).

4 Гораций. Сатиры, I, 2, 114 – 116 (пер. М. Дмитриева); ромб – камбала.

Письмо CXX

1 Описанный Сенекой подвиг Горация Коклита был совершен в той же войне с этрусками, что и подвиг Муция Сцеволы. Уже Тит Ливии, излагая это предание, сомневается в его достоверности.

2 Маний Курий Дентат (ум. 272 г. до н. а., будучи цензором) – многократный консул и победитель во многих битвах, образец староримской доблести.

3 Гораций. Сатиры, I, 3, 11 – 16 (пер. М. Дмитриева).

Письмо CXXI

[1] Архидем из Тарса в Сицилии (II в. до н. э.) – философ-стоик.

2 Воск употреблялся в энкаустической живописи древних в качестве краски. Варроа («О сельском хозяйстве». III, 17, 4) пишет: «У живописцев есть большие, разделенные на гнезда ящики, и в них лежат куски разноцветного воска».

3 Имеются в виду пантомимы, жестами изображавшие то, что в данную минуту пе* певец.

Письмо CXXII

[1] «Георгики», I, 250 – 251.

2 Катон Цензор, которому принадлежало множество изречений. Эти же слова как поговорку приводит Цицерон («О пределах добра и зла». II, 8).

3 Монтан Юлий (начало I в. н. э.) – поэт, автор элегий и эпических произведений: Сенека Старший («Контроверсии», 1, 7) называет его «выдающимся поэтом».

http://library.ziyonet.uz/

4 Натта Пинарий – клиент Сеяна, один из обвинителей историка-республиканца Кре-муция Корда, осужденного Тиберием в 25 г.

5 Марк Виниций – сын Публия Виниция (см. прим. 3 к письму X), был в 33 г. избран Тибе-рием в мужья для своей внучатой племянницы Юлии, дочери Германика.

6 Педон Альбинован (начало I в. н. э.) – поэт, автор мифологического эпоса о Тесее и поэ-мы о подвигах Германика, отрывок из которой сохранился в книге Сенеки Старшего («Свазо-рии», 1, 15).

Письмо CXXIII

[1] Перевод испорченного места сделан по восстановлению Рукопфа.

2 Место, испорченное в рукописи, переведено по конъектуре Эразма.

3 Имеются в виду Сирены (см. «Одиссея», XII, 178 слл.).

4 Место испорчено, перевод сделан по смыслу.

Письмо CXXIV

[1] Вергилий. Георгики, I, 176 – 177.

* Перевод испорченного места сделан по конъектуре Пинциана.

С. А. Ошеров Сенека. От Рима к миру

1 Создание философской биографии Сенеки затрудняется также отсутствием точной дати-ровки его книг. Мы придерживаемся общепринятых гипотез.

2 Тацит. Анналы, XII, 8; Светоний. Калигула, 53, 2,

3 Иногда эта связанность с жизненными ситуациями дает исследователям повод считать книги Сенеки чуть ли не элементом его политической тактики. Так, Итало Лана (/. Lana. Lucio Anneo Seneca. Torino, 1955) полагает, будто трактат «О краткости жизни» с его проповедью не-вмешательства философа в дела государства призван был убедить Агриппину и Клавдия, что ссыльный Сенека намерен впредь держаться дальше от политики, а рассуждения о благодарно-сти в трактате «О благодеяниях» имеют целью защитить автора от обвинений в неблагодарности перед Нероном, облагодетельствовавшим его богатствами.

4 Разумеется, речь идет о философской прозе Сенеки, а не о его трагедиях. Вопрос о соот-ношении художнического и моралистического элементов в них не может войти в эту статью.

5 Ни у греков, ни у римлян не было даже понятия для государства как отчужденной от че-ловека абстрактной силы; оба римских термина означают нечто другое: civi-tas – община граж-дан, res publica – общее достоянье (или дело).

6 Цицерон. О государстве, I, 7, 12. Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, пере-вод цитат выполнен автором статьи.

7 Овидий. Скорбные элегии, IV, 10, 35 – 36.

8 Лукан. Фарсалия, I. 157 – 182.

9 Там же. V, 26-30.

10 Кремуций Корд прославлял Брута; в кругу современника Сенеки, стоика-республи-канца Тразеи Пета, день рождения Брута чтили как праздник.

11 Здесь и далее ссылки на сочинения Сенеки даются в тексте в сокращенном виде:

Пров. – «О провидении», Полиб. – «Утешение к Полибию», Гельв. – «Утешение к Гель-вии», Бл. ж. – «О блаженной жизни», Дос. – «О досуге», Сп. д. – «О спокойствии души», Кр. ж. – «О краткости жизни». Мил. – «О милосердии», Благ. – «О благодеяниях», Изыск. – «Изыскания о природе». Римская цифра указывает книгу, первая арабская – главу, вторая – параграф. Ссылки на «Письма к Луцилию» даются следующим образом: п. VIII, 3 письмо восьмое, параграф тре-тий.

12 Цицерону для создания прочного базиса его этико-философской системы, явившейся итогом развития республиканской римской идеологии, необходимо было постулировать идею

вечности государства (Цицерон. О государстве, III, 23, 34).

13 Создатель стой Зенон был учеником киника Кратета.

14 В определении стоиков «только добродетель – благо» «добродетель» названа словом «т0 г-аЛоу» – «прекрасное». Старый полисный идеал человека – «хаХоха-уд8й» – «прекрасный и добрый» – включал и момент физической красоты. Стоики отсекли его, оставив за т° ч-Лоч только нравственный смысл; римские стоики, нечувствительные к эстетической стороне греческой этики, перевели это то хдХбм как honestum – честное, честность.

15 Это учение принял даже много полемизировавший со стоиками Цицерон, от которое» но и известно нам («О законах», I, 29 – 32; «О пределах добра и зла», III, 62 – 63).

16 Arnim. Stoicorom veterum fragmenta, II, 258. Leipzig, 1922.

17 Здесь уместно вспомнить слова, вложенные Цицероном в уста Гая Лелия, друга Сципиона и слушателя Панэтия: «Государство сошло с прямого пути и, раз двинувшись под уклон, приходит во все большее расстройство» («О дружбе», 41. Пер. Г. Кнабс).

18 Цицерон. Тускуланские беседы, I, 1. Пер. М. Гаспарова. Тема «Цицерон в полемике и согласии со стоиками» слишком обширна, чтобы трактовать ее в этой статье.

19 По его собственным словам, он мог повторить с одного прослушивания две тысячи имен в том же порядке или двести стихов в обратном порядке (Сенека Старший. Контроверсии, I, предисловие, 2).

20 Лактанций. Божественные установления, 7, 15, 14 – 16.

21 Сенека Старший. Контроверсии, II, предисловие, 4.

22 Это он, согласно «Деяниям апостолов» (18, 12 – 15), будучи проконсулом провинции Ахайи, отказался судить апостола Павла. Всего одно звено поставила традиция между Сенекой и Павлом – современниками, столь близкими по мысли, что поздняя античность даже создала апокрифическую переписку между ними!

23 Известно, что Секстий написал книгу о правилах питания.

24 Светоний. Калигула, 53, 2.

25 Дион Кассии, 59, 19, 7.

26 Тацит. Анналы, XII, 8.

27 Знаменателен рассказ Светония («Нерон», 7, 1) о том, что Сенека после того, как был приставлен воспитателем к Нерону, увидел во сне, будто должен воспитывать Гая Цезаря (т. е. Калигулу).

28 По-русски – в сб. «Римская сатира». М., 1957,

29 Тацит. Анналы. XIII. 2.

30 По единодушному мнению исследователей, Калигула был образцом для портрета тирана (см. A. Kopp. Staatsdenken und politisches Handein bei Seneca und Lucan. Heidelberg. 1969, S. 32 – 35).

31 Тацит. Анналы, XIII, 42.

32 В латинском con-scientia (со-знание) связь с понятием «знание» чувствуется сильнее, чем ощущаем ее мы в славянской кальке этого слова «со-весть» (от «ведать»).

33 Тацит. Анналы. XIV, 11.

34 Там же, XIV. 56.

35 Позже, в письме XLII, Сенека посетует, что некоторые люди не поддаются воспитанию, и когда кажется, что держишь их, у тебя в руках остается только пушинка с крыла.

36 Эти слова прямо перекликаются с одним рассуждением из диалога Цицерона <Ю «аконах» (II, 2, 5). Цицерон тоже признает, что у человека особенно если он рожден в одном из маленьких италийских городков – могут быть две родины: ведь и сам автор родился в Арпине, и мудрец Катон Старший – в Тускуле. Этой «родине по месту» мы можем отдать теплоту чувства, но лишь гражданской общине, именуемой Римским Народом, должно отдать всего себя. Из этого сопоставления как нельзя лучше видно, как далеко отошел Сенека в конечных выводах своей философии от той традиции, за которую столь упорно держался в практической деятельности.

37 По стоическому учению, одушевленность и означает материальность, поскольку душа есть хпневма», «дух» – материальная субстанция, в которой смешаны огонь и воздух.

38 Об этом свидетельствует и синонимическая замена ее словом «honestum» – «честностью

39 В письме С VII Сенека бегло излагает это учение, но в собственных психологических построениях его не учитывает.

40 Стоический пантеизм – отождествление бога-логоса и мира – чужд Сенеке, эмоционально ему ближе концепция единого личного бога, носившаяся в воздухе эпохи (Благ., IV. 8, 3).

41 Не нужно забывать, что в Риме, управляемом Калигулой или Нероном, в том кругу, в котором вращался Сенека, внезапная насильственная смерть была повседневным явлением. Немудрено, что отыскание лекарства против страха смерти могло показаться одной из главных задач философии.

42 Беседы Эпиктета. III. 24. 101.

43 С. С Аверинцев. Плутарх и античная биография. М., 1973, с. 104 105.

44 Ю. Н. Тынянов. Архаисты и новаторы. Л., 1929, с. 21 – 24.

45 Калигула навивал стиль Сенеки «песком без извести» (Свегоний. Калигула, 53, 2),

http://library.ziyonet.uz/